

БРЕТ



ГАР



2

БРЕТ  
ГАР



# БРЕТ ГАРТ

**собрание сочинений  
в шести томах**

**ТОМ 2**

**БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»**

**Москва 1966**

**Собрание сочинений выходит  
под общей редакцией  
А. Старцева**

**Иллюстрации художника  
П. Пинкисевича**

# **РАССКАЗЫ**

## **1877 – 1884**



## ТЭНКФУЛ БЛОССОМ

*Джерсийская новелла*

1779

### ЧАСТЬ I

Все это произошло в 1779 году; место действия — Морристаун, штат Нью-Джерси.

Стоял жестокий холод. Слякоть от утренней оттепели постепенно застыла под действием северо-восточного ветра в твердый сплав, на котором отпечаталось все движение этого дня по дороге в Баскингридж. Следы копыт кавалерийских лошадей, глубокие колеи от обозных фургонов и еще более глубокие борозды от артиллерии — все это лежало, застывшее и холодное, в бледном свете апрельского дня. На изгородях блистали сосульки, кора кленов с наветренной стороны была покрыта серебряными узорами, а на скалистых выступах дороги под снежной пеленой кое-где виднелись голые камни, как будто у природы от долгого ожидания запоздавшей весны прордалась одежда на коленях и локтях.

Немногие листья, возвращенные к жизни утренней оттепелью, снова стали хрупкими и шуршали на ветру, и от этого казалось, что лето так далеко, что все человеческие надежды и стремления становятся бледными и бесплодными.

Кое-где по краям дороги виднелись разрушенные изгороди и стены, а за ними тянулись снежные поля, ис-

топтанные и обесцвеченные, усеянные обрывками кожи, лагерного снаряжения, сбруи и брошенной одежды,— все говорило о том, что здесь недавно был лагерь и прошли огромные толпы людей. Кое-где еще сохранились остатки грубо сколоченных хижин или виднелось нечто, похожее на укрепление, такое же грубое и незаконченное. Лисица, крадущаяся вдоль полузасыпанного рва, волк, притаившийся за земляным валом, символизировали безлюдье и пустынность этих мест.

Одна за другой бледные краски заката исчезали с неба, отдаленные вершины Оранжевых гор окутывались мраком, ближние склоны горы Уотнонг, поросшие соснами, слились в одну черную массу, и с наступлением ночи воцарилась холодная тишина, которая, казалось, оледенила и остановила даже ветер: хрупкие листья перестали шуршать, раскачивающиеся ветви ольхи и ивы перестали хлестать в воздухе, ледяные плоды сосулек застыли на голых ветвях и сучьях, а придорожные деревья погрузились в каменное спокойствие. Было так тихо, что стук лошадиных копыт, врезавшихся в тусклый, бесцветный, тонкий слой льда, который покрывал изборозженную землю, донесся бы до ближайшего пикета континентальной армии на расстояние целой мили.

Эта тишина или, может быть, трудности дороги явно раздражали невидимого во тьме всадника. Задолго до того, как он сам возник из мрака, уже было слышно, как он сдавленным голосом проклинал дорогу, свою лошадь, своих соотечественников и всю страну: «Тише ты, кляча!», «Прыгай, дьявол, прыгай!», «Будь проклята эта дорога и нищие фермеры, которые не могут ее починить!» Затем движущаяся громада лошади и всадника внезапно обрисовалась на вершине холма, с трудом перевалила через него, шлепая по застывшим лужам, а затем так же неожиданно исчезла, и drobный стук копыт замер вдали.

Незнакомец повернул в пустынную аллею, покрытую девственным снегом. По одной стороне дороги тянулась каменная стена, сохранившаяся лучше, чем пограничные знаки на просторах полей. Она внушала мысль об уединении и надежной защите. Проехав больше половины аллеи, всадник остановил лошадь и, спрыгнув, привязал ее к молодому деревцу у дороги. Потом осторожно пошел вперед, в конец аллеи, к небольшой ферме, в слуховом



окне которой мерцал огонек, прорезая лучами все сгущавшуюся ночь. Вдруг он в нерешительности остановился, и у него вырвалось нетерпеливое восклицание. Свет в окне исчез. Он резко повернулся на каблуках и пошел назад к сараю, который стоял напротив, в нескольких шагах от стены. Рядом огромный вяз бросал унылую тень своих голых ветвей на стену и на окружающий снег. Незнакомец вступил в эту тень и сразу же как будто слился с ее дрожащим лабиринтом.

Сейчас это, конечно, было мрачное место для свидания. На стволе дерева еще цепко держался снег, а кору обволакивала ледяная пленка; прилегающая стена была скользкая от мороза и украшена сосульками.

Но все это напоминало о чем-то до смешного несвоевременном и ушедшем в прошлое; несколько камней, выломанных из стены, были расположены в виде скамьи и кресел, а под пленкой льда на коре вяза еще можно было различить вырезанное изображение сердца, различные инициалы и надпись: «Твой навеки».

Однако незнакомец пристально смотрел только на крышу сарая и на открытое поле, простиравшееся за ним. Пять минут прошли в бесплодном ожидании. Десять минут! А затем луна медленно поднялась над черной грядой Оранжевых гор и взглянула на него, слегка краснея, как будто у нее было назначено с ним свидание.

В лунном освещении явственно вырисовалось лицо и фигура крепкого, красивого человека лет тридцати, с таким воинственным видом, что и без эполет и нашивок легко можно было узнать в нем капитана континентальной армии. Однако в выражении его лица было нечто противоречащее его мужественной осанке, какое-то раздражение и недовольство, не соответствующие его росту и силе. По мере того, как проходили минуты, это беспокойство все усиливалось; вдали на слабо освещенном поле не было заметно никакого признака движения. Наконец в злобной ярости он начал швырять лежащие вблизи камни ногой об стену.

— Му-у!

Офицер вздрогнул. Он не то чтобы испугался, не то чтобы не мог распознать в этих протяжных звуках полусонного мычания коровы, но это было так близко от него — должно быть, сразу за стеной! Если столь массив-

ное существо могло незаметно подойти к нему на такое близкое расстояние, то, может быть, и она...

— Му-у!

Он осторожно приблизился к стене.

— Ну, ну, Куши, Мули! Иди сюда, Бесс! — ласково уговаривал он.

— Му-у! — Но здесь мычание вдруг оборвалось и превратилось в человеческий и довольно мелодичный смех.

— Тэнкфул! — воскликнул офицер и засмеялся несколько неловким и принужденным смехом, в то время как над стеной показалась маленькая головка в капюшоне.

— Ну-с! — произнесла девушка, спокойно облокотившись на стену и подперши голову руками. — Ну-с, чего же вы ждали? Может быть, вы хотели, чтобы я сидела здесь всю ночь, а вы, как лунатик, будете торчать, притаившись под деревом? Может быть, вы думали, что я назову вас по имени? Может быть, вы ждали, что я закричу: капитан Аллан Брустер?

— Тэнкфул, тише!

— Капитан Аллан Брустер из коннектикутского отряда, — продолжала девушка, заметно возвышая свой тихий, проникновенный голос, которого, однако, не было слышно за пределами дерева, — капитан Брустер, вот и я! Ваша верная и покорная слуга и возлюбленная при- была в ваше распоряжение.

После легкой борьбы у стены капитану Брустеру удалось завладеть рукой девушки. Все еще продолжая сопротивляться, она немного смягчилась.

— Не всякому юноше я позволила бы это, — сказала она, слегка надув губки. — Другие, может быть, и не имели бы ничего против. А вот многие знатные дамы на балах ассамблеи в Морристауне могли бы подумать, что это неприличная шалость для девушки.

— Это пустяки, моя любимая, — сказал капитан, который в это время успел влезть на стену и обнял девушку за талию. — Пустяки! Вы меня только застали врасплох. Но, — добавил он, внезапно взяв ее за подбородок и повертывая ее лицо к лунному свету с тревожным подозрением, — почему вы убрали свечу с окна? Что случилось?

— У нас неожиданные гости, дорогой мой,— сказала Тэнкфул.— Только что приехал граф.

— Этот проклятый гессенец!

Он остановился и пытливо посмотрел ей в глаза. Луна в этот момент тоже глядела на Тэнкфул — ее лицо было так же нежно, спокойно и доверчиво, как лицо девушки. Видимо, эти две ветреницы хорошо понимали друг друга.

— Нет, Аллан, он не гессенец; это джентльмен, изгнанник из другой страны. Он знатный человек...

— Теперь нет знатных людей! — презрительно фыркнул капитан.— Так постановил конгресс. Все люди рождаются свободными и равными.

— Но ведь это не так, Аллан,— сказала Тэнкфул, нахмутив брови.— Даже коровы не рождаются одинаковыми. Разве тот теленок, который родился вчера вечером у Бриндль, похож на мою рыжую телку от коровы, которую привезли сюда на корабле из Суррея? Разве они похожи друг на друга?

— Титулы — звук пустой,— упрямо заявил капитан Брустер.

Последовала зловещая пауза.

— Да, но еще остался один благородный человек,— сказала Тэнкфул,— и он принадлежит мне, мой прижизненный аристократ.

Капитан Брустер ничего не ответил. Судя по некоторым лукавым жестам и хитрым улыбкам, которыми смелая девушка сопровождала свои слова, вероятно, надо было думать, что джентльмен, который стоял перед нею, и был вышеупомянутый благородный человек. По крайней мере он так и понял эти слова и крепко обнял ее, а ее руки и край плаща обвились вокруг его шеи. Так они безмолвно и замерли на несколько минут, слегка покачиваясь из стороны в сторону, как метроном,— движение, как я полагаю, типично буколическое, пасторальное и идиллическое; как таковое, оно, я знаю, отмечалось Феокритом и Вергилием.

В такие возвышенные моменты слабая женщина обычно сохраняет самообладание гораздо лучше, чем высшее разумное животное — мужчина, и в то время, как доблестный капитан забылся, припав к ее очаровательным губкам, мисс Тэнкфул отчетливо расслышала скрип ка-

литки на ферме и при этом заметила, что луна уже взошла высоко и стала, пожалуй, слишком назойливой. Она наполовину высвободилась из объятий капитана — задумчиво и нежно, но твердо.

— Мой дорогой Аллан, расскажите мне все о себе, — спокойно сказала она, подвигаясь, чтобы освободить ему рядом с собой место на стене, — все, все решительно!

Она обратила к нему свои прекрасные глаза, глаза с пытливым и даже серьезным выражением, но в их прекрасной темной глубине таилось нежное, детское доверие и беспомощность, эти слегка прищуренные глаза с какой-то нежной, печальной мольбой, казалось, говорили каждому, кто глядел в них: «Я говорю правду, будь же и ты откровенен со мною!» Право же, я убежден, что среди всего нашего впечатлительного мужского пола не найдется ни одного человека, который, глядя в эти умоляющие глаза, не согласился бы скорее дать ложную клятву, чем разочаровать прекрасную обладательницу таких глаз.

На лице капитана Брустера появилось прежнее недовольное выражение.

— Положение становится все хуже и хуже, Тэнкфул, и дело наше проиграно. Конгресс бездействует, а Вашингтон не может спасти нас в этом критическом положении. Вместо того, чтобы выступить в поход на Филадельфию и с помощью штыков усмирить эту подлую банду Хэнкока и Адамса, он пишет письма.

— Напыщенный, чопорный старый дурак, — с негодованием прервала его мисс Тэнкфул, — а взгляните-ка на его жену! Разве миссис Форд и миссис Бэйли, да и другие аристократки графства Моррис не отправились к его превосходительству разодетые в пух и прах? И разве они не нашли миледи в переднике, занятую домашним хозяйством? Нечего сказать, вот так вежливый прием! Как будто весь свет не знает, что генерал был захвачен врасплох, когда миледи неожиданно явилась сюда из Виргинии верхом со всеми этими блестящими кавалерами только для того, чтобы посмотреть, чем его превосходительство занимается на балах ассамблеи. А уж, я думаю, там такие дела творятся!

— Это все праздные сплетни, Тэнкфул, — сказал капитан Брустер, принимая вид солидного человека, — эти

балы на ассамблее придумал генерал, чтобы укрепить доверие городских жителей и смягчить тяготы зимней лагерной жизни. Я сам редко там бываю. Мне не очень-то приятно предаваться пикникам и пляскам, когда моя страна находится в таком трудном положении. Нет, Тэнк-фул! Настоящий вождь — вот кто нам нужен! И коннектикутцы это остро чувствуют. Если я заговорил об этом, — добавил капитан, несколько приосанившись, — это потому, что они знают, что я принес в жертву; как фермеры Новой Англии, они знают мою преданность делу. Они знают о моих страданиях...

Ясное личико, обращенное к нему, внезапно вспыхнуло сочувствием, хорошенькие бровки сдвинулись, прелестные глазки были полны нежности.

— Простите меня, Аллан! Я совсем забыла... может быть, любимый мой, может быть, дорогой мой, вы голодны?

— Да нет, сейчас нет, — ответил капитан Брустер с мрачным стоицизмом, — однако, — добавил он, — я уже около недели не пробовал мяса.

— Я... я кой-чего захватила с собой, — продолжала девушка с некоторым колебанием и робостью.

Она нагнулась и откуда-то из укромного места в стене извлекла корзинку.

— Таких цыплят, — и она протянула пару жареных курочек, — не мог бы купить даже сам главнокомандующий. Я берегла их для моего командира! А вот банка с вареньем, которое, я знаю, любит мой Аллан, — она стоит у меня еще с прошлого лета. Я думала (это она сказала очень нежно), что вам понравится этот кусочек свиной грудинки, ведь раньше она вам нравилась, дорогой! Ах, милый мой, когда же мы сядем наконец за стол в своем собственном доме? Когда же мы дождемся конца этой ужасной войны? Не думаешь ли ты, дорогой (это она сказала умоляющим тоном), что лучше было бы прекратить ее? Король Георг не такой уж скверный человек, правда? Я думаю, любимый мой (это она сказала весьма доверительно), что, может быть, вы с ним могли бы уладить все дела без помощи этих Вашингтонов, которые только доводят людей до голодной смерти. Если бы король только знал тебя, Аллан, — увидел бы тебя вот так,

как я, любимый мой,— он сделал бы так, как ты бы ему посоветовал.

Во время этой речи она передала ему съестные припасы, упомянутые выше, и он принял их и засунул в самые удобные карманы. С одной только явственной разницей: с ее стороны поступок был изящным и красочным, а с его стороны в этом было что-то нескладное; его широкие плечи и мундир только усиливали это впечатление.

— Я думаю не о себе, моя девочка,— сказал он, засунув вареные яйца в карманы брюк и застегнув нагрудные карманы, в которых поместилось по целому цыпленку.— Я думаю не о себе и, может быть, часто воздерживаюсь от тех советов, на которые обращают мало внимания. Но у меня есть долг по отношению к моим солдатам — по отношению к Коннектикуту (тут он завязал банку с вареньем в носовой платок). По правде сказать, я иногда думал, что мог бы, если бы меня подтолкнули, дойти до того, чтобы принять решительные меры ради пользы дела. Я не претендую на руководство, но...

— Если бы ты стал во главе армии,— пылко воскликнула Тэнкфул,— мир был бы заключен в течение двух недель!

Если мужчина считает, что женщина его любит, он примет за чистую монету любую ее лесть, даже самую чудовищную. Может быть, он усомнится в ее влиянии на более хладнокровное суждение человечества, но будет считать, что эта бедняжка по крайней мере понимает его и в какой-то смутной форме высказывает вечные, но непризнанные истины. А когда эту лесть произносят юные, горячие уста, то она, пожалуй, кажется такой же убедительной, как и холодный, отдаленный приговор потопства.

А посему кавалерист самодовольно запихнул этот комплимент вместе с цыплятами в свои нагрудные карманы и застегнул их.

— Я думаю, что теперь вам пора идти, Аллан,— сказала она, глядя на него тем как бы материнским взором, которым самые молодые женщины иногда глядят на своих возлюбленных, как будто с куклой внезапно произошла метаморфоза и она превратилась в мужчину.— Вы должны теперь идти, дорогой; вероятно, отец уже давно заметил мое отсутствие. Приезжайте в среду, любимый мой,

но вы не должны посещать эти ассамблеи, и ездить в гости к миссис Джудит, и опять возить за спиной девушек верхом на вашей черной лошадке, и вы дадите мне знать, когда снова будете голодны?

Она с любовью взглянула на него своими карими глазами и слегка нахмурилась, но в ее взоре было столько страстного, умоляющего ожидания, что капитан не вытерпел и поцеловал ее. Затем последовало прощальное объятие, выполненное капитаном в полунебрежной, спокойной манере, с соответственным учетом хрупкости одной части его продовольственных запасов. Далее он исследовал содержимое своих карманов и убедился, что яйца не разбились. Тогда он свободной рукой отдал мисс Тэнкфул честь и исчез. Через несколько минут резкий стук копыт его коня послышался на обледенелой дороге, ведущей в гору.

Но когда он достиг вершины, из темноты у края дороги внезапно вынырнули два всадника и предложили ему остановиться.

— Капитан Брустер, если лунный свет меня не обманывает?— спросил незнакомец, ехавший впереди, с учтивостью, в которой таилось что-то угрожающее.

— Он самый. Майор Ван-Зандт, если не ошибаюсь,— ответил Брустер с некоторым раздражением.

— Совершенно точно. Я очень сожалею, капитан Брустер, но мой долг—сообщить вам, что вы арестованы.

— Чей это приказ?

— Главнокомандующего.

— За что?

— За подстрекательство к бунту и неуважение к старшим офицерам.

Шпага, которую капитан Брустер извлек из ножен при внезапном появлении незнакомцев, на минуту дрогнула в его крепкой руке. Затем, резко ударив ею о луку седла, он сломал ее надвое и бросил обломки к ногам своего собеседника.

— Продолжайте,— упрямо произнес он.

— Капитан Брустер,— сказал майор Ван-Зандт с бесконечной серьезностью,— не мне указывать вам на опасные последствия такой искренней вспышки гнева. Я только хотел отметить, что она весьма неблагоприятно отразилась на запасах продовольствия в ваших карма-

нах. Если я не ошибаюсь, они пострадали в равной мере со сталью вашей шпаги. Вперед, марш!

Капитан Брустер опустил глаза и затем отъехал немного назад, потому что вылившиеся из разбитой скорлупы желтки самого драгоценного дара мисс Тэнкфул медленно и задумчиво стекали вниз по бокам коня.

## ЧАСТЬ II

Мисс Тэнкфул продолжала стоять у стены, пока ее возлюбленный не скрылся из виду. Затем она повернулась и, как тень, мелькнувшая в неверном свете, проскользнула под кровлей сарая, а оттуда побежала по фруктовому саду от дерева к дереву, замирая у каждого из них на мгновение, как форель останавливается в тени берега, проходя мель; наконец она добралась до фермы и, открыв дверь на кухню, вошла в дом. Потом по задней лестнице она проскользнула наверх в свою комнатку, с окна которой полчаса тому назад она убрала сигнальный огонек. Она снова зажгла свечу, поставила ее на комод и, сняв капюшон и сбросив с плеч накидку, подошла к зеркалу и начала поправлять высокую роговую гребенку, которая несколько сдвинулась в сторону от объятий капитана. Кроме того, она вообще, как настоящая женщина, приняла меры, чтобы уничтожить следы объятий своего возлюбленного. Здесь следует заметить, что мужчина часто возвращается с самого пустякового свидания со своей дульцинеей рассеянный, раздраженный или пристыженный и не замечает, что галстук у него сбился на сторону или длинный волос блондинки зацепился за пуговицу. Что же касается *mademoiselle*<sup>1</sup>, то взгляните на гладенькие лапки и чистенькую мордочку кошечки — разве вам может прийти в голову, что она только что прикладывалась к молочнику со сливками?

Я полагаю, что Тэнкфул осталась вполне довольна своим внешним видом. Нет сомнения, что у нее были для этого некоторые основания. Ее платье было просто куском ситца, с узорами из цветов, схваченным на шее и ниспадающим под углом в пятнадцать градусов на короткую серую фланелевую юбку. Но все в ней представ-

---

<sup>1</sup> Барышня (франц.).



ляло такую законченную гармонию, что, глядя на прямую посадку ее изящной головки с каштановыми волосами, или вниз, на очертания ее стройной фигуры, или на маленькие ножки, которые прятались в туфельках с широкими пряжками, вы могли быть уверены, что все остальное было так же неподдельно и прекрасно.

Немного погодя мисс Тэнкфул открыла дверь и прислушалась. Затем тихо скользнула вниз по задней лестнице в вестибюль. Там было темно, но из-под двери, ведущей в «кают-компанию», или гостиную, пробивался слабый луч света. Она на минуту остановилась в нерешительности, идти ли ей дальше, как вдруг почувствовала, что кто-то схватил ее за руку и не то повел, не то потащил в гостиную. Там было тоже темно. Слышно было, как кто-то торопливо рылся в карманах, отыскивая коробочку с трутом и кремнем, затем, раза два наткнувшись на стол и стулья, пробормотал ругательство, и Тэнкфул рассмеялась.

Далее вспыхнул свет, и ее отец, седой, морщинистый старик лет шестидесяти, предстал перед ней, все еще держа ее за руку.

— Ты выходила гулять, мисс?

— Да,— сказала Тэнкфул.

— И не одна? — сердито проворчал старик.

— Нет,— сказала мисс Тэнкфул с улыбкой, которая возникла в уголках ее карих глаз, сбежала вниз к губам и к ямочкам на щеках и в конце концов завершилась во внезапном ослепительном видении ее белых зубов.— Нет, не одна!

— А с кем? — спросил старик, постепенно смягчаясь под ее стремительным и дерзким напором.

— Ну вот что, папа,— сказала Тэнкфул, садясь на стол перед отцом и демонстративно болтая своими маленькими ножками,— я была с капитаном Алланом Брустером из коннектикутского отряда.

— С этим человеком?

— С этим человеком!

— Я запрещаю тебе встречаться с ним!

Тэнкфул схватилась руками за стол с обеих сторон, как бы для того, чтобы подчеркнуть свои слова, и, болтая ножками, заявила:

— Отец, я буду встречаться с ним сколько захочу!

— Тэнкфул Блоссом!

— Эбнер Блоссом!

— Я вижу, ты не знаешь, — сказал мистер Блоссом, меня строгий родительский безапелляционный тон на дружески-доверительный, — я вижу, ты не знаешь, какая у него репутация. Он обвиняется в подстрекательстве солдат к бунту и в измене национальному делу.

— А с каких это пор, Эбнер Блоссом, вы стали так преданы национальному делу? С тех пор, как вы отказались поставлять припасы континентальному комиссару иначе как за двойную цену? Или с тех пор, как вы сказали мне, что рады, что я не вмешиваюсь в политику, как миссис Форд...

— Шш! Тише! — перебил отец, указывая рукой на дверь в гостиную.

— Тише! — повторила с негодованием Тэнкфул. — Я не дам на себя шикать. Каждый говорит мне: тише! Граф говорит: тише! Аллан говорит: тише! Вы говорите: тише! Мне надоело это шиканье! Неужели нет на свете человека, который бы не шикал? — И мисс Тэнкфул подняла к потолку свои прелестные глаза.

— Ты неразумна, Тэнкфул; ты безрассудна и неосторожна. Вот почему тебя приходится предостерегать.

Несколько мгновений Тэнкфул молча болтала ножкой, а затем внезапно соскочила со стола и, схватив старика за отвороты сюртука, пристально взглянула на него и произнесла подозрительным тоном:

— Отчего вы не пускаете меня в гостиную? Зачем вы привели меня сюда?

Блоссом-старший на минуту был просто ошеломлен.

— Потому что ты знаешь, что граф...

— А вы боялись, что граф узнает о моем возлюбленном? Ну ладно, я пойду и сама скажу ему. — И она направилась к двери.

— Отчего же ты не сказала ему раньше, когда вы скользнула отсюда час назад, глупая девчонка? — спросил старик, схватив ее за руку. — Но все равно, Тэнкфул, я остановил тебя не из-за него. С ним там сидит один франт. Да, он появился, как только ты исчезла, дочурка. Красивый молодой кавалер, и сейчас они с графом ло-

почут на своем собственном диалекте — как будто что-то вроде итальянского, — как ты думаешь, Тэнкфул?

— Не знаю, — ответила она задумчиво. — А откуда прибыл этот красавчик?

В нее вдруг начал закрадываться страх, что, может быть, этот юный незнакомец видел ее в объятиях капитана.

— Из города, моя девочка.

Тэнкфул повернулась к отцу с таким видом, как будто ожидала ответа на давным-давно заданный вопрос.

— Ну и что же?

— Не лучше ли тебе немножко принарядиться и надеть кружевной воротничок? — спросил старик. — Это ведь блестящий молодой щеголь, не то что здешние неотесанные провинциалы.

— Нет, — ответила Тэнкфул с быстротой женщины, которая прекрасно выглядит и сознает это.

Старик взглянул на нее и согласился с ее мнением. Затем, не говоря ни слова, он повел ее к гостиной и, открыв дверь, коротко произнес:

— Моя дочь, мисс Тэнкфул Блоссом!

Когда дверь открылась, послышались горячо спорящие голоса, которые при появлении мисс Тэнкфул мгновенно утихли. Два джентльмена, в ленивой позе развалившиеся у камина, сразу поднялись, и один из них выступил вперед и обратился к ней непринужденно и вместе с тем почтительно.

— Вот это действительно большая радость, мисс Тэнкфул, — сказал он с ясно выраженным иностранным акцентом и с еще более ясно подчеркнутыми иностранными манерами. — Я был в отчаянии и мой друг, барон Помпосо, тоже.

Едва заметная улыбка и мгновенный взгляд, в котором таился упрек, осветили смуглое лицо барона, когда он низко и церемонно поклонился. Тэнкфул, по обычаю того времени, сделала реверанс, так называемую «уточку»: выдвинула правую ногу вперед и описала полукруг на полу. Ножка была так изящна, а маленькая фигурка так грациозна, что барон поднял глаза от ножки к лицу с нескрываемым восхищением. Ей было достаточно одного мгновенного женского взгляда, чтобы убедиться, что он хорош собой; второй взгляд, пока он еще продолжал мол-

чать, убедил ее в том, что его красота заключалась в темных девичьих глазах, похожих на глаза лани.

— Барон,— пояснил мистер Блоссом, потирая руки так, как будто пытался с помощью простого трения придать приему гостей ту теплоту, которая отсутствовала на его жестком лице,— барон посетил нас в трудный момент. Он прибыл из далеких стран. Аристократы европейского происхождения обычно путешествуют по чужим странам для знакомства с нравами и обычаями их жителей. Он найдет в Джерси,— продолжал мистер Блоссом, обращаясь к Тэнкфул, но избегая ее презрительного взгляда,— трудолюбивых фермеров, всегда готовых приветствовать незнакомца и снабдить его по сходной цене всем необходимым для дороги. Для каковой цели в это смутное время благоволите иметь при себе золото или другие деньги, на ценности которых не отражаются местные волнения.

— Он найдет, мой добрый друг Блоссом,— сказал барон быстро и несколько витиевато, что явно не шло к мягкой, спокойной серьезности его глаз,— Красоту, Изящество, Изысканные манеры и э... э... святая Мария, что еще? — Он умоляюще повернулся к графу.

— Добродетель,— подсказал граф.

— Верно, Берти! И все слилось в здешних прелестных красавицах. Ах, поверьте мне, мой честный друг Блоссом, в любой стране самое главное — женщины!

Эта речь была в большой степени обращена непосредственно к мисс Тэнкфул, так что ей пришлось в ответ показать по меньшей мере одну ямочку на щеке, хотя брови у нее были слегка сдвинуты, и она устремила на барона свои ясные удивленные глаза.

— А кроме того, генерал Вашингтон был настолько любезен, что обещал нам свое покровительство,— добавил граф.

— Любой дурак, вообще любой человек,— поспешно подтвердила Тэнкфул, слегка покраснев,— может получить пропуск от генерала да и вдобавок услышать от него несколько приветственных слов. Ну, а что слышно о миссис Пруденс Букстэйвер? Это та самая, у которой поклонник в бригаде Книпхаузена; я уверена, что он гессенец, но благородного происхождения, как мне ча-

сто рассказывала миссис Пруденс; но, видите ли, все ее письма задерживает генерал, и я уверена, что их читает сама миледи Вашингтон, как будто это вина Пруденс, что ее дружок с оружием в руках восстал против Конгресса. Объясните-ка мне эту загадочную историю, а?

— Этого требует благоразумие, девочка,— заметил Блоссом, хмуясь на поведение дочери,— она может проболтаться о передвижении армии, которая идет громить противника.

— А почему ей не попытаться спасти своего друга от плена или засады, как спасли, например, гессенского комиссара, когда он с припасами, которые вы...

Мистер Блоссом, сделав вид, что заключает дочь в отеческие объятия, ухитрился довольно больно ущипнуть мисс Тэнкфул.

— Тише, девочка,— сказал он с притворной шутливостью,— язык у тебя трещит, как мельница на Уиппани. Моя дочь, как все женщины, плохо разбирается в политике,— объяснил он гостям.— Эти тревожные дни принесли ей тяжелые огорчения — разлучили с друзьями детства и с людьми, к которым она была очень привязана. Это ее как-то ожесточило.

Едва только мистер Блоссом произнес эти слова, как тут же пожалел, что они сорвались у него с уст, ибо он опасался, что правдивая мисс Тэнкфул поведаст о своих отношениях с континентальным капитаном. Но, к его изумлению и, надо сказать, к моему также, она больше не проявила такой строптивости, как несколько минут тому назад. Наоборот, она слегка покраснела и не промолвила ни слова.

Разговор переменялся; мистер Блоссом стал беседовать с графом о погоде, о суровой зиме, о судьбах страны, о критике действий главнокомандующего, о позиции Конгресса и т. д. и т. п., причем вряд ли надо упоминать, что этот разговор отличался той безапелляционностью суждений, которая характерна для непрофессионалов. В другом углу комнаты мисс Тэнкфул с бароном болтали о своих делах: о балах ассамблеи, о том, кто самая красивая женщина в Морристауне и правда ли, что внимание, которое генерал Вашингтон оказывает мисс Пайн, не более, чем обычная любезность, или это что-то иное,

и действительно ли у леди Вашингтон седые волосы, и верно ли, что молодой адъютант майор Ван-Зандт влюблен в леди Вашингтон, или его внимание к ней — лишь усердие подчиненного. В разгаре беседы весь дом вдруг задрожал от сильного порыва ветра, и мистер Блоссом, подойдя к наружной двери, вернулся и объявил, что на дворе вьюга.

И действительно, за один час весь облик природы изменился перед их удивленными взорами. Луна исчезла, небо скрылось в ослепляющем, крутящемся потоке колючих хлопьев снега. Резкий и порывистый ветер уже украсил белыми, пушистыми слоями снега порог, крашенные скамейки на крыльце и дверные косяки.

Мисс Тэнкфул с бароном пошли к задней двери взглянуть на эту метеорологическую метаморфозу, причем барон, как уроженец юга, был охвачен легким ознобом. Мисс Тэнкфул глядела на картину вьюги, и ей показалось, что все то, что с ней произошло, как будто было стерто с лица земли, что исчезли даже следы ее недавних шагов на земле, — серая стена, на которую она опиралась, была теперь белой и безупречно чистой, даже знакомый сарай казался каким-то смутным, странным и призрачным. Да и была ли она там, видела ли капитана, или все это существовало только в ее воображении? Она сама не могла этого понять. Внезапный порыв ветра с треском захлопнул за ними дверь и заставил мисс Тэнкфул с легким визгом рвануться вперед, во тьму. Но барон поймал ее за талию и спас от бог весть какой воображаемой опасности, после чего вся сцена закончилась полуистерическим смехом. Но тогда ветер ринулся на них обоих с такой яростью, что барон, как я полагаю, должен был еще теснее прижать ее к себе.

Они были одни, если не считать присутствия двух коварных заговорщиков: Природы и Благоприятного Случая. В полутьме вьюги она не удержалась и бросила на него лукавый взгляд. И даже как будто немного удивилась, заметив, что его лучистые глаза смотрят на нее нежно и, как ей показалось в это мгновение, более серьезно, чем это вызывалось обстоятельствами. Совершенно новое и необычное смущение охватило ее, когда он, как она одновременно и боялась и ожидала, наклонился к

ней и прильнул к ее губам. Она на мгновение почувствовала себя бессильной, но в следующую минуту вlepилa ему звонкую пощечину и исчезла во мраке. Когда мистер Блоссом открыл барону дверь, он с удивлением увидел, что вышеупомянутый джентльмен стоит в одиночестве; а когда они возвратились в комнату, он еще больше удивился, увидев мисс Тэнкфул, которая в этот момент скромно вошла в дом через парадную дверь.

Когда на следующее утро мистер Блоссом постучался в комнату дочери, он нашел ее совершенно одетой, но при этом слегка побледневшей и, говоря по правде, немного угрюмой.

— Если ты поднялась так рано, Тэнкфул,— сказал он,— то все-таки надо было хоть из вежливости пожелать доброго пути гостям, особенно барону, который, по видимому, весьма сожалел о твоём отсутствии.

Мисс Тэнкфул слегка вспыхнула и ответила с дикой стремительностью:

— А с каких это пор я обязана плясать на задних лапах перед каждым назойливым иностранцем, которому вдумается остановиться в нашем доме?

— Он был очень любезен с тобою, голубушка, к тому же он джентльмен.

— Нечего сказать, любезен! — проворчала мисс Тэнкфул.

— Надеюсь, он не позволил себе ничего лишнего? — неожиданно спросил мистер Блоссом, устремляя на дочь свои холодные серые глаза.

— Нет, нет,— поспешно возразила Тэнкфул, залившись ярким румянцем,— но... ничего! А что это у тебя такое, письмо?

— Да, наверно, от капитана,— сказал мистер Блоссом, подавая ей бумагу, сложенную треугольником.— Его оставил один вольнонаемный служащий из лагеря. Тэнкфул,— продолжал он с многозначительным видом,— послушай моего совета, сейчас он будет кстати. Капитан тебе не пар!

Тэнкфул внезапно побледнела и с презрением вырвала у него письмо из рук.

Когда его шаги затихли на лестнице, на ее лице снова показался румянец. Она распечатала письмо. Оно бы-

ло написано небрежно, с ужасными орфографическими ошибками. Она прочла следующее:

Любимая, вследствие Приказа тирана, порожденно-го Завистью и Ревностью, меня держат здесь в качестве пленника. Вчера вечером я был подло арестован Рабами и Наемниками за Свободу Мысли и Слова, ради которой я уже принес в Жертву многое — все, чем может пожертвовать Человек, кроме Любви и Чести. Но Конец близок. Когда, для Утверждения Власти, Свобода Народа подчинена Военной Силе и Влиянию Честолюбия, то Государство погибло. Я нахожусь в Позорном Заточении здесь, в Морристауне, по обвинению в Ниувожении — я, который год назад покинул родной дом и Увожаемых Друзей, чтобы служить Отечеству. Верьте в мою Любовь к Вам, хотя я нахожусь во власти Тиранов и, может быть, буду приговорен к казни на эшафоте.

Человек, который вручит Вам это Письмо, заслуживает полного Доверия, и Вы можете прислать мне с ним все, что хотите.

Провизия, освященная Вашими руками и ставшая не-оценимой благодаря Вашей Любви, была отнята от меня Рабами и Наемниками, а яйца, моя Любимая, слегка испортились. Грудинка, думается мне, сейчас попала на Стол Глав-ком-щего. Вот что значит Тирания и Самолюбие! Любимая, до скорого свидания!

Аллан.

Мисс Тэнкфул прочла это сочинение, потом перечитала его еще раз и разорвала в клочки. Затем, сообразив, что это было первое в жизни письмо ее возлюбленного, которое она не сохранила, она попыталась снова собрать разорванные клочки, но безуспешно, и тогда, с новым для нее чувством раздражения, она выбросила их в окно. В продолжение всего дня она была весьма рассеянна и выходила из себя чаще, чем обычно, а потом, когда ее отец отправился верхом в свою ежедневную поездку в Морристаун, она испытала странное облегчение. К полудню снег прекратился или, скорее, превратился в изморозь, которая, в свою очередь, сменилась дождем. К этому времени мисс Тэнкфул погрузилась в хозяйственные хлопоты, в коих она была большой искусницей, и в свои соб-



ственные мысли, которые в этот день получили для нее какое-то новое значение. Среди этих забот, когда наступили сумерки, она, вероятно, не обратила внимания на топот копыт во дворе и на звуки голосов внизу, в передней, так как ее комната находилась в задней части дома. Впрочем, ни то, ни другое не могло тогда показаться необычным. Хотя ферма Блоссма была под защитой континентальной армии от опустошительных набегов или грубости солдат, она всегда служила местом остановки для проезжающих кавалеристов, интендантских погонщиков скота и офицеров разведывательной службы. Генерал Салливэн и полковник Гамильтон часто поили своих лошадей у широкого, массивного придорожного корыта и сидели в тени на крыльце. Мисс Тэнкфул пробудилась от забытья, только когда в комнату вошел негр Цезарь, работник на ферме.

— Клянусь богом, мисс Тэнкфул, там солдаты, наверное, едут к себе в лагерь по нашей дороге; остановились на ферме да и распоряжаются во всем доме, а офицер-то сидит в гостиной, шпоры махнул на самый стол и читает себе книжку.

Щеки Тэнкфул вспыхнули мгновенным румянцем, и ее изящные брови сдвинулись над потемневшими глазами. Она вскочила, бросив работу — уже не прежняя капризная девушка, а разгневанная богиня, — и, оттолкнув негра, кинулась вниз по лестнице и распахнула дверь.

Офицер, сидевший у камина в весьма вольной и небрежной позе, которая полностью оправдывала критическое замечание негра, мгновенно вскочил, явно смущенный и удивленный, но выдержка джентльмена позволила ему быстро подавить в себе эти чувства.

— Прошу прощения, — сказал он, низко наклонив свою красивую голову, — но я не имел ни малейшего представления о том, что дома кто-нибудь из хозяев, а тем более дама. — На минуту он смутился, уловив во взлете ресниц, открывших карие глаза, ее красоту, как некое внезапное откровение, и отчасти потерял самообладание. — Я майор Ван-Зандт; я имею честь говорить с...

— Тэнкфул Блоссом, — сказала девушка с легким оттенком гордости, мгновенным женским инстинктом разгадав причину колебания майора.

Но ее торжество натолкнулось на новую волну смущения, которая вспыхнула на лице офицера при упоминании ее имени.

— Тэнкфул Блоссом,— быстро повторил офицер.— Значит, вы дочь Эбнера Блоссом?

— Конечно,— сказала Тэнкфул, устремляя на него испытующий взгляд.— Он скоро вернется. Он только поехал ненадолго в Морристаун.

Она снова была охвачена страхом, и ее взгляд как бы спрашивал: «Разве нет?»

Офицер, отвечая скорее на ее взгляд, чем на слова, с серьезным видом подошел к ней.

— Он сегодня не вернется, мисс Тэнкфул, а может быть, не вернется и завтра. Он... арестован.

Тэнкфул метнула на майора враждебный взгляд своих карих глаз.

— Арестован? За что?

— За поддержку и помощь врагам и за укрывательство шпионов,— ответил майор с военной краткостью.

Щеки мисс Тэнкфул слегка вспыхнули при этой последней фразе; воспоминание о сцене на крыльце и о сорванном украдкой поцелуе барона блеснуло у нее в памяти, и на мгновение она почувствовала себя виноватой, как будто человек, стоявший перед нею, был свидетелем ее проступка. Он заметил это, но неправильно истолковал ее смущение.

— Если так,— сказала мисс Тэнкфул немного громче и подойдя к майору вплотную,— если так, тогда и меня надо арестовать: в этом доме гости, если даже они и шпионы,— это мои гости. И в доме отца я принимаю их как хозяйка. Да, сударь, и я была очень рада принять таких достойных джентльменов. Джентльменов, которые, я уверена, слишком хорошо воспитаны, чтобы оскорбить незащищенную девушку,— и пусть они даже и шпионы, но они не кладут сапог на стол и не превращают дом честного фермера в кабак.

На лице майора появилось выражение не то страдания, не то затаенного веселья, но он отвечал только изысканным низким поклоном.

Это был поклон вежливый, но полный внутреннего протеста, и он явно привел мисс Тэнкфул в еще большее раздражение.

— А кто эти шпионы и кто доносчик? — спросила мисс Тэнкфул, смело глядя в глаза офицеру. Одной рукой она вызывающе уперлась в бок, а другую закинула назад. — Мне кажется, что мы имеем право узнать, когда и в каких условиях мы их принимали.

— Вашего отца, мисс Тэнкфул, — сказал серьезно майор Ван-Зандт, — давно уже подозревали в сочувствии к врагам. Но политика главнокомандующего до сих пор состояла в том, чтобы не обращать внимания на политические симпатии мирных жителей, а стараться привлечь их на сторону нашего дела, предоставив им самые широкие права. Но когда недавно обнаружилось, что два иностранца, хотя и снабженные пропусками от главнокомандующего, часто посещали этот дом под вымышленными именами...

— Вы говорите о графе Фердинанде и бароне Помпосо? — перебила его Тэнкфул. — Это два достойных аристократа, и если они избрали предметом своего внимания девушку, может быть, и не знатного происхождения, но честную...

— Дорогая мисс Тэнкфул, — сказал майор с низким поклоном и такой улыбкой, которая, несмотря на всю ее любезность, довела Тэнкфул почти до истерики, — если вы докажете этот факт, а я, хоть я только что познакомился с вами, не сомневаюсь, что с вашим обаянием вы это сделаете, — ваш отец будет свободен от дальнейших допросов и от ареста. Главнокомандующий — джентльмен; он никогда не позволял себе недооценивать влияние вашего пола и никогда не оставался равнодушным к его чарам.

— Как зовут доносчика? — гневно прервала его мисс Тэнкфул. — Кто осмелился...

— Это, по-видимому, свидетельское показание о соучастнике преступления, мисс Тэнкфул, так как доносчик сам находится под арестом. Все это дело возникло на основании информации капитана Аллана Брустера из коннектикутского отряда.

Мисс Тэнкфул побледнела, потом вспыхнула, потом снова побледнела. Затем она подступила прямо к майору.

— Это ложь, низкая ложь!

Майор Ван-Зандт поклонился. Мисс Тэнкфул взбежала вверх по лестнице и через минуту снова влетела в комнату в амазонке и шляпе.

— Я полагаю, что могу поехать повидать отца, — сказала она, не поднимая глаз на офицера.

— Вы свободны, как птица, мисс Тэнкфул. В приказах и инструкциях, полученных мною, вы не только не являетесь соучастницей в преступлениях вашего отца, но там не упомянуто даже ваше имя. Позвольте мне помочь вам сесть на лошадь.

Девушка ничего не ответила. Однако за этот короткий промежуток времени Цезарь уже успел оседлать белую кобылу и подвел ее к дверям. Не обращая внимания на протянутую руку майора, мисс Тэнкфул вскочила в седло.

Майор все еще держал лошадь под уздцы.

— Одну минуту, мисс Тэнкфул...

— Пустите меня, — сказала она, сдерживая ярость.

— Одну минуту, прошу вас.

Его рука все еще держала уздечку. Лошадь рванулась назад, чуть не сбросив наездницу. Побагровев от досады, она подняла хлыст и резко хлестнула майора по лицу.

Он мгновенно выпустил из рук уздечку. Затем он поднял к ней лицо, спокойное и бледное, если не считать красной полосы от лба до подбородка, и невозмутимо произнес:

— Я не имел в виду задерживать вас. Я хотел сказать только одно: когда вы увидите генерала Вашингтона, вы, я уверен, скажете ему, что майор Ван-Зандт ничего не знал о ваших бедах и даже не знал, что вы здесь, пока вы сами не поведали обо всем, и что начиная с этого момента он обращался с вами, как приличествует офицеру и джентльмену.

Но пока он говорил, она уже усакала. В тот момент, когда ее шелестящая юбка бешеным галопом понеслась вниз по холму, майор повернулся и вошел в дом. Несколько праздных кавалеристов, которые были свидетелями этой сцены, благоразумно отвратили взоры от бледного лица и пылающих глаз своего офицера, когда он быстрыми шагами прошел мимо них. Тем не менее, когда дверь за ним закрылась, они позволили себе ряд весьма своевременных критических замечаний.

— Эта торийская ведьма разозлилась потому, что не сумела обвести майора вокруг пальца, как капитана, — пробормотал сержант Тиббитс.

— И теперь думает попытать счастья с генералом,— добавил рядовой Хикс.

Впрочем, оба критика могли и ошибаться. Ибо, пока мисс Тэнкфул вихрем неслась по морристаунской дороге, она думала о многом. Она думала о своем возлюбленном Аллане, пленнике, который горестно взывал к ее помощи и защите, и, однако, как он осмелился, если он действительно выдал или заподозрил ее. Затем она с горечью подумала о графе и о бароне, и ей неудержимо захотелось встретиться с бароном лицом к лицу и бросить ему обвинение в том, что украденный поцелуй стал причиной ее позора и унижения. Наконец, она вспомнила об отце, и в ней зажглась ненависть ко всем сразу. Но над всем этим, врезываясь во все ее чувства, в ее смутный страх за отца, в ее страстное негодование на барона, в ее недовольство Алланом, властно и неотвратно царил одна мысль — один образ, который она пыталась отшвырнуть от себя, но не могла, — красивое бледное лицо майора Ван-Зандта и красный шрам от хлыста, пересекавший эти холодные черты.

### ЧАСТЬ III

Поднявшийся ветерок, который мчался гораздо быстрее, чем мисс Тэнкфул, перешел в свежий ветер к тому времени, как достиг Морристауна. Он пронесся мимо голых кленов и с грохотом раскачивал сухие скелеты вязов. Он свистел на тихом пресвитерианском кладбище, как будто пытаясь пробудить мертвецов, знакомых ему еще издавна. Он сотрясал неосвещенные окна ассамблеи над таверной Вольных Каменщиков и рисовал на колышущихся занавесках движущиеся теңи дам в широких юбках и кавалеров в узких штанах, которые накануне вечером кружились под звуки «Сэра Роджера» или отплясывали джигу. Но мне сдается, что самым бурным неистовствам ветер предался вокруг уединенного «Замка Форд», более известного под названием «Главный штаб».

Он завывал под его узкими карнизами, он пел песни под его открытой террасой, он шатал самую верхушку его переднего шпиля и свистел в каждой щели и трещине четырехугольного, массивного и отнюдь не живописного здания.

Замок был расположен на холме, который круто спускался к реке Уиппани, и летний ветерок, шелестевший на крылечках морристаунских ферм, вихрем налетал на хлопающие двустворчатые двери и окна «Замка Форд», а зимний ветер становился здесь ураганом, который угрожал всему зданию гибели.

Часовой, расхаживавший вдоль передней террасы, знал по опыту, когда надо задержаться на подветренной стороне и плотнее застегнуть свой потертый плащ, защищаясь от пронизывающего северного ветра.

Внутри дома царила атмосфера такой же угрюмости и уныния — аскетический мрак, которого не в силах был рассеять скудно мерцающий огонь камина в приемной и догорающие угли очага в столовой. Широкий главный вестибюль был скромно меблирован несколькими плетеными стульями, на одном из которых полудремал негр — телохранитель главнокомандующего. Два офицера в столовой, придвинувшись к камину, беседовали вполголоса, как бы сознавая, что дверь в гостиную открыта и их голоса могут ворваться и нарушить ее священную тишину. Дрожащий свет в зале тускло освещал или, скорее, неохотно скользил по черной полированной мебели, темным стульям, старомодному комоду, безмолвному спинету, стоявшему в центре стола с тонкими ножками и, наконец, по неподвижной фигуре человека, сидевшего у огня.

Это был человек, столь хорошо известный всему цивилизованному миру, столь прославленный в печати и на портретах, что здесь он не нуждается в описании. Это редкое сочетание мягкого достоинства с глубокой силой, неуклонного стремления к цели с философским терпением так часто описывали людям, которые сами не очень-то отличаются подобными качествами, что, боюсь, это заставляло их подтрунивать над ним, так что более глубокий и сокровенный смысл его качеств забывался.

Поэтому я добавлю, что своими манерами, всей гармонией облика и даже просто особенностями одежды этот человек воплощал в себе некую отчужденную замкнутость, свойственную аристократам. Это был облик короля — короля, который, по иронии судьбы, как раз в это время вел войну против королевской власти; повелителя людей, который как раз в это время боролся за

право этих людей управлять собою, и над этими людьми он властвовал по врожденному праву. От макушки своей напудренной головы до серебряных пряжек на башмаках он был полон царственного величия, и не удивительно, что его собрат, Георг Английский и Ганноверский, царствующий по чистой случайности, иначе нечестиво именуемой «милостью божьей», не мог найти лучшего способа противостоять его могуществу, чем называть его «мистер Вашингтон».

Топот лошадиных копыт, обычный оклик часового, внимательные вопросы дежурного офицера, затем шаги на террасе—все это, по-видимому, не нарушило его размышлений. Его спокойная задумчивость не была нарушена и тогда, когда открылась наружная дверь и ворвалась волна холодного воздуха, которая вторглась даже в тишину приемной, так что вспыхнули гаснущие огни в камине. Но мгновение спустя в приемной отчетливо раздался шест женской юбки, торопливый шепот мужских голосов, а затем внезапно появился подтянутый, цветущий здоровьем молодой офицер и склонился над ним.

— Прошу прощения, генерал,— нерешительно сказал офицер,— но...

— Вы мне не помешали, полковник Гамильтон,— спокойно ответил генерал.

— Молодая дама просит приема у вашего превосходительства. Это мисс Тэнкфул Блоссом, дочь Эбнера Блоссом, обвиняемого в изменнических действиях и в сообщничестве с врагом,— он сейчас арестован и находится на гауптвахте в Морристауне.

— Тэнкфул Блоссом? — повторил генерал вопросительно.

— Ваше превосходительство, вы, конечно, помните эту маленькую провинциальную красавицу, за здоровье которой было поднято столько бокалов, Крессиду нашего морристаунского эпоса, которая совратила с пути истинного нашего доблестного коннектикутского капитана...

— У вас в этом отношении все преимущества, полковник, не говоря уже о том, что у молодых людей лучше память,— сказал Вашингтон с веселой улыбкой, от которой адъютант слегка покраснел.— Однако мне кажется, что я слышал об этом феномене. Ну, конечно, пригласите ее сюда вместе с ее спутниками.

— Она одна, генерал,— возразил офицер.

— Тем более мы должны быть вежливы,— заметил Вашингтон, в первый раз меняя свою небрежную позу. Он встал и сложил перед собой руки в кружевных манжетах.— Не заставляйте ее ждать. Немедленно впустите ее, дорогой полковник. Так, как она пришла,— одну!

Адъютант поклонился и вышел. В следующее мгновение полуоткрытая дверь широко распахнулась перед мисс Тэнкфул Блоссом. Она была так прелестна в своей простой амазонке, ее красота была так необычайна и своеобразна, и, главное, она была так одухотворена важностью и серьезностью своего поступка, решительного и смелого, достойного этой красоты, что важный джентльмен не удовольствовался обычным формальным изъяснением любезности, но пошел к ней навстречу и, взяв ее холодную ручку в свою руку, заботливо подвел ее к креслу, с которого только что встал.

— Если бы я даже не знал вашего имени, мисс Тэнкфул,— сказал главнокомандующий, глядя на нее с торжественной учтивостью,— мне кажется, сама природа позаботилась о том, чтобы сделать вас достойной любезного внимания любого джентльмена. Однако чем я могу вам служить?

Увы! Сияние карих глаз мисс Тэнкфул несколько померкло в торжественном полумраке гостиной и перед еще более торжественным и спокойным достоинством статной военной фигуры человека, стоявшего перед ней. Яркий румянец, вспыхнувший от урагана, который бушевал в ее душе и в природе, почти совсем сошел с ее щек; вся злоба, которая родилась в ней, когда она хлестала свою лошадь во время бешеной скачки в течение последнего получаса, смирилась в присутствии человека, которому она готовилась наговорить дерзостей. Боюсь, что ей пришлось употребить всю силу воли, чтобы не захныкать и удержать слезы, которые, как ни странно, выступили на ее прелестных глазах, когда она встретила спокойно-проницательный и в то же время безмятежно-невозмутимый взор своего собеседника.

— Я догадываюсь о цели вашего посещения, мисс Тэнкфул,— продолжал Вашингтон с добротой, исполненной достоинства, которая успокаивала гораздо больше, чем обычная в то время форма светского обращения с да-



мами,— и позвольте вам сказать, что она делает вам честь. Забота об отце, как бы ни заблуждался слабохарактерный отец, вполне приличествует молодой девушке.

Глаза Тэнкфул снова засверкали, и она быстро поднялась. Ее верхняя губка, которая за мгновение перед этим дрожала в милом детском смятении, теперь застыла и сжалась, когда девушка оказалась лицом к лицу с этим человеком, полным чувства собственного достоинства.

— Я хочу говорить с вами не об отце,— дерзко сказала она.— Я приехала сюда одна, ночью, в бурю не для того, чтобы говорить о нем; я уверена, что он сам может постоять за себя. Я приехала сюда, чтобы говорить о себе,— о клевете, да, клевете, возведенной на меня, бедную девушку,— да, о трусливых сплетнях обо мне и моем возлюбленном, капитане Брустере,— он ныне заключен в тюрьму за то, что любит меня, девушку, которая не вмешивается в политику и не является сторонницей вашего дела. Как будто каждый влюбленный юноша должен докладывать об этом и спрашивать на это разрешения у вас или, скажем, у леди Вашингтон.

Она на минуту остановилась, чтобы перевести дух; с чисто женской мгновенной интуицией она заметила, что лицо Вашингтона изменилось: его омрачила какая-то холодная строгость. Но с чисто женской решительной настойчивостью (к которой — да будет мне позволено высказать свое скромное мнение — иногда не мешало бы с достоинством прибегать и нашему, более дипломатическому полу) она продолжала выкладывать все, что у нее накопилось на душе, хотя, может быть, ей пришлось бы с чисто женской, весьма достойной непоследовательностью при случае (через час или два) взять эти слова назад — с непоследовательностью, которую, по моему скромному мнению, нам, мужчинам, не следует перенимать с таким же достоинством.

— Говоря, что мой отец,— быстро продолжала Тэнкфул Блоссом,— принимал у себя в доме двух заведомых шпионов — двух шпионов, которых, прошу прощения у вашего превосходительства и у Конгресса, я знаю как двух достойных джентльменов, столь же достойно оказавших мне любезное внимание. Говорят самую низкую ложь, что эти сведения исходят от моего возлюбленного, капитана Аллана Брустера. Я прискакала сюда

верхом, чтобы опровергнуть эту ложь. Я прискакала сюда потребовать от вас, чтобы репутация честной женщины не приносилась в жертву интересам политики. Чтобы дом честного фермера не наводняли шайкой обворванцев — соглядатаев, которые только и занимаются тем, что шпионят да шпионят и заставляют бедную девушку бежать из дому, чтобы она не была им помехой. Это стыд — вот что это такое! Так и знайте! Это величайший позор — вот что это такое! Вот и все! Да кто же они такие, как не шпионы?

При воспоминании о нанесенных ей обидах возмущение ее все больше нарастало; пока она говорила, она придвигалась к нему, и теперь ее лицо, раскрасневшееся от смелости и прекрасное в дерзкой отваге, было совсем близко к благородным очертаниям лица и спокойным серым глазам великого полководца. К ее величайшему изумлению, он наклонил голову и торжественно и доброжелательно поцеловал ее в самую середину ее дерзостного лба.

— Прошу вас, садитесь, мисс Блоссом,— сказал он, беря в свою руку ее холодную ручку и спокойно усаживая ее опять в свободное кресло.— Садитесь, пожалуйста, и, если можете, уделите мне несколько минут внимания. Офицер, которому я поручил неблагодарную задачу занять ферму вашего отца,— представитель моей армии и настоящий джентльмен. Если он до такой степени забылся, если он унизил себя и меня до того, что...

— Нет, нет!— воскликнула Тэнкфул с лихорадочной живостью.— Этот джентльмен вел себя в высшей степени прилично. Наоборот, может быть, я...

Она запнулась и умолкла, вспыхнув при воспоминании о лице офицера со шрамом от удара хлыстом.

— Я хотел сказать, что майор Ван-Зандт как джентльмен должен был понять и извинить вполне естественную вспышку гнева дочери,— продолжал Вашингтон, и в глазах его ясно читалось, что он уже все понял.— Но позвольте мне теперь разъяснить вам другое обстоятельство, относительно которого мы, по-видимому, совершенно расходимся во взглядах.

Он подошел к двери, вызвал слугу и отдал ему какое-то приказание. Через несколько минут молодой офицер, который вначале впустил ее, снова появился со связкой

служебных документов. Он с лукавой усмешкой взглянул в глаза Тэнкфул, как будто уже слышал ее разговор с начальником и оценил по достоинству то, что не могли уловить сами действующие лица, а именно — несколько юмористический характер всей сцены.

Однако, очутившись перед ними, полковник Гамильтон стал с самым серьезным видом перелистывать бумаги. Тэнкфул в растерянности кусала губы. Смутное чувство страха и предчувствие чего-то позорного, вот-вот готового разразиться; новое и необычное сознание своего одиночества в присутствии двух высокопоставленных людей; неловкое ощущение при виде двух женщин, которые таинственным образом появились в комнате из другой двери и, казалось, издали пристально наблюдали за нею с таким любопытством, как будто она была каким-то заморским зверем, наконец, тревожное волнение при мысли о том, что вся ее будущая жизнь и счастье зависят от событий, которые произойдут в течение следующих мгновений, — все это так потрясло ее, что храбрая девушка вздрогнула в сознании своей отчужденности и одиночества. Тем временем Гамильтон, обращаясь к начальнику, но при этом явно бросая взгляды на одну из вошедших дам, передал Вашингтону какую-то бумагу и сказал:

— Вот обвинительное заключение!

— Прочтите его, — холодно произнес генерал.

Полковник Гамильтон, явно отдавая себе отчет в том, что в комнате находятся и другие лица, кроме мисс Блоссом и генерала, прочел бумагу. Она была изложена в лаконических военных и юридических формулах; в ней кратко сообщалось, что, по определенным сведениям, лично известным писавшему, Эбнер Блоссом, владелец фермы Блоссом, часто принимал у себя двух джентльменов, а именно «графа Фердинанда» и «барона Помпосо», подозреваемых в том, что они являются врагами нации и, возможно, предателями континентальной армии. Документ был подписан Алланом Брустером, бывшим капитаном коннектикутского отряда. Полковник Гамильтон показал Тэнкфул подпись, и она сразу же узнала знакомый скверный почерк и столь же знакомые орфографические ошибки своего возлюбленного.

Она встала. Ее глаза теперь так же откровенно выражали растерянность и смущение, как за минуту до этого

пылали негодованием. Она поочередно встретила взгляды всех присутствующих, которые, казалось, все теснее окружали ее. Но я вынужден признать, что с чисто женским инстинктом она чувствовала больше недружелюбия в безмолвном присутствии двух женщин, чем в возможных открытых критических замечаниях представителей нашего пола, часто незаслуженно поносимого.

— Конечно,— произнес голос, который Тэнкфул с безошибочным инстинктом сразу же определила как голос старшей из двух дам, законно властвующей над совестью одного из двух мужчин,— конечно, мисс Тэнкфул сумеет выбрать того из своих поклонников, врагов ее родины, который сможет оказать ей поддержку в ее теперешнем критическом положении. По-видимому, она не очень разборчива в своем благоволении и оставляет возможность надеяться любому.

— Во всяком случае, дорогая леди Вашингтон, она не вручит его человеку, который оказался предателем по отношению к ней самой,— с жаром сказала женщина помоложе.— То есть... я прошу прощения у вашей милости,— и она остановилась в нерешительности, заметив в наступившей тишине, как двое мужчин переглянулись с видом высокомерного удивления.

— Тот, кто предал свою родину,— холодно сказала леди Вашингтон,— способен быть предателем в чем угодно.

— В таком случае можно сказать, что тот, кто изменяет своему королю, изменяет и своей стране,— возразила мисс Тэнкфул с внезапной дерзостью и, нахмурившись, взглянула на леди Вашингтон.

Но та с достоинством отвернулась, и мисс Тэнкфул снова взглянула на генерала.

— Прошу прощения,— сказала она гордо,— что я беспокою вас своими горестями. Но мне кажется, что если бы даже мой возлюбленный причинил мне из ревности еще большее зло, то и это не дало бы оснований обвинять меня, даже в том случае,— добавила она, метнув убийственный взгляд в сторону леди Вашингтон, которая спокойно стояла к ней спиной в своем парчовом платье,— если бы это обвинение исходило от лица, которое знает, что ревность столь же свойственна жене патриота, как и изменнику родины.

Произнеся эти слова, она вновь вернула себе все самообладание, хотя бледность еще покрывала ее лицо после удара, который она получила и возвратила сторицей.

Полковник Гамильтон прикрыл рукой рот и только кашлянул. Генерал Вашингтон стоял у камина. Лицо его было спокойно. Он повернулся к Тэнкфул и серьезно сказал:

— Вы забываете, мисс Тэнкфул, что вы еще не ска-  
зали мне, чем я могу вам служить. Я не допускаю мысли,  
что вы продолжаете интересоваться судьбой капитана  
Брустера, который сделал донос на ваших других... дру-  
зей и косвенно на вас самое. Дело и не в этих друзьях,  
ибо я, к сожалению, должен сообщить вам, что они все  
еще находятся на свободе и неизвестны нам. Если вы  
можете доказать их невиновность, доказать, что они не  
шпионы и не враги национального дела, ваш отец будет  
немедленно освобожден. Позвольте мне задать вам один  
вопрос. Почему вы полагаете, что они не враги?

— Потому что,— ответила Тэнкфул,— потому что  
они... они... джентльмены.

— Многие шпионы были людьми знатного происхож-  
дения, с прекрасными манерами и блестящими способ-  
ностями,— заметил Вашингтон весьма серьезно.— Но у  
вас, может быть, есть другие основания?

— Потому что они говорили только со мной,— отве-  
тила мисс Тэнкфул, вся вспыхнув,— потому что они пред-  
почитали быть со мной, а не с моим отцом, потому что...—  
тут она помедлила мгновение,— потому что они говорили  
не о политике, а о том... о чем обычно говорят молодые  
люди... и... и...— тут ее голос дрогнул,— и барона я ви-  
дела только один раз, но он...— тут она окончательно  
пала духом,— и я знаю, что они не шпионы, вот и все!

— Я должен спросить вас еще кое о чем,— произнес  
Вашингтон серьезно и доброжелательно.— Сообщите ли  
вы нам эти сведения или нет, вы должны иметь в виду,  
что если вы окажетесь правы, ваше показание ни в коем  
случае не может повредить джентльменам, о которых  
идет речь, а с другой стороны, оно может снять подозре-  
ние с вашего отца. Не будете ли вы любезны дать пол-  
ное описание их внешности моему секретарю, полковнику  
Гамильтону? Описание, которое капитан Брустер, по  
вполне понятным вам причинам, не мог нам дать.

Мисс Тэнкфул с минуту колебалась, но затем, бросив ясный и открытый взгляд на главнокомандующего, начала подробно описывать внешность графа. Не знаю, почему она начала с него; может быть, о нем ей было легче говорить, потому что, когда она приступила к описанию внешности барона, я с сожалением должен отметить, что она стала выражать свои мысли несколько туманно и иносказательно. Однако все же не настолько туманно, чтобы помешать полковнику Гамильтону внезапно вскочить и взглянуть на своего начальника, который сейчас же остановил его движением руки, облаченной в кружева.

— Благодарю вас, мисс Тэнкфул,— сказал он совершенно спокойно,— но этот второй джентльмен, барон...

— Помпосо,— гордо заявила Тэнкфул.

Среди дам, стоявших у окна, послышался смехок, на свежем лице полковника Гамильтона промелькнула улыбка, но полное достоинства лицо Вашингтона было по-прежнему невозмутимо.

— Могу я спросить вас: сделал ли вам барон благородное предложение,— продолжал он с почтительной серьезностью,— были ли его стремления известны вашему отцу и носили ли они такой характер, что мисс Блоссом могла их с честью принять?

— Отец представил его мне и выразил желание, чтобы я обращалась с ним любезно. Он... он поцеловал меня, а я дала ему пощечину,—быстро сказала Тэнкфул, и щеки ее запылали румянцем, я ручаюсь, не меньшим, чем у самого барона.

В тот момент, когда эти слова слетели с ее правдивых уст, она готова была даже ценой жизни вернуть их обратно. Однако, к ее изумлению, полковник Гамильтон громко засмеялся, а дамы обернулись и хотели подойти к ней, но генерал, продолжая хранить невозмутимое спокойствие, остановил их едва заметным жестом.

— Вполне возможно, мисс Тэнкфул,— продолжал он с непоколебимым хладнокровием,— что по крайней мере один из этих джентльменов может быть известен нам и что ваши предположения окажутся правильными. Во всяком случае, вы можете быть уверены, что мы полностью расследуем это дело, и надо надеяться, что для вашего отца все окончится благополучно.

— Благодарю вас, ваше превосходительство,— ответила Тэнкфул, все еще пунцовая при мысли о своей откровенности. Отступая к двери, она добавила: — Я думаю... что мне... пора ехать домой. Уже поздно, а мне предстоит далекий путь.

Однако, к ее удивлению, Вашингтон сделал шаг вперед и, снова взяв ее руку в свои, сказал с торжественной улыбкой:

— Именно по этой причине, раз уж нет других, вы должны сегодня вечером, мисс Тэнкфул Блоссом, воспользоваться нашим гостеприимством. Мы по-прежнему храним наши виргинские традиции гостеприимства и настолько деспотичны, что заставляем наших гостей подчиняться им, хотя мы вряд ли можем предоставить им возможность интересно провести время. Леди Вашингтон не позволит мисс Тэнкфул Блоссом покинуть сегодня ее дом, не оказав чести принять ее гостеприимство и дружеские советы.

— Мисс Тэнкфул Блоссом, удостоив принять скромное приглашение провести у нас эту ночь, докажет этим, что она по крайней мере верит нашему искреннему желанию быть ей полезной,— сказала леди Вашингтон с величественной любезностью.

Тэнкфул в нерешительности стояла у двери. Но в этот момент она почувствовала, что ее обняли женские руки, и младшая из дам, заглядывая ей прямо в карие глаза, ласково сказала с такой же честной откровенностью, с какой недавно говорила она сама:

— Дорогая мисс Тэнкфул, хотя я только гостья в доме леди Вашингтон, позвольте мне присоединиться к ее просьбе. Я мисс Скайлер из Олбани и рада быть вам полезной, мисс Тэнкфул; это может засвидетельствовать полковник Гамильтон, если на пути к вашему открытому сердцу мне нужен проводник. Поверьте мне, дорогая мисс Тэнкфул, я всей душой сочувствую вам и желала бы доказать сегодня на деле, что я готова сделать для вас все, что в моих силах. Вы останетесь, я в этом уверена, останетесь здесь со мной, и мы поговорим о вероломстве этого дикого ревнивца, капитана, — янки, который своим поведением, без сомнения, доказал, что он так же не достоин вас, как и своего отечества.

Как ни ненавистна была Тэнкфул мысль о том, что ее

жалеют, она не могла устоять против тонкой любезности и благожелательного сочувствия мисс Скайлер. Кроме того, надо признаться, что впервые в жизни она усомнилась в могуществе собственной независимости, и какое-то необъяснимое чувство влекло ее к девушке, обнимавшей ее, к девушке, которая проявляла к ней такое сочувствие и в то же время позволяла леди Вашингтон обходиться с собой пренебрежительно.

— У вас, конечно, есть мать? — спросила Тэнкфул, вопросительно глядя на мисс Скайлер.

Хотя этот вопрос показался двум молодым джентльменам совершенно неуместным, мисс Скайлер ответила на него с чисто женским тактом:

— А у вас, дорогая мисс Тэнкфул?

— У меня нет, — ответила Тэнкфул.

И здесь я, к сожалению, должен сказать, что она чуть не расплакалась.

Тогда мисс Скайлер, тоже со слезами в прекрасных глазах, внезапно склонила голову к уху Тэнкфул, обняла прелестную гостью за талию и затем, к величайшему изумлению полковника Гамильтона, тихо увела ее из комнаты, где находились столь высокопоставленные особы.

Когда дверь за ними закрылась, полковник Гамильтон полувопросительно полуулыбаясь взглянул на своего начальника. Вашингтон ответил ему добродушным, но значительным взглядом и затем спокойно сказал:

— Если вы разделяете мои подозрения, полковник, то нет необходимости напоминать вам о том, что это вопрос очень деликатный и вам лучше всего было бы пока хранить тайну в своем сердце. Во всяком случае, вы не будете говорить джентльмену, которого вы, может быть, подозреваете, о том, что сегодня произошло.

— Как угодно, генерал, — почтительно ответил офицер. — Но смею спросить, — тут он на мгновение запнулся, — неужели вы думаете, что более серьезное чувство, чем минутное увлечение хорошенькой девушкой...

— Если я просил вас, полковник, сохранить в тайне это дело, — прервал его Вашингтон, добродушно кладя руку ему на плечо, — то я считаю его достаточно важным, чтобы уделить ему особое внимание.



— Прошу извинения у вашего превосходительства,— сказал молодой человек, и его свежие щеки заалелись, как у девушки.— я только хотел сказать...

— Что вы просите освободить вас на сегодняшний вечер,— снова перебил его Вашингтон с добродушной улыбкой,— тем более, что вы хотите провести время в обществе нашего дорогого друга мисс Скайлер и ее гости. Она девушка капризная и своенравная, но, кажется, честная. В обращении с нею, полковник, блесните своими лучшими качествами, но будьте благоразумны и не слишком любезны, а то нам придется возиться еще с одной девицей, оскорбленной в своих лучших чувствах,— с мисс Скайлер,— и веселым движением руки (оно было очень характерно для него и отнюдь не противоречило его достоинству) он не то повел к двери, не то вытолкнул своего юного секретаря из комнаты.

Когда дверь за полковником закрылась, леди Вашингтон, шелестя платьем, подошла к мужу, который неподвижно и молча стоял у камина.

— Вы находите, что за этой дерзкой выходкой скрывается политическая интрига или даже измена? — спросила она послешно.

— Нет,—спокойно ответил Вашингтон.

— Вы думаете, что это только пустая любовная интрижка с глупой и самолюбивой деревенской девчонкой?

— Простите, миледи,—сказал Вашингтон серьезно.— Я не сомневаюсь в том, что мы ее недооцениваем. Обыкновенная провинциальная девушка не могла бы привести в волнение всю округу. Придерживаться такого мнения означало бы нанести оскорбление всему вашему полу. Нельзя поручиться, что она не поймала в свои сети такую важную персону, о которой она говорила. А если это действительно так, это придает новый интерес проблеме взаимопонимания и дружественных отношений между государствами.

— Эта пустая девчонка!—воскликнула леди Вашингтон.— Эта интрижка с коннектикутским капитаном, ее любовником! Простите, но это просто нелепо! — И она с чопорным поклоном удалилась из комнаты, оставив знаменитого исторического деятеля, как обычно оставляют знаменитых исторических деятелей, в одиночестве.

Но позже, вечером, мисс Скайлер так успешно утешала плачущую и взволнованную Тэнкфул, что у той вскоре высохли глаза, и перед затейливым зеркальцем в комнате мисс Скайлер она смогла привести в порядок свои каштановые волосы, а мисс Скайлер помогала ей советами, предлагая то подправить здесь, то подтянуть там, в полном соответствии с тайной конспирацией, объединяющей всех женщин.

— Вы дешево отделались от этого вероломного капитана, дорогая мисс Тэнкфул, и мне кажется, что к таким великолепным волосам, как у вас, больше всего подойдет новая модная прическа, хотя в ней есть что-то легкомысленное. Уверяю вас, что она пользуется большим успехом в Нью-Йорке и Филадельфии — вот так, посмотрите, прямо назад, со лба.

Дело кончилось тем, что через час мисс Скайлер и мисс Тэнкфул предстали в приемной перед полковником Гамильтоном, блистая изысканностью туалета, которая не только совершенно посрамила деловитую небрежность молодого офицера, но и заставила его широко раскрыть глаза от удивления.

— Может быть, она предпочла бы предаться горю в одиночестве, — неуверенно сказал он, отведя мисс Скайлер в сторону, — чем блистать в обществе.

— Чепуха, — отрезала мисс Скайлер. — Неужели молодая девушка должна убиваться и вздыхать только потому, что возлюбленный обманул ее доверие?

— Но ее отец в тюрьме, — сказал Гамильтон, несколько изумленный.

— Посмотрите мне прямо в глаза, — сказала мисс Скайлер с озорной усмешкой, — и попробуйте заявить, что вы не знаете, что в течение двадцати четырех часов с него будут сняты все обвинения. Чепуха! Неужели вы думаете, что я ничего не вижу? Неужели вы думаете, что я не поняла выражения лица у обоих — у вас и у генерала?

— Однако, дорогая мисс Скайлер... — начал было смущенный офицер.

— О, я ей уже на это намекнула, хотя и не объяснила, почему, — возразила мисс Скайлер с лукавым огоньком в темных глазах, — хотя у меня было достаточно оснований поступать именно так, и это было бы вам хоро-

шим уроком за то, что вы хотели сохранить все в тайне от меня!

Выпустив эту парфянскую стрелу, она вернулась к мисс Тэнкфул, которая, прижав лицо к стеклу, смотрела на освещенный луной крутой берег реки Уиппани.

И было на что посмотреть! Американская весна— очень капризное время, и погода опять, как бы по волшебству, внезапно изменилась. Дождь прекратился, и земля покрылась тонким слоем льда и снега, блестящим в лунном сиянии под ясным небом. Северо-восточный ветер, который рвал плохо закрепленные оконные рамы, превратил мокрые деревья и кусты в ледяные сталактиты, сверкавшие, как серебро, под холодными лучами луны.

— Великолепное зрелище, милые леди,— сказал грубовато добродушный мужчина средних лет, подходя к дамам, стоявшим у окна.— Но дай бог, чтобы скорее наступила весна и больше не было таких ужасных перемен в погоде. Красавица луна прелестна, когда проливает свой блеск над вершинами леса, но я сомневаюсь, видит ли она с высоты множество несчастных, дрожащих от холода там, в лагере, под драными одеялами. Если бы вы видели, как эти оборванцы из Коннектикута маршировали вчера вечером с винтовками прикладом вверх и огрызались на его превосходительство, хотя и не осмеливались укусить! Если бы вы видели этих малодушных, этих людей, похожих на Фому Неверного, готовых восстать против его превосходительства, против дела нации, а главным образом против плохой погоды,— вы стали бы молить бога о том, чтобы сердца этих людей растаяли так же, как тают вокруг нас эти неподатливые поля. Еще две недели такой погоды — и у нас появится не один Аллан Брустер, а целая дюжина таких недовольных щенков, которые вот-вот предстанут перед военно-полевым судом.

— И все-таки это прекрасная цель, генерал Салливан,— сказал полковник Гамильтон, довольно сильно толкнув локтем в бок старшего офицера,— в такую ночь, я полагаю, будет нетрудно выследить нашего гостя — этот призрак.

Обе дамы заинтересовались этими словами, и полковник Гамильтон, так ловко обойдя с фланга своего начальника, продолжал:

— Надо вам знать, что в нашем лагере, а говорят, и во всей округе, иногда появляется призрак в сером плаще, лицо у него закутано и спрятано в воротник; он всегда точно знает пароль, и часовым так и не удалось установить его личность. Говорят, что многие считают этот призрак, поскольку его неоднократно видели перед внезапным наступлением, или атакой врага, или перед какими-нибудь другими неприятностями, грозящими армии, добрым гением или ангелом-хранителем нашего дела; как добрый гений, он побуждает часовых и охрану быть более бдительными. Некоторые считают его предвестником грозных бедствий. Перед последним мятежом коннектикутской милиции мистер Серый Плащ бродил повсюду в окрестностях лагеря, потрепанного бурями и утопающего в грязи, и я не сомневаюсь, что он наблюдал всю предварительную подготовку, которая привела к тому, что этот полк трусливых и слезливых сопляков стал жаловаться самому генералу на все свои горести и обиды.

Тут полковник Гамильтон, в свою очередь, получил легкий толчок в бок от мисс Скайлер и несколько неожиданно оборвал свою речь.

Мисс Тэнкфул не могла, конечно, не заметить этих двух намеков на ее чеверного возлюбленного, но они возбуждали в ней только горькое чувство обиды и оскорбленной гордости. Действительно, во время первой вспышки негодования при извещении о его аресте, а затем позднее, когда она узнала об аресте отца, и, наконец, когда она обнаружила измену капитана, она забыла о том, что он был ее возлюбленным; она забыла всю свою былую нежность к нему; и теперь, когда пламя негодования угасло, осталось только ощущение оцепенения и пустоты. Все, что было в прошлом, казалось ей теперь недостойным сожаления, как будто все это произошло не с нею, а с какой-то другой Тэнкфул Блоссом, которая в ту ночь навеки исчезла во вьюге. Она чувствовала, что за последние сутки она стала, пожалуй, не *другой* женщиной, а *первый раз* в жизни стала *женщиной*.

Однако странно то, что ее смятение еще больше усилилось, когда несколько минут спустя разговор перешел на майора Ван-Зандта. Еще более странно было то, что она даже испугалась этого волнения. В конце концов она

обнаружила, что со смешанным чувством раздражения, стыда и любопытства прислушивается к похвалам, расточаемым этому джентльмену за его храбрость, преданность долгу и высокие личные качества. На одно мгновение ей пришла в голову дикая мысль броситься на грудь мисс Скайлер и признаться, как грубо она обошлась с майором. Но мысль о том, что мисс Скайлер поделится этой тайной с полковником Гамильтоном и что майору Ван-Зандту может и не понравиться такая откровенность, и вместе с тем, в причудливом сочетании с этой мыслью, чувство непреодолимого раздражения по отношению к этому красивому и любезному молодому офицеру заставили ее промолчать. «Кроме того,— сказала она себе,— если он такой замечательный человек, как о нем говорят, он должен был бы понять, что я тогда переживала и что я вовсе не хотела обойтись с ним грубо». И этой неопровержимой, чисто женской логикой бедной Тэнкфул в какой-то мере удалось успокоить волнение своего честного, правдивого сердца.

Но боюсь, что не совсем; она провела беспокойную ночь. Как у всех впечатлительных натур, период размышления и, может быть, разочарования наступил у нее тогда, когда все поступки были уже совершены и когда разум, по-видимому, озарял лишь путь к отчаянию. Она сознавала все безумие своего вторжения в штаб, когда, как ей казалось, уже ничего нельзя было исправить; она понимала теперь все неприличие и невежливость своего поведения по отношению к майору Ван-Зандту теперь, когда из-за расстояния и времени любые извинения были слабыми и бесплодными. Я думаю, что она даже тихонько всплакнула про себя, лежа в незнакомой и мрачной комнате мисс Скайлер, безмятежно спавшей рядом. Она то завидовала спокойной уверенности, доброте и любезности этой девушки, то ненавидела ее, и, наконец, не в силах вынести все это дальше, бесшумно выскользнула из постели и, несчастная и безутешная, застыла у окна, которое выходило на крутой склон берега реки Уиппани. Лунный свет ярко сиял на свежавыпавшем, холодном и девственном снегу. Немного дальше, налево, он блестел на штыке часового, шагавшего по берегу реки, и этот свет успокаивал девушку и укреплял мысль, которая вдруг блеснула у нее в уме. Раз она не может уснуть,

почему бы ей немножко не прогуляться, чтобы устать? Она привыкла бродить вокруг своей фермы в любую погоду, в любое время дня и ночи, в любое время года. Она вспомнила одну бурную ночь, когда ей пришлось серьезно позаботиться о своей любимой олдернейской корове, которая как раз в эту ночь вздумала телиться, и как она спасла жизнь телят-сосунку, который лежал у сарая, как будто только что свалился с облаков в эту страшную бурю. Вспомнив об этом, она живо накинула платье, набросила на плечи плащ мисс Скайлер и неслышно прокралась вниз по узкой лестнице, прошла мимо слуги, спавшего на кушетке, и, открыв заднюю дверь, сразу вдохнула свежий воздух и побрела вниз по хрустящему снегу, устлавшему склон холма.

Но мисс Тэнкфул не приняла во внимание разницу между ее родной фермой и военным лагерем. Не успела она пройти и десятка ярдов, как несколько ниже, на склоне холма, выросла фигура человека и, преградив ей путь штыком, произнесла:

— Стой!

Горячая кровь хлынула к щекам девушки: она в первый раз в жизни услышала столь повелительный приказ; однако она невольно остановилась и молча, со своей обычной смелостью встретила взгляд незнакомца.

— Кто идет? — сказал часовой, все еще держа штык на уровне ее груди.

— Тэнкфул Блоссом, — быстро ответила она.

Часовой сделал ружьем на караул.

— Проходи, Тэнкфул Блоссом, и да пошлет нам бог победу, а с нею и весну! Доброй ночи, — сказал он с сильным ирландским акцентом.

И, прежде чем изумленная девушка уловила смысл его отрывистого обращения и отдала себе отчет, почему он внезапно отошел в сторону, он уже снова начал шагать взад и вперед, озаренный лунным сиянием. А она стояла и смотрела ему вслед, и вся эта сцена, нереальная призрачность освещенного луной пейзажа, необычайность ее положения, меланхолическое течение ее мыслей — все это казалось ей сном, который утренняя заря, может быть, и развеет, но никак не сможет полностью объяснить.

С этим чувством она стала спускаться дальше к реке. Берега все еще были окаймлены льдом, а посредине бесшумно катился темный поток воды. Она знала, что река протекает через лагерь, где заключен ее неверный возлюбленный, и на одно мгновение в ней загорелось желание пойти вдоль по течению и бросить ему обвинение прямо в глаза. Но даже и при этой мысли ее удержало какое-то новое, внезапное сомнение в своих силах, и она продолжала стоять, мечтательно следя за мерцанием лунного света на ледяной кромке у берега, пока другое и, как показалось ей, столь же призрачное видение внезапно не заставило ее вздрогнуть. Ноги у нее подкосились, и кровь отхлынула от лихорадочно пылающих щек.

Со стороны спящего лагеря медленно приближалась человеческая фигура. Высокая, прямая, облаченная в серое пальто, в капюшоне, частично скрывающем лицо, она казалась тем призраком, рассказ о котором она сегодня слышала. Тэнкфул затаила дыхание. Храброе сердечко, которое за минуту до этого не дрогнуло перед штыком часового, теперь тревожно забилось и застыло, когда привидение двинулось к ней медленной и величественной походкой. Она едва успела спрятаться за дерево, как призрак, не заметив ее, торжественно проследовал мимо. Несмотря на испуг, Тэнкфул сохранила наблюдательность, свойственную практически сельским жителям, и заметила, что снег явственно хрустел под ногами призрака и на снегу оставались следы ботфортов. Румянец снова появился на щеках Тэнкфул, а вместе с ним вернулась и ее обычная смелость. В следующее мгновение она вышла из-за дерева и, крадучись, как кошка, последовала за привидением, которое теперь едва виднелось во тьме на склоне холма. Перебегая от дерева к дереву, она шла за ним, пока призрак не остановился перед дверью низенькой хижины или сарая на полпути к вершине холма. Призрак вошел туда, и дверь за ним закрылась. С лихорадочной настороженностью Тэнкфул наблюдала за дверью хижины, надежно укрывшись за стволом огромного клена. Через несколько минут дверь открылась, и та же фигура вновь показалась на пороге, но уже без серого облачения. Забыв обо всем на свете, кроме желания уличить и разоблачить обманщика, бесстрашная девушка вышла из-за дерева и преградила ему дорогу. Тогда он в недоу-

мении взглянул на нее, и лунный свет ярко озарил спокойные, невозмутимые черты генерала Вашингтона.

В полной растерянности Тэнкфул сделала неловкий реверанс, и на щеках ее запылала краска смущения. Лицо мнимого призрака оставалось неподвижным.

— Поздно вы гуляете, мисс Тэнкфул, — произнес он наконец с отеческой серьезностью, — боюсь, что формальные ограничения, существующие в военных условиях, уже доставили вам неприятности. Например, вот тот часовой мог остановить вас.

— Он и остановил, — быстро подхватила Тэнкфул. — Но все обошлось хорошо, не беспокойтесь, ваше превосходительство. Он спросил меня: «Кто идет?», — а я ему ответила, и он, уверяю вас, был со мной в высшей степени вежлив.

Серьезное лицо главнокомандующего осветилось улыбкой.

— Вы счастливее, чем большинство женщин, — вам удалось извлечь из любезности практическую пользу. Так знайте же, моя дорогая барышня, что в честь вашего приезда паролем на сегодняшнюю ночь по всему лагерю было ваше собственное милое имя: «Тэнкфул Блоссом».

В глазах у девушки блеснули слезы, и губы ее задрожали. И хотя обычно она всегда умела быстро ответить, сейчас она могла только прошептать:

— О, ваше превосходительство!

— Так, значит, вы все-таки прошли мимо часового? — продолжал Вашингтон, пристально глядя на нее, и глубокая наблюдательность светилась в его серых глазах. — И вы, конечно, отправились на берег реки. Хотя я и сам, соблазненный тишиной ночи, иногда прогуливаюсь вот до того сарая, но для девушки проходить за линию часовых — вещь опасная.

— О, я никого не встретила, ваше превосходительство! — поспешно сказала обычно правдивая Тэнкфул, первый раз в жизни прибегая ко лжи, с пылкостью, в которой ясно чувствовалась благодарность.

— И никого не видели? — спокойно спросил Вашингтон.

— Никого, — ответила Тэнкфул, поднимая карие глаза на генерала.

Они смотрели друг на друга, она — самая правдивая



по натуре молодая женщина в английских колониях, и он — аллегорическое воплощение Правды в Америке, — и оба знали, что каждый из них лжет, и, я думаю, уважали за это друг друга.

— Я рад это слышать, мисс Тэнкфул, — сказал Вашингтон спокойно, — ведь с вашей стороны было бы вполне естественно искать свидания с вашим неверным возлюбленным там, в лагере, хотя эта попытка была бы и неблагоразумной и неосуществимой.

— Я не думала об этом, ваше превосходительство, — сказала Тэнкфул (она действительно совсем забыла о своем недавнем намерении), — но если бы я получила от вас разрешение на короткий разговор с капитаном Брустером, это сняло бы с моей души огромную тяжесть.

— Сейчас это было бы неудобно, — задумчиво промолвил Вашингтон. — Но через день или два капитан Брустер предстанет перед военно-полевым судом в Морристауне. Когда его отправят туда, будет отдано распоряжение, чтобы конвой сделал привал на ферме Блоссом. Я позабочусь о том, чтобы офицер, командующий конвоем, дал вам возможность повидать его. Думаю, что также могу обещать вам, мисс Тэнкфул, что ваш отец к тому времени вернется домой свободным человеком.

Они подошли к входу в здание и вошли в вестибюль. Тэнкфул вдруг пылко обернулась и поцеловала протянутую руку главнокомандующего.

— Вы так добры, а я такая глупая, такая нехорошая, такая нехорошая! — сказала она, и губы у нее слегка задрожали. — А вы, ваше превосходительство, значит, верите моему рассказу, и эти джентльмены оказались не шпионами, а именно теми, за кого они себя выдают.

— Этого я не говорил, — ответил Вашингтон с добродушной улыбкой. — Но не в этом дело. Скажите-ка лучше, мисс Тэнкфул, как далеко зашло ваше знакомство с этими джентльменами, или оно закончилось той пощечиной, которую вы дали барону?

— Он просил меня поехать с ним в Баскингридж, и я сказала... «да», — смущенно пробормотала Тэнкфул.

— Если я правильно понимаю вас, мисс Тэнкфул, вы можете, не принося подобной жертвы, обещать мне, что

не будете видаться с ним, пока я вам этого не разрешу,— сказал Вашингтон полусерьезно, полушутливо.

Правдивые глаза Тэнкфул блеснули ярким светом, когда она подняла их на Вашингтона.

— Обещаю,— тихо сказала она.

— Доброй ночи,— сказал главнокомандующий с учтивым поклоном.

— Доброй ночи, ваше превосходительство!

#### ЧАСТЬ IV

Солнце стояло уже высоко над Шорт-Хиллс, когда на следующее утро мисс Тэнкфул остановила свою взмыленную лошадь у ворот фермы Блоссом. Никогда еще она не выглядела такой хорошенькой, никогда еще она не чувствовала такого смущения, как в тот момент, когда вошла в свой собственный дом. Во время бешеной скачки она приготовила для майора Ван-Зандта извинительную речь, которая, однако, совершенно улетучилась с ее уст, когда этот офицер с почтительным видом встретил ее на пороге. Однако она позволила ему взять на себя обязанности ухмыляющегося Цезаря и помочь ей сойти с лошади, хотя сознавала, что ведет себя, как застенчивая деревенская девушка, одержимая неуклюжей робостью. Наконец, пробормотав «Благодарю вас!», она стремительно помчалась вверх по лестнице, чтобы скрыть свое пылающее лицо и застенчивые взоры.

В течение всего дня майор Ван-Зандт вел себя очень спокойно и старался не попадаться ей на глаза; впрочем, нельзя было сказать, что он демонстративно избегал ее. Однако, встречаясь с ним при исполнении обязанностей хозяйки, невинная мисс Тэнкфул, опуская унылые, виноватые глаза, замечала, что офицер не сводит с нее взора. И она невольно стала подражать ему, и они поглядывали друг на друга украдкой, по-кошачьи, и прижимались к стенкам комнат и коридоров, чтобы, чего доброго, другой не подумал, что с ним ищут встречи, а при встрече (конечно, случайной!) обменивались самыми церемонными и чопорными реверансами и поклонами. И только в конце второго дня, когда элегантный майор Ван-Зандт почувствовал, что он быстро превращается в слюнявого

идиота и неуклюжего деревенского болвана, прибытие курьера из штаба помогло этому джентльмену навеки сохранить уважение к собственной особе.

Мисс Тэнкфул находилась в гостиной, когда он постучался к ней в дверь. Она открыла ее и ощутила внезапную дрожь.

— Прошу прощения за беспокойство, мисс Тэнкфул Блоссом,— сказал он серьезно,— но я получил,— и он протянул ей, по-видимому, очень важный документ,— письмо из штаба на ваше имя. Я надеюсь, что оно содержит приятную весть о возвращении вашего отца и что оно освобождает вас от моего присутствия здесь и от того шпионства, которое, поверьте, столь же неприятно мне, как и вам!

Как только он вошел в комнату, Тэнкфул вскочила с чистосердечным намерением произнести подготовленную заранее небольшую извинительную речь, но, когда он кончил говорить, она с нежностью взглянула на него и разразилась слезами. Конечно, он в одно мгновение очутился рядом с нею и схватил ее маленькую ручку. Тогда ей сквозь слезы удалось вымолвить, что она все время хотела извиниться перед ним; что уже со времени своего возвращения она хотела сказать, что поступила грубо, очень грубо, и знает, что он никогда не простит ее; что она хотела признаться, что никогда не забудет его милой снисходительности, «только,— добавила она, внезапно поднимая на удивленного молодого человека свои блистающие слезами карие глаза,— вы мне ни разу не дали возможности».

— Дорогая мисс Тэнкфул,— сказал майор, переживая ужасные угрызения совести,— если я избегал вас, то, поверьте мне, только потому, что боялся грубо вторгаться в ваше горе. Право же, я... дорогая мисс Тэнкфул... я...

— Когда вы всячески старались пройти через переднюю, минуя столовую, чтобы я не могла попросить у вас прощения,— всхлипывая, проговорила мисс Тэнкфул,— я думала... что вы... должно быть, ненавидите меня и предпочитаете...

— Может быть, это письмо вас успокоит, мисс Тэнкфул,— сказал офицер, указывая на конверт, который она все еще машинально держала в руках.

Покраснев при мысли о своей рассеянности, Тэнкфул распечатала письмо. Это был полуофициальный документ, который гласил следующее:

«Главкомандующий рад сообщить мисс Тэнкфул Блоссом, что обвинения, выдвинутые против ее отца, оказались после тщательного расследования неосновательными и мелочными. Главкомандующий далее извещает мисс Блоссом, что джентльмен, известный ей под именем барона Помпосо,— не кто иной, как его превосходительство дон Хуан Моралес, чрезвычайный и полномочный посол испанского двора, и что джентльмен, известный ей в качестве «графа Фердинанда», на самом деле сеньор Годой, секретарь посольства. Главкомандующий желал бы добавить, что мисс Тэнкфул Блоссом освобождается от дальнейших обязательств гостеприимства по отношению к этим почтенным джентльменам, так как главкомандующий с глубоким сожалением должен сообщить о внезапной и прискорбной кончине его превосходительства, последовавшей сегодня утром от брюшного тифа, и о том, что весь состав посольства, по-видимому, вскоре отбудет на родину.

В заключение главкомандующий хотел бы отдать должное правдивости, проникательности и благоразумию мисс Тэнкфул Блоссом.

По приказанию его превосходительства  
генерала Джорджа Вашингтона

*Александр Гамильтон, секретарь.*

Адрес: Мисс Тэнкфул Блоссом, на ферме Блоссом».

В продолжение нескольких минут Тэнкфул Блоссом молчала, а потом подняла свои растерянные глаза на майора Ван-Зандта,—ей было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться, что он ничего не знает об обмане, на который она попала, что он ничего не знает о ловушке, в которую завлекли ее собственное тщеславие и упрямство.

— Дорогая мисс Тэнкфул,— сказал майор, видя на ее лице смущение,— надеюсь, что новости не плохие. Я точно узнал от сержанта...

— Что? — спросила Тэнкфул, пристально глядя на него.

— Что самое большее в течение двадцати четырех часов ваш отец будет свободен и что с меня снимут обязанность...

— Я знаю, что вам надоели ваши обязанности, майор,— с горечью сказала Тэнкфул,— что ж, радуйтесь, ваши сведения верны, и мой отец оправдан... разве только... разве только это не подложное письмо, и генерал Вашингтон не генерал Вашингтон, и вы не вы.— Здесь она вдруг умолкла и спрятала свое заплаканное лицо в оконной занавеске.

«Бедная девушка! — сказал себе майор Ван-Зандт.— Она чуть не помешалась от горя. Ну и дурак же я был, что принял близко к сердцу оскорбление от девушки, которая от печали и волнения утратила разум и ответственность за свои слова! Пожалуй, мне сейчас лучше удалиться и оставить ее одну». И молодой человек медленно направился к двери.

Но в этот момент в оконной занавеске возникли тревожные признаки отчаяния и растерянности, и майор остановился, прислушиваясь. Из глубин кисей раздался жалобный голос:

— И вы уходите, не простив меня!

— Простить вас, мисс Тэнкфул,— сказал майор, шагнув к занавеске и схватив маленькую ручку, которая старалась выпутаться из складок,— простить вас... Нет, скорее вы должны простить меня... за безумие... за жестокую ошибку... и...

Здесь майор, доселе прославленный своим искусством не задумываясь говорить комплименты, совершенно смешался и умолк. Но ручка, которую он держал, была уже не холодная, а теплая и как бы озарена разумом. Утратив дар связной речи, он крепко держал ручку, как путеводную нить своих мыслей, пока мисс Тэнкфул потихоньку не высвободила ее, поблагодарила майора за то, что он простил ее, и вновь еще глубже зарылась в занавеску.

Когда он ушел, она бросилась на стул и опять дала волю неистовому потоку слез. В течение последних суток ее гордость была совершенно повергнута в прах; независимый дух этой своевольной красавицы впервые узнал горечь поражения. Когда она оправилась от страшного для женщины удара при известии о смерти мни-

мого барона, боюсь, что она испытала только эгонстическое сожаление о его исчезновении, считая, что если бы он остался в живых, он сумел бы тем или иным способом доказать всему свету (теперь это был для нее штаб и майор Ван-Зандт), что он действительно ухаживал за нею и, возможно, благородно любил ее, и у нее мог бы оказаться удобный случай отвергнуть его. А теперь он умер, и весь свет будет считать ее только занятой игрушкой на маскараде знатных джентльменов.

С чувством горечи в душе она нисколько не сомневалась в том, что алчность и тщеславие заставили ее отца согласиться на этот обман. Нет, подумать только! Любимый человек, друг, отец — все оказались изменниками, и доброе отношение она нашла лишь в тех, кого так своенравно обидела. Бедная маленькая Блоссом! Бедный маленький цветок! Право же, этот цветок распустился преждевременно. Я боюсь, что это был очень неблагоприятный цветок—Блоссом<sup>1</sup>. Она сидела здесь, дрожа от первого ледяного вихря враждебной судьбы, покачиваясь взад и вперед, край ее кисейной накидки трепетал у нее на плечах, а туфельки с пряжками и чулки со стрелками жалостно скрестились у нее перед глазами.

Но цветущая юность скоро забывает горести, и через час или два Тэнкфул уже стояла в хлеву, обвинив руками шею своей любимой телки, которой она поведала большинство своих горестей и от которой добилась почти интеллектуального, хоть и несколько слянявого сочувствия. Затем она без всяких оснований резко разбранила Цезаря, а мгновение спустя вернулась домой с видом глубоко оскорбленного ангела, который разочаровался в некоей божественной идее — направить мир на истинный путь, но не утратил способности прощать. Это зрелище погрузило майора Ван-Зандта в темные бездны угрызений совести, и в конце концов он отправился в лагерь выкурить со своими солдатами трубочку виргинского табака. Видя это, Тэнкфул рано улеглась спать и плакала, пока не заснула. Природа, по-видимому, последовала ее примеру, ибо на закате солнца наступила сильная оттепель; к полуночи освобожденные от льда ре-

---

<sup>1</sup> Игра слов. Blossom — по-английски цветок.

ки и ручьи мелодично зажурчали, а деревья, кусты и изгороди стали влажными, и с них заструилась капель.

Румяная заря наконец пробилась через туманную дымку, которая скрывала пейзаж. Тогда произошла одна из магических перемен, свойственных американскому климату, но особенно заметных в ту историческую зиму и весну. К десяти часам утра 3 мая 1780 года знойное, как в июне, солнце прорезало эту туманную дымку и залило лучами мрачный зубчатый профиль Джерсийских гор. Промерзшая земля слабо отвечала на этот поцелуй; может быть, только ивы, желтевшие на берегу реки, заблестали более яркими красками. Но сельские жители были уверены, что весна наконец пришла, и даже корректный и выдержанный майор Ван-Зандт помчался в комнату мисс Тэнкфул и объявил ей, что один из его солдат нашел на лугу фиалку. Мисс Тэнкфул сейчас же накинула плащ, надела деревянные башмаки и побежала взглянуть на этого первенца запоздавшей весны. Вполне естественно, что майор Ван-Зандт сопровождал ее в этой прогулке, и, забыв о своих былых раздорах, они, как настоящие дети, сбежали вниз по влажному скалистому склону, который вел к болотистому лугу. Таково могущественное влияние весны.

Но фиалок не было видно. Мисс Тэнкфул, не обращая внимания на мокрые листья и свое новое платье, стала разгребать руками высохшую траву. Майор Ван-Зандт, опершись о большой камень, восхищенными глазами наблюдал за нею.

— Так вы цветов не найдете, — промолвила она наконец, нетерпеливо поглядывая на него. — Встаньте на колени, как честный человек. На свете есть вещи, ради которых стоит унизиться.

Майор мгновенно опустился на колени рядом с нею. Но в этот момент мисс Тэнкфул нашла свои фиалки и вскочила на ноги.

— Оставайтесь в таком положении, — лукаво сказала она, наклоняясь и вдевая цветок в петлицу его мундира. — Это я хочу загладить свою грубость. А теперь вставайте!

Но майор не встал. Он поймал две маленькие ручки, которые, казалось, порхали, как птицы, у его груди, и, глядя в ее смеющееся лицо, воскликнул:

— Дорогая мисс Тэнкфул, осмелюсь напомнить вам ваши собственные слова, что «есть вещи, ради которых стоит унизиться». Представьте себе, мисс Тэнкфул, мою любовь в виде цветка — может быть, не такого прелестного, как ваши фиалки, но такого же искреннего и... и... и...

— Так же готового расцвести в одну ночь, — засмеялась Тэнкфул. — Но нет, майор, встаньте! Что скажут благовоспитанные дамы из Морристауна, если узнают, что вы стояли на коленях перед провинциальной девчонкой — игрушкой знатных джентльменов? Что, если мисс Толтон увидит, как ее поклонник, блестящий майор Ван-Зандт, повергает свои чувства к ногам опозоренной девушки, покинутой низким изменником? Пустите мою руку, прошу вас, майор, если вы меня уважаете...

Он отпустил ее, но она еще мгновение задержалась около него, и слезы дрожали на ее длинных темных ресницах. Затем она сказала дрожащим голосом:

— Встаньте, майор. Забудем об этом. Прошу вас, простите меня, если я опять была груба с вами.

Майор попытался встать, но не мог. Здесь я, к сожалению, должен сообщить об одном обстоятельстве: оказалось, что одна из его стройных ног попала в трясину, и он заметно стал погружаться. По этому поводу мисс Тэнкфул разразилась вибрирующей трелью: «Ха-ха-ха!» — потом приняла весьма скромный вид и горестно посочувствовала неприятности, которая с ним приключилась, а затем снова рассмеялась. Майор не мог не заразиться ее весельем, хотя его лицо побагровело. Но затем с тревожным восклицанием она подбежала к нему и обвила его шею руками.

— Отойдите прочь, ради бога, отойдите прочь, мисс Блоссом, — поспешно сказал он, — или я потяну вас за собою, вы попадете в такое же нелепое положение.

Но сообразительная девушка уже отскочила к ближайшему валуну.

— Снимите ремень, — быстро скомандовала она, — обвяжите его вокруг пояса и бросьте мне другой конец.

Он повиновался.

Она уперлась о камень.

— Ну, теперь давайте тянуть вместе! — крикнула она, потянула за ремень, и хорошо натренированные мускулы вздулись на ее округлых руках.



И вот — сначала длительный рывок, потом сильный рывок, потом и тот и другой сразу, и, наконец, она вытянула майора на камень. И тогда она снова расхоталась. А потом, как это ни странно, вдруг сделалась серьезной и стала отчищать и обтирать его сухими листьями, ветками папоротника, носовым платком и полкой своего плаща, как будто он был ребенком, пока он не покраснел от смешанного чувства стыда и тайного удовольствия.

Возвращаясь на ферму, они почти все время молчали; мисс Тэнкфул опять стала очень серьезной. А солнце весело сияло над ними; природа была полна радостью обновления и новой, пробуждающейся жизни; легкий ветерок нашептывал нежные обещания о надеждах, которые должны сбыться летом.

И они все шли и шли вперед, пока не дошли до дома, сознавая не то с блаженством, не то со страхом, что они уже не те, какими были полчаса тому назад.

Тем не менее у порога мисс Тэнкфул вновь обрела свою былую смелость. Они стояли в передней, и она подала ему ремень. И при этом не могла удержаться, чтобы не сказать:

— Есть вещи, ради которых стоит унизиться, майор Ван-Зандт.

Но она не рассчитывала на смелость молодого человека, и, когда она уже повернулась и собиралась убежать, он схватил ее в объятия и привлек к себе. Я полагаю, что она честно сопротивлялась и, может быть, даже больше испугалась собственных чувств, чем его порыва. Но следует отметить, что, уловив момент сравнительно слабого сопротивления, он поцеловал ее, а затем, сам испугавшись, быстро выпустил, после чего она умчалась в свою комнату и бросилась на кровать, тяжело дыша и в полном смятении. В течение часа или двух она лежала с пылающими щеками, во власти противоречивых мыслей. «Он больше никогда не должен целовать меня, — тихо сказала она самой себе, — если только не...» Но в ее сознание ворвалась совсем иная мысль, и она продолжала: «Я умру, если он больше не будет меня целовать. Я никогда в жизни не смогу поцеловать другого человека». А затем она вздрогнула, заслышав на

лестнице шаги, которые за это короткое время научилась узнавать и ожидать, и стук в дверь. Она открыла ее майору Ван-Зандту — бледному, без кровинки в лице, так что на нем снова, как грозное обвинение, слабо проступила красная полоса от удара ее хлыста, нанесенного два дня тому назад. Кровь отхлынула от ее щек, и она молча смотрела на него.

— Только что,— сказал майор Ван-Зандт медленно и с военной точностью,— сюда прибыл отряд драгун и привез некоего капитана Аллана Брустера из коннектикутского полка. Его отправляют в Морристаун для предания суду за мятеж и измену. В частной записке полковник Гамильтон предписывает мне разрешить вам личное свидание с ним, если вы сами этого пожелаете.

Со стремительной и, как часто бывает, безнадежной женской интуицией Тэнкфул догадалась, что в записке содержалось не только это и что ее отношения с капитаном Брустером были известны майору. Но она гордо выпрямилась и, обратив свои правдивые глаза к майору, сказала:

— Да, желаю.

— Ваше желание будет исполнено, мисс Блоссом,— произнес офицер с холодной вежливостью и повернулся кругом, чтобы уйти.

— Одну минуту, майор Ван-Зандт,— поспешно сказала Тэнкфул.

Майор быстро обернулся. Но взор Тэнкфул был задумчиво обращен вперед; его она едва замечала.

— Я предпочла бы,— сказала она робко и нерешительно,— чтобы это свидание произошло не под крышей, где... где... где живет мой отец. Невдалеке отсюда, на лугу, есть коровник, перед ним часть разрушенной стены, а напротив растет платан. Он знает это место. Скажите, что я приду туда через полчаса.

Улыбка, которую майор пытался сделать небрежной, саркастически искривила его губы, когда он поклонился в ответ.

— Я думаю, что в первый раз в жизни,— сказал он сухо,— мне доверили честь устроить свидание двух влюбленных, но, поверьте мне, мисс Тэнкфул, я сделаю все, что от меня зависит. Через полчаса я препровожу к вам арестанта.

Через полчаса пунктуальная мисс Тэнкфул, накинув на бледное лицо капюшон, прошла в передней мимо офицера, отправляясь на свидание. А еще через час Цезарь явился к нему с известием, что мисс Тэнкфул желала бы его повидать. Когда майор вошел в гостиную, он был изумлен, увидев, что она лежит на диване, бледная и неподвижная. Но как только дверь за ним затворилась, она вскочила и подошла к нему вплотную.

— Я не знаю,— медленно сказала она,— известно ли вам, что человек, с которым я только что рассталась, целый год был моим возлюбленным, и я думала, что люблю его, и знала, что была ему верна. Если вы об этом еще не слышали, то вот я и сообщаю вам, потому что придет время, когда вы услышите кое-что из чужих уст, а я предпочитаю, чтобы вы узнали всю правду от меня самой. Этот человек изменил мне. Он донес на двух моих друзей, заявив, что они шпионы. Я могла бы ему простить, если бы это была только глупая ревность, но я узнала из его собственных уст, что он стремился выместить свою злобу к главнокомандующему — добиться их ареста и тем самым создать серьезные трудности в американском лагере, — это помогло бы ему в достижении его личных целей. Все это он рассказал мне, — он думает, что я сочувствую его ненависти к главнокомандующему и его собственным обидам и страданиям. К стыду своему, майор Ван-Зандт, я должна признаться, что два дня назад я верила ему и вы казались мне просто прислужником или наемником тирана. Мне не нужно объяснять вам, майор, что, когда я познакомилась с главнокомандующим, которого вы так хорошо знаете, я поняла, как я была обманута. Мне незачем было объяснять этому человеку, что он обманул меня, так как я чувствовала, что... это... не единственная причина, по которой я больше не могу отвечать взаимностью на его любовь.

Она замолчала, когда майор с серьезным видом стал приближаться к ней, и знаком дала ему понять, чтобы он отошел.

— Он горько упрекал меня, что я безучастна к его несчастьям, — продолжала она, — он напомнил мне мои торжественные заверения, показал мои любовные

письма и заявил, что, если я еще люблю его, я должна ему помочь. Я сказала, что, если он больше никогда не будет называть меня своей любимой, если он откажется от всех притязаний на меня, если он больше никогда не будет говорить со мной, писать мне или видаться со мной, наконец, если он возвратит мне мои письма, я ему помогу.

Она умолкла, кровь хлынула на ее бледные щеки.

— Не забывайте, майор, когда я ответила взаимностью на любовь этого человека, я была молодой, глупой, доверчивой девчонкой. Но когда я сделала ему это предложение, он... он... его принял!

— Негодай! — воскликнул майор Ван-Зандт. — Но каким образом вы могли помочь этому двойному изменнику?

— Я помогла ему, — спокойно ответила Тэнкфул.

— Но как? — повторил майор Ван-Зандт.

— Сделавшись сама изменницей! — ответила она, обернувшись к нему почти с яростью. — Послушайте-ка меня! Пока вы спокойно прохаживались здесь, в передней, пока ваши солдаты смеялись и болтали на дороге, Цезарь оседлал мою белую кобылу, самую быструю во всей округе. Он вывел ее на аллею. И теперь она уже мчится прочь в двух милях отсюда, а капитан Брустер сидит на ней верхом. Что же вы не вздрагиваете от изумления, майор? Взгляните на меня. Я изменница, и вот чем меня подкупили... — И она вытащила спрятанную на груди связку писем и швырнула их на стол.

Она была готова ко всему: к вспышке гнева или к грозным упрекам со стороны майора, — но отнюдь не к его холодному молчанию.

— Да скажите же что-нибудь! — воскликнула она наконец в волнении. — Отвечайте! Да раскройте же рот, если даже вы будете проклинать меня! Позовите своих людей и прикажите меня арестовать. Я объявлю, что я виновата во всем, и спасу вашу воинскую честь. Да скажите же вы хоть одно слово!

— Позвольте спросить, — холодно сказал майор, — почему вы два раза изволили нанести мне такие удары?

— Потому что я люблю вас! Потому что, когда я впервые увидела вас, я поняла, что вы единственный человек, который может властвовать надо мною, и я вос-

стала. Потому что, когда я увидела, что не могу бороться с любовью к вам, я поняла, что раньше никогда никого не любила, и решила одним ударом стереть все прошлое, которое собралось судить меня. Потому что я не хотела, чтобы вы когда-нибудь прочли хоть одно мое слово любви, предназначенное не вам.

Майор Ван-Зандт отвернулся от окна, куда он смотрел, и взглянул на девушку с грустной покорностью.

— Если я, по своей глупости, дал вам понять, мисс Тэнкфул, как велика ваша власть надо мной, когда вы снизошли до этой уловки, чтобы пощадить мои чувства, и первая признались в своей любви ко мне, вы должны были бы подумать о том, что совершаете такой поступок, который навеки лишает меня возможности бороться за вас и завоевать вашу любовь. Если бы вы действительно любили меня, ваше женское сердце должно было подсказать вам, что именно мое сердце, сердце джентльмена, считает законом чести. Скажу вам, чтобы облегчить вашу совесть и чтобы оправдать свою собственную, что, если бы этот человек, изменник, мой арестант и некогда ваш возлюбленный, бежал, перехитрил охрану, которой я команду, без вашей помощи, попустительства или даже ведома, я счел бы своим долгом покинуть вас и броситься за ним в погоню даже в том случае, если бы мы с вами стояли перед алтарем.

Тэнкфул слышала его голос как бы издали. Она стояла перед ним, устремив на него глаза и затаив дыхание. И боюсь, что даже теперь она чисто по-женски не понимала его возвышенных суждений о чести и лишь кое-где улавливала смутную ошеломляющую мысль, что он ее презирает и что, прилагая усилия, чтобы завоевать его любовь, она убила ее и погубила его навеки.

— Если вам кажется странным,— продолжал майор,— что я, с моими убеждениями, стою здесь и излагаю моральные аксиомы, в то время как долг призывает меня преследовать вашего возлюбленного, я прошу вас поверить, что делаю это только ради вас. Я хочу, чтобы между вашим свиданием и его бегством прошло достаточное время—это спасет вас от подозрения в сообщничестве. Не думайте,— добавил он с печальной улыбкой, в то время как девушка нетерпеливо шагнула к нему,— не думайте, что я чем-нибудь рискую.

Этот человек не может убежать. У лагеря на много миль кругом расставлены военные пикеты. Он не знает пароля, а его внешность и преступление известны всем.

— Да,— сказала Тэнкфул с жаром,— но часть его собственного полка охраняет дорогу на Баскингридж.

— Откуда вы знаете? — спросил майор, схватив ее за руку.

— Он мне сам сказал.

И не успела она упасть на колени, чтобы вымолить у него прощения, как он помчался прочь из комнаты, отдал какое-то приказание и вернулся с пылающими щеками и сверкающими глазами.

— Послушайте, — стремительно заговорил он, схватив обе руки девушки, — вы сами не знаете, что вы надедали. Я прощаю вас. Но теперь это уже не вопрос долга, а вопрос моей личной чести. Я буду преследовать этого человека в одиночку. Я вернусь с ним или не вернусь совсем. Прощайте! Да благословит вас бог!

Но прежде чем он добежал до двери, она снова остановила его.

— Скажите еще раз, что вы меня простили!

— Конечно, простил.

— Герт!

В голосе девушки прозвучало нечто большее, чем первое обращение к нему по имени, и это заставило майора помедлить еще минуту.

— Я только что... солгала. В конюшне есть лошадь проворнее моей кобылы. Это чалая кобылка во втором стойле.

— Да благословит вас бог!

Он исчез. Она не двигалась с места, пока не услышала топот лошадиных копыт на дороге. Когда несколько минут спустя Цезарь вошел, чтобы сообщить известие о побеге капитана Брустера, комната была пуста. Но вскоре в нее ворвался десяток буйных солдат.

— Конечно, ее нет! — воскликнул сержант Тиббитс. — Эта шельма удрала вместе со своим капитаном.

— Ну, теперь все ясно. Из конюшни исчезли две лошади, не считая майорской, — заметил рядовой Хикс.

Эта критика со стороны военных носила не совсем частный характер. Когда курьер на следующее утро при-

был в штаб, он сообщил, что мисс Тэнкфул Блоссом содействовала побегу своего любовника и бежала вместе с ним.

— Изменник ускользнул из наших рук,— сердито сказал генерал Салливэн.— Он избавил нас от позорного суда над офицером, но о майоре Ван-Зандте поступили неприятные известия.

— А что известно о майоре? — быстро спросил Вашингтон.

— Он преследовал негодяя до Спрингфилда, лошадь его пала, а сам он упал без чувств перед штабом майора Мертон. Скоро начался бред, затем жар и лихорадка, и полковой врач после тщательного осмотра объявил, что у него оспа.

По комнате пронесся шепот ужаса и сожаления.

— Еще один доблестный воин, который мог бы умереть, ведя в атаку войска, пал жертвой отвратительного недуга нищеты,— проворчал Салливэн.— Когда это кончится?

— Одному богу известно,— ответил Гамильтон.

— Бедный Ван-Зандт! Но куда его отправили? В госпиталь?

— Нет. В этом случае было дано специальное разрешение, и говорят, что его перенесли на ферму Блоссом,— поблизости нет никаких соседей, и в доме объявлен карантин. Эбнер Блоссом благоразумно удалился, чтобы не заразиться, а дочь бежала. За больным ухаживают только негр-слуга и какая-то старая карга, так что, если бедный майор выкарабкается и не будет обезображен, у хорошенькой мисс Болтон из Морристауна нет оснований быть шокированной или ревновать его.

## ЧАСТЬ V

Старая карга, упомянутая в предыдущей главе, стояла у окна за занавеской в комнате, которая когда-то была спальней Тэнкфул Блоссом. Она стояла, не поворачивая головы, и скромно, как и полагается старым ведьмам, разглядывала летний пейзаж. Ибо лето наступило раньше, чем закончилась запоздавшая весна, и вязы перед окном уже не лепетали, а красноречиво ше-

лестели в дуновении нежнейших зефиров. В кустах мелькали птицы, пчелы с жужжанием влетали и вылетали из окна, а от земли, как фимнам, подымалось благоухание цветов. Ферма облачилась в веселый наряд невесты, и, глядя теперь на старый дом, окаймленный тенистой листвой, зеленый от вьющихся лоз винограда, трудно было представить себе, что еще недавно крыльцо было занесено снегом, а с мшистых карнизов свисали сосульки.

— Тэнкфул!—послышался слабый, дрожащий голос.

Старая ведьма обернулась, отдернула занавески, и в них показалось милое лицо Тэнкфул Блоссом, которому бледность придавала еще больше очарования.

— Подойди ко мне, дорогая,— повторил голос.

Тэнкфул подошла к дивану, на котором лежал выздоравливающий майор Ван-Зандт.

— Скажи мне, любимая,— продолжал майор, беря ее за руку,— ты объяснила священнику, что венчалась со мною для того, чтобы иметь право ухаживать за мной во время болезни? А тебе не приходило тогда в голову, что, если бы даже смерть пощадила меня, я мог быть так обезображен, что даже ты, моя дорогая, отвернулась бы от меня с отвращением?

— Поэтому я это и сделала, дорогой,— лукаво ответила Тэнкфул.— Я знаю, что гордость и чувство мести и самопожертвования могли бы заставить кое-кого воздержаться от обещания, данного бедной девушке.

— Но, дорогая моя,— продолжал майор, поднося ее руку к губам,— предположим, что могло случиться обратное. Вообрази, что ты тоже могла заболеть, и я бы выздоровел и не превратился в урод, а это прелестное личико...

— Об этом я тоже подумала,— перебила его Тэнкфул.

— Ну, и как бы ты поступила, дорогая? — спросил майор со своей обычной лукавой улыбкой.

— Я бы умерла,— серьезно отвечала Тэнкфул.

— Но каким образом?

— Ну, как-нибудь. Но тебе надо заснуть, а не задавать дерзкие и легкомысленные вопросы, потому что завтра возвращается отец.



— Тэнкфул, дорогая, знаешь ли ты, о чем шептали мне деревья и пели птицы, когда я метался здесь в лихорадочном бреду?

— Нет, мой родной.

— Тэнкфул Блоссом! Тэнкфул Блоссом! Сейчас придет Тэнкфул Блоссом!

— А знаешь ли ты, любимый мой, что сказала я, подняв твою родную голову с земли, когда ты упал с лошади как раз в тот момент, когда я догнала тебя в Спрингфилде?

— Нет, дорогая.

— Есть на свете вещи, ради которых стоит умирать!

И она вернула ему эту парфянскую стрелу вместе с поцелуем.

Они дожили до счастливой старости, но она пережила его. Моя мать встретила ее в 1833 году, и Тэнкфул вспомнила такие подробности своего свидания с генералом Вашингтоном, о которых я не решился здесь упомянуть.

Она рассказывала, что испанский посол преподнес ей приданое неслыханной ценности. Свадьба должна была состояться в штабе, но в назначенный день его превосходительство внезапно скончался. Иногда она даже намекала, что венчание было тайное. Но заметно было, что майор Ван-Зандт с течением времени постепенно отходил на задний план, и поэтому я отвел ему столь значительное место на этих страницах. Дстойный Аллан Брустер благополучно добрался до Хартфорда в Коннектикуте и после заключения мира был избран от этого округа в члены Конгресса, где его разногласия с главнокомандующим истолковывались его земляками-патриотами как вполне честная, хотя и несколько преждевременная оппозиция федерализму.

## ЧЕЛОВЕК ИЗ СОЛАНО

Он подошел ко мне в фойе оперного театра, в антракте, любопытная фигура, какой не увидишь даже на сцене. Его костюм, в котором не было и двух частей одного цвета, был, по-видимому, куплен и надет за час или за два до спектакля — на это прямо указывал ярлык магазина готового платья, пришитый к воротнику и довольно назойливо сообщавший нисколько не заинтересованной публике номер, размер и ширину одеяния. Складка на его брюках была так сильно заглажена, как будто он родился плоским и с течением времени разбух, а вдоль спины шла еще одна складка, как у тех человечков, которых дети вырезают из сложенной бумаги. Могу прибавить, что по лицу его было не заметно, чтобы он это сознавал, — лицо было добродушное и, если не считать квадратного подбородка, совершенно неинтересное и заурядное.

— Забыли меня, — сказал он кратко, протягивая руку, — а ведь я из Солано, в Калифорнии. Мы там встречались весной пятьдесят седьмого года. Я пас овец, а вы жгли уголь.

В этом напоминании не было и следа намеренной грубости. Просто устанавливался факт, так это и следовало понимать.

— Я вас вот зачем окликнул, — сказал он, когда мы обменялись рукопожатием. — Минуту назад я видел вас вон в той ложе, вы болтали с девушкой, — такая бойкая, недурненькая. Не скажете ли вы, как ее зовут?

Я назвал известную красавицу из соседнего города, которая в последнее время волновала сердца жителей Нью-Йорка; в особенности был ею пленен блестящий и очаровательный молодой Дэшборд, стоявший рядом со мной.

Человек из Солано подумал с минуту и сказал:

— Так и есть! Фамилия та самая! Это она и есть!

— Вы с ней знакомы? — спросил я в изумлении.

— Да, — ответил он с заминкой. — Я познакомился с ней месяца четыре назад. Она ездила по Калифорнии со своими знакомыми, и первый раз я ее увидел в поезде, не доезжая Рено. Она потеряла багажную квитанцию, а я нашел ее на полу, отдал ей, и она меня поблагодарила. Вот я и думаю: пожалуй, неловко будет не зайти к ней, знакомая все-таки. — Он замолчал и вопросительно взглянул на нас.

— Уважаемый, — вмешался блестящий и очаровательный Дэшборд, — если вы сомневаетесь, приличен ли ваш костюм, прошу вас, не задумывайтесь ни на минуту. Обычай — тиран, это верно, он заставляет нас с вашим другом одеваться на особый лад. Но, смею вас уверить, оливково-зеленый цвет вашего сюртука великолепно сочетается с нежной желтизной галстука, а жемчужно-серые панталоны гармонируют с ярко-голубым жилетом и прекрасно оттеняют блеск вашей массивной часовой цепочки нового золота.

К моему удивлению, человек из Солано не стал его бить. Он с невозмутимой серьезностью взглянул на насмешника и спокойно сказал:

— Так вы, может, не откажетесь проводить меня к ней?

Надо сознаться, Дэшборд слегка растерялся. Но тут же овладел собой и с ироническим поклоном повел его в ложу. Я пошел за ними.

Красавица оказалась воспитанной девушкой, дочерью воспитанной матери и внучкой воспитанной бабушки, и когда Дэшборд, не щадя соланца, иронически представил его, сразу поняла положение. К удивлению Дэшборда, она придвинула стул, усадила соланца рядом с собой и, повернувшись спиной к Дэшборду, вступила с ним в беседу на виду у блестящей публики, которая устала на нее не меньше сотни лорнетов.

Здесь, чтобы придать рассказу романтичность, мне хотелось бы сказать, что соланец оживился и показал себя с лучшей стороны — проявил блестящее остроумие или природный ум. Но нет, он оказался как нельзя более скучен и глуп. В разговоре он то и дело возвращался к потерянной багажной квитанции, и все попытки девушки отвлечь его от этой темы терпели неудачу. Наконец, к общему удовольствию, он встал и, наклонясь к ней, сказал:

— Мисс, я рассчитываю еще остаться здесь на время, а так как мы оба с вами здесь чужаки, то, может, вы позволите, если будет еще какое-нибудь представление вроде этого...

Мисс Х. ответила довольно поспешно, что она слишком занята и в Нью-Йорке пробудет очень недолго, а потому боится, что... и т. д., и т. п.

Две другие дамы в ложе прикрыли рты платками и, не отрываясь, смотрели на сцену, а человек из Солано продолжал:

— В таком случае, мисс, если вы сами соберетесь куда-нибудь, закиньте мне письмецо в Эрлс-отель, вот по этому адресу...— И он вытащил из кармана десяток затрепанных писем, снял с одного из них желтый конверт и подал ей с чем-то вроде поклона.

— Ну еще бы,— шутиливо вмешался Дэшборд,— завтра мисс Х. едет на благотворительный бал. Билеты стоят пустяк для человека с вашими средствами, а цель весьма достойная. Конечно, вы без труда достанете приглашение.

Мисс Х. подняла на Дэшборда свои прекрасные глаза.

— Конечно,— сказала она, обернувшись к человеку из Солано,— мистер Дэшборд как раз один из распорядителей и, раз у вас здесь нет знакомых, он, разумеется, пришлет вам почетное приглашение. Я давно знаю мистера Дэшборда, и мне известно, что он джентльмен и всегда любезен с малознакомыми людьми.— Она снова повернулась к сцене.

Житель Солано поблагодарил жителя Нью-Йорка и, пожав всем руки, направился к выходу. Дойдя до двери, он обернулся к мисс Х. и сказал:

— Ну и ловко же получилось, мисс, что я нашел эту самую квитанцию!

Но занавес уже поднялся, открывая сцену в саду (давали «Фауста»), и мисс Х. вся ушла в созерцание. Соланец осторожно закрыл за собой дверь логи и удалился. Я вышел за ним.

Он молчал, пока мы не дошли до фойе, затем сказал, как будто продолжая разговор:

— Девушка бойкая, что и говорить. Как раз в моем вкусе, и жена из нее выйдет что надо.

Я подумал, что человек из Солано может попасть в беду, и поспешил сказать ему, что она окружена поклонниками, может сделать свой выбор в самом лучшем обществе и, по всей вероятности, помолвлена с Дэшбордом.

— Что и говорить, — сказал он спокойно, без малейших признаков волнения, — странно было бы, если бы у нее не было жениха. А я, пожалуй, отправлюсь в отель. Не люблю, признаться, этого завывания. (Он говорил о каденции знаменитой певицы сеньоры Батти-Батти.) Который час?

Он вынул часы. Цепочка была такой грубой, такой явной подделкой, что я устался на нее, как завороченный.

— Вы смотрите на мои часы? — сказал он. — На вид красивые, а ход ни к черту не годится. А ведь обошлись в сто двадцать пять долларов золотом. Я подцепил их третьего дня на Чатам-стрит, очень дешево продавались на аукционе.

— Вас бессовестно надули, — сказал я с возмущением. — Часы вместе с цепочкой и двадцати долларов не стоят.

— А пятнадцать стоят? — спросил он серьезно.

— Может быть.

— Тогда, пожалуй, я не прогадал. Я, видите ли, сказал им, что я калифорниец из Солано и бумажных денег у меня с собой нет. У меня было три пластинки. Помните пластинки?

Я помнил: «пластинка» — это был денежный знак, имевший хождение в те далекие дни, — шестиугольный кусочек золота ценой в пятьдесят долларов, раза в два больше двадцатидолларового золотого.

— Ну, я и подсунул им пластинки, а они подсунули мне часы. Знаете ли, эти пластинки я сам делал из медных опилок и железного колчедана и шулки ради подсовывал нашим ребятам, когда играли в покер. Это нельзя считать фальшивой монетой: пластинки ведь не настоящие деньги. Мне они, пожалуй, обошлись долларов в пятнадцать, если считать время и труды. Так если эти самые часы стоят пятнадцать долларов, значит, я не прогадал. Верно?

Я начинал понимать человека из Солано и ответил утвердительно. Он спрятал часы в карман и заметил, поигрывая цепочкой:

— Пожалуй, с такими часами можно сойти за франта и богача.

Я согласился.

— А чем вы собираетесь здесь заняться? — спросил я.

— Что ж, у меня наберется долларов семьсот наличными. Думаю наведаться на Уолл-стрит, понюхать, чем пахнет, может, подвернется какое-нибудь дельце.

Я хотел было сказать ему несколько слов, предостеречь его, но, вспомнив про часы, воздержался. Мы пожали друг другу руки и разошлись.

Через несколько дней я встретил его на Бродвее. Он был уже в другом, новом костюме, и мне показалось, что с внешней стороны он сделал некоторые успехи. В его одежде насчитывалось всего пять разных цветов. Но это, как я убедился впоследствии, оказалось чистой случайностью.

Я спросил, был ли он на балу. Оказалось, что да.

— Эта девушка — и бойкая же девушка! — тоже там была, только она как будто сторонилась меня. Я нарочно для бала купил новый костюм, а эти лакеи загнали меня в ложу, так мне и не удалось поговорить с ней насчет багажной квитанции. Зато этот франт, Дэшборд, был очень со мной любезен. Привел ко мне в ложу целую компанию молодых людей и девиц и тут же пообещал сводить меня на Уолл-стрит и на биржу. А на следующий день зашел за мной. И я вложил долларов пятьсот в эти самые акции, а может, и больше. Мы, знаете ли, поменялись с ним акциями. У меня,

видите ли, нашлось десять акций медного рудника «Павлин», где вы были раньше секретарем.

— Да ведь эти акции ни гроша не стоят. Все это дело лопнуло еще десять лет назад.

— Что ж, может быть, вам лучше знать, но ведь я тоже ничего не знал насчет «Общества Газонефть» или «Коммунико-Централь», я и подумал, что одно другого стоит. А купленные бумаги я тут же продал и ушел с прибылью в четыреста долларов. Риск все-таки был: ведь акции «Павлина» могут и подняться!

Я посмотрел ему в лицо: невозмутимо спокойное, совершенно обыкновенное лицо. Я стал побаиваться соланца, вернее, того, что я так плохо в нем разбираюсь. Мы обменялись несколькими словами, пожали друг другу руки и разошлись.

Прошло несколько месяцев, прежде чем я опять увидел человека из Солано. Оказалось, что за это время он успел стать маклером и завести маленькую контору на Брод-стрит, и дела его процветали. Я вспомнил нашу первую встречу и спросил, удалось ли ему возобновить знакомство с мисс Х.

— Я узнал, что этим летом она будет в Ньюпорте, и поехал туда на недельку.

— И поговорили с ней насчет багажной квитанции?

— Нет,— сказал он степенно,— она поручила мне купить кое-какие бумаги. Видите ли, по-моему, эти щеголи подняли ее на смех из-за меня, и она решила перевести наше знакомство на деловую ногу. Я вам говорю, она девушка бойкая. Вы слышали, что с ней случилось?

Я не слышал.

— Вот видите ли, она каталась на яхте, и я тоже достал себе приглашение через одного из этих модников. А все это затеял один тип, который, говорят, собирается на ней жениться. Ну и вот, в один прекрасный день налетел шквал, гик повернулся и столкнул ее за борт. И поднялось же тут столпотворение — может быть, слышали?

— Нет!

Но я понял все чутьем писателя в минуту поэтического озарения! Этот бедняга по своей неловкости не умел выразить ей свою любовь и вот нашел наконец подходящий случай. Он...

— Такая поднялась суматоха, — продолжал он. — Я подбежал к поручням и увидел, что она ярдов в десяти от меня, эта миленькая, бойкая девушка, и я...

— И вы бросились за ней? — поспешил я сказать.

— Нет, — отвечал он невозмутимо. — Я подождал, пока другой за ней бросится. А сам только смотрел.

Я в изумлении уставился на него.

— Нет, — продолжал он совершенно серьезно. — Бросился-то он, кому же другому и бросаться, это уже его работа. Видите ли, если бы я плюхнулся за борт яхты, барахтался бы, вертелся и в конце концов пошел бы ко дну, этот другой, само собой, бросился бы и спас ее, а ведь он все равно собирался на ней жениться, так чего же ради я стал бы стараться? А вот если бы он бросился да не спас ее и сам утонул бы, тогда и мне представился бы случай, а кстати и он убрался бы с дороги. Вижу, вы меня не понимаете — кажется, вы меня и в Калифорнии не понимали.

— Так он ее спас?

— Ну еще бы! Да и что могло с ней случиться? Если бы он ее упустил, я бы вмешался. Не было смысла за него стараться, пока он не сплеховал.

Эта история получила огласку. Над человеком из Солано стали насмехаться еще откровеннее, его приглашали забавы ради на вечера, и там он встречался со многими людьми, которых иначе не увидел бы. Стало известно также, что у него уже не семьсот долларов, а гораздо больше и что его дела идут все лучше и лучше. Некоторые калифорнийские бумаги, на моих глазах погребенные в могиле навеки, каким-то чудом воскресли, и я помню, что, просматривая биржевую страницу, испугался словно привидения, когда со столбцов утренней газеты на меня глянуло набальзамированное и размалеванное акционерное общество рудников «Мертвый берег». В конце концов многие стали относиться к человеку из Солано с почтением, его даже начали опасаться. И вот эти опасения оправдались.

Он уже давно изъявлял желание вступить в один «аристократический» клуб, и потехи ради его пригласили в этот клуб, где развлекали целым рядом веселых мистификаций, завершившихся карточной игрой. На другой



день рано утром, проходя мимо клуба, я услышал оживленный разговор двух или трех членов.

— Всех до нитки обобрал.

— Надо полагать, загреб тысяч сорок.

— Кто? — спросил я.

— Человек из Солано.

Я пошел дальше, но один из пострадавших, известный своей опытностью на зеленом поле, нагнал меня и, хлопнув по плечу, спросил:

— Скажите по совести, чем занимался этот ваш приятель в Калифорнии?

— Он был пастухом.

— Кем?

— Пастухом. Пас овец на медвяных лугах Солано.

— Ну, доложу я вам, черт бы побрал эти ваши калифорнийские пасторали!

## МОЙ ПРИЯТЕЛЬ-БРОДЯГА

Я бродил по холмистым, поросшим клевером равнинам в окрестностях одного из портовых городков Новой Англии. Было воскресное утро, столь удивительно исполненное покоя и умиротворения, столь проникнутое духом седьмого дня недели, дня отдохновения, что даже ленивый перезвон воскресных колоколов, летящий издалека над солончаковыми топиями, почти не звучал ни увещанием, ни предостережением, ни навязчивым призывом, и казалось, что с утонувших в мгlistой дымке колоколен льется сонный голос какого-то отступника-муэдзина:

— Сон лучше молитвы! Усните, о сыны пуритан! Тихо смежите вежды, о диаконы и церковнослужители! Дай покой, о, дай покой своим ступням, так стремительно влекущим тебя к пороку! Сложи свои ладони под подушкой, дабы не тянулись они к злату нечестивых. Сон лучше молитвы!

И в самом деле, хотя солнце стояло уже высоко, в воздухе была разлита дремота. Поддавшись тройному воздействию моря, солнца и воздуха, я растянулся на большом плоском камне, на склоне холма, отлого сбегавшего к морю. Величественный Атлантический океан расстилался передо мною; еще не совсем пробудившись, он дышал медленно, ритмично, глубоко. В туманной дали не белело ни одного паруса. Мне нечем было занять себя, оставалось только лежать на спине и смотреть в незамутненную синеву небес.

Внезапно откуда-то потянуло крепким запахом табака. Обернувшись, я заметил бледно-голубой дымок, вьющийся над огромным валуном в нескольких шагах от меня. Я встал, перебрался через гранитную глыбу и увидел небольшую впадину, в которой, удобно устроившись на ложе из лишайника и мха, покоился какой-то мужчина весьма внушительного сложения. Он был крайне обтрепан; он был чрезвычайно грязен; производимое им впечатление прежде всего сводилось к тому, что у него слишком много волос, слишком много ногтей, слишком много пота, слишком много необязательных для человека наростов, шишек и различных выделений, которые современное цивилизованное общество всячески стремится укрыть от взоров. В то же время бросалось в глаза, что, помимо всего вышеперечисленного, у него не было почти ничего. Это был бродяга.

Как это всегда бывает в тех случаях, когда кто-нибудь живым упреком нагло встает перед нами, олицетворяя своей персоной наш собственный порок, я не замедлил прийти в крайнее негодование при зрелище такого безделья. Возможно, это как-то отразилось на моем поведении, потому что бродяга приподнялся на локте, виновато поглядел на меня и сделал вид, что собирается выбить содержимое своей раскуренной трубки о камень.

— Право слово, сэр, знай я, что вторгся во владение вашей милости,— произнес он с заметным ирландским акцентом,— так лучше бы лег там внизу на камни и укрылся солеными волнами вместо одеяла. Только, поверите ли, я за эту благословенную ночь отмахал семнадцать миль и ни маковой росинки во рту, чтоб поддержать силы, а живот так подвело — прямо хоть помирай, пропал бы, если б не щепотка табаку, что дала мне вдовушка Мелони, когда я уже не знал, куда мне и податься. В черный день покинул я свой очаг, чтобы направиться в Бостон, и если вашей милости будет угодно одолжить двадцать пять центов одинокому бедняге, который оставил жену и шестерых ребятишек в Милуоки,— всего двадцать пять центов, до тех пор, пока он не подыщет себе работенку,— бог благословит вас за вашу доброту.

В моем мозгу молнией пронеслась мысль о том, что этот самый человек прошедшей ночью нашел гостеприимный прием на кухне моего маленького коттеджа в двух милях от берега, представ в обличье попавшего в шторм рыбака, которого безжалостный капитан оставил без гроша в кармане. Жена у него умирает от чахотки в соседней деревушке, а двое детишек (один из них калека) побираются на улицах Бостона. Я припомнил, что все эти чудовищные удары судьбы растрогали моих домашних, и многострадальный рыбак был снабжен одеждой, пищей и мелкой монетой. Пища и мелкая монета испарились, но где же одежда для чахоточной жены? Он использовал ее вместо подушки.

Я тотчас указал ему на этот факт и уличил его в обмане. К моему удивлению, он выслушал меня спокойно и даже немного снисходительно.

— Это вы все верно говорите, сэр. Только видите, сэр, какое дело,— доверительным тоном сказал он,— пока я не раздобуду работенку — а я ведь ищу работенку, понимаете? — волей-неволей приходится иной раз прилгнуть, чтоб потрафить, так сказать, здешнему народу; он, прости господи, не очень-то жалуется тех, кто не ходит в море.

Я высказал предположение, что такой крепкий мужчина, как он, мог бы, вероятно, найти себе все же какую ни на есть «работенку» где-нибудь между Милуоки и Бостоном.

— Так видите, какое дело, я ведь пользовался бесплатным, так сказать, проездом в товарном вагоне и не делал остановок. Думал вот на побережье подыскать себе работенку.

— Знаете вы какое-нибудь ремесло?

— Ремесло? Так я же кирпичник, видит бог! Посмотрели бы вы, сколько я этих самых кирпичей пообжигал в Милуоки! Да уж я на этом деле руку себе набил, с кем угодно могу потягаться! Может, ваша милость знает, где тут поблизости есть печь для обжига кирпича?

Насколько мне было известно, ближайший кирпичный завод находился по меньшей мере в пятидесяти милях отсюда, и вообще этот песчаный полуостров, летняя резиденция нескольких состоятельных людей, был самым неподходящим местом для поисков «работенки»

такого рода. Но самообладание бродяги, которому этот факт был известен не хуже, чем мне, восхитило меня, и я сказал:

— На два-три дня у меня, пожалуй, найдется для вас работа.— И, предложив ему забрать одежду, предназначенную для его чахоточной жены, и следовать за мной, я направился к своему коттеджу.

Мое предложение поначалу как будто застало его врасплох и даже испугало немного, но он почти мгновенно овладел собой и обрел дар речи.

— А! Есть работенка? Ну и слава тебе господи! Я-то ведь всегда рад-радешенек поработать, только вот, правда, поотвык я от чистой работы, кирпичи-то обжигая.

Я заверил его, что работа, которую ему предстоит делать, не потребует особой тонкости, и мы пустились в путь по холмистым, утонувшим в дреме равнинам. По дороге я обратил внимание на то, что, невзирая на мою хромоту, я был несравненно лучшим ходоком, чем мой спутник: он плелся позади и то и дело отставал, так что даже в роли бродяги казался как бы самозванцем. Он задерживался у каждой изгороди, которую нам предстояло перелезть, делая вид, что хочет поведать мне еще что-то о своих злоключениях, о которых он повествовал мне всю дорогу, и я заметил, что он редко может устоять против соблазна присесть на мшистый камень или на травянистую кочку.

— Понимаете, сэр,— говорил он, неожиданно присаживаясь у дороги,— вот как обрушились на меня все эти невзгоды, тут-то...— И лишь после того, как я удалялся на такое расстояние, что его голос уже не мог достичь моих ушей, он лениво подбирал с земли свой узелок и плелся за мной. Когда мы подошли к моему саду, он привалился к калитке, бессильно опустил могучие руки и сказал:

— Эх, слава тебе, господи, вот и воскресенье подоспело — всем слабым да усталым отдых. Да и тем, кто семнадцать миль отмахал, чтобы до него добраться.

Я, конечно, понял намек.

Было совершенно очевидно, что ждать какой-либо работы от моего приятеля-бродяги в воскресный день не следовало. Однако его лицо просветлело, когда он увидел ограниченные размеры моих владений и понял, что

так называемый сад — это всего лишь цветник размером десять шагов на четыре. Так как, без сомнения, многие уже не раз пытались использовать его способность орудовать лопатой, ему, должно быть, представлялось, что и здесь от него потребуют того же самого, и я, признаться, привел его в замешательство, указав на разрушенную почти до основания каменную ограду, примерно двадцати футов в длину, и сообщив, что от него требуется возвести эту ограду заново, а камней он должен натаскать с ближайшего откоса.

Через несколько секунд он уже удобно расположился на кухне, где наша повариха, его соотечественница, тотчас затеяла с ним перепалку и выпустила в него хороший заряд шуточек и насмешек, постичь смысл которых было мне не дано. Однако от меня не укрылось, что на закате солнца мой приятель-бродяга сопровождал Бриджет к ручью за водой, бойко размахивая пустым ведром, а на обратном пути сумрачная Бриджет тащила ведро, полное воды, а мой приятель шагал позади на некотором расстоянии, непринужденно болтая и собирая по дороге куманику.

На следующий день в семь часов утра он весело приступил к работе. К девяти часам он уложил уже три крупных камня, потратив около часа на поиски кирки и молотка и заполнив промежутки светской пикировкой с Бриджет. В десять часов я пошел поглядеть на его работу. Это был рискованный шаг, ибо он заставил его почтительно сдернуть с головы шляпу, бросить работу и, привалившись к ограде, вступить со мной в непринужденную беседу.

— Вы любите куманику, капитан?

В надежде помешать ему сделать предложение, которое, как я понимал, должно было за этим последовать, я сказал, что куманику у нас обычно собирают дети — на лугу за домом.

— Э, капитан, уж кому-кому, а мне-то позвольте лучше знать, где надо искать куманику, даром, что ли, я столько дорог исколесил, питаюсь одними ягодами с кустов! Право слово, капитан, ваши ребятишки — и какие же они у вас оба красавчики! — уж так-то меня просили показать им места, которые только я один и знаю.

Стоит ли говорить, что он одержал победу. По методу всех бездельников любых мастей и оттенков он перетянул на свою сторону женщин и детей и сделал то, что задумал. Он отбыл в одиннадцать часов утра и возвратился в четыре часа пополудни с небольшим котелком, наполовину пустым. Мои мальчики сообщили, что они «знатно» провели время, но когда я подверг их допросу, выяснилось, что все ягоды собрали они. От четырех до шести вечера к кладке прибавилось еще три камня, и упорный дневной труд был закончен. Когда я стоял, глядя на шесть камней первого ряда, мой приятель-бродяга потянулся, раскинув свои мускулистые руки, и сказал:

— Эх, работенка! Это как раз то, чего моя душа просит. Дайте мне только поработать, больше мне ничего не надо.

Я отважился заметить, что его успехи пока что не слишком велики.

— А вы подождите до завтра. Вот тогда увидите. Больно уж у меня рука привыкла к кирпичам, а к камням она еще вроде не привычна. Ну ничего, вы подождите до завтра.

К несчастью, я не подождал. Дела заставили меня отлучиться из дому в очень ранний час, а когда в полдень я подъезжал верхом к своему коттеджу, моему удивленному взору предстало нижеследующее зрелище.

Мои сыновья усердно трудились, выкладывая стену; им помогали Бриджет и Нора — они таскали камни с ближайшего холма, а мой приятель-бродяга, удобно растянувшись на стене, благосклонно руководил их действиями, время от времени лениво отпуская шуточные замечания. В первую минуту я неразумно вознегодовал, но он быстро меня вразумил:

— Побмилуйте, сэр, я же только даю, так сказать, урок, приучаю мальчуганов к трудолюбию. Играючи, понятное дело. Не сойти мне с этого места, если я пожелаю им в поте лица добывать свой хлеб. А если дамы и отлучились с кухни, так, право, вашей милости от них куда больше пользы, когда они подсобляют мне здесь, чем когда торчат на кухне и только зря чешут языки.

Тем не менее я почел целесообразным раз и навсегда запретить детям и прислуге «подсоблять» моему приятелю в его «рабоченке».

Вероятно, именно этот запрет был причиной того, что на следующий день рано утром мой приятель пожелал увидеться со мной.

— Жаль мне вас огорчать, сэр,— начал он,— да только эта возня с камнем погубит всю мою сноровку к кирпичному делу, так что лучше уж я покину вас и пойду себе рабоченку у печи. Мне, понимаете, в первую очередь рабоченка нужна. А есть ваш хлеб на дармовщину — это не по мне, капитан. Так что прощайте покамест, а если можете одолжить мне пятьдесят центов до той поры, пока я не разыщу хоть какой ни на есть кирпичный завод, бог вознаградит вас за вашу доброту.

Деньги он получил. Но, кроме того, еще и письмо, адресованное моему соседу — богатому, ушедшему на покой врачу, обладателю большого поместья, которым он управлял весьма успешно, будучи человеком самой практической складки. На бесплодном участке земли, именуемой фермой, у него работала целая уйма поденщиков, и — подумал я — если в душе моего приятеля-бродяги еще теплится хоть искра трудолюбия, которую мне по нерадивости и лени раздуть не удалось, то моему соседу это, пожалуй, удастся лучше, чем кому-либо.

Я повстречался с моим соседом неделей позже. Не без смущения осведомился я у него о моем приятеле-бродяге.

— А, да, да,— сказал мой сосед задумчиво,— припоминаю. Он пришел ко мне в понедельник и ушел в четверг. Такой дюжий с виду малый, добродушный, услужливый, но подверженный самым разнообразным недугам. В первый же день, когда я определил его на работу в конюшню, у него начался озноб, а потом жесточайший приступ лихорадки, которую он подхватил где-то в болотах Луизианы.

— Позвольте,— перебил я его,— вы хотите сказать, в Милуоки!

— Я прекрасно знаю, что я хочу сказать,— несколько сварливо ответил доктор.— Он поведал мне о всех сво-



их бедах. О том, как он дезертировал из армии южан, и как на него напали вооруженные до зубов негры, и как он прятался в болотах и зарослях.

— Хорошо, хорошо, доктор,— устало проговорил я,— но вы что-то начали о его работе.

— А, да... Видите ли, малярия прямо-таки сжираала его. В первый день я хорошенько закутал его в одеяло и закатил ему основательную дозу хинина. На следующий день у него развились все симптомы азиатской холеры, и мне пришлось поддержать его силы коньяком и стручковым перцем. На третий день у него открылся ревматизм, полностью лишивший его сил, и я решил отправить его с запиской к директору городской лечебницы. Как объект для изучения патологических явлений он был чрезвычайно интересен, но мне требовался человек на конюшне, а использовать его и в том и в другом качестве я не мог.

Поскольку я никогда не был уверен, шутит доктор или говорит всерьез, мне не захотелось развивать эту тему дальше, и мой приятель-бродяга мало-помалу ушел из моей памяти, оставив, впрочем, после себя в сарайчике, где он спал, стойкий запах виски, лука и табачного перегара.

Но недели через две испарились и эти ароматы, и в моем «домишке», как непочтительно именовал наше жилище мой приятель, о нем позабыли. Все же мне хотелось думать, что в конце концов он нашел себе работу на кирпичном заводе, или возвратился к своему семейству в Милуоки, или еще раз осчастливил своим появлением родной дом в Луизиане, или снова решил попытать счастья в борьбе с морской стихией и отправился добывать рыбу — на этот раз под командой благородного и справедливого капитана.

Было прелестное августовское утро, когда я верхом пересекал наш песчаный полуостров, решив проведать одну почтенную чету, все сыновья которой отличались доблестью, а дочери — красотой. В передних комнатах я не обнаружил ни души, но с задней веранды доносился шест платьев и, временами заглушая его, звучал голос, подобный голосу Улисса, повествующего о своих странствиях. Ошибиться было невозможно: я узнал голос моего приятеля-бродяги!

Он, насколько я мог уразуметь из его речей, прошел пешком от Сент-Джона в Канаде, чтобы соединиться в Нью-Йорке со своей обездоленной женой, проживавшей, между прочим, у весьма зажиточной, но малопочтенной родни.

— Уж поверьте, мисс, не стал бы я просить у вас двух центов взаймы, если бы мог раздобыть себе работенку по моей части: я ведь ковровщик... Да, кстати, может, вы знаете где-нибудь тут поблизости какую-ни на есть фабрику, где ковры ткут? Да что там, мисс, даже если вы не дадите мне ни цента, хватит с меня и того, что я видел, как мои невзгоды заставили проследиться самые красивые глазки на свете, и да благословит вас за это бог!

Я уже догадался, что Самые Красивые Глазки На Свете принадлежали обладательнице самого великодушного и нежного сердечка на свете, и почувствовал, что простая справедливость требует оградить это сердечко от посягательств самого отъявленного мошенника на свете. И, не дожидаясь, чтобы слуга доложил о моем приходе, я отворил дверь и ступил на веранду.

Но, рассчитывая пробудить совесть моего приятеля-бродяги, столь драматически появившись перед ним, я был посрамлен! Ибо, едва он меня увидел, как тотчас испустил рев восторга, упал передо мной на колени и, театральным жестом схватив мою руку, повернулся к дамам.

— О! Да это же он сам, сам, собственной персоной! Вот тот, кто может поведать обо мне всю правду! О да, ведь это же он месяц назад, когда я при последнем издыхании лежал на морском берегу, подал мне руку помощи, поднял меня и отвел в свой дом! О да, никто, как он, поддерживал горемыку и вел через поля, и когда на меня напала лихорадка и озноб пробрал меня до костей, это он, да благословит его небо, снял с себя сюртук и отдал его мне, говоря: «Возьми его, Деннис, не то холодный морской воздух может тебя погубить». Ах, да вы только посмотрите на него! Посмотрите на него, мисс, посмотрите на его приятное, скромное лицо! Посмотрите, он заливается румянцем совсем как вы, мисс. Ах, взгляните на него, взгляните! Он сейчас станет все отрицать, да благословит его бог! Взгляните

же на него, мисс. И до чего же прелестная получилась бы из вас парочка! (Негодяй отлично знал, что я женат.) Ах, мисс, если б только вы могли видеть, как он сидит, и пишет, и пишет день и ночь, пишет этим своим прекрасным почерком. (Прислушиваясь к болтовне слуг, он, видимо, принял меня за переписчика.) Если б только вы видели его, мисс, как видел его я, вы бы тоже гордились им.

Тут он задохнулся и умолк. Я был так ошеломлен, что не мог вымолвить ни слова. Грозная обвинительная речь, которую я сочинил, чтобы произнести на пороге, полностью испарилась из моей головы, а когда Самые Прекрасные Глазки На Свете с благодарностью обратились ко мне... Что ж, тут я...

Но у меня все же хватило мужества попросить дам удалиться на то время, пока я буду обсуждать с моим приятелем-бродягой положение его дел и окажу ему соответствующую помощь. (Кстати сказать, лишь впоследствии стало мне известно, что этот негодяй уже уменьшил скудное содержимое их кошельков на три с половиной доллара.) Когда за дамами закрылась дверь, я гневно воскликнул:

— Ах ты мерзавец!

— О, капитан, неужели вы откажетесь дать мне хорошую аттестацию, в то время как я так прекрасно аттестовал вас! Господь этого не допустит! А вы бы посмотрели, какой взгляд бросила мне та, хорошенькая! Эх, когда я был помоложе и зарабатывал десять долларов в неделю на кирпиче, а лихорадка еще не сломила вконец мой дух, я тогда в подобных случаях...

— Я считаю,— прервал я его,— что доллар — хорошая цена за твою басню, и так как не позже чем через сутки я с этими рассказами покончу и изобличу тебя перед всеми во лжи, тебе, пожалуй, лучше поторопиться в Милуоки, в Нью-Йорк или в Луизиану.

Я протянул ему доллар.

— Запомни, я не желаю больше видеть твоей физиономии.

— Вы ее не увидите, капитан.

И я ее не увидел.

Но случилось так, что в конце сезона, когда все перелетные гости этого приморского местечка возвратились

в свои обогреваемые горячим воздухом резиденции в Бостоне или Провиденсе, мне пришлось завтракать у одного из таких перелетных гостей, отбившегося от своей стаи. Это был довольно известный бостонский адвокат, напичканный принципами, честностью, самодисциплиной, статистикой, эстетикой и исполненный горделивого сознания, что он является обладателем всех этих добродетелей, а также глубокого понимания их рыночной стоимости. Мне кажется, он снисходил до общения со мной, проявляя примерно такую же терпимость, какую мы проявляем иной раз к иностранцам: мягко, но решительно он отметал любые мои суждения по любому вопросу, нередко выражая сомнение в истинности приводимых мною фактов, еще чаще — в правильности моих выводов и без исключения всех моих идей. В беседах он позволял себе лишь слегка спускаться до моего уровня с высот своего нравственного и интеллектуального превосходства. И всегда преподносил все свои умозаключения непререкаемо, словно приговор суда.

Я заговорил о своем приятеле-бродяге.

— Существует только один способ обращения с наглецами такого сорта, — сказал он. — А именно: не забывать, что закон считает их правонарушителями, а их образ жизни — судебно наказуемым. И соответственно проявленная вами чувствительность делает вас соучастником преступления. Я еще не уверен, что вы не подлежите судебной ответственности за поощрение бродяжничества. Ну, а у меня имеется весьма действенный способ обращения с этими субъектами. — Он встал и взял с каминной полки охотничью двустволку. — Когда какой-нибудь бродяга появляется в пределах моей усадьбы, я требую, чтобы он немедленно удалился. Если он не подчиняется, я стреляю в него, как выстрелил бы в любого преступника, посягающего на мою собственность.

— Стреляете в него? — переспросил я в испуге.

— Да, стреляю. Но холостым патроном! Однако этого, разумеется, не знает. И больше не появляется.

Тут у меня мелькнула мысль, что многие доводы моего собеседника, в сущности, похожи на стрельбу холостыми патронами и рассчитаны только на то, чтобы устранив наглецов, вторгающихся не в свою интеллектуальную сферу.

— А если бродяга не подчиняется, закон дает мне право стрелять уже дробью. Вчера вечером ко мне тут наведалься было один такой. Перелез прямо через ограду. Но одного выстрела из двустовки оказалось вполне достаточно. Поглядели бы вы, как он улепетывал!

Спорить с человеком, столь неколебимо уверенным в своей правоте, было бесполезно, и я перевел разговор на другое. После завтрака я пошел побродить по холмам, а мой хозяин обещал присоединиться ко мне, как только покончит с домашними делами.

Было прелестное тихое утро, и мне невольно вспомнилось другое утро — то, когда я впервые встретился с моим приятелем-бродягой. Благословенная тишина и покой были разлиты в воздухе над морем и сушей. Два-три белых паруса едва приметно мерцали на горизонте; два-три больших корабля лениво приближались к берегу — так же неспешно, как мой приятель-бродяга. Внезапно я вздрогнул, услышав, что кто-то меня окликает.

Мой хозяин направлялся ко мне. Вид у него на этот раз был несколько озабоченный.

— Мне сейчас сообщили довольно неприятную новость, — начал он. — Оказывается, невзирая на все принятые мною меры, этот бродяга пробрался-таки ко мне на кухню, и мои слуги угощали его там. А вчера утром в мое отсутствие он, кажется, имел наглость, воспользовавшись моим охотничьим ружьем, отправиться стрелять уток. Часа через два он вернулся с двумя утками, ну и... и с ружьем.

— Что ж, на этот раз по крайней мере он поступил честно.

— Да... но... но эта идиотка горничная говорит, будто, возвращая ей ружье, он сказал, что все, дескать, в порядке, и он снова зарядил ружье — для хозяина.

Вероятно, тревога достаточно ясно отразилась на моем лице, потому что он тут же добавил поспешно:

— Но в конце концов это же была утиная дробь... Несколько дробинok не могли причинить ему особого вреда!

Все же некоторое время мы оба шагали молча.

— То-то мне показалось, что у ружья была отдача,— задумчиво произнес он наконец.— Но мог ли я подумать... Стойте! Что это там?

Он остановился на краю той самой впадины, где я впервые увидел когда-то моего приятеля-бродягу. На этот раз тут никого не было, но на мху виднелись пятна крови и валялись какие-то окровавленные доски, по-видимому, послужившие кому-то бинтами. Я всмотрелся внимательнее: это были обрывки платья, предназначавшегося для чахоточной жены моего приятеля-бродяги. А мой хозяин уже поспешно обследовал кровавые следы: через большой валун, по мху, по камням они вели к морю. Когда я приблизился к нему, он стоял на берегу перед плоским камнем, на котором лежало знакомое мне тряпье, завязанное в носовой платок, и кривая палка.

— Он пришел сюда, чтобы промыть раны. Соленая вода действует как кровоостанавливающее,— сказал мой хозяин, обретая вновь присущую ему краткость и безапелляционность утверждений.

Я ничего не ответил и только поглядел вдаль. Какую бы тайну ни скрывал океан в своих глубинах, она была прочно похоронена там. Чему бы ни был он свидетелем в ту летнюю ночь, это не оставило следа на его холодной зеркальной глади. Он расстился перед нами равнодушный, невозмутимый и безмолвный. А мой приятель-бродяга скрылся навсегда!

## РАЗГОВОР В СПАЛЬНОМ ВАГОНЕ

Это был спальный вагон Западной железной дороги. Очнувшись от небытия, в которое погружается усталый путник, добравшийся до полки, я с ужасом обнаружил, что проспал всего только два часа. Большая часть долгой зимней ночи была впереди, и мне предстояло провести ее не смыкая глаз.

Заснуть я больше не мог и лежал, раздумывая о многих вещах: почему, например, одеяла в спальнях вагонов не такие, как везде, почему они сшиты как будто из холодных гречневых блинов, почему они прилипают к телу, когда повертываешься на бок, давят своей тяжестью и вовсе не согревают; почему занавеси над койкой нельзя сделать из какой-нибудь материи полегче, чтоб не были такие плогные и душные; и не все ли равно — дремать всю ночь, сидя в обыкновенном вагоне, или лежать в спальном не смыкая глаз? Однако храп моих спутников-пассажиров ответил на этот вопрос в отрицательном смысле.

Воспоминание о вчерашнем обеде давило на желудок так же тяжело и холодно, как одеяла, и я начал размышлять, почему на всем протяжении американского материка нигде нет ни одного местного блюда; почему меню в ресторанах и отелях неизменно является бледным подражанием столице; почему блюда всегда одни и те же, только приготовлены более или менее скверно; почему принято думать, что путешествующий американец обязательно спросит холодную индейку под клюквенным

соусом; почему хорошенькая официантка тасует тарелки за вашей спиной, а сдает их полукругом через ваше плечо, словно это карты, и при том из рук вон плохие; почему, покончив с этим, она немедленно отходит к стенке и смотрит на вас презрительно, словно говоря: «Любезный сэр, хоть я и бедна, но горда, и если ты воображаешь, что я позволю тебе какие-нибудь вольности в разговоре, то глубоко заблуждаешься!»

Потом я с ужасом начал думать о будущем завтраке: почему ветчину всегда режут на куски в полдюйма толщиной, а яичница всегда похожа на стеклянный глаз, который дьявольски подмигивает вам, явно намекая на несварение желудка, и не принесут ли гречневые блинчики, есть которые нужно умеючи и на досуге, как всегда, за минуточку до отхода поезда? И тут я очень живо вспомнил одного пассажира, который на станции в Иллинойсе с бешеной быстротой завернул порцию этого национального лакомства в красный шелковый платок, взял с собой в вагон для курящих и не торопясь истреблял дорогой.

Лежа без сна, я не мог не сделать некоторых наблюдений, ускользающих от пассажира днем: что, во-первых, скорость поезда неравномерна и непостоянна; что по временам паровоз как будто спохватывается и говорит вагонам: «Ну-ну-ну, так не годится! Надо нам поторопиться! Помолчите, помолчите и со мной не говорите!» — все это на тот ритмический лад, который принимают дорожные размышления в поезде. Например, однажды ночью я приподнял занавеску, чтобы взглянуть на освещенный луной снежный ландшафт, и когда я спускал ее, в памяти моей мелькнули строчки популярной песенки. Роковая ошибка! Поезд немедленно подхватил песенку, и всю ночь меня преследовал ужасный припев: «Спусти занавеску, спусти занавеску, а не то — клинк-клинк-клинк». Разумеется, мотивы звучат разные на разных дорогах. На Нью-Йоркской Центральной, где полотно в полном порядке и стальные рельсы тянутся непрерывной полосой, я слышал, как богохульник-поезд повторял на мотив известного псалма слова: «Возрадуйтесь духом, возрадуйтесь духом, тра-та-та-та».

По дороге из Нью-Йорка в Ньюхейвен, где много стрелок и паровоз то и дело дает свистки у переездов.



я часто слышал: «Томми, Томми, это я, дай местечко для меня, кликитти, кликитти, кланг».

И со стихами бывает не лучше. В одну звездную ночь я ехал из Квебека, и, когда мы проезжали мимо девственного леса, мне пришли на ум строчки «Евангелины», но я не мог припомнить ничего, кроме: «Это лес первобытный; сосна и ракета — кита-кита-кита-кииниа!». Поезд замедлил ход, тормозил, подходя к станции. Отсюда и перебой в метре.

Мое внимание привлёк своеобразный стон, похожий на стон золотой арфы, пробегавшей по всему составу, когда мы останавливались на отдых после долгого пробега, точно вздох бесконечного облегчения, музыкальный вздох, начинавшийся в ре и повышавшийся постепенно до фа; я думаю, что более внимательные из пассажиров слышали его и днем и ночью. Никто из железнодорожных служащих не мог удовлетворительно объяснить мне это явление. Один практически мыслящий приятель высказал предположение, что при быстром ходе поезда вагон смещается несколько вперед по отношению к своей тележке и что постепенный переход вагона к состоянию инерции производит этот звук; разумеется, ни один поэтически настроенный пассажир с этим не согласится.

Четыре часа. Из уборной доносится тихое шуршание: кондуктор чистит башмаки. Почему бы не поговорить с ним? Но, к счастью, я вспомнил, что всякое покушение на длительный разговор с кондуктором или носильщиком встречает отпор с их стороны, так как они усматривают в этом вероломство по отношению к железнодорожной компании, представителями которой являются. Помню, как я однажды пытался внушить кондуктору, что проверять билеты в полночь — сущее безумие, и как он счел меня беглецом из сумасшедшего дома. Нет, никуда не уйти от этого тягостного, невыносимого одиночества. Я поднял занавеску и выглянул в окно. Мы проезжали мимо фермы — пятно света, должно быть, фонарь какого-нибудь работника, двигалось возле амбара. Да, легкий розовый отблеск на дальнем горизонте. Утро наконее-то.

Мы остановились на станции. Двое мужчин вошли в вагон и уселись в свободном купе, позевывая и переговариваясь небрежно и вяло. Они сидели один напротив другого, по временам выглядывая в окно, и на посторон-

него наблюдателя производили впечатление людей, до смерти надоевших друг другу. Когда я взглянул на них из-за своей занавески, первый пассажир сказал второму, едва скрывая зевок:

— Да, пожалуй, одно время он был самый, что называется, популярный у нас гробовщик.

Второй (не столько отвечая, сколько изобретая вопрос, по какому-то довольно вялому стремлению общаться). А он, этот самый гробовщик, был верующий — присоединился к церкви?

Первый (в раздумье). Ну, не то чтоб он был настоящий христианин, а все-таки да, обращенный. Кажется, доктор Уайли его обратил. По крайней мере, я так от него слышал.

Долгая, томительная пауза.

Второй (сознвая обязанность что-нибудь сказать). А чем же он так прославился, этот ваш гробовщик?

Первый (лениво). Ну, он знал, чем взять разных там вдовцов или вдов, вроде как бы утешал их, так, невзначай, между делом, возьмет да и загнет что-нибудь утешительное, когда от писания, а когда и от себя, как человек опытный и повидавший-таки горя. Он, говорят (понижая голос), сам потерял трех жен и пятерых детей от этой новой болезни, как ее... от дифтерита, что ли, еще там, в Висконсине. Сам я этого не видел, а слухом земля полнится.

Второй. А отчего же он прогорел?

Первый. Да, вот в этом-то и вопрос. Он, знаете ли, ввел кое-какие новинки в похоронное дело. Например, он знал один такой способ, проделывал разные штуки с физиономией покойника, сам об этом рассказывал.

Второй (вяло). Какие такие штуки?

Первый (осененный блестящей и свежей мыслью). Слушайте-ка, вам приходилось замечать, до чего у мертвецов неприглядный вид?

Второму приходилось это замечать.

Первый (возвращаясь к рассказу). Так вот, была такая Мэри Пиблс, сна приходилась дочкой самой близкой подруге моей жены, очень недурненькая девушка, и настоящая христианка, и померла от скарлатины. Ну, так вот эта девушка — я был на похоронах, как-никак подруга моей жены, — так эта девушка, хоть, может, и не следо-

вало бы говорить, в этом своем гробу прямо из Чикаго из самого первоклассного бюро, хоть вся в цветах и во всяких там оборках, не очень-то важно выглядела. Что ж, пускай она и подруга моей жены и сам я был на похоронах, а прямо надо сказать: разочаровался, все настроение себе испортил.

Второй (очевидно, стараясь выразить сочувствие). Ну, еще бы!

Первый. Да, сударь! Ну так вот, видите ли, этот самый гробовщик, Уилкинс, знал способ, как все это исправить. И все этими фокусами. Он обрабатывал физиономию покойника, и получалось, как родственники говорили, этакое умиротворение, знаете ли, вроде улыбки. Когда ему хотелось присчитать лишнее (а у него на все была настоящая такса), он устраивал покойнику «христиански-блаженную улыбку» — вот как это у него наывалось.

Второй. Быть не может!

Первый. Я вам говорю. Ну, право, иной раз бывало даже удивительно. А у меня на этот счет (понижая голос) всегда были сомнения: согласно ли это с писанием, не грешно ли — ведь все мы, знаете ли, черви земные; я открыл свои мысли нашему проповеднику, но только он не захотел вмешиваться: ведь так хоронили не его паству. А недавно, когда умер Сай Дэнхем,— помните Сая Дэнхема?

Долгое молчание. Второй пассажир смотрел в окно и, по-видимому, совсем забыл о своем спутнике. Выглянув из-за занавески, я увидел четыре головы, которые высунулись с других полск, горя нетерпением услышать, чем же кончилась история. Одна из голов, женская, немедленно скрылась, как только я выглянул, но дрожание занавески над ее полкой свидетельствовало о неослабном интересе. Только двое не проявили никакого интереса: первый и второй пассажиры.

Второй (лениво отрываясь от окна). Сая Дэнхема?

Первый. Да, Сай Дэнхем, он отродясь ни во что не верил, ответный был человек. Напьется, бывало, вдребезги пьян и шляется с разными там бабами, на манер блудного сына, только еще хуже, сколько могу судить по тому, что мне рассказывали. Так вот, в один прекрасный день Сай скончался в Литл-Роке, и его привезли сюда

для погребения. Родня, все народ гордый, конечно, денет на похороны не пожалеет, и, между нами говоря, я такой роскоши в жизни не видывал. Уилкинс тут здорово подработал. Он этому забудыге отдал физиономию по первому разряду: устроил ему «христиански-блаженную улыбку». Ну, с этого и начался поворот к худшему, потому что кой-кого из прихожан да и сам проповедник подумали, что всему есть граница, а на дому у диакона Тиббетса был даже разговор, не собрать ли по этому поводу совет. Но не это его погубило.

Опять молчание, и на лице второго пассажира не отразилось никакого желания знать, что же в конце концов погубило карьеру гробовщика. Но из-за занавесок на других полках высывались нетерпеливые лица и даже одно-два сердитых, которые жаждали узнать, чем кончилось дело.

Второй (*лениво возвращаясь к брошенной теме*). Да, так что же его погубило?

Первый (*невозмутимо*). Вот эти самые фокусы, то есть я так думаю (*осторожно*), ведь я не все знаю. Когда миссис Уиддикомб потеряла мужа, месяца два назад... хотя она уже два раза побывала в юдоли скорби — это ведь ее третий муж она бывшая вдова Джона Баркера.

Второй (*с живейшим интересом*). Да не может быть!

Первый (*торжественно*). Чтоб мне помереть, вдова Джона Баркера!

Второй. Ну-ну, скажу я вам!

Первый. Так вот, эта самая вдова Уиддикомб устроила похороны на широкую ногу. Она пригласила Уилкинса, а тот прямо из кожи лез. Прямо-таки надрывался. На беду, а может, и на счастье — пути господни неисповедимы — приезжает на похороны старый приятель покойного, доктор из Чикаго. Пошел он вместе с прочими взглянуть на покойника, а тот лежит и мирно улыбается, небесная этакая улыбка; все тут стали говорить, что теперь он на пути в рай, а этот самый приятель обернулся вдруг к вдове — а та сидит на своей скамье и умиляется, по женскому обычаю, что покойника так расхваливают, — да и спрашивает:

— Как вы сказали, сударыня, от чего супруг ваш скончался?

— От чахотки, — говорит она, бедняжка, утирая глаза, — от скоротечной чахотки.

— Какая там к черту чахотка! — говорит доктор. — Он был, само собой, из неверующих, и даже необращенный. — От стрихнина он умер. Взгляните-ка на его лицо. Взгляните-ка на искажение лицевых мускулов. Это стрихнин. Это «*risus sardonicus*»<sup>1</sup>.

Так и сказал — он в выражениях не стеснялся.

— Что вы, доктор! — говорит вдова. — Это... это его последняя улыбка. Это христианское смирение.

— Подите вы со своим смирением, что вы мне толкуете! — говорит доктор. — От такого смирения чертям в аду тошно. Это яд. И я этого так... Ах, будь я проклят, да ведь мы приехали, да, да, это Джолиет. Ну, вот уж не подумал бы, что мы едем около часу!

Двое-трое нетерпеливых пассажиров отозвались с полки:

— Постой, друг! Послушайте, приятель! А чем же кончилось?..

Но и первый и второй пассажиры уже исчезли.

---

<sup>1</sup> Сардонический смех (лат.).

# ИСТОРИЯ ОДНОГО РУДНИКА

## ЧАСТЬ I

### ГЛАВА I КТО ЕГО ИСКАЛ

Крутая горная тропа пересекала Монтерейский береговой кряж. Кончо устал, Кончо был покрыт густым слоем пыли, Кончо был сильно не в духе. Только одна услада могла скрасить Кончо изнурительно трудную дорогу, и эта услада таилась в кожаной фляжке, висевшей у него на луке. Кончо поднес фляжку к губам, сделал большой глоток, сморщился и крикнул:

— Сагајо <sup>1</sup>!

Во фляжке оказалось не агвардиенте <sup>2</sup>, а скверное американское виски, которое под этим звучным кастильским названием продавал ирландец в таверне около поселка Три Сосны. Тем не менее фляжка была почти опорожнена и снова повисла на седле, желтая и сморщенная, как лицо самого Кончо.

Подкрепившись Кончо заглянул на дно ущелья, откуда он поднимался с самого полудня. Там внизу была равнина — бесплодная, пыльная, унылая и лишь кое-где

<sup>1</sup> Проклятье (исп.).

<sup>2</sup> Местная водка (исп.).

окаймленная узкой полоской вспаханной земли или зеленых valdas<sup>1</sup>. С минуту Кончо пристально разглядывал низкую гряду облаков на востоке, таких белых и легких, что они, казалось, то возникали, то исчезали у него на глазах. Он провел рукой по лбу, сощурил воспаленные веки. Что это — действительно Сьерра или проклятое американское виски над ним подшучивает?

Кончо стал снова подниматься в гору. По временам заброшенная тропа совсем терялась на каменистом скате, но умная ослица Франсискита каждый раз отыскивала, куда ступить. Так шло до тех пор, пока она не упала, споткнувшись о камень. Тщетно Кончо старался поднять ее из-под груды лагерьной утвари, лотков для промывки золотого песка и могил — ослица лежала спокойно и только время от времени поднимала голову и окидывала взглядом расстилавшуюся внизу унылую равнину. Кончо стал осыпать ее градом совершенно бесполезных ударов. Кончо разразился ругательствами, носившими ярко выраженный мирской характер, как, например: «злодейка», «изверг», «свиная морда, хоть бы тебя бык на рога насадил!» — но и это ни к чему не привело.

Тогда Кончо прибегнул к религиозной тематике.

— Ах ты, Иуда Искарот! Хочешь бросить хозяина в одной миле от лагеря! Предательница подлая! Хозяина там ужин дожидается! Вставай, богопротивная тварь!

Все было напрасно. Кончо стало не по себе: ведь ни одна благочестивая ослица не могла бы устоять перед такими увещаниями. Он сделал еще одну отчаянную попытку.

— Встань, богоотступница! Смотри! — Протянув руку вперед, он быстро перекрестил воздух. — Смотри! Изыди, дьявол! Ага, дрожишь! Ну-ка, посмотри еще, не отводи глаз, богомерзкая! Я... я отлучаю тебя от церкви!

— Что ты там беснуешься? — проговорил чей-то грубый голос над головой у Кончо.

Кончо вздрогнул. А что, если дьявол и на самом деле схватит его Франсискиту и улетит с ней прочь? Он не решился поднять глаза.

<sup>1</sup> Valda, или Falda (исп.) — подол женской юбки, в переносном смысле — часть горного склона, образующего угол с долиной. (Прим. автора.)

— Оставь свою ослицу в покое, мексиканская замухрышка,— продолжал тот же голос.— Не видишь разве, что она ногу вывихнула?

Хотя эти слова и напугали Кончо, но все же он вздохнул свободнее: Франсискита вывихнула ногу, зато в ведре не пошатнулась.

Несколько осмелев, Кончо поднял голову. Незнакомец, судя поговору и одежде — американо, спускался к нему с верхнего уступа. Это был худощавый человек с загорелым, чисто выбритым лицом, которое можно было бы счесть самым заурядным и маловыразительным, если бы не левый глаз, сосредоточивший в себе все то злодейское, что было присуще этому лицу. Закройте этот левый глаз — и перед вами самый обыкновенный человек; закройте все лицо, кроме этого глаза, и на вас глянет сам сатана. Насмешница природа, по-видимому, заметила эту особенность, и, парализовав нерв на левом веке незнакомца, прикрыла ему зрачок точно занавеской, потом рассмеялась над делом рук своих и пустила этого человека гулять по свету среди его доверчивых обитателей.

— Ты что тут делаешь? — спросил незнакомец, помогая Кончо кое-как поставить ослицу на ноги.

— Я на разведках, сеньор.

Незнакомец покосился на Кончо своим благопристойным правым глазом, тогда как левый с бесконечным презрением и злобой взирал на окружающие горы.

— Что ищешь?

— Золото и серебро, сеньор. Серебро чаще попадается.

— Один?

— Нет, нас четверо.

Незнакомец огляделся по сторонам.

— Наш лагерь в миле отсюда,— пояснил Кончо.

— Нашли что-нибудь?

— Вот этого много.— Кончо достал из вьюка кусок сероватой железной руды, испещренный блестками колчедана. Незнакомец не сказал ни слова, но его левый глаз сверкнул дьявольской хитростью.

— Тебе повезло, мексикашка.

— А?

— Это действительно серебро.

— Почему вы знаете?



— Такое уж мое дело. Я металлург.

— Значит, вы можете сказать, что серебро, а что нет?

— Могу. Вот, смотри! — Незнакомец вынул из выюка небольшой кожаный футляр с несколькими склянками. Одну склянку, завернутую в синюю бумагу, он протянул Кончо.

— Это раствор серебра.

Глаза у Кончо загорелись, но взгляд был недоверчивый.

— Налей воды в лоток.

Кончо опорожнил в лоток флягу и подал его незнакомцу. Тот опустил в склянку сухую былинку и стряхнул с нее в лоток две капли. Вода осталась такой же прозрачной.

— Теперь брось туда щепотку соли, — сказал незнакомец.

Кончо так и сделал. На поверхности выступила белая пленка, и вскоре вода приняла молочный оттенок.

Кончо быстро перекрестился.

— Матерь божия, да это — колдовство!

— Хлористое серебро, дурак!

Не удовольствовавшись этим незамысловатым опытом, незнакомец опустил в азотную кислоту лакмусовую бумажку; у Кончо дух захватило от изумления, когда она вдруг стала красной, а потом простодушный мексиканец окончательно опешил, увидев, что в соленой воде бумажка приняла свой прежний цвет.

— А теперь вот это, — сказал Кончо, подавая незнакомцу свой кусок железной руды. — Сначала в препарат серебра опустите, а потом в соленую воду.

— Не торопись, приятель, — ответил незнакомец. — Руду надо прежде всего расплавить, а потом взять пробу, — а это, мексиканский ангелок, стоит не дешево! Нет, сэр, не для того я провел свои молодые годы в Гейдельберге и Фрейбурге, чтобы метать бисер перед первым встречным мексиканцем.

— А сколько... э-э... сколько это будет стоить? — нетерпеливо спросил Кончо.

— Ну что ж, долларов за сто я исследую твою руду, и издержки оплатишь. Но уж если в ней окажется серебро, тебе останется только лопатой его загребать.

— Даю сто долларов! — взволнованно крикнул мексиканец. — Мы вчетвером дадим! Приедете в наш лагерь, будете плавить... окажется серебро... Хватит! Пошли! — И уже сам не свой от волнения, он схватил незнакомца за руку, готовый вести его хоть сейчас.

— А как же твоя ослица? — спросил тот.

— И правда! Пресвятая богородица, что же с ней делать?

— Слушай, — сказал незнакомец с недоброй усмешкой. — Далеко она не уйдет, ручаюсь. У меня тут поблизости есть вьючный мул; поедешь на нем, покажешь мне, где ваш лагерь, а завтра вернешься за своей скотиной.

Верное сердце бедного Кончо сжалось при мысли о том, что ему придется бросить свою беспомощную ослицу, которую минуту назад он осыпал проклятиями, но алчность победила.

— Я вернусь за тобой, маленькая, завтра же, и вернусь богачом. Потерпи малость. Adios<sup>1</sup>, моя крошка! Adios!

И, ухватив американца за руку, он потащил его вверх по крутой тропе к вершине горы. Там его спутник остановился и устремил свой злобный глаз на расстилавшуюся под ними долину.

Прошло много лет, и когда история этих двух людей стала известна всем, пионеры, как истые католики, назвали это место «la Cañada de la Visitation del Diablo» — «Ущельем явления дьявола». Теперь же по этому ущелью проходит граница знаменитого мексиканского поместья.

## ГЛАВА II КТО ЕГО НАШЕЛ

Кончо так не терпелось добраться до лагеря и порадовать товарищей хорошими вестями, что незнакомцу приходилось то и дело сдерживать его.

— Мало тебе твоей ослицы, проклятый мексиканец, хочешь еще и моего мула доконать? Смотри, поставлю

---

<sup>1</sup> Прощай (исп.).

его тебе в счет,— сказал он, усмехаясь и зловеще подмигивая левым глазом.

Проехав с милую вдоль гребня, они снова стали спускаться в долину. Теперь тропинку окаймляла скудная растительность: заросли чемисала, редкие кусты мансанита, карликовые каштаны запускали свои корни в расщелины черно-серых скал. Кое-где в ущельях, прорытых зимними потоками, однообразие серых камней нарушалось темно-красными и коричневыми пятнами; на утесах, нависших над тропой, всюду виднелись следы кирпичи. Вскоре за откосом, который путники только что обогнули, с каменистого дна ущелья показалась тонкая, еле заметная струйка дыма, словно подтянутая чьей-то невидимой рукой в небеса.

— Вот наш лагерь,— весело сказал Кончо.— Поеду вперед предупредить товарищей, что к нам едет чужой человек.— И не успел незнакомец остановить его, как он галопом понесся вперед и исчез за поворотом тропинки.

Оставшись один, спутник Кончо поехал медленнее, и у него осталось достаточно времени на размышления. Доверчивость бедняги мексиканца озадачила даже такого негодая, как он. Совесть его была спокойна, но он боялся, как бы товарищи Кончо, зная его легковёрность, не заподозрили чужака в том, что он хочет ею воспользоваться. Американец ехал в глубоком раздумье. Может быть, ему вспомнилось его прошлое? Бездомный бродяга с первых лет жизни, мошенник по ремеслу, человек, отвергнутый обществом, он с детства стоял на той роковой грани, за которой начинается преступление, но в то же время старался не порывать с видимостью порядочности.

Ему ничего не стоило надуть мексиканцев — ведь это же отребье человеческого! — и он почувствовал себя чуть ли не носителем культуры и прогресса. Истинный смысл просвещения становится понятен нам только тогда, когда мы просвещаем насильственным путем.

Еще несколько шагов, и в сгущающихся сумерках на тропинке появились четверо. Американец сейчас же узнал сияющего улыбкой Кончо и, быстро оглядев остальных, успокоился, поняв, что товарищи Кончо, хоть и не столь добродушные на вид, вряд ли превосходят его

умом. Педро был рослый пастух, Мануэль — худощавый мулат, бывший питомец Сан-Кармелской миссии, а Мигель — в недавнем прошлом монтерейский мясник.

Благодетельное влияние Кончо усыпило в них ту подозрительность, с которой люди невежественные обычно встречают чужаков, и они повели своего гостя, назвавшегося мистером Джозефом Уайлзом, к лагерному костру. Желание сразу же приступить к делу заставило их даже забыть законы гостеприимства, и они пришли в себя только после того, как мистер Уайлз — отныне дон Хосе — резко напомнил им, что ему не мешало бы прежде всего подкрепиться. После скудного ужина, состоявшего из лепешек, бобов, солонины и шоколада, мексиканцы сложили печь из темно-красных камней, вывороченных с ближайшего уступа, и вмазали в нее глиняный горшок, обожженный каким-то особым местным способом. Из ущелья натаскали охапками сосновых веток, и через несколько минут в горне запылал огонь.

Мистер Уайлз не принимал участия в этих хлопотах и, вольготно развалившись на земле, время от времени цедил указания сквозь зубы, сжимавшие глиняную трубку. Прохвост и виду не показывал, как его потешает вся эта ненужная возня, но было замечено, что левым глазом он то и дело поглядывал на бывшего пастуха — широкоплечего Педро, на угрюмо-насуспенную физиономию этого достойнейшего мужа. Поймав на себе недобрый взгляд американца, Педро выругался вполголоса, но, не устояв перед его коварной притягательной силой, стал то и дело посматривать в ту сторону.

Зловещие взгляды Уайлза только усугубляли мрачную живописность пейзажа. Горы, громоздившиесяверху, тяжелой гучей рембрандтовских теней четко выделялись в небе, таком непостижимо далеком, что уставшей от жизни человеческой душе, казалось, никогда не достигнуть его, никогда не одолеть этой голубоватой, как сталь, выси. Звезды были крупные, яркие, но от них веяло холодом. Они не мерцали, не подмигивали, словно скованные своей несокрушимой оправой. Пламя горна бросало багровые блики на лица мужчин, играло на пестрых одеялах и серапе, но, добравшись до тени, притаившейся шагах в двадцати у темной скалы, терялось в ней без следа. Только тихая, напевная речь мексиканцев, рев ог-

ня в горне и пронзительный лай койотов, доносившийся снизу, из долины, нарушали гнетущую тишину гор.

Рассвет был близок, когда мексиканцы сказали, что руда расплавилась,— и как нельзя более кстати, ибо горшок уже начал медленно оседать между раскрошившимися камнями. Кончо, ликуя, возопил: «За бога и свободу!» — но дон Хосе Уайлз прикрикнул на него и велел укрепить горшок подпорками. Потом дон Хосе нагнулся над бурлившей массой. Прошла секунда, но за эту секунду опытный металлург, мистер Джозеф Уайлз, успел тихонько бросить в котел серебряную монету в полдоллара.

После этого он приказал мексиканцам поддерживать огонь в горне, а сам смежил глаза — вернее, только один глаз, правый.

Рассвет зажег тусклые сигнальные костры на вершинах ближайших гор, а далеко на востоке разбросал розы по снегам Сьерры. Внизу в ольховнике зачирикали птицы, явственно слышался скрип колес фургона, хотя сам фургон казался всего лишь облачком пыли на дороге. И тогда дон Хосе торжественно разбил горшок, и раскаленная добела масса вылилась на землю. Наш опытный металлург отделил от нее небольшой кусочек, измельчил его, проделал то же самое со вторым куском, подверг их действию кислоты, опустил в соленую воду, которая сразу же приняла молочный цвет, и, наконец, показал мексиканцам белый комочек, оказавшийся *mita-bile dictu*<sup>1</sup> серебром, и было его тут на два цента!

Кончо закричал. вне себя от радости, остальные обменялись недоверчивыми, подозрительными взглядами; товарищи в нищете, они уже начинали сторониться и подозревать друг друга в предвидении богатства. Левый глаз Уайлза иронически поглядывал на них.

— Вот вам сто долларов, дон Хосе,— сказал Педро, вручив золото Уайлзу и достаточно бесцеремонно выразив своим тоном, что они больше не нуждаются ни в присутствии американца, ни в его услугах.

Уайлз принял деньги, милостиво улыбнувшись и подмигнув, отчего у Педро душа ушла в пятки, и уже хотел было отправиться восвояси, как вдруг его остановил возглас Мануэля:

---

<sup>1</sup> Странно сказать (лат.).

— Смотрите, что вытекло из горшка! Смотрите!

Мануэль подметал перед завтраком сор от развалившегося горна и обнаружил на земле блестящую лужицу ртути.

Уайлз вздрогнул, обежал мексиканцев быстрым взглядом, сразу же убедился, что они не знают этого металла, и спокойно сказал:

— Это не серебро.

— Прошу прощения, сеньор, это серебро, оно еще не застыло.

Уайлз нагнулся и провел пальцем по блестящей лужице.

— Мать божия! Что же это такое — волшебство?

— Нет, просто неблагоприятный металл.

Осмелев, Кончо последовал примеру Уайлза, набрал полную пригоршню сверкающего металла, и ртуть сразу же разбежалась крохотными шариками у него по ладони, с ладони проникла в рукав, и он так и заплесал на месте не то от ребячливой радости, не то от страха.

— И его не стоит добывать? — спросил Педро.

Правый глаз Уайлза и правая половина лица были обращены к Педро, а злобным глазом он уставился на красно-бурый скат горы.

— Нет! — И, круто повернувшись, он стал седлать своего мула.

Сразу же после его ухода Мануэль, Мигель и Педро начали озабоченно переговариваться между собой, а Кончо, вспомнив о своей искалеченной ослице, пошел обратно в горы. Но ослицы на том месте не было. Сохраняя преданность своему хозяину, несмотря на плохое обращение и побои, Франсискита на сей раз не смогла перенести нелюбезности и пренебрежения к себе. Некоторые особенности характера присущи, видимо, всем существам женского пола.

Усталый, безутешный, одолеваемый угрызениями совести, Кончо проделал еще три мили по каменистому кряжу на обратном пути в лагерь. Но, к его величайшему удивлению, в лагере было пусто — ни людей, ни мулов, ни вещей. Кончо стал громко звать своих товарищей. Ответом ему было только суровое горное эхо. Что это, шутка? Кончо засмеялся через силу. «Да-да, подшутили... здорово подшутили... Нет, его бросили здесь одного».

Бедняга упал ничком на землю и зарыдал так горько, что казалось, сердце его вот-вот разорвется на части.

Но через минуту-другую буря миновала; Кончо не мог долго горевать и сердиться на людскую несправедливость. Он поднял голову и вдруг увидел поблескивающую ртуть — шаловливый металл, который привел его в такой восторг час тому назад. Не прошло и двух-трех минут, как Кончо опять развеселился: он гонял ртуть по земле, перекатывал ее на ладонях и заливался мальчишеским смехом, потешаясь над увертливыми, быстрыми шариками.

— Ишь, какая ловкая! Попрыгунчик! Побежала, побежала! Ну-ка, иди сюда... Теперь попалась, крошка, попалась, мучача<sup>1</sup>. Поцелуй меня!

За игрой предательство товарищей было забыто. Взвалив на плечо свои скудные пожитки, Кончо не забыл прихватить с собой и полюбившуюся ему ртуть, собрав ее в кожаную флягу, висевшую у пояса.

И мне думается, что солнце ласково смотрело, как он бодро шагает по склону сумрачной горы, и шаг его, не отягченный ни серебром, ни преступлением, был легче и свободнее, чем у его недавних товарищей.

#### ГЛАВА III

#### КТО СДЕЛАЛ ЗАЯВКУ

Туман уже надвинулся на Монтерей, и его белые волны вскоре заволокли кипение синих валов внизу. Спускаясь с горы, Кончо раз-другой наклонялся над пропастью и смотрел на изогнувшийся подковой залив, до которого оставалось еще много миль пути. Днем он видел сверкающий на солнце золоченый крест над белым фасадом миссии, но теперь все скрылось в тумане. Когда Кончо добрался до города, уже совсем стемнело, и он завернул в первую же таверну, где постарался утопить свою горе и усталость в агвардиенте. Но голова у Кончо болела, спину ломило, и вообще ему было так плохо, что он вспомнил об одном медико — недавно поселившемся в городе американском враче, который однажды вылечил и его самого

---

<sup>1</sup> Девочка (исп.).

и его ослицу, по-видимому, одним и тем же лекарством и одним и тем же могущественным способом. Кончо рассудил тогда довольно логично, что если уж пришлось лечиться, так надо получить за свои деньги как можно больше здоровья. Фантастическое изобилие плодов земных и всяческой живности в Калифорнии не допускали и мысли о микроскопических дозах. Врач дал Кончо дюжину порошков хины, по четыре грамма каждый. На следующий день благодарный мексиканец явился на прием исцеленным. Врач был очень доволен им, но из дальнейшего разговора выяснилось, что Кончо по забывчивости, а также во избежание лишних забот принял все порошки разом. Врач пожал плечами и... изменил дозировку в рецептах.

— Ну,— сказал доктор Гилд, когда Кончо в изнеможении опустился на один из двух имевшихся в приемной стульев,— а теперь что с тобой случилось? Опять ночевал на болоте, или таможенное виски пришлось не по нутру? Рассказывай, в чем дело.

Кончо сообщил врачу, что в желудке у него сидит сам дьявол, что Иуда Искарот вселился в его спину, что сотни бесенят терзают ему голову, а ступни крутит Понтий Пилат.

— Значит, синие пилюли,— сказал врач и дал ему шарик величиной с ружейную пулю и такой же тяжелый. Кончо тут же проглотил его и собрался уходить.

— Денег у меня нет, сеньор медико.

— Пустяки. С тебя всего один доллар, стоимость лекарства.

Кончо устыдился, что проглотил столько наличными, и робко сказал:

— Денег у меня вовсе нет, а есть вот эта красивая и забавная вещица. Возьмите ее себе.— И он протянул врачу флагу с ее драгоценным содержимым.

Врач взглянул на зыбкую блестящую массу и сказал:

— Да ведь это ртуть!

Кончо засмеялся.

— Да, ртуть, живая, как ртуть! — И он прищелкнул пальцами в подтверждение своих слов.

Выражение лица у врача сразу изменилось.

— Где ты ее взял, Кончо? — спросил он после долгого молчания.

— Там, в горах. Она вытекла из горшка.



Врач недоверчиво посмотрел на него. Тогда Кончо рассказал ему, как все было.

— Ты сможешь найти это место?

— Матерь божия! Еще бы! У меня там ослица осталась, черт бы ее унес!

— Ты говоришь, и товарищи твои это видели?

— Конечно!

— А потом они убежали, бросили тебя?

— Бросили, неблагодарные скоты!

Врач встал и притворил дверь кабинета.

— Слушай, Кончо,— сказал он.— Лекарству, которое я тебе дал, цена доллар. Оно стоит доллар потому, что его делают из того вещества, что у тебя во флаге,— из ртути. Этот металл очень ценится, особенно там, где добывают золото. Друг мой! Если ты знаешь место, где этой ртути много, считай себя богачом.

Кончо вскочил со стула.

— Скажи мне, камень, из которого вы сложили горы, красный?

— Да, сеньор.

— Красновато-бурый?

— Да, сеньор.

— И крошится на огне?

— В прах распадается.

— И много там такого красного камня?

— Большая гора им беременна.

— Ты уверен, что твои товарищи не завладеют этой большой горой?

— Это как же?

— Сделают заявку по праву первооткрывателей, и закон будет на их стороне.

— Нет! Я этого не допущу!

— Но как же ты будешь в одиночку бороться против четверых? Ведь твой ученый металлург, наверно, с ними заодно!

— Я буду бороться, буду!

— Хорошо, милый Кончо, а что, если я освобожу тебя от этой борьбы? Вот мое предложение: я подберу тебе в компанию человек пять американос. На добывание руды нужен капитал. Ты войдешь с ними в половинную долю. Они возьмут на себя риск, дадут тебе деньги и будут защищать твои права.

— Понимаю,— сказал Кончо, кивая головой и быстро мигая глазами. — Bueno<sup>1</sup>!

— Я вернусь через десять минут,— сказал врач, беря шляпу.

Он сдержал слово и ровно через десять минут вернулся с шестью первыми заявщиками, советом директоров, председателем, секретарем и актом об организации компании ртутного рудника «Синяя пилюля». Название было дано из уважения к врачу, который пользовался популярностью в здешних местах. Председатель добавил от себя револьвер.

— Вот, возьми,— сказал он, протягивая оружие Кончо.— Моя лошадь стоит во дворе, садись, скачи во весь опор, приедешь — держись там, пока мы не явимся!

Минута — и Кончо был уже в седле. И тут один из директоров снова превратился в медика.

— А можно ли тебе, больному, ехать? — неуверенно проговорил доктор Гилд.— Ты же только что принял сильное лекарство,— продолжал он с лицемерной озабоченностью.

— А! К черту! — рассмеялся Кончо.— Ртуть, которая во мне,— пустяк по сравнению с той, которая у меня будет! Хоп-ла, коняга! — Послышался стук подков, звон шпор, и он скрылся в темноте.

— Вы вовремя начали действовать, господа,— сказал американский алькальд, подъехав к дому доктора Гилда.— Для работ на том же самом участке образовалась еще одна компания.

— Кто такие?

— Три мексиканца: Педро, Мануэль и Мигель,—а заправляет всем делом этот наглец и мошенник — косоглазый Уайлз.

— Они здесь?

— Мануэль и Мигель здесь. Остальные в таверне «Три сосны» уламливают Роскоммона, пытаются втянуть его в свою компанию, чтобы погасить долги за выпитое виски. Я считаю, что вам не стоит выезжать до рассвета: ведь они наверняка напьются вдребезги.

Высказав, таким образом, свое непредвзятое мнение,

---

<sup>1</sup> Хорошо (исп.).

законный преемник почтенных мексиканских алькальдов отправился восвояси.

Тем временем Кончо, грозный Кончо, удачливый Кончо не щадил ни рияты, ни боков своего коня. В темноте тропа была еле заметна, скакать по ней по временам становилось опасно, и Кончо, хоть ему было и не в первый раз подниматься на такую высоту, то и дело вспоминал свою надежную Франсискиту.

— Ничего, Кончо,— утешал он себя,— потерпи немножко, совсем немножко, и у тебя будет другая Франсискита. А-а, попрыгунчик, хорошо ты плясала! Доллар за унцию! Под такую музыку распляшешься! Ничуть не хуже серебра и вдобавок веселее!

Однако, несмотря на прекрасное расположение духа, Кончо зорко вглядывался в крутые повороты тропинки. Кончо боялся не убийц и не разбойников — он был человек храбрый,—его страшил дьявол, который, как говорят, принимает разные обличья и прячется в горах Санта-Крус, к величайшему огорчению всех истых католиков. Кончо вспомнил случай с Игнасио, погонщиком мулов из общины францисканских монахов: Игнасио остановился в час молитвы, чтобы прочесть «Верую», и увидел сатану в образе чудовищного медведя-гризли, который сидел на корточках и передразнивал его, молитвенно подняв передние лапы. Тем не менее, ухватив одной рукой повод и четки, другой придерживая фляжку и револьвер, Кончо ехал быстро и добрался до вершины горы, когда первые лучи солнца озарили далекие уступы Сьерры. Привязав лошадь на небольшом плато, он осторожно спустился вниз к красному откосу и осевшему, развалившемуся горну. Все здесь было так, как и утром; следов недавнего посещения этих мест человеком не замечалось. С револьвером в руках Кончо обследовал каждую пещеру, овраг, каждую расщелину в скалах, заглянул за стволы деревьев, обшарил заросли дикого каштана и мансанита и все прислушивался, прислушивался. Но до него не доносились ни звука, только ветер тихо шелестел в соснах.

Кончо принялся шагать взад и вперед. Будто и вправду часовой, подумалось ему. Но его подвижная, как ртуть, натура скоро взбунтовалась против такого монотонного занятия; дало себя знать и утомление. Прибегнув к помощи фляги, он почувствовал сонливость, и в конце кон-

цов лег на землю, и укутался одеялом. Через минуту он уже спал.

Лошадь, привязанная наверху, два раза громко заржала, но Кончо не слышал ее. Потом в кустах прямо над ним что-то хрустнуло, к ногам его упал небольшой камень — Кончо не шелохнулся. И вот на скалистой гряде появились две темные фигуры.

— Ш-ш! — слышался шепот. — Около горна кто-то лежит. — Речь была испанская, но голос принадлежал Уайлзу.

Второй осторожно подполз к самому краю утеса и заглянул вниз.

— Это болван Кончо, — презрительно сказал Педро.

— А что, если он не один, что, если он проснется?

— Я буду караулить, а ты иди ставь заявку.

Уайлз исчез. Педро стал спускаться вниз, цепляясь за чемисаль и кусты.

Не прошло и минуты, как он остановился около спящего. Опасливо огляделся по сторонам. Тень, падавшая от скал, скрывала его спутника; только по легкому потрескиванию сучьев можно было судить, где он находится. Стремительным движением Педро накинул на голову Кончо серапе и всей тяжестью своего грузного тела навалился на него, крепко сжимая руками закутанное в одеяло тело своей жертвы. Кончо взметнулся, захрипел, по его телу пробежала судорога, но, укутанный одеялом, точно саваном, несчастный не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Все обошлось тихо, без криков. У подножия скал спокойно лежали два человека. Казалось, они спят, крепко обняв друг друга. Среди мертвой тишины наверху в кустах слышались осторожные шаги Уайлза.

Кончо почти не бился. Сверху донесся шепот:

— Где ты? Не вижу. Что ты там делаешь?

— Сторожу его.

— Он спит?

— Спит.

— Крепко?

— Крепко.

— Мертвым сном?

— Мертвым сном.

Кончо совсем затих. Педро встал навстречу спускавшемуся с горы Уайлзу.

— Готово, — сказал Уайлз. — Будешь свидетелем, что я поставил заявку?

— Буду свидетелем.

— А что делать с ним? — Он показал на Кончо. — Оставим его здесь?

— Этого пьяницу? Конечно.

Уайлз взглянул левым глазом на Педро. Они стояли рядом, как прошлой ночью. Педро вскрикнул и выругался:

— Карамба! Отведи от меня свой сатанинский глаз! Чего устался? А?

— Ничего, друг мой Педро, — ответил Уайлз, поворачиваясь к нему правым боком.

Взбешенный, перетрусивший пастух спрятал нож, который он уже успел наполовину вытащить из ножен, и злобно заворчал:

— Ну, ступай! Только держись слева от меня.

Прислушиваясь, озираясь по сторонам, не доверяя ничему на свете, а меньше всего друг другу, они скрылись в густой тени скал, из которой, словно злые духи, возникли несколько минут назад.

Прошло полчаса, восток посветлел, вспыхнул, засверкал, как расплавленное золото. Солнце горделиво поднялось в небе, и туман, украдкой забравшийся ночью на самую вершину горы, пополз вниз по ее склонам, раздвигая в поспешном бегстве свои белые одежды о деревья, кусты, камни. Тонкие былинки в расселинах скал, вскормленные бурями под баюканье пассата, протягивали к всевышнему свои слабые, беспомощные руки, но сильный Кончо, отважный Кончо, веселый Кончо умолк навсегда и лежал недвижим.

#### ГЛАВА IV

#### КТО ИМ ЗАВЛАДЕЛ

На горной вершине не умолкало ржание. Лошадь Кончо требовала утреннего корма.

Ее нетерпеливый голос слышали всадники, поднимавшиеся на гору по западному склону. Одному из них он показался знакомым.

— Вот черт! Ведь это Чикита! Проклятый мексиканец валяется где-нибудь пьяный,— сказал председатель компании рудника «Синяя пилюля».

— Не нравится мне это,— заговорил доктор Гилд, когда они подъехали к негодующей кобылке.— Будь на месте Кончо американец, я назвал бы его нерадивым хозяином, но мексиканец никогда не забудет о своем коне. Вперед, друзья, боюсь, что мы опоздали.

Через полчаса они увидели внизу выступ скалы, развалившийся горн и неподвижную фигуру Кончо, который лежал на солнцепеке, закутанный в одеяло.

— Что я говорил? Конечно, пьян! — сказал председатель.

Врач нахмурился, но промолчал. Всадники спешили, привязали лошадей, потом на четвереньках подползли к краю уступа. И вдруг секретарь Гиббс крикнул:

— Смотрите! Кто-то поспел сюда раньше нас, вон заявки.

Они увидели на скале два брезентовых полотнища с заявкой, и на них стояли подписи Педро, Мануэля, Мигеля, Уайлза и Роскоммона.

— Все это было сделано, доктор, пока ваш надежный мексиканец валялся тут пьяный, пропади он пропадом! Как же нам теперь быть?

Но доктор Гилд, не говоря ни слова, уже начал спускаться к злосчастному виновнику их неудачи, хранившему безмолвие в ответ на обращенные к нему упреки. Остальные последовали за ним.

Он опустился на колени рядом с Кончо, отдернул одеяло, пощупал Кончо пульс, прижался ухом к его сердцу и сказал:

— Он умер!

— Ну, конечно! Вы же вчера напичкали его лекарствами... Вот к чему приводит ваша смелая практика!

Но доктор Гилд был слишком озабочен, чтобы обращать внимание на насмешки. Он посмотрел на выкатившиеся глаза Кончо, открыл ему рот, взглянул на распухший язык и быстро встал.

— Сорвите заявки, друзья, только не выбрасывайте их. И ставьте свои. Не бойтесь, никто не будет оспаривать ваши права — тут, кроме разбоя, и убийство.

— Убийство?!

— Да,— взволнованно сказал доктор Гилд.— Я под присягой покажу, что этого человека задушили. Напали на сонного. Вот, смотрите! — Он показал на револьвер, зажатый в окоченевшей руке убитого, ибо выстрелить Кончо так и не успел.

— Правильно,— сказал председатель,— никто не ложится спать, держа в руках револьвер со взведенным курком. Что же нам делать?

— Все, что только в наших силах,— ответил врач.— Убийство совершено не больше двух часов назад, тело еще теплое. Убийца ушел отсюда другой дорогой, иначе мы бы встретились с ним. Сейчас он, наверное, на пути к Трем Соснам.

— Господа! — Председатель солидно кашлянул для начала.— Двое из нас останутся здесь. Остальных прошу следовать за мной к Трем Соснам. Мы свидетели грубейшего нарушения закона. Это — подсудное дело.

Циничные, легкомысленные, бесшабашные люди мгновенно превратились в трезвых, степенных граждан. Они сказали «Правильно!», все как один утвердительно кивнули и быстро пошли к своим лошадям.

— Может быть, лучше дождаться дознания и получить ордер на арест? — осторожно сказал секретарь акционерного общества.

— Сколько нас?

— Пятеро.

— Тогда,— заявил председатель, резюмируя в одной выразительной фразе все законодательство штата Калифорния,— на черта нам нужен этот ордер!

## ГЛАВА V

### КТО ИМЕЛ НА НЕГО ПРАВА

В Трех Соснах стоял жаркий полдень. Верхушки трех сосен, давших поселку его название, словно дымились, источая смолистый бальзам в раскаленный, пыльный воздух. Ослепительно сверкала дорога, сверкала небо, сверкали скалы и белые парусиновые крыши нескольких лагун, из которых состоял поселок. Сверкала даже сбитая из некрашенных досок таверна и бакалейная лавка Ро-скоммона, а нагревшийся на солнце пол ее веранды слов-

но коробился под ногами посетителей. Мулы, привязанные у водопойной колоды, жались к стене в поисках тени.

Бакалейная торговля мистера Роскоммона, хотя и удовлетворявшая нужды поселка, не была обременительна или непосильна для владельца лавки: отпуск муки и свинины старателям отнимал у него какой-нибудь час в субботу вечером, но для того, чтобы ежедневно предоставлять старателям возможность упиваться спиртным, требовалось немало хлопот и усилий. Роскоммон проводил больше времени за стойкой, чем за прилавком. Если прибавить к этому, что на длинной, похожей на сарай пристройке имелась вывеска: «Отель «Космополит». Комнаты со столом на сутки и на неделю. М. Роскоммон», — то читатель получит представление, насколько разнообразны были обязанности хозяина. Впрочем, «отель» находился больше под присмотром миссис Роскоммон, женщины тридцати лет, пышущей здоровьем, вспыльчивой, но добродушной.

Мистер Роскоммон давно пришел к убеждению, что большинство его клиентов — полоумные и потому их следует запугивать или задабривать, смотря по обстоятельствам. Ни буйные речи, ни буйное поведение не могли вывести из равновесия, не могли одолеть этого твердокаменного, упрямого, но спокойного с виду человека. Каждую свободную минуту, когда не надо было наливать виски или следовало подождать, пока налитое не выпьют, он усердно вытирал стойку грязным-прегрязным полотенцем, а то и любой тряпкой, какая попадалась под руку. Заметив за ним эту привычку, старатели коварно подсовывали ему разные предметы, не соответствовавшие такому назначению, — рваные рубахи и белье, мучные мешки, паклю, а один раз даже фланелевую юбку его жены, похищенную с веревки на заднем дворе. Роскоммон вытирал стойку, не поднимая глаз, но тем не менее ухитрялся следить за каждым посетителем:

— Ни капли не получишь, Джек Браун, пока не заплатишь по старому счету.

— А-а, явился, миленький! Тебя бутылочка с самой субботы дожидается.

— Слушай, Маккоркл! Ты что же это делаешь? Я-то гнул спину, вылавливал для него из бочки со свининой куски пожирней, а он последний цент спустил у Гилроя!



— Эй, ребята! Если хотите драться, так позади загон есть хорошенький лужок. Ступайте-ка туда! Может, я сам возьму палку да приду с вами позабавиться.

Впрочем, в этот день настроение у мистера Роскоммона было несколько иное, чем всегда, и когда стук копыт перед крыльцом дал знать о приближении каких-то посетителей, он перестал вытирать стойку и поднял глаза на дверь как раз в ту минуту, когда доктор Гилд, председатель и секретарь новой компании входили в лавку.

— Мы ищем человека по имени Уайлз, — сказал врач, — а также троих мексиканцев — Педро, Мануэля и Мигеля.

— Ищите?

— Да, ищем.

— Ну, что ж, надеюсь, найдете. А если получите с них по моему счету, я к этим деньгам свое благословение прибавлю, милые вы мои.

Стоявшие рядом старатели засмеялись — им пришлось не по вкусу вторжение чужаков.

— Пожалуй, вам будет не до смеху, господа, — сухо проговорил доктор Гилд, — когда вы узнаете, что немногим больше часа тому назад было совершено убийство и люди, которых мы ищем, оставили на месте преступления вот эти заявки, подписанные их именами. — Доктор Гилд показал всем оба полотнища.

В наступившей тишине старатели столпились вокруг него. Один только Роскоммон по-прежнему вытирал стойку.

— Заметьте, джентльмены, что имя Роскоммона тоже стоит на этом документе. Он тоже расписался как заящик.

— Ну, мой милый, — сказал Роскоммон, не поднимая глаз, — если и против этих ребят улики не сильнее, чем против меня, так вам лучше ехать прямо домой. Я из своей лавки ни на минуту не отлучался, ни днем, ни ночью, вот они все это подтвердят — я им товар отпускал.

— Это верно, Росс правду говорит, — хором ответили старатели. — Мы ему всю ночь покоя не давали.

— Так почему же ваше имя стоит на этом документе?

— О, чтоб тебя! Послушайте его, ребята! Да ведь все, кто задолжает мне за выпивку, то и дело приходят и говорят: «Мистер Роскоммон» или «Майк», уж как случится, «я сегодня напал на хорошую жилу и поставил

под заявкой ваше имя. Теперь вам привалит, мистер Роскоммон! А на наше с вами счастье налейте еще кварту виски». Да вот спросите Джека Брауна, он вам скажет,— я его заявками сыт по горло.

Смех, последовавший за речью хозяина лавки, и напращивающиеся из этого выводы убедили компаньонов, что они сделали промах и не отыщут здесь следов настоящих преступников и что их угрозы встретят здесь в штыки. Однако врач стоял на своем:

— Когда вы их видели последний раз?

— Когда я их видел? Вот поди ж ты! Да я на них и не гляжу никогда: то виски подаешь, то стойку вытираешь — мне по сторонам глазеть некогда!

— Верно, Росс! — подтвердили старатели, которым разговор этот доставлял огромное удовольствие.

— Тогда я скажу вам, господа, что вчера вечером они были в Монтерее, — сухо проговорил доктор Гилд, — возвращались другой дорогой и, следовательно, на рассвете проезжали здесь.

С этими словами, о которых врач не замедлил пожалеть, компаньоны вышли из лавки.

Мистер Роскоммон снова принялся разливать виски по стаканам и вытирать стойку. Но поздно ночью, когда бар был закрыт и последний гуляка без церемонии выставлен за дверь, он удалился в свою супружескую спальню и там, наедине с женой, вынул из кармана какой-то документ.

— Ну-ка, милая моя Мэгги, прочти, что тут написано. Сам-то я так и не научился читать, все времени не было да и способностей тоже.

Миссис Роскоммон взяла документ у него из рук.

— Это гербовая бумага. Тебе передается какое-то имущество, Майк! Уж не занялся ли ты спекуляциями?

— Ну вот еще! А что сказано в этой грязной бумажонке с печатями и подписями?

— Вот этого я никак не разберу. Должно быть, не по-нашему писано.

— Мэгги! Это испанская грамота на владение землей!

— Испанская грамота? А что ты за нее дал?

Мистер Роскоммон приложил палец к носу и тихонько шепнул:

— Виски!

## ЧАСТЬ II. В СУДАХ

### ГЛАВА VI

#### КАК БЫЛО ПОЛУЧЕНО «РАНЧО КРАСНЫХ СКАЛ»

Когда компания рудника «Синяя пилюля», проявляя больше рвения, чем осторожности, преследовала Уайлза и Педро по дороге к Трем Соснам, сеньоры Мигель и Мануэль сидели в монтерейской таверне, покуривая сигары-самокрутки и обсуждая свои дела. Впрочем, оба друга были настроены не лучше, чем их недавние компаньоны, ибо, как выяснилось из их беседы, в минуту слабости они продали свою долю в так называемом серебряном руднике Уайлзу и Педро за несколько сотен долларов, поверив им на слово, что американцы так просто рудника не отдадут. Проницательный читатель легко поймет, что ученый-металлург, мистер Уайлз, ни слова не сказал им про ртуть, обнаруженную на этом участке, хотя и поделился своей тайной с Педро, ибо ему была необходима помощь смелого сообщника. О том, что Педро не чувствовал никаких угрызений совести, предавая товарищей, можно было судить по его жестокой расправе с Кончо, а в том, что он не постесняется устранить и мистера Уайлза, если представится случай или нужда, ни минуты не сомневался и сам Уайлз.

— Нечего было так спешить, он бы нам прибавил, этот косоглазый! — проворчал Мануэль.

— Ничего бы он не прибавил, ни единого песо, — отрезал Мигель.

— Почему, Мигель, друг мой? Ведь мы и сами могли бы разрабатывать рудник.

— Да, и пустить свои труды по ветру? Послушай-ка, младший брат мой. Где ты видел, чтобы мексиканец нажил хотя бы один реал в Калифорнии? Где эти мексиканцы? Нет их! Ни одного нет. У кого в руках мексиканские рудники? У американос. Кто наживает деньги на мексиканских рудниках? Американос. Помнишь Брионеса, который потратил целую гору золота на поиски серебра? Кто забрал землю и дом Брионеса? Американос.

У кого скот Брионеса? У американос. У кого рудник Брионеса? У американос. Кому досталось то серебро, которого он так и не нашел? Американос! И так всегда! Есть и будет! Карамба!

Тут дьяволу взбрело в голову — и не без известной цели — еще немножко помучить этих людей, ни в чем дурном не замешанных. И вот перед ними предстал некий Виктор Гарсиа, бывший писарь из муниципалитета, который за бутылкой агвардиенте рассказал им о находке ртуты и о двух заявках, сделанных в тот вечер Уайлзом и Кончо. Мигель так и вспыхнул синим пламенем и разразился бранью, а Мануэль, недавний питомец миссионеров, побледнел и погрузился в раздумье. Но вот Мигель утихомирился, и между несколько поостывшими участниками этой сцены произошло нечто вроде следующего разговора:

Мигель (*озабоченно*). Когда ты ходатайствовал, чтоб тебе дали землю в этой долине, друг Виктор?

Виктор (*удивленно*). Я? Никогда! Ведь это бесплодная пустыня. Вот нашел дурака!

Мигель (*мягко*). Неправда. Я сам видел твое ходатайство перед губернатором Микельтореной.

Виктор (*почуяв, что тут можно будет пожить*). Ах, да! Я совсем забыл! Но разве эти земли были в долине?

Мигель (*настойчиво*). В долине, вверх по falda.

Виктор (*решительно*). Да-да! Ты прав: вверх по falda.

Мигель (*не сводя глаз с Виктора*). А ведь документа у тебя нет. Какая жалость, если американцы сожгли его вместе со всем архивом в Монтерее!

Виктор (*осторожно, нащупывая почву*). Возможно.

Мигель. Надо бы это разузнать.

Виктор (*напрямик*). А зачем?

Мигель. Для нашего и твоего блага, друг Виктор. Мы делимся с тобой своей находкой, а ты с нами — своей оборотистостью, опытом, знанием государственной службы, таможенной бумагой<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Концессии, просьбы и официальные извещения писались при испанском правительстве на гербовой бумаге, которая называлась «таможенной бумагой». (Прим. автора.)

Мануэль (перебивая его, пьяным голосом). Зачем это? Ведь мы мексиканцы. И мы проиграем. У нас судьба такая. Кто сможет прогнать американцев?

Мигель. Одного американца мы возьмем в долю. Понимаешь, он подкупит свои суды, а потом приведет людей, которые поставят паровую машину и плавильную печь.

Виктор. И он не станет воровать? Кто же это такой?

Мигель. Это ирландец из Трех Сосен, добрый католик.

Виктор и Мануэль (в один голос). Роскоммон?

Мигель. Он самый. Мы дадим ему долю в обмен на провизию, на инструменты, на виски. Американос очень боятся ирландцев. Это они голосуют на выборах — выбирают президента. Алькальд в Сан-Франциско тоже ирландец. А кроме того, Роскоммон, как и мы, католик.

Они хором сказали «буело» и возликовали духом, отдавшись религиозному чувству, которое обещало смерть, поражение, а может быть, и поддельные документы тем, кто не был одной с ними веры.

Этот духовный порыв устранил все практические препятствия и сомнения.

— У меня есть племянница, — сказал Гарсиа, — которая ловко умеет копировать. Скажешь ей: «Кармен, сними мне копию с того-то и того-то», хотя бы с гравюры, — глядишь, готово, не угадаешь, где настоящее, где ее рука. Матерь божия! На днях она изобразила подпись губернатора Пио Пико — так не отличишь! Да ты ее знаешь, Мигель. Она вчера о тебе спрашивала.

Мигель постарался принять безразличный вид, но ему, человеку неотесанному, это не удалось. Боюсь, что черные глаза Кармен уже сделали свое дело, — быть может, именно ради них Мигель и обратился за помощью к Виктору. Однако, чтобы не выдать себя, он спросил:

— А она не догадается?

— Где ей, несмышленишу!

— Не разболтает?

— А я запрещу ей болтать, и ты тоже... а, Мигель?

Эта лесть, в которой, кстати сказать, не было и следа правды, ибо племянница Виктора вовсе не была рас-

положена к Мигелю, возымела свое действие. Не вставая с места, они пожали друг другу руки.

— Только уж если делать, так делать скорее, — сказал Мигель.

— Мигом сделаем, — сказал Виктор, — и сделаем при тебе. Ну, согласен? Пойдем.

Мигель кивнул Мануэлю.

— Мы вернемся через час; подожди здесь.

Они вышли на темную, кривую улицу. Судьба повела их мимо дома доктора Гилда, как раз в ту минуту, когда Кончо садился на коня. Скрывшись в тени, они успели подслушать последний наказ председателя несчастному Кончо.

— Слышал? — шепнул Мигель, сжимая руку своего сообщника.

— Да, — ответил Виктор. — Но пусть его едет, друг мой! Через час в наших руках будет нечто такое, что сможет нам опередить его на целые годы. — И, снисходительно посмеиваясь, они прошли незамеченными дальше, свернули за угол и остановились перед приземистым глинобитным домом.

Когда-то эта обитель претендовала на роскошь, но теперь, очевидно, она разделяла судьбу своего бывшего владельца, дона Хуана Брионеса, который сунул ее, как последнюю подачку, в пасть трехглавому Церберу, сторожившему подземные сокровища Плутона. Теперь дом являл собой весьма жалкое зрелище. Борозды на его красной черепичной крыше были похожи на старческие морщины. В гостиной пахло плесенью, сырость постепенно делала свое разрушительное дело, но калифорнийские испанцы — хорошие архитекторы: массивные стены и перегородки стойко выдерживали землетрясения, и внутри дома круглый год сохранялась ровная температура.

Виктор провел Мигеля через низкую прихожую в бедно обставленную комнату, где за мольбертом сидела Кармен.

Сеньорита Кармен рисовала по-своему весьма недурно, ей было присуще смутное стремление творить, но она, увы, не обладала стойкостью духа истинного художника. Она чувствовала красоту и форму бессознательно, как мог бы чувствовать их ребенок, и не умела передавать

в живописи даже изменчивость своих настроений, свойственных природе в такой же мере, как и женщине.

Кармен с наивной жадностью зарисовывала все, что попадалось ей на глаза: цветы, птиц, бабочек, пейзажи и людей,— и копировала природу с радостью, но без поэтического вдохновения. Птицы пели для нее только одну неизменную песню, цветы и деревья говорили всегда одно и то же, а небо вечно сияло ровной синевой. Она была сильна в изображении католических святых и могла старательно выписать и чисто выбритую, невыразительную физиономию святого Алоизия и одутловатую сонную мадонну, которую никто бы не отличил от мадонн старых мастеров,— так плохо это было сделано. Ее способность точно копировать проявлялась даже в каллиграфии, а за последнее время и в воспроизведении чужих почерков и подписей. Со свойственным ей чутьем формы она еще в школьные годы отличалась успехами в чистописании, а добрые сестры в монастыре высоко ценили успехи этого рода.

Фигурка у Кармен была миниатюрная, еще не совсем сформировавшаяся, шаг по-мальчишески скорый. Невысокий лоб, обрамленный иссиня-черными волосами,— чистый и открытый; глаза темно-карие, не очень большие, с тяжелыми, грустно опущенными веками, что говорило о страстности ее натуры; нос короткий, ничем не примечательный; рот маленький, с прямой линией губ, зубы белые и ровные. Выражение лица у нее было задорное, но этот задор мог в любую минуту смениться нежностью или гневом. Сейчас же сравним личико сеньориты Кармен с салатом, в который влито равное количество масла и уксуса. Проницательная читательница, конечно, укорит меня, мужчину, в поверхностности критики и сразу составит себе мнение как о характере этой Кармен, так и о компетентности самого критика. Но я знаю одно: мне эта девушка нравится, а роль, которую она должна сыграть в моей правдивой истории, будет довольно важная.

Кармен подняла глаза на вошедших, вскочила с места, нахмурила свои черные брови при виде неожиданного гостя, но по знаку дяди улыбнулась и заговорила.

Это была одна только фраза, притом довольно банальная, но если б Кармен могла изобразить свой голос на полотне, то возвратила бы роду Гарсиа все его богатства. Он был так музыкален, так нежен, так приятен и мелодичен, полон такой женственности, что казалось, эта девушка сама изобрела язык, на котором говорила. А ведь сказанная ею фраза была только преувеличенно вежливым вариантом обычного приветствия, которое хорошие ротики моих прекрасных соотечественниц произносят то сюсюкая, то жеманно, то нараспев, то скороговоркой.

Мигель пришел в восторг от ее рисунков. Особенно поразил его набросок карандашом, изображающий мула.

— Матерь божия, да ведь он как живой! Видно, что заупрямился и не хочет идти.

Хитрец Виктор сказал:

— Это пустяки по сравнению с тем, как она пишет. Вот, посмотри, попробуй отличить настоящую подпись Пио Пико! — И он достал из ящика секретера два листа бумаги. Один был старый, пожелтевший, другой белый. И, конечно, Мигель, как галантный кавалер, указал на белый листок. «Вот тут настоящая!» Виктор торжественно захохотал. Кармен тоже рассмеялась мелодичным, по-детски веселым смехом и заявила, слегка вздернув свою красивую головку:

— Нет, это моя!

Лучшие представительницы прекрасного пола ни за что не откажутся от заслуженного комплимента, хотя бы он исходил от человека, им неприятного. Тут важен принцип, а не чувство.

Но Виктору было мало этого доказательства талантов племянницы.

— Назови ей какое хочешь имя, — сказал он Мигелю, — и она скопирует подпись у тебя на глазах.

Мигель был не так уж влюблен в Кармен, чтобы не понять, к чему клонит Виктор, и он сказал, что росчерк губернатора Микельторены необыкновенно сложен и труден для копирования.

— А она его скопирует! — решительно повторил Виктор.

Из пачки старых ведомственных документов извлекли бумагу с подписью губернатора, снабженной тем замыс-



ловатым росчерком, на который покойный, вероятно, положил немало трудов в молодости.

Кармен взяла перо, посмотрела на потемневший от времени документ, потом на девственную белизну бумаги, которая лежала перед ней.

— Но ведь сначала надо выкрасить эту бумагу в желтый цвет,— сказала она, мило надув губки.— К тому же так быстрее впитаются чернила. Когда я писала святого Антония для миссии Сан-Габриэль, по заказу отца Акольты, мне пришлось как следует поработать кистью, чтобы придать картине старинный вид, иначе padre не соглашался принять ее.

Мошенники переглянулись. Им только это и было нужно.

— Подождите,— сказал Виктор с деланной небрежностью,— у меня где-то завалялся старый таможенный бланк.— Он достал из секретера пожелтевший лист бумаги с гербовой маркой.— Попробуй вот на этом.

Кармен радостно улыбнулась, взялась за перо, и у нее получилось настоящее чудо.

— Это колдовство! — сказал Мигель, делая вид, что крестится.

Роль Виктора была более ответственна. Он притворился, что глубоко тронут, взял бумагу, сложил ее и, спрятав на груди, сказал:

— Сыграю же я шутку над доном Хосе Кастро! Он примет это за собственноручную подпись своего друга губернатора. Только смотри, Кармен! Держи свои розовые губки на замке. Я подшучу над доном Хосе, а потом скажу ему, какое у меня есть диво — моя племянница, и он купит твои картины. Согласна, крошка? — И Виктор удостоил девушку родственной ласки, то есть потрепал по щечкам и поцеловал. Мигель позавидовал ему, но алчность пересилила амура, и разговор мало-помалу иссяк. Тут дядюшка вспомнил весьма кстати, что его с товарищем ждут к десяти часам в гостинице «Быки», и, воспользовавшись этим удобным предлогом, они стали прощаться.

Однако напоследок Кармен нечаянно пустила стрелу в уходящих.

— Скажите мне,— спросила она, обращаясь к ним обоим,— что случилось с Кончо? Он всегда приносил мне с гор цветы, бабочек и птиц. Подолгу сидел здесь и рассказывал о всяких редкостных камешках, о медведях и злых духах. А теперь мой Кончо больше не приходит! Почему? Может, с ним случилось что-нибудь? — И она грустно опустила свои тяжелые веки.

В Мигеле вспыхнула ревность.

— Он, верно, пьянствует, сеньорита, и забыл не только вас, но и ослицу свою и выюки! Такая уж у него натура, ха-ха-ха!

Сочные губки Кармен побелели, и она сомкнула их, точно щелкнув замочком. Голубка вдруг превратилась в орлицу, девочка — в амазонку классического мира; сходство с какой-нибудь сварливой прабабкой из рода Гарсиа проступило яснее в чертах ее лица. Она метнула быстрый взгляд на дядю, потом, упершись ручками в худенькие бедра, шагнула к Мигелю.

— Допускаю, сеньор Мигель Домингес Перес (с глубоким реверансом), что вы правы. Может быть, Кончо пьяница, но, пьяный или трезвый, он никогда не поворачивался спиной ни к другу, ни... (ледяным тоном) ни к врагу.

Мигель хотел было ответить ей, но Виктор вовремя одернул его.

— Болван,— прошептал он, уцепив своего сообщника,— это ее старый друг... А потом... ведь просьба еще не написана. Рехнулся ты, что ли?

Нет, в этом Мигеля нельзя было заподозрить! Он хоть и затаил в своей и без того злобной душе еще и ненависть к сопернику, но позволил Виктору увести себя.

Возвратясь в таверну, компаньоны убедились, что Мануэль слишком далеко зашел в возлияниях и в ярости против всех американос и не может быть полезен в деле. Тогда они раздобыли перо, чернила, бумагу и заехали за работу вдвоем в душевой и полной табачного дыма задней комнате таверны. И в полночь, через два часа после того, как Кончо отправился в путь, Мигель, прищипорив коня, поскакал в поселок Три Сосны, а в кармане его лежало прошение на имя губернатора Микельторены о передаче ему земель Ранчо Красных Скал.

Не подлежит никакому сомнению, что, расследовав обстоятельства гибели Кончо, суд присяжных во Фресно установил бы факт «смерти вследствие отравления алкоголем», если б доктор Гилд не решил отстоять интересы правосудия и свою собственную точку зрения.

Большинство присяжных считало дознание совершенно излишней процедурой, а один из них, человек прямодушный, заявил, что нет никакой нужды отрывать американских граждан от их дел каждый раз, когда какой-нибудь мексиканец очочурится при подозрительных обстоятельствах.

— Если даже его и убили,— сказал другой присяжный,— ничего удивительного тут нет. Он всегда на это напрашивался, как все мексиканцы.

Наконец присяжные сошлись на том, что следует вынести вердикт «убийство, совершенное неизвестными». Подразумевалось, однако, что неизвестные эти не кто иные, как Уайлз и Педро. Мануэлю, Мигелю и Роскоммону удалось доказать свое алиби, Уайлз и Педро скрылись в Нижнюю Калифорнию, а Мигель, Мануэль и Роскоммон, учтя возбужденное состояние умов, предпочли придерживаться фальшивые документы, не привлекая к ним внимания суда и не вызывая досужих домыслов.

Таким образом, целый год после убийства Кончо и бегства его убийц компания «Синяя пилюля» беспрепятственно владела заявкой и хозяйничала там вместо прежних претендентов.

Но дух убитого Кончо, подобно духу убитого Банко, не хотел успокоиться и с терпеливостью, свойственной Кончо и при жизни, навлек на компанию «Синяя пилюля» большую неприятность. В один прекрасный день некий крупный Капиталист и Великий Стяжатель явился на рудник, похвалил его и, отведя в сторону одного из акционеров, предложил свое имя вдобавок к солидному кушу денег за контрольный пакет акций. Этот щедрый аванс сопровождался намеком, что в случае отказа он будет вынужден скупить кое-какие мексиканские рудники и наводнит рынок ртутью, причинив компании «Синяя пилюля» большие убытки. Этот серьезный намек,

исходивший от человека, который слыл «Королем горного дела в Калифорнии», а также «опорой, на которой зиждется развитие естественных богатств нашего штата», нельзя было пропустить мимо ушей, вследствие чего благоразумный акционер, не удосужившись известить об этом остальных членов компании, с похвальной скрытностью сбыл с рук свой пай.

Слухи о том, что прославленный Капиталист завладел рудником «Синяя пилюля», разнеслись повсюду, акции его подскочили, пайщики возрадовались, и так продолжалось до тех пор, пока прославленный Капиталист не счел необходимым обзавестись дорогостоящими машинами, нанять управляющего за солидное вознаграждение, другими словами, поставить дело на более широкую ногу, употребив на это часть доходов с рудника. Таким образом, на акцию, котиравшуюся сто двенадцать пунктов, теперь уже падало отчисление в пятьдесят долларов. Еще полсотни были отчислены на поездку управляющего в Россию и Испанию, чтобы он ознакомился там с ртутными рудниками; кроме того, была создана комиссия, в которую входили столпы науки, призванные исследовать состав ртути и выяснить, нельзя ли добывать ее из обыкновенного песчаника с помощью пара и электричества. Все эти новшества быстро отрезвили пайщиков. В то же самое время «честный Смит», «солидный Браун» и «падкий на спекуляции, но удачливый Джонсон» — маклеры прославленного Капиталиста — сочли как нельзя более своевременным скупить для своего патрона по сниженной цене акции у других держателей.

Боюсь, что я утомил читателя столь подробным описанием довольно нудных деталей этого чисто американского времяпрепровождения, которое мои соотечественники со свойственным им эпиграмматическим лаконизмом именуют «процессом вытеснения мелкого акционера». А на тот случай, если читатели мои усомнятся в этической стороне вышеупомянутого процесса, я попрошу их вспомнить, что один из джентльменов, особенно искусных в этом деле, в открытую, со всей своей прямоотой осуждал покойного игрока Джона Окхерста.

Но Великий Стяжатель не принял во внимание стяжательских инстинктов других людей и в один прекрасный день с ужасом узнал, что в Земельную комиссию по-

ступила просьба о подтверждении права владения участком земли, известным под названием «Ранчо Красных Скал», включавшим и его рудник. Известие это пришло к Великому Стяжателю незаметными, тайными путями, как и все получаемые им известия, и прежде чем состоявшая молва успела сделать его всеобщим достоянием, Великий Стяжатель успел продать свои весьма спорные права на рудник энергичному молодому человеку—единственному члену, оставшемуся от прежней компании «Синяя пилюля».

Для нового владельца наступили тяжелые времена. Унаследовав непомерные долги и затраты Великого Стяжателя, не имея возможности рассчитывать на кредит, подорванный уходом от дел удачливого Капиталиста, который заслужил всеобщее восхищение тем, что так ловко учуял грядущий крах (а выход его из компании грозил гибелью любому предприятию), молодой Биггс, в свое время секретарь, а сейчас единственный представитель компании «Синяя пилюля», не имевший даже достаточно обоснованных прав на рудник, с тоской просматривал отчеты и документы о переходе участка в его собственность и горько вздыхал.

Но, как я уже говорил, он был человек энергичный, верил в свою работу (что очень хорошо), верил в себя (что еще лучше) и даже, имея веры не больше чем с горчичное зерно, мог бы сдвинуть целую гору ртуты, разрушив то кольцо, которым окружили ее фальшивые документы. Кроме того, провидение, освободив его от негодьяев, подарило ему друга. Но друг, который будет играть в этой правдивой истории немаловажную роль, заслуживает того, чтобы ему отвели здесь целый абзац.

Пилад этого Ореста был известен среди простых смертных как Ройэл Тэтчер. Его генеалогия, подробности о рождении и воспитании не суть важны в нашем рассказе, который говорит только о дружбе Тэтчера с Биггсом и о том, что эта дружба дала им. Они познакомились года за два до описанных событий; у них был общий кошелек, общее жилье, общий стол, а случалось, и общие друзья, и по тем идиллическим временам все это делилось свободно и просто, без всяких обязательств. Изменчивая Фортуна выкинула Тэтчера на пустынный холм в Сан-Франциско вместе с незастрахованным гру-

вом, состоявшим из Надежд на будущее, тогда как его не слишком богатое воображение рисовало ему, что с помощью той же Фортуны ладья Биггса перемахнула через гребни Монтерейских гор и плавает в океане ртути. Поэтому он очень удивился, получив от своего приятеля записку следующего содержания:

«Дорогой Рой! Будь другом и приезжай. Мне одному, пожалуй, со всем этим не справиться. Давай наляжем на постромки и попробуем вдвоем вытянуть «Синюю пилюлю».

*Биггс».*

Сидя в убогой мебелированной комнате, за которую было давно не заплачено, и не чувствуя уверенности, удастся ли пообедать завтра, Тэтчер внял этому зову, как апостол Павел внял македонянам. Он написал хозяйке весьма утешительную долговую записочку с обещанием уплатить за комнату и, опасаясь нежной грусти, сопутствующей разлуке, спустил свой тощий чемодан на веревке во двор. Затем, экономно сочетая путешествие в дилижансах и пешее передвижение, к вечеру третьего дня он появился на пороге комнаты Биггса, через несколько минут вошел в курс дела, спустя полчаса и в компанию с Биггсом и, став владельцем половины рудника, поделил с другом бесславное прошлое и сомнительное будущее «Синей пилюли».

Покончив с этим, Биггс присмотрелся к нему повнимательнее.

— А ты постарел с тех пор, как мы виделись в последний раз,— сказал он.— Везло, должно быть, как утопленнику. Твои глаза, дружище, я узнаю и в тысячной толпе, а вот губы у тебя сухие и линия рта стала совсем суровая.

Тэтчер улыбнулся в доказательство того, что он еще умеет улыбаться, но промолчал, а он мог бы многое порассказать о том, как необходимость обуздывать себя, обиды, разочарования, а часто и голод сделали свое дело и исправили явную ошибку природы, наделившей его доброй улыбкой. Он снял свою поношенную куртку, засучил рукава рубашки и сказал:

— Работы у нас уйма, да и борьбы не миновать,— и тотчас же окунулся с головой в дела рудника «Синяя пилюля».

## ГЛАВА VIII

### КТО ВЫСТУПАЛ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКА

Все эти годы Роскоммон выжидал. Но вот наступил день, когда он наконец обратился в Земельную комиссию от имени Гарсии, а также от своего и приложил к бумагам прошение на имя губернатора Микельторены (сего поддельной утверждающей подписью), заявив, что подлинный акт уничтожен огнем. Почему же он так сделал?

По-видимому, даже для талантов сеньориты Кармен существовали какие-то границы. При всей своей одаренности она не могла воспроизвести печать — необходимое добавление к акту, подписанному губернатором. Но в Земельную комиссию были представлены письма на бланках губернатора Микельторены, адресованные самому Роскоммону, Гарсии, Мигелю и отцу Мануэля за подписью Микельторены — Кармен де Гаро. Кроме того, в большом количестве имелись устные свидетельские показания; были налицо и сами свидетели, помнившие все, что касалось этого дела,— Мануэль, Мигель и всеведущий де Гаро. Свидетели не скупились на подробности — поэтические, полные подсказок, распространялись в духе миссис Куикли<sup>1</sup> о том, как его превосходительство покойный губернатор, сидя, правда, не «у камелька», а попивая агвардиенте и покуривая сигару, поклялся ему, бывшему служителю божью — Мануэлю, что удовлетворит просьбу Гарсии, и действительно удовлетворил. Речистых свидетелей, писем, документов было хоть отбавляй. Короче говоря, все и вся оказались налицо, кроме печати его превосходительства. Единственный отпечаток ее находился в руках конкурирующей художественной школы по восстановлению памятников прошлого, которая улаживала тогда свои дела в Земельной комиссии.

И все-таки Роскоммон получил отказ! Выдав не столь давно документы на один и тот же участок двум разным

---

<sup>1</sup> Миссис Куикли — служанка из пьесы Шекспира «Виндзорские кумушки».

лицам, Земельная комиссия действовала теперь осмоторительно и вдумчиво.

Роскоммон сначала удивился, потом вознегодовал, потом настроился на воинственный лад: сразу же подать апелляцию!

Читатель, у которого уже сложилось определенное мнение о Роскоммоне, сочтет такой его ход непоследовательным. Но для некоторых натур тяжбы обладают всей прелестью азартной игры, а к тому же не следует забывать, что для Роскоммона судебный процесс был в новинку.

Адвокат Роскоммона мистер Сапонасиус Вуд застал своего клиента в ярости, что всегда обязывает законников призывать на помощь всю изощренную софистику своего ремесла.

— Вы, разумеется, имеете право апеллировать, уважаемый сэр, но, прошу вас, успокойтесь, поразмыслите как следует. Под нас не подкопаетесь, все представленные документы бесспорны, но нам портят дело прежние решения Земельной комиссии, которые навлекли на нее столько неприятностей. Так что если бы в суде появился сам Микельторена и подтвердил передачу вам земли, то и это не помогло бы: с испанскими пожалованиями раньше не считались и не будут считаться еще с полгода. Правительство, уважаемый сэр, прислало сюда одного крупного вашингтонского юриста для расследования дел о выдаче этих пожалований, и он обнаружил в ряде случаев мошенничества, сэр, крупные мошенничества. А почему, сэр, почему? Продался, сэр, и душой и телом проданся Клике!

— Это еще что за Клика? — рявкнул Роскоммон.

— Клика — это... гм!.. это группа людей беспринципных, но богатых и мало считающихся с правосудием.

— А при чем тут Клика, когда этот прохвост мексиканец передал мне бумагу в уплату за то, что ел и пил у меня на даровщину? Ну-ка, сами поразмыслите!

— Клика, уважаемый сэр,— это... это противная сторона. Гм-гм! Это всегда так бывает.

— Какого же черта у нас с вами нет Клики? Ведь я, кажется, плачу вам пятьсот долларов, а вы и в ус не дуете! За что же я деньги отваливаю?

— Я не намерен отрицать,— сказал мистер Вуд,—



что разумное расходование средств, помимо судебных издержек, принесет вам громадную пользу, однако...

— Послушайте-ка, мистер Саппи Вуд, апеллировать я буду и своего добьюсь, меня и мою старуху с этого не сдвинешь. Поможете мне получить участок — отдам вам половину, и по рукам!

— Но, уважаемый сэр, в нашей профессии есть свои правила... разумеется, все дело в том, с какой стороны к ним подойти...

— А плевал я на вашу профессию! Чем она лучше моей? Я рисковал из-за участка Гарсии провизией и виски, купленными во Фриско за немалые денежки, значит, и вам нечего цепляться за свои законы.

— Ну что ж,— сказал Вуд с натянутой улыбкой,— принимая во внимание ваши дружеские чувства, уважаемый сэр, полагаю, что, получив от вас документ на половину участка и вручив вам за него доллар, я с вами полажу.

— Ну вот, сейчас вы говорите дело. А с кем все-таки мы будем воевать, у кого эта самая Клика?

— О-о, уважаемый! Это Соединенные Штаты! — почтительным тоном сказал адвокат.

— Штаты? То есть правительство? И вы этого испугались? Я у себя на родине дрался с правительством, оно же меня и в Америку прогнало, что же, вы думаете, на этот раз я отступаю от своих принципов?

— Ваши политические убеждения делают вам честь...

— А какое дело правительству до моей апелляции?

— Правительство,— многозначительно проговорил мистер Вуд,— будет представлено на суде окружным прокурором.

— А кто этот прохвост?

— Ходят слухи,— медленно продолжал мистер Вуд,— что ожидается новое назначение. Я сам питаю некоторые надежды.

Клиент устремил на своего американского адвоката хитрые, но не слишком умные серые глаза и сказал только:

— Питаете надежды?

— Да,— ответил Вуд, смело встретив его взгляд,— и если я мог бы заручиться поддержкой кое-кого из

ваших влиятельных соотечественников, с которыми считаются все партии, кого-нибудь, вроде вас, уважаемый сэр... Мне, например, кажется, что вы могли бы со временем стать человеком более умеренным в своих взглядах или по крайней мере наладить отношения с правительством.

Оба мошенника, и мелкий и крупный, на минуту почувствовали друг к другу искреннее расположение и молча обменялись рукопожатием.

Поверьте мне, дорогой читатель, во взаимной симпатии двух понимающих друг друга мошенников гораздо более человеческого, чем в том холодном почтении, которое питаем друг к другу мы, меряясь нашими добродетелями.

— Значит, вы подадите мою апелляцию?

— Подам!

И действительно подал и, по странному стечению обстоятельств, получил также место окружного прокурора. А затем, положив в карман документ о передаче ему половины Ранчо Красных Скал, направил в суд одного из своих сотоварищей в качестве защитника интересов Соединенных Штатов, выступающих против него самого, Роскоммона, Гарсии и пр. Никакими силами нельзя было бы заставить его отказаться от этого благородного решения. Такова неописуемая щепетильность законников, и нам, литераторам, не мешало бы брать с них пример.

Соединенные Штаты проиграли тяжбу! Это грозило гибелью и разорением компании «Синяя пилюля», купившей у благотельного щедрого правительства не принадлежавшие ему земли. Правда, мексиканское пожалование было утверждено раньше, чем Кончо, Уайлз, Педро и прочие заявили претензии на этот рудник, раньше, чем образовалась компания «Синяя пилюля», представителями которой стали теперь Биггс и Тэтчер. Мало того, с новых владельцев не только не потребовали возместить затраты на оборудование рудника, — наоборот: Биггсу с Тэтчером было предложено вернуть Гарсии всю прибыль, выжатую из участка Великим Стяжателем. Окружной прокурор прикинулся, будто он сильно огорчен исходом дела, но покоряется судьбе. Биггс и Тэтчер были огорчены искренне и покоряться не желали.

И с этих пор (я несколько забегаю вперед в изложении событий) началась тяжба — нешуточная тяжба, в которую Биггс и Тэтчер вкладывали все свое рвение, мужество, отвагу и уверенность в собственной правоте, а Роскоммон, Гарсия и прочие запутывали ее формальными придирками, крючкотворством и проволочками в духе Фабия Кунктатора. Из всей этой нуднейшей истории я приведу только один эпизод, полный оригинальности и дерзости замысла, которые, как мне кажется, наиболее ярко характеризуют нравы и цивилизацию той эпохи.

Один из мелких чиновников окружного суда отказался выслать в Верховный суд Соединенных Штатов копию дела. Остается лишь пожалеть, что сей Герострат, поднесший спичку к храму наших конституционных свобод, во всех других отношениях был мало примечателен, и имя его кануло в архивную пыль того весьма сомнительного заведения, весьма сомнительным служителям коего он был. Тяга к бессмертию пресеклась вместе с его услугами, которые он оказывал обоим тяжущимся сторонам. Но сохранилось письмо этого юного джентльмена, полное обвинений по адресу законников нашей страны, письмо, не лишенное остроумия и даже весьма поучительное для молодежи, мечтающей об известности и богатстве. Как бы там ни было, но Верховный суд в целях самозащиты лишил этого остроумца его прав и переложил их в более поместительную длань своего прокурора.

Все эти юридические процедуры, на которые при обычных обстоятельствах понадобилось бы всего несколько месяцев, затягивались, откладывались, мариновались или черепашьям шагом двигались вперед в течение восьми-девяти лет.

А тем временем «Синяя пилюля» продолжала оставаться в сильных руках Биггса и Тэтчера, которые, пользуясь, может быть, теми же приемами, что и их враги, делали все возможное, чтобы сохранить за собой фактическое владение, добывали руду и продавали ртуть, тогда как противная сторона расходовала золото. Но вот метко пущенная стрела поразила Биггса сквозь доспехи, и он пал на поле брани. Щеки его покрылись восковой бледностью, сильные руки ослабли и, чувст-

вую приближение конца, он завещал свою долю товарищу и умер. С этого времени Ройэл Тэтчер царил один.

Но мы слишком забежали вперед с юридической частью нашей истории, давайте вернемся к описанию тех человеческих страстей, которые легли в основу этой тяжбы.

Начнем с Роскоммона. Чтобы оправдать его дальнейшие действия и высказывания, следует напомнить читателю, что когда Роскоммон согласился принять вместе с Гарсией участие в заявке на Ранчо Красных Скал, тогда еще никем не оспариваемой, он действовал необходимо или же не подозревал надувательства. Роскоммон понял, что его провели и надули, когда было уже поздно, когда он окончательно потерял голову, упиваясь тяжбой, и с упорством обманутого предпочитал искать корень зла в отдельных фактах и лицах, а не в обстоятельствах, которые вели к неудаче. Этот ограниченный человек видел только то, что компания «Синяя пилюля» загребаёт деньги с рудника, который еще не отошел к ней по суду и заявку на который сделал он сам. Каждый доллар, заработанный Биггсом и Тэтчером, брался Роскоммоном на учет. Любая проволочка, затягивавшая ввод во владение,— пусть даже она была делом рук его собственного адвоката,— воспринималась как кровная обида. Тот факт, что этот громадный участок достался ему почти даром, только подливал масла в огонь. Боязнь упустить из рук химеру угнетала его куда больше, чем если бы он на самом деле вложил в дело тот миллион, который можно было бы потом выручить с рудника. Не знаю, удалось ли мне доказать, что люди любят поживиться на даровщину, выжимать из всего максимальные выгоды при минимальных затратах, но если удалось, то вряд ли стоит обвинять Роскоммона в этом грехе больше, чем его ближних.

Борьба не прошла для него даром, как не прошла она даром для всех, над кем витал дух убитого Кончо,— для всех, кого жажда стяжаний то возносит, то подвергает мучениям. Он бросил на эту безумную затею тысячи долларов, нажитых законным трудом и бережливостью. Неотступная мечта состарила его, убели-

ла сединами; он перестал шутить с посетителями таверны, даже если среди них попадались люди влиятельные, заслуживающие всяческого внимания. У него были другие заботы: тут надо кое-кого умаслить, там подладиться к врагам, вознаградить друзей. Бакалейная торговля страдала от этого; миссис Роскоммон видела, с какой быстротой тают деньги, когда приходится кормить и поить несметное количество неподкупных свидетелей, выступающих в Земельной комиссии и в окружном суде. Даже бар их пустовал; рабочие с рудника «Синяя пилюля» ходили в соседнюю таверну и за выпивкой во всеуслышание осуждали Роскоммона. Невозмутимого равнодушия, с которым Роскоммон обслуживал прежде посетителей, как не бывало. Полотенце уже не скользило по стойке, она была грязная, на ней виднелись круги от множества стаканов, а это говорило о том, что мысли хозяина заняты совсем другим. Внимательные серые глаза претендента на Ранчо Красных Скал только и знали, что выглядывать всюду друзей и недругов.

Теперь о Гарсии. Ослабевшая память подвела этого джентльмена, наделенного способностью извращать исторические факты; года через два после дачи показаний по делу о ранчо он был уличен — совсем по другому поводу — в некотором несоответствии деталей в своих свидетельствах. В силу этого они пошли на пользу той стороне, которая заплатила ему больше. Но противники не замедлили обнаружить махинации Гарсии. Стого времени слава его как свидетеля, эксперта и историка стала быстро падать. Ему приходилось подкреплять свои слова показаниями других свидетелей, а это стоило немалых денег. Вместе с гибелью репутации к нему вернулись его прежние дурные привычки. Он запил, потерял клиентуру, потерял дом, и Кармен, перебравшейся в Сан-Франциско, приходилось содержать дялю своей кистью.

Итак, поскольку мы снова заговорили об этой хорошенькой девушке и невольной преступнице, чье бессознательное деяние взрастило столь губительные плоды на голых склонах Ранчо Красных Скал, посмотрим, как сложилась ее дальнейшая жизнь, когда судьба обратила к ней более ласковый взгляд.

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЛ КО ВСЕМУ ЭТОМУ  
ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛ

Дом, который Ройэл Тэтчер покинул так скоропалительно в день своего исхода в Биггсову землю обетованную, был одним из тех несуразных сан-францисских великанов, на которые строители возлагали великие надежды, но по въезде немедленно же убеждались в тщете своих чаяний. Задуманные вначале как дворцы для начинающих калифорнийских Аладинов, они превращались в обыкновенные жилые дома, где беспомощные вдовицы или безнадежные старые девы как-то ухитрялись разрешать нелегкую задачу: сохранять респектабельность и снискивать себе пропитание.

Хозяйка Тэтчера принадлежала к первой категории. По несчастному стечению обстоятельств она пережила не только своего супруга, но и его капитал, и, обосновавшись в одной комнатухе, по примеру итальянских вельмож, сдавала остатки былого величия внаем. Ее вечные разговоры на эту тему приобретали особый смысл первого числа каждого месяца. Тэтчер подметил это с той обостренной чувствительностью, которая свойственна джентльменам, находящимся в стесненных обстоятельствах. Но когда через несколько дней после внезапного исчезновения жильца от него пришло письмо с вложенным туда чеком на сумму, с избытком покрывавшую все просроченные платежи и долги, сердце вдовы возликовало, скала, рассеченная ударом волшебной палочки, извергла поток щедрот, о размерах которых можно было судить по новому платью самой вдовы, новому костюму для ее сына Джонни, новой клеенке в передней, лучшему обслуживанию жильцов и — да вознаградит ее за это бог! — по тому снисхождению, которое она стала проявлять к бедной черноглазой художнице из Монтерея, задолжавшей ей за много месяцев. Да! Сказать без утайки, набегии совершаемые на тощий кошелек сеньориты де Гаро ее дядюшкой, за последнее время участились, ибо цена на лжесвидетельство в Монтерее сильно пала звиду избытка предложений, а разграничительная линия между лжесвидетельством и

истиной стала настолько незаметней, что Виктор Гарсия заявил:

— Лучше говорить правду сразу, по крайней мере спасешь душу. Уж если сам дьявол принялся за эти дела, с ним конкуренции не выдержишь.

Хозяйка дома миссис Плодгитт не могла устоять перед искушением и поделилась с Кармен де Гаро своей радостью:

— К вам он всегда относился по-дружески, милочка, и он настоящий джентльмен — такой не позволит себе обидеть бедную вдову. Послушайте-ка, что тут про вас написано.

Она вынула из кармана письмо Тэтчера и прочла:

«Передайте моей маленькой соседке, что я скоро вернусь, заберу ее силой вместе со всеми рисовальными принадлежностями, привезу сюда и не отпущу до тех пор, пока она не нарисует по моему заказу черные горы и красные скалы, о которых я столько от нее слышал, а на переднем плане картины пусть изобразит рудник «Синяя пилюля».

Что случилось, крошка? Кармен, разве можно так краснеть, принимая первый блестящий заказ! Пресвятая дева! Кармен, зачем же ты суешь в рот кисть и сейчас же роняешь ее на колени? Неужели добрые сестры в монастыре учили тебя подходить к старшим таким по-мальчишески широким шагом и вырывать у них из рук письмо, которое тебе не терпится прочесть самой? Много чего другого хочется нам узнать, черноглазая Кармен. Дай услышать твой мелодичный голосок! Отвечай же, отвечай, и я расхвалю твою скромность моим прекрасным соотечественникам.

Увы! Ни повествователю, ни миссис Плодгитт не удалось получить ответ от благоразумной Кармен, и им не остается ничего другого, как судить о некоторых фактах только на основании уже имеющихся сведений.

Комнатка мисс Кармен приходилась как раз против комнаты Тэтчера, и, когда их двери в коридор были открыты, Тэтчер видел черноволосую головку и стройную мальчишескую фигурку девушки в синем переднике, которая восседала перед мольбертом на высоком та-

бурете. Кармен же часто обоняла табачный дым, проникавший в ее уединенную обитель, и видела окутанного клубами того же дыма американского олимпийца, который сидел в качалке, положив ноги на каминную доску. Несколько раз они сталкивались на лестнице, и Тэтчер отвешивал Кармен не то почтительный, не то шуточный поклон, что никогда не оскорбляет женщину и, может быть, только чуть-чуть ущемляет ее самолюбие тем чувством превосходства, которое сквозит в такой любезности. Женщины прекрасно знают, что истинная и опасная страсть хранит серьезную внешность, и никогда не упустят случая проверить, а не скрывается ли под маской весельчака Меркуцио пылкий Ромео.

Тэтчер был прирожденный защитник и покровитель; слабость, только человеческая слабость и беззащитность могли пробудить в глубинах его сердца нежные чувства, хотя — увы! — этот юморист и в слабости умел находить смешные стороны. Слабыми же существами он считал женщин и детей. Я говорю об этом на пользу более молодым моим собратьям, твердо веря в то, что смиренное преклонение перед Красотой — всего лишь дешевый галлицизм, не встречающий отклика у тех женщин, которые стоят того, чтобы их завоевывали, ибо женщина всегда должна смотреть снизу вверх на любимого человека, даже если ей придется стать для этого на колени.

Только мои читатели-мужчины сделают отсюда вывод, будто Кармен была влюблена в Тэтчера. Более критическое женское око не увидит в их отношениях ничего такого, что выходило бы за границы простой дружбы. Тэтчер был чужд сентиментальности; он никогда не отпускал Кармен комплиментов, даже в самой деликатной форме. Его комната часто по нескольку дней подряд стояла закрытой, и, встречаясь потом с девушкой, он держался свободно и просто, словно они только вчера виделись. В первые дни после исчезновения Тэтчера простодушная Кармен, зная, что бог весть какими путями, — что дверь в его комнату все это время заперта, рисовала в своем воображении болезнь, скоропостижную смерть, может быть, даже самоубийство соседа и, обратившись за помощью к хозяйке, сама того не ведая, способствовала раскрытию его бегства. Судя по возмуще-



нию, которые она испытала в первые минуты наравне с миссис Плодгитт, в ее сердце не нашлось сочувствия к изменщику. Кроме того, до сих пор она была привязана только к одному Кончо — своему первому другу — и, верная памяти убитого, ненавидела всех американос, видя в каждом из них его убийцу.

Итак, Кармен изгнала из головы всякую мысль о полученном приглашении и о том, от кого оно исходило, и вернулась к своей работе — портрету почтеннейшего падре Хуниперо Серра, который умер за несколько сот лет до захвата Калифорнии американцами, благодаря чему кости и слава этого знаменитого миссионера остались в неприкосновенности. Портрет был хорош, но покупателя на него не находилось, и Кармен начала уже серьезно подумывать, не перейти ли ей на рисование вывесок, что имело в то время гораздо больший спрос. Незаконченная голова Иоанна Крестителя, искусно обрамленная облаками, была продана за пятьдесят долларов одному аптекарю и сослужила ему хорошую службу в качестве рекламы притирания против веснушек, в то же время без излишней навязчивости напоминая покупателям об этом святом. И все-таки Кармен было как-то не по себе, она пала духом, затосковала о добрых сестрах и безмятежной, сонной жизни монастыря, и вдруг...

Он вернулся!

Но вернулся не как принц, который мчит на белом скакуне освобождать похищенную, заколдованную принцессу. Он предстал перед ней загорелый, обросший баками, точно тигр, одетый небрежно и чем-то озабоченный. Но его рот и глаза остались прежними, и когда он все тем же простым и шутивным тоном повторил приглашение, о котором говорилось в письме, маленькая Кармен смутилась и покраснела.

И Тэтчер тоже покраснел, пораженный какой-то новой мыслью. Истый джентльмен скромн, как женщина. Он сбежал по лестнице и, разыскав вдовицу Плодгитт, торопливо заговорил:

— Вы себя просто губите здесь. Вам надо переменить климат. Приезжайте ко мне в Монтерей денюка на два и пригласите с собой сеньориту де Гаро, чтобы не скучать одной.

Почтенная дама живо поняла, как обстоит дело.

Тэтчер теперь человек с будущим. В каждой дочери Евы хотя бы в малой степени сидит сваха. Это единственный способ оживить прошлое.

Миссис Плодгитт приняла приглашение, а Кармен де Гаро не нашла подходящей отговорки.

«Синяя пилюля» предстала перед обеими гостями такой, какой ее описывал Тэтчер, — «местечко довольно суровое, пригодное главным образом для мужчин». Но он уступил им свое жилье, а сам спал с рабочими или, что более вероятно, просто под деревьями. На первых порах миссис Плодгитт не хватало газового освещения, водопровода и некоторых других благ цивилизации, среди которых — узы! — насчитывались простыни и наволочки, но бальзамический горный воздух излечил ее невралгию и раздражительность. Что касается Кармен, то она наслаждалась безграничной свободой, забыв о стеснительных условностях городской жизни и необходимости сдерживать свои ребяческие порывы. Она бродила в одиночестве по горам, забиралась в темные лесные чащи, карабкалась по склонам, поросшим чеми-салем, и возвращалась домой, нагруженная ветками цветущего каштана, лавра и ягодами мансанита. Но рисовать панораму рудника «Синяя пилюля» и живописную группу весело улыбающихся рабочих, трудами которых здесь добывались тонны ртути, ей не хотелось даже ради ее патрона, дона Ройэла Тэтчера; не хотелось делать ничего такого, что потом можно будет литографировать и размножать. Вместо заказанной картины она сделала набросок: развалившийся бездействующий горн, над ним темнеет гора, красно-бурые выбоины на скалах, свет от потухающего костра. Но даже этот набросок удовлетворил Кармен только после некоторых изменений и добавлений; когда она, наконец, принесла его на суд дона Ройэла, взгляд у нее был вызывающий. Тэтчер искренне восхитился им, потом стал критиковать в полушутливой форме и далеко не искренне.

— А не могли бы вы, разумеется, за соответствующее вознаграждение, нарисовать на этой скале доску со стрелой: «Направо дорога к руднику компании «Синяя пилюля»? Тогда у вас искусство сочеталось бы с делом. Вы, таланты, об этом не задумываетесь. А кто это лежит около горна, завернувшись в одеяло? Моих рабо-

чих вам здесь вряд ли приходилось видеть... Да это мексиканец, судя по его серапе!

— Он понадобился мне для заполнения переднего плана,— холодно сказала Кармен.— Здесь надо что-то поместить, этого требует композиция наброска.

— Но ведь он как живой,— продолжал Тэтчер, увлекаясь против собственной воли.— Сеньорита де Гаро, признавайтесь, пока я не обратился за помощью к миссис Плодгитт, кто мой ненавистный соперник и ваш натурщик?

— Это всего лишь бедный Кончо,— вздохнув, ответила Кармен.

— А где он теперь, этот Кончо? (С некоторой долей раздражения.)

— Он умер, дон Ройэл.

— Умер?

— Да, умер. Его убили здесь ваши соотечественники.

— Так, понимаю... И вы хорошо знали его?

— Он был мой друг.

— О-о!

— Да, да!

— Но у вас (ядовито) получилась довольно мрачная реклама для моего рудника, причем не газетная.

— Почему же мрачная, дон Ройэл? Посмотрите, он спит.

— Да, мертвым сном.

Кармен (быстро перекрестившись).

— Да, так спят мертвые.

Оба почувствовали неловкость. Кармен не сдержала дрожи, но, будучи женщиной, к тому же очень тактичной, она овладела собой первой.

— Это этюд, дон Ройэл. Я сделала его для себя, а вам напишу что-нибудь другое.

И Кармен ушла, думая, что таким образом ей удастся отделаться от этого разговора и от Тэтчера. Но она ошиблась: вечером Тэтчер снова вернулся к нему. Кармен оборонялась; она не трусила и не хотела обмануть дона Ройэла, как, вероятно, подумают читатели мужского пола. Нет! В ней заговорил женский инстинкт, требующий осторожности. Но Тэтчеру все-таки удалось выведать у нее неизвестный ему раньше факт: оказалось,

что Кармен приходится племянницей его главному противнику. Как истый джентльмен, Тэтчер удвоил свое внимание к девушке, вселив твердую уверенность в миссис Плодгитт, что свадьба — дело давно решенное, и заставив ее серьезно задуматься над тем, какое платье она наденет по случаю такого торжества.

Этой ночью Кармен заснула в слезах, решив бросить своего беспутного дядю и перейти на сторону этого благородного американца, хотя ей и в голову не приходило, что причиной смертельной вражды между Тэтчером и Гарсией были ее невинные каллиграфические упражнения. Женщины — даже лучшие из них — придают значение главным образом второстепенным фактам и быстро в них разбираются, но лишь только дело доходит до точных формулировок и логики, тут они беспомощны, как дети. Кармен, разумеется, никогда не считала себя причастной к притязаниям ее дяди на рудник, а обстоятельства, при которых она подделала подпись губернатора, и вовсе вылетели у нее из головы.

Мои читатели-мужчины теперь вообразят, будто им понятно, почему Кармен так смутилась и покраснела, и обзовут себя болванами за то, что считали это раньше доказательством ее нежных чувств к Тэтчеру, представительницы же прекрасного пола, наоборот, скажут: «Нет, коварная девчонка поставила себе целью завоевать его сердце!» Кто из них окажется прав, я и сам не знаю.

Как бы там ни было, Кармен написала для Тэтчера картину, которая украшает теперь контору компании в Сан-Франциско. Рудник изображен на ней приятными, геометрически простыми линиями, и в каждой мазке кисти художницы чувствуется вера в его розовое будущее. Решив после этого, что «расчеты» с Тэтчером покончены, Кармен стала проявлять в обращении с ним некоторую холодность, что заставило его только удвоить свою любезность, так как он считал присутствие девушки здесь ошибкой и приписывал эту ошибку ей самой. То, что Кармен — племянница его врага, насколько не беспокоило Тэтчера, для него она по-прежнему была милой девушкой, которая нуждалась в защите. И все-таки подозрение зарождается даже в самых благородных умах.

Миссис Плодгитт, обманувшаяся в своих матримониальных расчетах, взвалила всю вину, разумеется, на представительницу одного с ней пола и перешла на сильнейшую сторону — на сторону мужчины.

— Бывают же такие странные девушки! — сказала она sotto voce<sup>1</sup> Тэтчеру, видя, что Кармен снова ходит хмурая. — Должно быть, это у нее в крови. Испанцы народ мстительный, не лучше итальянцев.

Тэтчер с изумлением воззрился на нее.

— Да неужто не понимаете? Ведь не будь вас, весь этот участок достался бы ее дяде, она только об этом и думает. И вместо того, чтобы обходиться с вами полюбезнее... — Тут миссис Плодгитт осеклась и закашлялась.

— Боже мой! — встревожился Тэтчер. — Мне это и в голову не приходило! — Он помолчал, потом добавил решительным тоном: — Да нет, не может быть! Это на нее не похоже!

Мисс Плодгитт, уязвленная в своих лучших чувствах, удалилась, пустив напоследок парфянскую стрелу:

— Ну что ж, надеюсь, она не задумала чего-нибудь похуже.

Тэтчер усмехнулся, потом нахмурился. При следующей встрече с ним Кармен впервые поймала на себе такой пыливый, подозрительный взгляд его серых глаз. Это только подлило масла в огонь. Забыв, что он хозяин, а она гостя, девушка обошлась с ним прямо-таки грубо. Тэтчер держался спокойно, но настороженно; он пораньше спроводил миссис Плодгитт спать и под предлогом, что ему хочется показать Кармен горы при лунном свете, увел ее к развалившейся печи, где их никто не мог подслушать.

— Что случилось, мисс де Гаро? Я оскорбил вас чем-нибудь?

Насколько мисс Кармен известно, ничего особенного не случилось. Если дон Ройэл отдает предпочтение своим старым друзьям, не сомневаясь в их порядочности, и знает, что *они не будут наговаривать на джентльмена, попавшего в беду* (стыдись, Кармен!), если он сам предпочитает старых друзей новым, тогда (мон

---

<sup>1</sup> Вполголоса (итал.).

читатели, конечно, легко представят себе, как задрожал и оборвался здесь ее голос)... тогда ее-то в чем винить?

Они взглянули друг другу в глаза. Все было за то, чтобы между ними возникло недоразумение. Тэтчер рассуждал по-мужски. Кармен отдавала преимущество чувствам. Тэтчер хотел выяснить кое-что, а потом уже спорить. Кармен выдвигала на первое место чувства и факты подгоняла под них.

— Но я вас ни в чем не виню, мисс Кармен,— серьезно проговорил он.— С моей стороны было глупо звать вас на рудник, который ваш дядя считает своей собственностью, хотя хозяйничаю здесь я. Это была ошибка... Нет,— спохватился он,— даже не ошибка. Ведь я ничего не знал, тогда как вам все было известно раньше. Но вы не сочли нужным считаться с этим, а я, узнав, и подавно не стал, поскольку вы уже жили здесь.

— Ну, конечно,— капризным тоном сказала Кармен,— я во всем виновата. Как это похоже на мужчин! (Заметьте! Кармен едва вышла из детского возраста, но эту квинтэссенцию житейской мудрости она изрекла так, словно убедилась в ней на собственном опыте, а не впитала ее с молоком матери.)

Обобщения, к которым прибегают женщины, всегда сбивают мужчин с толку. Тэтчер промолчал. Кармен разгневалась еще больше.

— Зачем же тогда вы отняли у дяди Виктора его участок? — торжествующе спросила она.

— А разве этот участок действительно принадлежит ему?

— Действительно принадлежит ему? А вы не видели прошения на имя губернатора Микельторены с его собственной подписью? А свидетельские показания вы слышали? — горячо продолжала она.

— Подписи могут быть подделаны, а свидетельским показаниям не всегда веришь,— хладнокровно ответил Тэтчер.

— Как так «подделаны»?

Тэтчер вспомнил, что в испанском языке нет равнозначного слова. Искусство подлога, видимо, было

изобретением El Diablo Americano<sup>1</sup>. Он ответил с легкой усмешкой в добрых глазах:

— Есть такие ловкачи, которые умеют подделывать чужие почерки. Когда на это идут с мошенническими целями, мы называем это подлогом. Простите, мисс де Гаро... Мисс Кармен! Что с вами?

Она прижалась спиной к дереву, устремив на Тэтчера беспомощный, испуганный взгляд. Чисто женская прозорливость заговорила в этой неопытной, наивной девочке. В одно мгновение ей стала ясна загадка, над разрешением которой Тэтчер бился несколько лет.

Тэтчер видел, что она страдает, что она беззащитна, и этого было достаточно для него.

— Может быть, вашего дядю обманули, — сказал он. — Многие порядочные люди попадают в лапы к ловким мошенникам — к мужчинам, к женщинам...

— Замолчите! Матерь божья! Замолчите сию же минуту!

Тэтчер отшатнулся от этой девочки, которая наступала на него, сверкая глазами, побелев от гнева, сжав крохотные кулачки. Он замолчал.

— Где это прошение, где этот подложный документ? Покажите мне его!

Тэтчер с облегчением перевел дух и снисходительно улыбнулся женской наивности.

— Неужели вы думаете, что ваш дядя доверяет мне хранение своих документов? Они у его адвоката, конечно!

— Когда я смогу выехать отсюда?

— Если мои желания что-нибудь значат для вас, то вы здесь останетесь, хотя бы для того, чтобы простить меня. Но если я оскорбил вас, сам того не подозревая, и вы неумолимы...

— Могу я выехать завтра на рассвете?

— Как вам угодно, — сухо ответил он.

— Благодарю вас, сеньор.

Они медленно пошли к хижине. Тэтчер по-мужски переживал несправедливую обиду, инстинкт женщины подсказывал Кармен, что она потерпела крушение. До самых дверей не было сказано ни слова. И вдруг Кар-

---

<sup>1</sup> Американский дьявол (исп.).

мен с прежней детской непоследовательностью весело проговорила:

— Спокойной ночи, дон Ройэл, приятных снов. До завтра!

Тэтчер онемел, глядя на эту капризную девушку. Кармен сразу поняла причину его изумления.

— Это для старой ведьмы! — прошептала она, ткнув пальцем через плечо в том направлении, где мирно почивала миссис Плодгитт. — Спокойной ночи!

Тэтчер пошел распорядиться, чтобы кто-нибудь из пеонов отвез завтра обеих женщин. Когда он встал утром, оказалось, что мисс де Гаро уже отбыла со своим провожатым в Монтерей. Одна, без Плодгитт.

Тэтчер не мог скрыть от этой почтенной дамы своего удивления. А она, женщина, брошенная на произвол судьбы и еще не настолько состарившаяся, чтобы считать себя в безопасности от посягательств коварных мужчин, пребывала в полном смятении, но все же не упустила случая сказать Тэтчеру:

— Я же вам говорила! Эта девчонка уехала к дядюшке и теперь все ему расскажет.

— Все? Да черт возьми, что она может рассказать? — крикнул Тэтчер, изменив своей обычной сдержанности.

— Надеюсь, ничего лишнего не расскажет, — ответила миссис Плодгитт и скромно удалилась.

Она оказалась права. Сеньорита Кармен поехала прямо в Монтерей, чуть не загнала лошадь по дороге и отослала тележку и провожатого обратно с просьбой передать миссис Плодгитт, что встретятся они в Сан-Франциско, куда она вернется пароходом. После этого она смело отправилась в контору окружного прокурора Сапонасиуса Вуда, ведшего некогда дела ее дяди.

Мужская часть населения Монтерея хорошо знала сеньориту Кармен и восхищалась ею с должной мерой почтительности, несмотря на дурную репутацию ее родственника. Мистер Вуд встретил посетительницу любезно и изо всех сил старался быть галантным. Сеньорита Кармен держалась холодно и деловито. Дядя прислал ее просмотреть документы по делу Ранчо Красных Скал. Документы сейчас же были предъявлены ей. Кармен отыскиала прошение о пожаловании земли. Личико



у нее слегка побледнело. Прекрасная память и верный глаз не могли обмануть девушку. Подпись губернатора Микельторены была сделана ее собственной рукой!

Однако она взглянула на адвоката с улыбкой.

— Вы разрешите мне взять эти бумаги. Я покажу их дяде.

Даже более пожилой и более проницательный человек, чем окружной прокурор, не смог бы устоять против этих опущенных долу ресниц, против этого нежного голоска.

— Разумеется!

— Через час я их верну.

Она сдержала свое слово, ровно через час с низким реверансом вернула дядюшкиному адвокату все документы и в тот же вечер села на пароход, который шел в Сан-Франциско.

На следующее утро Виктор Гарсия, еще не совсем отрезвившийся после вчерашней попойки, ввалился к Вуду в контору.

— Я начинаю побаиваться моей племянницы Кармен. Она переметнулась на сторону врагов, — хриплым голосом проговорил он. — Вот полюбуйтесь-ка.

Прокурор взял у него из рук анонимное письмо (каракулями миссис Плодгитт), в котором сообщалось, что племянница Гарсии подкуплена его врагами.

— Быть того не может! — воскликнул Вуд. — Ведь она только на прошлой неделе прислала тебе пятьдесят долларов.

И без того багровая физиономия Виктора покраснела еще больше; он нетерпеливо взмахнул рукой.

— Кроме того, — хладнокровно продолжал прокурор, — она приходила посмотреть по твоему поручению документы и вчера же все вернула.

Виктор остолбенел.

— И вы... вы дали их ей?

— Конечно, дал!

— Все документы? И прошение с подписью Микельторены?

— Ну, конечно. Ты же сам ее прислал.

— Я прислал эту дьяволицу? — крикнул Гарсия. — Да нет же! Тысячу раз нет! Скорей, пока еще не поздно!

Мистер Вуд подал ему всю папку. Гарсия перелистал ее дрожащими пальцами и наконец наткнулся на роковой документ. Не удовлетвоваввшись беглым просмотром, он подошел к окну, чтобы разглядеть прошение получше.

— Оно самое!— и у него вырвался облегченный вздох.

— Конечно, оно самое,— резко сказал Вуд.— Все бумаги на месте. И глупец же ты, Виктор Гарсия!

Что верно, то верно. Но в не меньшей степени это относилось и к ученому юристу, мистеру Сапонасиусу Вуду.

Тем временем мисс де Гаро вернулась в Сан-Франциско и принялась за свою работу. Дня через два домой пожаловала и ее хозяйка. Миссис Плодгитт была натура слишком широкая, чтобы позволить какому-то анонимному письму, написанному ее собственной рукой, испортить отношения между нею и молоденькой жилищей. Она подлаживалась к Кармен, льстила ей и, несколько преувеличивая, описывала горе дона Ройэла по поводу ее неожиданного отъезда. Все это Кармен принимала сдержанно, но с некоторой долей кокетства, и работы своей не бросала. В положенный срок заказ дона Ройэла был выполнен; теперь у художницы оставалось достаточно времени, чтобы снова заняться мрачным этюдом, на котором была изображена развалившаяся печь.

А дон Ройэл, погруженный в дела, не возвращался, и миссис Плодгитт, решив немножко заработать, сдала временно его комнату двум тихим мексиканцам, которые оказались хорошими жильцами, хоть и отравляли весь дом табачным дымом. Им не удавалось познакомиться со своей очаровательной соотечественницей, сеньоритой де Гаро, но виной тому была ее занятость, а никак не отсутствие попыток с их стороны.

— Мисс де Гаро — очень странная девушка, — поясняла своим жильцам миссис Плодгитт. — Она ни с кем не знакомится, а я считаю, что это только вредит ей. Не будь меня, она так никогда и не встретилась бы с Ройэлом Тэтчером, владельцем большого ртутного завода, и не получила бы заказа нарисовать его рудник.

Мексиканцы переглянулись. Один сказал: «Вот жалость-то!» Другой: «Просто не верится!» И как только

хозяйка удалилась, стырили подобранным ключом дверь и вошли в спальню и рабочую комнату своей очаровательной соотечественницы, которая была на этюдах.

— Вот видишь! — сказал бежавший от правосудия сеньор Педро бывшему мяснику Мигелю. — Этот американец всемогущ, и Виктор не зря заподозрил неладное, хоть он и пьяница.

— Правильно, правильно! — подтвердил Мигель. — Ты помнишь, как Ховита Кастро выкрала собриентскую заявку ради своего любовника-американца. Только мы с тобой, Педро, еще не забыли бога и свободу, как и подобает истым мексиканцам.

Они обменялись горячим рукопожатием и принялись за дело, то есть обшарили все сундуки, ящики и саквояжи бедной маленькой художницы Кармен де Гаро и даже вспороли матрац на ее девственном ложе. Но поиски их не увенчались успехом.

— А что там стоит на мольберте под покрывалом? — сказал Мигель. — Эти художники вот так и прячут свои ценности.

Педро подошел к мольберту, сорвал наброшенную на него кисею и испустил вопль. Перепуганный Мигель бросился к нему.

— А, чтоб тебе! — прошептал он. — Ты весь дом поднимаешь на ноги.

Бывший пастух дрожал, как испуганный ребенок.

— Смотри, — прохрипел он сдавленным голосом. — Смотри. Это перст божий... — И без чувств рухнул на пол.

Мигель взглянул в ту сторону. На мольберте стоял набросок развалившейся печи. Фигура Кончо, ярко освещенная костром, занимала левый угол этюда. Но законы композиции заставили Кармен ввести и вторую фигуру: к спящему Кончо на четвереньках подползал человек — двойник Педро.

## ГЛАВА X

### КТО ХЛОПОТАЛ В КУЛУАРАХ

В Вашингтоне был знойный летний день. Даже ранним утром, когда солнце еще не поднялось над головами пешеходов, на широких, лишенных тени улицах

стояла невыносимая жара. Позже и сами улицы начали блестеть, как настоящие лучи, расходящиеся во все стороны от центрального солнца — Капитолия, и незащищенным глазом опасно было смотреть на них. К середине дня стало еще жарче, с Потомака поднялся туман, обволакивая раскаленный небосвод, на горизонте громоздились обманчивые грозовые тучи, которые уже пролили где-то скопившуюся в них влагу и теперь только усиливали духоту. К вечеру солнце, собравшись с силами, вышло из-за туч и отерло пот с высокого чела небес, пылавшего лихорадочным жаром.

Город опустел. Те немногие, кто остался в нем, как видно, прятались от резкого дневного света в укромных уголках лавок, отелей и ресторанов, и обливающийся потом посетитель, ворвавшись с улицы и нарушив их мирное уединение, натыкался на какие-то тени, без воротничков и без сюртуков, с веерами в руках, каковые тени, кое-как исполнив то, что от них требовалось, и, выпроводив клиента, вновь погружались в дремоту. Члены Конгресса и сенаторы давно уже вернулись к своим избирателям с самыми разнообразными сведениями, — стране предстояла или гибель, или светлое, полное надежд будущее, в зависимости от вкусов избирателей. Некоторые из правительственных чиновников еще оставались в городе и, давно убедившись, что не могут повернуть дело по-своему и что вести его можно не иначе, как по старинке, мрачно покорились своей участи. Собрание высокообразованных джентльменов, представлявших верховное судебное учреждение страны, все еще не разъезжалось, в смутной надежде отработать то скудное жалованье, которым их награждало правительство, и терпеливо слушало разглагольствования юриста, чей гонорар равнялся пожизненному доходу половины всего собрания. Генеральный прокурор и его помощники все еще охраняли государственную казну от расхищения и получали от общества ежегодное пособие, до такой степени ничтожное, что их противники, гораздо более состоятельные представители частного капитала, постеснялись бы назначить такое жалованье даже младшему из своих клерков. Маленькая постоянная армия правительственных чиновников — беспомощные

жертвы самой бессмысленной рутины, какая только известна миру, рутины, которая неотделима от чьих-то прихотей и выгод, от трусости и тирании до такой степени, что реформа может привести к революции, нежелательной для законодателей, или к деспотизму, при котором десяток наудачу выбранных людей выдаст за реформу собственные капризы и прихоти. Правительство за правительством и партия за партией упорствуют в безнадежных попытках напялить детский колониальный костюмчик, сшитый нашими предками по старой моде, на широкие плечи и раздавшееся тело возмужавшей страны. Там и сям видны заплаты, платье трещит по швам и рвется, а партия, пришедшая к власти или отошедшая от власти, только и может, что чинить да штопать, чистить и мыть, и время от времени, приходя в отчаяние, предлагает отрубить руки и ноги непокорного тела, упрямо вырастающего из детских пеленок.

Это была столица противоречий и непоследовательности. На одном конце улицы сидел верховный хранитель воинской доблести, чести и престижа великой нации, не имеющей права заплатить собственным войскам то, что им следует по закону, пока не уладится какая-нибудь пустячная распря между двумя партиями. Бок о бок с ним сидел другой министр, обязанностью которого было представлять нацию за границей, посылая туда наименее характерных ее представителей — дипломатов, — и то только тогда, когда они оказывались неудачными политиками и избиратели находили, что они не достойны представлять страну на месте. Под стать этому национальному абсурду был другой: от бывшего политического деятеля ожидали, что он в течение четырех лет будет блюсти честь национального флага за океаном, которого он не переезжал ни разу в жизни, при помощи науки, азбуку которой он только-только начинал усваивать к концу этого срока, причем подчинялся он старшему чином сановнику, такому же невежественному в этой области, как и он сам, а тот, в свою очередь, подчинялся конгрессу, знавшему его только как политического деятеля. На другом конце улицы находилось другое министерство, такое обширное и с такими разнообразными функциями, что немногие из практиче-

ских деятелей страны приняли бы на себя управление им даже за удешевленное жалованье; однако самая совершенная в мире конституция поручала этот пост людям, которые видели в нем лишь ступеньку к дальнейшему повышению. Было и еще одно министерство, на финансовые функции которого намекали его платежные списки, где проглядывала то расточительность, то экономия, — один Конгресс за другим постепенно отняли у него все другие функции; им заведовал чиновник, носивший звание хранителя и расточителя национальной казны и получавший такое жалованье, на какое не полагался бы ни один директор банка. Ибо такова была непоследовательность конституции и нелепость управления страной, что каждому чиновнику полагалось превосходить честностью, справедливостью и верностью долгу то правительство, которое он представлял. Но самой изумительной нелепостью было то, что время от времени суверенному народу предоставлялось право утверждать, будто бы все эти нелепости являются совершеннейшим выражением самого совершенного в мире образа правления. И следует отметить, что страна в лице ее представителей, ораторов и вольных поэтов единогласно это подтверждала.

Даже печать была на стороне великой нелепости. Если редакции газеты по левую сторону улицы было ясно как день, что в народе должен возродиться дух наших предков, иначе страна погибнет, то редакции другой газеты, по правую сторону улицы, было не менее ясно, что только неуклонная приверженность к *букве* их учения спасет нацию от гибели. Первой из названных газет было ясно, что под «буквой» следовало подразумевать помощь правительства другой газете, а эта другая газета, со своей стороны, полагала, что «дух» предков воскрешает и поддерживает лепта сенатора Х. Однако все были согласны в том, что это великое и совершенное правительство подвержено, правда, хищническим набегам многоголовой гидры, известной под названием «Клики». Происхождение этого чудовища окутано тайной, плодовитость его внушает ужас, оно без труда переваривает проглоченное, хотя прожорливость его сверхъестественна. Все дела оно окружило атмосферой загадочности, заволокло пылью и пеплом недоверия.

Всякое недовольство, причиненное скупостью, неспособностью или честолюбием, можно без ошибки приписать ему. Оно проникло в частную и общественную жизнь: есть клики среди домашней прислуги; в школах, где живые детские умы держат в бездействии; есть клики привлекательных, красивых, распушенных юнцов, которые пользуются благосклонностью дам в ущерб более нравственным, но менее привлекательным представителям старшего поколения; есть коварные, заговорщицкие клики среди наших кредиторов, которые закрывают наш кредит и пускают нас по миру. Короче говоря, можно утверждать, не рискуя при этом ошибиться, что все зловерное в общественной и частной жизни ведет свое начало от этой комбинации — власти меньшинства над слабостью большинства, — которая называется Кликой.

К счастью, существует корпорация полубогов, к которой до сих пор никто еще не обращался за помощью — она могла бы положить этому конец. Когда Смит из Миннесоты, Робинсон из Вермонта и Джонс из Джорджии, люди, свободные от провинциальных предрассудков, изумлявшие глубиной своих познаний, были избраны от этих сельских мест в Конгресс, то подразумевалось, что произойдут какие-то великие перемены. Это всегда подразумевается. Не было такого времени в истории политической жизни Америки, когда, выражаясь языком газет, упоминавшихся выше, «настоящая сессия Конгресса» не обещала бы «стать самым значительным событием в нашей истории», не оставила бы, говоря по существу, множества незаконченных дел без всякой надежды на их окончание и не проглотила бы всей остальной массы дел наспех, так же мало заботясь о правильном пищеварении, как путешественник-американец, обедающий в станционном буфете.

Именно в этой столице, именно в этот томительно жаркий летний день, в одном из номеров второразрядной гостиницы сидел за письменным столом distinguished Пратт С. Гэшуилер. Бывают настолько обрюзгшие мужчины, что им неприлично показываться без воротничка и даже без галстука. Distinguished мистер Гэшуилер в брюках и рубашке являл собою зрелище, не предназначавшееся для целомудренных взоров. Его

открытая шея настолько ясно намекала на массы жира, простиравшиеся далее, что свое дезабиле ему следовало бы скрывать от людей так же, как и свои темные делишки. Тем не менее, когда в дверь постучались, он решительно ответил: «Войдите!» — и, отодвинув правой рукой стакан, в котором плавали поверх жидкости душистые травы, поспешно придвинул левой корректуру своей будущей речи. На челе мистера Гэшuilера изобразилось проникновенное раздумье. Правый глаз незваного гостя с фамильярным выражением устремился на Гэшuilера, как на старого знакомого, в то время как левый окинул быстрым взглядом бумаги на столе и саркастически блеснул.

— Вы, как я вижу, заняты? — сказал он извиняющимся тоном.

— Да, — ответил член Конгресса, приняв рассеянно-скужающий вид, — это одна из моих речей. Проклятые наборщики все перепутали, — я, кажется, пишу не очень разборчиво.

Если б даровитый Гэшuilер прибавил, что он пишет не очень толково, и не очень правильно синтаксически, и при этом не очень грамотно, он не погрешил бы против истины, хотя из оригинала речи и корректуры, лежавшей перед ним, этого не было видно. Дело объяснялось тем, что эта речь была написана неким Экспектентом Доббсом, бедняком на посылках у Гэшuilера, и труды почтенного джентльмена заключались в том, что он вставлял кое-где в корректуру слова «анархия», «олигархия», «сатрап», «эгида» и «недремлющий Аргус» — кстати и некстати, почти не заботясь о связи с содержанием речи.

Незнакомец подметил все это своим коварным левым глазом, но правый его глаз взирал на окружающее по-прежнему кротко. Сняв куртку и жилет Гэшuilера со стула, он подвинул его ближе к столу, оттолкнув в сторону внушительные, громко тикающие часы, точную копию самого Гэшuilера, и, поставив локти на корректуру, сказал:

— Ну-с?

— У вас есть какие-нибудь новости? — спросил парламентски вежливый Гэшuilер.

— Да, и немалые! Женщина! — ответил незнакомец.



Хитрец Гэшуйлер в ожидании дальнейших сведений решил отнестись к этому сообщению весело и галантно.

— Женщина? Дорогой мистер Уайлз, ну еще бы! Эти милые создания,— продолжал он, посмеиваясь наглым, жирным смешком,— везде сунут свой очаровательный носик. Ха-ха! Вращаясь в обществе, сэр, мужчина привыкает к этому, и ему известно, когда он должен проявить любезность — любезность, сэр, но и твердость в то же время! Я это знаю по опыту, сэр, по собственному опыту! — И член Конгресса откинулся на спинку стула с видом святого Антония, который устоял против одного искушения, чтобы поддаться другому.

— Да,— ответил Уайлз нетерпеливо,— но ведь она, черт ее возьми, не за нас!

— Не за нас! — озадаченно повторил Гэшуйлер.

— Да. Это племянница старого Гарсии. Сущий чертенок.

— Так ведь Гарсия на нашей стороне,— возразил Гэшуйлер.

— Да, но ее подкупила Клика.

— Женщина! — презрительно произнес Гэшуйлер.— Где ей! Ну нет, нас не проведешь! Что она? Очень хороша собой?

— По-моему, она не красавица,— коротко ответил Уайлз,— однако говорят, что она поймала этого болвана Тэтчера, хотя он сухарь порядочный. Во всяком случае, он ей покровительствует. Она не то, что вы думаете, Гэшуйлер. Говорят, будто бы она знает или делает вид, что знает что-то о подоплеке всей истории. У нее, может быть, есть какие-нибудь бумаги ее дядюшки. Эти мексиканцы такие идиоты: уж если он сделал какую-нибудь глупость, так, верно, напутал что-нибудь или не сумел замести следы. Эх, с такими-то шансами! Да будь я на его месте...— И мистер Уайлз вздохнул, огорченный несправедливостью судьбы, которая напрасно предоставляет такие случаи разиням.

Мистер Гэшуйлер величественно выпрямился.

— Она не может нам повредить,— сказал он с достоинством.

Уайлз обратил на него свой иронический глаз:

— Мануэль и Мигель, которые продались нам, боятся ее. Они были свидетелями с нашей стороны.

Я уверен, что они возьмут свои слова обратно, если она за них примется. А Педро думает, что его жизнь у нее в руках.

— Педро? У нее в руках? Каким образом? — спросил изумленный Гэшуилер.

Уайлз понял, что сделал промах, однако он понял и то, что зашел слишком далеко и отступать уже нельзя.

— Педро, — сказал он, — сильно подозревали в убийстве Кончо, одного из тех, кто нашел руду.

Мистер Гэшуилер побелел как полотно, потом побагровел так, что, казалось, его вот-вот хватит удар.

— И вы смеете говорить, — начал он, как только к нему вернулась способность владеть языком и ногами, ибо и то и другое было ему необходимо при отправлении законодательных функций, — вы хотите сказать, — заикался он, приходя в ярость, — что посмели обмануть американского законодателя и заставили его ходатайствовать о деле, которое связано с уголовным преступлением? Так ли я вас понял, сэр? Вы сказали, что убийство занесено в протокол этого дела, сэр, дела, в котором я принял участие, как официальный представитель города Римуса? Уж не хотите ли вы сказать, что ввели в заблуждение моих избирателей, священным доверием которых я облечен, принудив меня скрыть преступление от недремлющего ока правосудия? — И мистер Гэшуилер взглянул на звонок, будто собирался вызвать слугу, чтобы засвидетельствовать это оскорбление, нанесенное правосудию.

— Убийство, если оно и было, совершилось до того, как Гарсия заявил свои претензии и подал в суд, — невозмутимо возразил Уайлз, — и в деле о нем не говорится.

— Вы в этом уверены?

— Уверен. Вы можете убедиться в этом и сами.

Мистер Гэшуилер подошел к окну, потом возвратился к столу, одним глотком опорожнил свой стакан и, до некоторой степени восстановив утраченное достоинство, сказал:

— Это меняет дело.

Уайлз покосился на члена Конгресса левым глазом. Правый его глаз невозмутимо смотрел в окно. Помолчав, он спокойно сказал:

— Я привез вам акции,— переписать их на ваше имя?

Мистер Гэшуилер напрасно пытался сделать вид, будто не понимает слов Уайлза.

— Ах да! Гм! Позвольте — да, да, да,— акции! Ну, конечно, да, вы можете перевести их на имя моего секретаря мистера Доббса. Они, быть может, вознаградят его за ту излишнюю письменную работу, которую он нес в связи с вашим делом. Это весьма достойный молодой человек. Хотя он не служит, однако он так близок ко мне, что, быть может, я поступаю ошибочно, позволяя ему принять вознаграждение от частного лица. Представитель американского народа, мистер Уайлз, должен быть весьма осмотрителен в своих поступках. Пожалуй, будет лучше, если вы передадите их без указания имени нового владельца? Насколько я понимаю, акции еще не выпущены на рынок. Мистер Доббс — человек достойный и даровитый, но он беден: он, быть может, захочет реализовать эти бумаги. И если какой-нибудь... гм!.. друг!.. располагающий средствами, захочет рискнуть капиталом и выдать ему авансом некоторую сумму наличными,— что ж, это будет доброе дело.

— Ваше великодушие всем известно, мистер Гэшуилер,— заметил Уайлз, открывая и закрывая левый глаз, наподобие потайного фонаря, и устремляя его на щедрого представителя американского народа.

— Молодежь следует поощрять, когда она трудолюбива и почтительна,— возразил мистер Гэшуилер.— Не так давно я имел случай указать на это в своей речи в воскресной школе в Римусе. Благодарю вас, я уж сам позабочусь о том, чтобы акции были... гм!.. переданы мистеру Доббсу. Я передам их лично,— заключил он, откидываясь на спинку стула, словно созерцая открывшуюся перед ним перспективу собственного великодушия и щедрости.

Мистер Уайлз взял шляпу и повернулся к дверям. Не успел он дойти до порога, как мистер Гэшуилер, снисходительно посмеиваясь, спросил его уже более игривым тоном:

— Вы говорите, что эта женщина, племянница Гарсии, бойка и недурна собой?

— Да.

— Так я знаю другую женщину, которая в любое время ее обставит!

Мистер Уайлз был умен и сделал вид, что не понимает, насколько такой фривольный тон не приличествует члену Конгресса; он только заметил, глядя на него правым глазом:

— Вот как?

— Клянусь богом, не будь я членом Конгресса.

Мистер Уайлз благодарно посмотрел на Гэшуилера правым глазом, а левым метнул на него убийственный взгляд.

— Это хорошо,— сказал он и прибавил вкрадчивым тоном: — Она живет здесь?

Член Конгресса утвердительно кивнул головой.

— Замечательно красивая женщина — и моя близкая приятельница!

Было видно, что мистер Гэшуилер ничего не имеет против подшучивания над его близостью с такой красавицей, но коварный Уайлз, заметив это, тут же подумал, что надо втереться к прекрасной незнакомке, если он хочет прибрать к рукам Гэшуилера. Он решил выждать время и удался.

Не успела дверь закрыться за Уайлзом, как внимание Гэшуилера было отвлечено от корректуры новым стуком. Дверь открылась, и вошел молодой человек, рыжеватый, со встревоженным лицом. Он вошел боязливо, склонив голову перед высшим существом, которое внушало страх и принимало моления. Мистер Гэшуилер не пытался разуверить его.

— Вы видите, я занят,— буркнул он,— правлю вашу работу!

— Надеюсь, что она не так плоха,— робко сказал молодой человек.

— Гм, да, сойдет, пожалуй,— ответил Гэшуилер,— я думаю, в общем, ее можно назвать удовлетворительной...

— У вас нет ничего нового?— продолжал молодой человек, и к щекам его прилила легкая краска, порожденная самолюбием и надеждой.

— Нет, пока еще ничего нет.— Мистер Гэшуилер сделал паузу, словно в голову ему пришла новая мысль.

— Я думаю,—сказал он наконец,—что какое-нибудь место, ну хотя бы моего секретаря, поможет вам получить назначение на государственную службу. Предположим, я сделаю вас моим личным секретарем и дам вам какое-нибудь важное, конфиденциальное поручение. А? Как, по-вашему?

Доббс глядел на своего патрона тоскливым и полным надежды собачьим взглядом, беспокойно вертясь на стуле, словно заранее выражая этим свою благодарность; казалось, будь у него хвост, он непременно завилял бы им. Мистер Гэшуилер принял еще более внушительный вид.

— Собственно говоря, я это уже имел в виду, намереваясь поручить вам кое-какие бумаги, на которых стоит ваше имя,—вам остается только сделать передаточную надпись, и тогда я с чистой совестью смог бы рекомендовать вас как моего... гм!.. личного секретаря. Быть может, вам лучше было бы теперь же сделать передаточную надпись, раз вы уже здесь, и, так сказать, приступить к выполнению своих обязанностей.

Краска гордости и надежды, которая залила щеки бедного Доббса, могла бы смягчить и более жестокого человека, чем Гэшуилер. Но сенаторская тога придавала мистеру Гэшуилеру более чем римский стоицизм по отношению к чувствам его ближних, и он только откинулся на спинку стула, сообщив своему лицу выражение непогрешимой справедливости, в то время как Доббс торопливо подписывал бумаги.

— Я положу их в свой портфель для сохранности,—сказал Гэшуилер, сопровождая слова делом.—Мне нечего напоминать вам — вы теперь находитесь в преддверии государственной службы,—что полная и ненарушимая тайна во всех государственных делах — тут мистер Гэшуилер указал на свой портфель, как будто бы в нем хранился по меньшей мере какой-нибудь международный договор,—совершенно необходима и крайне важна.

Доббс согласился с этим.

— Значит, я обязан находиться при вас? — спросил он нерешительно.

— Нет, нет! — поспешно ответил Гэшуилер. — То есть, во всяком случае, не теперь.

Лицо бедняги Доббса вытянулось. Дело в том, что ему не так давно предложили съехать с квартиры, за которую он много задолжал, и он надеялся, что место секретаря связано со столом и квартирой. Но он спросил только, не нужно ли составить еще какой-нибудь доклад.

— Гм! Только не сейчас: мне приходится уделять много времени посетителям,— даже сегодня я принял чуть ли не десять человек; теперь я вынужден буду запереться на весь день и не пускать больше никого.

Почувствовав в этих словах намеки на то, что аудиенция окончена, новоиспеченный секретарь, несколько разочарованный в своих надеждах, но радостно уповающий на будущее, почтительно откланялся и ушел.

Но тут провидение, быть может, заботясь о бедном Доббсе, вложило в его неумелые руки средство, которое могло бы дать ему перевес над противником в том случае, если бы он сумел им воспользоваться. Спустившись с лестницы и проходя по коридору нижнего этажа, он стал невольным свидетелем следующего замечательного события.

Оказалось, что у мистера Уайлза, который покинул Гэшуилера, когда доложили о Доббсе, было еще одно дело, в этой же гостинице, и, чтобы покончить с ним, он постучался в дверь № 90. Грубый голос пригласил его войти, и мистер Уайлз, отворив дверь, увидел на кровати длинную плечистую фигуру с рыжей бородой, плотно укутанную одеялом.

Мистер Уайлз просиял правой щекой и приблизился к кровати, вероятно, для того, чтобы пожать руку незнакомцу, который, однако, ни словом, ни движением не ответил на его приветствие.

— Может быть, я помешал вам? — вкрадчиво спросил мистер Уайлз.

— Может быть, — сухо отвечала Рыжая Борода.

Мистер Уайлз принужденно улыбнулся правой щекой, обращенной к обидчику, левая же щека выразила беспредельную злобу.

— Я хотел только узнать, рассмотрели вы это дело или нет? — сказал он кротко.

— Я его рассмотрел и вдоль, и поперек, и насквозь, заглядывал и выше, и ниже, и вокруг, и около,—

ответил незнакомец без улыбки, не сводя глаз с мистера Уайлза.

— Вы прочли все бумаги?— продолжал мистер Уайлз.

— Я прочел каждую бумажку, каждую речь, каждое показание, каждое решение,— сказал незнакомец, словно повторяя формулу.

Мистер Уайлз попытался скрыть свое смущение любезной улыбкой на правой стороне лица, отчего сардонически перекосилась левая, и продолжал:

— В таком случае, дорогой сэр, я надеюсь, что, изучив дело в совершенстве, вы составили мнение в нашу пользу.

Джентльмен в кровати не ответил и только плотнее завернулся в одеяло.

— Я принес те акции, о которых говорил вам,— вкрадчиво продолжал мистер Уайлз.

— Есть у вас какой-нибудь приятель поблизости?— преспокойно прервал его лежащий в кровати джентльмен.

— Я не вполне вас понимаю,— улыбнулся мистер Уайлз,— конечно, любое предложенное вами имя...

— Есть у вас приятель, кто-нибудь, кого вы могли бы позвать сюда в любую минуту?— продолжал человек в кровати.— Нет? А кого-нибудь из коридорных вы знаете? Вон там звонок!— И он указал глазами на стену, но не двинулся с места.

— Нет,— сказал Уайлз, начиная что-то подозревать и злиться.

— Может быть, годится и посторонний? Кто-то идет по коридору. Позовите его, годится и он!

Уайлз нетерпеливо распахнул дверь и вопросительно взглянул на проходившего мимо Доббса.

Человек в постели позвал его:

— Эй, приятель!— И, когда Доббс остановился, сказал:— Подите-ка сюда.

Доббс вошел, слегка робея, как всегда с незнакомыми людьми.

— Я не знаю, кто вы такой, и знать не желаю. А вот это Уайлз,— сказал незнакомец, указывая на Уайлза.— Я Джош Сиббли из Фресно, член Конгресса от четвертого избирательного округа Калифорнии. Держу пистолету в каждой руке, лежу, накрывшись одеялом,

и едва сдерживаюсь, чтобы не снести полчерепа этому мерзавцу. Чувствую, что дольше не могу сдерживаться. Я хочу вам сказать, приятель, что вот этот самый мошенник, зовут его Уайлз, рассыпáлся мелким бесом, стараясь всунуть мне взятку, мне, Джошу Сиббли, а Джош, из уважения к своим избирателям, предпочел позвать кого-нибудь, чтобы он нас разнял.

— Но, дорогой мистер Сиббли, здесь какое-то недоразумение,— горячо запротестовал Уайлз.

— Недоразумение? А ну-ка, скинь с меня одеяло!

— Нет, нет, не нужно,— запротестовал Уайлз, когда простодушный Доббс собрался откинуть одеяло.

— Уберите его,— сказал достопочтенный мистер Сиббли,— чтоб я не опозорился перед избирателями. Говорили же мне, что я до конца сессии не выдержу, засадят меня в тюрьму. Если в вас есть хоть что-нибудь человеческое, приятель, тащите его вон, да поживей.

Доббс, испуганный и бледный, смотрел на Уайлза в нерешительности. Кровать слегка заскрипела. Оба они бросились к двери и через секунду весьма решительно ее захлопнули.

## ГЛАВА XI

### КАК ХЛОПОТАЛИ В КУЛУАРАХ

Достопочтенный Пратт С. Гашуилер, член Конгресса, конечно, не подозревал о событии, описанном в предыдущей главе. Его тайна, даже сделавшись известной Доббсу, оставалась в безопасности, попав в руки этого простодушного и достойного джентльмена; и уж, разумеется, тайна эта была не такого рода, чтобы мистер Уайлз захотел ее выдать. Мистер Уайлз, невзирая на свое поражение, разбирался в людях и понимал, что разъяренный депутат от Фресно удовольствовался тем, что по-своему отомстил за покушение на неприкосновенность своей личности, и не станет предавать его огласке. Кроме того, Уайлз был убежден, что Доббс замешан в делах Гашуилера и будет молчать, опасаясь за свою шкуру. Да и каждый мошенник в стране непременно назвал бы беднягу Доббса пройдохой, что нередко выпадает на долю честных, но слабохарактерных людей.



Из всего этого можно заключить, что спокойствию Гэшуйлера не было потревожено. После того как дверь закрылась за мистером Уайлзом, Гэшуйлер написал записку и отослал ее с нарочным, приложив к ней поразительно безвкусный букет, подобранный заново его собственными жирными руками так, что варварское смешение красок резало глаза. Затем он приступил к своему туалету—процедура, которая не представляет ничего интересного и изящного, когда ее совершает мужчина, и просто оскорбляет глаз, если ее совершает толстяк. Надев чистую рубашку необъятной ширины и белый жилет, от которого его живот стал еще толще, мистер Гэшуйлер облачился в черный сюртук самого модного покроя и самодовольно оглядел себя в зеркало. Следует заметить, что результат мог казаться удовлетворительным только самому мистеру Гэшуйлеру, но не беспристрастному зрителю. Есть люди, которым «эта уродливая воровка—мода» мстит за себя тем, что платье на них всегда кажется необношенным. Лоск, наведенный портновским утюгом, бросался в глаза, заглаженные складки топорщились, изобличая новизну костюма. Парадный костюм мистера Гэшуйлера всегда производил впечатление с иголки нового, хотя это не соответствовало истине, и на широкой спине законодателя так явственно читалось: «Наша собственная модель», «элегантно» и «последний крик моды, всего пятнадцать долларов»,— словно ярлык был еще не сорван.

Облачившись в этот костюм, через час он и сам отправился туда же, куда были посланы букет и записка. Дом этот был когда-то резиденцией иностранного посла, который, честно служа своему правительству, заключил совершенно ненужный договор, теперь уже забытый, и давал обеды и приемы, еще памятные случайным посетителям его салона—теперь средней и довольно скучной американской гостиной. «Боже мой,—говаривал неотразимый мистер Х,—помнится, в этой самой гостиной, моя дорогая, я познакомился с известным маркизом Монте Пио»,—а блистательный Джонс из государственного департамента одной фразой мгновенно уничтожал разорившегося друга, к которому зашел с визитом: «Честное слово, кто бы мог подумать, что ты попадешь сюда! А ведь не так давно я целый

час болтал с графиней де Кастане в этом самом уголке». Ибо, когда посол был отозван, особняк превратился в меблированные комнаты, которые содержала жена одного чиновника.

Быть может, во всей истории этого дома не было ничего более оригинального и поучительного, чем история его теперешнего обитателя. Роджер Фокье прослужил в министерстве ровно сорок лет. Все его везенье и невезенье объяснялось тем, что он слишком рано был назначен на должность, в которой требовалось основательно знать весь порядок дел в министерстве, которое расходовало миллионы государственных денег. Фокье получал небольшое жалованье, которое с годами уменьшалось, а не увеличивалось; на его глазах развернулось, процвело и засохло на корню не одно правительство, а он занимал все то же место, потому что его знания были необходимы и начальникам и подчиненным, сменявшим один другого. Правда, однажды его уволил новый министр, чтобы дать место своему соратнику, чьи незаменяемые услуги во время избирательной кампании доказали, что он способен занять любую должность; однако после неприятного открытия, что новый служащий знает грамматику хуже самого министра и что из-за его неосведомленности дела запутались и государство понесло убыток в полмиллиона, министра Фокье восстановили в должности, *уменьшив ему жалованье*. Во всем чувствовалось отсутствие порядка, а так как, приступая к реформам, Конгресс и правительство прежде всего убавляли жалованье чиновникам, то мистер Фокье пострадал одним из первых. Он был прирожденным джентльменом с довольно разборчивым вкусом и привык жить на старое свое жалованье; эта перемена заставила и миссис Фокье искать заработка — она попыталась, правда, не слишком успешно, извлечь доход из старого южного гостеприимства. Но беднягу Фокье нельзя было заставить подать счет джентльмену, к тому же одни отпрыски лучших южных семейств все еще дожидались назначения на должность, другие были только что уволены с должности, и этот опыт не принес дохода. Однако дом пользовался прекрасной репутацией и никогда не пустовал, и в самом деле, стоило по-

смотреть, как старик Фокье сидит во главе стола по дедовскому обычаю и рассказывает анекдоты о великих людях прошлого, что прерывалось только визитами назойливых кредиторов.

Среди тех, кого мистер Фокье называл «своим маленьким семейством», выделялась одна черноглазая дама, обладавшая неотразимым очарованием и пользовавшаяся в здешних местах репутацией кокетки. Однако покладистый и снисходительный муж терпел эти уклонения с пути истинного смиренно, и даже с восхищением взирал на забавы своей супруги, и, казалось, молчаливо одобрял такое поведение. Никто не обращал внимания на Гопкинсона; в ослепительном сиянии достоинств миссис Гопкинсон он был совсем незаметен. Некоторые дамы, мужья которых питали слабость к женскому полу, а также те из девиц, которые засиделись дольше других, строго осуждали поведение миссис Гопкинсон. Мужчины помоложе, конечно, восхищались ею, но главной опорой миссис Гопкинсон были, как мне кажется, старики, вроде нас с вами. Именно этим невозмутимо-самодовольным, снисходительным, философически-равнодушным *pater familias*<sup>1</sup> с необъятной талией обязаны своим местом на общественном небосводе легкомысленные и беззаботные представительницы прекрасного пола. Мы не склонны к придиристству, мы смеемся над тем, что наши жены и дочери считают непростительным грехом. Мы поддаемся очарованию хорошенького личика. Боже мой, нам по горькому опыту известно, чего стоит мнение одной женщины о другой женщине; мы хотим, чтобы наша очаровательная маленькая приятельница блистала в обществе; ведь только легкомысленные мотыльки обожгут свои грошовые крылышки в пламени! Да почему бы и нет? Природе было угодно создать больше мотыльков, чем свечей. Что ж! Пусть хорошенькое создание — будь она девушка, жена или вдова — повеселится! Итак, дорогой сэр, в то время как *mater familias*<sup>2</sup> неодобрительно хмурит черные брови, мы улыбаемся снисходительной улыбкой и оказываем госпоже «Неизвестной» свое благосклонное покровительство. И если Легко-

---

<sup>1</sup> Отец семейства (лат.).

<sup>2</sup> Мать семейства (лат.).

мыслие нас благодарит, если Безрассудство к нам дружелюбно расположено,— что ж, мы тут ни при чем. Это, пожалуй, подтверждает нашу точку зрения.

Я хотел сказать несколько слов о Гопкинсоне, но говорить о нем, право же, почти нечего. Он отличался неизменным благодушием. Некоторые дамы пытались убедить его, что ему следовало бы больше огорчаться поведением жены, и говорят, будто бы Гопкинсон в избытке благодушия и любезности пообещал даже и это. Добрый малый был до такой степени отзывчив, что молодой Деланси из министерства Волокиты будто бы жаловался ему на своего соперника и открыл ужасную тайну: что он (Деланси) вправе ожидать большего постоянства от его (Гопкинсона) жены. По его словам, добряк ему очень сочувствовал и обещал повлиять на жену в пользу Деланси.

— Видите ли,— объяснил Гопкинсон Деланси,— она так занята в последнее время, что стала немножко забывчива, такова уж женская натура. Если мне самому не удастся уломать ее, я поговорю с Гэшуйлером— постараюсь, чтобы он повлиял на миссис Гопкинсон. Не гоните, мой мальчик, он это уладит.

Букеты на столе миссис Гопкинсон появлялись часто, однако букет Гэшуйлера туда не попал. Варварское сочетание красок оскорбило ее глаз— замечено, что хороший вкус переживает крушение всех остальных женских добродетелей,— и она употребила этот букет на бутоньерки для других джентльменов. Тем не менее, когда появился Гэшуйлер, она поспешила сказать ему, приложив маленькую ручку к сердцу:

— Я очень рада, что вы пришли. Но вы так меня напугали час назад.

Мистер Гэшуйлер был и польщен и вместе с тем удивлен.

— Что же я сделал такого, милая миссис Гопкинсон? — начал он.

— Ах, и не говорите лучше! — воскликнула она печально. — Что вы сделали? Вот это мило! Вы прислали мне этот прекрасный букет. Я не могла не узнать вашего вкуса в подборе цветов, но мой муж был дома. Вы знаете, как он ревнив! Мне пришлось от него спрятать букет. Обещайте мне никогда больше этого не делать.

Мистер Гэшуилер галантно запротестовал.

— Нет, нет! Я говорю серьезно. Я была так взволнована, он, должно быть, заметил, как я покраснела.

Только такой падкий на лесть человек, как мистер Гэшуилер, мог не заметить совершенной нелепости этих слов, произнесенных с девической застенчивостью. Тем не менее он спросил:

— С чего же это он стал так ревнив? Только третьего дня я видел, как Симпсон из Дулута поднес вам букет у него на глазах.

— Ах,— возразила миссис Гопкинсон,— тогда он только казался спокойным,— вы не знаете, какую он мне сделал сцену, когда вы ушли.

— Что вы,— удивился практический Гэшуилер,— ведь Симпсон устроил вашему мужу подряд, который принес ему ровнехонько пятьдесят тысяч.

Миссис Гопкинсон посмотрела на Гэшуилера с достоинством, насколько это было уместно при росте в пять футов три дюйма (лишние три дюйма приходились на пирамиду волос соломенного цвета), челке из легких завитков, лукавых голубых глазах и стянутой поясом тоненькой талии. Потом она сказала, опустив ресницы:

— Вы забываете, что муж меня любит.

И тут кокетка приняла вид кающейся грешницы. Ей это шло, хотя обычно покаяние разыгрывалось в простом белом платье, слегка оживленном бледно-голубыми лентами: пышные сиреневые оборки с розовой каймой не вполне соответствовали этой роли. Однако женщина, которая боится нарушить стиль своего туалета неподходящим выражением лица, наверняка проиграет. А миссис Гопкинсон всегда оставалась победительницей именно благодаря своей смелости.

Мистер Гэшуилер был польщен. Даже самым распушенным людям нравится показная добродетель.

— Однако ваша грация и ваши таланты, милая миссис Гопкинсон,— сказал он елейным тоном,— принадлежат всей стране.—И постарался представить эту страну поклоном скорее чопорным, чем любезным.—Я сам думал воспользоваться вашими талантами для дела Кастро. Маленький ужин у Велкера, стакан-другой шампанского, один быстрый взгляд этих ясных глазок — и дело в шляпе.

— Но я обещала Джозайе бросить все эти пустяки,— сказала миссис Гопкинсон,— и хотя совесть моя чиста, вы знаете, какие у всех язычки! А Джозайя все это слышит. Еще вчера вечером, на приеме у патагонского посланника, все женщины сплетничали на мой счет из-за того, что я танцевала с ним котильон в первой паре. Неужели женщине, муж которой имеет дела с правительством, нельзя быть любезной с представителем дружественной державы?

Мистеру Гэшуилеру было не совсем понятно, почему, собственно, контракт мистера Гопкинсона на поставку солонины и консервов для армии Соединенных Штатов обязывает его жену принимать ухаживания знатных иностранцев, но он благоразумно воздержался от вопросов. Однако, не будучи дипломатом, он все-таки заметил:

— Насколько я понял, мистер Гопкинсон не возражал против того, чтоб вы приняли участие в этом деле, и, как вы знаете, некоторое количество акций...

Миссис Гопкинсон вздрогнула.

— Акции! Дорогой мистер Гэшуилер, ради бога, не произносите при мне этого ужасного слова! Акции! Мне противно о них слышать! Неужели нет других тем для разговора с дамой?

Она подчеркнула эту фразу, бросив лукавый взгляд на собеседника. И, как мне это ни прискорбно, мистер Гэшуилер не устоял и на этот раз. Славные граждане города Римуса, нужно надеяться, оставались в счастливом неведении относительно этого последнего поражения своего великого законодателя. Мистер Гэшуилер совсем забыл о деле и начал усердно осыпать свою даму неуклюжими любезностями, достойными бегемота, и, надо сказать к ее чести, она парировала их игриво и ловко, с проворством фокстерьера, когда слуга доложил о приходе мистера Уайлза.

Гэшуилер насторожился. Зато миссис Гопкинсон оставалась спокойной,— впрочем, она осторожно отодвинула свой стул от стула Гэшуилера.

— Вы знакомы с мистером Уайлзом? — спросила она любезно.

— Нет! То есть... гм!.. да. Мне приходилось иметь с ним дело,— отвечал Гэшуилер, вставая.

— Может быть, вы останетесь? — прибавила она умоляюще. — Пожалуйста, останьтесь!

Благоразумие мистера Гэшуилера, как всегда, одержало верх над любезностью.

— Лучше я зайду после, — ответил он в замешательстве. — Мне, может быть, лучше уйти, чтобы не было сплетен, о которых вы рассказывали. Вам не нужно упоминать мое имя при этом... как его... Уайлзе.

И, покосившись одним глазом на дверь, он неловко поцеловал пальчики миссис Гопкинсон и удалился.

Мистер Уайлз без предисловий приступил к делу:

— Гэшуилер говорит, будто бы ему известна женщина, которая способна потягаться с этой приезжей испанкой со всеми ее доказательствами, красотой, обаянием и прочим. Эту женщину вы должны разыскать.

— Зачем? — с улыбкой спросила миссис Гопкинсон.

— Затем, что я не верю Гэшуилеру. Женщина с хорошеньким личиком, у которой есть хоть капля здравого смысла, может предать его и нас вместе с ним.

— Ну, скажем, две капли здравого смысла, мистер Уайлз. Мистер Гэшуилер не так глуп.

— Может быть, но не тогда, когда дело касается женщин, а эта женщина, надо полагать, умней его.

— Ну, я думаю, — сказала миссис Гопкинсон, лукаво улыбаясь.

— Так вы ее знаете?

— Не так хорошо, как его, — сказала миссис Гопкинсон совершенно серьезно. — Я хотела бы знать ее не хуже.

— Ну, так узнайте, можно ли ей доверять. Вы смеемся, а дело нешуточное! Эта женщина...

Миссис Гопкинсон сделала изящный реверанс и сказала:

— C'est moi<sup>1</sup>.

## ГЛАВА XII

### КТО ПРИБУДЕТ СКОРЕЕ

Ройэл Тэтчер работал не покладая рук. По всему его поведению казалось, что похожая на мальчика маленькая художница, пользовавшаяся его гостеприимством на руднике «Синяя пилюля», не будет играть большой роли

<sup>1</sup> Это я (франц.).

в деятельной жизни Тэтчера. Теперь его единственной возлюбленной была руда, она отнимала все его время, приводила в отчаяние изменчивостью, но требовала всей преданности, на какую он был способен. Возможно, мисс Кармен понимала это и с чисто женским тактом постаралась не то чтобы стать на место соперницы, но хотя бы бороться с ее влиянием. Помимо этого, она усердно занималась своим делом; хотя боюсь, что оно не приносило ей больших доходов. Доморощенное искусство мало ценилось в Калифорнии. Местные ландшафты еще не успели прославиться; прославить их было суждено одному художнику из восточных штатов, уже и тогда знаменитому, и люди мало заботились о воспроизведении того, что они видели изо дня в день собственными глазами и ничуть не ценили. И потому сеньорита Кармен разменивала свой талант на мелкую монету для поддержания своей маленькой особы и занималась керамикой, росписью по бархату и фарфору, разрисовыванием требников и другими работами в том же роде. У меня есть восковые цветы — изумительная фуксия и поразительный георгин, купленные за гроши у этой маленькой женщины, картины которой получили премию на выставке за границей и которую калифорнийские газеты называли гениальной дочерью Калифорнии, после того как эта самая Калифорния чуть не уморила ее голодом.

Об этой борьбе и победах Тэтчер не знал ровно ничего, однако он взволновался, не желая сознаться в этом самому себе, когда в один декабрьский день получил следующую телеграмму:

*«Немедленно выезжайте в Вашингтон.*

*Кармен де Гаро».*

«Кармен де Гаро»! Как ни прискорбно, я должен сказать, что этот человек, которому суждено было стать героем единственного любовного эпизода в этой повести, был настолько занят делами, что не сразу сообразил, кто она такая.

Вспомнив стойкую маленькую девушку, которая так мужественно сопротивлялась ему, а потом чисто по-женски убежала, Тэтчер был сначала заинтригован, а потом



стал упрекать самого себя. Он смутно чувствовал, что сам себе противоречит. Он был невнимателен к дочери своего врага. Но зачем она посылает ему депеши и что она делает в Вашингтоне? На все эти вопросы, надо отдать ему справедливость, он не искал романтического ответа. Ройэл Тэтчер был скромн от природы и не преувеличивал своих успехов у женщин, как не преувеличивает их большинство мужчин, имеющих шансы на успех, несмотря на то, что с давних пор принято утверждать обратное. На десяток женщин, которых может покорить простая дерзость, приходится сотни таких, которых скорее тронет полная достоинства сдержанность. А уж когда женщине приходится первой делать авансы, она обычно доводит дело до конца. Тэтчер был настолько изумлен, что не заметил письма, лежащего на столе. Оно было от его поверенного в Вашингтоне. Заключительный абзац привлек его внимание: «Быть может, лучше вам самому приехать сюда. Роскоммон здесь, и, как говорят, недавно приехала племянница Гарсии, которая сможет привлечь симпатии общества на сторону мексиканца. Я не знаю, что они хотят доказать с ее помощью, но, по слухам, она очень привлекательна и умна и уже завоевала здесь сочувствие». Тэтчер бросил письмо в возмущении. Сильные мужчины не меньше слабых женщин склонны быть непоследовательными там, где замешано чувство. Какое право имела эта былинка, которую он лелеял — он был теперь совершенно уверен, что лелеял ее и страдал от разлуки, — какое право имела она так внезапно расцвести под лучами вашингтонского солнца — для того, чтоб ее сорвал кто-нибудь из его врагов? Он не мог согласиться со своим поверенным, что она имеет какое-то отношение к его врагам, — настолько-то он еще верил в ее чисто мужскую порядочность. Но там было нечто опасное для женской души — блеск, могущество, лесть. Теперь он был почти так же твердо уверен в том, что его бросили и забыли, как несколько минут тому назад — в том, что он сам был не слишком внимателен. Раздражения, хотя и мимолетного, было достаточно, чтобы решить: он послал телеграмму в Сан-Франциско и, опоздав на пароход, решил отправиться сушей через весь континент; потом передумал и чуть не вернул билет через час после того, как он был куплен. Тем не менее, сделав один

ложный шаг, он, как подобает мужчине, не отступил, чтобы не упрекать себя в непоследовательности. Однако он не был вполне уверен в том, что его путешествие вызвано чисто деловыми соображениями. По-женски слабая, порывистая сеньорита Кармен одержала победу над сильным мужчиной.

В то время была построена только небольшая часть трансконтинентальной железной дороги. Она вдавалась с обеих сторон наподобие мола в необозримое море пустыни, через которое еще не был перекинут мост. Путешественник, сходя с поезда в Рено, расставался с цивилизацией, и до границы штата Небраска приходилось добираться по старым караванным путям на дилижансе Континентальной компании. Везде, кроме «Чертова каньона», дорога была ровная и неживописная, а перевал через Скалистые горы, вовсе не отличавшийся пресловутой поэтичностью пейзажа, напоминал скорее бесплодные просторы равнин Новой Англии. Монотонная скука путешествия, в которую неудобства отнюдь не вносили разнообразия, так как серьезные происшествия были редки, губительно действовала на нервную систему. Нередко бывали и случаи помешательства. «На третий день пути,— рассказывал кучер дилижанса Хэнк Монк, вскользя, но сочувственно упоминая об одном из пассажиров,— на третий день пути он стал без конца задавать вопросы и, не получая на них ответа, принялся жевать соломинки, таская их из подушек, а потом стал вроде как ругаться потихоньку. С этого дня я понял, что его дело — каюк, и прикрутил его к заднему сиденью, а, добравшись до Шайенна, сдал с рук на руки каким-то знакомым, а он рвался, и метался, и ругал на чем свет стоит Бена Холлидея, нашего почтенного хозяина». Предполагают, что злосчастный путешественник негодовал на покойного Бенджамина Холлидея, в то время владельца конторы дилижансов — а это было явным признаком помешательства, в чем не усомнится никто из знавших лично этого великодушного, шепетильного и утонченно-культурного калифорнийца, впоследствии породнившегося с иноземной знатью.

Мистер Ройэл Тэтчер был слишком опытным и закаленным в бедствиях путешественником, чтобы не покориться с ироническим терпением калифорнийскому спо-

собу выколачивания денег. Предполагалось, что эту дорогу избирают лишь те, кто едет из Калифорнии с какими-либо темными целями, и потому жертвам дорожных неудобств сочувствовали мало. Уравновешенный темперамент Тэтчера и его железная воля сослужили ему хорошую службу — помогли не унывая переносить дорожные невзгоды. Он ел что придется, спал где придется и не жаловался, его выносливость снискала даже похвалу кондуктора. Под выносливостью подразумевалась, кстати сказать, способность пассажира мириться с такими порядками. Правда, он не раз жалел, что не поехал пароходом, но потом вспомнил, что был одним из членов комитета бдительности, которые поклялись повесить этого превосходного человека, покойного командора Уильяма Г. Вандербильта, за жестокое обращение с палубными пассажирами. Я упоминаю об этом просто для того, чтобы показать, как такой опытный и практический путешественник, каким был Тэтчер, мог объяснять жадностью и грубостью то, что следовало приписать сложности управления крупной пароходной компанией: ему, как и другим калифорнийцам, было, по всей вероятности, неизвестно, что великий миллионер, по свидетельству его духовника, до конца жизни оставался невинен душой, как младенец.

Тем не менее Тэтчер находил время оказывать услуги своим спутникам и так очаровал Юбу Билла, что тот предложил ему занять место на козлах.

— Как же так,— озабоченно спросил Тэтчер,— ведь место на козлах было куплено другим джентльменом в Сакраменто? Он доплатил за это место, и его фамилия стоит у вас в списке пассажиров!

— Это меня мало трогает,— презрительно ответил Юба Билл,— хоть бы он заплатил за весь дилижанс. Послушайте, зачем я буду портить себе настроение и посажу рядом этого косоглазого? И еще какого! Фью-у-у! Да вот, будь ты неладен, на днях, когда мы пойли лошадей у Вебстера, он слез и прошел мимо пристяжной, вот этой самой пегой кобылки; она привычная и к индейцам, и к гризли, и к бизонам, а как только он взглянул на нее этим своим глазом, она сразу взвилась на дыбы, ей-богу; я уж было думал, что мне придется снять с нее шоры и приспособить их этому пассажиру.

— Но ведь он заплатил деньги и имеет право на свое место? — настаивал Тэтчер.

— Может быть, и имеет в конторе дилижансов, — проворчал Юба Билл, — а только пора бы, кажется, знать, что в дороге хозяин я!

Это было достаточно ясно большинству пассажиров.

— По-моему, он такой же полный хозяин на этой унылой равнине, как капитан корабля в открытом море, — объяснил Тэтчер кривоглазому незнакомцу. Мистер Уайлз — читатель, без сомнения, узнал его — выразил согласие тем глазом, который был обращен к публике, и мстительно посмотрел другим на Юбу Билла, в то время как Тэтчер, не подозревавший о присутствии своего злейшего врага, уговорил Билла восстановить мистера Уайлза в его правах. Уайлз поблагодарил его.

— Долго ли мы будем иметь удовольствие ехать в вашем обществе? — вкрадчиво спросил Уайлз.

— До самого Вашингтона, — ответил Тэтчер откровенно.

— Веселый город во время сессии, — снова намекнул незнакомец.

— Я еду по делам, — напрямик ответил Тэтчер.

Возле Соснового Брода произошло незначительное событие, отнюдь не увеличившее расположения Билла к незнакомцу. Когда Билл отпер ящик под козлами, святая святых, где хранились сокровища компании дилижансов Уэлса, Фарго и К<sup>о</sup>, мистер Уайлз заметил среди поклажи маленький чемодан из черного сафьяна.

— Ах, вот как, вы здесь возите и багаж? — сказал он любезным тоном.

— Не часто, — коротко ответил Юба Билл.

— Так, значит, в этом чемодане ценности?

— Он принадлежит тому пассажиру, на чьем месте вы сидите, — сказал Юба Билл, который, чтобы уязвить незнакомца, упорно утверждал, что тот занял чужое место. — Народ тут собрался разный, и если пассажир желает держать свой чемодан под замком, то это никого не касается. Кто, черт возьми, управляет этим экипажем, — продолжал Билл, разыгрывая припадок бешенства, — а? Может, вы сидите тут на козлах и воображаете себя хозяином? Может, вы думаете, что видите за милою вперед этим вашим глазом и у вас хватит сил

удержать лошадей на поворотах и там, где дорога идет под гору?

Но тут снова вмешался Тэтчер, вечный защитник угнетенных, и Юба Билл замолчал.

На четвертый день они попали в слепящую глаза снежную бурю при подъеме на пустынное плоскогорье, по которому им предстояло проехать следующие шестьсот миль. Лошади, с трудом пробившись через заносы, пришли к станции совершенно обессиленными, и будущее казалось сомнительным всем, кроме бывалых людей. Некоторые из пассажиров советовали пересест в сани и ехать дальше, другие — переждать на станции, пока не переменится погода. Один Юба Билл стоял за то, чтоб продолжать путешествие в дилижансе.

— Еще две мили, и мы будем на перевале, где ветер такой сильный, что может унести вас в окно; он сметет весь этот снег до последнего дюйма за перевал. Я уж выберусь как-нибудь из заносов на четырех колесах, а эти ваши ящики на полозьях вам не протащить через сугробы.

Билл, как и все калифорнийские кучера, презирал сани. Его горячо поддержал Тэтчер, который умел чутьем разбираться в характерах и пользоваться чужим опытом, что на худой конец может заменить личный опыт.

— Кто хочет остаться, пускай остается, — властно сказал Билл, разрубая гордиев узел одним взмахом, — кто хочет взять сани, пускай берет — вон они, в сарае. Кто хочет ехать со мной на перекладных — пускай едет.

Мистер Уайлз выбрал сани и кучера, некоторые остались до следующего дилижанса, а Тэтчер с двумя другими пассажирами решил ехать с Юбой Биллом.

Все эти перемены отняли немало драгоценного времени, а так как метель все бушевала, то дилижанс вкатили под навес, пассажиры грелись на станции перед огнем, и только после полуночи Юба Билл запряг перекладных.

— Желаю вам приятного пути, — сказал Уайлз, который выезжал из-под навеса как раз в ту минуту, когда Билл входил туда. Билл не удостоил его ответом и, обращаясь к кучеру, сказал кратко, словно отдавая распоряжение насчет тюка с товаром:

— Выгрузишь его в Роулингсе.— Потом презрительно обошел сани кругом и принялся запрягать своих перекладных.

Луна уже взошла высоко, когда Юба Билл снова взялся за вожжи. Ветер, который начал дуть, как только они выехали на ровное место, казалось, подтверждал теорию Билла, и на протяжении полумили дорога была подморожена и чисто выметена ветром. Далее снег лежал, протянувшись длинным языком через дорогу от большого валуна, и слой его достигал толщины в два-три фута. Билл сначала врезался в него, потом, искусно маневрируя, объехал стороной. Но когда это препятствие осталось позади, карета накренилась, и правое переднее колесо соскочило и исчезло во тьме. Билл осадил лошадей, но не успел он это сделать, как слетело заднее колесо, дилижанс сильно закачался и остановился.

Юба Билл, не теряя ни минуты, соскочил на дорогу с фонарем. Послышалась такая крепкая брань, что, как мне ни жаль, повторить ее невозможно, настолько она выходит за пределы дозволенного мне снисходительной публикой. Поэтому да будет мне позволено сообщить, что в несколько минут он успел очернить своих нанимателей, всю их родню по женской и мужской линии, каретника, смастерившего дилижанс, станционного смотрителя, дорогу, по которой он вез пассажиров, и самих пассажиров, не забывая время от времени вернуть крепкое словцо на счет своих родителей и самого себя. Более возвышенные выражения в том же духе взыскательный читатель может найти в третьей главе Книги Иова.

Пассажиры хорошо знали Билла и потому молчали и сидели терпеливо, не теряя надежды. Причина катастрофы была еще неизвестна. Наконец с козел послышался голос Тэтчера:

— Что там такое, Билл?

— Ни одной чеки во всем дилижансе, будь он проклят,— ответил тот.

Воцарилось мертвое молчание. Разъяренный Юба Билл неистово отплясывал на дороге воинственный танец.

— Кто это сделал? — спросил Тэтчер.

Юба Билл, не отвечая, вскочил на козлы, отпер ящик под ними и закричал:

— Тот, кто украл ваш чемодан,— Уайлз!

Тэтчер засмеялся.

— Не беспокойтесь, Билл. Там была чистая рубашка, два воротничка да кое-какие бумаги. Больше ничего.

Билл медленно слез с козел. Став на землю, он ухватил Тэтчера за рукав и отвел его в сторону.

— Так, значит, у вас в сумке не было ничего такого, с чем он собирался улизнуть?

— Нет, — смеясь, ответил Тэтчер.

— И этот Уайлз не из сыщиков?

— Насколько мне известно, нет.

Билл горестно вздохнул и пошел к карете, чтобы поставить ее на колеса.

— Не беда, Билл, — сочувственно сказал один из пассажиров, взглянув на членов комитета бдительности, уже формировавшегося вокруг него, — мы догоним этого Уайлза в Роулингсе.

— Да, как бы не догнать! — возразил Билл насмешливо. — Нам нужно еще вернуться на станцию, и не успеем мы выехать, как он будет уже в Клермонте, а мы отстанем на целый перегон. Как не догнать! Черт его догонит!

Очевидно, ничего не оставалось, как только вернуться на станцию и подождать, пока не починят дилижанс. Пока его чинили, Юба Билл снова отвел Тэтчера в сторону.

— Мне с самого начала не понравился этот косой, но все-таки я ничего такого не подозревал. Я думал, что правильно будет, если я приглажу за всеми вещами, в особенности за вашими. И вот, чтобы чего-нибудь не вышло и чтоб уравнивать шансы, я на всякий случай прихватил вот этот его чемодан из саней, когда он уезжал. Не знаю, годится ли он взамен вашего, но, думаю, он поможет вам найти Уайлза или ему вас. По-моему, это предусмотрительно и справедливо. — И с этими словами он поставил к ногам изумленного Тэтчера черный чемодан мистера Уайлза.

— Но послушайте, Билл! Я не могу его взять! — то-ропливо прервал его Тэтчер. — Вы не можете поклясться, что он украл мой чемодан, — и черт возьми! — это не годится, знаете ли. Я не имею права брать его вещи, даже...

— Придержите-ка своих лошадей,— сказал Билл сурово,— вы поручили ваши вещи мне. Я их не устерег, то есть этот косой их... Вот чемодан. Я не знаю, чей он. Берите его.

Смеясь и не зная, что ему делать, но все еще протестуя, Тэтчер взял чемодан.

— Можете открыть его в моем присутствии,— сурово предложил Юба Билл.

Тэтчер, улыбаясь, открыл чемодан. Он был полон бумаг и документов официального вида. Фамилия Тэтчера на одном из них привлекла его внимание — он развернул бумагу и наскоро пробежал ее. Улыбка его исчезла.

— Ну что ж,— заметил Юба Билл,— теперь можно сказать, что на обмене вы не прогадали.

Тэтчер все еще просматривал бумаги. Вдруг этот осторожный и решительный человек посмотрел в полное ожидания лицо Юбы Билла и невозмутимо произнес на вуйгарном жаргоне того времени и тех мест:

— Идет! По рукам!

### ГЛАВА XIII

#### КАК ОН ПРОСЛАВИЛСЯ

Юба Билл оказался прав, предположив, что Уайлз не станет терять времени в Роулингсе. Он выехал оттуда на быстроногом скакуне, когда Билл только возвращался на последнюю станцию с поломанным дилижансом, и на два часа опередил телеграмму, которая должна была задержать его. Избегая опасностей большой дороги и телеграфа, он свернул к югу на Денвер по военной дороге в обществе торговца-метиса и переправился через Миссури, прежде чем Тэтчер доехал до Джулсберга. Когда Тэтчер добрался до Омахи, Уайлз был уже в Сент-Луисе, а когда пульмановский вагон с героем рудника «Синяя пилюля» подъезжал к Чикаго, Уайлз уже разгуливал по улицам столицы. Тем не менее по дороге он нашел время, выразив при этом свое неудовольствие, утопить в водах Норт-Платта черный чемоданчик Тэтчера, в котором было несколько писем, несессер и запасная рубашка, подивиться, почему простачки не возят с собой важных до-



кументов и ценностей, и начать осторожные поиски потерянного саквояжа с его немаловажным содержанием.

Если бы не эти пустяки, он имел бы все основания радоваться своим успехам.

— Все идет отлично, — весело говорила миссис Гопкинсон, — пока вы с Гэшуилером пробовали пустить в ход свои «акции» и вели себя так, как будто можно подкупить весь мир, я успела сделать больше вас всех с этим почтенным, прямо трогательным Роскоммоном, который сам себе верит и сам себя обманывает. Я рассказала его печальную историю и вызвала слезы на глазах сенаторов и министров. Больше того, я ввела его в общество, нарядила во фрак — такое чучело, — а вы знаете, в лучшем обществе все утрированное принимают за чистую монету; я создала ему полный успех. Да вот, еще вчера вечером, когда здесь были сенатор Мисненси и судья Фитцдоудл, я заставила его рассказать всю историю, в которую он, по-моему, верит и сам, а потом спела: «К морю прибрел несчастный изгнанник Эрина», — и муж сказал мне, что это дало целую дюжину голосов.

— А что же ваша соперница, эта племянница Гарсии?

— Вы опять ошибаетесь — мужчины ничего не понимают в женщинах. Во-первых, она маленького роста, смуглая брюнетка, глаза у нее, как щелки, походка мужская, не умеет одеваться, не носит корсета — никакого стиля. Во-вторых, она не замужем, одинокая, и, хоть воображает, что она художница, и ведет себя, как богема, она не может бывать в обществе без компаньонки или без кого-нибудь, как вы этого не понимаете? Сущий вздор!

— Однако, — не сдавался Уайлз, — она имеет какое-то влияние: судья Мэсон и сенатор Пибоди только о ней и говорят, а Динвидди из Виргинии на днях показывал ей Капитолий.

Миссис Гопкинсон улыбнулась:

— Мэсон и Пибоди стремятся прослыть меценатами, а Динвидди хотел уколоть меня!

— Но ведь Тэтчер не дурак.

— А разве Тэтчер влюбчив? — неожиданно спросила миссис Гопкинсон.

— Едва ли, — ответил Уайлз. — Он делает вид, буд-

то по горло занят, и всецело посвятил себя этому руднику, но не думаю, чтобы даже вы...— Он замолчал, иронически улыбаясь.

— Ну вот, вы опять меня не понимаете, и, что еще хуже, вы ничего не понимаете в деле. Тэтчеру она нравится, потому что он не видел никого другого. Подождите, пока он придет в Вашингтон и получит возможность сравнивать.— Она бросила откровенный взгляд в зеркало, перед которым и оставил ее Уайлз, отвесив иронический поклон.

Мистер Гэшуйлер был не менее уверен в счастливом исходе дела в Конгрессе.

— До конца сессии осталось несколько дней. Мы устроим так, чтобы наше дело выслушали и решили в экстренном порядке, пока этот Тэтчер еще не знает, что предпринять.

— Если это можно сделать, пока он сюда не приехал,— сказал Уайлз,— то успех почти обеспечен. Он опаздывает на два дня, а можно было устроить и так, чтоб он задержался подольше.

Тут мистер Уайлз вздохнул: что, если бы несчастный случай с дилижансом произошел в горах и дилижанс скатился бы в пропасть? Сколько драгоценного времени было бы сэкономлено, и в успехе можно было бы тогда не сомневаться. Но убийство не входило в обязанности мистера Уайлза как ходатая по делам, по крайней мере он не был уверен, можно ли поставить его в счет.

— Нам нечего бояться, сэр,— заключил мистер Гэшуйлер,— дело теперь находится в руках верховного собрания нашей страны. Оно будет решено, сэр, беспристрастно и справедливо. Я уже набросал некоторые замечания.

— Между прочим,— перебил его весьма некстати Уайлз,— где этот ваш молодой человек, ваш личный секретарь Доббс?

Член Конгресса на мгновение смутился.

— Его здесь нет. И я должен сказать вам, что вы ошибаетесь, приписывая это звание Доббсу. Я никогда не поручал своих дел постороннему лицу.

— Но вы представили его мне как вашего секретаря?

— Просто почетное звание, которое ничего не значит. Правда, я, может быть, хотел доверить ему этот пост. Но

я обманулся в нем, сэр. Это, к сожалению, случается нередко, когда человек во мне одерживает верх над сенатором. Я ввел мистера Доббса в общество, а он употребил во зло мое доверие. Он наделал долгов, сэр. Его расточительность была беспредельна, честолюбие не знало границ — и все это, сэр, без гроша в кармане. Я ссужал ему время от времени некоторые суммы под обеспечение тех бумаг, которые вы так великодушно подарили Доббсу за его услугу. Но все это было растрчено. И что же, сэр? Такова человеческая неблагодарность — его семья недавно обратилась ко мне за помощью. Я понял, что тут необходима строгость, — и отказал. Ради его семьи я не хотел было ничего говорить, но я не досчитываюсь некоторых книг в своей библиотеке. На другой день после его ухода пропали два тома протоколов Патентного бюро и Синяя книга Конгресса, купленные мною в тот день на Пенсильвания-авеню, — да, пропали! Мне пришлось порядком похлопотать, чтоб эта история не попала в газеты!

Так как мистер Уайлз уже слышал эту историю от знакомых Гэшуилера с более или менее бесцеремонными комментариями относительно бережливости почтенного законодателя, он не мог не подумать, что хлопотать, вероятно, пришлось немало. Но он только устремил свой злобный глаз на Гэшуилера и сказал:

— Так он уехал, а?

— Да.

— И вы себе создали в нем врага? Плохо.

Мистер Гэшуилер постарался принять достойный и независимый вид, однако что-то в тоне гостя его встревожило.

— Я говорю: плохо, если так. Послушайте. Перед отъездом сюда я нашел в той гостинице, где он жил, сундук, задержанный хозяином за долги. В нем оказались ваши письма и составленные Доббсом записки, которым, по-моему, следует находиться у вас. Назвавшись другом Доббса, я выкупил сундук, заплатив по его счету, и захватил с собой самые ценные бумаги.

С каждым словом Уайлза лицо Гэшуилера апоплексически наливалось кровью, и наконец он пролепетал:

— Так, значит, сундук у вас и бумаги тоже?

— К несчастью, нет, это-то и плохо.

— Боже правый! Что же вы с ними сделали?

— Я потерял их где-то по дороге.

Мистер Гэшуилер на несколько минут лишился языка, и лицо его становилось то багровым от ярости, то мертвенно-бледным от страха. Потом он произнес хриплым голосом:

— Все эти бумаги подложные, черт бы их взял, все до одной!

— Ну, что вы! — сказал Уайлз, кротко глядя правым глазом и злорадно любясь на всю эту сцену левым. — Все ваши бумаги подлинные, и в них нет ничего особенного, но, к несчастью, в том же чемодане лежат мои собственные записи, которые я составил для моего клиента, и, вы сами понимаете, если их найдет человек ловкий, нам это может повредить.

Мошенники посмотрели друг на друга. Вообще говоря, взаимное уважение между ворами встречается весьма редко, по крайней мере между крупными, и более мелкий плут не устоял, подумав, что сделал бы он сам, будь он на месте другого плута.

— Послушайте, Уайлз, — сказал он, причем достоинство убывало в нем с каждой минутой, вытекая из каждой поры вместе с обильно струившимся потом, так что воротничок на нем обмяк, словно тряпка, — послушайте, нам (впервые употребленное множественное число было равносильно признанию), нам нужно вернуть эти бумаги.

— Разумеется, — хладнокровно ответил Уайлз, — если мы сможем и если Тэтчер о них не пронюхал.

— Как же он мог пронюхать?

— Он ехал со мной в дилижансе, когда я потерял их, и направлялся в Вашингтон.

Мистер Гэшуилер снова побледнел. В этой крайности он прибегнул к графину, совсем забыв об Уайлзе. Десять минут назад Уайлз не двинулся бы с места; теперь же он встал, выхватил графин из рук даровитого Гэшуилера, налил себе первому и снова сел.

— Да, послушайте-ка, мой милый, — начал Гэшуилер, быстро поменявшись ролями с более хладнокровным Уайлзом, — послушайте-ка, дорогой мой, — прибавил он, тыча жирным пальцем в Уайлза, — ведь все кончится, прежде чем он сюда приедет, разве вы этого не понимаете?

— Понимаю,— ответил мрачно Уайлз,— только эти рохли, так называемые порядочные люди, имеют свойство попадать всюду вовремя. Им нечего торопиться: дело их всегда подождет. Помните, как в тот самый день, когда миссис Гопкинсон и мы с вами убедили президента подписать привилегию, откуда ни возьмись является этот субъект, не то из Сан-Франциско, не то из Австралии: ехал он не торопясь и приехал через полчаса после того, как президент подписал привилегию и послал ее в министерство; нашел нужного человека, который представил его президенту, побеседовал с президентом, заставил его подписать приказ в отмену прежней подписи и в один час погубил все, что было сделано за шесть лет.

— Да, но Конгресс не отменяет своих решений,— сказал Гэшуидер, к которому вернулось бывшее достоинство,— по крайней мере во время сессии,— прибавил он, заметив, что Уайлз недоверчиво пожимает плечами.

— Посмотрим,— сказал Уайлз, спокойно берясь за шляпу.

— Посмотрим, сэр,— с достоинством ответил депутат города Римуса.

#### ГЛАВА XIV

В то время в числе сенаторов Соединенных Штатов был один известный и всеми уважаемый джентльмен, просвещенный, методический, добропорядочный и радикальный,— достойный представитель просвещенной, методической, добропорядочной и радикальной республики. В течение многих лет он выполнял свой долг сознательно и непреклонно, несколько недооценивая прочие добродетели, и в течение всего этого времени избиратели с той же непреклонностью переизбирали его каждый раз, относясь столь же скептически к прочим добродетелям. По натуре ему были чужды некоторые искушения, а по роду своей жизни он даже не подозревал о существовании других, и потому его репутация как общественного и политического деятеля оставалась незапятнанной. Чувство изящного удерживало его от личных нападков в политических дебатах, и всеобщее признание чистоты его побуждений и возвышенности его правил защищало сенатора от пасквильантов. Принципы его ни разу не были

оскорблены предложенной взяткой, и волнение чувств было ему почти незнакомо.

Обладая тонким вкусом в искусстве и литературе и обширными средствами, он собрал в своем роскошном доме коллекцию сокровищ, ценность которых повысилась еще более оттого, что он ими дорожил. Его библиотека отличалась не только изяществом убранства, что было не удивительно при таком богатстве и вкусе, но и некоторым изысканным беспорядком, указывавшим на то, что книгами часто пользуются, и легкой небрежностью, присущей мастерской художника. Все это быстро подметила девушка, стоявшая на пороге библиотеки в конце одного тусклого январского дня.

На карточке, которую принесли сенатору, стояло имя «Кармен де Гаро» и в правом верхнем углу микроскопическими буквами скромно упоминалось, что она «художница». Быть может, звучность имени и связанные с ним исторические воспоминания были во вкусе ученого сенатора, ибо, когда он попросил ее сообщить через слугу, по какому делу она пришла, и Кармен ответила прямо, что у нее личное дело, он распорядился, чтоб ее впустили. Затем, укрывшись за письменным столом позади целого бастиона книг, за гласисом из брошюр и бумаг, он принял вид человека, всецело поглощенного своим делом, и стал спокойно дожидаться незваной гостьи.

Она вошла и на минуту нерешительно остановилась в дверях, словно картина в рамке. Миссис Гопкинсон была права — у Кармен не было «стиля» (если только оригинальность и полуиностранное своеобразие нельзя назвать стилем). Заметны были старания превратить в испанскую мантилью американскую шаль, которая то и дело соскальзывала с плеча, — и эта порывистая грация движений сразу обличала все недочеты «корсетного воспитания». Черные локоны лежали на ее невысоком лбу так гладко, что сливались с котиковой шапочкой.

Один раз она забылась и в разговоре накинула шаль на голову, собрав ее складками у подбородка, но изумленный взгляд сенатора заставил ее опомниться. Однако он почувствовал облегчение и, встав с места, указал ей на кресло с приветливостью, какой не дождалась бы от него дама в парижском туалете. И когда она быстрыми шагами подошла ближе и подняла к нему открытое и на-

ивное, но решительное и полное энергии личико, женственное только в прелестных очертаниях рта и подбородка да в блеске глаз, он положил на место брошюру, которую взял только для вида, и ласково попросил ее рассказать о своем деле.

Кажется, я уже говорил о голосе Кармен, о его мягкости, музыкальности и выразительности? Мои прекрасные соотечественницы культивируют голос чаще для пения, чем для разговора, это большая ошибка с их стороны, ибо на практике наши беседы с прекрасным полом ведутся без оперных партитур. У нее было то преимущество, что она с детства говорила на музыкальном языке и принадлежала к нации, почти незнакомой с катарам горла. И в первых же коротких певучих фразах, покоривших сенатора, Кармен рассказала ему о своем деле, а именно о «желании посмотреть его редкие гравюры».

Гравюры, о которых идет речь, были подлинными работами первых великих мастеров этого искусства, и мне приятно верить в их необычайную редкость. С моей точки зрения профана, они были невероятно плохи — только начатки того, что впоследствии было доведено до совершенства, — тем не менее они были дороги сердцу истинного коллекционера. Не думаю, чтобы и Кармен искренне восхищалась ими. Но плутовка знала, что сенатор гордится единственными в мире каракулями великого А. или первыми опытами В. — представляю знатокам представить на место букв настоящие имена, — и сенатор оживился. Ибо две или три из этих ужасных гравюр целый год висели в его кабинете, совершенно не замеченные посетителями. А тут явилась ценительница искусства! Она только бедная художница, прибавила Кармен, она не в состоянии купить такое сокровище, но не может противиться искушению, хотя и рискует показаться навязчивой и нарушить покой великого человека и т. д. и т. д.

Нетрудно было бы обнаружить подделку, будь эта лесьта облачена в привычные формы, но, произнесенная с иностранным акцентом и с южной горячностью, она была принята сенатором за чистую монету. Дети солнца так экспансивны! Мы, разумеется, чувствуем некоторое сожаление к тем, кто нарушает наши каноны хорошего вкуса и приличий, но южане всегда искренни. Холодный уроженец Новой Англии не заметил никакой фальши в

двух-трех преувеличенных комплиментах, которые значительно сократили бы аудиенцию, будь они выражены рубленой металлической прозой, свойственной стране, представителем которой он являлся.

И через несколько минут черная головка маленькой художницы и развевающиеся седые кудри сенатора уже склонились вместе над папкой с гравюрами. Тут-то Кармен, внимая описанию раннего расцвета искусства Нидерландов, забылась и накинула шаль на голову, придерживая складки маленькой смуглой рукой. И в течение следующих двух часов их заставляли за этим занятием пять членов Конгресса, три сенатора, министр и член Верховного суда, каждый из которых был вежливо, но быстро спроважен. Общественное негодование, однако, прорвалось только в холле.

— Ну, знаете ли, это мне нравится, черт возьми! (Говорящий был один из провинциальных представителей.)

— Вего-то годы смотреть картинки с девушкой, которая годится ему во внуки! (Почтенный чиновник, с тех пор заподозренный в разного рода эротических грешках.)

— Ничего в ней нет хорошего! (Достопочтенный представитель Дакоты.)

— Так вот почему он молчал всю эту сессию! (Проинициальный коллега, из одного штата с сенатором.)

— О черт возьми! (Все вместе.)

Четверо ушли домой и рассказали все это своим женам. В супружеских отношениях нет ничего трогательнее той великолепной откровенности, с которой муж и жена доверяют друг другу прегрешения своих знакомых. На этом священном доверии непоколебимо зиждутся твердые основы брака.

Разумеется, жертвы злословия, по крайней мере одна из них, ничего не подозревали.

— Надеюсь,— робко сказала Кармен, когда они в четвертый раз с восхищением рассматривали отвратительную гравюру какого-то голландского «мастера»,— надеюсь, я не отнимаю вас у ваших знаменитых друзей?— Ее прелестные ресницы опустились в трепетном огорчении.— Я никогда не простила бы себе этого. Может быть, у них важное государственное дело?

— О нет, что вы! Они придут и еще, они в этом заинтересованы.



Сенатор хотел сказать любезность. Ни один высокообразованный бостонец никогда не отважится на что-нибудь более похожее на комплимент, и Кармен с чисто женским чутьем уловила нужную нотку.

— А мне больше нельзя будет вас видеть?

— Я всегда буду рад предоставить свои папки в ваше распоряжение. Вам стоит только сказать слово,— ответил сенатор с достоинством.

— Вы так любезны, так добры,— сказала Кармен,— а я,— ведь я только бедная девушка из Калифорнии, и вы меня не знаете.

— Простите, я хорошо знаю ваш край.— И в самом деле, он мог бы сказать ей точно, сколько бушелей пшеницы на акр производит ее родной Монтерейский округ, сколько там избирателей, каковы там политические течения. Однако о самом важном из продуктов страны он не знал ровно ничего, как и все кабинетные люди.

Кармен была удивлена, но из почтения к сенатору молчала. Оказалось, что она не имеет понятия о быстром распространении шелковичного червя в ее родном округе, не знает ничего о китайском вопросе и очень мало — об американских законах, касающихся горной промышленности. По всем этим вопросам сенатор дал ей исчерпывающие разъяснения.

— Кстати говоря, вы носите историческую фамилию,— заметил он любезно,— был такой кавалер Алькантар, по фамилии де Гаро, он приехал вместе с Лас-Касасом.

Кармен быстро закивала головой.

— Да, это мой прапрапрадедушка!

Сенатор в изумлении взглянул на нее.

— Да, да. Я племянница Виктора Кастро, который женился на сестре моего отца.

— Виктора Кастро с рудника «Синяя пилуля»? — отрывисто спросил сенатор.

— Да,— спокойно ответила Кармен.

Если бы сенатор принадлежал к тому же типу людей, что и Гэшуилер, он выразил бы свои чувства протяжным свистом, по обычной мужской манере. Но его изумление и сразу проснувшаяся подозрительность отразились только на температуре приема, понизившейся так

заметно, что бедная Кармен в недоумении взглянула на него и плотнее закутала в шаль озябшие плечи.

— У меня есть еще одна просьба,— сказала Кармен, опустив голову,— очень большая просьба.

Сенатор опять отступил за книжные бастионы и, видимо, готовился отразить атаку.

Теперь он все понял. Его неизвестно каким образом ввели в заблуждение. Он дал аудиенцию племяннице одного из истцов, обратившихся в Конгресс. Коса нашла на камень. Мало ли что вздумает попросить у него эта женщина? Он был неумолим — тем более, что уже расположился в ее пользу,— и самым искренним образом. Он сердился на Кармен за то, что она ему понравилась. Под ледяной вежливостью его манер таилась пуританская черствость, порожденная суровым воспитанием. Он еще не вполне освободился от жизнерадостного учения своих предков, что Природу следует обуздывать. По-видимому, не замечая в нем перемены, Кармен продолжала говорить с такой свободой движений и манер, которую трудно передать одними словами.

— Вы знаете, что я испанка родом и что на моей новой родине «Бог и Свобода» было нашим девизом. О вас, сэр, великом освободителе, об апостоле свободы, другие униженных и угнетенных, я впервые услышала в детстве. Я читала о вас в истории этой великой страны, я учила наизусть ваши речи. Я жаждала услышать, как вы с трибуны говорите о заветах моих предков. Мать божья! Что мне сказать? Услышать ваше блестящее выступление в...— как это называется...— в дебатах,— вот чего я так долго ждала. Ах, простите, я, верно, показалась вам глупой, невоспитанной, неразумным ребенком, да?

Речь ее становилась все более и более сбивчивой, и наконец она сказала неожиданно:

— Я вас оскорбила? Вы на меня сердитесь, как на дерзкого, непослушного ребенка? Да?

Сенатор, по-видимому, совсем растроганный и размякший за своими укреплениями, собрался с силами и произнес сначала:

— О, нет! — потом: — Что вы? — и наконец: — Благодарю вас!

— Я здесь ненадолго. Я возвращаюсь в Калифорнию на днях, может быть, завтра. Неужели я никогда, нико-

гда не услышу, как вы говорите с трибуны в Капитолии этой великой страны?

Сенатор поспешил сказать, что он опасается, то есть он убежден, что долг требует от него работы в комиссиях, а не речей и т. д.

— Ах,— сказала Кармен с грустью,— значит, правда то, что я слышала. Правда то, что мне говорили, будто бы вы покинули великую партию и ваш голос уже не раздается больше с трибуны?

— Если кто-нибудь говорил это вам, мисс де Гаро,— резким тоном ответил сенатор,— он говорил это по неразумению — вам дали неверные сведения. Могу ли я спросить, кто именно?

— Ах!— сказала Кармен.— Я, право, не знаю! Это носится в воздухе. Ведь у меня здесь нет знакомых. Может быть, меня и обманули. Но все так говорят. Я спрашиваю всех: когда же я его услышу? День за днем я хожу в Капитолий, смотрю на него, на великого освободителя, а там говорят о делах, да? О чьих-нибудь правах, о налогах, о пошлине, о почте, а о правах человека — никогда, никогда! Я спрашиваю: почему же это? А мне говорят с сожалением: он больше не выступает. Он — как это говорится? — «выдохся», так, кажется, «выдохся». Я не знаю, может быть, так говорится в Бостоне? Мне сказали — ах, я плохо говорю на вашем языке,— будто бы он «подвел» нашу партию, да, «подвел»... Ведь так говорят в Бостоне?

— Позвольте мне сказать, мисс де Гаро,— возразил сенатор, вставая в раздражении,— что вы не совсем удачно выбираете ваши знакомства, а также и ваши э... выражения. Выражения, упомянутые вами, мне кажется, не приняты в Бостоне, а скорее в Калифорнии.

Кармен де Гаро сокрушенно закуталась в шаль, из-под которой блестели только черные глаза.

— Никто не имеет права,— он снова сел и продолжал более мягким тоном,— судить по моему прошлому о том, что я собираюсь делать, или диктовать мне, каким образом я должен служить своим принципам или партии, которую представляю. Это мое право и мой долг. Тем не менее, если бы представился случай или возможность... ведь через день или два закрывается сессия...

— Да,— грустно прервала его Кармен.— Я понимаю,

будет слушаться какое-нибудь дело, какая-нибудь заявка, ах! Матерь божья! Вы не будете говорить, и я...

— Когда вы думаете уехать,— спросил сенатор с торжественной учтивостью,— когда мы вас потеряем?

— Я остаюсь до конца... до конца сессии,— ответила Кармен.— А теперь мне пора.— Она встала, капризно кутая плечи в шаль, милым и лукавым движением, быть может, самым женственным из всех ее движений за этот вечер. И, быть может, самым искренним.

Сенатор любезно улыбнулся.

— Во всяком случае, вы не должны разочаровываться; однако сейчас гораздо позднее, чем вы думаете, позвольте отправить вас в моем экипаже, он у подъезда.

Он торжественно проводил ее до кареты. Когда карета тронулась, Кармен, зарывшись в большие подушки, засмеялась тихонько, быть может, немного истерически. Доехав до дому, она заметила, что плачет, и торопливо и сердито смахнула слезы перед дверями дома, где остановилась.

— Ну, как ваши дела? — спросил мистер Гарлоу, поверенный Тэтчера, галантно высаживая ее из кареты.— Я уже два часа дожидаясь вас: ваша беседа затянулась, это добрый знак.

— Не спрашивайте меня сейчас,— сказала Кармен довольно сурово,— я совсем выбилась из сил.

Мистер Гарлоу поклонился.

— Надеюсь, завтра вам будет лучше — мы ждем нашего друга, мистера Тэтчера.

Смуглые щеки Кармен слегка порозовели.

— Он должен был бы приехать раньше. Где он? Что он делал?

— Он попал в снежные заносы в прериях. Теперь он спешит, насколько возможно, и все-таки может опоздать.

Кармен не ответила.

Адвокат медлил.

— Как вам понравился великий сенатор Новой Англии? — спросил он со свойственным его профессии легкомыслием.

Кармен устала, Кармен была измучена, Кармен, упрекала самое себя, и ее нетрудно было рассердить. Поэтому она сказала ледяным тоном:

— Я нашла, что он настоящий джентльмен!

## КАК ДЕЛО ПОЛОЖИЛИ ПОД СУКНО

Закрытие LХІХ Конгресса ничем не отличалось от закрытия нескольких предшествующих Конгрессов. Оно сопровождалось все той же неделовой, ни к чему не ведущей спешкой, все тем же несправедливым и неудовлетворительным разрешением незаконченных, плохо продуманных дел, чего суверенный народ никогда не потерпел бы в своих частных делах. Требования мошенников спешно удовлетворялись; справедливые законные требования откладывались под сукно; неоплаченные долги оплачивались позорно скудными суммами, некоторые заключительные сцены были таковы, что только чувство американского юмора спасло их от совершенной гнусности. Актеры, то есть сами законодатели, знали об этом и смеялись; комментаторы, то есть печать, знали об этом и смеялись; зрители, то есть великий американский народ, знали об этом и смеялись. И никому ни на минуту не приходило в голову, что все это могло бы быть иначе.

Претензия Роскоммона попала в число незаконченных дел. И сам истец, угрюмый, встревоженный, назойливый и упрямый, тоже попал в число незаконченных дел. Член Конгресса от Фресно, выступавший уже не с пистолетом, а с обвинительной речью против истца, тоже был в числе незаконченных дел. Даровитый Гэшуилер, который в душе беспокоился из-за некоторых незаконченных дел, точнее говоря, из-за пропавших писем, но источал мед и елей, вращаясь среди своих собратьев, был королем беспорядка и министром незаконченных дел. Хорошенькая миссис Голкинсон, осторожности ради сопровождаемая мужем, а также весьма неосторожными взглядами влюбленных членов Конгресса, своим присутствием придавала очарование как законченным, так и незаконченным делам. Один-два редактора, которые мечтали успешно закончить финансовый год, пользуясь незаконченными делами, также были там и наподобие древних бардов готовились воспеть в гимнах и элегиях завершение незаконченных дел. Множество стервятников, почуяв запах падали, исходивший от незаконченных дел, кружилось в залах и в кулуарах.

Нижняя палата под руководством даровитого Гэшуйлера испила от чаши с дурманом, содержавшей так называемую претензию Роскоммона, и передала наполовину опорожненную чашу Сенату, под видом незаконченного дела. Но увы! В грозе и буре, в самом разгаре окончания дел восстало неожиданное препятствие — в лице великого сенатора, чьему могуществу никто не был в состоянии противиться и чье право высказываться свободно и в любое время никто оспаривать не мог. Дело о курах, насильственно захваченных армией генерала Шермана при переходе через Джорджию из курятника одного лояльного ирландца, превратилось в конституционный вопрос, а вместе с этим разверзло уста великого сенатора.

В течение семи часов он говорил красноречиво, торжественно, убедительно. В течение семи часов старые партийные и политические разногласия рассматривались им со всех сторон и разрешались с тем пафосом, которым некогда прославился сенатор. Вмешательство других сенаторов, позабывших о незаконченных делах и вновь кипевших политическим задором; вмешательство тех сенаторов, которые помнили о незаконченных делах, но не могли передать по назначению чашу Роскоммона, — все это только подливало масла в огонь. Набатный колокол, прозвучавший среди сенаторов, был услышан и в нижней палате: возбужденные члены Конгресса столпились в дверях Сената, предоставив незаконченные дела воле судеб.

В течение семи часов незаконченные дела скрежетали фальшивыми зубами и в бессильной ярости рвали на себе парики в кулуарах и залах. В течение семи часов даровитый Гэшуйлер продолжал источать мед и елей, которые, однако, уже показались Конгрессу довольно пресными; в течение семи часов Роскоммон и его приятели в кулуарах топали ногами на почтенного сенатора и угрожали ему довольно грязными кулаками. В течение семи часов двум-трем редакторам пришлось сидеть и невозмутимо уснащать восторженными комментариями великую речь, в тот вечер облетевшую по проводам весь американский материк. И, что всего хуже, им пришлось тут же отметить, что закрытие LХІХ Конгресса сопровождается большим, чем обычно, количеством нерешенных дел.

Небольшая группа друзей окружила великого сенатора с комплиментами и поздравлениями. Старые враги учтиво кланялись ему, проходя мимо, с уважением сильного к сильному. Маленькая девушка робко подошла к нему, кутая плечи в шаль и придерживая складки своей смуглой ручкой.

— Я плохо говорю по-английски,—сказала она мягко,—но я много читала. Я читала вашего Шекспира. Мне хотелось бы напомнить вам слова Розалинды, обращенные к Орlando после схватки: «Боролись славно вы и победили не одного врага».—И с этими словами она удалилась.

Однако не настолько быстро, чтобы ее не успела заметить хорошенькая миссис Гопкинсон, которая, как победительница к победителю, подходила к сенатору поблагодарить его, несмотря на то, что лица ее спутников заметно омрачились.

— Вот она!—сказала миссис Гопкинсон, коварно ущипнув Уайлза.—Вот та женщина, которой вы боялись. Посмотрите на нее. Взгляните на это платье! О боже, взгляните на эту шаль. Ну, не говорила ли я вам, что у нее нет стиля?

— Кто она такая? — угрюмо спросил Уайлз.

— Кармен де Гаро, разумеется,—живо ответила миссис Гопкинсон.—Куда же вы меня тянете? Вы мне чуть руку не оторвали!

Мистер Уайлз только что увидел среди толпы, заполнившей всю лестницу, измученное после дороги лицо Ройэла Тэтчера. Тэтчер казался бледным и рассеянным; мистер Гарлоу, его поверенный, стоял рядом и ободрял его.

— Никто не подумал бы, что вы вновь получили передышку и величайшее мошенничество кончилось крахом. Что с вами такое? Мисс де Гаро только что прошла мимо нас. Это она разговаривала с сенатором. Почему вы ей не поклонились?

— Я задумался,—угрюмо ответил Тэтчер.

— Ну, вас нелегко расшевелить! И вы не слишком стремитесь изъяснить благодарность женщине, которая спасла вас сегодня. Ведь это она заставила сенатора произнести речь, можете быть уверены.

Тэтчер, не отвечая, отошел от него. Он заметил Кар-

мен де Гаро и хотел было поклониться ей со смешанным чувством радости и смущения. Но он услышал ее комплимент сенатору, и теперь этот сильный, самоуверенный, деловой человек, который десять дней назад не думал ни о чем, кроме своего рудника, думал больше о комплименте, сказанном ею другому, чем о своем успехе,— и начал ненавидеть сенатора, который его спас, адвоката, стоявшего рядом, и даже маленькую девушку, которая спускалась по лестнице, не замечая его.

## ГЛАВА XVI И КТО ЗАБЫЛ ЕГО

Смущение и обида Ройэла Тэтчера плохо вязались с тем обстоятельством, что, выйдя из Капитолия, он тут же нанял карету и поехал к мисс де Гаро. Не застав ее дома, он опять помрачнел и обиделся и даже устыдился искреннего побуждения, которое привело его сюда,— и это было, я полагаю, вполне естественно для мужчины. Он, со своей стороны, сделал все, что требовали приличия,— в ответ на ее депешу он немедленно приехал сам. Если ей угодно отсутствовать в такую минуту, то он по крайней мере выполнил свой долг. Короче говоря, не было такой нелепости, которой не вообразил бы себе этот деловой когда-то человек; он не мог не сознавать, однако, что не в силах справиться со своими чувствами, но это не улучшило его настроения, а скорее заставило свалить свою вину на кого-то другого. Если бы мисс де Гаро сидела дома, и т. д., и т. д., а не восторгалась какими-то там речами, и т. д., и т. д., и занималась бы своим делом, то есть вела бы себя именно так, как он предполагал, ничего этого не случилось бы.

Я знаю, что все это не вызовет в читателе уважения к моему герою, но мне кажется, что неприметное развитие истинной страсти в сердце зрелого человека идет быстрее, чем у какого-нибудь молодого эгоиста. Эти хилые юнцы не имеют и понятия о той лихорадке, какая свирепствует в крови взрослого мужчины. Возможно, что прививка предохраняет от болезни. Лотарио всегда владеет собой, говорит и делает именно то, что нужно, а бедняга Целебс смешон со своим искренним чувством.



Он отправился к своему поверенному, настроенный довольно мрачно. Апартаменты, занимаемые мистером Гарлоу, находились в нижнем этаже особняка, принадлежавшего некогда государственному мужу с историческим именем, который был, однако, забыт всеми, кроме хозяина дома и последнего жильца. Вдоль стен там тянулись полки, разделенные на ячейки, иронически называемые «голубиными гнездами», в которых никогда не сидел голубь мира, и их ярлычки до сих пор хранили память о раздорах и тяжбах врагов, давно уже обратившихся в прах. Там висел портрет, изображавший, по-видимому, херувима, но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что это знаменитый английский лорд-канцлер в пышном парике. Там были книги с сухими, неинтересными заглавиями—произведения каких-то себялюбцев, излагавших личную точку зрения Смита на такой-то предмет или комментарии Джонса по такому-то поводу. На стене там висела афиша, вызывавшая легкомысленные представления о цирке или о поездке на пароходе,— на самом деле объявление о распродаже чьего-то имущества. Там были странного вида свертки в газетной бумаге, таинственно прятавшиеся по темным углам,—не то забытые юридические документы, не то белье знаменитого юриста, которое следовало отдать в стирку еще на прошлой неделе. Там были две-три газеты, в которых скучающий клиент надеялся было найти развлечение, но в них неизменно оказывались отчеты о заседаниях и постановлениях Верховного суда. Там стоял бюст покойного светила юриспруденции, не обметавшийся с тех пор, как само это светило обратилось в прах, и над его сурово сжатым ртом выросли уже порядочные пыльные усы. При свете дня это было далеко не радостное место; ночью же, когда, судя по реликвиям пыльного прошлого, оно было предоставлено мстительным призракам, чьи надежды и страсти были занесены в протокол и собраны здесь, когда во тьме протягивались из пыльных могил мертвые руки давно забытых людей и рылись среди пожелтевших документов, ночью, когда комнаты освещались резким светом газа, бездушная ирония этого расточительства попусту была настолько явной, что прохожим, заглядывавшим в освещенные окна, казалось, будто тишина фамильного склепа нарушена похитителями трупов.

Ройэл Тэтчер обвел комнату усталым и равнодушным взглядом, подумал, что она наводит на невеселые размышления, и сел на круглый табурет адвоката как раз в ту минуту, когда тот выходил из соседней комнаты.

— Ну, вы, я вижу, не теряли времени,— весело сказал Гарлоу.

— Да,— ответил его клиент, не глядя и в отличие от всех прежних клиентов интересуясь делом гораздо меньше самого адвоката.— Да, я здесь, и, честное слово, не знаю, зачем я сюда приехал.

— Вы говорили, что нашли какие-то бумаги,— сказал адвокат.

— Ах, да,— ответил Тэтчер с легким зевком.— У меня с собой есть какие-то бумаги.— И он нехотя начал шарить по карманам.— А кстати сказать, это ужасно унылая, богом забытая квартира. Поедем лучше к Велкеру, и там вы просмотрите их за стаканом шампанского.

— После того, как я просмотрю их, я и сам кое-что вам покажу,— сказал Гарлоу,— а шампанского мы выпьем после в соседней комнате. Сейчас мне требуется ясная голова, да и вам тоже, если вы соблаговолите проявить хоть сколько-нибудь интереса к собственным делам и поговорить со мной о них.

Тэтчер рассеянно смотрел в огонь. Он вздрогнул.

— Я не очень-то интересный собеседник,— начал он,— может быть, дела отнимают у меня слишком много времени.

Он остановился, достал из кармана конверт и бросил его на стол.

— Вот кое-какие бумаги. Я не знаю, насколько они ценны, это вам решать. Я не знаю, имею ли я на них право, и это тоже должны решить вы. Они попали ко мне довольно странным образом. В дилижансе я потерял мой чемодан с бельем и бумагами, «представляющими ценность только для их владельца», как говорится в объявлениях. Ну так вот, чемодан был потерян, но кучер дилижанса утверждает, что его украл один из пассажиров, по фамилии Джайлз, или Стайлз, или Байлз...

— Уайлз,— подсказал Гарлоу без улыбки.

— Да,— продолжал Тэтчер, подавляя зевок,— да, вы, кажется, правы,— Уайлз. Так вот, кучер, уверившись



«ИСТОРИЯ ОДНОГО РУДНИКА»



«ИСТОРИЯ ОДНОГО РУДНИКА»

в этом, взял и преспокойно украл... послушайте, найдется у вас сигара?

— Я вам принесу.

Гарлоу скрылся в соседней комнате. Тэтчер подтащил к огню тяжелое кресло Гарлоу, которое никогда не сдвигалось раньше со своего священного места, и начал рассеянно мешать угли в камине.

Гарлоу вернулся с сигарами и спичками. Тэтчер машинально закурил сигару и сказал, пуская клубы дыма:

— Вы... когда-нибудь... разговариваете сами с собой?

— Нет. А что?

— Мне показалось, что я слышал ваш голос в соседней комнате. Во всяком случае, здесь должны быть привидения. Если б я пробыл один с полчаса, мне представилось бы, что лорд-канцлер в своей мантии выходит из рамы, чтоб составить мне компанию.

— Какие пустяки! Когда я занят, я сижу и пишу здесь за полночь. Здесь так тихо!

— До черта тихо!

— Ну, так вернемся к бумагам. Кто-то украл ваш чемодан, или вы потеряли его. Вы же украли...

— Не я, а кучер, — возразил Тэтчер настолько вяло, что это едва ли можно было назвать возражением.

— Ну, скажем, украл кучер и передал вам как сообщнику, союзнику или держателю краденого, некоторые бумаги, принадлежащие...

— Послушайте, Гарлоу, я вовсе не расположен шутить в этом мрачном кабинете после полуночи. Вот вам факты. Кучер Юба Билл украл чемодан у этого пассажира, Уайлза, или Смайлза, и передал мне в виде компенсации за потерю моего собственного. Я нашел в нем бумаги, имеющие отношение к моему делу. Вот они. Делайте с ними, что хотите.

Тэтчер рассеянно перевел глаза на огонь. Гарлоу взял первую бумагу.

— А-а, это, как видно, телеграмма. Да? «Приезжайте немедленно в Вашингтон, Кармен де Гаро».

Тэтчер вскочил, покраснел, как девушка, и торопливо схватил депешу.

— Пустяки. Это ошибка. Я нечаянно положил ее в конверт.

— Понимаю, — сухо сказал адвокат.

— Я думал, что разорвал ее,— продолжал Тэтчер после неловкого молчания.

К сожалению, этот обычно правдивый человек солгал в данном случае. Он сорок раз на дню читал эту телеграмму во время путешествия, и бумага истерлась на сгибах. Зоркий глаз Гарлоу подметил это, и он немедленно занялся документами. Тэтчер погрузился в созерцание огня.

— Ну,— сказал наконец Гарлоу, поворачиваясь к своему клиенту,— этого довольно, чтобы выбросить Гэшуилера из Конгресса или заткнуть ему рот. Что касается остального, то это—занимательное чтение, но юридической силы не имеет, незачем и говорить. Однако они больше ничего не посмеют предпринять, зная, что мы располагаем такими доказательствами, особенно если мы опубликуем эту запись. Во взятках не так легко уличить виновного — единственным свидетелем, естественно, является *particeps criminis*<sup>1</sup>, но записям этого мошенника не легко будет дать приличное объяснение. Кое-чего я не понимаю: что значит фраза против фамилии distinguished X — «принял лекарство без оговорки и чувствует себя лучше»? И здесь, и на полях, после фамилии Y: «Следует наставить на истинный путь»?

— Кажется, наш калифорнийский жаргон многое занимает у врачей и духовных лиц,— заметил Тэтчер.— Но зачем так добросовестно записывать каждое свое мошенничество?

Гарлоу, несколько смущенный своим незнанием американских метафор, теперь почувствовал себя в своей сфере.

— Нет, что ж, тут нет ничего необыкновенного. В одной из этих книг приводится случай, когда человек, совершивший целый ряд злодеяний, в течение многих лет подробно записывал их в свой дневник. Его предъявили суду. Половина всех наших дел, мой милый, возникает оттого, что люди имеют привычку хранить письма и документы, которые они могли — я не говорю, должны были (это вопрос чувства или этики), но могли уничтожить.

Тэтчер машинально взял телеграмму бедняжки Кармен и бросил ее в огонь. Гарлоу, заметив это, улыбнулся.

---

<sup>1</sup> Соучастник преступления (лат.).

— Думаю, однако, что в чемодане, который вы потеряли, не было ничего такого, о чем вам стоило бы тревожиться? Только дураки или плуты возят с собой бумаги, которые могут послужить уликами против них. У меня был приятель,— продолжал Гарлоу,— человек довольно умный, который, однако, имел глупость завести серьезную связь с женщиной. Он был воплощенное благородство и в начале переписки предложил возвращать друг другу письма вместе с ответами. Так они делали в течение многих лет, а в конце концов это обошлось ему в десять тысяч долларов, не говоря уже о неприятностях.

— Почему же?— наивно спросил Тэтчер.

— Потому что он оказался самовлюбленным ослом и берег в качестве трогательного сувенира письмо с этим предложением, которое она честно вернула. Разумеется, письмо в конце концов нашли среди его бумаг.

— Спокойной ночи,— сказал Тэтчер, неожиданно вставая.— Если я пробуду здесь еще немного, я и родной матери перестану верить.

— Мне встречались такие семейные черточки,— смеясь, сказал Гарлоу.— Подождите, перед уходом вы должны выпить шампанского.

Он повел Тэтчера в соседнюю комнату, которая оказалась только прихожей, и на пороге третьей комнаты Тэтчер остановился в изумлении. Это была богато обставленная библиотека.

— Сибарит! Почему я здесь никогда раньше не был?

— Потому что вы приходили как клиент, а сегодня вы мой гость. Тот, кто входит сюда, оставляет свое дело в передней, вместе со шляпой. Посмотрите! На этих полках нет ни одной юридической книги, этот стол никогда не безобразили деловые бумаги или пергаменты. Вы удивлены? Что ж, такова была моя прихоть — поместить и квартиру и контору под одной крышей, но совершенно отдельно, чтобы одно не мешало другому. Вы знаете, верхние этажи сдаются жильцам. Я живу в первом этаже с матерью и сестрой, а это моя приемная. Я работаю в той угрюмой комнате, что выходит окнами на улицу, а здесь я отдыхаю. Человеку нужно иметь в жизни что-нибудь, кроме работы. Я нахожу, что гораздо безобиднее и дешевле развлекаться вот здесь.

Тэтчер угрюмо опустился в кресло. Он глубоко задумался, он тоже любил книги и, как все люди, которым приходится вести нелегкую скитальческую жизнь, знал цену утонченному отдыху; как все люди, которым приходится спать под открытым небом, закутавшись в одеяло, он мог оценить по достоинству роскошь полотняных простынь и расписных потолков. Кстати сказать, одни только немощные городские клерки да страдающие несварением желудка священники воображают, будто бы настоящая жизнь — в дурном хлебе, пережаренных бифштексах и грубых одеялах горных пикников. Известно, что настоящие жители гор или те джентльмены, которым пришлось по-настоящему «опроститься», обычно не пишут книг о прелестях первобытной жизни и не умоляют своих собратьев разделить с ними уединение и связанные с ним неудобства.

Оценив по достоинству комфорт и изящество библиотеки Гарлоу, несколько завидуя хозяину и смутно сознавая, что его собственная суровая жизнь в последние годы могла бы быть иной, Тэтчер вдруг вскочил с кресла и подошел к мольберту, на котором стояла картина. Это был первый этюд Кармен де Гаро, изображавший горн и рудник.

— Я вижу, вы заинтересовались этой картиной, — сказал Гарлоу, останавливаясь с бутылкой шампанского в руках, — это показывает, что у вас хороший вкус. Многие от нее в восторге. Заметьте эту великолепную игру света на лице спящего, которая в силу контраста подчеркивает его мертвое спокойствие. Как сильно написаны эти скалы! Есть что-то таинственное в этих тенях. Вы знаете художницу?

Тэтчер пробормотал:

— Мисс де Гаро, — с новым волнением произнес это имя.

— Да. И вы, разумеется, знаете историю картины?

Тэтчер, кажется, не знал, нет, он, право, не мог припомнить.

— Эта лежащая фигура изображает ее прежнего возлюбленного, испанца, которого, как она думает, убили здесь. Мрачная фантазия, не правда ли?

Тэтчеру не понравились две вещи: во-первых, слово «возлюбленный», сказанное другим мужчиной о Кончо,



во-вторых, то, что картина принадлежала Гарлоу; в самом деле, какого черта Кармен...

— Да,— вырвалось у него наконец,— но откуда она у вас?

— О, я купил ее у художницы. Я в некотором роде покровительствую ей, с тех пор как выяснилось ее отношение к нам. Она совсем одна здесь, в Вашингтоне, и поэтому моя мать и сестра приняли в ней участие и вывозят ее в свет.

— Давно? — спросил Тэтчер.

— Нет, недавно. В тот день, когда мисс де Гаро послала вам телеграмму, она пришла сюда узнать, чем она может помочь нам, и как только я сказал, что остается одно — не подпускать Конгресс к этому делу, она пошла к сенатору. Ведь это она, и только она, заставила сенатора произнести речь. Однако,— добавил он лукаво,— вы, кажется, очень мало ее знаете?

— Нет, я... то есть я был очень занят последнее время,— ответил Тэтчер, не спуская глаз с картины,— она часто здесь бывает?

— Да, последнее время очень часто. Она заходила сегодня к моей матери; кажется, она была еще здесь, когда вы пришли.

Тэтчер пристально посмотрел на Гарлоу. Но лицо этого джентльмена вовсе не выражало смущения. Тэтчер не совсем ловко налил себе второй стакан шампанского, опорожнил его одним глотком и встал.

— Нет, дорогой мой, вы не уйдете, я этого не допускаю,— сказал Гарлоу, ласково кладя руку на плечо своего клиента.— Вы что-то загрустили! Оставайтесь сегодня у меня. Хозяйство наше не велико, но мы приспособляемся. Ночевать вам будет удобно. Подождите минутку, я сейчас распоряжусь.

Тэтчер был доволен, что остался один. За последние полчаса он успел убедиться, что его чувству к маленькой художнице нанесено самое ужасное оскорбление. В то время как он трудился не покладая рук в Калифорнии, Кармен вывозили в вашингтонское общество особы, неженатые братья которых покупали ее картины. Тому, кто ревнует не на шутку, доставляет некоторое облегчение иметь дело со множественным числом. Тэтчеру приятнее было думать, что ее осаждают тысячи братьев.

Он все еще смотрел на картину. Мало-помалу она заволоклась туманом, и, словно по волшебству, перед ним на полотне возникла полночная, освещенная луной дорога, по которой он когда-то гулял с Кармен. Он видел развалившийся горн, темные, нависшие громады скал, дрожащую спутанную листву и ярче всего блеск глаз из-под мантильи рядом с собой. Каким он был дураком! Вот таким же бесчувственным и тупым, как этот Кончо, который лежит здесь, как бревно. А ведь она любила этого человека. За какого дурака она должна была принять его в тот вечер! Каким снобом она, должно быть, считает его теперь!

Его потревожил легкий шорох в коридоре, прекратившийся, как только он повернулся. Тэтчер посмотрел на дверь кабинета, словно ожидая, что лорд-канцлер, подобно командору в «Дон-Жуане», последовал его легкомысленному приглашению. Он снова прислушался; все было тихо. Он не мог отделаться от чувства неловкости и некоторого возбуждения. Как долго собирается Гарлоу! Ему захотелось выглянуть в переднюю. Но для этого нужно было приспустить газ. Он так и сделал, но в своем замешательстве совсем его привернул.

Где же спички? Он вспомнил, что на столе была какая-то бронзовая штука, которая могла служить спичечницей и пепельницей и всем чем угодно,— такова ирония современного декоративного искусства. Он опрокинул что-то — должно быть, чернильницу, еще что-то,— на этот раз стакан с шампанским. Он осмелел, и начал шарить ощупью среди осколков и, повалив бронзового Меркурия на столе посреди комнаты, махнул на все рукой и уселся в кресло. Тогда два бархатистых пальчика вложили в его руку коробку спичек, и музыкальный голос произнес:

— Вы ищете спички? Вот они.

Тэтчер покраснел, сконфузился, взволновался, чувствуя, что смешно говорить кому-то в темноте «благодарю вас», чиркнул спичкой, увидел при ее короткой, неверной вспышке Кармен де Гаро, обжег пальцы, кашлянул, уронил спичку и снова погрузился во мрак.

— Дайте, я попробую!

Кармен чиркнула спичкой, вскочила на стул, зажгла газ, легко соскочила на пол и сказала:

— Вам нравится сидеть в темноте? Мне тоже, когда я бываю одна.

— Мисс де Гаро,— сказал Тэтчер с неожиданной откровенностью, приближаясь к ней с протянутыми руками,— поверьте мне, я искренне рад, больше чем рад видеть...

Она, быстро отступая перед ним, укрылась за высокой спинкой старинного кресла, став коленями на сиденье. К сожалению, я должен прибавить, что она довольно резко ударила по его протянутым пальцам неизменным черным веером.

— Мы не в Калифорнии. Это Вашингтон. Сейчас за полночь. Я бедная девушка и должна заботиться — как это называется? — о своей «репутации». Вы садитесь там,— она указала на диван,— а я сяду здесь,— и она положила свою мальчишескую головку на спинку кресла,— и мы поговорим, потому что мне нужно поговорить с вами, дон Ройэл.

Тэтчер сел на указанное место сокрушенно, смиренно и покорно. Сердечко мисс Кармен было тронут. Но она все же продолжала свою речь из-за спинки кресла.

— Дон Ройэл,— сказала Кармен, подкрепляя свои слова движением веера,— до встречи с вами я была ребенком. Да, да, настоящим ребенком! Гадким, своевольным — и занималась... как это там у вас называется... подлогами.

— Чем? — спросил Тэтчер, не зная, рассмеяться ли ему или вздохнуть.

— Подлогами! — смиренным голосом продолжала Кармен.— Я изображала подписи других людей, мне это доставляло удовольствие, но мой дядя наживал на этом деньги. Понимаете? Что же вы замолчали? Или вы хотите, чтобы я опять ударила вас веером?

— Продолжайте,— сказал Тэтчер, смеясь.

— Приехав на рудник, я узнала, что повредила вам, подделав подпись Микельторены. Тогда я пошла к адвокату и выяснила, что так оно и есть на самом деле. Посмотрите на меня теперь, дон Ройэл, вы видите перед собой преступницу.

— Кармен!

— Тсс! Мне придется опять ударить вас веером. Я

просмотрела все документы и нашла прошение, оно было подписано моей рукой. Вот!

Она бросила Тэтчеру конверт. Он вскрыл его.

— Понимаю,— тихо сказал Тэтчер,— вы снова завладели этим документом.

— Как так «завладела»?

Тэтчер замялся.

— Вы взяли это прошение — эту невинную подделку.

— О-о! Вы меня и воровкой считаете! Уходите отсюда! Ступайте! Ступайте вон!

— Дорогая Кармен!

— Просмотрите прошение! О-о, глупый!

Тэтчер взглянул на документ. По качеству и ветхости бумаги, печати, почерку, которым он был написан, документ этот ничем не отличался от прошения Гарсии. Резолюция, наложенная Микельтореной, казалась подлинной. Но прошение было написано от имени Ройэла Тэтчера. А подпись нельзя было отличить от его собственной.

— У меня имелось только одно ваше письмо,— извиняющимся тоном проговорила Кармен,— я подделала вашу подпись как могла.

— Ангел мой, птенчик мой,— сказал Тэтчер, со смелостью влюбленного пуская в ход разношерстные метафоры,— неужели вы...

— А-а, вам не нравится, вы считаете, что это плохо сделано!

— Дорогая моя!

— Тсс! Старуха наверху! А у меня здесь есть репутация. Будьте добры сесты! Незачем бегать взад и вперед по комнате и поднимать на ноги весь дом! Вот, получите! — Она ударила веером приблизившегося к ней Тэтчера. Он сел.

— И вы не удосужились повидать меня за этот год и не написали мне ни слова!

— Кармен!

— Садитесь, дерзкий мальчишка! Разве вы не знаете, что нам полагается говорить о делах, по крайней мере этого ждут от нас те, кто находится наверху.

— К черту дела! Кармен, дорогая, послушайте...— Мне больно говорить это, но Тэтчер уже завладел спинкой кресла, в котором устроилась Кармен.— Расскажите

мне, дорогая, о... об этом сенаторе. Вы помните, о чем у вас шла речь?

— Ах, рассказать об этом старичке? Так мы говорили с ним о делах. А вы послали к черту все дела!

— Кармен!

— Дон Ройэл!

. . . . .

Хотя во время этого разговора мисс Кармен то и дело пускала в ход веер, в комнатах, должно быть, стояла прохлада, потому что, спускаясь по лестнице, бедный Гарлоу, страдавший бронхитом, отчаянно закашлялся.

— Ну-с,— сказал он, входя в кабинет,—я вижу, вы разыскали Тэтчера и показали ему документы. Я уверен, что у вас было достаточно времени на это. Матушка послала меня отправить вас обоих отдохнуть.

Кармен закрылась мантилей и молчала.

— Полагаю, что вы уже достаточно разбираетесь в делах,— продолжал Гарлоу,— и понимаете, что документы, представленные мисс де Гаро, выполнены весьма художественно, но с юридической точки зрения не имеют никакой силы, если только вы...

— Если я не попрошу ее выступить свидетельницей. Гарлоу, вы славный человек! Не скрою от вас, мне бы не хотелось, чтобы моя жена воспользовалась этими документами. Мы перенесем тяжбу в разряд «неоконченных дел».

Так они и сделали. Но однажды вечером наш герой принес миссис Ройэл Тэтчер газету, в которой был помещен трогательный некролог покойному сенатору.

— Кармен, милая, прочти это. И тебе не стыдно за свои закулисные делишки?

— Нет,— твердо сказала Кармен.— Это были серьезные дела, и если бы все кулуарные делишки велись так же честно...

## ЧЕЛОВЕК СО ВЗМОРЬЯ

### ГЛАВА I

Он жил у реки, впадающей в огромный океан. От широкого речного устья его жилище отделяла лишь узкая полоска земли—прилив покрывал ее сверкающей пеленой воды, отлив оставлял на ней случайные дары суши и моря. Бревна, вывороченные прибрежные кусты, обломки кораблекрушений и расплющенные морем бамбуковые корзинки из-под апельсинов, еще благоухающие утраченным грузом, лежали там длинными рядами, которые, накладываясь друг на друга, окаймляли берег причудливой бахромой. В самый полдень однообразное сверкание гладких песков нарушалось лишь тенью от крыла чайки да внезапной суматохой в стае зуйков, вдруг срывавшихся с места и серым вихрем уносившихся вдаль.

Целый год он прожил там в полном одиночестве. Хотя от большого поселка его отделяло всего несколько миль, никто за это время не вторгнулся в его уединение, и затворничество его оставалось непо потревоженным. В любом другом обществе о нем стали бы судить да рядить, но старатели из Воровского Лагеря и торговцы из Тринидад-Хэд — сами по натуре одиночки и сумасброды — с глубоким безразличием относились к любым проявлениям сумасбродства или ереси, если те не затрагивали их собственных. И, конечно, вряд ли нашлась бы на свете более спокойная степень сумасбродства, чем у этого «Отшельника», награди они его этим прозвищем. Но они и этого не сделали: возможно, по недостатку интереса или

понимания. Торговцы, удовлетворявшие его скромные нужды, именовали его «Полковником», «Судьей» или «Хозяином». Всем остальным прозвище «Человек со взморья» казалось вполне подходящим определением. Никто не интересовался его фамилией, занятиями, положением в обществе или его прошлым. Трудно сказать, порождалось ли это боязнью ответных расспросов, любопытства или глубоким безразличием, о котором было упомянуто выше.

Он мало походил на отшельника. Молодой еще человек, стройный, хорошо одетый, всегда выбритый, с негромким голосом и грустно-саркастической улыбкой, он был полной противоположностью традиционному представлению о пустынниках. Его жилище — по сути, переоборудованная рыбацья хижина, — отличаясь снаружи суровой простотой пограничных построек, внутри было сухим и уютным. Оно состояло всего из трех комнат — кухни, столовой и спальни.

Прожив там достаточно долго, он видел, как унылое однообразие одного времени года уступает место унылому однообразию следующего. Холодные северо-западные пассаты приносили ему яркие солнечные утра и сырые безмолвные ночи. Теплые юго-западные пассаты несли ему тучи, дожди и недолгое великолепие быстрорастущих трав и благоухание цветущих буков. Но зимой и летом, в засуху и в дожди с одной стороны всегда вздымались резкие силуэты гор в неизменном вечнозеленом уборе; с другой стороны всегда простирался безбрежный океан со столь же резко очерченным горизонтом и столь же неизменным цветом. Начало весенних и осенних приливов, смена пернатых соседей, следы тех или иных диких зверей на прибрежном песке и разноцветные флаги листья на далеком лесистом склоне помогали ему различать медленно текущие месяцы. Летом, когда день начинал клониться к вечеру, солнце скрывалось в густом тумане, который, грозно надвигаясь на берег, в конце концов поглощал его, стирая грань между морем и небом, уединение «Человека со взморья» было полным. Сырая, непроницаемая мгла колыхалась над ним и вокруг него и, словно отрезая его от внешнего мира, оставалась единственной реальностью. И грохот бурунов неподалеку от его жилья казался лишь смутным, неопределенным гу-

дом или эхом чего-то ушедшего навсегда. Каждое утро, когда лучи солнца разрывали туманную завесу, он просыпался изумленный и озадаченный, будто заново родившийся. Первое, гнетущее ощущение давно исчезло, и он в конце концов полюбил этого неуловимого духа, несущего забвение; ночью, когда облачные крылья простирались над хижинкой, он сидел один, но чувствовал себя в такой безопасности, какой никогда не знал раньше. Тогда, случалось, он оставлял дверь открытой и прислушивался, словно к шагам: что могло прийти к нему из этого смутного, неясного мира? Может быть, даже она... Этот странный затворник не был ни безумцем, ни мистиком. Ибо на самом деле он не был одинок. Ночью и днем, во сне и наяву, гулял ли он по берегу или сидел у очага, где пылали выброшенные на берег обломки,— перед ним всегда стояло лицо женщины: из-за нее он и жил здесь в одиночестве. Это ее лицо грезилось ему в утреннем солнечном свете; это ее белые руки вздымались над гребнями волн; это шелестело ее платье, когда морской ветер пригибал высокие береговые травы; это слышался ее нежный шепот, когда набегающие волны затихали в осоке и камышах. Она была везде и всегда, подобно небу, морю и песку. Вот почему, когда туман поглощал все вокруг, ему мнилось, что она стоит рядом с ним во мраке. Как-то, раз или два, благодатными ночами в середине лета, когда песок еще хранил жар полуденного солнца, туман дохнул на него теплом, и ему почудилось, что это — ее дыхание, и сладкие слезы навернулись на его глаза.

До появления туманов (он ведь приехал сюда зимой) покой и отраду приносил ему немеркнущий луч маяка на маленьком мысу недалеко от его жилья. Даже в самые непроглядные ночи, в жестокую бурю свет маяка твердил ему о вечном терпении и неизблемом постоянстве. Потом он обрел безгласного друга в дереве, принесенном редкой, — вырванное с корнями, оно беспомощно распростерлось на отмели, а к вечеру его унесло течение. Через несколько дней, плывя в лодке по реке, он опять увидел это дерево и узнал его по оставленному топором поселенца клейму, еще заметному на его стволе. Он не удивился, найдя это же дерево неделей позже перед своим домом на песке, или тому, что наутро оно вновь отправилось в



бесцельные скитания. Гонимое ветром или прибоем, но всегда нарушая его уединение, оно то плыло в устье реки, то носилось среди бурунов на отмели, однако он был твердо уверен, что рано или поздно оно вернется к своей якорной стоянке у его хижины.

Через три месяца одиночного заключения он был вынужден смириться с тем, что, хоть и на краткий срок, его уединение будет нарушаться присутствием человека. Оказалось, что он не мог обойтись без услуг себе подобных. Он был способен машинально и рассеянно вкушать свой хлеб «в печали», если готовил этот хлеб кто-нибудь другой, но, стряпая сам, он соприкасался с самыми низменными сторонами жизни, и это так уязвляло его болезненную чувствительность, что он не мог взять в рот плоды собственных трудов. И так как пока еще он не желал себе гибели, то, когда перед ним встал выбор между голодной смертью и обществом людей, он выбрал последнее. Индианка, такая отвратительная, что почти утратила человеческий облик, в определенное время оказывала ему эти услуги. Если она не приходила, что случалось частенько, он не ел вовсе.

Таково было моральное и физическое состояние «Человека со взморья» на 1 января 1869 года.

Стоял ясный, тихий день, сменивший неделю дождей и ветра. У самого горизонта еще виднелось несколько белых пятнышек — арьергард бегущих полчищ минувшей бури, таких неясных, что их можно было принять за далекие паруса. На юге лениво белела мель, отделяя лагуну от открытого моря, и даже бурные волны Тихого океана накатывались на берег неторопливо и вяло. И карета, с трудом тащившаяся от поселка по низким песчаным дюнам, в конце концов остановилась в полумиле от жилья отшельника.

— Так что вылезать вам придется, — сказал кучер, придерживая усталых лошадей. — Дальше не проехать.

В недрах экипажа послышалось раздраженное восклицание, истерическое «Ах!», визгливый женский голос начал что-то доказывать, но кучера это не тронуло. Наконец из окошка высунулась мужская голова и принялась увещевать его:

— Послушайте, вы же подрядились довести нас до самого дома. Здесь еще по крайней мере миля!

— Да, около того,— отвечал кучер, хладнокровно скрещивая ноги на козлах.

— О чем тут говорить? Я не в силах идти по песку в такую жару,— быстро и повелительно заговорил женский голос и добавил с ужасом: — Жить в таком месте!

— Да это неслыханно!

— Это переходит все границы!

— Бог знает что такое!

Хотя голоса и свидетельствовали о разнице в возрасте и поле говоривших, они обладали удивительным сходством и все были равно раздражены.

— Так что мои лошади дальше не пойдут,— пояснил возница,— и коли вам время дорого, лучше бы вы пешочком.

— Но этот мошенник не бросит нас тут? — пронзительно вознегодовал женский голос.

— Вы подождете, кучер,— уверенно проговорил мужской голос.

— А долго ждать-то?

Внутри засовещались. Из окна долетали фразы: «Он может выставить нас вон», «А вдруг весь вечер придется его уговаривать?», «Вздор! Потребуется не больше десяти минут!». Кучер тем временем развалился на козлах и засвистал в терпеливом презрении к горожанам, которые сами толком не знают, чего хотят и куда едут. Потом в окошко вновь высунулся мужчина и самодовольным тоном мудреца, отыскавшего самый разумный выход из затруднения, произнес:

— Не торопясь, поезжайте за нами и подождите нас там, а лошадей поставите в конюшню или в сарай.

Кучер разразился ироническим смехом.

— Ну да, как же! В конюшню или в сарай! Как бы не так! Может, я уж ослеп совсем, так вы бы, кто помоложе, и показали мне, где у Полковника конюшня либо сарай— будьте уж так добры! Тпру, чтоб вас! Тпру! Дайте же хоть поглядеть, где там конюшня, чтобы завести вас туда!— Последний насмешливый призыв был адресован лошадям, которые даже не шелохнулись.

Из кареты, кипя негодованием, вылез предыдущий оратор — полный, величавый и немолодой; за ним показа-

лись остальные — две дамы и джентльмен. Одна из дам если и не была молода, то одевалась молодо, и парижское платье облегалo ее аристократические кости если не изящно, то, во всяком случае, по всем правилам искусства; молодая дама, по-видимому, ее дочь, была хрупкой, хорошенькой и сочетала римский нос и благородную худобу своей матери с пикантностью и шиком, что производило восхитительное впечатление. Джентльмен был молод, тощ, похож на свою матушку и сестру, но в остальном ничем не примечателен.

Все они, как один, повернулись туда, куда указывал кучера. Их глазам представились лишь голые и мрачные очертания низкой хижины «Человека со взморья». Местность вокруг была совершенно пустынной, и взгляд задерживался лишь на метелках чахлых береговых трав. Заметив полную беспомощность пассажиров, кучер смягчился и даже расщедрился на несколько советов.

— Вот что,— сказал он наконец,— может, и не ваша это вина, что вы знаете свою, значит, страну похуже, чем всякие там Европы; так вот, я, значит, съезжу к Робинсонам на реке, задам лошадам корму, а потом спущусь вон с той горки да и подожду вас. Меня будет видеть от Полковника.— И, не дожидаясь ответа, он завернул лошадей к реке и укатил.

Как и раньше, в карете, приезжие раздраженно загрохотали, но безуспешно. Затем начались взаимные обвинения и упреки:

— Это вы виноваты: надо было написать ему, и он бы встретил нас в поселке.

— Вы же хотели застать его врасплох!

— Ничего подобного!

— Вам прекрасно известно, что, напиши я, он сбежал бы от нас!

— Да-да, на край света!

— Но это и есть край света! — И так далее.

Однако было настолько ясно, что выход только один: надо идти вперед,— что даже в самый разгар пререканий они уже брели гуськом к далекой хижине, увязая по щиколотку в сыпучем песке и перемежая вздохами взаимные упреки, прервавшиеся лишь после возгласа пожилой дамы:

— Где же Мария?

— Ушла вперед! — проворчал молодой джентльмен таким несоразмерно глубоким басом, что казалось, будто он исходит от какого-то чревовещателя.

Подбавив перцу в общий разговор, Мария действительно устремилась вперед. Но — увы! — эта легконогая Камилла, подметя своим треном изрядное количество песку, споткнулась о жесткий кустик травы и опустилась на землю — измученная и вне себя от злости. Когда остальным устало дотащились до нее, она покусала свои красные губы хищными белыми зубками и, причмокнув, как сытый, полный сил вампир, прошепелявила:

— Что у вас за вид! Точь-в-точь английские лавочники, которых мы видели на Риги; за свои три гиней они желают все посмотреть и не снимают своего единственного приличного костюма!

И правда, вид этих экзотически разукрашенных двуногих, чьи прекрасные перышки уже испачкал песок и растрепал сырой морской ветер, совершенно не гармонировал с суровой простотой неба, моря и берега. Несколько чаек с криком пронеслись над ними; спугнутая гагара заметалась с пронзительным воплем протеста и отчаянно вытянула ноги, явно передразнивая молодого джентльмена. Пожилая дама оценила справедливость мягкой дочерней критики и отплатила откровенностью за откровенность:

— Твоя юбка похожа бог знает на что, волосы растрепались, шляпка сбилась, а туфли... боже мой, Мария! Где твои туфли?

Мария выставила из-под юбки маленькую, обтянутую чулком ступню. Она была немыслима узкой, с подъемом столь же патрициански изогнутым, как и нос ее обладательницы.

— Где-то между этим местом и каретой, — ответила она. — Пусть Дик сбегает и поищет, а заодно и твою брошку, мамочка. Он ведь у нас такой услужливый.

Мощный бас Дика недовольно загромыхал, но невзрачная его фигура вяло потащилась обратно и вернулась с потерянными котурном.

— Лучше уж я понесу их в руках, как рыночные торговки в Сомюре, потому что сейчас мы пойдем вброд, — заметила мисс Мария и даже забыла собственный страх, радостно созерцая ужас, в который пришла ее родитель-

ница, едва она указала на сверкающую полосу воды, медленно заливающую болотистую низину между ними и хижинкой.

— Это прилив,— произнес пожилой джентльмен.— Если мы решили идти, надо торопиться. Позвольте, сударыня! — И прежде, чем изумленная матрона успела ответить, он подхватил ее на руки и галантно вошел с ней в воду. Нежная Мария кинула угрожающий взгляд на брата, который оказал ей подобную же услугу с явной неохотой. Однако эта ядовитая девица не спускала глаз с пожилого джентльмена впереди и, увидев его неожиданное и таинственное исчезновение по самые подмышки, решительно выбросилась из надежных объятий брата—поступок, немедленно низвергнувший его в воду,— и торопливо дошла до противоположного берега, после чего помогла пожилому джентльмену выбраться из ямы, куда он провалился, и вытащить свою мать, которая наподобие гигантской пестрой лилии беспомощно покачивалась на воде, удерживаемая вздувшимися юбками. Дик потерял гамашу. Через минуту все были в безопасности.

Пожилая дама не могла сдерживать слез, Мария истерически смеялась, Дик смешивал басовые проклятия с отчетливым шумом прибоя. Румяное лицо пожилого джентльмена от соприкосновения с соленой водой стало блее мела, а его достоинство, по-видимому, было смыто той же водой; впрочем, он объяснял это тем, что, по его предположению, он чуть было не попал в зыбучие пески.

— Вполне возможно,— послышался негромкий голос позади.— Вам следовало бы пойти по дюнам на полмили ближе к устью.

Все разом обернулись. Это был «Человек со взморья». Вскочив на ноги, все, кроме одного, воскликнули хором:

— Джеймс!

— Мистер Норт!—сказал пожилой джентльмен и, вспомнив о былом достоинстве, застегнул сюртук, скрывая мокрую манишку.

Наступило молчание. «Человек со взморья» внимательно глядел на приезжих. Если они рассчитывали напомнить ему о соблазнах веселого, блестящего, чувственного мира, символом которого они были, они потерпели неудачу и знали об этом. Всегда взыскательные к внешнему виду других, они видели, что жалки и смешны и

что хозяином положения оказался он. Пожилая дама снова залилась горькими слезами, Мария покраснела до ушей, а Дик с угрюмой тревогой уставился в землю.

— Вам лучше встать,— сказал «Человек со взморья», поразмыслив,— и добраться до хижины. Переодеться у меня не во что, но обсушиться вы сможете.

Все встали и снова сказали хором: «Джеймс!»,— но в этот раз с явной попыткой припомнить какие-то слова или действия, придуманные заранее и спешно освеженные в памяти. Пожилая дама даже успела заломить руки и воскликнуть: «Вы не забыли нас, Джеймс! О Джеймс!»,— молодой джентльмен начал грубовато: «Ну, Джим, дружище!»,— тут же сбившись на сварливое бормотание; девица одарила его пронзительно-кокетливым взглядом, а пожилой джентльмен начал: «Мы бы хотели, мистер Норт...»— однако у них ничего не получилось.

Мистер Джеймс Норт, скрестив руки на груди, переводил взгляд с одного лица на другое.

— Я не часто вспоминал о вас эти двенадцать месяцев,— сказал он спокойно,— но не забыл вас. Идемте.

Они молча следовали за ним на расстоянии нескольких шагов. Эта краткая беседа вновь доказала его прелосходство и независимость, против которых они восставали; более того, когда они потерпели неудачу в первом совместном нападении, сварливая перебранка сменилась угрюмым недоверием друг к другу; уныло, по одному вошли они за Джеймсом Нортом в его дом. В очаге ярко пылал огонь; из ящиков и сундуков были устроены импровизированные сиденья, и пожилая дама, по правде говоря, весьма смахивающая на слишком нарядную куклу на шарнирах, расправив юбку, сушила оборки и слезы одновременно. Мисс Мария с одного взгляда оценила убогую обстановку хижины и устремила глаза на Джеймса Норта, а он безучастно стоял перед ними в мрачном и терпеливом ожидании.

— Ну,— начала пожилая дама повышенным тоном,— после всех неприятностей и хлопот, которые вы нам причинили, Джеймс, неужели вам нечего сказать? Представляете ли вы, что делаете? Какую вопиющую глупость вы затеяли? Что говорят о вас? А? О господи, да знаете ли вы, кто я такая?

— Вы жена моего покойного дяди, тетя Мэри,— спокойно ответил Джеймс.— Если я сделал глупость, это касается только меня. Если б меня беспокоило, что обо мне говорят, меня бы здесь не было. Если б я любил общество настолько, чтобы ценить его хорошее мнение, я не покинул бы его.

— Но, говорят, вы бежали от общества и тоскуете здесь в одиночестве по ничтожеству — по женщине, которая использовала вас в своих целях, как она использовала других, а потом бросала их...

— Женщина,— вмешался Дик, развалившийся на постели Джеймса в ожидании, пока высохнут его сапожки,— эта женщина, которая, как всем известно, никогда и не собиралась...— Здесь, однако, он встретил взгляд Джеймса Норта и, пробормотав что-то вроде: «Все это сущий идиотизм, чтобы говорить об этом»,— снова умолк.

— Вам прекрасно известно,— продолжала миссис Норт,— что, пока мы и другие закрывали глаза на ваши более чем ясные отношения с этой женщиной и пока я сама уверяла других, что это простой флирт и ради вашего же блага предотвращала скандал,— когда наступил кризис и она сама дала вам возможность разорвать ваши отношения, и никто ничего не узнал бы, и все винули бы только ее (а ведь к этому она давно привыкла),— вы, вы, Джеймс Норт, вы бежали, как дурак, и своей нелепой выходкой и сентиментальной чепухой позволили всем понять, как это было серьезно и как глубоко ранило вас! И теперь вы здесь, один, в этом ужасном месте, куда можно добраться только по пояс в воде, а выбраться уж совсем неизвестно как! О, молчите! Я не хочу ничего слышать — неслыханная глупость!

Виновник этого взрыва не произнес ни слова, не сделал ни единого движения.

— Ваша тетушка возбуждена,— сказал пожилой джентльмен,— хотя мне думается, она не переоценивает то неудачное положение, которым вы обязаны этому странному капризу. Мне неизвестны причины, вызвавшие упомянутый шаг; знаю лишь, что общественное мнение полагает их неудовлетворительными. Вы еще молоды, перед вами будущее. Излишне упоминать, что ваше настоящее поведение может погубить все. Если вы

рассчитываете подобным образом добиться какой-нибудь пользы, хотя бы ради вашего собственного удовлетворения...

— Как бы не так! Будто этим вообще можно чего-то добиться! — вставила миссис Норт.

— Может быть, ты думаешь, что она вернется? Но ведь такие женщины не возвращаются. Им нужна новизна. Да, ведь... — неожиданно начал Дик и так же неожиданно снова улегся на кровать.

— И это все, ради чего вы приехали? — спросил Джеймс, терпеливо выдержав паузу и переводя глаза с одного на другого.

— Все? — возопила миссис Норт. — Разве этого мало?

— Да, мало для того, чтобы я переменял свое решение или местожительство, — невозмутимо ответил Норт.

— И вы думаете продолжать эту глупость всю жизнь?

— Чтобы причину вашей смерти устанавливал следственный суд и о ней кричали газеты?

— И чтобы она прочитала эти душераздирающие подробности и узнала, что вы были верны, а она нет?

Эта последняя стрела была пущена нежной Марией, которая тут же досадливо прикусила губку, заметив, что отшельник даже бровью не повел.

— Мне кажется, говорить больше не о чем, — продолжал Норт спокойно. — Я готов поверить, что ваши намерения столь же похвальны, как ваше рвение. Но кончим на этом, — устало добавил он. — Прилив поднимается, и кучер машет вам с холма.

Его непоколебимая твердость казалась еще более очевидной благодаря вежливому, но глубокому безразличию к желаниям его гостей. Он повернулся к ним спиной, а они торопливо сгрудились вокруг пожилого джентльмена, но и фразы: «Он не в своем уме», «Вы обязаны сделать это», «Это — явное безумие», «Посмотрите на его глаза!» — оставили его совершенно равнодушным.

— Разрешите, мистер Норт, еще одно слово, — сказал пожилой джентльмен, скрывая под напыщенностью свое смущение. — Может случиться, что ваше поведение представится умам более прозаическим, чем ваш соб-



ственный, результатом некоторого помрачения рассудка, допустим, временного, что вынудит ваших лучших друзей принять некоторые меры...

— Объявив меня сумасшедшим, — прервал его Джеймс Норт с легким нетерпением человека, которому больше хочется отделаться от докучливого собеседника, нежели подыскивать аргументы. — Я другого мнения. Вам, поверенному моей тетки, конечно, известно, что за последний год я передал большую часть моего состояния ей и ее семейству, и, право, я совершенно убежден, что такой опытный юрист, как Эдмунд Картер, никогда не допустит, чтобы были приняты меры, которые лишат дарственную законной силы.

Мария разразилась таким злорадным смехом, что Джеймс Норт впервые с некоторым интересом посмотрел на нее. Она покраснела, но ответила ему другим взглядом, подобным сверканию штыка. Гости в сопровождении Джеймса Норты медленно двинулись к дверям.

— Итак, это ваш окончательный ответ? — спросила миссис Норт, величественно задерживаясь на пороге.

— Простите? — немного рассеянно переспросил Норт.

— Ваш окончательный ответ?

— Да, конечно.

Разъяренная миссис Норт бросилась вон из комнаты, чем поставила Норту в невыгодное положение. На прощание они могли атаковать его по очереди. Начал Дик:

— Брось упрямиться! Ты ведь можешь дать объявление в газете относительно нее, а старуха не будет ничего иметь против, если ты будешь осторожен и станешь иногда показываться на людях!

Когда Дик, прихрамывая, вышел из комнаты, мистер Картер выразил уверенность, что (строго между ними) все это дело можно будет решить на месте, не ранив чувствительную натуру мистера Норты.

— Поверьте, она, несомненно, ждет, что вы вернетесь. Я убежден, что она никогда не покидала Сан-Франциско. С этими женщинами никогда нельзя знать наверняка.

Равнодушно пропустив мимо ушей и эту заключительную фразу, Джеймс Норт наконец остался один — вер-

нее, так ему казалось. Мария присоединилась к матери, но, когда они пересекли брод и песчаный холм скрыл остальных из виду, эта своенравная девица внезапно возникла перед ним.

— И вы не вернетесь? — спросила она прямо.

— Нет.

— Никогда?

— Не знаю.

— Скажите, что именно в некоторых женщинах внушает мужчинам такую любовь к ним?

— Любовь! — ответил Норт спокойно.

— Нет, не может быть, это не так!

Норт поглядел на холм, ощущая одну лишь скуку.

— Да-да, я уйду! Еще одну минутку, Джим! Я не хотела приезжать. Это они меня заставили. Прощайте.

Она подняла пылающее лицо и посмотрела ему прямо в глаза. Он наклонился и коснулся губами ее щеки, как было принято между родственниками в ту эпоху.

— Нет, не так, — сказала она сердито, сжимая его запястья длинными, тонкими пальцами, — поцелуйте меня не так, Джеймс Норт.

В печальных глазах мелькнул чуть заметный насмешливый огонек, и Норт прикоснулся губами к ее губам. Но Мария обхватила его шею, прижалась горящим лицом и губами к его лицу, к губам, к щекам, прильнула к каждому изгибу его горла и подбородка и... со смехом исчезла.

## ГЛАВА II

Если родственники Джеймса Норты и надеялись, что их посещение может воскресить в нем вопреки его воле хоть слабое желание снова посетить мир, который они олицетворяли, то эта надежда скоро угасла. Как бы ни отнесся отшельник к их приезду (а он был настолько поглощен своим несчастьем и так безразличен ко всему, что становилось между ним и его горем, что встретил противодействие с глубоким равнодушием), в результате он только еще более стал ценить одиночество, ограждавшее его от всех, и даже полюбил унылый берег и бесплодные пески, так враждебно встретившие гостей.

Новое значение обрели для него рев волн, честное постоянство, таившееся в неизменном упорстве грубых, неистовых пассатов, и безмолвная преданность сверкающих песков, вероломных ко всем, кроме него. Мог ли он проявить неблагодарность к этим сторожевым псам, подстерегающим незваных пришельцев?

Если он не почувствовал горечи, пока его вновь и вновь убеждали в неверности женщины, которую он любил, то потому, что Норт всегда верил собственной интуиции больше, чем наблюдательности и опыту других. Никакие факты, доказывающие обратное, не могли поколебать его веры или неверия; подобно всем эгоистам, он принимал их за истину, управляемую высшей истиной, известной только ему. Простота его — другая сторона эгоизма — была столь совершенной, что не поддавалась обычным коварным уловкам, и таким образом он был недоступен опыту и знаниям, которые отличают не столь благородные натуры и делают их еще более низменными.

Прогулки, охота или ужение рыбы — для удовлетворения скромных нужд — укрепляли его здоровье. Он никогда не был любителем примитивной свободы или жизни на природе; склонность к сидячей жизни и изысканные вкусы удерживали его от варварских крайностей. Он никогда не был заядлым охотником и теперь охотился без азарта. Об этом догадывались даже бессловесные существа, и порой, когда он угрюмо бродил по холмам, случалось, что олень или лось безбоязненно перебегали ему дорогу, а когда он лениво покачивался в челноке на мелководье, бывало, что стая диких гусей садилась на воду у его бесшумного весла. В этих занятиях подошла к концу вторая зима его одиночества, и тогда разразилась буря, вошедшая в историю здешних мест: ее помнят и до сих пор. Она с корнями выворачивала гигантские деревья на речном берегу, а с ними и крошечные ростки жизни, которые Норт бездумно пестовал.

Утром по временам налетали шквалы, ветер принимался дуть то с юга, то с запада с подозрительными затишьями, непохожими на ровный напор обычных юго-западных пассатов. Высоко над головой стремительно проносились развевающиеся гривы перистых облаков,

увлекая за собой чаек и других береговых птиц; безостановочно пищали ржанки, стоя пугливых перевозчиков примеривалась сесть на низкий конек крыши, а терпящая бедствие команда кроншнепов поспешила укрыться на вырванном с корнями дереве, которое устало качалось на отдели. К полудню летящие облака беспорядочно сгрудились в сплошную массу, а потом внезапно слились в огромную непроницаемую пелену, затянувшую все небо. Море поседело, оно внезапно покрылось морщинами и сразу состарилось. В воздухе пронесся заунывный, неясный звук — скорее неразбериха многих звуков, похожих и на далекую ружейную стрельбу, и на резкий звон колокола, на тяжкий рев волн, треск деревьев и шелест листьев; звуки эти замирали прежде, чем можно было разобрать их. А потом задул сильный ветер. Он бушевал два часа подряд. К закату ветер усилился, и через полчаса наступила полная тьма; даже белые пески стали невидимыми, и море, и берег, и небо оказались во власти злобной, безжалостной силы.

Норт одиноко сидел в своей хижине у пылающего очага. Он уже не помнил о буре, — она лишь направила его мысли в привычное русло. Если раньше она возникла из клубящегося летнего тумана, то теперь ее принесла сюда на своих крыльях буря. Временами хижина содрогалась от порывов ветра, но он не замечал этого. За хижину он не страшился: из года в год ветер наваливал у ее стен кучи песка, служившие ей защитой. Каждый новый порыв ветра, казалось, еще тесней прижимал хижину к земле, а вихри песка колотили ее по крыше и окнам. Около полуночи внезапная мысль подняла его на ноги. А что, если и она тоже попала во власть этой неистовой ночи? Как помочь ей? И, может быть, сейчас, когда он празднично сидит здесь, она... Чу! Не выстрел ли это?.. Нет? Да, выстрел! Там стреляют.

Он торопливо отодвинул засов, но сильный ветер и песок, заваливший дверь, не дали ему выйти. С неизвестно откуда взявшейся силой он все-таки приоткрыл ее и протиснулся наружу, — тут ветер поднял его, как перышко, перевернул несколько раз, снова поднял и с размаху швырнул на кучу песка. Он не ушибся, но не мог шелохнуться и лежал, оглушенный многоголосым ревом бури, не в состоянии различить хоть одну знако-

мую ноту в этом хаосе звуков. Наконец он кое-как дополз до хижины и, заперев дверь, бросился на постель.

Он очнулся от беспокойного сна: ему снилась его кузина Мария. Она со сверхъестественным напряжением удерживала дверь, не пуская какую-то невидимую, неизвестную силу, которая завывала и билась снаружи, отчаянно кидаясь на хижину. Он видел гибкие, волнообразные движения Марии, когда она то уступала этой силе, то вновь налегала на дверь, обвиваясь вокруг тесаного дверного косяка как-то гнусно и по-змеиному. Он проснулся от грохота бури и тяжкого удара, потрясшего весь дом сверху донизу. Он вскочил с кровати, и ноги его оказались в воде. При вспышке огня в очаге он увидел, что вода просачивается и капает из щелей между бревнами, а у очага разливается большой лужей. На ее поверхности лениво плавал клочок конверта. Что это, река вышла из берегов? Но он недолго оставался в неведении. Новый удар по крыше дома — и из дымохода в очаг обрушился ливень брызг, загасивший тлеющие угли и оставивший его в крошечной тьме. Несколькими каплями смочили его губы. Он почувствовал соленый вкус. Океан смел нанесенную рекой мель и добрался до него!

Мог ли он спастись? Нет! Хижина стояла на самой высокой точке отмели, и в болотистой низине, по которой еще недавно шли его гости, уже кипели буруны, а в устье реки за его спиной бушевал океан. Ему оставалось только ждать.

Однако отчаянность его положения придала этому своеобразному человеку силу и терпение. Инстинкт самосохранения еще жил в нем, но он не испытывал ни страха смерти, ни даже ее предчувствия; но если бы смерть и пришла, она просто разрешила бы все тревоги и избавила его от прошлого. Он думал о жестоких словах своей кузины, но та смерть, которая грозила ему, уничтожила бы и хижину и землю, на которой она стояла. Газетам не о чем будет писать, и на живых не ляжет никакой тени. То же чувство, которое помогло ему сохранить верность ей, подскажет ей, как он умер; а если нет — ну что ж! И наивная, но твердая вера в судьбу позволила этому странному человеку ошупью добраться до постели и тут же уснуть. Буря все еще

ревела. Волны снова перехлестнули через хижину, но ветер, несомненно, ослабевал, и наступал отлив.

Норт проснулся в полдень. Ярко светило солнце. Он лежал в приятной истоме, не зная, жив он или умер, но ощущая во всем теле невыразимое умиротворение — покой, какого он не знал с детства, и освобождение — он и сам не знал, от чего. Он заметил, что улыбается, однако его подушка была мокра от слез, еще блестевших у него на ресницах. Песок завалил дверь, и поэтому он выбрался через окно. По небу медленно плыло несколько тучек, осеняя море и берег, на которые снизошло великое благословение. Он едва узнал знакомый пейзаж: на реке образовалась новая мель — песчаная коса, которая пересекла лагуну и болота, смыкалась с берегом и тропой на холме и словно приблизила его к людям. Все это наполнило его чисто детским восторгом, и, когда он увидел знакомое, вырванное с корнями дерево, ставшее теперь на вечный якорь у его хижины, он радостно побежал к нему.

Торчащие корни были опутаны цепкими морскими водорослями и длинными, гибкими, как змеи, стеблями морской репы. А между двумя переплетенными корнями застряла бамбуковая корзинка из-под апельсинов, почти не поврежденная. Когда он направился к ней, ему послышался странный крик, непохожий на все то, что доселе рождали бесплодные пески. Предположив, что какая-то неизвестная морская птица запуталась в водорослях, он подбежал к корзинке и заглянул внутрь. Там лежали перистые водоросли и морской мох. Он отбросил их прочь. Они скрывали не раненую птицу, а живого ребенка!

Вытащив его из сырых пеленок, Норт увидел, что ребенку всего семь — девять месяцев. Но как и когда дитя попало в корзинку и каким образом занесло эту колыбельку эльфа к его двери, он не знал; судя по всему, младенец лежал тут с раннего утра, потому что ничуть не замерз и его одежда почти высохла под горячим утренним солнцем. Всего несколько секунд потребовалось, чтобы завернуть ребенка в куртку, добежать с ним до хижины и с ужасом убедиться, что он не знает, что делать. Его ближайшим соседом был лесоруб Тринидад Джо, живший в трех милях вверх по реке. Норт смутно при-

помнил, что он как будто человек семейный. Страшнее всего было бездействие и, чуть не уморив ребенка глотком виски из фляжки, он вытащил из болота челнок и поплыл со своей находкой по реке. За полчаса он добрался до хижины Тринидада Джо, увидел жалкие цветочки возле плетня и белье на веревке и понял, что воспоминания его относительно семейного положения Тринидада Джо были верны.

На его стук дверь отворилась, и он увидел чистую, просто убранную комнату и веселую, миловидную женщину лет двадцати пяти. С неожиданным для себя смущением Норт несвязно рассказал о том, как нашел ребенка, и объяснил причину своего визита. Он еще говорил, когда она каким-то особым женским движением взяла ребенка из его рук так, что он этого и не заметил, и расхохоталась до слез, едва он, задохнувшись, умолк. Норт тоже попробовал засмеяться, но не сумел.

Утерев простодушные голубые глаза и спрятав два ряда крепких белых зубов, женщина сказала:

— Послушайте! Вы, верно, тот тронутый, который живет один — там, на взморье, да?

Норт поспешно согласился со всем, что подразумевало это определение.

— И, значит, вы обзавелись ребеночком для компании? Ну и ну! — Казалось, вот-вот снова раздастся взрыв смеха, но она сказала, словно извиняясь за свое поведение: — Как я увидела, что вы шлепаете сюда по реке — это вы-то, такой пугливый, все равно что лось летом, — я и подумала: «Заболел, что ли?» Но чтоб младенец?.. Вот тебе на!

На мгновение Норт возненавидел ее. Женщина, которая в этой трогательной и даже трагической картине увидела одну только смешную сторону и смеялась над ним, — эта женщина принадлежала к сословию, с которым он никогда не имел ничего общего. Его не трогало возмущение людей одного с ним круга, и сарказмы кухни уязвили его гораздо меньше, чем озорной смех этой неграмотной женщины. И сдержанным тоном он указал на то, что ребенка следовало бы накормить.

— Он еще очень маленький, — добавил Норт, — и я думаю, ему нужно натуральное питание.

— А где его взять? — спросила женщина.

Джеймс Норт растерянно огляделся. Но ведь тут должен быть ребенок! Обязательно должен!

— Я думал, что у вас... — пробормотал он, чувствуя, что краснеет, — я... то есть... я...

Он умолк, потому что она хоть и зажала рот передником, но уже не могла удержаться от смеха, который так и рвался из нее. Отдышавшись, она сказала:

— Послушайте! Оно и понятно, что вас прозвали тронутым! Я дочка Тринидада Джо и незамужняя, а женщин в этом доме больше нет. Это вам всякий дурак скажет. И если вы мне растолкуете, откуда мог бы взяться у нас ребенок, я вам только спасибо скажу!

Сдержав ярость, Джеймс Норт вежливо извинился, сожалея о своем неведении, с учтивым поклоном хотел забрать ребенка. Но женщина прижала его к себе.

— Вот еще! — выпалила она. — Отдать вам эту бедняжку? Нет уж, сэр! Если хотите знать, молодой человек, ребенка можно накормить и не только этим вашим «натуральным питанием». Только отчего это он такой сонный?

Норт холодно сообщил, что дал ребенку виски в качестве лекарства.

— Да ну? Не такой уж вы тронутый, как посмотришь. Ладно, я возьму ребенка, а когда отец придет, мы поглядим, что дальше делать.

Норт заколебался. Ему чрезвычайно не нравилась эта женщина, но другой не было, а ребенком надлежало заняться немедленно. Кроме того, ему пришло в голову, что довольно нелепо являться в первый раз с визитом к соседям только для того, чтобы навязать им найденыша. Заметив его сомнения, она сказала:

— Конечно, вы меня не знаете. Ну, так я Бесси Робинсон. Дочка Тринидада Джо Робинсона. Если вы что подумали, так вам за меня хоть отец поручится, хоть кто другой на реке.

— Уверю вас, мисс Робинсон, я боюсь только, что доставлю вам слишком много хлопот. Все ваши расходы, разумеется, будут...

— Молодой человек, — сказала Бесси Робинсон, резко поворачиваясь на каблуках и пронзая его взглядом из-под черных, слегка нахмуренных бровей, — коли разговор пошел о расходах, то лучше уж я сама приплачу вам



за этого ребенка или совсем его брать не буду. Ну, да ведь я тоже плохо вас знаю, и ссориться нам ни к чему. Так что оставьте ребенка здесь и, если что решите, приезжайте сюда завтра, как солнце взойдет (прогулка-то вам не повредит!), и повидаетесь с ним да и с моим родителем заодно. Всего вам хорошего! — И, обвив ребенка сильной, округлой рукой, она воинственно уперла в бок другую, с ямочкой на локте и величаво проплыла мимо Джеймса Норта в спальню, притворив за собой дверь.

Когда мистер Джеймс Норт добрался до своей хижины, уже стемнело. Разведя огонь, он принялся расставлять опрокинутую мебель и выметать мусор, оставленный ночной бурей, и вдруг впервые он почувствовал себя одиноким. Он скучал не по ребенку. Он исполнил долг человеколюбия и готов был исполнять его и впредь, но и сам ребенок и его будущее были ему неинтересны. Скорее, его радовало, что он избавился от него, — пожалуй, лучше было бы отдать его в другие руки, а впрочем, и она производила впечатление женщины расторопной. И тут он вспомнил, что с самого утра ни разу не подумал о женщине, которую любил. Это случилось впервые за год одиночества. И он взялся за работу, думая о ней и о своих горестях, пока слово «тронутый», связанное с его страданиями, не всплыло в его памяти. «Тронутый»! Слово малопривлекательное. Оно означало нечто худшее, чем просто потерю рассудка, — то, что могло случиться с тупым простолудином. Неужели люди смотрят на него сверху вниз как на полоумного, который недостоин ни дружбы, ни сочувствия, и такого незначительного и заурядного, что над ним неинтересно даже смеяться? Или это — лишь грубое толкование этой вульгарной девицы?

Тем не менее на следующее утро, как только «взошло солнце», Джеймс Норт оказался у хижины Тринидада Джо. Почтенный хозяин — долговязый и тощий, с типичными чертами сельского жителя Запада: плохим здоровьем, худобой и унынием — встретил его на берегу; по одежде его можно было принять и за моряка и за жителя пограничного поселка. Когда Норт снова рассказал ему о том, как он нашел ребенка, Тринидад Джо задумался.

— Небось, его для безопасности уложили в корзинку,— рассуждал он,— а его и смыло с одной из этих посудин, что ходят на Таити за апельсинами. А что он не из наших мест,— это уж точно.

— Но просто чудо, что он остался жив. Ведь он несколько часов пробыл в воде.

— Ну, эти бриги тут идут недалеко от берега, и, скажем, если он налетел на риф, так, значит, от тычка он прямо на мель и перелетел! А что он жив остался, так это уж всегда так,— продолжал Джо с жгучей иронией.— Коли здоровенный моряк шлепнулся бы той ночью с нок-рея, он запросто потонул бы у самого ко-рабля, а ребенок, который и плавать-то не умеет, выплыл на берег, а сам знай спит себе, волны ему вместо люльки.

Норт немного успокоился, но, странно разочарованный тем, что не увидел Бесси, решил спросить, как чувствует себя ребенок.

— Лучше некуда,— послышался звонкий голос из окошка, и, поглядев вверх, Норт разглядел округлые руки, голубые глаза и белые зубы дочери хозяина дома.— Ну и ест же она — просто загляденье! Хоть и без «натурального питания». Ну, родители! Расскажи-ка ты гостю, что мы с тобой порешили, и хватит попусту трепать языком.

— Ну, вот что,— промямлил Тринидад Джо,— Бесси твердит, значит, что вынянчит этого ребенка и все, значит, как положено. И хоть я ей и отец, скажу, что это она может. Но уж если Бесси что запало в голову, так подавай ей все целиком, на половину она не согласна.

— Правильно! Валяй дальше, родитель: что ни слово, так в самую точку! — с веселой прямоотой сказала мисс Робинсон.

— Ну, значит, мы вот как решили. Мы берем ребенка, а вы дадите нам такую бумагу, что, мол, от-казываетесь от всяких на нее прав в нашу, значит, пользу. Ну, что скажете?

Сам не зная почему, мистер Норт решительно отказался.

— Вы что думаете, мы будем плохо за ней присматривать? — резко спросила мисс Бесси.

— Не в этом дело, — немного раздраженно отозвался Норт. — Прежде всего это не мой ребенок, и я не могу его отдать. Ведь вышло так, что он оставлен на мое попечение, будто сами родители передали мне его из рук в руки. Я считаю, что будет нехорошо, если сюда вмешаются еще чьи-то чужие руки.

Мисс Бесси исчезла из окна. Через секунду она показалась в дверях дома и, подойдя прямо к Норту, протянула ему вполне реальную руку.

— Ладно, — сказала она с искренним пожатием. — Не такой уж вы тронутый. Отец, он дело говорит! Отдать ее он не может, поэтому мы возьмем с ним ребенка напополам. Он будет отцом, а я матерью, покуда смерть нас не разлучит или пока не найдется настоящая семья. Ну, согласны?

И мистер Джеймс Норт согласился, обрадованный похвалой этой простой девушки больше, чем ожидал. А хочет ли он посмотреть на малютку? Да, конечно, и Тринидад Джо, который уже посмотрелся на малютку, и слышал о малютке, и качал ее на руках, и всю ночь только ею и занимался, решил посвятить часть своего драгоценного времени рубке леса и оставил их вдвоем.

Мистер Норт вынужден был признать, что малютка выглядит отлично. Кроме того, он с вежливым интересом выслушал утверждение, что глазки у нее карие, совсем как у него, и что у нее есть уже целых пять зубов, и что она очень крепкая для девочки предполагаемого возраста, — и все же мистер Норт не спешил уходить. Наконец, держа руку на дверной задвижке, он обернулся к Бесси и спросил:

— Можно задать вам странный вопрос, мисс Робинсон?

— Валайте.

— Почему вы думали, что я... «тронутый»?

Честная мисс Робинсон склонилась над ребенком.

— Почему?

— Да, почему?

— Потому что вы и были тронутый.

— А!

— Но...

— Да...

— У вас это пройдет.

И под пустым предлогом, что нужно принести девочке поесть, она ретировалась на кухню, и, проходя мимо кухонного окна, мистер Норт с огромным удовлетворением обнаружил, что она сидит на стуле, накинув передник на голову, а сама так и трясется от смеха.

Следующие два-три дня он не посещал Робинсонов, погрузившись в воспоминания о прошлом. На третий день — нужно признать, не без усилия — он привел себя в привычное состояние тихой скорби. Буря и находка ребенка стали меркнуть в его памяти, как померк уже визит его родственников. Был мрачный, сырой день, и, когда раздался стук в дверь, он сидел у огня. Флора, под каковым вечно юным именем была известна его престарелая прислужница-индианка, обычно извещала о своем появлении подражанием крику кроншнепа. Значит, это была не она. Ему почудился шелест платья за дверью, и он вскочил на ноги, смертельно бледный, с именем на устах. Но дверь распахнула нетерпеливая рука, и в комнату ворвалась Бесси Робинсон! С ребенком на руках!

С непонятным облегчением он предложил ей сесть. Она с любопытством взглянула на него своими прекрасными глазами.

— Чего испугались?

— Я не ждал вас. У меня ведь никто не бывает.

— Оно, конечно, так... Только вот, скажите, вы к докторам ходили?

Недоумевая, он, в свою очередь, осведомился:

— А что такое?

— А то, что вам придется встать и поехать за доктором. Девочка-то наша заболела. Мы докторов не зовем, мы в них не верим, да и ни к чему они нам, но родители этого вашего ребенка звали, небось. Так что вставайте-ка со стула и бегите за доктором.

Джеймс Норт посмотрел на мисс Робинсон и встал, хотя и с некоторым сомнением.

Мисс Робинсон заметила это.

— Я бы вас не потревожила и не стала бы трястись три мили на лошади, если б можно было кого другого послать. Но отец в Юреке, лес покупает, и я одна. Эй, куда же вы?



«ИСТОРИЯ ОДНОГО РУДНИКА»



«ЧЕЛОВЕК СО ВЗМОРЬЯ»

Норт уже схватил шляпу и открыл дверь.

— За доктором,— изумленно ответил он.

— Вы что же, собрались прогуляться шесть миль туда да шесть обратно?

— Конечно. У меня же нет лошади.

— Зато у меня есть, она там снаружи привязана. С виду она неказиста, но как выберется на дорогу, побегит не хуже всякой другой.

— Но вы... вы-то как вернетесь!

— А я и не собираюсь возвращаться,— сказала мисс Робинсон, подтаскивая стул к огню, чтобы согреть ноги, и снимая шляпу и платок.— Я побуду здесь, покуда вы не привезете доктора. Ну! Пошевеливайтесь!

Ей не пришлось повторять этого дважды. Через мгновение Джеймс Норт уже сидел в седле мисс Бесси (драгунском) и мчался по пескам. Две мысли преследовали его: первая — что он, «тронутый», готов принести себя в жертву насмешникам из поселка только оттого, что должен доставить доктора к больной сиротке, которую он опекает; вторая — что в его уединенную обитель вторглась незваная, рослая, неграмотная, но довольно хорошенькая женщина. Он никак не мог избавиться от этих мыслей, но к чести его надо сказать, что выполнил поручение с большим усердием, хотя и не вполне вразумительно, так что доктор во время быстрой скачки уловил только одно: что Норт спас тонувшую молодую замужнюю женщину и у нее только что родился ребенок.

Несколько слов Бесси вывели доктора из заблуждения, хотя в любом другом обществе они могли бы потребовать дальнейших разъяснений, но доктор Дюшен, старый армейский хирург, был готов ко всему и ничему не удивлялся.

— Ребенку,— сказал он,— грозило воспаление легких, сейчас опасности нет, но требуется тщательный уход и осторожность. Ни в коем случае не застудите его.

— Тогда все ясно,— решительно заявила Бесси и, заметив недоумение на лицах мужчин, снизошла до объяснения:— Значит, вам придется съездить на кобыле к нам домой, подождать там до завтра, покуда мой старик вернется, а потом вы привезете мои вещи, потому что кому же другому ходить за малышкой, пока ей не станет лучше? Так что я с ней и останусь.

— Сейчас ее, безусловно, нельзя выносить на улицу,— сказал доктор, с улыбкой поглядев на растерянного Норта.— Мисс Робинсон права. Я поеду с вами до тропы.

— Боюсь,— сказал Норт, чувствуя, что обязан что-то сказать,— вам здесь будет не очень удобно...

— Оно так,— ответила она просто,— но я же это знала.

Норт устало пошел к двери.

— Спокойной ночи,— сказала она вдруг, протягивая ему руку с мягкой улыбкой, какой он у нее раньше не замечал.— Спокойной ночи. Присмотрите там за отцом.

Доктор и Норт некоторое время ехали молча. Норт обдумывал один несомненный факт: он едет в гости и, в сущности, расстался со своей прежней жизнью, а думать о своем горе в чужом доме — значит кошунствовать.

— Мне кажется,— неожиданно сказал доктор,— вы не знакомы с типом женщин, который так превосходно воплощает мисс Бесси. Ваша жизнь, вероятно, протекала среди более образованных людей.

Норту показалось, что доктор хочет вывести его тайну, и, пропустив последнюю фразу мимо ушей, холодно, хотя и правдиво ответил, что никогда не встречал таких дочерей Запада, как Бесси.

— Вам не повезло,— заметил доктор.— Наверное, вы считаете ее грубой и неграмотной?

Мистер Норт ответил, что она, несомненно, очень добра, а остального он, право же, не заметил.

— Это не так,— резко сказал доктор,— впрочем, если б вы сказали ей об этом, она не стала бы думать хуже о вас, так же, как и о себе. Говори она на языке греческих поселян, а не на местном диалекте и носи она *cestus*<sup>1</sup> вместо скверного корсета, вы бы поклялись, что перед вами богиня. Вам сюда. Спокойной ночи.

### ГЛАВА III

Джеймс Норт плохо спал эту ночь. Как распорядилась мисс Бесси, он занял ее спальню, потому что у них было всего две спальни, и «отец никогда не спит на

<sup>1</sup> Пояс — (греч.).



простынях и вообще страшно неаккуратный». В комнате было чисто, но и только. Немногочисленные украшения были ужасны: две или три аляповатые литографии; рабочая шкатулка, отделанная ракушками; омерзительный букет из сухих листьев и мха; морская звезда да две китайских фарфоровых вазы, таких безобразных, что им можно было поклоняться, как буддийским идолам,— вот что нравилось прекрасной обитательнице комнаты и вот на чем, возможно, будет воспитываться девочка. Утром его встретил Джо, который, по обыкновению кисло отнесшись к намерениям дочери, предложил Нарту остаться у него в доме, пока малютка не поправится. Но ждать пришлось долго; побывав у себя в хижине, Норт узнал, что девочке стало хуже, но, пока мисс Бесси случайно не проговорила, он даже не догадывался, что сама она всю ночь не сомкнула глаз. Прошла неделя, прежде чем он вернулся домой, и это была беспокойная неделя, но, впрочем, довольно приятная. Ибо ему немного льстило, что им командовала хорошая и красивая женщина, а мистер Джеймс Норт к этому времени был уже убежден в том и в другом. Раза два он ловил себя на том, что любит ее великолепной фигурой, вспоминая при этом похвалы доктора, а позже, соперничая с ней в откровенности, передал ей его слова.

— А вы что ответили?— спросила она.

— Ну, я засмеялся и... ничего не сказал.

И она ничего не сказала.

Через месяц после этого обмена откровенностями она спросила его, не может ли он переночевать у них.

— Понимаете,— сказала она,— в Юреке будут танцы, а я с прошлой весны и ногой не брыкнула. За мной заедет Хэнк Фишер— ну, и до утра я домой не вернусь!

— А как же девочка? — немного раздраженно спросил Норт.

— Ну,— сказала мисс Робинсон, поглядывая на него довольно воинственно,— небось, ничего с вами не делается, если вы приглядите за ней ночку. Отец не может, а если б и мог, от него толку мало. Как мать померла, он чуть было не отравил меня, вот так. Нет уж, молодой человек, не стану я просить Хэнка Фишера

тащить девчонку в Юреку и обратно и портить ему удовольствие!

— Значит, я должен очистить дорогу мистеру Хэнку... Хэнку... Фишеру? — осведомился Норт с легким оттенком сарказма в голосе.

— Ну да! Делать-то вам все равно нечего, вы же сами знаете.

Норт отдал бы все на свете, лишь бы сослаться на какое-нибудь неотложное дело, но он знал, что Бесси права. Ему нечего было делать.

— А Фишеру, вероятно, есть? — спросил он.

— Еще бы! Он же будет приглядывать за мной!

С самого первого дня своего одиночества Джеймс Норт не проводил более неприятного вечера. Он почти ненавидел невольную причину своего нелепого положения, расхаживая с ней взад-вперед по комнате. «Неслыханная глупость», — начал было он, но, вспомнив, что цитирует излюбленное высказывание Марии Норт по поводу его собственного поведения, он смолк. Девочка плакала, тоскуя без приятных округлостей и пухлых рук своей нянюшки. Немузыкально подпевая про себя, Норт отчаянно плясал с ней на руках, а думал он при этом о других танцорах. «Конечно, — размышлял он, — она сказала этому своему поклоннику, что оставила ребенка с «тронутым», с «Человеком со взморья». А может быть, на меня теперь будет постоянный спрос, — еще бы, безвредный простак, умеющий нянчить детей! Матери, рыдая, будут призывать меня. И доктор в Юреке. Он обязательно придет, чтобы полюбоваться своей богиней и вместе с ней сокрушаться о бессердечии «Человека со взморья».

И в конце концов он небрежно спросил у Джо, кто бывает на танцах.

— Ну что ж, — начал Джо похоронным голосом, — придет, значит, вдова Хигсби с дочкой, и четыре дочки Стаббса, и потом, значит, Полли Добл с этим молодцом, который служит у Джонса, да жена Джонса. Потом француз Пит, и Виски Бен, и этот малый, что ухлопал Арчера — не помню, как его, — и еще парикмахер... как же этого мулатика звать? Канака, что ли? Ах, черт подери, забыл! — продолжал Джо тоскливо, — скоро и как меня звать позабуду... и еще...

— Достаточно,— остановил его Норт и, еле скрывая отвращение, встал и унес девочку в другую комнату подальше от имен, которые могли оскорбить ее аристократические ушки. На следующее утро он рассеянно приветствовал вернувшуюся с танцев Бесси и скоро ушел, поглощенный коварным планом, созревшим бессонной ночью в ее собственной спальне. Он был убежден, что выполнит свой долг перед неизвестными родителями девочки, если оградит ее от оскверняющего влияния парикмахера Канаки и главным образом Хэнка Фишера, и решил послать письмо своим родственникам, сообщить им о случившемся и попросить у них приюта для малютки и помощи, чтобы найти ее родителей. Он адресовал письмо кузине Марии, припомнив, как эта юная девица трагически прощалась с ним, и надеясь поэтому, что ее любвеобильное сердце раскроется для его протеза. Затем он вернулся к прежним привычкам отшельника и с неделю не был у Робинсонов. Кончилось это тем, что однажды утром к нему явился Тринидад Джо.

— Это все моя девчонка, мистер Норт,— сказал он, понурившись.— Толковал же я вам раньше, предупреждал вас, что если, значит, она вобьет себе какую дурь в голову, так нипочем ее оттуда не выбить. Учиться она вздумала: в школу-то почти что и не ходила, ну, правда, газетки мы почитываем. Вот она и говорит, чтоб вы поучили ее, все равно же вам нечего делать. Понятно, о чем я?

— Да,— ответил Норт,— разумеется.

— И она думает, что, может, вы гордый и вам не по нраву, что она даром возится с девчонкой, и вот она, значит, задумала, чтоб вы дали ей книжек для учения и обучили ее болтать по-модному, чтобы вы с ней, значит, были квиты.

— Передайте ей,— от всей души сказал Норт,— что я буду только рад помочь ей и все равно останусь вечным ее должником.

— По рукам, значит? — спросил сбитый с толку Джо, отчаянно стараясь свести тираду своего собеседника к трем простым и удобопонятным словам.

— По рукам! — весело ответил Норт.

И ему стало легче. Ибо его тревожило, что он скрыл от нее свое письмо, но теперь он мог расквитаться с ней,

не роняя своего достоинства. И он сообщит ей о своем решении, рассчитывая, что честолюбие, побудившее Бесси стремиться к образованию, поможет ей согласиться с мотивами его поступка.

В тот же вечер он честно рассказал ей обо всем. Он не видел ее лица, но, когда она повернулась, голубые глаза были полны слез. Норт испытывал чисто мужской ужас перед слезными железами женщин, всегда готовыми к действию, но Бесси до сих пор никогда не плакала, и это что-то значило. Кроме того, она плакала так, как могла бы плакать богиня: она не сопела, не сморкалась, нос у нее не краснел, это было скорее нежное растворение, гармоническое таяние, и ему было приятно утешать ее: подсесть поближе, ласково поглядеть на нее своими грустными глазами и пожать ее большую руку.

— Оно конечно,— промолвила она печально, — да мне было невдомек, что у вас есть родные, я думала, вы такой же одинокий, как я.

Вспомнив о Хэнке Фишере и о «мулатике», Джеймс Норт не мог не намекнуть, что родственники его — очень богатые светские люди и приезжали к нему прошлым летом. Воспоминание о том, как они себя вели, и о том, как он сам к ним отнесся, удержало его от дальнейших подробностей. Но мисс Бесси, любопытная, как и всякая женщина, не утерпела:

— Это их, что ли, Сэм Бейкер привозил?

— Да.

— В прошлом году?

— Да.

— И Сэм привел лошадей сюда, чтобы задать им корму?

— Как будто да.

— И это ваши родные?

— Да.

Мисс Робинсон склонилась над колыбелью и обняла спящую девочку своими сильными руками. Потом подняла на него глаза, сверкающие гневом сквозь еще не высохшие слезы, и отдельно сказала: «Так-не-видать-им-этого-ребенка!»

— Но почему?

— Ах, почему? Я их видела! Вот почему! И все тут!

Эти расфуфыренные скелеты никогда не заменят бедняжке живых родителей! Нет, сэр!

— Полагаю, вы судите слишком поспешно, мисс Бесси,— забавляясь в душе, сказал Норт,— конечно, моя тетка с первого взгляда может и не понравиться; тем не менее у нее много друзей. Но я уверен, что вы не возражаете против моей кузины Марии — молодой барышни?

— Что? Эта сушеная каракатица, эта дохлятина — смотреть не на что, одни глаза?! Джеймс Норт, может, вы и дурак, как ваша старуха,— небось, это у вас семейное,— но только вы не дьявол, как эта девчонка! Нет — вот и весь сказ!

Так оно и случилось. Норт отправил второе письмо кузине Марии, сообщая, что ребенок уже пристроен. Довольная легкой победой, мисс Бесси стала милостивей обычного и на другой же день смиренно склонила свою прекрасную шею под ярмо учения и стала прилежной ученицей. Джеймс Норт восхитился бы ее природной понятливостью, даже если бы он не был пристрастен к ней и не становился бы с каждым днем все пристрастнее. Если ему раньше нравилось выслушивать ее наставления, то теперь он испытывал еще более утонченное наслаждение от ее абсолютной веры в то, что в этой области он знает все и правильно укажет ей путь в неведомом океане знаний. Ему нравилось направлять ее руку, выводившую буквы, но, боюсь, он испытывал бы куда меньшее удовольствие от этого, будь ее интеллект заключен в менее прекрасную оболочку. Недели неслись стремительно, и, когда однажды утром она протянула ему букетик шпорника и маков, он впервые понял, что пришла весна.

Вот один примечательный факт, который более других свидетельствует о растущем образовании мисс Бесси. Однажды Норт полушутливо заметил, что никогда еще не видел ее обожателя мистера Хэнка Фишера. Мисс Бесси (зардевшись, но сохраняя спокойствие): «И никогда не увидите!» Норт (поблуднев, но с жаром): «Почему?» Мисс Бесси (тихо): «Лучше не надо». Норт (решительно): «Я настаиваю». Бесси (сдаваясь): «Как мой учитель?» Норт (нерешительно, считая определение слишком узким): «Да-а-а!» Бесси: «И вы обещаете, что

не станете больше говорить об этом?» Норт: «Никогда». Бесси (медленно): «Ну, так он сказал, что это ужасно неприлично, что я ночевала у вас в хижинё». Норт (с неподдельным простодушием утонченной натуры): «Но почему?» Мисс Бесси (слегка задетая, но всецело преклоняющаяся перед этой натурой): «Тс-с! И не забудьте, что обещали!»

Эти новые отношения приносили им такую радость, что однажды мисс Бесси стала пенять Джеймсу Норту на то, что тот вынудил ее просить, чтобы он взял ее в ученицы.

— Вы же знали, какая я тогда была невежественная,— добавила она, и мистер Норт отплатил ей тем, что рассказал, как доктор говорил о ее независимости.

— Сказать правду,— заключил он,— я боялся, что вы отнесетесь к этому не так доброжелательно, как полагал он.

— Значит, вы считали меня такой же тщеславной, как вы сам! Как кажется, у вас с доктором нашлось много что сказать друг другу.

— Наоборот,— засмеялся Норт,— мы больше ни о чем не говорили.

— И вы не смеялись надо мной?

Пожалуй, Норт мог бы и не брать ее за руку, опровергая это предположение, однако он поступил именно так.

Мисс Бесси, еще погруженная в размышления, как будто не заметила этого.

— Если бы не энтот... то есть, эфотот... нет, если бы не этот случай... и вы бы не нашли малышку... я бы никогда с вами не познакомилась,— сказала она задумчиво.

— Да,— ответил Норт ехидно,— зато вы бы до сих пор числили среди своих знакомых Хэнка Фишера.

Идеальных женщин не бывает. Мисс Бесси взглянула на него с внезапным — первым и последним — проблиском кокетства. Потом быстро наклонилась и поцеловала... девочку.

Джеймс Норт был простодушен, но вовсе не глуп. Он вернул поцелуй, но не через посредника.

На крыльце послышался шум. Они покраснели и рассмеялись. В комнату с газетой в руках вошел Джо.

— Это вы верно сказали, мистер Норт, чтобы аккуратно, значит, читать газеты. Бьюсь об заклад, тут вот написано насчет родителей нашей девчоночки.

С медлительностью тяжелодума Джо уселся за стол и прочел следующее сообщение в сан-францисском «Геральде»:

— «Теперь уже не подлежит сомнению, что разбитое судно, о котором сообщил «Эол», было американским бригам «Помпейр», направлявшимся к Таити. Подтвердились самые мрачные предположения. Утонувшая женщина была опознана как прекрасная дочь Терп... Терп... Терпис...» А, черт! Никак не одолеть...

— Дай-ка, папа,— дерзко сказала Бесси.— Ты же как-никак человек необразованный. Послушай свою грамотную дочку.— И, отвесив насмешливый поклон новоявленному учителю, она стала посреди комнаты с газетой, сложенной наподобие книжки: точная карикатура на первую ученицу.

— Гм! Где это тут? А, вот: «...прекрасная дочь Терпсихоры, чье имя в прошлом году упоминалось в связи с загадочным великосветским скандалом,— талантливая, но несчастная Грейс Чаттертон...» Погодите, это еще не все! «Тело ее ребенка, прелестной полугодовалой девочки, не обнаружено и, вероятно, было смыто волнами за борт». Это же и есть наша малютка, мистер Норт. Отец! Господи, что это? Он сейчас упадет! Помогите ему, папа! Быстрее!

Она поспела на помощь раньше отца, подхватила Норта сильными руками и уложила в кровать, в которой он пролежал без сознания целые сутки. Потом началось воспаление мозга и бред, и доктор Дюшен телеграфировал его друзьям, однако через неделю на рассвете летнего дня и эта гроза миновала, как зимняя буря, и он очнулся, слабый, но спокойный. Бесси сидела рядом, и он был рад, что она одна.

— Бесси, дорогая,—слабо проговорил он,—когда мне станет лучше, я скажу вам кое-что.

— Я все знаю, Джем,—сказала она дрожащими губами,—я все слышала... нет, не от них, а от вас самого, когда вы бредили. Я рада, что узнала это именно от вас — даже тогда.

— Вы прощаете меня, Бесси?

Она поцеловала его в лоб и сказала, поспешно, с запинкой, будто испугавшись своего порыва:

— Да. Да.

— И вы останетесь матерью этому ребенку?

— Ее ребенку?

— Нет, дорогая, не ее ребенку, а моему!

Она вздрогнула, всхлипнула, а потом, обняв его, проговорила:

— Да.

И так как существовал лишь один путь к осуществлению этого священного обета, осенью они поженились.



## ДРУГ РОДЖЕРА КАТРОНА

Разумеется, все мы с самого начала знали, чем это кончится. Он всегда был такой благовоспитанный и ровный, а в душе такой порывистый, всегда такой воздержанный и благоразумный, а в душе такой жадный до удовольствий, всегда такой осмотнительный и практичный, а в душе такой фантазер, что когда наконец он расторг узы своих добродетелей и окунулся в новую жизнь, может быть, не худшую, чем многие иные жизни, которые общество одобряет, видя в них естественное проявление разнообразия человеческих натур, мы сразу решили, что случай этот безнадежен. А когда однажды вечером мы выудили его из Союзного канала, грязного, оборванного пьяницу, безнадежного и злостного неплательщика долгов, бесстыжего мота и плаксивого слабоумного, мы поняли, что с ним все кончено. Жена, которую он бросил, теперь сама отказалась от него; женщина, которую он соблазнил, увидела свою ошибку и с горькими упреками покинула его; товарищи по беспутной жизни, которые сперва обобрали его дочиста, теперь обнаружили, что никакого проку от него больше нет, а радости и подавно; и выход оставался только один — передать его на попечение штата, и мы доставили его в ближайший полицейский участок. Исполнив долг доброго самаритянина, каждый из нас вернулся домой, к своей собственной жене, и поведал ей историю грешника. Надо ли говорить, что нежные эти создания были куда больше тронуты филантропией своих супругов, чем жалким предметом этой филантропии?

— Какой прекрасный ты человек, мой милый! — сказала в тот вечер любящая миссис Мастон своему супругу, когда он вернулся домой, истомленный трудами праведными, и швырнул сюртук на стул. — Надо иметь твое золотое сердце, чтобы возиться с этим скотом. И все же после того, как он бросил свою жену — она ангел, настоящий ангел! — и связался с этой страшной особой, я бы, пожалуй, оставила его умирать в канаве! Подумать только! Ведь ты эту особу даже словом не удостоил бы!

Тут мистер Мастон слегка кашлянул, чуть покраснел, пробормотал что-то о том, что есть вещи, которых женщины не понимают, и о том, что мужчина есть мужчина, а потом преспокойно улегся спать, а запертый в тюрьме отщепенец, пребывая в блаженном забвении, и не подозревал даже об этих обвинениях в его адрес.

Ближайшие полсуток он пролежал пластом, ничего не чувствуя и почти ничего не соображая. Очнулся он в неистовстве, одержимый жаждою мести, и никто не мог с ним справиться; и камера и тюремный коридор гудели проклятиями, которые он призывал на головы друзей и врагов; потом он снова утих, мрачно и настороженно. От пищи он отказывался, не спал и непрерывно, лихорадочно метался по камере, точно тигр в клетке. Этих нехитрых симптомов оказалось достаточно для диагноза: два врача объявили его сумасшедшим, и сразу вслед за тем заключенного повезли в Сакраменто. По пути, однако, ему удалось обмануть бдительность стражи и бежать. Поднялась тревога, снарядили погоню, лучшие сыщики Сан-Франциско ринулись по его следам и в конце концов в болотах Станисло натолкнулись на его тело, совсем иссохшее от голода и лихорадки; опознав мертвеца и получив тысячу долларов вознаграждения, обещанного близкими и дальними родичами покойного, сыщики вместе с должностными лицами законным образом констатировали тот самый конец, который мы предсказывали так давно.

К несчастью, мораль, которую можно было бы извлечь из этой истории, несколько пострадала от того, что факты не вполне совпали с теорией. Через день-два после того, как были найдены и опознаны останки мистера Катрона, подлинный мистер Катрон, «пятидесяти двух лет от роду, седой, тощий и оборванный», — так значилось

в объявлении — измученный, дрожащий, всклокоченный, тащился вверх по крутому склону Дедвудского холма. Как это сделать, он решил уже давно — еще в тот миг, когда ухитрился скрыть от бдительного ока надзирателей свой маленький пистолет. А где это сделать, он надумал лишь в последние несколько минут. Люди редко забредают на Дедвудский холм, и его труп мог бы пролежать здесь много месяцев никем не замеченный. Прежде он подумывал о реке, но припомнил, как безобразно открывает она свои тайны на отмелях и в мелководье и как тело Виски Джима, разбухшее, изуродованное почти до неузнаваемости, открылось взорам Сэнди-Бара однажды перед завтраком, на левом берегу Станисло. Он с трудом продирался сквозь чемисаль, покрывавший южный склон холма, и наконец достиг голой, исхлестанной ветрами вершины, насмешливо украшенной облысевшими плюмажами двух-трех засыхающих сосен. Одно из деревьев, сохранившее только два вытянутых в разные стороны сука, вызвало в его воспаленном мозгу какое-то смутное воспоминание детства. На фоне тусклого, догорающего заката эта сосна раскинула две тощие руки — черные, неподвижные и трагические. Голгофа!

С этим словом на губах он упал ничком, под самым деревом, и, вцепившись пальцами в землю, пролежал несколько минут молча и неподвижно. Этот человек — скептик, неверующий — молился! Не могу, более того, не смею утверждать, что молитва была услышана и что бог просветил его в эту минуту. Но будем уповать, что искра божья ярко вспыхнула в нем в этот решающий миг стыда и муки. Во всяком случае, когда поднялась луна, он тоже поднялся — может быть, только менее решительно, чем наше ночное светило, — и начал спускаться с горы с лихорадочной поспешностью, которая, однако, была так не похожа на прежнюю слепую неосмотрительность, что казалось, будто у него появилась цель и он знает, куда идет. Когда он снова выбрался на дорожку, он пошел по ней в ту сторону, где вдали мерцал огонек. Не упуская из виду путеводную эту звездочку, он шел и шел, пока тяжело не навалился на дверь хижины, в окне которой и горел свет. Дверь отворилась. На пороге стоял коренастый, широкоплечий человек, и Катрон бросился к нему

так стремительно, что тот принял гостя в объятия в буквальном смысле слова.

— Капитан Дик,— прохрипел Роджер Катрон,— спасите меня! Ради бога, спасите!

Капитан Дик безмолвно положил ему на плечо свою широкую ладонь, словно беря гостя под защиту, потом обнял его за пояс и спокойно, но твердо втащил в хижину. Но обнимая гостя, он сумел тихо и незаметно завладеть его пистолетом.

— Спасти вас? От чего?— спросил капитан Дик, так же незаметно и спокойно опуская пистолет в мешок с мукой.

— От всего,— задыхаясь, ответил Катрон,— от тех, кто гонится за мной, от моей семьи, от друзей, но главное — от... от... меня самого!

Теперь уже он, в свою очередь, схватил капитана Дика за плечо и в иступлении прижал его к стене. Капитан высвободился, взял руки своего обезумевшего гостя в свои и сказал с расстановкой:

— Вам нужно бы проглотить парочку синих пилюль, чтобы печени полегчало. Сейчас изготовим.

— Но, капитан Дик, я ведь изгнан, опозорен, обесчещен!..

— Две пилюли сейчас, две утром,— убеждал капитан, скатывая между пальцами внушительных размеров шарик,— вот мозги снова и станут круто к ветру. А то вас все время сносит, так надо взять правильный курс.

— Выслушайте меня, капитан,— настаивал изнемогающий Катрон и, снова вцепившись в мускулистые плечи хозяина, почти вплотную придвинул свое мертвенно бледное лицо с остекленевшими глазами к лицу капитана Дика.— Вы должны меня выслушать. Меня посадили в тюрьму, вы слышите? В тюрьму — как обыкновенного преступника... Меня отправили в сумасшедший дом, как слабоумного нищего... Я...

— Две сейчас, две утром,— продолжал капитан, спокойно высвобождая одну руку, для того только, чтобы сунуть прямо в рот Катрона две огромных пилюли.— А теперь глоток виски... хватит... только, чтобы запить лекарство, отбить горечь — закрепить, так сказать, а как там вообще делишки, в Сэнди-Баре?

— Капитан Дик, выслушайте меня, ведь вы мой друг... Ради бога, выслушайте меня! Час назад я едва не наложил на себя руки...

— Говорят, Сэм Болин продал свою долю...

— Капитан Дик, послушайте, ради бога! Я так измучился.

Но капитан Дик был поглощен изучением лица своего гостя и размышлял вслух:

— Пожалуй, плесну-ка я вам того успокоительного, что купил на днях у Симпстона. А, говорят, ребята в Баре ждут в этом году ранних дождей.

Но тут вступила в свои права всемогущая природа. Роджер Катрон, измученный волнением, лихорадкой, усталостью (а может быть, и снадобье капитана Дика оказало свое действие), вдруг побледнел и покачнулся. Капитан Дик мгновенно подхватил его на руки, как ребенка, завернул в одеяло и уложил на свою койку. Но даже и тут, уже совершенно обессилив, Катрон сделал еще одну отчаянную попытку пробудить сочувствие в груди своего хозяина.

— Я знаю, что я болен... может быть, я умираю,— задыхаясь, бормотал он под одеялом,— но обещайте, что бы ни случилось, сообщите жене... скажите, что...

— Здесь последние дни здорово пахло дождем,— невозмутимо продолжал капитан на своем удивительном земноводном наречии,— но в этих широтах погоду никак не угадаешь, нечего и пытаться.

— Капитан, вы меня выслушаете или нет?

— Сейчас вы уснете,— властно заявил капитан.

— Но ведь за мною гонятся, капитан! Что, если они меня выследят?

— Вот мое ружье, а вот револьвер. Когда выпущу все заряды и понадобится ваша помощь, я вас кликну. А пока ваше дело спать. Сейчас моя вахта.

Твердый, положительный, уверенный и даже немного грозный тон капитана произвел такое впечатление на обессиленного, дрожавшего под одеялом Катрона, что он умолк. Еще немного — и его дыхание (хотя и учащенное и не совсем ровное) возвестило, что он спит. Капитан встал, отступил на несколько шагов и, склонив голову набок, принялся тихонько насвистывать и разглядывать спящего с благодушной задумчивостью, словно он был

художником, а Катрон — его творением, которое еще не вполне его удовлетворяло. Наглядевшись, он надел просторный бушлат поверх фланелевой рубахи, вытащил из угла мексиканское серапе, набросил его на плечи, отворил дверь, уселся на пороге и, прислонившись к дверному косяку, приготовился к размышлениям. Над гребнем Дедвудского холма медленно поднялась луна и с полным доброжелательством бросила взгляд на широкое белокожее бритое лицо капитана, такое же круглое и гладкое, как собственный ее лик, но опущенное тонкой каймой седых волос и бакенбардов. И правда, в полумраке это лицо удивительно напоминало забавные изображения небесных светил в юмористических журналах, так что луне вполне могло прийти в голову пококетничать с капитаном; и она принялась за дело, зажигая искорки в его пронизательных серых глазах, рисуя тенями ямочку на широком жирном подбородке и вообще всячески украшая и идеализируя своего героя, как это обычно делают представительницы слабого пола. Разнеженный этой лаской, капитан Дик вдруг раскрыл рот и запел. Песня повествовала о многом, главным же образом — о подвигах некоего Лоренцо, который, по его же собственным словам:

На пароход поступил  
Рендо, ребята, Рендо...—

какое-то обстоятельство разом лишило его способности соблюдать правила грамматики и даже связывать одну мысль с другой. По временам с койки, где спал Роджер Катрон, доносился стон или невнятный крик, и эти звуки, казалось, всякий раз побуждали капитана Дика выводить свои рулады еще громче и еще быстрее. К утру, когда капитан успешно завершил «Эй, вахта по правому борту!» со сложными фиоритурами, голос Роджера, перебивая его вой, вырвался из-под одеяла, громкий, и сердитый:

— Заткнись, старый болван, чтоб тебя!..

Капитан Дик немедленно умолк. Он вскочил на ноги, огляделся и подмигнул с таким умопомрачительным лукавством, точно вся природа была его сообщницей.

— Выравнивается,— сказал он тихонько, потирая руки.— Пилюльки мои подействовали. Так держать, ребята, так держать! Точно по курсу, так же точно, как луна!

Он еще раз подмигнул, все с тою же невыразимою мудростью, вошел в хижину и запер за собою дверь.

Тем временем избранное общество Сэнди-Бара окружило вниманием новоиспеченную вдову. Все понимали, хотя прямо и не говорили, что с этих пор сочувствие миссис Катрон не таит в себе никакой опасности и не влечет за собой никаких моральных обязательств. Ей даже готовы были помочь деньгами, о чем раньше никто не заикался, так как они могли быть употреблены не по назначению и из-за слабости жены послужить порокам мужа. Каждый чувствовал, что кому-нибудь следовало бы что-то сделать для вдовы. И немногие даже и сделали. Все дамы были исполнены к ней самого горячего сочувствия, но, к сожалению, практической пользы от этого не было никакой. В конце концов, когда казалось уже очевидным, что ей остается только открыть где-нибудь в Сан-Франциско дешевый пансион, по примеру бесчисленных американок из хорошей семьи, которые видели лучшие дни, но больше их уже не увидят, несколько богатых родственников мужа и ее собственных решили вмешаться, чтобы спасти ее от подобной судьбы. Проще было дать ей приют у себя в доме, как равной, чем игнорировать ее, как владелицу пансиона на соседней улице. А когда присмотрелись внимательнее, то обнаружили, что ее еще можно счесть приличной партией и что она производит отличное впечатление, а в своем вдовьем трауре придает дому богатой американской семьи ту поэтичность и трогательность, которые столь же необходимы ему, чтобы не отстать от моды, как и дорогие картины.

— Да, история бедняжки Каролины очень, очень печальна,— томно говорила миссис Уокер Катрон.— Мы все ей от души сочувствуем, Уокер смотрит на нее, как на родную сестру.

В чем именно заключалась эта печальная история, хозяйка дома не объяснила, и подобная таинственность только еще больше поражала воображение гостя, а кроме того, свидетельствовала о высоких душевных качествах рассказчицы. Без благородного и благовоспитанного скелета в чулане американская семья не способна дать ту

пищу праздной молве, которая не позволяет обществу забывать своих членов. Вполне естественно, что при таких обстоятельствах сама миссис Роджер Катрон поддалась сентиментальному обману и вообразила, будто беды ее, и правда, куда более тонкого и деликатного свойства, чем ей казалось прежде. Порой, когда эта неопределенная тень, брошенная на репутацию покойного супруга, принимала благодаря загадочному молчанию друзей образ убийства или грабежа на большой дороге, а то даже и покушения на ее собственную жизнь, она убегала к себе в комнату, чуть-чуть испуганная, и, «выплакавшись», возвращалась в гостиную еще печальнее и торжественнее, чем обычно, подкрепляя вышеуказанные подозрения. Два-три чересчур горячих джентльмена, растроганные чуть покрасневшими веками вдовы, открыто выразили сожаление, что покойника не успели повесить, на что миссис Уокер Катрон ответила:

— Слава богу, что хоть от этого позора мы были избавлены! — и этим окончательно утвердила своих собеседников в их мнении.

Прошло около двух месяцев с того горестного дня, когда оборвалась семейная жизнь миссис Катрон, и вот в дождливое февральское утро слуга подал ей визитную карточку, на которой она прочла: «Ричард Грэм Мак-Леод».

В звучных именах есть притягательная сила, во всяком случае, для женщин, а в этом имени была к тому же какая-то шотландская респектабельность, и миссис Катрон, хоть и не знала того, кому оно принадлежало, велела передать, что «спустится через несколько минут». В конце этого по-женски неопределенного отрезка времени, оказавшегося равным пятнадцати минутам — по французским часам на каминной полке, — миссис Катрон появилась в гостиной. Я уже сказал, что день стоял хмурый и мрачный, но зелень и редкие цветы на Береговых Хребтах уже обещали возрождение природы и раннюю весну. От миссис Катрон тоже веяло весной то ли благодаря кокетливо повязанному банту и особенно широкому, особенно изящному рюшу, то ли просто потому, что она необычайно туго затянула поясок на своем черном кашемировом платье, однако ее глаза свидетельствовали о



недавнем дожде и переменчивой погоде. Когда она вошла, из-за туч выглянуло солнце и показало всю прелесть и изящество ее фигуры, но заодно, к сожалению, и невзрачность посетителя, невзрачность, я бы сказал даже, несколько вызывающую.

— Я так и знал, что вы сперва не тот курс возьмете по причине моего имени,— сказал гость.— Но вообще-то я «капитан Дик». Может, вы слышали обо мне от вашего супруга, от покойного, то есть вашего супруга, от Роджера Катрона?

Миссис Катрон, страдая от кровной обиды, нанесенной ее рюшу, пояску и банту, подтвердила ледяным тоном, что действительно ей приходилось о нем слышать.

— Ну, конечно! — заявил капитан.— Господи, а про вас-то мистер Катрон без умолку говорит, то есть говорил раньше, когда еще был жив... И всегда запросто, начистоту, без утайки. Помните, однажды ночью вернулся он домой и нес парусов, пожалуй, больше чем положено, а вы и выставили его из дому, напустились на него с метлой, что ли, или с этим... как его... с крокетным молотком, уж не помню, с чем. Пришел он тогда ко мне, к старому капитану Дику, а я ему и говорю: «Что там, Роджер, милые дерутся — только тешатся, а вы так нагрузились, что любая женщина взбесится...» Господи помилуй, да я про все ваши ссоры и раздоры знал, про все, как есть, и никогда не делал вид, будто меня это не касается: чуть что, стараюсь замолвить за вас словечко, а то и совет подам, если меня спросят.

Миссис Катрон — вся с головы до пят ледяная статуя, не считая только пылающих щек,— изъяснила свое удовольствие по поводу того, что у мистера Катрона, по-видимому, был друг, которому он поверял все, даже собственные низкие и лживые измышления.

— Что ж, может, оно и так,— задумчиво сказал капитан Дик,— но только вы не думайте, будто он все ходил одним галсом,— прибавил он нравоучительным тоном,— возьмите хоть тот день, когда он сорвал большой куш,— по-моему, в Датч-Флет это было,— и подарил вам эти браслеты из чистого, значит, золота; вот бы вы тогда порадовались, если бы слышали, как он про вас говорил: таких, мол, ручек, как у вас, по всей Калифорнии не най-

дешь. Да,— капитан оглянулся в поисках самого сильного и убедительного выражения,— да, он прямо-таки гордился вами, это уж точно. Да ведь я был с ним во Фриско в тот раз, когда он купил вам ту шикарную шляпку за семьдесят пять долларов, да и занял у меня двадцать пять долларов, как у него самого только пятьдесят и было. Может, она и была ярковата, только зря он принял так близко к сердцу, что вы сменяли ее на ту широкополую шляпу с цветами, когда адвокат Максвелл сказал, что вам широкополые шляпы будто к лицу. Видите ли, он, по-моему, всегда вроде как ревновал вас к этому крючкотвору...

— Разрешите узнать, по какому делу вы пришли?— резко перебила миссис Катрон.

— Да, да, конечно,— сказал капитан, поднимаясь.— Видите, дело какое,— продолжал он извиняющимся тоном,— заговорили мы о Роджере и о старых временах, вот я и сбился с курса.

Порывшись в карманах, он вытащил записную книжку, заглянул в нее и сказал:

— Я насчет двухсот пятидесяти долларов.

— Ничего не понимаю!— возмутилась удивленная миссис Катрон.

— Пятнадцатого июня,— сказал капитан, справляясь с записной книжкой,— Роджер продал свою заявку в Найфорде за полторы тысячи долларов. Теперь глядите. Триста пятьдесят долларов он тут же спустил в poker — сам мне признался. Прибавим пятьдесят на угощение, ужин там и напитки. В общем, на Роджера кладем четыреста. Дальше ваши расходы. На поездку во Фриско тем летом вы истратили двести пятьдесят, потом подарки посылали тетке своей Джейн — еще, значит, двести, четыреста долларов кладем на хозяйство. Всего, выходит, тысяча двести пятьдесят. Куда же еще двести пятьдесят подевались?

Миссис Катрон, как настоящая женщина, незамедлительно огрызнулась вместо того, чтобы дать волю справедливому и естественному негодованию на бесцеремонность гостя. И благодаря такой женской слабости утратила все преимущества своей позиции.

— Спросили бы лучше ту особу, с которой он сбежал,— ответила она с нескрываемой злостью.

— Оно как будто бы и резонно,— медленно проговорил капитан,— да только дело-то обстояло не так. Насколько я знаю, не она брала у него деньги, а он у нее. Значит, и двести пятьдесят долларов не туда попали.

— Роджер Катрон оставил меня без гроша,— сердито заявила миссис Катрон.

— В этом-то и вся суть. Где-нибудь они да лежат, эти двести пятьдесят долларов.

Тут миссис Катрон поняла свою ошибку.

— Позвольте, а по какому праву вы меня допрашиваете? Если это право у вас есть, то будьте добры обратиться или к моему деверю, или к моему поверенному, если же нет,— я надеюсь, вы не заставите меня позвать слуг, чтобы они выставили вас отсюда.

— Что же, и в этом есть свой резон,— сказал капитан задумчиво.— Роджер Катрон уполномочил меня привести в порядок его дела и уплатить долги как раз за неделю до того, как сыщики вручили вам его тело. Но я думаю, мы с вами обойдемся без законников: зачем лишние расходы, пустая суетня? Лучше, думаю, по душам о Роджере поговорить, прошлое вспомнить, погрузиться: ведь мы оба хорошо его знали... Приятный мог бы выйти у нас разговор, спокойный.

— До свидания, сэр,— сказала миссис Катрон и высокомерно поднялась.

Капитан опешил, слегка покраснел и встал лишь тогда, когда дама уже направилась к двери.

— До свидания, сударыня,— сказал он и ушел.

В доме об этом разговоре не узнали почти ничего, хотя у всех сложилось впечатление, что кто-то из собутыльников покойного Роджера пытался шантажировать бедную вдову, но получил достойную отповедь. Надо отдать должное миссис Катрон, она свирепо отделала двух благодетелей, выразивших ей по этому поводу сочувствие, потом проплакала два дня, к ужасу своей невестки, объявила, что «хотела бы умереть».

Через неделю после вышеописанных событий Мак-ЛеоДз явился в контору к адвокату Филиппсу. Капитан, видимо, понимал разницу между вдовой и адвокатом и сначала предъявил доверенность.

— Вряд ли вам нужно объяснять,— сказал Филиппс,— что смерть вашего доверителя лишает этот доку-

мент всякой силы. И я полагаю, вам известно, что ваш доверитель не оставил ни завещания, ни имущества, поэтому и делами его никто не занимался.

— Может, оно и верно, а может, и нет. Но я пришел к вам только за справкой. Был у него участок с дробилкой, на Хэвитри, и его продали за десять тысяч. Вот и не разберусь никак,— продолжал капитан, заглядывая в свою записную книжку,— перепало что-нибудь Роджеру от этой продажи или нет...

— Участок был заложен за семь тысяч, а проценты и накладные расходы составляют еще три тысячи,— торопливо заявил адвокат.

— Закладная была выдана в обеспечение долговой расписки?

— Да, карточный долг,— раздраженно сообщил адвокат.

— Так-то оно так, да сдается мне, что игра была нечестная. Зря он дал расписку! Да вот, пожалуйста! Помните, как в шестидесятом году, когда мы с вами были в Мэрисвилле, вы просадили в фараон семьсот долларов, а потом отказались платить по своему векселю: дескать, это карточный долг и мошенничество? И помните, как тот малый пнул вас, и я его от вас оттаскивал, а?..

— Извините, мистер Мак-Леод,— торопливо сказал адвокат,— у меня спешное дело. Нужную вам информацию вы получите у моего клерка. До свидания...

— Странно,— задумчиво произнес капитан, спускаясь по лестнице,— чуть только разговор становится дружеским и я выхожу в открытое море и ставлю все паруса, мне сразу же: «До свидания, капитан»,— и наступает полный штиль.

Дело, очевидно, не обошлось без вмешательства оккультных сил, но весь этот разговор (с небольшими преувеличениями), а также беседа капитана с вдовой (тоже не без прибавлений разного свойства) стали достоянием всего Сэнди-Бара, к великому удовольствию наших ребят. «Мороженная Истина», как прозвали капитана в Сэнди-Баре, не пропустил ни одного человека, который когда-либо имел дела или водил знакомство с Роджером Катроном, и допросил его с той же прямотой и простотой. По слухам, беседу с сыщиком из Сан-Франциско, одним из тех, кто нашел труп Роджера Катрона, он закончил так:

— Ну, с делом мы покончили, а теперь я расспросил бы вас про Мэта Джоунса, с которым вы разбойничали в Австралии. Он мне очень интересно рассказывал, как вы с ним вышли из тюрьмы, а потом полиция гналась за вами и как под конец вы вплавь добрались до барка из Сан-Франциско и спаслись.

Но тут у сыщика, как и у всех остальных, оказалось совершенно неотложное дело, и поток капитанского красноречия прервался. Естественным следствием этой деятельности капитана оказался крутой перелом в общественном мнении Сэнди-Бара—в пользу покойного Роджера, такой крутой, что преподобный Джошуа Мак-Снэгли вынужден был в ближайшей воскресной проповеди довольно сурово напомнить о безнравственной жизни Катрона. После службы к нему подошел капитан Дик и в присутствии многих прихожан сделал ему следующий комплимент:

— Обрисовали вы Роджера, ну, прямо как живого. Да и удивляться тут нечему! Вы ведь всегда были с ним похожи. Господи ты боже мой, а помните, как после пожара в Сакраменто он дал вам сотню, чтобы отстроить ваш дом? Вот тогда он мне и сказал... Я-то вас недолюбливал, как я был в комиссии, которая попросила вас из Мэрисвилла из-за той вашей истории с дочкой церковного старосты. Смазливая была девчонка! А, ваше преподобие? Ну вот, Роджер мне и говорит: «У всякого человека есть свои слабости». И еще говорит: «А разве священник уже и не человек? И ведь дочка Пэрселла хуже всякой чумы, мне-то это известно». Так что я понимаю, каково вам было обличить Роджера — похуже, чем какому-нибудь там мученику.

Но тут причетник попросил капитана Дика выйти из церкви, потому что он загораживал проход, и потому его красноречию снова был положен конец.

Впрочем, только на короткий срок. Вскоре прошел слух, что капитан Дик созывает собрание кредиторов, должников и друзей Роджера Катрона в Робинсон-Холле. Предполагалось, и не без основания, что это делается по наущению шутников и остроумцев Сэнди-Бара, которые злоупотребили доверчивостью и простодушием капитана, и как бы то ни было, народу туда явилось куда больше, чем на обычное деловое собрание. Весь Сэнди-Бар набился

в Робинсон-Холл, и задолго до того, как капитан Дик появился на сцене с неизбежной записной книжкой в руке, в зале уже яблоку негде было упасть.

Капитан Дик начал читать сообщение о расходах Роджера Катрона, соблюдая неумолимую точность во всех жестах. Проигрыши в покер, счета за виски и отчет о «загуле» у Тули, который обошелся примерно в двести семьдесят пять долларов, были встречены восторженными криками собравшихся. С удовольствием приветствовали и единственный счет от портнихи на сто двадцать пять долларов. Роджера едва не объявили святым, узнав, что он пожертвовал сто долларов на объединенную труппу весталок. Зал разразился бурными аплодисментами, когда выяснилось, что поездка в коляске с церковным старостой Фиском обошлась в пятьдесят долларов. Зато зловещим ревом были встречены пятьсот долларов, которые Роджер предоставил без всякой гарантии Джонсу, когда тот баллотировался в законодательную палату штата: мало того, что Джонс не возвратил этого долга, он еще внес недавно законопроект о запрещении карточной игры и продажи пива по воскресеньям. Два или три пункта, касавшихся сумм, отданных Роджером взаймы, вызвали поспешный уход нескольких джентльменов, и аудитория проводила их свистом и насмешливыми возгласами.

Наконец капитан Дик кончил и подошел к рампе.

— Господа и добрые друзья,— медленно сказал он,— по моим подсчетам, Роджер Катрон честно заработал в ваших краях двадцать пять тысяч. В этих же ваших краях он, по моим подсчетам, потратил двадцать семь тысяч. Я прошу вас рассудить, как людей справедливых, был ли этот человек нищим и злостным неплательщиком. Вы, как люди справедливые, свободные и без предрассудков, как люди, сведущие в политической экономии, должны рассудить: разве такие, как Роджер Катрон, разоряют эти края?

В ответ раздалось дружное, громовое «Нет!», которое почти заглушило последние слова оратора.

— Остается еще один пункт,— сказал капитан Дик медленно,— только один, и мы, как люди справедливые, сведущие в политэкономии, мне кажется, вправе его обсудить. Я вам сообщил про две тысячи, выплаченные из

средств Роджера Катрона сыщикам из Сан-Франциско за обнаружение тела Роджера Катрона. Господа и друзья из Сэнди-Бара, это тело нашел я. Вот оно!

И на сцену вышел Роджер Катрон, немного бледный и взволнованный, но вполне осязаемый.

Конечно, на следующий день все газеты были полны этим событием. Конечно, в должное время это известие появилось и в сан-францисских газетах, но там оно было несколько приукрашено и искажено. Конечно, миссис Катрон, прочтя его, упала в обморок и в течение двух дней твердила, что этот последний жестокий удар расторг последние связи между нею и ее супругом. На третий день она высказала мнение, что супруг давно бы нашел способ, хотя бы ради приличия, снестись с нею, если б сохранил хоть каплю чувства... На четвертый день ей пришлось в голову, что у нее были плохие советчики, и она перессорилась со всеми своими родственниками, сообщив им, что у жены есть определенные обязанности перед мужем, и прочее. На шестой день, по-прежнему не получая от него никаких известий, она вспомнила о всепрощении, процитировала священное писание и долго рыдала. На седьмой день она уехала утренним поездом в Сэнди-Бар.

Право, не знаю, что еще сказать. Недавно я обедал у них, и, честное слово, никогда в жизни мне не приходилось присутствовать на таком скучном, чинном и чопорном обеде.

## ДЖИННИ

Вероятно, те немногие, кому довелось знать и любить героиню этого очерка, до конца дней своих будут сожалеть, что не сразу поняли ее возвышенную натуру; более того, станут мучиться угрызениями совести, ибо хоть на минуту поверили, будто к ней можно подходить с той же меркой, что и к другим ее сородичам. Как и всех представительниц прекрасного пола, ее не пощадила клевета, всегда склонная чересчур строго судить ветреность и легкомыслие, столь понятные и простительные в юности. Вполне возможно, что отличавшая ее в более зрелом возрасте твердость характера на первых порах казалась упрямством, щепетильность и разборчивость — ребяческими капризами, а решительные проявления живого ума — отроческой дерзостью, и лишь с годами трезвость ее суждения завоевала всеобщее уважение.

Она увидела свет у Индейского ручья, а месяц спустя была доставлена в Отмель Пильщика, и все единодушно порешили, что предгорья еще не видывали такого крошечного ослика. Легенда гласит, что ее принесли сюда в сапоге Дэна Камнеломы; правда, указанный джентльмен опроверг это как ложный слух, но, очевидно, поступил так из мужского кокетства, связанного с размером его обуви, а вовсе не из верности историческим фактам, и с опровержением этим считаться не следует. Доподлинно известно, что следующие два месяца Джинни провела в хижине Дэна и лишь затем (быть может, возмущенная этой и иными сплетнями) покинула его кров навсегда.



— Я-то ничего такого не ждал,— рассказывал Дэн.— Вдруг в полночь слышу: по крыше вроде град стучит и камни сыплются, вроде как в каньоне скалы динамитом рвут. Вскочил, запалил огонь, гляжу: в углу, где она спала, куча щепы да хворосту, в стенке дыра, а Джинни и след простыл! Ну, а копыта у нее крепкие, сами выдали — ясно, она ими стенку прошибла!

Боюсь, именно этот подвиг положил начало ее нелепной репутации и даже пробудил в юной душе неуместное тщеславие и честолюбивые устремления, которые в ту пору можно было бы направить в более возвышенное русло; ибо эта отроческая выходка (и ожидание других поступков в том же духе) сразу вызвала пагубную лесть и чрезмерное внимание всего старательского поселка. Джинни хитроумно подстрекали вновь и вновь повторять ту же проделку, и под конец скудная обстановка хижины обратилась в щепки, а поклонники Джинни выхивали себе среди этого хаоса ноги и наживали синяки и мозоли. Но даже в ту раннюю пору в Джинни уже заметен был ясный ум, который впоследствии так всех поражал. Никто не убедил бы ее лягнуть кучу кварцевого щебня, бочонок с запалами, голову или хотя бы ногу Черномазого Пита. Избыток энергии она расточала не как придется, а с разборчивостью истинного художника.

— Вы только поглядите,— говорил Дэн с отеческой нежностью.— Она не чета прочим ослам и мулам: те, я слышал, лягаются враз, не подумавши, а она нет. Она эдак подберется, вроде примерится не спеша, правой задней ногой тихонько в воздухе помашет, ну прямо как ангельским крылышком, да поглядит эдак кротко, вроде замечталась... а потом как нападдаст! Верно я говорю, Джинни? Ну вот! Видали? — продолжал Дэн с благородной самоотверженностью художника, осторожно выбираясь из развалин бочки, на которой только что сидел.

— Вот вам! Видали такое? Стало быть, пока я вам тут рассказывал, она вон что замышляла, а ведь, глядя на нее, нипочем не угадаешь!

Тем же артистизмом, благородной сдержанностью отличался и рев Джинни. Менее мудрое животное на ее месте непременно стало бы безрассудно похвастаться таким великолепным голосом и расточать свой талант

попусту. Она обладала густым контральто с очень широким диапазоном (от нижнего соль до верхнего до), которое звучало чуть сильнее в нижнем регистре, а на верхних нотах подчас переходило в несколько гнусавый фальцет. Блестящий и смелый в среднем регистре, голос ее, пожалуй, всего более поражал своей необычайной мощью. Кроме восторга, слушатель испытывал еще и изумление, ибо, когда человеку давно не хватило бы дыхания, последняя нота Джинни все еще звучала в воздухе. Но главное, рев ее в совершенстве выражал незаурядную силу разума и духа. Он столь же изумлял при малом росте, как и ее гордые устремления, в нем выказывалась широта взглядов, безмерное презрение ко всему сущему, всесокрушающая язвительная насмешка. Он издевался над всеми людскими поступками, подавляя все чувства, пресекал легкомыслие, обращал в прах мечты, замораживал всякую деятельность. Он был всемогущ. И вот что всего характернее для Джинни и всего удивительней: скромная обладательница этого невероятного голоса прожила в лагере целых полгода, а никто и не подозревал о ее необычайном даре; обнаружился же он при особых обстоятельствах, которые всего наглядней доказали ее редкостную сдержанность.

Это случилось теплым вечером в разгар бурного спора о политике. Все население Отмели собралось в Броде и при свете пылающих сосновых факелов криками и рукоплесканиями подбадривало соперничающих ораторов, которые с грубо сколоченного помоста обращали свои речи к возбужденной толпе. В ту пору политическая борьба в предгорьях разгорелась вовсю; взаимные обвинения и упреки, обмен колкостями, вызывающие реплики и гневные выкрики уже накалили атмосферу; полковник Бангстартер разнес в пух и прах политику своего противника, благородного и красноречивого полковника Кэлпепера Старботтла из Сискью, и обрушился на него самого, пытаясь очернить как его личные достоинства, так и его блестящую карьеру. Известно было, что сей благородный и красноречивый джентльмен тоже присутствует на собрании; поговаривали, что оратор разразился столь яростными нападками не без умысла: уж, конечно, полковник Старботтл вызовет его на дуэль, а значит, выбор оружия будет предоставлен Бангстартеру, и тем самым

полковник Старботтл не сможет воспользоваться своим преимуществом самого меткого стрелка во всей округе. Шепотом передавали также, что пронизательный Старботтл, обо всем догадавшись, ответит речью еще более оскорбительной, чтобы поставить Бангстартера перед необходимостью тут же на месте потребовать удовлетворения. И едва полковник Старботтл поднялся, нетерпеливые слушатели стали подталкивать друг друга локтями, восторженно предвкушая дальнейшее.

— Ну, теперь он скажет, что у Бангстартера сестра с негром сбежала, либо что он собственную бабу в покер проиграл,— прошептал Дэн Камнелом.— А иначе его не переплюнешь, верно?

И все навострили уши; особенно насторожилась пара очень длинных и косматых ушей, чуть видных над перилами трибуны: Джинни чисто по-женски недолюбливала одиночество и обожала зрелища, а потому последовала за своим хозяином на собрание и взобралась на помост, где золотоискатели, с неизменным уважением к ее полу и возрасту, уступили ей дорогу.

Полковник Старботтл, багровый и громогласный, пошел к самому краю помоста. Расстегнул воротник, снял шейный платок, затем, не сводя глаз с противника, скинул синий сюртук, прижал руку к гофрированной манишке, другую руку вскинул к ночному небосводу и раскрыл мстительные уста. В жестах, в позе всякий тотчас узнал бы Старботтла. Но голос был не его. Ибо в эту великую минуту раздался рев — оглушительный, потрясающий, леденящий душу, он заполнил леса, землю и небо, и все вокруг смолкло и застыло. На минуту ошеломленная толпа замерла... но только на минуту, а затем громовой хохот и крики потрясли все окрест, и самый свод небесный содрогнулся. Тщетно председатель призывал к тишине, тщетно полковник Старботтл, криво улыбаясь, твердил, что в прервавшем его ораторе он узнает голос и ум противника, хохот не смолкал, напротив, даже усилился, когда стало ясно, что Джинни еще не кончила и возвращается к своей первоначальной теме.

— Джентльмены! — надрывался Старботтл. — Всякая попытка...

(— И-а! — вставила Джинни.)

— ...грубым шутовством воспрепятствовать свободе слова...

(Пространное подтверждение со стороны Джинни.)

— ...может быть расценена лишь как подлейшее и трусливейшее...

Но тут раздался протяжный, постепенно затихающий рев, поразительно схожий с одышливыми выкриками багрового от натуги Старботтла, и все заглушил новый взрыв хохота. Не следует думать, будто за все это время никто не пытался стащить Джинни с помоста. Но тщетно. К ней так же трудно было подступить с хвоста, как с головы — копыта ее замелькали в воздухе, очерчивая магический круг, разнесли вдребезги столик и графин с водой, приготовленный для ораторов, осыпали восторженных зрителей обломками перил; Джинни сдалась только, когда на голову ей накинули два одеяла и обмотали потуже; тогда лишь удалось оттащить ее — наполовину пленницу, наполовину победительницу — с поля битвы. Но и после этого из лесу временами доносился заглушенный рев, и на этот призыв потянулась половина толпы, другая же половина слушала оратора рассеяннo и невнимательно. Неудачное собрание пришлось закрыть; уничтожающая ответная речь полковника Старботтла так и не была произнесена, сторонники Бангстартера торжествовали.

Допоздна Джинни оставалась героиней дня, но ни лестью, ни ласками не удалось убедить ее вновь порадовать слушателей своим талантом. Напрасно Дэн из Поселка Ангела произнес импровизированную речь в надежде, что Джинни не выдержит и ответит ему; напрасно присутствующие на все лады старались уязвить и задеть ее чувства, дабы вызвать взрыв красноречия. Она отвечала только копытами. Была ли это просто прихоть, или, возможно, она вполне удовлетворилась первым своим успехом на ораторском поприще, или возмутилась последующим с нею обращением, но теперь она упорно хранила молчание.

— Она себя показала, — заметил Дэн (он был отверженцем Старботтла, однако с этого дня великий трибун люто его возненавидел). — Верно, на политику мы с ней смотрим по-разному, но все едино, вы ее не троньте!

Да, лучше бы Дэн и дальше следовал своим благородным порывам; но, увы, когда сторонники Бангстартера предложили ему сотню долларов, он не устоял. Он навеки отдал Джинни во вражеские руки. Но, надеюсь, каждому читателю этих строк приятно будет узнать, что попытка помешать жителям предгорий свободно высказывать свои политические взгляды потерпела решительную неудачу. Ибо хоть приверженцы Бангстартера снова тайком провели Джинни на трибуну, когда полковник Старботтл собрался выступить с речью в Лагере Мэрфи, она, оказавшись с ним лицом к лицу, не раскрыла рта. Даже духовой оркестр не пробудил в ней дух соперничества. То ли она прониклась отвращением к политике, то ли ее оскорбило, что других, не столь блестящих ораторов партия Бангстартера купила по более дорогой цене, но она осталась безучастной зрительницей. А когда рядом с нею появился достопочтенный Сильвестр Рорбек (политический деятель, получивший за свои услуги в этот вечер вдвое больше, чем было честно и открыто заплачено за Джинни), она спрыгнула с помоста и кинулась в лес. Здесь она умерла бы с голоду, не вмешайся некто Маккарти, бедняк, растивший на клочке земли овощи на продажу; он подобрал ее, дал ей кров и пищу с молчаливым уговором, что она оставит политику и примется работать. Последнему условию она долго сопротивлялась, но к этому времени ее считали уже достаточно большой, чтобы возить тележку, и Маккарти приучил ее ходить в упряжи, заплатив за это серьезным переломом ноги, четырьмя выбитыми зубами и разбитой рессорной повозкой. Под конец уже можно было понадеяться, что она довезет товар до Лагеря Мэрфи и не вломится при этом в лавку вместе с тележкой, хотя Джинни неизменно притворялась, будто знать не знает, что впряжена в какую-то там тележку; после этого образование обычного калифорнийского ослика считается законченным. Правда, было все еще небезопасно оставлять Джинни без присмотра, ибо она не терпела одиночества и вместе со своей постылой тележкой присоединялась к какой-нибудь досужей компании или даже, выбрав старателя с приятной наружностью, следовала за ним в его хижину. Впервые ее владелец открыл эту слабость Джинни после того, как заключил одну сделку в стенах гости-

ницы «Трезвенность». Когда он вышел на улицу, Джинни нигде не было видно. Однако ее извилистый путь удалось проследить по рассыпанным на дороге овощам; след этот привел к веранде трактира «Под аркой»: Джинни заглядывала в окно, с интересом наблюдая за карточной игрой, и только неудобная тележка помешала ей войти внутрь. А как-то в воскресный день при посещении скромной католической церкви в Лагере Француза она попыталась и туда ввезти свою тележку и подать голос в хоре, чем навлекла стыд, позор и всеобщую немилость на своего злополучного хозяина. Ибо в тележке лежали только что снятые с грядки овощи, и всем стало ясно, что Маккарти безбожно нарушает заповедь о дне субботнем. Появление Джинни в первую минуту только насмешило прихожан, но отец Салливен не замедлил воспользоваться им в целях нравоучительных.

— Несчастная бессловесная скотина и та больше привержена христианской вере, чем Майкл Маккарти, — заметил он.

Но тут Джинни так громко и решительно его подержала, что пришлось общими силами оттащить ее подальше.

Миновала своеобычная и легкомысленная юность, с возрастом пришло спокойствие, созрел осторожный и трезвый ум. Джинни теперь трудилась ради хлеба насущного, однако по-прежнему была щепетильна и разборчива, а потому в трудах соблюдала меру, и превысить эту меру ее не заставили бы ни угрозы, ни побои, ни лесть. В урочный час она отправлялась в хлев, все равно с тележкой или без тележки, с Майклом или без Майкла, пропуская мимо ушей все его попреки и увещания.

— Господи помилуй! — воззвал он однажды, выбираясь из канавы и горестно глядя вслед Джинни, которая неслась прочь так, что только копыта сверкали. — Я ж нынче только по второму разу нагурил капусту, а она уже забастовала! Эдак она меня разорит вчистую!

Но он ошибся: посвятив часок-другой размышлениям, Джинни по доброй воле вернулась к нему — видно, она ошиблась часом и даже, говорят, чтоб искупить свой промах, соблаговолила свезти лишний воз капусты. По

этому и подобным случаям можно заключить, что Майкл почтительно признавал умственное превосходство Джинни и что порою она с истинно женским лукавством этим пользовалась. После уже упомянутого воскресного происшествия она в день седьмой отдыхала, отрешаясь на время от обычной суровости и позволяя себе кое-какие проказы. Забредя в какой-нибудь старательский поселок, она мирно, задумчиво пощипывала травку возле хижин и разными чисто женскими хитростями и кокетливыми уловками приманивала какого-нибудь доверчивого новичка, пока он не подходил к ней в надежде прокатиться. Словно бы в нерешимости она позволяла взнуздать себя, сесть верхом и даже, с видом смущенным и робким, словно бы нехотя, увозила его подальше от жилья. Что происходило затем, никто толком не знал. Но через несколько минут поселок оглашали вопли и проклятия, и всем, кто выскакивал из хижин, представлялось странное зрелище: по улице во весь опор мчится Джинни, а новичок обеими руками цепляется за ее шею, боясь свалиться и угодить под мелькающие копыта, и тщетно зовет о помощи. Снова и снова проносится она мимо, зрители рукоплещут, а она не только грозит своей жертве копытами, но и оглушает трубным гласом и наконец, круто повернув, галопом скачет к пруду Картера и сбрасывает свой злосчастный груз в эту грязную лужу. Злую шутку эту Джинни разыгрывала не раз и не два, пока однажды в воскресенье к ней не подошел вакеро Хуан Рамирес в сапогах со шпорами и с лассо в руках. Собралась толпа, все надеялись, что Джинни потерпит поражение. Но, к горькому разочарованию зевак, она спокойно оглядела незнакомца с головы до пят, язвительно взревела и не спеша затрусила к маленькому кладбищу на холме, где ее хитроумному противнику преградили путь заросли колючего кустарника. С того дня она больше не появлялась в поселке и воскресные дни проводила в сосредоточенных раздумьях меж сосновых крестов с бесстрастной надписью: «Здесь покоится...»

Очень жаль, что этот случай, повлекший за собой единственное поэтическое событие в ее жизни, не произошел раньше. Ибо кладбище было любимым уголком мисс Джесси Лоутон, кроткой больной девушки из Сан-Фран-

циско, которая переселилась в предгорья ради целительного смолистого аромата сосен и елей, в слабой надежде, что здесь, среди цветущего шиповника, вновь порозовеют и ее щеки. С холма открывались живописные дали, и мисс Лоутон часто приходила сюда с альбомом, повинувшись любви к искусству, а также природной застенчивости, побуждавшей ее избегать общества незнакомых людей. На одном из листов этого альбома сохранился набросок ослиной головы, в котором нетрудно узнать задумчивый облик Джинни, робко выглянувшей из-за плеча художницы. Как началась их дружба, осталось неизвестным; не установлено также, Джинни ли сделала первый шаг к сближению. О дальнейшем обитателям Отмели сказало видение, которое жило у них в памяти еще долгое время после того, как кроткая девушка и ее четвероногая подруга стали недостижимы для их зова. Однажды вечером два старателя, возвращаясь от своего шурфа, случайно поглядели в сторону укромной тропинки, по которой ходил от кладбища к поселку один лишь священник. И в сумерках, на фоне закатного неба, увидели, что к ним приближается всадница с бледным лицом. В их заглубленных сердцах шевельнулось непривычное смущение, они отступили в тень зарослей, и она проехала мимо, не заметив их. Ошибиться было невозможно, они узнали нелепый профиль Джинни, узнали томную грацию мисс Лоутон. Но шею Джинни обвивал венок из шиповника, и на длинных ушах развевались ленты от шляпки мисс Лоутон, а на лице девушки играла лукавая улыбка, и щеки розовели, совсем как азалии в ее волосах. Назавтра об этом стало известно по меньшей мере десятку золотоискателей, и со всех было взято клятвенное обещание хранить тайну. Но вечерами на другой и на третий день, укрывшись в лесу, они исподтишка любовались прелестной наездницей, словно вышедшей из сказки и не подозревавшей об их присутствии. Эти грубые люди были верны слову: ни шепотом, ни шорохом они не нарушили очарования и не выдали себя. Тот, кто посмел бы испугать застенчивую молодую девушку, поплатился бы жизнью.

А потом настал день, когда шествие обрело совсем иной смысл, и тайну уже незачем было хранить, и тогда Джинни позволено было сопровождать подругу в том же



уборе, только обрядили ее на сей раз более грубые, хоть и не менее любящие руки. А когда кортеж достиг переправы, откуда кроткой девушке предстоял последний путь к морю, Джинни вдруг вырвалась из рук своих спутников, отчаянным прыжком попыталась перемануть на баржу — и рухнула в стремительные воды реки Станисло. Десяток крепких рук протянулся к ней, искусно брошенная веревка обвилась вокруг ее ног. На мгновение она затихла, казалось, она спасена. Но тотчас в ней взыграл обычный дух противоречия, сильным ударом копыта она перервала веревку, и волны понесли ее к морю вслед за ее госпожой.

## СВЯТЫЕ С ПРЕДГОРИЙ

Сколько они прожили здесь, никто не мог бы сказать точно. Первый обитатель поселка Скороспелка, некий Лоу (товарищи в шутку называли его «Бедным индейцем»), утверждал, что святые поселились здесь куда раньше него и их хижина в лесу уже стояла, когда он «пробился» на Норт-Форк. Но как бы то ни было, на празднике по случаю открытия Союзного канала они несомненно присутствовали — именно тогда они и получили почетные прозвища «папы и мамы Дауни», которые и сохранили до самого конца. Их, семенящих к палатке, где стояло угощение и напитки, радушно приветствовали старатели, или, говоря более изысканным слогом «Союзного вестника», «их посеребренные головы, их согбенные фигуры, так живо воскресившие в памяти каждого далекий и счастливый отчий дом и слова благословения, произнесенные родительскими устами в минуту прощания, перед тем как он оставил любимый кров и пустился на поиски Золотого Руна, таящегося среди гор Западного побережья, многих заставили прослезиться». По правде говоря, большинство участников празднества были круглыми сиротами, кое-кто не мог даже похвалиться законностью своего происхождения, некоторые совсем еще недавно наслаждались прелестью тюремной дисциплины, и уж почти все, покидая отчий дом, конечно, постарались обойтись без таких ненужных и тягостных формальностей, как родительское благословение, но эти очевидные и общеизвестные факты были лишь мимолетными облач-

ками, ничуть не омрачившими блестящего слога вышеупомянутой газеты. С этого дня святые стали историческими достопримечательностями и в качестве таковых обрели все бесчисленные выгоды и преимущества, с подобным положением сопряженные.

Нет ничего удивительного в том, что эти двое — воплощение консерватизма и устойчивости во взглядах и образе жизни — прославились именно здесь, в округе, где почти все население было молодо, отважно и честолюбиво. Они не только вызывали к себе почтение — само их присутствие уже служило отличным контрастом духу дерзкой предприимчивости и энергии, который царил в общине старателей. Всюду, где собирались люди, они были в центре внимания: они занимали лучшие места на всех собраниях, шли в первых рядах всех процессий, присутствовали на всех похоронах, столь частых в поселке, на всех свадьбах, случавшихся значительно реже, и даже крестили первого младенца, родившегося в Скороспелке. Когда в поселке происходили первые выборы, право первым подойти к урне получил папа Дауни — как всегда в таких торжественных случаях, он пустился в пространные воспоминания. «Первый раз голосовал я, — говорил папа Дауни, — за Эндрю Джексона<sup>1</sup>, тогда, ребятки, и папеньки-то ваши на божий свет еще появиться не успели! Хи-хи-хи! Давненько дело было, в году тридцать третьем, так, что ли? Запомнил я, вот мама, она тогда, верно, в школу еще бегала, сказала вам точно. А у меня память уж никуда! Старый я стал, ребятки, и все ж приятно мне смотреть, как молодежь вперед шагает. А помню я первые эти свои выборы вот почему: там тогда судья Адамс был. Так он услышал, что я никогда прежде-то еще не голосовал, и дал мне золотой, а сам говорит — говорит мне, значит, судья Адамс: «Пусть этот золотой всегда напоминает вам день, когда вы впервые выполнили почетный долг каждого свободного гражданина». Так прямо и сказал! «Ребятки мои! Уж до чего я вами горжусь! Да если б я мог сто голосов отдать за вас, я отдал бы их с радостью — так, чтобы каждому досталось!»

---

<sup>1</sup> Эндрю Джексон — президент США с 1829 по 1837 год.

Само собой разумеется, достопамятное даяние судьи Адамса, теперь повторенное судьями, инспекторами, клерками, увеличилось раз в десять, и наш старик возвратился к маме Дауни с оттянутыми карманами. Поскольку оба соперника были абсолютно уверены в его голосе, в связи с чем даже предлагали ему свой экипаж, будет только честно признать, что и в щедрости они не уступали друг другу. Но папа Дауни пожелал пешком одолеть расстояние в две мили до избирательного участка, послужить тем самым примером молодежи и попасть в конце концов на страницы калифорнийской газеты, которая, конечно, поспешила на все лады расхвалить «благодетельный климат предгорий, позволивший восьмидесятичетырехлетнему жителю поселка Скороспелка встать в шесть часов утра, подоить двух коров, пройти двенадцать миль до избирательного участка, а по возвращении наколоть до обеда меру дров». Газета, несомненно, кое-что преувеличила, однако то обстоятельство, что каждый приходивший к папе Дауни заставлял его у поленицы, которая не росла и в то же время не уменьшалась,— обстоятельство, видимо, порождаемое неутомимостью мамы Дауни, которая целыми днями пекла пироги,— придавало истории этой некоторое правдоподобие. Поленица папы Дауни стояла всегда как живой укор праздным и ленивым старателям.

— Старик-то изводит дров видимо-невидимо! Как ни пройдешь мимо его домишка, он машет топором, аж щепки летят! Но ведь вот что чудно — поленица-то вроде меньше не становится,— сказал как-то Виски Дик соседу.

— Дурак ты, дурак набитый! — огрызнулся сосед.— Ты бы подумал чуток; идет, скажем, человек и видит: старичок в свои восемьдесят лет надрывается-работает, а бездельники вроде нас с тобой валяются тут же рядом пьяные. Ну, и человеку этому, понятно, не по себе станет, а теперь, если б выбрал он ночью да перебросил старичку через забор вязанку сосновых дров, кто бы его осудил за это? — Конечно, не сам рассказчик, именно так и поступивший, не его пристыженный и полный раскаяния собеседник, проделавший то же самое на следующую же ночь.

Пироги и бисквиты, которые пекла старушка Дауни, примечательны были, как я думаю, не столько своими гастрономическими достоинствами, сколько тем духом кротости и великодушия, который они пробуждали. И можно даже сказать, что пироги эти питали не так же-лудок, как ростки благородства в сердцах старателей. Тем не менее ели их все, и каждый вспоминал при этом свое детство. «Берите, милые, берите,— приговаривала старушка,— уж до того мне приятно смотреть, как вы их кушаете! Сразу же бедняжка Сэмми на ум приходит... Сейчас, останься он в живых, он был бы таким же большим и сильным, как вы. Да вот подхватил чахотку в Пресном Ручье. Все стоит он у меня перед глазами — а ведь уже сорок лет прошло, господи! — так и вижу, будто возвращается он с поля и прямо ко мне на кухню — и улыбается, когда я даю ему кусок бисквита или пиро-жок, улыбается так радостно, голубчик мой, совсем как вы. Господи боже мой, заболталась-то я! А ведь сколько воды с той поры утекло! И все же теперь я будто вто-рую жизнь начала, я вроде бы в вас теперь живу!»

Жена содержателя гостиницы, движимая низкой зави-стью, заметила однажды, что мама Дауни, верно, хотела сказать не «в вас живу», а «с вас», но, поскольку особа эта, пытаясь убедить всех в правильности своих домыс-лов, прибегнула к подсчету стоимости муки и специй, шедших на пироги мамы Дауни, поселок немедленно отверг ее теорию как чересчур уж сухую и меркан-тильную.

— К тому же,— прибавил Сай Перкинс,— если ста-рушка в таком почтенном возрасте хочет честно зара-ботать себе на пропитание, что ж тут дурного? Да если б вот твоей мамаше на старости лет пришлось за гроши пи-рожки печь, что бы ты тогда запел? А?

Вопрос этот возымел такой эффект, что тот, к кому он был обращен (кстати, матери у него не было), немедлен-но купил целых три пирожка.

О качестве этих пирогов речь зашла всего лишь од-нажды. Рассказывают, что молодой адвокат из Сан-Франциско, пообедавший как-то в ресторане «Пальметто», вдруг с жестом явного недовольства и даже отвращения резко отодвинул от себя пирог мамы Дауни. В ту же се-кунду Виски Дик, находившийся под значительным

влиянием излюбленного им тонизирующего средства, приблизился к столу, приежжего и без всякого приглашения с его стороны взял себе стул и уселся напротив.

— Может быть, молодой человек,— начал он строго,— вам не нравятся пироги мамы Дауни?

Слегка удивленный, приезжий коротко ответил, что он вообще обычно «не ест теста».

— Молодой человек,— с торжественностью пьяного продолжал Дик. — Может быть, вы привыкли к разным там деликатесам? Может быть, вам и кусок в глотку не лезет, если его не француз какой-нибудь готовил? А вот мы у нас здесь в поселке говорим про такой пирог «хороший пирог», говорим «дельный пирог»!

Тогда адвокат еще раз заверил его, что просто не любит пироги, даже самые вкусные.

— Молодой человек,— продолжал Дик, не слушая его объяснений,— молодой человек, может, и у вас была когда-нибудь матушка, бедная старая мама, может, и она на склоне лет своих занялась пирогами. А вы — чего и ждать от такого-разедакого эпикура, как вы! — огорчали старушку, нос воротили от ее пирогов и от нее. А она-то, бедная, качала вас, когда вы были маленьким, совсем крохотулечным. Вы вот, может, нос от нее воротили, мучили ее и в могилу свели до срока. А теперь, молодой человек, может, вы не обижайтесь, конечно, но, может быть, вы, прежде чем встанете из-за стола, все-таки скушаете этот пирог.

Адвокат вскочил, но дуло револьвера, шатавшегося в нетвердой руке Виски Дика, моментально заставило его вновь опуститься на стул. Он съел пирог; свое дело в суде поселка Скороспелка он также проиграл.

Скептицизм и старческая мнительность совершенно не были свойственны папе Дауни, наоборот — энергическая поступь века и все новшества вызывали у него ребяческий восторг. «В мое время, в двадцатые, значит, годы, чтобы конюшню построить, работали чуть ли не всю неделю, неделю. ребятки мои! Да как работали! Молодежь вроде меня — и я ведь тогда молодым был — со всей округи собиралась, а теперь вы, паршивцы эдакие, когда нам со старухой дом ладили, день всего и провозились. Что ж и нам, старикам, надо петь на новый лад? Так что ли? Да вот я вас!»

Он тряс седой гсловой и в притворном негодовании грозил «паршивцам» своим ореховым посохом. Присущий старости консерватизм проявлялся у папы Дауни лишь в одном: он постоянно упрекал старателей в расточительности.

— Подумать только,— говорил он,— не только меня с моей старухой — целую семью можно прокормить на деньги, которые вы, паршивцы, проматываете на одной вашей попойке. Проказники эдакие! Думаете, я не слышал, как вы швыряли доллары на сцену, когда там эта язычица-итальянка голосила? Так вот и уплывают денежки из Америки, цент за центом!

Всем бросалась в глаза чрезмерная бережливость, даже, пожалуй, скупость престарелой пары. Но когда словоохотливая мама Дауни проговорила, что большую часть сбережений, а также получаемых подарков и денежных пожертвований папа Дауни отправляет на Восток их беспутному транжире-сыну, чью фотографию старик всегда носил при себе, папа Дауни даже как-то возвысился в глазах золотоискателей.

— Когда станешь писать своему развеселому сынку,— сказал Джо Робинсон,— пошли еще от меня вот это. Напиши, что я, дескать, ему кланяюсь, а ежели он думает, что умеет пускать деньги на ветер быстрее меня, то это мы еще посмотрим. А коли хочет узнать, что такое настоящая попойка, пусть приезжает сюда — здесь ребята его мигом под стол отправят!

Напрасно старик отказывался от столь сомнительного подарка — когда они наконец расстались, карманы старателя заметно похудели, а сам он казался менее пьяным, чем обычно. Естественно предположить, что папа Дауни был абсолютным трезвенником. Однако он нашел способ не оскорблять чувств старателей: он принимал их частые подношения, а затем растирался этим виски. «Прямо что тебе змеинный жир,— любил повторять он,— или настой аниса. Их ведь в этих местах днем с огнем не найти, а тут разотрешь этим виски старые свои косточки, и они вроде мягче становятся. И все же нет лекарства лучше чистой холодной водицы, отражающей, так сказать, божий лик в своем, значит, течении, да, видно, я и бедняжка мама потребили ее за свою жизнь слишком много — вот суставы и онемели!»

Слава семейства Дауни не ограничивалась лишь предгорьями. Бостонский священник доктор богословия преподобный Генри Гашингтон, предпринявший путешествие по Калифорнии, дабы излечиться от хронического бронхита, поместил в «Христианском следопыте» прочувствованный рассказ о своем посещении четы Дауни; в нем он увеличил возраст папы Дауни до ста двух лет и приписал благотворному влиянию престарелой пары все случаи обращения в истинную веру, когда-либо происходившие в поселке. Билл Смит, одаренный литературный наемник, разъезжавший по всей стране в качестве поверенного нескольких капиталистов, а также корреспондента четырех «единственных независимых американских газет», использовал папу Дауни как пример долголетия, порождаемого особенностями климата, как гарантию преимуществ простой, бесхитростной жизни и вкладов в золотой промысел, как рекламу Союзного прииска и, уж совсем непонятным образом, как доказательство существования побочных лесных и рудных богатств предгорий, достойных внимания восточных капиталистов.

Вот так, удостоенные хвалы на страницах солидной прессы, окруженные всеобщей заботой, поддерживаемые денежными дарами своих сограждан, наши святые мирно и философски-созерцательно прожили около двух лет. Чтобы не смущать их постоянными подношениями—этим подобием милостыни (интересно, что большее смущение чувствовали не берущие, но подающие), папе Дауни выхлопотали должность почтмейстера поселка, причем получать и разносить письма граждан Соединенных Штатов ему словом и делом помогали сами старатели. Если некоторые письма и пропадали бесследно, это легко объяснялось недисциплинированностью помощников папы Дауни, а сами жители всегда с готовностью возмещали стоимость утерянного ценного письма или перевода с тем, чтобы «у старичка все счета были всегда в ажуре». К этим обязанностям у папы Дауни вскоре прибавились другие: хранителя благотворительных фондов масонов и Братства чудаков—старик достиг высоких степеней и в том и в другом обществе; а затем его сделали и распорядителем этих фондов. Но тут его привычка экономить, иными словами, скарденность, чуть не лишила папу Дауни ореола славы — количество и размер выда-



ваемых им вспомоществований нередко вызывали ропот нуждающихся Братьев. Им приходилось довольствоваться частными даяниями не облеченных властью Братьев и заверениями в том, что «старичок очень старается», что «он хочет как лучше» и что все они когда-нибудь еще спасибо скажут ему за эту его старательность и экономность. А некоторые вообще предпочитали страдать в гордом молчании, лишь бы только не выносить на суд толпы слабости старого Дауни.

Итак, с благословения папы и мамы Дауни жизнь в предгорьях текла спокойно и изобильно. Горы уступали старателям свои богатства, зимы были мягкими, засух не случалось, мир и довольство ласково правили в предгорьях Сьерры, посылая свои улыбки залитым солнцем вершинам холмов и склонам гор, поросшим овсягом и маком. И если по соседним поселкам и распространилась суеверная молва, связывающая счастье, которое поселилось в Скороспелке с папой и мамой Дауни, то она была настолько безвредна и фантастична, что сами старики не спешили, как мне кажется, полностью опровергнуть ее. Патриархальная величавость и радушие манер, с недавних пор появившиеся в папе Дауни, а также значительное попышнение его белоснежных волос и бороды поддерживали эту поэтическую иллюзию, что же касается мамы Дауни, та с каждым днем все больше начинала походить на добрую фею-крестную из сказки. Один поселок, соперничавший со Скороспелкой, попытался было подражать столь доходному почитанию старости, для чего взял на пробу из сан-францисского Матросского Уголка престарелого матроса. Но незадачливая морская душа оказалась человеком с изрядно расшатанным здоровьем, имевшим к тому же слабость к крепким напиткам, в результате чего вид у него далеко не всегда бывал вполне пристойным. В конце концов он, как удачно выразился один из его разочарованных приемных внуков, «в неделю окочурился и даже не благословил никого».

Но превратностям жизни равно подвластны и стар и млад. Юный поселок Скороспелка и его святые вместе вскарабкались на вершину счастья и, естественно, должны были вместе спуститься оттуда. Новую полосу открыл приезд в поселок второй престарелой пары. Хозяйка гостиницы «Независимость», чья неприязнь к святым так

и не уменьшилась, не посчитавшись с расходами, выписала к себе двоюродную бабушку с мужем, до этого в течение уже нескольких лет наслаждавшихся покоем в богадельне Ист-Магайаса.

Они и вправду были очень стары. Каким чудом удалось их довести до места в целости и сохранности, для поселка осталось тайной. В некоторых отношениях их воспоминания и исторические реминесценции обладали большей познавательной ценностью. Старик — его звали Абнер Трикс — был солдатом в войну 1812 года, а его жена, Абигаиль, видела супругу Вашингтона. Кроме того, она умела петь псалмы, а он знал всю библию «от корки до корки». Было совершенно ясно, что толпа неопытных юнцов, падких на все новое и переменчивых, находит их общество более интересным.

Непонятно почему — из ревности, недоверия или по причине внезапно обуявшей их робости, но наши святые упорно не желали знакомиться с вновь прибывшей парой. Когда наконец речь прямо зашла об этом, папа Дауни, сказавшись больным, заперся у себя дома. В то воскресенье, когда супруги Трикс отправились в церковь, которой по совместительству служило здание школы на холме, триумф их партии несколько умерило то обстоятельство, что ни папы, ни мамы Дауни не оказалось на их привычном месте. «Держу пари, что Дауни еще покажут этим мощам, а сейчас они просто силы набирают», — заявил один даунист. К этому времени в поселке начался полный разброд и раскол: молодежь и новички склонялись на сторону Триксов, первые поселенцы стеной стояли за своих любимцев Дауни — они не только остались им верны, но, как и подобает рьяным приверженцам, постарались подкрепить свои личные чувства соответствующими принципами.

— Говорю вам, братцы, — заметил как-то Пресный Джо. — Если в поселке до того дошло, что птенцы желторотые верховодят, а старожилы, такие, как папа Дауни или все мы, уж и голоса подать не смеют, пора нам трогаться отсюда, да и папу Дауни с собой прихватить. Ведь они поговаривают, что время пришло порядок навести и сделать этот скелет, который старуха Декер сажает за стол, чтоб у постояльцев аппетит отбивать, почтмейстером вместо папы Дауни.

И действительно, можно было опасаться такого исхода. Вновь прибывшие, которые составляли теперь большинство, пользовались сильным влиянием благодаря богатствам, сосредоточенным в их руках и размещенным как в поселке, так и вне его. «Фриско уже полпоселка сожрал», — как горестно заметил однажды кто-то из даунистов. Сплотившиеся вокруг семейства Дауни верные друзья, как это всегда бывает с друзьями в несчастье, страдали сами и, как было замечено, даже внешне стали походить на своих любимцев.

И тут вдруг мама Дауни скончалась.

Этот неожиданный удар на несколько дней, казалось, собрал воедино разрозненный поселок: обе фракции кинулись к обездоленному папе Дауни со своими утешениями, выражениями сочувствия, предложениями помощи. Но он встретил их холодно. Слабый и покладистый восьмидесятилетний старец преобразился. Те, кто ожидал увидеть его сокрушенным горем, безутешно рыдающим, в ужасе попятились, встретив его суровый, холодный взгляд и услышав грозный голос, приказывающий «удалиться и оставить его наедине с покойницей». Даже самые близкие друзья не смогли тронуть его своими соболезнованиями, им пришлось довольствоваться сдержанным ответом папы Дауни, что и покойная жена его и он сам всегда были против показной пышности и не станут принимать от поселка никаких услуг, потому что всякие услуги теперь лишь углубят противоречия, которые Дауни, сами того не желая, породили в поселке. Отказ от предложенной помощи! Это было так непохоже на папу Дауни, что причина могла быть только одна: внезапно обрушившееся несчастье помрачило его разум! И все же решительность папы Дауни произвела такое впечатление на поселок, что ему позволили самому обрядить покойницу и лишь несколько избранных из числа его ближайших соседей помогли отнести простой сосновый гроб из уединенной хижины в лесу на еще более уединенное кладбище на вершине холма. Когда неглубокая яма была засыпана землей, он даже их тут же попросил уйти, а сам скрылся у себя в хижине, и несколько дней его никто не видел. Было очевидно, что он лишился рассудка.

К этим невинным странностям его обитатели поселка

отнеслись с чуткостью и деликатностью, поразительными в людях столь грубого воспитания. В дни внезапной и жестокой болезни его супруги сейф, где хранились вверенные заботам папы Дауни фонды различных благотворительных обществ, был взломан и ограблен. И хотя несомненно было, что все произошло из-за его небрежности и рассеянности, никто не позволил себе даже намекнуть на это обстоятельство из уважения к постигшему его несчастью. Когда же он вновь появился в поселке и ему осторожно рассказали о случившемся, добавив, что «ребята возместили всю сумму», взгляд, который он обратил на говорящего — пустой и недоумевающий, — слишком ясно показывал, что папа Дауни не помнит об этом ничего.

— Не докучайте ему, — сказал Виски Дик, вдруг преисполнившись поэтического вдохновения. — Разве вы не видите, что память его мертва и лежит в гробу вместе с мамой Дауни?

Возможно, говоря это, он был гораздо ближе к истине, чем предполагал.

Не сумев предоставить папе Дауни духовное утешение, старатели попытались отвлечь его от скорбных мыслей с помощью разного рода мирских забав. Например, они повели его на представление, которое давала в это время в городке странствующая труппа варьете. Виски Дик кратко изложил историю этого посещения следующим образом:

— Ну вошли мы, усадил я его в первый ряд, устроил удобно так, ребята его подперли, да только сидит он, молчит, слова не проронит, что твоя могила! И тут выходит эта танцовщица мисс Грейс Сомерсет, и чуть начала ногами кренделя выделявать, как старик — провалился я на этом месте — прямо задрожал, затрясся весь! Что ни говори, мужчина он и есть мужчина, до самых кончиков сапог! А сумасшедший он там или не сумасшедший — это тут ни при чем! Словом, с ним такое делалось, что под конец сама девица эта на него внимание обратила: как подпрыгнет вдруг и воздушный поцелуй ему шлет! Вот так, пальчиками!

Было ли это правдой или нет, но только на каждом последующем представлении в числе зрителей можно было видеть и папу Дауни. А день или два спустя выясни-

лось, что присутствовать в зрительном зале для него еще не есть предел мечтаний. Выяснилось это следующим образом. В салон «Магнолия», где у камелька собралась дружеская компания в то время, как снег и ветер бились в окна, вдруг ворвался Виски Дик, взволнованный, совершенно мокрый и буквально распираемый новостью, которую тут же и выложил:

— Ну, ребята, что я узнал! Если б сам собственными глазами не видал, так ни за что бы не поверил!

— Что, опять про духа? — пробурчал откуда-то из недр кресла Робинсон. — А то уж надоело!

— Про духа? — переспросил какой-то новичок.

— Ну да! Дух мамы Дауни. Стоит человеку набраться хорошенько да выйти на улицу под вечер, тут дух этот ему непременно встретится.

— Где?

— Известно где — как у них, у духов, положено: возле могилы на холме.

— Нет, ребята, какое там дух, — уверенно продолжал Дик, — где уж ему, духу! Серьезно, кроме шуток!

— Давай выкладывай! — нетерпеливо потребовал десяток голосов.

С мастерством прирожденного рассказчика Дик помолчал минутку, скромно и как бы в нерешительности, затем преувеличенно медленно начал:

— Так вот... Значит, было это... когда же это было? Час назад сидел я на представлении варьете. Ну вот, когда, значит, занавес опустился, я гляжу, как там Дауни. А его нет! Выхожу, спрашиваю ребят. «Минуту назад здесь был, — говорят они. — Наверно, домой ушел». Ну как я за него вроде отвечаю, я и принялся искать его. Выхожу в фойе и вдруг вижу: ход за сцену. И тут, странное дело, ребята, но прямо уверенность какую-то чувствую, что старик мой там. Я прямо туда — и правда: своими ушами слышу его голос, будто просит он кого-то, умоляет, будто он...

— В любви объясняется! — перебил его нетерпеливый Робинсон.

— Во-во! Ты, как всегда, в самую точку попал! Только она отвечает: «Выкладывай деньги, а не то...» Дальше я не расслышал. А потом опять он вроде как уговари-

вает, а она вроде бы отбрыкивается, и все же слушает его, ну знаете, по-женски так совсем... Прямо Ева и Эмий. А потом она говорит: «Ну завтра посмотрим». А папа Дауни ей: «Ты меня не выдашь?» — Ну тут уж я не вытерпел, подкрался, и глянул туда, и, пропади я пропадом, вижу...

— Что? — разом завопили слушатели.

— Папу Дауни на коленях перед этой красоткой, танцовщицей Грейс Сомерсет! Так-то! И если правда, что дух мамы Дауни что-то зашевелился, то ему сейчас самое время покинуть кладбище да на минутку в Джексон-Холл заскочить! Вот вам и все!

— Послушайте, ребята! — начал Робинсон, поднимаясь. — По-моему, нехорошо будет, если мы разрушим счастье папы Дауни! Лично я против такого оборота дела не возражаю, если голько она не облапошит старика и не натянет ему нос. Мы папе Дауни вместо опекунов, и потому я предлагаю разыскать сейчас эту даму и выяснить, честные ли у нее намерения. Ну а если они жениться затеяли, я считаю, мы им должны свадьбу устроить, да такую, чтоб не посрамила поселка! Правильно я говорю?

Разумеется, предложение это было принято с восторгом, и толпа старателей тут же отправилась выполнять принятую ими на себя деликатную миссию. Однако чем могли бы кончиться эти переговоры, Скороспелка так никогда и не узнала, потому что следующее же утро оглушило ее известием, рядом с которым все остальное померкло и было забыто.

Кто-то осквернил могилу мамы Дауни! Гроб нашли открытым, а в нем — отчеты и другие документы благотворительных обществ. Зато труп исчез. Более того, при ближайшем рассмотрении стало очевидно, что дряхлое тело почтенной старушки никогда в нем и не покоилось.

Папа Дауни пропал бесследно, как, разумеется, и ловкая Грейс Сомерсет.

Три дня Скороспелка находилась на грани помешательства. Жизнь замерла на приисках и заявках. У могилы почтенной половины папы Дауни собирались кучки людей, открытые рты зияли, как эта могила. Со времени великого землетрясения 1852 года ничто так сильно, до самого основания, не потрясало поселок.

На третий день туда прибыл шериф Калавераса, человек спокойный, добродушный и задумчивый. Он принялся расхаживать по улице, подходя то к одной, то к другой взбудораженной группке и сообщая сведения, несколько отрывочные, но выразительно краткие и практически чрезвычайно ценные.

— Да, господа, вы правы. Миссис Дауни не умерла, просто потому, что никогда не существовала. Ее роль сыграл Джордж Ф. Фенвик из Сиднея, бывший каторжник. И, по слухам, неплохой актер. Дауни? Ах, да! Его настоящее имя Джем Фланиган. В 1852 году в Австралии он был антрепренером труппы варьете, где дебютировала мисс Сомерсет. Не напирайте, ребята, спокойно! Деньги? Деньги они, конечно, взяли с собой. Как поживаешь, Джо? Выглядишь ты прекрасно. Я думал повидаться с тобой, когда заседал суд. Ну, как у вас дела?

— Но тогда, значит, это были всего-навсего актеры? — зашумело сразу несколько голосов.

— Совершенно верно, — невозмутимо ответил шериф.

— И целых пять эдаких-разэдаких лет им хлопал весь наш поселок! — с грустью заметил Виски Дик.

## КТО БЫЛ МОЙ СПОКОЙНЫЙ ДРУГ

— Эй, приятель!

Голос был не громкий, но отчетливый и резкий. Я напрасно оглядывал узкую тропу, тонущую в сумерках. Никого в ольховнике впереди; никого на склоне ущелья сзади.

— Эй, эй!

На этот раз даже нетерпеливо. Если калифорниец так вас окликает, значит, у него есть к вам какое-то дело.

Я поднял голову и в тридцати футах надо мной, на выступе, впервые заметил другую тропу, параллельную той, по которой ехал я, и маленького человека на черной лошади, который глядел на меня сквозь поросль конского каштана.

Осторожный путешественник обязательно подумал бы тут о пяти многозначительных обстоятельствах. Первое — встреча произошла в местности пустынной и дикой, в стороне от обычных путей погонщиков и старателей. Второе — незнакомец превосходно знал дорогу, доказательством чему служил тот факт, что вторая тропа была неизвестна заурядному путешественнику. Третье — он был хорошо вооружен и экипирован. Четвертое — его конь был намного лучше моего. Пятое — любое подозрение или робость, являющиеся результатом размышления над вышеупомянутыми фактами, лучше держать при себе. Все это пронеслось в моей голове, пока я здоровался с ним.

— Табак есть? — спросил он.



Табак у меня был, и вместо ответа я показал ему кисет.

— Ладно, сейчас спущусь. Поезжайте вперед, и я встречу вас на спуске.

Спуск! Новое географическое открытие, такое же неожиданное, как и вторая тропа. Я много раз проезжал здесь, но не знал, как можно добраться с выступа на мою тропу. Однако я успел проехать только ярдов сто, как затрещали кусты, на тропу обрушился град камней, и мой новый друг очутился рядом со мной, проехав сквозь заросли по склону, по которому я не решился бы свести свою лошадь и под уздцы. Несомненно, он был превосходный наездник — еще один факт, который мне следовало запомнить.

Когда он поехал рядом со мной, я убедился, что он действительно ниже среднего роста, а в его внешности я не заметил ничего примечательного, кроме холодных, серых глаз.

— У вас прекрасная лошадь, — сказал я.

Он в это время набивал трубку из моего кисета и, удивленно подняв голову, сказал: «А как же!» — и стал попыхивать трубкой с жадностью человека, давно лишенного этого удовольствия. Наконец, между двумя затяжками он спросил меня, откуда я еду.

— Из Лейрейнджа.

Некоторое время он удивленно смотрел на меня, но я тут же добавил, что останавливался там только на несколько часов, и он сказал:

— Я-то считал, что знаю всех между Лейрейнджем и Индейским ручьем, да только вот не могу припомнить ваше лицо и прозвание.

Не слишком огорченный, я ответил, улыбаясь, что не вижу в этом ничего странного, так как я живу по другую сторону Индейского ручья. Он воспринял мой отпор, если только почувствовал его, так спокойно, что я из простой вежливости поспешил спросить, откуда едет он.

— Из Лейрейнджа.

— И едете в...

— Ну, это уж как сложатся дела, да и бабушка еще надвое сказала, прорвусь ли я сквозь сито.

Его рука, вероятно, бессознательно, легла на кожаную кобуру револьвера, словно намекая, что он вполне

способен, если захочет, «прорваться сквозь сито»; потом он добавил:

— А пока я прикинул, что, пожалуй, поеду с вами.

В его словах не было ничего оскорбительного, если не считать фамильярности и, быть может, намек, что, хочу я того или нет, он все равно поступит по-своему. И я только ответил, что, если наша совместная поездка продолжится и за Хэвитри-Хилл, ему придется одолжить мне свою лошадь. К моему удивлению, он спокойно ответил: «Идет»,— добавив, что его лошадь в моем распоряжении — вся, когда она ему не нужна, и половина, когда нужна.

— Дик уже много раз возил на себе двоих,— продолжал он,— и сможет сделать это и теперь. Когда ваш мустанг выдохнется, я подвезу вас — места хватит.

При мысли, что я появлюсь перед ребятами Красной Лощины, сидя за спиной неизвестного человека, я не смог удержаться от улыбки. Но меня неприятно поразили слова, что Дику уже приходилось возить двоих. «А почему?» — но этот вопрос я оставил при себе. Мы поднимались по длинному скалистому отрогу, и тропа была так узка, что мы были вынуждены ехать медленно и гуськом, а поэтому разговаривать не могли, даже если бы он и склонен был удовлетворить мое любопытство.

Мы молча, с трудом продвигались вперед; конский каштан постепенно уступал место чемисало; заходящее солнце, отраженное белыми скалами, слепило глаза. Сосновый бор внизу, в каньоне, курился от жары, а над ним лениво парили ястребы, иногда поднимаясь вровень с нами, так что на склон горы падала таинственная и исполинская тень от неторопливодвигающихся крыльев. Лошадь незнакомца была гораздо лучше моей, и он часто уезжал далеко вперед, пробуждая во мне надежду, что он совсем забудет обо мне или, устав ждать, ускользнет своей дорогой. Но каждый раз он останавливался у какого-нибудь валуна или вдруг появлялся из зарослей чемисала, где терпеливо стоял, ожидая меня. Я уже начал тихо его ненавидеть, когда вдруг, вновь очутившись рядом со мной, он выпрямился в седле и спросил, нравится ли мне Диккенс.

Спроси он мое мнение о Гексли или о Дарвине, я и то удивился бы меньше,

Решив, что он, вероятно, имеет в виду какую-нибудь местную знаменитость в Легрейндже, я нерешительно спросил:

— Вы говорите о...

— О Чарльзе Диккенсе. Вы ж его, конечно, читали? Какой из его романов вам больше нравится?

Этот вопрос привел меня в замешательство, но я ответил, что мне нравятся все его романы (что полностью соответствовало истине).

С горячностью, совсем не похожей на его обычную сдержанность, он схватил мою руку и сказал:

— Мне тоже, старина. Диккенс молодец. Уж он никогда не подведет.

После этого грубоватого вступления он пустился обсуждать достоинства романиста с таким знанием дела и таким искренним восхищением, что я был поражен. Он рассуждал не только о великолепном юморе Диккенса, но и о силе его чувств и о всепроникающей поэтичности его произведений. Я глядел на него с удивлением. До тех пор я считал себя неплохим знатоком и поклонником этого великого мастера, но красноречие незнакомца, уместность примеров и разнообразие цитат поразили меня. Правда, мысли его не всегда высказывались изящным языком и часто облекались в лохмотья жаргона тех лет и той эпохи, но никогда не были грубыми, а иногда просто поражали меня своей точностью и меткостью. Я даже как-то подобрел к нему и попытался выведать, что он знает о литературе, кроме Диккенса. Но напрасно. Он не знал никого, кроме нескольких лирических и чувствительных поэтов. Под влиянием собственных речей он и сам заметно подобрел: предложил поменяться со мной лошадьми, с профессиональной ловкостью поправил мое седло, перенес мой мешок на свою лошадь, настоял на том, чтобы я разделил с ним содержимое его фляги, и, заметив, что я не вооружен, навязал мне свой маленький, оправленный в серебро пистолет, на который, как он меня уверял, «можно положиться». Все эти любезные услуги, его благожелательность и интересная беседа отвлекли меня, и я не сразу заметил, что мы едем по незнакомым мне местам. Мы, несомненно, свернули на дорогу, которой я не знал. Я с раздражением

сказал об этом своему спутнику. И манеры и речь его сразу же стали прежними:

— Ну, что одна дорога, что другая — не все ли равно? А чем вам эта не нравится?

Я с достоинством возразил, что предпочел бы ехать по старой тропе.

— Может, и предпочли бы. Но сейчас вы едете со мной. Эта самая тропа выведет вас прямо к Индейскому ручью, да так, что никто вас не заметит. Вы не бойтесь, я вас до места доведу.

Я почувствовал, что пора и мне поставить на своем. Я ответил твердо, но вежливо, что собираюсь переночевать у одного моего друга.

— Это где же?

Я колебался. Мой друг приехал из восточных штатов и здесь приобрел репутацию человека оригинального, утонченного и затворника. Мизантроп, с большими связями и большими средствами, он избрал уединенную, но живописную долину в Сьерре, где мог без помех отгородиться от мира. «Глухая долина» (или «Бостонское ранчо», как ее попросту называли) была местом, которое обычный старатель уважал и побаивался. Мистер Сильвестр, владелец ранчо, никогда не водил особой дружбы с «ребятами», но и никогда не вмешивался в их дела. Если уединение было его целью, то он достиг ее. Тем не менее в сгущающихся сумерках и на пустынной и неизвестной мне тропе я не решался назвать его имя незнакомцу, о котором так мало знал. Но мой таинственный спутник не оставил мне другого выхода.

— Послушайте,— неожиданно сказал он,— остановиться вам тут негде, кроме как на ранчо Сильвестра.

Мне пришлось согласиться с этим.

— Ну что же,— сказал незнакомец спокойно и с таким видом, будто оказывал мне одолжение,—я, пожалуй, могу остановиться там с вами. Это, конечно, крюк, и я потеряю время, ну да ничего.

Я быстро и настойчиво стал ему объяснять, что не настолько близок с мистером Сильвестром, чтобы являться к нему с незнакомым человеком, что он не похож на здешний народ,—короче, что он чужак, и прочее, и прочее.

К моему удивлению, мой спутник спокойно ответил:  
— Все это пустяки. Я о нем слышал. А если вы боитесь, что везете кота в мешке, так положитесь на меня. Я все устрою сам.

Что я мог противопоставить спокойной уверенности этого человека? Я почувствовал, что краснею от злости и растерянности. Что скажет благовоспитанный Сильвестр? Что скажут девушки — я был тогда молодым и завоевал право посещать их гостиную своей сдержанной корректностью, свойством, для которого у «ребят» было другое, менее лестное название, — что скажут девушки о моем новом знакомом? Однако что я мог возразить? Ведь он брал всю ответственность на себя, а к тому же мне было немного стыдно своей растерянности.

Мы стали спускаться в Глухую долину. Внизу уже мерцали огни уединенного ранчо. И тут я повернулся к моему спутнику.

— Но вы забыли, что я даже не знаю вашего имени. Как я должен вас представить?

— Это верно, — сказал он задумчиво. — «Кирни» — вроде бы неплохая фамилия. И короткая и легко запоминается. И во Фриско есть улица — называется Кирни.

— Но... — начал я с досадой.

— Предоставьте все это мне, — перебил он меня с такой великолепной самоуверенностью, что мне оставалось только восхищаться. — Ну что такое фамилия? Человек — вот что важно. Если я, скажем, собираюсь прикончить человека по фамилии Джонс, а как его подстрелю, то на следственном суде узнаю, что настоящая-то его фамилия Смит, мне же все равно, лишь бы это был тот самый человек.

Столь яркий пример не слишком меня ободрил, но мы уже приехали на ранчо. Залаяли собаки, и Сильвестр вышел на порог маленького домика, который построил с большим вкусом.

Я сдержанно представил мистера Кирни.

— Ну что же, пусть будет Кирни, для меня Кирни вполне подходит, — к моему ужасу и к очевидному изумлению Сильвестра, вполголоса заметил мнимый Кирни, а затем с полной невозмутимостью объявил, что должен сам присмотреть за своей лошадью. Когда он отошел на

достаточное расстojние, я отвел недоумевающего Сильвестра в сторону.

— На дороге я подобрал... то есть меня подобрал на дороге тихий помешанный, фамилия которого не Кирни. Он вооружен до зубов и цитирует Диккенса. Если слушать его, ни в чем ему не возражать и во всем уступать, то, пожалуй, его можно не опасаться. Без сомнения, зрелище вашего беспомощного семейства, созерцание красоты и юности вашей дочери могут тронуть его и пробудить в нем добрые чувства. Да поможет вам бог и простите меня!

Я побежал наверх в маленькую комнатку, которую мой гостеприимный хозяин всегда, когда бы я ни приехал, предоставлял в мое распоряжение. Пока я умывался, снизу до меня доносился голос Сильвестра, ленивый и барственный, и голос моего таинственного знакомого, столь же невозмутимый, но несколько вульгарный.

Когда я спустился в гостиную, я был удивлен, увидев, что мнимый Кирни спокойно восседает на диване, кроткая Мэй Сильвестр, «Лилия Глухой долины», сидит рядом с ним и слушает его с благоговейным трепетом и искренним интересом, пока ее кузина Кэт, отъявленная кокетка, сидя по другую руку незнакомца, строит ему глазки с почти неподдельным восторгом.

— Кто ваш восхитительно-невозмутимый друг?— шепнула она мне за ужином. (Я, крайне изумленный и смущенный, сидел между Мэй Сильвестр, которая, как завороченная, ловила каждое его слово, и этой ветреной современной девушкой, которая пускала в ход все свои чары, чтобы хоть как-то привлечь к себе его внимание.)— Конечно, мы знаем, что его фамилия не Кирни. Как это романтично! Ну, разве он не милый? Кто он?

Я ответил с суровой иронией, что мне не известно, какой именно иноземный властелин путешествует сейчас инкогнито по калифорнийской Сьерре, но что когда его королевскому высочеству заблагорассудится сообщить мне свое имя, я буду счастлив представить его по всем правилам.

— До тех пор,— добавил я,— боюсь, что знакомство это будет морганатическим.

— Вы просто ему завидуете! — заявила она дерзко.— Поглядите на Мэй: она просто очарована. И ее отец тоже.

И действительно, презрительный, уставший от жизни скептик Сильвестр глядел на незнакомца с мальчишеским интересом и восторгом, совершенно не вязавшимся с его характером. Но, право же, я не мог усмотреть в этом человеке ничего, кроме того, что уже известно читателю, и, думаю, всякий благоразумный человек со мной согласится.

В середине захватывающего рассказа, героем которого был сам «Кирни», о чем сразу же догадались его прекрасные слушательницы, он внезапно остановился.

— Наверное, какие-то старатели едут по мосту внизу,— объяснил Сильвестр.— Продолжайте же!

— А может, это моя лошадь балует,— ответил Кирни.— Не привыкла она жить по конюшням.

Бог знает, какой восхитительный и романтический намек крылся в этих простых словах, но девушки, когда он бесцеремонно вышел из-за стола, переглянулись и покраснели.

— Какой милый! — воскликнула Кэт с волнением.— И какой остроумный!

— Остроумный! — с вызовом ответила нежная Мэй.— Остроумный, моя дорогая? Разве ты не видела, что сердце его разрывается от сострадания! Остроумный! Ведь когда он рассказывал об этой бедной мексиканке, которую повесили, я видела, как слезы показались на его глазах. Остроумный!

— Слезы! — засмеялся скептик Сильвестр.— Слезы, беспричинные слезы! Глупенькие девочки, этот человек умудрен жизненным опытом, он философ, спокойный, наблюдательный и скромный.

«Скромный»! Неужели Сильвестр был пьян или незнакомец подбросил в его стакан «дурманной травы»? Он вернулся раньше, чем я успел разгадать эту загадку, и невозмутимо закончил свой рассказ. Обнаружив, что меня забыли ради человека, которого я даже не сразу решил представить моим друзьям, я рано ушел к себе и два часа спустя был вынужден выслушивать через тонкие перегородки похвалы, которые девушки в соседней комнате расточали новому гостю, болтая перед сном.

В полночь топот копыт и звон шпор у ворот разбудил меня. Разговор между моим хозяином и таинственными посетителями велся так тихо, что я не мог понять, о чем они говорят. Когда кавалькада отъехала, я высунулся из окна:

— Что случилось?

— Ничего,— хладнокровно ответил Сильвестр.— Просто еще одно из тех шутовских убийств, столь обычных для здешних краев. Сегодня утром в Легрейндже Чероки Джек кого-то застрелил, и теперь шериф Калавераса со своими людьми гонится за ним. Я ему сказал, что никого, кроме вас и вашего друга, не видел. Кстати, надеюсь, что этот проклятый шум не разбудил его. Бедняга, кажется, нуждается в отдыхе.

В последнем я не сомневался. Тем не менее я тихонько вошел в его комнату. Она была пуста. Полагаю, он опередил шерифа Калавераса часа на два.



## ИСКАТЕЛЬ ДОЛЖНОСТИ

Он спросил, случалось ли мне читать когда-нибудь «Страж Римуса».

Я ответил, что не случалось, и хотел было добавить, что даже не знаю, где находится Римус, но тут он выразил недоумение по поводу того, что в отеле не выписывается «Страж»; и обещал написать об этом редактору. Он не стал бы об этом говорить, но он тоже скромный представитель той профессии, к которой принадлежу и я, и его статьи часто помещались на столбцах этого печатного органа. Некоторые его друзья — они, без сомнения, пристрастны — считают, что его стиль имеет нечто общее со стилем Юния<sup>1</sup>, — но, конечно, вы понимаете — словом, он мог бы только сообщить, что в последней предвыборной кампании его статьи были в большом спросе у публики. Кажется, при нем должен быть экземпляр одной из них. Тут рука его нырнула привычным движением во внутренний карман сюртука; и, выложив себе на колени кипу изрядно потрепанных бумаг, каждая из которых явно удостоверяла что-либо за подписями и печатями, он в заключение сказал, что статья, должно быть, осталась у него в чемодане.

Я вздохнул свободней. Мы сидели в вестибюле известного вашингтонского отеля, и мой собеседник, совершенно мне незнакомый лишь несколько минут назад, придвинул свой стул к моему и начал разговор. Я заметил в

---

<sup>1</sup> Ю н и й — псевдоним автора ряда политических памфлетов, опубликованных в Англии между 1763—1777 годами,

нем ту смесь робости, одиночества и беспомощности, которая присуща провинциалу, впервые оказавшемуся среди чужих людей и как бы затерявшемуся в мире, который куда шире, холоднее и равнодушнее, чем он мог вообразить. Мне думается, мы склонны приписывать дерзкой фамильярности приезжих из глухой провинции или из деревни, встреченных в поезде или в большом городе, то, что рождено их ужасающим одиночеством и оторванностью от родных мест. Я помню, как в купе канзасского поезда один из таких пассажиров, забросав меня вначале тысячью ненужных вопросов, установил наконец, что я немного знаком с человеком, когда-то жившим в его родном городке в Иллинойсе. Весь остаток нашего путешествия разговор вертелся главным образом вокруг этого его земляка, которого, как выяснилось позднее, мой иллинойсский спутник знал не больше, чем я. Но ему удалось таким образом установить связь со своим далеким домом, и он был счастлив.

Пока все это мелькало у меня в голове, я успел разглядеть моего собеседника. Это был худощавый молодой человек, лет тридцати, не больше, с рыжеватыми волосами и бровями и белыми, почти незаметными ресницами. Одет он был в черную пару, уже вышедшую из моды, и мне пришла на ум странная мысль, что это его свадебный костюм; как выяснилось впоследствии, я был прав. В его обхождении была какая-то педантическая точность — что-то от назидательности, свойственной сельскому школьному учителю, привыкшему иметь дело с умами чрезвычайно неразвитыми. Из его рассказа о себе стало ясно, что и в этом я не ошибся.

Он родился и вырос в одном из западных штатов, был в Римусе школьным учителем и секретарем попечительского совета, женился на одной из своих учениц, дочери священника, человека довольно состоятельного. Он снискал себе некоторое внимание своими ораторскими способностями и был одним из виднейших членов «Дискуссионного общества» в Римусе. Различные вопросы, волновавшие тогда Римус, — «Совместима ли доктрина бессмертия с образом жизни земледельца?», «Является ли вальс морально предосудительным?», — доставили ему возможность приобрести известность среди своих сограждан. Быть может, мне случилось видеть выдержки, пе-

репечатанные из «Стража Римуса» в «Крисчен Рикордер» от 7 мая 1870 года? Нет? Он мог бы достать для меня этот номер. Он принимал активное участие в последней предвыборной кампании. Ему не слишком удобно говорить об этом, но все знают, что Гэшуйлер был избран благодаря ему.

— Кто?

— Генерал Пратт К. Гэшуйлер, член Конгресса от нашего избирательного округа.

— А!

— Замечательный человек, сэр, весьма замечательный человек; человек, чье влияние, сэр, почувствуют теперь здесь, да, сэр, здесь. Так вот, он приехал сюда с Гэшуйлером: и, словом, он не знает, почему, и Гэшуйлер не знает, почему бы ему не принять, знаете ли,— здесь он виновато усмехнулся,— это воздаяние за те услуги, которые... и т. д. и т. п.

Я спросил, имеет ли он в виду какую-нибудь определенную должность.

Правду говоря, нет. Он предоставил это Гэшуйлеру. Гэшуйлер сказал (он помнит это дословно): «Предоставьте все это мне. Я прощупаю в нескольких ведомствах и посмотрю, что можно будет сделать для человека с вашими дарованиями».

— И?

— Он ищет. Я ожидаю его с минуты на минуту. Он ушел в министерство Волокиты — взглянуть, что можно там сделать... Ах, вот и он.

К нам приближался рослый мужчина. Очень тяжеловесный, очень громоздкий, очень елейный и в то же время подавляющий. Он старался выглядеть «честным фермером», но так неудачно, что последний деревенский бедняк почувствовал бы себя задетым. Он так смахивал на стряпчего-крючкотвора, что уважающий себя судья немедленно выдворил бы его из зала суда. И было в нем что-то военное, просто вопившее, чтобы его немедленно предали военно-полевому суду. Мы были представлены друг другу, и я узнал, что имя моего приятеля, ожидавшего должности,—Экспектент Доббс. После чего Гэшуйлер обратился ко мне:

— Наш молодой друг ждет, да, ждет... У кормила государственных дел, сказал бы я. Молодость,— продол-

жал достопочтенный мистер Гэшуйлер, как бы адресуясь к воображаемым избирателям, — не что иное, как время ожидания, так сказать, подготовки!

Когда он протянул руку отеческим жестом — жестом столь же фальшивым, как и все от него исходившее, — не знаю, кем я был более возмущен — им или его жертвой, пожавшей эту руку с явной гордостью и удовлетворением.

Тем не менее Доббс отважился на робкий вопрос:

— Что-нибудь уже сделано?

— Пока нет; не могу сказать, чтобы что-нибудь... ну, скажем, чтобы что-нибудь было завершено; однако могу сказать, что у нас сейчас превосходная позиция для начала — ха-ха! Но мы должны подождать, мой юный друг, подождать. Как это сказал римский философ? «Как бы то ни было, давайте поспешать медленно». Ха-ха! — И он доверительно повернулся ко мне, как бы обращая мое внимание на то, «сколько нетерпеливы эти молодые люди».

— Я только что встретился со своим старым другом, товарищем детства, Джимом Мак-Глэшером, он начальник бюро по распространению Беспольной Информации, и, — понизив голос до таинственного, но отчетливого шепота, Гэшуйлер договорил: — Я увижусь с ним завтра еще раз.

Крик кондуктора, возвестивший, что омнибус сейчас отправится, вырвал меня из общества этого даровитого законодателя и его протеже; но когда мы тронулись в путь, я увидел через раскрытое окно, что могущественный разум Гэшуйлера продолжает, если можно так выразиться, воздействовать на восприимчивость мистера Доббса.

Прошла неделя, прежде чем мы встретились опять. В утро моего возвращения я увидел их обоих в вестибюле, но в отличие от первой нашей встречи даровитый Гэшуйлер явно старался отделаться от своего друга. Я слышал, как он говорил что-то о «комиссиях» и о «завтра»; и когда Доббс повернул ко мне свое веснушчатое лицо, я увидел, что оно наконец-то приобрело какое-то выражение — и это было разочарование.

Я вежливо осведомился, как подвигаются его дела. Он еще не утратил гордости: все идет хорошо, но коллеги его друга Гэшуйлера так высоко его ценят, что все его время уходит на занятия в различных комиссиях Кон-

гресса. Костюм моего собеседника, как я заметил, был уже не в столь хорошем состоянии, как раньше, и он сообщил, что переехал из отеля в меблированную комнату на тихой улочке, так дешевле. На время, конечно.

Через несколько дней у меня оказалось дело в одном из министерств. Множество разнообразных указателей на множестве дверей его отделов и бюро всегда странно приводило мне на ум торговое заведение Стюарта или Арнольда и Констэбла. Здесь можно получить пенсии, патенты и заводы. А также земли, и семена для посева, и индейцев, рыскающих вокруг, и все, что душе угодно. Здесь непрерывно дребезжат служебные звонки и мечутся курьеры, сильно напоминая приказчиков перед праздником.

Так как у меня было дело к самому управляющему этой гигантской национальной лавки чудес, я ухитрился пробраться сквозь толпу грустноглазых, возбужденных мужчин и женщин, заполнивших приемную, и вошел в комнату министра, сознавая, что оставляю за собой немало зависти и злобы. Открыв дверь, я услышал монотонную речь с характерной западной интонацией. Голос показался мне знакомым. Действительно, это был голос Гэшуилера.

— Назначение этого человека, господин министр, будет единодушно одобрено моими избирателями. Его семья состоятельна и пользуется влиянием, а для осенних выборов как раз важно обеспечить правительству поддержку попечителей. Наши делегаты в парламенте все до одного... — но тут, заметив по блуждающему взгляду министра, что в комнате присутствует посторонний, он начал шептать остальное ему на ухо с такой фамильярностью, что министру, вероятно, потребовался весь его политический такт, чтобы не поморщиться.

— Вы принесли необходимые документы? — спросил министр. Их у Гэшуилера оказалась целая кипа, — и министр бросил их на стол к другим бумагам, среди которых они как бы мгновенно обезличились и теперь, казалось, рекомендовали на должность кого угодно, кроме своего владельца. Так, если в одном углу делегация штата Массачусетс в полном составе с верховным судом во главе, по-видимому, серьезно настаивала на удобрении пустующих земель штата Айова, то в другом неискушен-

ный взгляд усмотрел бы подпись известной защитницы женских прав под прошением о пенсии за раны, полученные на войне.

— Да, кстати,— сказал министр,— у меня, кажется, лежит письмо от кого-то из ваших избирателей с просьбой о назначении на эту должность с ссылкой на вас. Вы берете свою рекомендацию назад?

— Неужели кто-то позволил себе сослаться на меня? — произнес достопочтенный мистер Гэшуйлер с нарастающим гневом.

— Письмо лежит у меня где-то здесь,— сказал министр, озадаченно оглядывая стол. Слабым движением он пошевелил бумаги, бессильно откинулся в кресле и выглянул в окно, как бы предполагая и даже надеясь, что письмо могло вылететь вон.— Его прислал некий мистер Глоббс, или Гоббс, или Доббс из Римуса,— сказал он наконец после сверхчеловеческого напряжения памяти.

— А, ерунда! Какой-то полоумный, который надоедал мне весь последний месяц.

— В таком случае вы его не рекомендуете?

— Безусловно нет. Подобное назначение не выразило бы... а, вернее сказать, могло бы вызвать бурное негодование в моем округе.

Министр испустил вздох облегчения, и даровитый Гэшуйлер вышел из комнаты.

Я попытался поймать взгляд этого достопочтенного негодяя, но он, очевидно, меня не узнал.

Мне подумалось, не должен ли я изобличить его предательство, но в следующий раз, когда я встретил Доббса, он был в таком радужном настроении, что я этого не сделал. Оказалось, его жена написала, что помощник начальника бюро по смачиванию отворотов конвертов в министерстве Волокиты доводится ей, как теперь выяснилось, троюродным братом, и она попросила его содействовать Доббсу, и Доббс с ним уже виделся, и тот обещал...

— Понимаете,— сказал Доббс,— при исполнении своих обязанностей он весьма близко соприкасается с министром, часто работает в комнате рядом,—это влиятельный человек, сэр! Заметьте, сэр, очень влиятельный человек.

Я не помню, как долго все это продолжалось. Достаточно долго, во всяком случае, чтобы Доббс успел при-

нять самый жалкий вид — манжеты исчезли, башмаки он не чистил, брился редко, глаза у него глубоко запали, а на скулах выступил лихорадочный румянец. Помню, я встречал его во всех министерствах — он писал письма или терпеливо сидел в приемной с утра до вечера. Он уже целиком утратил свой назидательный тон, но сохранил еще свою гордость.

— Мне все равно, где ожидать — здесь или в другом месте, — говорил он, — и к тому же я получаю пока некоторое представление об особенностях государственной службы.

Вот почему я очень удивился, получив от него в один прекрасный день записку, содержащую приглашение пообедать с ним в весьма известном ресторане. Я еще не успел преодолеть свое изумление, как ко мне в отель явился сам автор этой записки. В первую минуту я еле узнал его. Так изменил его новый элегантный костюм, не скрывавший, однако, деревенской угловатости его фигуры и общего облика. Он даже пытался держаться светски небрежного тона, но так неуверенно и наивно, что это не производило неприятного впечатления.

— Понимаете, — начал он в объяснение, — я нашел способ продвинуть мое дело. Все эти большие люди, члены правительства, знают меня только как просителя. Ну, вот, чтобы продвинуть мое дело, нужно встретиться с ними в обществе, угостить их, пообедать с ними. Посему, сэр (он опять впал здесь в свой назидательный учительский тон), за моим столом обедали вчера вечером два министра, два судьи и один генерал.

— По вашему приглашению?

— Конечно, нет. Я только платил. Дал обед и пригласил их Том Соуфлит. Тома все знают. Понимаете, меня надоумил один мой друг, он сказал, что Соуфлит устроил таким образом множество назначений. Понимаете, когда эти господа за вином размякнут, он вдруг говорит, словно невзначай: «Между прочим, мой приятель, имярек, славный малый, просит о том-то и о том-то, удовлетворите эту его просьбу». И не успеют они оглянуться, как он уже вырвал у них обещание. Они получают обед, и хороший обед, а он получает просимое назначение.

— Но где же вы достали такие деньги?

— Да... — Он заколебался и запнулся. — Я написал

домой, и отец Фанни раздобыл для меня полторы тысячи долларов. Я занес их в графу расходов на представительство.—У него вырвался слабый смешок.—Поскольку старик не пьет и не курит, он очень бы удивился, если бы узнал, на что ушли деньги; но я все верну, когда получу место, а этого ждать недолго, дело на мази.

Жаргон не шел к нему, как и его новый костюм, а его фамильярность казалась более жалкой, чем прежняя неловкая застенчивость. Но я не мог удержаться от вопроса, каков был результат этой траты.

— Пока никакого. Но министр Волокиты и начальник Низшего Департамента, оба говорили со мной, и один из них сказал, что мое имя он, кажется, уже где-то слышал раньше. Это возможно,—прибавил Доббс с принужденным смехом,—потому что я писал ему пятнадцать раз.

Прошло три месяца. Бурный снегопад остановил бег моей колесницы по Западной железной дороге, в десяти милях от нервничающих строителей моей лекции и нетерпеливо ожидающей публики. Оставалось только добираться до них в санях. Но дорога была длинна, сугробы глубоки, и когда через шесть миль мы дотащились до небольшого селения, возница заявил, что его лошадь дальше не пойдет и надо остановиться здесь. Ни посулы, ни угрозы не помогали. Мне пришлось примириться с неизбежностью.

— Как называется эта местность?

— Римус.

Римус... Римус... Где я раньше слышал это название? Но пока я над этим размышлял, мы подъехали к дверям захудалой гостиницы. Это унылое заведение, казалось, не сулило спокойного сна. А было только девять часов вечера, и вся долгая зимняя ночь впереди. Потерпев неудачу в попытке получить у хозяина упряжку, чтобы продолжать путь, я решил покориться судьбе и довольствоваться сигарой да теплом докрасна раскаленной печки. Через несколько минут ко мне подошел один из посетителей буфета; назвав меня по имени, он грубовато, но сердечно посочувствовал моей беде и посоветовал переночевать в Римусе.

— Комнаты в этой гостинице,—прибавил он,—не сказать чтобы лучшие в мире. Но есть здесь один старик,



прежний священник, так он уже лет двадцать пускает к себе ночевать таких вот людей, как вы, и платы не берет, а так, от чистого сердца. Прежде у него водились денежки, а теперь он совсем обеднел. Продал свой большой дом у перекрестка и живет с тех пор вместе с дочкой в хижине. Но коли вы к нему пойдете, то очень его уважите, а услышь он, что я отпустил вас из Римуса и не отвел к нему, так он с меня голову снимет. Погодите-ка, я вас провожу.

Почему бы мне было в конце концов и не нанести визита старику? Я последовал за моим проводником сквозь продолжавшуюся метель. Мы подошли к маленькому домику. Мой спутник постучал, а когда дверь открылась, тотчас ушел, предварительно представив меня в не слишком лестной речи:

— Вот, почтенный, я вам привел одного застрявшего тут лектора.

Хозяин дома, седовласый человек лет семидесяти, с приятным лицом, поздоровался со мной и пригласил меня войти. Его радушие рассеяло неловкость, возникшую после рекомендации моего проводника, и я спокойно вошел за ним в чистую, но бедно обставленную гостиную. С дивана поднялась слегка увядшая молодая женщина, и старик познакомил меня с ней. Это была его дочь.

— Мы с Фанни живем здесь в совершенном одиночестве, и если бы вы знали, как приятно бывает хоть изредка видеть кого-нибудь из большого мира, вы бы не стали просить извинения за то, что назвали своим вторжением.

Пока он говорил, я старался припомнить, где, когда и при каких обстоятельствах я видел раньше это селение, дом, этого старика и его дочь. Было ли это сном или одним из смутных видений прошлого бытия, иной раз возникающих в человеческом сознании? Я вновь посмотрел на обоих. В линиях, проведенных заботами у губ молодой женщины (наверное, еще недавно это был милый девичий ротик), в изборожденном морщинами челе старика, в тиканье старомодных часов на полке, в слабом шорохе идущего за окнами снега я как бы читал надпись: «Терпение, терпение, жди и надейся».

Старик набил табаком трубку и, передав ее мне, продолжал:

— Хотя я редко пью сам, я привык всегда держать в доме какой-нибудь подкрепляющий напиток для проезжающих гостей, но сегодня у меня нет ничего.

Я поспешил предложить ему свою флягу; после мгновенного замешательства он принял предложенное и теперь, как бы сбросив с плеч добрый десяток лет, сидел в своем кресле, выпрямившись и обретя словоохотливость.

— А как идут дела в столице, сэр? — начал он.

По правде говоря, я не имел об этом ни малейшего представления. Но старику явно хотелось обстоятельно побеседовать о политике, и я ответил неопределенно, однако не опасаясь уклониться от истины, что, по моим наблюдениям, там ничего особенного не делается.

— Да, да, — сказал старик, — в вопросах возобновления платежей; что же касается суверенных прав штатов и федерального вмешательства, то вы согласитесь, что следует придерживаться осторожной консервативной политики, пока Комиссия по выборам<sup>1</sup> не вынесет окончательного решения.

Я беспомощно оглянулся в сторону молодой дамы и слабым голосом произнес, что он совершенно верно изложил мою точку зрения. Проследив направление брошенного мною взгляда, старик сказал:

— Хотя муж моей дочери занимает пост в федеральном правительстве в Вашингтоне, он так поглощен делами, что не имеет возможности сообщать нам не столь уж важные новости... Простите, вы что-то сказали?

Действительно, у меня вырвалось невольное восклицание. Значит, это был Римус, родной дом Экспектента Доббса, и передо мной были его жена и тесть; и блеск вашингтонского банкета — подумать только! — стоил крови сердца этой бедной женщины, и вся роскошь его была поддержана этой шаткой кариатидой — ее отцом.

— А какую должность он занимает?

Старик не знал этого точно, однако полагал, что инспекторский пост. Мистер Гэшуилер заверил его, что это место первого класса — да, именно первого.

---

<sup>1</sup> Комиссия, созданная в январе 1877 года в связи с тем, что на президентских выборах подсчет голосов был произведен неправильно.

Я не стал сообщать ему, что в данном случае, как и во многих других, в Вашингтоне принято вести счет в обратном порядке. Я только сказал:

— Я полагаю, что ваш депутат, мистер... мистер Гэшуилер...

— Не называйте его имени,— проговорила маленькая женщина, поспешно вскочив на ноги.— Он никогда не приносил Экспектенту ничего, кроме горя и разочарований. Я ненавижу, я презираю этого человека!

— Милая Фанни,— с мягкой укоризной возразил старик,— это и не по-христиански и несправедливо. Мистер Гэшуилер — замечательный, весьма замечательный человек! Он трудится на великом поприще, его время отдано более важным делам.

— Однако у него хватило времени воспользоваться услугами бедного Экспектента,— сказала раненая голубка с некоторой злостью.

Все же я почувствовал известное удовлетворение, узнав, что Доббс получил наконец место—неважно, какое, неважно, через кого; и, улегшись в постель в комнате, которая, по всей видимости, должна была служить супружеской спальней, я пришел к выводу, что худшие испытания Доббса остались позади. Стены комнаты были увешаны сувенирами юных дней этой четы: тут был портрет Доббса в возрасте двадцати пяти лет; засохший букет в стеклянной шкатулке, подаренный Доббсом Фанни в день экзамена, вставленное в рамку постановление Дискуссионного общества Римуса о благодарности Доббсу, удостоверение об избрании Доббса президентом римусского Общества любителей математики, патент Доббса на чин капитана независимого отряда Национальной гвардии Римуса и, наконец, масонская грамота, в которой Доббс аттестовался в эпитетах более преувеличенных и экстравагантных, чем любая царствующая особа.

И при всем том эти дешевые лавры узкого мирка и узкого кругозора были хранимы и освящены любовью преданной жрицы домашнего храма, которая поддерживала пламя своего светильника во мраке печали, сомнения и отчаяния. Вьюга бушевала вокруг дома и била белыми кулаками в окна. Сухой лавровый венок, которым Фанни увенчала Доббса после его прославленной речи,

произнесенной в здании школы в день Столетней годовщины, 4 июля 1876 года, качался под порывами ветра, и сухие листья падали на пол, а я лежал в постели Доббса и ломал голову над тем, что представляла его должность первого класса.

Я это узнал лишь летом. Бродя по длинным коридорам некоего министерства, я натолкнулся на человека, который держал на плечах коромысло, нес два огромных ведра со льдом и добавлял лед в кувшины с водой, стоявшие в кабинетах. Пройдя мимо, я оглянулся на него. Это был Доббс!

Он не снял с себя своего груза; это не полагалось, сказал он. Однако в беседу вступил охотно, сообщив, что начинает с самого подножия лестницы, но надеется в ближайшее время взобраться наверх. Предстоит реформа гражданских учреждений, и, конечно, он скоро получит повышение.

— Место вам устроил Гэшуйлер?

Нет. Он считал, что обязан этим мне. Именно я рассказал его историю помощнику министра, имярек, который, в свою очередь, сообщил ее начальнику бюро NN — оба прекрасные люди, но вот все, что они могли сделать. Во всяком случае, это первый шаг. А теперь ему пора.

Однако я пошел с ним дальше—вверх и вниз и старался ободрить его, описывая в розовых красках его жену и семейство и мой визит к ним; и, наконец, оставил его с его коромыслом, пообещав зайти повидаться с ним в первый же раз, когда буду в Вашингтоне.

Реформа гражданских учреждений пришла вместе с новым правительством; незрелая и плохо продуманная, как всякая внезапно и спешно проводимая реформа, жестокая в отношении отдельных лиц, как все незрелые преобразования. И среди беззащитных мужчин и женщин, потерявших способность к другой работе на длительной службе в притупляющей машине федеральных ведомств, с которыми было покончено одним ударом, попала на плаху и слабая, глупая голова Экспектента Доббса. Впоследствии выяснилось, что даровитый Гэшуйлер должен был нести ответственность за раздачу двадцати служебных мест, и письмо Доббса, в котором он посмел упомянуть Гэшуйлера, ныне уже лишенного влияния,

решило его судьбу. Страна, в назидание другим, сурово наказала Гэшуйлера и... Доббса.

После этого он исчез. Я тщетно высматривал его в приемных, кулуарах, коридорах отелей и наконец пришел к заключению, что он уехал домой.

Как прекрасно было июльское воскресенье, когда утренний поезд из Балтимора прибыл на вашингтонский вокзал. Как нежно и целомудренно свет утреннего солнца лежал на восточном фасаде Капитолия, погружая все здания в величественный, внушающий благоговение покой. До чего трудно было представлять себе Гэшуйлера, проползающего между этими колоннами или прокрадывающегося под портиком, и не изумляться, почему та величественная статуя не спустилась вниз, чтобы мечом нанести убийственный удар по жирным округлостям этого незваного гостя. До чего трудно думать, что руки матереубийцы поднимались на Великую Матерь, изображенную здесь в целомудрии белых, полных изящества покровов, с благородным спокойствием чела, собравшей вокруг себя своих детей в белоснежных одеждах. Тут мне вспомнился Доббс, и вдруг перед окном моего экипажа мелькнуло знакомое лицо. Я приказал остановить лошадей и увидел женщину, растерянно стоящую на углу улицы. Когда она повернула в мою сторону встревоженное лицо, я узнал миссис Доббс.

Что она здесь делает и где Экспектент?

Пытаясь объяснить, она произнесла несколько несвязных фраз и залилась слезами. Я усадил ее в свой экипаж; и между рыданиями она рассказала, что Экспектент домой не возвращался; из письма одного здешнего друга она узнала, что он болен — ах, очень, очень болен! — а отец не мог поехать с ней, и она здесь одна. Такая испуганная, одинокая, такая несчастная...

Есть у нее его адрес?

Да-да, вот! Он живет где-то на окраине Вашингтона, около Джорджтауна. Быть может, я буду так добр, что провожу ее туда, — она никого тут не знает.

По дороге я пытался несколько развлечь ее, указывая на детей Великой Матери, уже упомянутых мною; но она только закрывала глаза, пока мы катили по длинным улицам, и шептала:

— О, эти ужасные, ужасные расстояния!

Наконец мы доехали. Это был негритянский квартал, но вокруг все выглядело чисто и опрятно. Я видел, как вздрогнула бедняжка, когда мы остановились у дверей низкого двухэтажного деревянного дома и из него при появлении столь редкого здесь экипажа высыпала на улицу толпа полуголых ребятишек, вслед за которыми к нам вышла благообразная, аккуратно одетая миловидная мулатка.

Да, этот самый дом. Он наверху и чувствует себя неважно; кажется, он уснул.

Мы поднялись наверх. В первой комнате, прибранной, но скудно обставленной, лежал Доббс. На дощатом столе около его кровати валялись груды писем и записок, адресованных в разные министерства и департаменты, а на одеяле лежало неоконченное письмо, вероятно, только что выпавшее из его слабых пальцев, адресованное в министерство Волокиты.

Когда мы вошли, он приподнялся, опираясь на локоть.

— Фанни! — пробормотал он, и тень разочарования пробежала по его лицу. — А я думал, что это ответ от министра, — добавил он, словно оправдываясь.

Бедная женщина выстрадала слишком много, чтобы отступить перед этим последним ударом. Она тихо подошла к изголовью больного, без единого слова или слезы опустила на колени, с любовью обвила его руками, и я оставил их наедине.

Когда вечером я вновь навестил их, ему было лучше — настолько лучше, что, несмотря на предписание врача, он целый час говорил с ней, полный бодрости и надежды... Потом внезапно приподнял обеими руками ее склоненную голову и произнес:

— Знаешь ли, дорогая, в поисках поддержки и покровительств я забыл того, кто пользуется большим влиянием у королей и министров, и я собираюсь, любимая, просить его ходатайствовать за меня. Еще не поздно, дружок, и я завтра же обращусь к нему.

И прежде чем пришло это завтра, он явился к нему и получил — в этом я не сомневаюсь — хорошее место.

## ТУРИСТ ИЗ ИНДИАНЫ

Впервые мы заметили его с палубы «Unser Fritz»<sup>1</sup>, когда это славное судно, державшее курс на Плимут, Гавр и Гамбург, готовилось к отплытию из Нью-Йорка. Потому ли, что в такие минуты все попадающееся на глаза пассажирам по-особому врезается в память, а быть может, потому, что, когда находишься в ожидании важного для тебя события, любой, не имеющий значения пустяк производит неизгладимое впечатление, но я сохранил самое живое воспоминание о том, как наш новый пассажир появился на сходнях и, вступив, по-видимому, без всякой надежды на успех в пререкания с говорившими по-немецки стюардами и матросами, в конце концов одержал победу. В его фигуре отнюдь не было ничего героического. Одетый в изрядно поношенный холщовый плащ, с охапкой сумок и свертков, он больше всего напоминал кучера наемного экипажа, несущего багаж своего седока. Примечательно, однако, что, хотя он упорно говорил по-английски и как бы не замечал того, что его противники сыплют немецкими фразами, он сумел настоять на своем, сохранив полнейшее спокойствие духа и столь же спокойное выражение лица, тогда как уступившие его натиску враги-иностранцы побагровели от ярости и заметно взмокли; наконец, раз десять нарушив судовые порядки, он занял место рядом с необычайно хорошенькой девушкой, несомненно, более высокого круга, которая тем не менее называла его отцом.

---

<sup>1</sup> «Наш Фриц» (нем.).

«Unser Fritz» давно уже снялся с якоря, а он по-прежнему оставался центральной фигурой на палубе, всем мешал, заговаривал со всеми одинаково фамильярно, оставаясь нечувствительным к щелчкам и насмешкам, и упрямо шел к своей цели даже в том случае, если эта цель не стояла и сотой доли затраченных на нее усилий.

— Вы сидите здесь на одной моей штуковине, мисс,— в четвертый раз повторил он, обращаясь к элегантнейшей мисс Монтморрис, которая в сопровождении друзей, принадлежавших к сливкам общества, совершала свое очередное путешествие в Европу.— Уж вы немножко приподнимитесь, а я ее мигом достану.

И не только сама мисс Монтморрис, но и вся окружавшая ее свита вынуждена была подняться с места. «Штуковина» оказалась старой, порядком измятой газетой.

— Это «Цинциннати таймс»,— пояснил он, с полным спокойствием завладев ею и просто не замечая устремленных на него уничтожающих взглядов.— Приплюснули вы ее малость оттого, что на ней посидели; да не беда, еще послужит. В ней письмо из Парижа с ценами в этих их гостиницах и ресторанах, и опять же я своей дочери сказал, что нам это может пригодиться. Только я никак не разберу парочку французских названий. Вот поглядите-ка, у вас глаза поострее...

Но тут весь кружок Монтморрисов негодующе удалился, и он так и остался стоять, держа газету в одной руке, а другой указывая нужный абзац. Ничуть не обескураженный таким поворотом событий, он окинул взглядом опустевшую скамью, с помощью шляпы, плаща и зонтика занял ее, на время исчез и вскоре вновь появился в сопровождении дочери, долговязого молодого человека и костлявой пожилой особы, которых тут же водворил на место Монтморрисов.

Когда судно вышло в открытое море, он вдруг куда-то пропал. Утешительная надежда на то, что либо он свалился за борт, либо каким-то чудом оказался на берегу, вскоре рассеялась, так как он опять появился на палубе под руку с дочерью и уже упоминавшейся выше пожилой особой. «Unser Fritz» сильно качало, но, одержимый своим нелепым упорством, наш пассажир и на этот раз пожелал во что бы то ни стало прогуляться по



лучшей части палубы, как бы почитая это и своим правом и своим неперменным долгом. Неожиданно судно накренилось, и он со своим неустойчивым грузом налетел на Монтморрисов; последовала минута отчаянного замешательства, несколько пассажиров повскакали со своих мест и наконец стюард увел с палубы этого явно чуть живого, измученного морской болезнью человека. Но когда он скрылся внизу, обнаружилось, что он успел занять для своих дам два превосходных места на палубе. Никто не осмелился беспокоить старшую, ни у кого не хватило духа потревожить и младшую, чья застенчивая сдержанность — настало наконец время сказать об этом — надежно удерживала пассажиров-мужчин в границах обычной учтивости.

Несколько дней спустя стало известно, что он едет отнюдь не первым классом, а вторым и что пожилая особа вовсе не его жена, как все полагали, а делит с его дочерью каюту первого класса. Отныне его назойливые вторжения в салон сделались еще более нестерпимыми для Монтморрисов, но и противиться этим вторжениям стало затруднительно. Он всегда умел поставить на своем; шляпа с обвисшими полями и холщовый плащ мелькали повсюду, для них не было ничего запретного, ничего святого: стоило выдворить их из машинного отделения, как они появлялись на капитанском мостике, и если им прегражден был путь на бак, то они словно изпод земли вырастали возле погруженного в изучение компаса штурмана. И когда они как-то устремились на марс, их владельца непременно привязали бы к мачте, не помешай тому присутствие на палубе его молчаливой дочери. В довершение всего, нарушая строжайшую заповедь, он непрерывно старался завязать дружескую беседу с самым рулевым.

До сих пор я довольствовался тем, что с захватывающим интересом наблюдал за ним издали — быть может, я благоразумно опасался, что сокращение дистанции погубит всю живописность, а быть может, как многие куда более достойные, чем я, предпочитал сохранить нетронутым свое представление о нем, которое при более тесном знакомстве вряд ли осталось бы прежним. Но однажды, когда я праздно прогуливался по корме у борта, созерцая тщеславные

усилия парового винта, хотевшего, по примеру всех паровых винтов, во что бы то ни стало доказать, что один он на всем судне занят полезной деятельностью, на меня, не предвещая ничего доброго, упала тень шляпы с обвисшими полями и неразлучного с ней плаща. Что было делать! Я смирился. Меня обрекало на это мое собственное представление об этом человеке.

— Только вчера я узнал, кто вы такой, — начал он не спеша, — а то разве бы я был таким несооб...щительным. Но я всегда говорил моей дочери, что, когда разъезжаешь по этим путешествиям, опасно заводить знакомство с первым встречным. Читал я ваши писания, как же! — читал их в индианской газете, но вот уж не думал, что встретимся. Правда, чего не бывает, а когда путешествуешь, никогда не знаешь с кем тебя судьба сведет. Моя дочь, Луиза, та только заметила вас, сразу насторожилась и все потом ломала себе голову, она-то и навела меня на ваш след.

Самая изысканная лесть не могла бы подействовать на меня сильнее. Занимать своей персоной мысли этой сдержанной милой девушки, когда даже тех, кто настойчиво добивался этого, она не удостаивала...

— Луиза навела меня на ваш след, — продолжал он с полным хладнокровием, — хотя она, сама-то она, имеет предрассудок против ваших писаний; по ней все там грубость одна, и люди, которых вы расписываете, ей не по духу; знаете, как это водится у женщин, она и мисс Монтморрис на этот счет заодно. Но тут со мной несколько приятелей, так они не прочь повидать вас.

Он отступил в сторону; человек пять-шесть вышли гуськом из-за кормовой надстройки и с торжественностью, свойственной только англосаксам, по очереди долго трясли мою руку, потом отошли и застыли в самых сосредоточенных позах, прислонившись к перилам. Это были мои добрые, преисполненные самых лучших намерений соотечественники, но никого из них я не знал в лицо.

Наступило мертвое молчание; винт, однако, хвастливо продолжал свое. «Вот видишь, я был прав, — говорил он, — все это вздор, переливание из пустого в порожнее. Только один я и занят здесь настоящим делом. Вжж-вжж-вжж! Хлоп-хлоп-хлоп!»

Я соби́рался быстро произнести несколько общих фраз, но облегченно вздохнул, обнаружив, что приятели моего собеседника по одному отделяются от перил и с легкими поклонами и новыми рукопожатиями расходятся в разные стороны, испытывая, очевидно, при этом не меньшее облегчение, чем я сам. Между тем мой собеседник с видом человека, выполнившего свой долг, сказал:

— Кто-то же должен заботиться о таких делах, а то не будет никакой обще...жительности. Вчера я привел к капитану депутацию с кое-какими предложениями; а еще есть здесь на борту священник, и надо бы до следующего воскресенья поговорить с ним; я готов взять это на себя, но, может, — добавил он с официальной любезностью, — вы захотите этим заняться? Раз вы, так сказать, общественная фигура.

Но общественная фигура поспешила заверить его, что вовсе не жаждет произносить речь. Чтобы переменить тему, я заметил, что как будто на нашем пароходе едет группа туристов Кука, и поинтересовался, не принадлежат ли к их числу только что ушедшие джентльмены? Однако этот вопрос побудил моего собеседника немедленно отложить шляпу и усесться поудобнее на палубе: он прислонился спиной к перилам, подтянул колени к подбородку и произнес следующее:

— Раз уж вы вспомнили Кука и туристов Кука, так, если хотите знать, я сам себе Кук. Я прикинул и расчел до последнего цента все, что будет потрачено от Эвансвилла в Индиане до Рима и до Неаполя, и знаю, где что надо смотреть. — Помолчав, он фамильярно положил мне руку на колено и спросил: — А говорил я вам, как я надумал поехать за границу?

Так как это был наш первый в жизни разговор, то я мог со спокойной совестью ответить «нет». Он задумчиво почесал затылок, насупил седые брови и сказал:

— Это, должно быть, я метрдотелю говорил. Он вроде бы смахивает на вас усами да и всей наружностью. Должно быть, ему, — кому же еще!

Я заметил, что, вероятно, так оно и было.

— Ну, так вот, как я это надумал. Сiju я раз вечером три месяца назад с моей дочерью Луизой — жена-то моя вот уже четыре года, как умерла, — и читаю ей из

газеты про Выставку. А она и говорит мне, тихо так — она у меня вообще-то тихая, если вы заметили: «Хотелось бы мне поехать туда». Посмотрел я на нее: ведь с тех пор, как ее матери нет в живых, она в первый раз просит у меня что-то, или, так сказать, выражает желание. Не было у нее такой привычки. Она жила, как у нас было заведено, и, провалиться мне на месте, если я когда-нибудь знал, по душе ей это или нет. Я ведь еще не говорил вам этого?

— Нет, — ответил я поспешно. — Продолжайте.

Он потер колени и глубоко вздохнул.

— Вы, может, не знаете, — начал он не спеша, — что я человек бедный. Вы вот видите меня здесь, среди всех этих богачей, и я еду в Париж с самыми разбогатыми из них и притом, что Луиза в каюте первого класса, как такой барышне и положено, конечно, вам трудно поверить. Но я, попросту говоря, бедняк! Так вот, сэр, смотрит она на меня и говорит мне это, а у меня-то и двенадцати долларов в карманах не наскребется! И не такой уж я дурак, каким выгляжу, а все-таки что-то во мне, знаете, что-то там внутри твердит: «Поедешь, поедешь, Лу!» И вот я повторяю это, уже громко: «Ты поедешь, Лу» — и смотрю ей прямо в глаза, а вы когда-нибудь смотрели в глаза моей дочери?

Я уклонился от этого слишком уж прямого вопроса, спросив его, в свою очередь:

— Ну, а двенадцать долларов? Как же вы вышли из положения?

— Я скопил двести пятьдесят. Прирабатывал чем мог. Я ведь механик. От Лу я, конечно, скрывал, что по вечерам работаю сверхурочно. Я ей говорил, что, мол, надо мне повидать кое-кого, чтобы разузнать про эту Европу, и всякое такое. А потом я еще занял немного под свой страховой полис, так что и набралось сколько нужно. И вот мы тут. Все нам нипочем, и мы едем первым классом до самого конца, то есть это Лу так едет!

— Имея всего двести пятьдесят долларов! На Рим, и на Неаполь, и на обратный путь? У вас из этого ничего не выйдет.

Он хитро посмотрел на меня.

— Ничего не выйдет, говорите? Да уже вышло.

— Как так?

— Ну, почти что вышло. Я все расчел. Цифры не врут. Нет, я не турист Кука. Кук может у меня кое-чему поучиться! Говорю вам, я расчел все до цента, и у меня еще лишек остается. Ясное дело, я не думаю путешествовать вместе с Лу. Она едет первым классом. Ну, а я буду при ней, хоть в трюме, хоть в багажном вагоне, если придется. Много ли мне надо, чтобы прокормиться? А время от времени я, глядишь, могу и приработать. Наверное, вы уже запомнили, какой скандал вышел в машинном отделении, когда меня оттуда выставили взащей?

Я невольно посмотрел на него с изумлением. Судя по выражению его лица, у него сохранилось самое приятное воспоминание об этом случае. Между тем я прекрасно помнил, как оскорблен был тогда за него и за его дочь.

— Ну, так этот чертов остопоп-немец, здешний старший механик, на днях предложил мне работу. А не прорвись я тогда вниз, и не поговори с нахальством, и не охай я его паровую машину, откуда бы ему знать, что я могу отличить эксцентрик от колеса телеги? Смекаете?

Кажется, кое-что я действительно начал смекать. И все-таки я не удержался и спросил, как смотрит его дочь на этот их столь неравный способ путешествия.

Он рассмеялся.

— Когда я набирался ума из этих книг про путешествия, я прочитал ей из одной книжонки, что «только принцы, дураки и американцы путешествуют первым классом». Ну и растолковал ей, что там ничего не сказано о женщинах, потому что они, ясное дело, должны ездить первым классом, а уж американские девушки само собой: они же все принцессы. Смекаете?

Если на основании этих слов я не сумел до конца постигнуть ход его мыслей и понять, что побудило его дочь согласиться с ним, то последующие его откровения пролили на это кое-какой свет. Поздравив его в самых неопределенных выражениях с успехом, я поднялся и собирался было уйти, но тут он снова подозвал меня.

— А не говорил я вам, — сказал он, внимательно оглядываясь по сторонам и, однако, с трудом сдерживая счастливую улыбку, — а не говорил я вам, что эта девочка, моя дочь, сказала мне? Да нет, как будто не говорил. Я еще никому про это не говорил. Идите сюда.

Он потянул меня за собой в укромный уголок за кормовой надстройкой.

— В тот вечер, когда я сказал моей девочке, что она едет за границу, я и говорю ей, эдак шутливо и невзначай: «Лу! — говорю я. — Ты наверняка выйдешь там замуж за какого-нибудь из этих графов, князей или властелинов и, небось, бросишь старика отца!» А она и говорит мне, говорит, прямо глядя в глаза. А вы замечали, какие глаза у этой девочки?

— Красивые, — ответил я неопределенно.

— Они такие же чистые, как только что вымытый поддонник, и такие же блестящие. К ним ничего не пристаёт. Э, верно я говорю?

— Вы правы.

— Ну вот, смотрит она на меня так (тут он изобразил застенчивый взгляд своей дочери — уродливо и ничуть не похоже) и, смотря на меня так, говорит: «Для того я и еду и еще, чтобы развивать свой ум!» Ха-ха-ха! Видали вы! Выйти замуж за аристократа и развивать свой ум. Ха-ха-ха!

Явное восхищение, с каким он пересказывал мне слова своей дочери, нисколько не задумываясь, похвальны ли они, как и легкость, с какой он доверил их человеку, вовсе ему не знакомому, опять опрокинули все мои теории. Я мог бы добавить здесь, что как раз эта способность обманывать ожидания стороннего наблюдателя и служит доказательством самобытности характера. Но эта мысль пришла мне в голову позже, уже несколько месяцев спустя.

Мы расстались в Англии. В таком кратком очерке нет нужды приводить разнообразные истории о «дядюшке Джошуа» (как называли его наши самые юные и легкомысленные пассажиры), тем более что обычно они противоречили моей собственной оценке характера этого человека, хотя должен признаться, что сам я далеко не был уверен в ее правильности. Но главным во всех этих историях неизменно было настойчивое, не знающее преград упорство дядюшки Джошуа и его невозмутимое спокойствие. Он спросил мисс Монтморрис, не «возражает» ли она «поразвлечь» их и спеть в кают-компании второго класса, и, чтобы подбодрить ее, добавил, что они «ровным счетом ничего не смыслят в музы-

ке»,—поведал мне Джек Уокер. «И когда он починил испорченный замок на моем саквояже, он так прямо и предложил мне пе'е'дать кузине Г'ейс, что он «не поч'е» во время путешествия состоять п'и ней «ку'е'ом» и делать, что надо «по части механики», 'азумеется, если она возьмет под свое пок'овительство эту его почти глухонемую дочь. Ну, 'азве не смешно! П'аво, он один из ваших пе'сонажей»,— сказала мне при прощании младшая мисс Монтморрис.

Боюсь, она была неправа, хотя впоследствии он пригодился мне для подтверждения некоторых моих теорий. Как-то раз мне представился случай помочь ему, когда он пререкался с кебменом относительно платы за проезд его дочери, причем у кебмена сложилось вполне определенное впечатление, что каким-то незаметным образом, то ли внутри, то ли снаружи, но отец тоже пропутешествовал в его экипаже, и я должен с прискорбием сказать, что эту глупость он действительно совершил. Потом до меня дошли слухи, что он вторгся в некий дворец в Англии и был с позором изгнан оттуда, но я также слышал, что самые пространные извинения были принесены тихой и скромной дочери этого человека, дожидавшейся его на лужайке, и что некая Важная Персона, о которой я и думать не смею иначе, чем с большой буквы, милостиво заинтересовалась бедной малюткой и пригласила ее на прием.

Но все это я знал с чужих слов. В Париже меня ожидал рассказ о том, как вместе с дочерью он поднялся на аэростате и, вознесенный на высоту нескольких тысяч футов, высказал кое-какие критические замечания об удерживающем аэростат тросе и лебедке, наматывающей этот трос, чем не только позабавил пассажиров, но и привлек внимание людей сведущих, и ему не только предложили подняться еще раз без всякой платы, но как будто даже готовы были приплатить. Но я ограничу свое повествование о карьере этого замечательного человека лишь теми фактами, которым сам был свидетелем.

Раз я присутствовал на некоем увеселительном зрелище в Париже—его устроили наследники и душеприказчики одного влиятельного лица, чей прах уже давно поконтился на кладбище Пер-Лашез, но чей шекспировподобный бюст и по сей день взирает спокойно и благосклонно

на разгульные пиршества и непристойные забавы, святым патроном которых он состоял при жизни. Увеселение это было такого свойства, что на сцене были главным образом женщины, а в зале—мужчины. Исключение составляли иностранцы, и среди них я тут же разглядел моих прекрасных соотечественниц — девиц Монтморрис.

— Не говорите никому, что вы нас видели здесь,— попросила меня младшая мисс Монтморрис.— Мы пришли сюда шутки ради. Это ужасно забавно! И ваш друг из Индианы тоже здесь, вместе со своей дочерью.

Я без труда отыскал глазами серьезное, деловитое, исполненное неодобрения лицо моего друга дядюшки Джошуа. Он сидел за одним из передних столиков, и рядом с ним я, к своему ужасу, увидел его скромную и застенчивую дочь. В тот же миг я оказался возле него.

— Я боюсь... Мне кажется... — сказал я ему шепотом,— что вы допустили оплошность. Наверное, вы не совсем представляете себе характер этого места. Ваша дочь...

— Приехала сюда с мисс Монтморрис. Та тоже здесь. Все в порядке.

Я не знал, что и подумать. К счастью, в этот момент мадемуазель Рошфор из «Оранжери» выскочила прямо перед нами в кадрили и, подхватив свои воздушные юбки, исполнила такое па, от которого у некоторых из сидевших впереди зрителей шляпы сдвинулись на затылок, а у других надвинулись на глаза. Обе мисс Монтморрис с полуистерическим хихиканьем и вконец смущенной свитой тут же упорхнули. Скромница мисс Лу, до тех пор смотревшая на все с полной невозмутимостью, вдруг встала и, взяв отца под руку, резко бросила ему:

— Идем!

Но тут за ее спиной голос человека, хотя и говорившего по-английски, но безусловно принадлежавшего к самой галантной в мире нации, передразнил ее:

— О бже! Шокин! Я заливаюсь краской! Черт побери!

В тот же миг, несмотря на протестующие вопли, он был отброшен на барьер: цилиндр, превращенный в лепешку, съехал на его глупое, искаженное бешенством лицо, а галстук и манишка были скомканы сильной рукой



дядюшки Джошуа, крепко державшего свою жертву. Несколько студентов бросились на помощь к пострадавшему соотечественнику, но тут на поле сражения появились неизвестно откуда взявшиеся два-три англичанина и с полдесятка американцев. Я торопливо огляделся по сторонам, безуспешно отыскивая глазами мисс Луизу. Когда же нам удалось наконец извлечь дядюшку Джошуа из общей свалки, я поинтересовался, где его дочь.

— Ушла с сэром Артуром, не иначе. Я как раз приметил его, когда кинулся на этого проклятого дурака.

— С сэром Артуром? — переспросил я.

— Да, он знакомый Лу.

— Она там, в моей карете, — прервал нас статный молодой человек, плечистый, как атлет, и краснеющий, как молоденькая девушка. — Теперь все уже позади. Знаете ли, это была довольно неразумная затея: поехать с ней в это место, ничего о нем, знаете ли, не зная. Прошу вас, сюда. Она вас ждет.

И дядюшка Джошуа в сопровождении молодого человека куда-то исчез.

Так я больше и не видел его, пока он вдруг не вошел в купе ливерпульского поезда, где уже сидел я.

— Теперь я разъезжаю первым классом, — сказал он, — но когда едешь домой, не грех и раскошиться.

— Значит, ваше путешествие завершено, — заметил я, — и как будто вполне успешно.

— Так и есть; мы поглядели на Швейцарию, на Италию и, будь у меня времени побольше, завернули бы в Египет. Ну, да я, пожалуй, прикачу сюда будущей зимой повидаться с Лу, тогда и туда съездим.

— А разве ваша дочь не возвращается с вами? — спросил я, не скрывая удивления.

— Да нет, она гостит у родственников сэра Артура, в Кенте. Сэр Артур... да вы, небось, помните его?

Он немного помолчал, внимательно огляделся по сторонам и с той же счастливой улыбкой, что и на борту «Unser Fritz», сказал: — Помните мою шутку про Лу, я пересказал ее вам, когда мы еще только плыли сюда?

— Как же, помню.

— Сейчас рано еще говорить про это. Но похоже, она обернется правдой. Провалиться мне, если это не так!

Но все оказалось именно так.

## НАСЛЕДНИЦА

Первые признаки чудаковатости появились у завещателя, если не ошибаюсь, весной 1854 года. В ту пору он был обладателем порядочного имения (заложенного и перезаложенного одному хорошему знакомому) и довольно миловидной жены, на привязанность которой не без некоторых оснований притязал другой его хороший знакомый. В один прекрасный день завещатель втихомолку вырыл или велел вырыть перед своей парадной дверью глубокую яму, куда за один вечер ненароком провалились кое-кто из его хороших знакомых. Упомянутый случай, сам по себе незначительный, указывал на юмористический склад ума этого джентльмена, что могло бы при известных обстоятельствах пойти ему на пользу в литературных занятиях, но любовник его жены, человек весьма проницательный, к тому же сломавший ногу при падении в яму, придерживался на этот счет иных взглядов.

Спустя несколько недель после этого происшествия, обедая в обществе жены и других ее друзей, он встал из-за стола, предварительно извинившись, и через две-три минуты появился под окном с насосом в руках, из которого и окатил водой всю честную компанию. Кое-кто пытался возбудить по этому поводу судебное дело, но большинство граждан Рыжей Собаки, не приглашенных к обеду, заявили, что всякий волен увеселять своих гостей, как ему вздумается. Тем не менее в Рыжей Собаке начали поговаривать, не повредился ли этот джентль-

мен в рассудке. Жена вспомнила несколько других его выходов, явно свидетельствовавших об умопомешательстве; искалеченный любовник утверждал на основании личного опыта, что избежать членовредительства она сможет, только покинув дом супруга, а владелец закладной, опасаясь за свою собственность, представил закладную ко взысканию. Но тут этот человек, вызвавший столько тревог, повернул дело по-своему — другими словами, исчез.

Когда мы опять услышали о нем, оказалось, что он каким-то непонятным образом уже успел избавиться и от жены и от имущества, живет один в Роквилле, в пятидесяти милях от Рыжей Собаки, и издает там газету. Однако оригинальность, которую он проявил при разрешении вопросов личной жизни, будучи применена к вопросам политики на страницах «Роквиллского авангарда», не имела ни малейшего успеха. Забавный фельетон, выданный за достоверное описание того, как кандидат противной партии убил китайца, бравшего у него белье в стирку, повлек за собой — увы! — потасовку и оскорбление действием. Чистейший плод фантазии — описание религиозного подъема в округе Калаверас, возглавляемого якобы шерифом, известным скептиком и нечестивцем, — привел к тому, что власти округа перестали давать объявления в газету.

В самый разгар всех этих неурядиц наш герой скоропостижно скончался. Вскоре выяснился еще один факт, послуживший прямым доказательством его умственного расстройства: он оставил завещание, которым передал все свое имущество веснушчатой служанке из гостиницы «Роквилл». Но это расстройство мыслительных способностей обернулось серьезной стороной, ибо вскоре стало известно, что в числе прочих бумаг в наследство входила и тысяча акций прииска «Восходящего Солнца», неслыханно подскочивших в цене дня через два после кончины завещателя, когда все еще хохотали над его нелепым благодеянием.

По приблизительным подсчетам, состояние, которым завещатель распорядился с таким легкомыслием, составляло теперь около трех миллионов долларов! Воздавая должное предприимчивости и энергии граждан нашего молодого процветающего поселка, следует сказать, что

среди них, вероятно, не было ни одного, который не считал бы себя способным распорядиться имуществом покойного чудака с большим толком. Некоторым случилось выражать сомнение, смогут ли они прокормить семью; другие, будучи избранными в присяжные, вероятно, слишком глубоко чувствовали связанную с этим ответственность и уклонялись от исполнения гражданского долга; третьи отказывались служить за маленькое жалованье, но ни одна душа не отказалась бы заступить место Пегги Моффет, наследницы этого человека.

Завещание стали оспаривать. Первой выступила на сцену вдова, с которой покойный, как оказалось, не был официально разведен; потом четверо двоюродных братьев, которые, хоть и с некоторым опозданием, но все же оценили моральные и материальные достоинства своего родственника. Однако наследница — невзрачная, простоватая, необразованная девушка — проявила крайнее упорство, отстаивая свои права. Она отказалась пойти на какие-либо уступки. Элементарное чувство справедливости, которое было у ее сограждан, сомневавшихся в том, что эта девушка сможет управиться с таким состоянием, подсказывало им, что она должна удовлетворяться тремястами тысячами долларов.

— Все равно и этими деньгами попользуется какой-нибудь прощелыга, но дарить такому три миллиона только за то, что он сделает ее несчастной, пожалуй, многовато. Незачем вводить в соблазн мошенников.

Протест против таких рассуждений сорвался только с насмешливых губ мистера Джека Гемлина.

— А предположим, — сказал этот джентльмен, круто поворачиваясь к оратору, — предположим, что в пятницу вечером, когда вы выиграли у меня двадцать тысяч долларов, я, вместо того чтобы вручить вам деньги, заартачился бы и заявил: «Слушайте, Билл Уэзерсби, вы круглый болван. Если я отдам вам эти двадцать тысяч, вы спустите их во Фриско в первом же притоне и осчастливите первого встречного шулера. Вот вам тысяча — хватит на мотовство, — берите и проваливайте ко всем чертям!» Предположим, что в моих словах была бы святая истина и вы бы прекрасно это знали: справедливо я поступил бы по отношению к вам или нет?

Но Уэзерсби тут же указал на неуместность такого сравнения, заявив, что он тоже кое-что поставил на карту.

— А откуда вы знаете,— свирепо спросил Гемлин, устремив свои черные глаза на оторопевшего казуиста,— откуда вы знаете, что эта девушка не шла ва-банк?

Тот пробормотал в ответ что-то нечленораздельное. Гемлин положил ему на плечо свою холеную руку.

— Вот что я вам скажу, друг мой: какую бы игру девушка — любая девушка — ни вела, она идет ва-банк и ставит на карту все, что у нее есть, в этом вы можете быть уверены. Случись ей вооружиться картами, а не чувствами, играть на фишки, а не рисковать телом и душой,—она сорвала бы все банки на всех зеленых столах отсюда до Фриско! Понятно?

Кое-что из этого — боюсь, впрочем, что в менее сентиментальной форме,— дошло и до самой Пегги Моффет. Лучший законник Сан-Франциско, которого удалось заполучить вдове и родственникам, в частном разговоре с Пегги объяснил, что ее считают чуть ли не преступницей, неблагоприятными путями снискавшей милость пожилого, выжившего из ума джентльмена, чтобы завладеть его состоянием. Если она доведет дело до суда, ее репутация будет погублена. Говорят, что, услышав это, Пегги бросила мыть тарелку и, теребя в руках полотенце, устремила на адвоката свои крохотные голубые глазки.

— Так вот, значит, что про меня люди болтают?

— Увы, милая барышня, свет весьма суров,— ответил адвокат.— Не могу не добавить,— продолжал он с подкупающей откровенностью,— что мы, адвокаты, обязаны прислушиваться к мнению света и, следовательно, займем такую же позицию.

— Ну что ж,— твердо сказала Пегги,— раз уж мне придется защищать на суде свою честь, прихвачу там заодно и три миллиона.

Если верить слухам, в конце своей речи Пегги выразила желание «задать клеветникам хорошую взбучку» и добавила, что она шуток не любит. Беседа кончилась гибелью тарелки, серьезно повредившей чело законника. Но эта версия, весьма популярная в салунах и на прии-сках, не получила подтверждения в высших кругах об-

щества. Более достоверным можно считать рассказ о свидании Пегги с ее собственным адвокатом. Этот джентльмен указал, насколько выгодно было бы для нее, если бы она могла привести на суде какую-нибудь разумную причину странной щедрости завещателя.

— Хотя,— говорил он,— закон и не оспаривает завещания на основе тех поводов или причин, по которым оно было составлено, все же было бы весьма желательно доказать судье и присяжным логичность и естественность этого поступка, особенно если будет выдвигаться версия о помешательстве. У вас, мисс Моффет,— это, разумеется, между нами,—наверное, есть предположения, почему покойный мистер Байвэйс проявил такую необъяснимую щедрость по отношению к вам.

— Нет,— твердо ответила Пегги.

— Ну, подумайте хорошенько! Не выражал ли он — вы, разумеется, понимаете, что все останется между нами, хотя я, право, не вижу, почему бы и не заявить об этом во всеуслышание,— не выражал ли он каких-либо чувств, которые можно было бы как-то связать с имеющими наступить супружескими отношениями?

Но тут Пегги (ее большой рот все это время медленно открывался, обнажая неровные зубы) перебила его:

— Вы хотите сказать: не собирался ли он жениться на мне? Нет!

— Так, понимаю. Но, может быть, он ставил какие-нибудь условия? Разумеется, закон принимает во внимание только то, что упомянуто в духовной, но все же, исключительно ради подтверждения ваших прав на наследство, не припомните ли вы, на каких условиях он вам его оставил?

— Вы хотите сказать: требовал ли он от меня чего-нибудь взамен?

— Вот именно, уважаемая барышня.

Одна щека Пегги стала малиновой, другая — ярко-красной, нос полиловел, а лоб залился багрянцем. Вдобавок к этим не изыщным, но весьма драматическим свидетельствам крайнего смущения она принялась молча вытирать руки о платье.

— Понимаю, понимаю! — заторопился адвокат. — Что бы там ни было, условие вы исполнили.

— Нет, — удивленно сказала Пегги, — как же я могла это сделать до его смерти?

Тут уж адвокату пришлось краснеть и теряться.

— Да, верно, он сказал мне кое-что и поставил одно условие, — продолжала Пегги твердым голосом, невзирая на свое замешательство, — только это никого не касается, кроме нас с ним. Вам это незачем знать, да и другим тоже.

— Но, уважаемая мисс Моффет, если эти условия помогут нам доказать, что он был в здравом уме, вы же не станете умалчивать о них, хотя бы для того, чтобы получить возможность их выполнить.

— А вдруг они покажутся вам и суду неосновательными? — хитро сказала Пегги. — Вдруг вы найдете их странными? Тогда что?

В таком беспомощном состоянии защите пришлось выступать на суде. Все помнят этот процесс. Разве можно забыть, как в течение шести недель он был хлебом насущным для всего округа Калаверас, как в течение шести недель ученые законники обсуждали в зале суда на своем мудреном языке умственную, моральную и духовную правоспособность мистера Джеймса Байвэйса, а неискушенные в юриспруденции невежды на все лады толковали о том же в салунах и у костров.

К концу этого срока, когда путем логических умозаключений удалось выяснить, что по крайней мере девять десятых жителей округа Калаверас страдают тихим помешательством, а остальные того и гляди тоже рехнутся, совершенно изнемогшим присяжным пришлось вызвать в зал суда Пегги.

Она никогда не отличалась благообразием, а теперь волнение и неумелая попытка принарядиться так подчеркнули все ее недостатки, что эффект получился сногшибательный. Каждая веснушка на ее лице выделялась и говорила сама за себя; голубые глаза, по которым никак нельзя было судить о силе характера их обладательницы, нерешительно бегали по сторонам или бессмысленно вперялись в судью; несоразмерно большая голова с широким подбородком и жидкой светлой косицей, лежащей между узкими плечами, казалась такой же твердой и непривлекательной, как деревянные шары на решетке у нее за спиной. Присяжные, которым истцы в течение ше-

сти недель описывали эту особу как лукавую, искусную обольстительницу, сумевшую воспользоваться слабешим рассудком Джеймса Байвэйса, возмутились все до одного. Невзрачность Пегги Моффет была до такой степени бесхитростна и так бросалась в глаза, что ее нельзя было возместить даже тремя миллионами.

— Если уж она получила такие деньги, значит, было за что, друзья, поблажки тут быть не могло, — сказал старшина присяжных.

Когда присяжные удалились на совещание, все почувствовали, что Пегги спасла свою честь. Когда же они вернулись в зал огласить вердикт, выяснилось, что ей присуждено три миллиона в виде компенсации за клевету.

Пегги получила наследство. Но тем, кто предсказывал, что она начнет швырять деньгами направо и налево, пришлось разочароваться. Вскоре прошел слух, что Пегги до крайности скупа. Миссис Стайвер из Рыжей Собаки, милейшая женщина, ездившая с ней в Сан-Франциско за покупками, была вне себя от негодования.

— Она трясется над двадцатью пятью центами больше, чем я над пятью долларами. В «Париже» ничего не захотела покупать, потому что там, видите ли, все слишком дорого, и наконец вырядилась пугалом в какой-то лавчонке готового платья возле рынка. И после того как мы с Джейн столько возились с этой сквалыгой, столько убили на нее времени, помогали, советовали, — хоть бы она какую-нибудь малость ей подарила!

Общественное мнение, считавшее, что заботливость миссис Стайвер была построена исключительно на меркантильных расчетах, не вознегодовало по поводу малоходности ее поездки. Но когда Пегги отказалась внести свою лепту в погашение закладной на пресвитерианскую церковь и даже не захотела приобрести акции шахты «Союз», которые, по мнению многих, были столь же богоугодным и надежным помещением капитала, как и взнос на храм, популярность ее стала падать. Несмотря на это, Пегги, как и до процесса, оставалась равнодушной к общественному мнению; она сняла маленький домик, поселилась там, очевидно, на условиях полного равенства, со старухой, которая когда-то служила с ней в



гостинице «Роквилл», и распоряжалась своим капиталом без посторонней помощи.

Хотелось бы мне и тут отметить ее рассудительность, но факты остаются фактами: Пегги наделала глупостей. Непокоримое упорство, с которым она прежде отстаивала свои права, дало себя знать и во всех ее неудачных коммерческих операциях. Она всадила двести тысяч долларов в давно истощенную шахту, разработку которой начал еще покойный завещатель. Она сделала все, чтобы «Роквиллский авангард» продолжал влачить свое существование, когда даже враги потеряли к нему всякий интерес. Она продолжала держать двери гостиницы «Роквилл» гостеприимно открытыми, хотя туда уже никто не заглядывал; она лишилась поддержки и расположения своего компаньона из-за пустяковой размолвки и никак не желала пойти на мировую. Она вела три тяжбы, которые при желании можно было уладить без малейшего труда. Все это доказывает, что Пегги отнюдь не гонится в героини. Но, выслушав мой рассказ о ее романе с Джеком Фолинсби, вы поймете, что она была женщина незаурядная.

Разгул страстей выкинул этого красивого, беспутного, но все еще не лишенного привлекательности бродягу на отмели Рыжей Собаки без гроша в кармане. Он обосновался в ветхой лачуге неподалеку от целомудренной обители Пегги Моффет. Бледный, истощенный бурным образом жизни, с дрожащим голосом, что можно было объяснить и избытком чувствительности и чрезмерным употреблением спиртных напитков, Джек Фолинсби с томным видом слонялся по Рыжей Собаке, ибо свободного времени у него было много, а друзей мало.

В таком-то обольстительном неглиже, нравственном, физическом и эмоциональном, он явился взору Пегги Моффет. Больше того, иногда можно было видеть, как Джек бродит с ней по поселку. Критическое око Рыжей Собаки не оставило без внимания эту странную пару: Джек — многоречивый, по-видимому, одолеваемый раскаянием, стыдом, муками совести и недугом, и Пегги — раскрасневшаяся, с открытым ртом, неуклюжая, но не помнящая себя от восторга. При виде всего этого критическое око Рыжей Собаки многозначительно подмигивало Роквиллу.

Что между ними происходило, никто не знал. Но в один прекрасный летний день на главной улице Рыжей Собаки показался открытый шарабан, в котором восседали Джек Фолинсби и наследница трех миллионов. Джек, все еще несколько изможденный, правил с бывлой рисовкой, а мисс Пегги, в громадной шляпе с лентами жемчужного цвета, чуть темнее ее волос, рдела, как маков цвет, сидя рядом с ним и ухватив короткими пальцами в красных перчатках букет чайных роз. Парочка проследовала из шумного поселка прямо в лес, к розовому закату.

По всей вероятности, зрелище было не из чарующих, и все же, когда темная колоннада торжественных сосен раеступилась, принимая их в свои недра, старатели побросали работу и, опираясь на заступы, долго провожали шарабан взглядом. Что было тому виной — солнечные лучи или воспоминания о тех днях, когда сами они были молоды и безрассудны, — не берусь судить, но критическое око Рыжей Собаки увлажнилось, глядя вслед удаляющемуся экипажу.

Луна стояла высоко, когда Джек и Пегги вернулись в поселок. Те, кто поджидал Джека с поздравлениями по поводу предстоящей перемены в его судьбе, очень огорчились, увидев, что, доставив свою спутницу домой, он покинул Рыжую Собаку. От Пегги ничего не удалось вывести; она не изменила своего образа жизни и по-прежнему всаживала тысячу-другую в заведомо неудачные коммерческие операции, не отступая в то же время от правил строжайшей экономии в личных расходах. Недели проходили за неделями, а развязка этой идиллии была все еще неизвестна. Никто ничего не узнал до тех пор, пока месяц спустя Джек не объявился в Сакраменто, вооруженный бильярдным кием и преисполненный негодования.

— Должен вам признаться, джентльмены, разумеется, по секрету, — сказал Джек сочувственно настроенным игрокам, которые окружили его, — должен вам признаться, что я относился к этой веснушчатой, красноглазой, белобрысой девице так, будто она была... ну, по крайней мере актриса. Должен вам признаться, что сама она чувствовала ко мне не меньшее расположение! Смейтесь, но это так! Однажды я повез ее кататься в шарабане — при всем параде, как и полагается, — и по дороге сделал

ей предложение честь честью, точно благородной даме. Хоть сию минуту венчаться! И что же она ответила?— с истерическим смехом вскричал Джек.— Да черт ее побери! Предложила мне двадцать пять долларов в неделю с прекращением выплаты, как только я отлучусь куда-нибудь из дому!

Громовой хохот, которым было встречено это откровенное признание, прервал чей-то спокойный голос:

— А что ты на это ответил?

— Что я ответил? — повторил Джек.— Да послал ее к чертовой матери со всеми ее деньгами!

— А говорят,— продолжал спокойный голос,— буд-то ты попросил у нее взаймы двести пятьдесят долларов на поездку в Сакраменто и получил их.

— Кто это говорит?— завопил Джек.— Покажите мне этого наглого враня!

Наступила мертвая тишина. Обладатель спокойного голоса, Джек Гемлин, неторопливым движением достал из ящика бильярдного стола кусок мела и, натерев кий, произнес тихо, но внушительно:

— Это говорит один мой старый приятель тут, в Сакраменто, одноглазый, с деревянной ногой, без двух пальцев на правой руке и вдобавок чахоточный. Он не имеет возможности сам отстаивать свои слова и поручает это мне. Так вот, допустим,— Гемлин бросил кий и свирепо уставился на Джека своими черными глазами,— допустим, в интересах нашего спора, что так говорю я!

Эта история — независимо от того, соответствовала она истине или нет,— не увеличила популярности Пегги в обществе людей, которым беззаботность и щедрость заменяли все другие добродетели. Возможно также, что жители Рыжей Собаки не были гарантированы от предвзятости суждений, как и другие, несколько более цивилизованные, но столь же подверженные чувству разочарования любители сватать.

В следующем году Пегги опять предприняла несколько безрассудных коммерческих операций и понесла большие убытки,— судя по всему, она была во власти лихорадочного желания любой ценой увеличить свой капитал. Наконец в поселке стало известно, что Пегги намерена снова открыть злосчастную гостиницу и содержать ее

уже только на собственные средства. В теории эта затея казалась дикой, но на деле она себя оправдала.

Многое тут, разумеется, можно было объяснить познаниями Пегги в этой области, а еще больше ее бережливостью и трудолюбием. Обладательница миллионов сама стирала, прислуживала за столом, стелила постели — словом, работала не покладая рук, как простая служанка. Посетителей привлекало это необычное зрелище, и доходы гостиницы возрастали по мере того, как падало уважение к хозяйке со стороны постояльцев. О ее жадности ходили анекдоты один другого чудовищней. Утверждали, будто она сама разносит багаж приезжих по номерам в надежде на чаевые, которые обычно полагаются швейцару. Она отказывала себе в самом необходимом, одевалась бедно, недоедала, но в гостинице дела шли хорошо.

Кое-кто намекал, что Пегги рехнулась; другие качали головой и уверяли, будто над завещанным ей богатством тяготеет проклятие. Поговаривали также, что, судя по ее виду, она не вынесет такого напряжения сил и долго не протянет. Шли уже толки о том, кому в конце концов достанется наследство.

Разъяснить миру и этот и кое-какие другие вопросы, касающиеся Пегги, удалось только Джеку Гемлину.

В одну бурную декабрьскую ночь мистер Джек Гемлин оказался в числе постояльцев гостиницы «Роквилл». За последние две-три недели он перенес свою благородную деятельность в пределы Рыжей Собаки и, по картинному выражению одного из своих сподвижников, «обчистил поселок до нитки, оставив ему только плату за проезд в кармане кучера дилижанса». Газета «Стяг», выходявшая в Рыжей Собаке, оплакивала разлуку с ним в шутовском некрологе, который начинался так: «О Джонни, ты покинул нас». Дальше шло «в недобрый час», а на последующие «сердечные раны» сама собой напрашивалась рифма «пустые карманы». Вполне понятно, что все существо мистера Гемлина было проникнуто теперь чувством глубокого удовлетворения и в его словах больше обычного сквозили томность и спокойствие.

В полночь, когда мистер Джек Гемлин уже собирался отойти ко сну, в дверь его номера постучали, и вслед за

стуком на пороге появилась богатая наследница и хозяйка гостиницы «Роквилл» мисс Пегги Моффет.

Несмотря на свое прежнее заступничество, мистер Гемлин недолюбливал Пегги. Ее невзрачность претила человеку с такими изощренными вкусами; ее скаредность и алчность шли вразрез с его образом мышления и привычками. Стоя перед ним в грязном коленкоровом капоте, который благоухал кухней, багровая от смущения и жара плиты, Пегги являла собой малопривлекательное зрелище. Несмотря на поздний час и дурную славу человека, стоявшего перед ней, она была в полной безопасности. Впрочем, боюсь, что даже эта мысль не помогла ей оправиться от смущения.

— Мне бы хотелось побеседовать с вами с глазу на глаз, мистер Гемлин,— начала Пегги, сев без приглашения на край чемодана,— иначе я бы не стала вам докучать. В другое время вас не поймаете, да и я сама торчу на кухне с раннего утра до поздней ночи.

Она запнулась, точно прислушиваясь к ветру, который рвал ставни и застилал пеленой дождя непроницаемую тьму за окнами. Потом расправила капот на коленях и, приступая к беседе, пробормотала с запинкой:

— А дождь-то какой на дворе...

Мистер Гемлин ответил на эту метеорологическую справку зевком и стал снимать сюртук.

— Я к вам с просьбой, думаю, не откажете.— Пегги через силу засмеялась.— Люди толкуют, что вы хорошо ко мне относитесь и даже заступались за меня, хотя никто вас об этом не просил. Немного таких найдется, кто замолвит теперь за меня доброе словечко,— продолжала она, не поднимая глаз и проводя пальцем по шву капота. Нижняя губа у нее задрожала; после тщетных поисков носового платка она подняла подол и утерла им свой вздернутый нос, а слезы в глазах, обращенных теперь на мистера Гемлина, так и остались невытертыми.

Мистер Гемлин, к этому времени уже освободившийся от сюртука, перестал расстегивать жилет и посмотрел на нее.

— Того и гляди Норт-Форк выйдет из берегов, если так будет лить,— с виноватым видом проговорила Пегги, глядя в окно.

Дождик, лившийся из ее глаз, утих, и мистер Гемлин снова принялся расстегивать жилет.

— Я хотела поговорить с вами о мистере... о Джеке Фолинсби,— вдруг заторопилась Пегги.— Он опять заболел, ему очень плохо. Проигрывает много то одному, то другому, а больше всех вам. Вы забрали у него вчера последние две тысячи долларов — все, что у него было.

— Ну и что же? — холодно спросил игрок.

— Так вот я думала, если вы и вправду хорошо ко мне относитесь, не попросить ли вас, чтобы вы как-нибудь отвಾದили его от карт,— сказала Пегги с вымученным смешком.— Вам это ничего не стоит. Не садитесь играть с ним, вот и все.

— Уважаемая Маргарет Моффет,— лениво и спокойно сказал Джек и, вынув часы, стал заводить их,— если уж вы так сочувствуете Джеку Фолинсби, то вам самой гораздо проще отвадить его от меня. Вы же богатая женщина! Дайте ему денег, чтобы он сорвал мой банк или сам сорвался раз и навсегда, и не позволяйте ему вертеться около меня в надежде на отыгрыш. Какая уж тут может быть надежда, уважаемая? Не на что ему надеяться!

Более тонкая натура не поняла бы этого игорного жаргона или возмутилась бы словами игрока и таившейся в них грустной истиной. Но Пегги сразу поняла все и погрузилась в унылое молчание.

— Послушайте моего совета,—продолжал Джек, пряча часы под подушку и неторопливо развязывая галстук,— бросьте глупости, выходите за этого молодца и передайте ему ваши капиталы и все денежные дела, не то они сведут вас в могилу. Он живо порастрясет ваши денежки. Я вовсе не надеюсь, что получу их. Стоит ему только урвать солидный куш, как он мигом махнет во Фриско и просадит там деньги в каком-нибудь первоклассном игорном доме. Не стану также предрекать, что вам не удастся его исправить. Я ничего не предрекаю; возможно даже,—если уж вам здорово повезет,—что он отдаст богу душу, прежде чем спустит ваши капиталы. Скажу только одно: сейчас вы можете его осчастливить, а если уж вы так благоволите к нему — мне еще в жизни ничего подобного не приходилось видеть! — то и ваши собственные чувства от этого не пострадают.

Кровь отхлынула от лица Пегги, когда она подняла голову.

— Вот по этому самому я и не могу отдать ему деньги, а без денег он на мне не женится.

Рука мистера Гемлина оставила последнюю нерастегнутую пуговицу жилета.

— Не можете... отдать... ему... деньги? — медленно повторил он.

— Нет.

— Почему?

— Потому что... потому что я люблю его.

Мистер Гемлин снова застегнул жилет на все пуговицы и с покорным видом уселся на кровать. Пегги встала и неловко придвинула чемодан поближе к нему.

— Когда Джим Байвэйс завещал мне свои деньги,— начала она, боязливо озираясь на дверь,— он выставил одно условие. Не то, которое было написано в завещании, а другое — он передал мне его на словах. И я пообещала ему в этой комнате, мистер Гемлин, в этой самой комнате, где он умер, вот на этой самой кровати, на которой вы сидите,— пообещала, что выполню его условие.

Как и большинство игроков, мистер Гемлин был суеверен. Он поспешно встал с кровати и пересел к окну. Ветер громыхал ставнями, словно там, за окном, потревоженный дух мистера Байвэйса требовал исполнения своей последней воли.

— Вы его, наверно, уже не помните,— горячо говорила Пегги.— Ему в жизни много пришлось выстрадать. Все, кого он любил,— жена, родственники, друзья,— все на него ополчились! На людях-то он и виду не подавал, а мне — я ведь девушка простая,— мне во всем открылся. Я никому об этом не рассказывала,— продолжала Пегги, шмыгая носом,— не знаю, зачем ему вздумалось и меня тоже сделать несчастной, просто не знаю. Заставил пообещать, что если он откажет мне свое состояние, я никогда, никогда — бог тому порукой! — не поделюсь с тем, кого полюблю, будь то мужчина или женщина! Тогда я не думала, что так трудно будет сдержать слово, мистер Гемлин, я ведь была бедная и, кроме как от него, добра ни от кого не видела.

— Но обещание уже нарушено, — сказал Гемлин. — Насколько я знаю, вы давали Джеку деньги.

— Только те, что заработала сама! Послушайте, мистер Гемлин! Когда Джек сделал мне предложение, я пообещала отдавать ему все, что буду зарабатывать. Он уехал, заболел, там с ним стряслась беда, а я тем временем поселилась здесь и открыла гостиницу. Я знала, что она будет давать доход, надо только руки к ней приложить. Вы не смейтесь! Я работала не жалея сил, и доходы были, — из наследства я не потратила ни гроша. И все, что я зарабатывала неустанным трудом, все шло ему! Да, мистер Гемлин! Не такая уж я бессердечная, как вы думаете. Я на мистера Джека не скупилась, а надо бы, наверно, еще больше ему давать!

Мистер Гемлин встал, неторопливо надел сюртук, шляпу, пальто, взял часы и, закончив свой туалет, повернулся к Пегги.

— Значит, вы отдавали этому херувимчику все, что зарабатывали своими руками?

— Да, но он не знал, откуда эти деньги. Он ничего не знал, мистер Гемлин!

— Так, если я вас правильно понял, он сражался в фараон на ваши кровные? А вы тем временем гнули спину в гостинице?

— Он ничего не знал, он не согласился бы принять от меня деньги, если бы я сказала ему правду.

— Ну, разумеется, ему легче было бы умереть! — совершенно серьезно сказал мистер Гемлин. — Он такой щепетильный, этот Джек Фолинсби, — от меня и то с трудом берет деньги! Но где же этот ангел обретается, когда он свободен от сражений на зеленом поле и, так сказать, может быть виден невооруженным глазом?

— Он... он живет здесь, — покраснев, сказала Пегги.

— Так. Разрешите узнать, в каком номере? Впрочем, может, я помешаю его размышлениям? — вежливо спросил Гемлин.

— Вы исполните мою просьбу? Вы поговорите с ним, возьмете с него обещание не играть?

— Разумеется! — спокойно ответил Гемлин.

— Только не забудьте, что он болен, очень болен. Он в сорок четвертом номере, в конце коридора. Проводить вас?



— Я сам найду.

— Вы уж не очень его обижайте!

— Я поговорю с ним по-отечески,— степенно сказал Гемлин, отворяя дверь в коридор. Но на пороге он остановился и, повернувшись к Пегги, учтиво протянул ей руку. Пегги робко пожала ее. Шутил Джек или нет, она так и не поняла,— в его черных глазах ничего нельзя было прочесть. Но он ответил ей крепким рукопожатием и удалился.

Комнату номер сорок четыре Джек нашел без труда. В ответ на его стук послышался глухой кашель и ворчание. Мистер Гемлин вошел без дальнейших церемоний. Он ощутил тошнотворный запах лекарств и винного перегара и увидел на кровати полуодетого, исхудалого Джека Фолинсби. В первую минуту мистер Гемлин остолебенел. Под глазами у больного были темные круги, руки у него дрожали, как у паралитика, в прерывистом дыхании чувствовалась близость смерти.

— Кто там ходит? — спросил Джек Фолинсби встревоженным, хриплым голосом.

— Это я хожу и тебя сейчас тоже подниму с постели.

— Нет, Джек. Мое дело кончено.— Он потянулся дрожащей рукой к стакану с какой-то подозрительной на вид, пахучей жидкостью, но мистер Гемлин остановил его.

— Хочешь получить назад свой проигрыш в две тысячи?

— Хочу.

— Тогда женись на этой женщине.

Фолинсби засмеялся не то истерически, не то насмешливо.

— Она мне таких денег не даст.

— Я дам.

— Ты?

— Да.

Заставив себя рассмеяться бесшабашным смехом, Фолинсби с трудом спустил отекавшие ноги с кровати. Гемлин пристально посмотрел на него и велел ему лечь.

— Ладно, подождем,— сказал он.— До утра.

— А если я не соглашусь?

— А не согласишься,— ответил Гемлин,— тогда я выставляю свою кандидатуру, а тебя в отставку!

Но следующее утро спасло мистера Гемлина от такого неблагородного поступка, ибо ночью дух мистера Джека Фолинсби умчался прочь на крыльях юго-восточного ветра. Когда и как это произошло, никто не знал. Что ускорило его кончину — вчерашнее волнение и мысль о предстоящей женитьбе или чрезмерная доза болеутоляющего снадобья, — это осталось невыясненным. Я знаю только одно: на следующее утро, когда Джека Фолинсби пришли разбудить, лучшее, что осталось от него, — лицо, все еще красивое и юное, — холодно глянуло в заплаканные глаза Пегги Моффет.

— Это мне по заслугам, это справедливое наказание, — шепотом сказала она Джеку Гемлину. — Господь знал, что я нарушила обет и завещала Джеку все свои деньги.

Пегги ненадолго пережила его. Привел ли мистер Гемлин в исполнение свою угрозу, высказанную той ночью горячо оплакиваемому теперь Джеку Фолинсби, неизвестно. Впрочем, он продолжал дружить с Пегги и после ее смерти сделался ее душеприказчиком. Но большая часть наследства Пегги Моффет перешла к дальнему родственнику красавца Джека Фолинсби и навсегда скрылась из поля зрения Рыжей Собаки.

## ВЕЛИКАЯ ДЕДВУДСКАЯ ТАЙНА

### ЧАСТЬ I

На телеграфе поселка Коттонвуд — округ Туоламна, Калифорния, — становилось темно. Помещение телеграфа — похожий на ящик закуток — отделялось от зала «Гостиницы рудокопов» лишь тонкой перегородкой, и коттонвудский телеграфист, он же продавец газет и рассыльный, закрыв свое окошечко, томился у газетного прилавка перед уходом домой. На улице, в меркнувшем свете декабрьского дня, с крыши веранды струйками стекал первый в этом сезоне унылый дождь. Долгие часы безделья были для телеграфиста не в новинку, и все же его быстро одолела скука.

По полу веранды глухо застучали облепленные грязью сапоги — появление двух посетителей сулило кратковременное развлечение. Он узнал двух почтенных граждан Коттонвуда. Их вид был очень деловым. Один из посетителей подошел к столу, написал телеграмму и с молчаливым вопросом показал ее товарищу.

— Вроде то, что надо, — подтвердил тот.

— Я ведь подумал, что лучше бы дать его доподлинные слова.

— Правильно.

Первый повернулся к телеграфисту.

— Ты скоро ее стпавишь?

Телеграфист профессиональным взглядом оценил адрес и длину текста.

— Сразу же, — живо ответил он.  
— А дойдет когда?  
— Сегодня вечером. Но доставят ее только завтра.  
— Отправь ее побыстрее да передай, что за доставку приплачена лишняя двадцатка.

Привыкший к щедрым приплатам за скорость, телеграфист ответил, что вместе с текстом сообщит об их предложении на телеграф Сан-Франциско. Затем он взял телеграмму, прочитал ее и... перечитал. Он сделал это с обычным профессиональным безразличием — на своем веку ему приходилось передавать немало куда более загадочных и таинственных посланий, и все же, прочитав такое, он в недоумении поглядел на клиента. Сей джентльмен, известный склонностью к внезапным вспышкам гнева и револьвера, встретил его взгляд несколько нетерпеливо. Телеграфист прибегнул к хитрости. Притворившись, будто не разбирает текста, он вынудил клиента прочесть написанное вслух во избежание ошибки и даже предложил внести поправки якобы для ясности, а на самом деле, чтобы выудить еще какие-нибудь сведения. Однако клиент ничего не пожелал изменить. Телеграфист неуверенно подошел к аппарату.

— Тут, надеюсь, ошибки не выйдет? — добавил он полувопросительно. — Она адресована Райтбоди, бостонскому богачу, которого все знают. Другого-то нст?

— Адрес правильный, — холодно ответил первый клиент.

— А я и не слышал, что старик вкладывал денешки в наших краях, — закинул удочку телеграфист, все еще мешкая у аппарата.

— И я тоже, — последовал маловразумительный ответ.

Несколько секунд слышался лишь треск, пока телеграфист работал ключом с обычным в таких случаях выражением лица: словно поверял секрет довольно неотзывчивому слушателю, который предпочитает, чтобы слушали его самого. Оба клиента стояли рядом, следя за его движениями со столь же обычным благоговением непосвященных. Когда он кончил, оба положили перед ним по золотому. Убирая деньги, телеграфист не удержался от вопроса:

— Старик-то, видно, помер в одночасье? Сам и написать не успел?

— Помер, как таким и положено,— прозвучал обескураживающий ответ.

Но телеграфист не давал сбить себя с толку.

— Если придет ответ...— начал он.

— Ответа не будет,— невозмутимо объявил клиент.

— Почему?

— Потому как пославший телеграмму — уже покойник.

— Но телеграмму-то подписали вы оба?

— Только как свидетели. А? — обратился первый клиент к своему спутнику.

— Только как свидетели...— подтвердил второй.

Телеграфист пожал плечами. Когда все было закончено, первый клиент явно почувствовал облегчение. Он кивнул телеграфисту и направился в буфет, по-видимому, ища общества ближних. Когда оба поставили на стол пустые рюмки, первый посетитель весело обругал тяжелые времена и погоду, как видно, полностью выкинув из головы недавние хлопоты, и вместе с приятелем неторопливо вышел на улицу. На углу они остановились.

— Так, стало быть, это дело сделано,— проговорил первый, очевидно, чтобы избежать невольного замешательства при прощании.

— Это верно,— подтвердил приятель и пожал ему руку.

Они разошлись. Порывистый ветер промчался меж сосен, провода над их головой вздохнули, как эолова арфа, и дождь и тьма снова неспешно окутали Коттонвуд.

Телеграмма слегка задержалась в Сан-Франциско, полчаса полежала в Чикаго, но ей пришлось к тому же пересечь несколько часовых поясов, и ночной телеграфист принял ее в Бостоне уже после полуночи. Но, снабженная мандатом сан-францисского телеграфа об оплаченной доставке, она была тут же вручена курьеру, который поспешил с ней по заснеженным темным улицам, между высокими домами с наглухо закрытыми ставнями, без единого лучика света, к чопорной площади с покрытыми снегом статуями, придававшими ей призрачный вид. Он поднялся по широким ступеням строгого особняка и повернул бронзовый звонок, который где-то в глуби-

не недоступных покоев после настороженной раздумчивой паузы холодно возвестил о том, что у дверей ждет кто-то чужой, как и положено чужому.

Несмотря на поздний час, из окон пробивался свет, не настолько яркий, чтобы обрадовать посыльного вестью о веселье в этих стенах, но все же свидетельствующий о каком-то затянувшемся чинном празднестве. Мрачный слуга, приняв телеграмму и расписавшись в получении ее с таким скорбным видом, словно заверял последнее волеизъявление и завещание, почтительно остановился у дверей гостиной. Из ее плотно задернутых портьерами глубин доносились звуки размеренной ораторской речи, изредка прерываемой катаральным покашливанием уроженца Новой Англии — единственное проявление не до конца подавленных потребностей природы. В этот вечер хозяева принимали у себя несколько именитых персон, и в эти минуты, по крылатому выражению одного из гостей, «история страны» отклонивалась, облекая прощание в более или менее памятные и оригинальные фразы. Иные из этих афоризмов были интересны, другие остроумны, некоторые глубокомысленны, но все без исключения преподносились как щедрый дар хозяину дома. Иные из них были заготовлены давно и как визитная карточка уже представляли гостя в других домах.

Когда последний гость откланялся и укатил последний экипаж, слуга осмелился уведомить о телеграмме своего хозяина, который стоял на ковре перед камином с усталым видом человека, добродетельно выполнившего свой долг. Он взял телеграмму, распечатал ее, прочитал и сказал:

— По-видимому, тут какая-то ошибка. Это не мне, Уотерс. Позовите посыльного.

Уотерс, не сомневаясь, что посыльный давно ушел, все же послушно направился к двери, но хозяин внезапно остановил его:

— Впрочем, пока не важно.

— Что-нибудь серьезное, Уильям? — спросила мисс Райтбоди с томной супружеской тревогой.

— Нет. Ничего. В моем кабинете есть огонь?

— Да. Но перед уходом не можешь ли ты уделить мне минуту-другую?

Мистер Райтбоди несколько нетерпеливо повернулся к супруге. В небрежной позе она откинулась на диване, ее прическа слегка растрепалась, платье приоткрыло туфлю. Вполне вероятно, что миссис Райтбоди обладала прекрасными формами, но даже и это декольтированное платье создавало впечатление, что она покрыта фланелевой броней и что она блистает красотой ровно настолько, насколько это совместимо со строгими требованиями медицины.

— Миссис Марвин сообщила мне сегодня вечером, что ее сын питает к нашей Элис самые глубокие чувства, и если я не возражаю, мистер Марвин будет рад поговорить с тобой сразу же.

Казалось, эта новость не привлекла рассеянного внимания мистера Райтбоди, а, напротив, усилила его нетерпение. Он торопливо ответил, что об этом они поговорят завтра, и затем отчасти в отместку и отчасти из желания переменить тему добавил:

— Право же, Джеймсу следует лучше следить за заклонками и термометром. Сегодня в гостиной было выше двадцати одного градуса, а отдушина вентилятора оставалась закрытой.

— Но ведь в этом углу сидел профессор Эммон, а у него ужасно чувствительные гланды.

— Он должен был бы знать мнение доктора Дайера Дойта, что систематическое и постоянное пребывание на сквозняке лишь укрепляет слизистую оболочку, тогда как неподвижный воздух, достигнув температуры свыше восемнадцати градусов, неизбежно...

— Боюсь, Уильям,— прервала миссис Райтбоди, с женской ловкостью поворачивая разговор так, чтобы ее супругу раскотелось развивать избранную им же тему,— боюсь, многие еще не сумели оценить замену пунша и мороженого бульоном. Я заметила, как мистер Спонди от него отказался и, по-моему, был разочарован. Фибрин и солод в ликерных рюмках тоже остались нетронутыми.

— А ведь каждые полпорции содержат такое же количество питательных веществ, что и фунт наполовину переваренной говядины. Спонди меня просто поражает,— огорчился мистер Райтбоди.— Истощая свой мозг и нервную энергию ревностным служением музе, он все же предпочитает разбавленный ароматизированный ал-

коголь с примесью углекислого газа. Даже миссис Фарингуэй согласилась со мной, что резкое понижение температуры желудка посредством введения моро...

— Однако на последнем заседании нашего благотворительного общества она съела лимонное мороженое и спросила меня, известно ли мне, что низшие животные отказываются от пищи при температуре выше восемнадцати градусов.

Мистер Райтбоди снова нетерпеливо направился к двери. Миссис Райтбоди окинула его пытливым взглядом.

— Надеюсь, ты не будешь сейчас работать? Доктор Кеплер только что сказал мне, что при твоих церебральных симптомах длительное мозговое напряжение противопоказано.

— Мне нужно просмотреть кое-какие бумаги, — коротко ответил мистер Райтбоди, удаляясь в библиотеку.

Это было богато обставленное помещение, отличавшееся удручающей мрачностью, вполне симптоматичной для унылой диспепсии, свирепствовавшей в искусстве тех лет. Кое-где были расставлены антикварные вещицы, столь же уродливые, сколь редкостные. Бронзовые и мраморные статуэтки и гипсовые отливки — все нуждались в пояснениях и таким образом давали пищу для беседы и возможность владельцу блеснуть эрудицией перед слушателями. Сувениры, приобретенные во время путешествий, были обязательно связаны с какой-нибудь историей, а каждая безделушка обладала длинной родословной, но среди всех этих вещей не нашлось бы ни одной, которая стоила бы внимания сама по себе. Всюду и во всем подчеркивалось превосходство над ними их хозяина. И вполне естественно, что никто в этой комнате не хотел задерживаться, слуги избегали заходить туда, и ни один ребенок никогда там не играл.

Мистер Райтбоди повернул газовый рожек, достал из бюро с аккуратно пронумерованными ящиками пачку писем и начал их внимательно просматривать. Все они поблекли, всем время придало почтенный вид. Однако в своей первоначальной яркости некоторые из них были всего лишь пустячными записками и никак не вязались с представлением о корреспондентах мистера Райтбоди. И все же этот джентльмен несколько минут внимательно перечитывал именно их, время от времени сверяясь с те-



деграммой, которую держал в руке... Внезапно в дверь постучали. Мистер Райтбоди вздрогнул, почти бессознательно сунул письма на место, положил телеграмму текстом вниз и лишь тогда резко сказал:

— Э-э... Кто там? Войдите!

— Прости, пожалуйста, папа,— сказала очень хорошенькая девушка, войдя в комнату, не обнаружив ни малейшего признака смущения или страха и тотчас опускаясь на стул, словно была тут частой гостьей.— Но зная, что ты в такой поздний час не работаешь, я решила, что ты не занят. Я иду спать.

Она была настолько хороша собой и вместе с тем настолько не сознавала этого или, быть может, настолько осознанно игнорировала данное обстоятельство, что невольно заставляла посмотреть на себя еще раз, и более внимательно. Правда, это позволяло лишь убедиться в ее красоте и обнаружить, что ее темные глаза очень женственны, яркий цвет лица говорит о здоровье, а великолепно очерченные губы достаточно полны, чтобы становиться страстными или капризными, хотя их обычное выражение не предполагало ни склонности к капризам, ни женской слабости, ни страстей.

Застигнутый врасплох, мистер Райтбоди, как это бывает, заговорил о том, о чем не хотел говорить.

— Я полагаю, нам следует побеседовать завтра...— он запнулся,— о тебе и мистере Марвине. Миссис Марвин уже сообщила твоей матери о намерениях своего сына.

Мисс Элис подняла на него свои ясные глаза, без недоумения, но и без особой радости, и румянец на ее круглых щечках был вызван скорее решимостью, нежели смущением.

— Да, он сказал мне,— ответила она просто.

— В настоящее время,— продолжал мистер Райтбоди, все еще неловко,— я не вижу возражений против этого союза.

Мисс Элис широко раскрыла свои круглые глаза.

— Но, папа, мне казалось, что все давным-давно решено. Мама знала, ты знал. Вы же все обсудили в июле.

— Да, да,— ответил ее отец, беспокойно перебирая свои бумаги,— то есть... словом... мы поговорим об этом завтра.

Мистер Райтбоди намеревался сообщить дочери эту новость с должной серьезностью и торжественностью, в приличествующих случаю четко сформулированных фразах и с подобающими сентенциями, но почувствовал, что просто не в состоянии этого сделать теперь.

— Я доволен, Элис,— сказал он затем,— что ты выбросила из головы прежние причуды и капризы. Как видишь, мы были правы.

— Если уж вообще выходить замуж, папа, то мистер Марвин во всех отношениях подходящая партия.

Мистер Райтбоди пристально посмотрел на дочь. Он не заметил ни тени раздражения или горечи на ее лице. Оно было так же спокойно, как и чувство, которое она только что выразила.

— Мистер Марвин...— начал он.

— Я знаю мистера Марвина,— прервала его мисс Элис,— и он обещал мне, что я буду продолжать занятия так же, как и раньше. Я кончу вместе с моим классом, и если захочу, то через два года после свадьбы смогу работать.

— Через два года? — удивленно спросил мистер Райтбоди.

— Да. Видишь ли, если у нас будет ребенок, к этому времени я как раз кончу его кормить.

Мистер Райтбоди смотрел на плоть от своей плоти, на эту прелестную осязаемую плоть, но перед разумом от его разума он смешался и кротко ответил:

— Да, конечно. Побеседуем обо всем этом завтра.

Мисс Элис поднялась. Что-то в свободном, непринужденном взмахе рук, которые она, подавив зевок, опустила на изящные бедра, побудило его добавить, правда, столь же рассеянно и нетерпеливо:

— Я вижу, ты продолжаешь оздоровительные упражнения...

— Да, папа. Но я перестала носить фланелевое белье. Просто не понимаю, как мама его терпит. Зато я ношу закрытые платья, а кожу закаляю прохладными ваннами. Взгляни-ка! — сказала она и с детской непосредственностью расстегнула две-три пуговики, показав отцу снежной белизны шею. — Я теперь не боюсь простуды.

Мистер Райтбоди наклонился и с подобием отцовской добродушной усмешки поцеловал ее в лоб.

— Уже поздно, Элли,—сказал он наставительно, но не категорическим тоном.— Пора спать.

— Я спала днем целых три часа,—ответила мисс Элис с ослепительной улыбкой.— Чтобы выдержать этот вечер. Спокойной ночи, папа. Так, значит, завтра.

— Завтра,—повторил мистер Райтбоди, все еще не сводя с нее рассеянного взгляда.— Спокойной ночи.

Мисс Элис упорхнула из библиотеки, возможно, с чуть более легким сердцем именно оттого, что рассталась с отцом в одну из редчайших минут, когда он поддался столь нелогичной человеческой слабости. И, пожалуй, было хорошо, что бедняжка сохранила все последующие годы именно это воспоминание о нем, когда, боюсь, и его методы, и его наставления, и все, чем он старался заполнить детство дочери, исчезло из ее памяти.

После ухода Элис мистер Райтбоди снова принялся просматривать старые письма. Это занятие так поглотило его, что он даже не услышал шагов миссис Райтбоди на лестнице, когда она шла в свою спальню, ни того, что она остановилась на площадке, чтобы сквозь застекленную половину двери взглянуть на своего супруга, подле которого на столе лежали письма и распечатанная телеграмма. Помедли миссис Райтбоди хоть мгновение, и она увидела бы, как муж ее поднялся и подошел к дивану с видом взволнованным и растерянным, так что даже не сразу решился прилечь, хотя был бледен и явно близок к обмороку. Помедли миссис Райтбоди хоть немного, и она увидела бы, как с отчаянным усилием он вновь поднялся, шатаясь, добрался до стола, с трудом, почти ошупью, собрал листки писем, убрал пачку на место, запер бюро, а затем, почти теряя сознание, подержал над газовым рожком телеграмму, пока она не сгорела. Ибо, задержись миссис Райтбоди до этого мгновения, она бы тут же кинулась на помощь супругу, когда он, совершив задуманное, вдруг зашатался, тщетно попытался дотянуть руку до звонка и рухнул ничком на диван.

Но, увы, ни рука провидения, ни чья-либо случайная рука не поднялись спасти его или приостановить ход этого рассказа. И когда полчаса спустя миссис Райтбоди, несколько обеспокоенная и чрезвычайно возмущенная нарушением предписаний доктора, появилась на пороге, мистер Райтбоди лежал на диване бездыханный.

Среди переполоха, топота ног, вторжения посторонних, беготни взад-вперед, а более всего в стихии порывов и чувств, не проявлявшихся в доме при жизни его хозяйна, миссис Райтбоди тщилаь вернуть исчезнувшую жизнь, но напрасно. Светило медицины, поднятое с постели в столь неурочный час, узрело лишь наглядное доказательство своей теории, изложенной год тому назад. Мистер Райтбоди умер — никакого сомнения, никакой таинственности, — умер, как положено порядочному человеку, по законам логики, что и было засвидетельствовано высшим медицинским авторитетом.

Но даже в этом смятении миссис Райтбоди все же послала слугу на почту за копией телеграммы, полученной мистером Райтбоди и нигде не обнаруженной после его смерти.

В уединении своей комнаты, совсем одна она прочитала следующее:

*Копия*

*Мистеру Адамсу Райтбоди, Бостон, Массачусетс.*

*Джошуа Силсби скоропостижно помер сегодня утром. Его последняя просьба, чтобы вы помнили о священной клятве, данной вами тридцать лет назад.*

*(Подпись) Семьдесят четвертый*

*Семьдесят пятый*

В доме скорби среди соболезнований тех, кто приходил взглянуть на едва остывшие черты их покойного друга, миссис Райтбоди все же послала другую телеграмму. Она была адресована в Коттонвуд «Семьдесят четвертому и семьдесят пятому». Через несколько часов был получен следующий загадочный ответ:

*«Конокрада по имени Джош Силсби линчевал вчера утром коттонвудский комитет бдительных».*

## ЧАСТЬ II

Весна 1874 года задержалась в калифорнийских горах. Настолько, что некие приезжие с востока, слишком рано отважившиеся отправиться в Йосемитскую долину, в одно прекрасное майское утро попали в снежный бу-

ран на открытых всем ветрам отрогах Эль Капитана. В каньоне Верхнего Морседа натиск ветра был столь неистов, что даже такая благовоспитанная дама, как миссис Райтбоди, была вынуждена ухватиться за шею своего проводника, чтобы усидеть в седле, а мисс Элис, презревшая мужскую помощь, прелестным ворохом упала на заснеженный склон ущелья. Миссис Райтбоди испустила отчаянный вопль, мисс Элис что-то в ярости проворкотала себе под нос, но на ноги вскочила в полном молчании.

— Я же тебе говорила, — возмущенно зашептала миссис Райтбоди, когда дочь добралась до нее, — я тебя предупреждала, Элис, чтобы... чтобы...

— Чтобы что? — резко перебила мисс Элис.

— Чтобы ты захватила теплые рейтузы и сапожки, — вполголоса продолжала укорять свою дочь миссис Райтбоди, чуть поотстав от проводников.

Мисс Элис презрительно пожала своими очаровательными плечиками, пропустив замечание матери мимо ушей, и только сердито заметила:

— Тебя же предупреждали, что в это время года не следует спускаться в долину.

Миссис Райтбоди недовольно подняла глаза на свою дочь.

— Ты знаешь, как я жажду поскорее узнать, кто этот таинственный корреспондент твоего отца. Ты просто бессердечна.

— Ну, а если ты найдешь его, что тогда? — спросила мисс Элис.

— Что тогда?

— Вот именно. Я уверена, что телеграмма окажется обыкновенным деловым шифром, и все эти поиски ты предприняла зря.

— Элис! Но ведь тебе самой в тот вечер поведение отца показалось очень странным. Разве ты забыла?

Элис об этом помнила, но по какой-то своей чисто женской логике не пожелала хоть с чем-то согласиться в минуту, когда воспоминание о недавнем полете в снег было еще слишком свежо.

— А эта женщина, кто бы она ни была... — продолжала миссис Райтбоди.

— Откуда тебе известно, что тут замешана женщина? — прервала ее мисс Элис, боюсь, из чистого духа противоречия.

— Откуда... мне... известно... что тут замешана женщина? — медленно проговорила миссис Райтбоди, совсем обессилев от необходимости пробираться по снегу и от негодования, вызванного столь нелепым вопросом.

Тут проводник поспешил к ней на помощь, и разговор прервался. Путешественникам предстояло разрешить нелегкую задачу.

До единственного пристанища на этом пути — до хижины торговца, устроившего у себя нечто вроде гостиницы, — оставалось всего полмили, но тропа тут огибала скалистый утес и проходила почти по самому краю каньона. Туда вел крутой спуск ярдов сто в длину, и проводники на минуту остановились посоветоваться, хладнокровно игнорируя и панические вопросы миссис Райтбоди и почти оскорбительную независимость ее дочери. Старший проводник был русобородый толстый весельчак, младший — с черной бородкой, стройный и угрюмый.

— Коли ты уломаешь молодую мисс бостонку спуститься у тебя на спине, то маменьку я как-нибудь стащу, — донеслось до возмущенного слуха миссис Райтбоди предложение ее личного телохранителя.

— Спускайте маменьку, но если дочка вздумает прокатиться в одиночку, на меня не рассчитывайте, — загадочно ответил молодой проводник.

Мисс Элис услышала оба эти высказывания, и не успели проводники вернуться к ним, как отважная девушка погнала лошадь вниз по крутой тропе.

Увы! В этот миг на нее обрушился снежный вихрь. Лошадь поскользнулась, оступилась, всадница дернула не за тот повод, и вот, несмотря на все мужественные попытки подняться, и лошадь и всадница постыднейшим образом заскользили к скалистому обрыву. Миссис Райтбоди вскрикнула. Поднявшись из хаоса снежных комьев и льда, мисс Элис повернулась к молодому проводнику, и ее раскрасневшееся сердитое лицо стало еще более сердитым, потому что на его лице она заметила тень раздражения.

— Не двигайтесь. Возьмите лас, обяжитесь под мышками, а другой конец бросьте мне,— спокойно сказал он.

— А что такое «лас»? Это лассо? — брезгливо осведомилась мисс Элис.

— Да, сударыня.

— Так бы и говорили!

— О, Элис! — с упреком вставила миссис Райтбоди, чью талию надежно обнимала рука ее спутника.

Мисс Элис, не удостоив ее ответом, накинула петлю лассо себе на плечи и дала ей соскользнуть до стройной талии. Затем она попыталась подбросить конец лассо до проводника. Плачевная неудача! При первом броске она чуть не слетела в пропасть, при втором конец лассо без толку ударился о скалистый обрыв, при третьем зацепился за колючий куст в двадцати футах под проводником. Рука мисс Элис беспомощно повисла, и, поняв этот сигнал о безоговорочной капитуляции, молодой человек кинулся вниз по склону, добрался до куста, секунду висел над пропастью, закрепил лассо и начал подтягивать свой очаровательный груз. Впрочем, мисс Элис помогала ему, как могла, и карабкалась на четвереньках по скале. Однако, очутившись в двух-трех футах от своего спасителя, она вспомнила о своем достоинстве, выпрямилась и всей тяжестью повисла на веревке. Проводник дернул изо всех сил, что привело к прискорбным последствиям: она почти угодила в его объятия. При этом ее умный лоб столкнулся с его носом и,— я должен с сожалением добавить, повествуя о столь романтической ситуации,— из этого украшения на лице героя хлынула кровь. Мисс Элис немедленно набрала горсть снега и прижала ее к раненому носу.

— Поднимите правую руку! — властно приказала она.

Он неохотно повиновался.

— Это сжимает артерию.

Ни один человек не способен изречь героическую фразу, когда хорошенькая женщина прижимает снег к его носу и губам, как не способен и принять героическую позу, когда его рука вытянута вверх, как палка. Но, как только рот проводника наконец освободился от снега, он сказал полусердито, полуизвиняясь:

— Конечно, нечего было ждать, что девушка сумеет что-то бросить дальше двух шагов.

— Почему? — резко спросила мисс Элис.

— Потому что... э-э... потому что у них нет опыта, — вымолвил он, запинаясь.

— Глупости! Все дело в ключице! Я женщина, и поэтому ключица у меня меньше, и это мешает мне размахнуться как следует. Поняли? — Она слегка распростила плечи, и ее темные глаза гневно сверкнули. — Опыт! Вот еще! Девушка может научиться всему, что умеет юноша.

У ее слушателя досада сменилась тревогой. Он отвел глаза и посмотрел вверх. Старший проводник ушел вперед за лошадью мисс Элис, которая, освободившись от всадницы, пробиралась через сугробы к тропе. Миссис Райтбоди нигде не было видно. А они по-прежнему стояли на двадцать футов ниже тропы.

Наступила неловкая пауза.

— Ну как, поднять вас наверх тем же способом? — спросил молодой проводник.

Мисс Элис поглядела на его нос, не зная, что ответить.

— Или обопретесь на мою руку? — сердито добавил он, теряя терпение.

К его удивлению, мисс Элис взяла его за руку, и они стали взбираться по склону вместе.

Подъем был труден и опасен. Раз а два мисс Элис поскользнулась на гладком камне, скрытом снегом, и в душе очень обрадовалась, когда ее спутник, не доверяя слабой женской хватке, обнял ее за талию своей сильной рукой. Нельзя сказать, чтобы он был не деликатен, но мисс Элис с досадой решила, что несколько раз он воспользовался своей силой слишком уж грубо. Однако в следующее мгновение она вряд ли призналась себе в том, что обратила на это внимание. Однако сомнения не вызывало одно: он в самом деле был очень угрюм.

Преодолев последний откос, молодые люди наконец выбрались на тропу, но при этом мисс Элис ударила плечом о торчащий камень и вскрикнула от боли, впервые проявив женскую слабость. Проводник тотчас остановился.

— Я вам сделал больно?



Она подняла свои каштановые ресницы, чуть увлажненные страданием, посмотрела ему в глаза и опустила свои, сама не зная, почему. А ведь лицо у него было доброе, несмотря на мрачное выражение, и к тому же красивое, хотя небритое и обветренное. Глаза мисс Элис еще никогда не смотрели так близко в глаза другого мужчины, если не считать ее жениха; но даже в тех глазах ей никогда не случалось прочесть так много. Она легонько высвободила руку, вовсе не оттого, что вспомнила про жениха, а скорее потому, что ей хотелось подумать о столь необычайном открытии, и она вдруг почувствовала что-то вроде испуга.

Да и молодой проводник был смущен не менее. Прошло всего несколько дней с тех пор, как он согласился сопровождать эту молодую девушку по предложению своего старшего товарища, который, будучи давним корреспондентом ее отца, стал, естественно, главным телохранителем семейства Райтбоди. Нанятый как обычный проводник, молодой человек приступил к выполнению своих обязанностей с тем рыцарским воодушевлением, с которым каждый средний калифорниец всегда готов услужить представительницам прекрасного пола, столь немногочисленным в здешних местах. Но иллюзии его вскоре рассеялись, и он повел себя с угрюмой деловитостью, тем самым подвергаясь меньшей опасности. И лишь когда случай взывал к его мужественности или выдавал ее женскую слабость, молодой проводник забывал о своем уязвленном самолюбии.

Теперь он с мрачным видом шагал вперед, старательно прокладывая для нее путь к дальнему каньону, где их ожидали миссис Райтбоди и ее друг. Мисс Элис заговорила первой. В бездорожье неведомой страны страстей первой путь прокладывает женщина.

— Вы отлично знаете эти места. Вероятно, вы живете здесь давно?

— Да.

— Вы родились здесь или нет?

Долгая пауза.

— Я слышала, вас называют «Станисло Джо». Конечно, это не настоящее ваше имя? (Кстати сказать, мисс Элис его вообще никак не называла, обычно предвзято какую-нибудь просьбу небрежным: «О, будьте добры,

мистер... э-э», — считая, что для человека его положения этого вполне достаточно.)

— Нет.

Мисс Элис (*трусая за ним и крича ему прямо в ухо*): Как вы сказали, вас зовут?

Он (*упрямо*): Не знаю.

И все же, когда они после получасовой схватки с бураном добрались до хижины, мисс Элис обратилась к мистеру Райдеру — спутнику ее матери.

— Как зовут человека, который ведет мою лошадь?

— Станисло Джо, — ответил мистер Райдер.

— Только и всего?

— Нет. Иногда его называют Джо Станисло.

Мисс Элис (*насмешливо*): Очевидно, у вас тут принято, чтобы молодых девиц сопровождали джентльмены, скрывающие свое настоящее имя?

Мистер Райдер (*крайне озадаченный*): Да что вы, мисс Элис! А я-то думал, что вы такая девушка, которая всегда сумеет...

Мисс Элис (*с голубиным смирением*): Оставим это, прошу вас!

Хижина показалась путешественникам не слишком удобным приютом, но когда миссис Райтбоди негодуяще пожаловалась на это обстоятельство, благодушный мистер Райдер объяснил ей, что, собственно, гостиница годится для жилья только летом, потому что сколочена из досок, крытых парусиной и обклеенных обоями, да к тому же осенью ее частично разбирают.

— Вы бы там замерзли, — добавил он.

Однако мисс Элис заметила, что они оба ушли туда со своими трубками, после того, как приготовили дамам ужин с помощью индианки, которая не иначе как выросла из-под земли при появлении путешественников и столь же таинственно исчезла.

Еще прежде чем все уснули, в небе зажглись звезды, а утром яркое, ничем не заслоненное солнце с почти летней силой било в лишенное ставен окно хижины и, будто подсмеиваясь, выставляло напоказ все ее убогое убранство: две-три грязные, наполовину вытертые полости из бизоньих шкур, медвежью шкуру, несколько подозрительного вида одеял, ружья и седла, дощатые столы и бочки. Линялая ситцевая занавеска закрывала

стену возле очага, но материя до того почернела от дыма и времени, что и женское любопытство не решилось нарушить ее тайну.

Миссис Райтбоди была в отличном настроении и сообщила дочери, что наконец нашла на след неизвестного корреспондента покойного супруга.

— Семьдесят четвертый и Семьдесят пятый — это два члена комитета бдительных, дорогая, и мистер Райдер поможет нам их разыскать.

— Мистер Райдер! — с презрительным недоумением воскликнула мисс Элис.

— Элис, — сказала миссис Райтбоди, со странной поспешностью беря его под защиту. — Ты вредишь себе, ты вредишь мне своим высокомерием. Мистер Райдер — друг твоего отца и чрезвычайно сведущий джентльмен. Разумеется, я не сообщила ему о моих подозрениях. Но он поможет мне узнать то, что я должна и желаю знать. Ты могла бы обходиться с ним любезнее, во всяком случае, немножко лучше, чем с его слугой, твоим провожатым. Мистер Райдер — джентльмен, а не наемный проводник.

Мисс Элис вдруг насторожилась. И вскоре нарушила молчание вопросом:

— Почему ты не хочешь навести справки про Силсби... того, кто умер... или был повешен?

— Дитя, — промолвила миссис Райтбоди. — Разве ты не понимаешь, что никакого Силсби вообще не было или же он был доверенным лицом этой особы?..

Стук в дверь, возвестивший о прибытии мистера Райдера и Станисло Джо с лошадьми, прервал речь миссис Райтбоди. Пока привязывали поклажу, миссис Райтбоди на минутку вышла для конфиденциальной беседы с мистером Райдером и, к великому неудовольствию юной девицы, оставила ее наедине со Станисло Джо. Настроение у мисс Элис было скверное, но она почувствовала, что все же надо что-то сказать.

— Вероятно, летом в гостинице можно найти помещение и получше этого? — начала она.

— Да.

— Значит, хижина не составляет ее части?

— Нет, сударыня.

— Кто же здесь живет?

— Я.

— П-прошу прощения,— запинаясь, проговорила мисс Элис.— Я думала, вы живете в том месте, где мы наняли... где мы с вами встретились... в этом... в этом... Извините, я...

— Я не профессиональный проводник, но время сейчас тяжелое, с харчами трудно, вот я и взял работенку.

«Харчи»! «Работенка»! А «работенка» — это она сама!

Что бы сказал Генри Марвин? Это его почти убило бы. Она и сама слегка испугалась и шагнула к двери.

— Одну минутку, мисс.

Молодая девушка остановилась в нерешительности. Он говорил угрюмо и в то же время с почти трогательной обидой. Любопытство взяло верх над благоразумием, и она вернулась обратно.

— В то утро,— торопливо начал он,— когда мы спустились в долину, вы меня дважды поддели.

— Я? Поддела вас? — повторила ошеломленная Элис.

— Да. Иными словами, вы меня опровергли. Один раз, когда объявили, что скалы вулканического происхождения, другой раз, когда сорвали цветок и утверждали, будто это мак. Я смолчал, мое дело маленькое, но пока вы там разглагольствовали, я бы мог вас как следует посадить...

— Я вас не понимаю,— надменно сказала Элис.

— Я бы мог вас загнать в ловушку при всех, но мне только хочется, чтоб вы знали, что я прав, а вот и книги для доказательства.

Он отдернул ветхую ситцевую занавеску и открыл взору мисс Элис полку с толстыми книгами, достал два увесистых тома — «Ботанику» и «Геологию», нервно полистав их, отыскал нужные страницы и вложил обе книги в протянутые руки мисс Элис.

— Я вовсе не намеревалась... — начала она отчасти высокомерно, отчасти смущенно.

Он прервал ее:

— Так я прав, мисс?

— Полагаю, что да, раз вы так утверждаете.

— Вот и все, сударыня. Благодарю.

И прежде чем она успела произнести хоть слово, он

ушел. Она увидела своего проводника снова, только когда он привел ее лошадь. Миссис Райтбоди и Райдер уже ждали ее. Мисс Элис заметила, что лошади Станисла Джо нигде нет.

— Разве вы не едете с нами? — спросила она.

— Нет, сударыня.

— Вот как!

Мисс Элис понимала, что произносит пустые, ничего не значащие слова, но других у нее в эту минуту не нашлось. Зато она сумела кое-что сделать. До сих пор она всякий раз отвергала его помощь, усаживаясь в седло. Теперь она его ждала. Когда он приблизился, мисс Элис улыбнулась и выставила маленькую ножку. Он тотчас наклонился, она поставила ножку ему на ладонь, упруго подскочила, и одну дивную минуту Станисла Джо держал ее в объятиях. В следующий миг она была в седле, но за эти краткие шестьдесят секунд она успела произнести одну-единственную фразу, но значившую неизмеримо много:

— Надеюсь, вы меня простите!

Он что-то проговорил в ответ и быстро отвернулся, словно не хотел, чтобы она увидела его лицо.

Мисс Элис поскакала вперед с улыбкой на устах, но когда она догнала свою мать, глаза ее прятались под полями надвинутой шляпы. Лицо ее зарделось.

### ЧАСТЬ III

Мистер Райдер сдержал слово. Два дня спустя он появился в гостиной миссис Райтбоди в stokтоновской гостинице «Кристополис» и уведомил ее о том, что свиделся с таинственными отправителями телеграммы и они ждут сейчас в конторе гостиницы. Далее мистер Райдер сообщил ей о поставленном ими условии: они не хотят открывать свои настоящие имена и собираются представиться ей как «Семьдесят четвертый» и «Семьдесят пятый», те, кто подписал телеграмму ныне покойному мистеру Райтбоди.

Сперва миссис Райтбоди запротестовала, но мистер Райдер заверил ее, что иначе они вообще откажутся говорить с ней, и она в конце концов согласилась.

— Вы увидите, сударыня, они люди честные, хоть малость грубоваты. Если вам угодно, я могу остаться. Хотя, если бы вам это нужно было, так вы уполномочили бы меня действовать по доверенности, а не отмахали бы целых три тысячи миль самолично.

Миссис Райтбоди полагала, что ей лучше встретиться с ними одной.

— Хорошо, сударыня. Я буду тут за дверью, неподалеку, случись вдруг у вас в горле запершит да нападет приступ сильного кашля, я вроде бы случайно загляну, спрошу, не надобно ли капель. Договорились?— И, чрезвычайно игриво подмигнув ей и фамильярнейшим образом слегка хлопнув ее по плечу, что могло заставить покойного мистера Райтбоди разнести свой sklep, он удалился.

Раздался удивительно робкий, неуверенный стук, и в комнату вошли два человека, чей рост, могучее телосложение и неотесанность как-то нелепо не соответствовали этому боязливому царпанью в дверь.

Один впереди, другой за ним следом дошли они до середины комнаты, предстали перед миссис Райтбоди, ответили на ее глубокий реверанс могучим рукопожатием, придвинули два стула и уселись напротив нее.

— Я полагаю, что имею удовольствие говорить с...— начала миссис Райтбоди.

Человек, сидевший прямо напротив нее, вопросительно покосился на товарища.

Тот кивнул и представился:

— Семьдесят четвертый.

— Семьдесят пятый,— тут же подхватил первый.

Мисс Райтбоди помолчала в некотором замешательстве.

— Я послала за вами,— начала она снова,— чтобы несколько подробнее выяснить обстоятельства, при которых вы, господа, послали телеграмму моему покойному мужу.

— Обстоятельства,— неторопливо начал Семьдесят четвертый, искоса глянув на товарища,— они, стало быть... закрутились в этаким виде... Повесили мы в Дедвуде одного человека, по имени Джош Силсби. За конокрадство. Коли я говорю «мы», стало быть, и от имени этого самого Семьдесят пятого, который тут сидит,

а еще от имени семидесяти трех джентльменов нашей округи. Джоша Силсби мы повесили по верным, очень даже верным уликам. Перед тем как его вздернуть, этот вот Семьдесят пятый спрашивает его, как положено, может, он чего хочет сказать, или, может, у него есть к нам какая просьба. Силсби повернулся вот к этому самому Семьдесят пятому...

Тут рассказчик внезапно умолк и поглядел на своего товарища.

— Тут он, значит, и говорит, — подхватил Семьдесят пятый. — Он, значит, так говорит: «Можно, — говорит, — мне написать письмо?» А я ему: «Ничего не выйдет, старина. Времени нет». Тогда он спрашивает: «А можно мне послать телеграмму?» А я ему: «Валяй». Он и говорит, доподлинные его слова: «Шлите Адаму Райтбоди в Бостон. Скажите, чтобы помнил нашу священную клятву, данную тридцать лет назад».

— Нашу священную клятву, данную тридцать лет назад, — повторил Семьдесят четвертый. — Доподлинные его слова.

— Какая же это была клятва? — живо спросила миссис Райтбоди.

Семьдесят четвертый глянул на Семьдесят пятого, оба поднялись и отошли в угол, где состоялось совещание, неторопливое, но очень тихое, после чего они вернулись и снова сели.

— Мы так понимаем, — сказал Семьдесят четвертый негромко, но решительно, — что вам известно, какая клятва.

Миссис Райтбоди разом потеряла терпение и правдивость.

— Разумеется, известно, — поспешно проговорила она. — Но неужели вы хотите сказать, что убили беднягу, даже не дав ему возможности объяснить, в чем дело?

Семьдесят четвертый и Семьдесят пятый снова не спеша поднялись, а когда вернулись и уселись, Семьдесят пятый, в котором под воздействием некоего едва уловимого магнетизма миссис Райтбоди распознала главенствующую силу, мрачно изрек:

— Мы, стало быть, желаем заявить насчет убийства, что мы с Семьдесят четвертым за него отвечаем

одинаково. А еще мы представляем семьдесят трех джентльменов нашей округи. И готовы держать ответ, а также отстаивать нашу правду нынче и в любое время перед любым или любыми, кого выставят против нас. И еще, стало быть, заявляем, что слово наше верное и тут в Калифорнии и в любой части всех штатов.

— И еще в Канаде...— присовокупил Семьдесят четвертый.

— И еще в Канаде... А через океан плыть мы не согласны или податься в какие-нибудь заморские страны, разве что по крайней нужде. А насчет выбора оружия так это пускай ваш хозяин решает, а как вы дамы и имеете интерес, так шлите хоть кого, чтобы действовал от вашего хозяина. Дайте объявление в любой газете Сакраменто либо игральную карту, а то и просто листок к дереву приколите вблизи от Дедвуда и напишите, что, мол, пускай Семьдесят четвертый и Семьдесят пятый свидятся с вашим хозяином либо полномочным — и мы сразу будем тут как тут.

Миссис Райтбоди немного испугалась и совсем отчаялась, но она поняла свою ошибку.

— Ничего подобного я не имела в виду,— сказала она поспешно.— Я просто надеялась, что вы можете сообщить мне еще какие-нибудь подробности об этой вашей беседе с Джошем Силсби, и что, быть может, вы могли бы рассказать мне...— смелая, блестящая мысль осенила миссис Райтбоди,— рассказать мне еще что-нибудь про нее.

Посетители воззрились друг на друга.

— Полагаю, ваш комитет не станет возражать, если вы сообщите мне сведения о ней,— сказала миссис Райтбоди, сгорая от нетерпения.

Снова тихое совещание в углу и возвращение на место.

— Мы желаем сказать, что у нас возражений нет,

Сердце миссис Райтбоди учащенно забилося. Ее смелость сослужила ей добрую службу. Но она понимала, что следует соблюдать осторожность.

— Не можете ли вы сказать мне, насколько мистер Райтбоди, мой покойный муж, был в ней заинтересован?



На этот раз миссис Райтбоди показалось, что миновала целая вечность, прежде чем ее гости вернулись на свои места после торжественного совещания в углу. Она видела и слышала, что эта их дискуссия была куда оживленнее предыдущих. Однако она была несколько обескуражена, когда, усевшись, Семьдесят четвертый медленно проговорил:

— Мы хотим сказать, что не можем сказать, сколько...

— А вы не думаете, что эта «священная клятва» между мистером Райтбоди и мистером Силсби касалась ее?

— Пожалуй, что и так...

Миссис Райтбоди, раскрасневшаяся, возбужденная, была готова отдать все на свете, лишь бы ее дочь могла услышать это безоговорочное подтверждение ее теории. Но даже и теперь, когда тайна должна была вот-вот раскрыться, она волновалась и чувствовала себя неуверенно.

— Она сейчас здесь?

— Она в Туоламне, — ответил Семьдесят четвертый.

— Только теперь за ней лучше смотрят, — добавил Семьдесят пятый.

— Вот как! Значит, мистер Силсби ее похитил?

— Да, сударыня, поговаривали, будто она сама убежала. Но доказать не доказано. И потом не водилось за ней этаким привычки.

Миссис Райтбоди как бы невзначай спросила:

— Конечно, она хороша собой?

Глаза обоих мужчин загорелись.

— Насчет этого будьте спокойны! — выразительно сказал Семьдесят четвертый.

— Да вы бы в нее просто влюбились! — подхватил Семьдесят пятый.

Миссис Райтбоди про себя усомнилась в этом, но прежде чем она успела задать следующий вопрос, гости снова удалились на совещание. Когда они вернулись, в их тоне и манерах стало чуть больше теплоты и доверия, и Семьдесят пятый высказал свои мысли с большей откровенностью.

— Мы хотим сказать, сударыня, коли обмозговать это дело со всех сторон да без скопидомства, раз уж

вы имеете интерес, и мистер Райтбоди имел интерес и, по всему виду, его облапошил и сбил Силсби, так мы, стало быть, согласны выслушать ваше предложение, как вы есть дама и имеете интерес.

— Понимаю,— быстро сказала миссис Райтбоди.— И вы представите мне все документы?

Мужчины снова отправились на совещание.

— Мы хотим сказать, сударыня, что, наверное, у нее есть все бумаги, только...

— Я должна их получить, вы понимаете,— прервала миссис Райтбоди.— За любую цену!

— Вот мы и думали сказать, сударыня,— степенно продолжал Семьдесят пятый,— коли все взять в расчет, и раз уж вы дама, так куда ни шло, берите ее себе с бумагами, родословной и гарантией за тысячу двести долларов!

Говорят, будто миссис Райтбоди задала еще один вопрос, после чего упала в обморок. Однако доподлинно известно, что на другой день весь Дедвуд знал о том, как миссис Райтбоди призналась комитету бдительных, что ее супруг, прославленный бостонский миллионер, страстно желавший завладеть знаменитой гнедой кобылой Эбнера Спрингера, подговорил беднягу Джоша Силсби ее выкрасть. А когда дело провалилось, вдова умершего бостонского миллионера лично вступила в переговоры с владельцами кобылы.

Так это было или нет, но мисс Элис, вернувшись к вечеру домой, застала мать с жестокой головной болью.

— Мы уедем отсюда с первым же пароходом,— томно протянула миссис Райтбоди.— Мистер Райдер обещал сопровождать нас.

— Но мама...

— Здешний климат хвалят совершенно незаслуженно. Он уже скасался на моих нервах. А для тебя, Элис, здесь нет подходящего общества, и мистер Марвин, естественно, недоволен тем, что мы так долго не возвращаемся.

Мисс Элис чуть покраснела.

— А твои поиски, мама?

— Я их прекратила.

— А я нет,— тихо сказала Элис.— Ты помнишь моего проводника в Йосемите — Станисло Джо? Так вот, вот Станисло Джо... как ты думаешь, кто он?

Миссис Райтбоди осталась томно равнодушной.

— Станисло Джо — сын Джоша Силсби.

От удивления миссис Райтбоди села прямо.

— Но, мама, он ничего не знает о том, что известно нам. Отец обращался с ним постыднейшим образом и бросил его на произвол судьбы много лет тому назад. А когда Силсби повесили, бедняжка, чтобы избежать позора, переменял имя.

— Но если он ничего не знает о клятве своего отца, то что тут интересного?

— Ничего. Просто я подумала, что это, быть может, могло бы к чему-нибудь привести.

У миссис Райтбоди зародились подозрения насчет этого «чего-нибудь», и она резко спросила:

— Позволь, но как ты все это узнала? Ты ни словом не обмолвилась об этом в долине.

— Но я ничего не знала до сегодняшнего дня,— ответила мисс Элис, отходя к окну.— Просто... он случайно приехал сюда и все мне рассказал.

#### ЧАСТЬ IV

Если друзей миссис Райтбоди поразило ее необычайное и неожиданное паломничество в Калифорнию, предпринятое столь поспешно после кончины супруга, они были поражены еще более, узнав год спустя, что она помолвлена с неким мистером Райдером, скупые сведения о котором сводились лишь к тому, что он уроженец Калифорнии и состоял в переписке с ее мужем. Было достоверно известно, что он богат и, должно быть, не авантюрист,— по слухам, у него была репутация человека отважного и мужественного, но даже поклонников своеобразного юмора мистера Райдера чрезвычайно шокировали его грамматика и жаргонные выражения. Говорили, будто мистер Марвин после единственной встречи со своим будущим тестем вернулся домой в таком негодовании, что его помолвка с мисс Элис расстроилась. История с кражей лошади в более или менее искажен-

ном виде усердно рассказывалась теми, кто утверждал, что не верит ни единому слову. И только одно лицо в семействе Райтбоди, и, кстати, новое лицо, спасло их от полного остракизма. Это был приемный сын будущего главы дома — молодой мистер Райдер, чьи образованность, манеры и эlegantность настолько пленили Бостон, что он стал очередной сенсацией. Многим казалось, что, живя под одним кровом с таким интересным молодым человеком, мисс Элис должна будет предать забвению все свои мечты о приобретении профессии, но общество его жалело, и строились всевозможные планы, которые должны были помешать ему уронить себя, породнившись с семейством Райтбоди.

В зимний вечер, когда со смерти мистера Райтбоди прошло ровно два года, в его библиотеке горел свет. Но в кресле покойного сидел мистер Райдер-младший, приемный сын будущего главы этого дома, а напротив него стояла мисс Элис, устремив свои черные глаза на стол.

— За этим что-то кроется, поверь мне, Джо. Ты никогда не слышал, чтобы твой отец упоминал о моем?

— Никогда.

— Но ты же говоришь, что он окончил колледж и происходил из хорошей семьи. В юности у него, наверное, было много друзей.

— Элис, — мрачно сказал молодой человек. — Когда я чего-нибудь добьюсь в жизни, смою пятно с моего имени и смогу снова с честью носить его перед людьми, перед тобой, Элис, вот тогда настанет время вспоминать прошлое. А до тех пор...

Однако Элис стояла на своем.

— Я помню, — продолжала она, почти не обратив внимания на его слова, — когда я вошла сюда в тот вечер, папа читал какое-то письмо и казался расстроенным.

— Письмо?

— Да. Но, — добавила она со вздохом, — когда мы нашли отца уже без сознания, письма при нем не было. Должно быть, он его уничтожил.

— Вы пробовали искать его в бумагах? Письмо, быть может, даст ключ к разгадке.

Молодой человек взглянул на бюро, Элис поняла его и сказала:

— Нет-нет! Там хранились только деловые бумаги, в безукоризненном порядке,— ты ведь знаешь, как он был методичен в своих привычках,— а также деловые и частные письма.

— Посмотрим их,— предложил молодой человек, поднимаясь.

Они выдвигали ящик за ящиком и перебирали пачку за пачкой писем и деловых бумаг, которые лежали аккуратными стопками. Вдруг Элис вскрикнула от неожиданности и достала со дна ящика старинный нож слоновой кости для разрезания бумаги.

— Он тоже пропал после смерти отца, и его нигде не могли найти. Как видно, отец положил его туда по ошибке. Вот этот ящик...— взволнованно показала она.

Эта находка говорила о многом. Но в глубине ящика лежало множество старых писем без наклеек, но сложенных аккуратными пачками. Внезапно Джо перестал вынимать их.

— Положи все обратно, Элис,— сказал он.— Скорее.

— Почему?

— Некоторые из этих писем... я узнал почерк отца.

— Тем более я должна их прочесть,— властно сказала девушка.— Часть возьми ты, а часть возьму я, так мы быстрее справимся.

В ее голосе звучали решимость и независимость, которые он научился уважать. Он взял письма, и они вместе стали их просматривать. Это были старые письма студенческих времен, наполненные юношескими мечтами, увлечениями, надеждами и утопическими теориями, и, боюсь, молодые люди не узнали своих отцов в мертвом прахе былого. Они хранили мрачное молчание, но вдруг Элис ахнула и закрыла лицо руками. Джо тотчас очутился рядом с ней.

— Ничего, ничего, Джо. Но, пожалуйста, не читай этого письма. О, как странно, как невероятно!

Однако после недолгой полушутливой борьбы Джо все же завладел письмом. Потом он прочитал вслух строки, написанные его отцом тридцать лет назад.

«Благодарю тебя, дорогой друг, за все, что ты пишешь о моей жене и сыне. Благодарю тебя за напоминание о нашей юношеской клятве. Я знаю, мой сын ее выполнит, если будет любить тех, кого любит его отец, и если даже ты женишься еще нескоро. Я счастлив за тебя, за нас обоих, что это мальчик. Да пошлет тебе бог, дорогой Адамс, хорошую жену и дочь, которая сделает моего сына таким же счастливым».

Джо Силсби отвел взгляд от письма, взял в ладони улыбающееся и заплаканное лицо Элис, поцеловал ее в лоб и со слезами на своих печальных глазах произнес: «Амины!»

\*

Я склонен полагать, что бывшие знакомые миссис Райтбоди сказали то же самое, когда год спустя мисс Элис сочеталась браком с молодым адвокатом, уже завоевавшим уважение и популярность, хотя, по слухам, он был сыном осужденного конокрада. Кое-кто помнил калифорнийскую историю и усмотрел в этом событии ее подтверждение, однако большинство считало, что мисс Элис заслужила такой брак за свое поведение по отношению к мистеру Марвину, а поскольку сама мисс Элис весело смотрела на это именно так, то не вижу, почему бы мне и не считать конец моего рассказа очень счастливым.

## ПРИЗРАК СЪЕРРЫ

В благоуханном сосновом лесу, где каждый звук поглощался сухим прахом опавшей коры и свалявшимся мхом, царила бесконечная тишина. Лежа на спинах, мы глядели в высоту, где только после ста футов пустого пространства начинали протягиваться первые ветви, образующие над нами плоский полог. Там и сям свирепое солнце, от чьего назойливого преследования мы только что успели спастись, искало нас, но его острое лезвие заглушалось, а его блики отводили в сторону горизонтальные ветви, а его влияние растворялось в облачной дымке под сводами, венчающими темно-бурые колоннады вокруг нас. Мы находились в другой атмосфере, под другим небом, да и в другом мире, не похожем на тот, ослепительный, только что покинутый нами. Суровая тишина до такой степени казалась неотъемлемой частью благодатной прохлады, что некоторое время мы не решались заговорить — так и лежали, безмолвно растянувшись на ковре из сосновых игл. Наконец молчание нарушил голос:

— Спросите старика Майора; он все знает об этом!

Под носителем этого воинского чина подразумевался я. Вряд ли нужно объяснять какому-нибудь калифорнийцу, что из этого никоим образом не следовало, будто я был «майор», или будто я был «старик», или будто я знал что-нибудь об «этом», и даже что за «это» имелось в виду. Фраза являлась одним из традиционных зачинов беседы, разновидностью светской преамбулы, обычной для бесед на старательском жаргоне.

Но так как меня всегда называли Майором — вероятно, не с большими основаниями, чем говорящего, старого журналиста, называли Доктором, — я отодвинул ногой седло, чтобы видеть лицо говорящего на одном уровне с моим, но ничего не сказал.

— О призраках! — продолжал Доктор после паузы, которую никто не нарушил (чего он, впрочем, и не ждал). — О призраках, сударь вы мой! Вот что нам интересно. Раз уж мы торчим здесь, в унылом склепе округа Калаверас, почему бы не попытаться о них разузнать, а?

Никто ничего не ответил.

— Взять, например, дом с привидениями в Кейв-Сити. Не больше мили-другой отсюда. Он стоял у самой дороги.

Гробовое молчание.

Доктор (обращаясь в пространство):

— Да, сударь вы мой, странная была история.

Все то же невозмутимое равнодушие. Мы все знали, что Доктор — мастер рассказывать, знали, что сейчас последует рассказ, и знали, что стоит перебить Доктора — и он замолчит. Вновь и вновь во время наших поисков золота, одно слово вежливой и пошлой продолжать, сильно выраженное любопытству даже молчание, сопровождаемое слишком нетерпеливой позой, заставляло Доктора сразу же заговорить о другом. Вновь и вновь мы наблюдали, как несмысленный новичок, изумленный нашим равнодушием, спешил подбодрить Доктора и никак не мог понять, почему интересное повествование неожиданно обрывалось. И мы ничего не сказали. Судья — еще один пример произвольного титулования — сделал вид, что уснул. Джек начал скручивать папиросу. Торнтон задумчиво обкусывал кончики сосновых игл.

— Да, сударь вы мой, — продолжал Доктор, спокойно закидывая руки за голову, — довольно-таки любопытно все это было. Все, кроме убийства. Это-то меня и удивляет, потому что в самом убийстве не было ничего нового, ничего необычного, трогательного, загадочного. Так, банальщина, материал для заметки петитом. Банальный старатель пробавляется черствым хлебом да бобами и наскребает достаточно денег, чтобы съез-



дить повидаться с родней. Банальный убийца натачивает банальный нож, заряжает банальные кремневые пистолеты с медной отделкой и в одну темную ночь является к банальному старателю, отправляет его к родне на несколько поколений назад и забирает деньжата. Уж тут-то ничего загадочного нет; раскрывать нечего, дальнейших открытий в деле нет и быть не может. Призраку беспокоиться не следовало бы — во всяком случае солидному призраку! Мало того, в Калаверасе каждый год происходит больше сорока таких вот банальных убийств, без каких-либо юбилейных визитов с того света, без каких-либо посягательств на мир и спокойствие тех, кто остался в живых. Знаете, братцы, за одно это я склонен осуждать призрака из Кэйв-Сити. Плохой прецедент, сударь вы мой. Если так и впредь будет продолжаться, то все дороги окажутся забитыми разными субчиками, которых некогда уколошили мексиканцы да разбойники; этого-то добра в любом лагере, в любой лавчонке вдвойне найдется — а кто тогда поручится за безопасность ныне здравствующих и их имущества? Что вы, Судья, скажете по этому поводу, как беспристрастный законовед?

Ответа, разумеется, не последовало. Но Доктор любил изводить слушателей, в подобные моменты пускаясь в длительные рассуждения, надеясь, что его перебьют, и некоторое время продолжал распространяться о том, что того и гляди наступит пора, когда джентльмену нельзя будет свести счеты с недругом, не опасаясь впоследствии неудобств спиритического характера. Но это отступление, казалось, никто и не слушал.

— Так вот, после убийства хижина долгое время стояла пустая, от нее старались держаться подальше. В один прекрасный день в лагерь явился в поисках жилья и свободного участка ободранный старатель, одичалый от тяжелого труда и еще более тяжелого невезения. Ребята посмотрели на него и решили, что он человек бывалый и призраком больше, призраком меньше для него ничего не значит. И послали его в хижину, где было нечисто. При нем находился большой рыжий пес, почти такой же страховидный и свирепый, как он сам; и наши молодцы гордились своей практичностью: и кров этому старому бродяге предоставили

и всякой нечисти насолили, как положено добрым христианам. На старикана-то они мало надеялись, а всю ставку делали на пса. Тут-то они и просчитались. Дом стоял почти в трехстах футах от ближайшей пещеры, в ложине, и темными ночами было там так же одиноко, как на вершине Шасты. Доведись вам увидеть то место в пору, когда луна едва освещает кустики чапарала, похожие на чьи-то согнутые тела, а осколки кварца поблескивают, как черепа, вы бы поняли, что взял на себя этот малый со своим псом. Они вступили во владение под вечер, и старый горемыка принялся готовить ужин. Поужинал, сел у догорающего очага и закурил трубку, а пес разлегся у его ног. Вдруг «тук! тук!» — в дверь постучали. «Войдите», — пробурчал старик. Снова «тук!». «Да входи же, черт тебя дери!» — говорит старик; вставать и отворять дверь ему не хотелось. Но никто не ответил, и тут — бац! — разбивается единственное целое стекло в единственном окне. Горемыка увидел это и осатанел; встает, хватает револьвер и идет к двери, а пес ощерился — и за ним. Старик распахивает дверь — никого! А пес, на что уж свирепый, съезживается и начинает пятиться шаг за шагом, дрожит и трясется и, наконец, забивается в угол очага, а на хозяина и не посмотрит. А тот захлопывает дверь, и снова — бац! На этот раз внутри. И только когда он огляделся и увидел, что в хижине никого нет, он, ни слова не говоря, выскакивает наружу и давай бегать вокруг хижины, но и там ничего не находит — все темно и тихо. Тогда, ругаясь, он возвращается под крышу и кличет пса. А эта громадная рыжая тварь, на которую ребята готовы были все свои деньги поставить, забила под койку, и пришлось ее оттуда вытаскивать, как енота из дупла. Лежит, ошестинившись, глаза выпучила, каждая жилка трясется от страха. Позвал хозяин пса к двери. Тот пополз, остановился, принюхался и дальше ни с места. Хозяин его обругал, замахнулся на него. И, знаете, что пес тогда сделал? Он бочком пополз в сторону и, прижимаясь к койке, сплющился, совсем как лезвие ножа. Потом оставливаются на полдороге. Потом этот поганый пес очень-очень осторожно встает и идет, подымая по очереди одну лапу за другой, и все дрожит, и все дрожит. Опять остановился. Пригнулся к полу. А потом как прыгнет —

не вперед, а вверх дюймов на шесть от пола, как будто...

— Как будто он через что-то перепрыгнул, — неосторожно перебил Судья, приподнимаясь на локте.

Доктор моментально умолк.

— Хуан, — хладнокровно сказал он одному из мексиканцев-погонщиков, — брось ты возиться с этой риа-той. Выдернешь колышек, и мул сбежит. Поди-ка лучше сюда!

Мексиканец повернул к Доктору испуганное, побелевшее лицо и выпустил из рук сыromятный ремень. Все мы заговорили хором. Судья извинялся и каялся, и мы единодушно упрасивали Доктора продолжать.

— Первого, кто еще перебьет вас, пристрелю, — убедительно добавил Торнтон.

Но Доктору, который по-прежнему лежал, закинув руки за голову, стало неинтересно рассказывать.

— Ну, и убежала собака в горы, и ни лаской, ни угрозами хозяин не мог заставить ее вернуться в хижину. А на другой день он ушел из лагеря. Который час? Скоро закат? Эй, не наступай мне на ногу, паршивый мексикашка, да брось ты топтаться! Лучше ляг!

Но мы знали, что рассказ Доктора еще не окончен, и терпеливо дожидались его завершения. Тем временем древнее, седое безмолвие леса снова вступило в свои права, в тяжелых балках естественной крыши над нашими головами начали собираться тени, а тусклые колонны стволов, казалось, обступали нас все теснее. И вот Доктор не спеша возобновил рассказ, как будто его и не перебивали.

— Как я уже сказал, я этому особенно не верил и рассказывать бы вам не стал, если бы не один любопытный случай, который произошел со мной самим. Случилось это весной шестьдесят второго, когда я и еще три человека возвращались из О'Нила, где нас занесло снегом. Погода стояла ужасная; после того, как мы прошли перевал, начался дождь, слякоть, кругом вода; каждая канава превратилась в ручей, а ручей — в реку. Мы потеряли двух лошадей на Норт-Форке, вконец измотались, сбились с дороги, шлепаем по грязи, а ночь приближается, и град так и лупит по лицу, что твоя дробь. Невесело нам было и страшновато, как вдруг я увидел,

что в лошине мерцает огонек — я ехал чуть впереди остальных. Лошадь у меня была еще свежая, я крикнул ребятам, чтобы ехали за мной и держали на огонек, — и туда. Еще немного, и я очутился перед маленькой хижинкой, полускрытой черным чапаралем; спешился и постучал в дверь. Не отвечают. Тогда я попытался высадить дверь, но оказалось, что она крепко заперта изнутри. Я еще больше удивился, но один из наших, нагнавший меня, сказал, что только что видел в окно человека, который сидит у очага и читает. Нас возмутила такая неприветливость, и мы вовсе налегли на дверь и при этом орали что было мочи. Вдруг послышался резкий щелчок отодвигаемого засова, и дверь отворилась. Перед нами стоял коренастый человек с бледным, изможденным лицом, выражающим спокойное добродушие и многотерпеливое страдание. Когда мы вошли, он поспешно спросил нас, почему мы его раньше «не кликнули».

— Но ведь мы стучали! — нетерпеливо сказал я. — Чуть дверь не высадили.

— Ну и что ж, что стучали, — терпеливо сказал он. — К этому-то я давно привык!

Я опять посмотрел на его лицо, полное покорности судьбе, и оглядел хижину. И тут меня осенило.

— Мы около Кейв-Сити? — спросил я.

— Да, — ответил он. — Кейв-Сити прямо внизу. Вы, должно быть, проехали его в бурю.

— Понимаю. — И я снова огляделся по сторонам. — Ведь это и есть здешний дом с привидениями?

Он с любопытством посмотрел на меня и очень просто ответил:

— Да.

Можете вообразить мой восторг! Мне представлялся случай проверить всю эту историю, добраться до коренной породы и увидеть, что тут можно намыты! Нас было слишком много, и мы были слишком хорошо вооружены, чтобы кого-либо опасаться. Если — как предполагали некоторые — все это устраивала шайка грабителей с тем, чтобы уберечь свое убежище от вторжения посторонних, то за любую попытку напасть на нас мы готовы были отплатить им тою же монетой. Нечего и говорить, что мои спутники, узнав в чем дело, только обра-

довались такой возможности. Единственный, кто сомневался и сохранял полнейшую безучастность, был наш хозяин: он, как прежде, устроился с книгой у огня, и на лице его оставалось прежнее выражение терпеливого страдания. Я мог бы легко вызвать его на откровенность, но я не хотел искать подтверждения чужим наблюдениям, а предпочитал убедиться во всем сам. К тому же я считал за лучшее не пугать ребят раньше времени. Мы поужинали и в терпеливом ожидании расположились вокруг огня. Прошел час — нас ничто не тревожило; второй — то же самое. Наш хозяин читал; молчание нарушалось только цокотом града по крыше. Но...

Доктор умолк. После того как его перебили последний раз, непринужденное просторечие его рассказа сменилось более округленным, изящным и даже обдуманном слогом. А теперь он вернулся к прежней манере и тихо проговорил:

— Если ты, Хуан, не бросишь копошиться с этими риатами, я тебя самого привяжу, как мула. Поди сюда и ложись. Ну?

Все мы свирепо обернулись к виновнику второй опасной паузы, но бледное, перепуганное лицо бедняги удержало нас от брани. И, к счастью для нас, Доктор продолжал сам:

— Но я забыл, что этих молодцов, готовых к любой стычке, трудно удержать в руках; и после того как без каких-либо сверхъестественных явлений минул и третий час, я понял по некоторым перешептываниям и перемигиваниям, что сейчас они сами что-то начнут. Через несколько мгновений во всех углах послышался бешеный стук; большие камни (ловко подброшенные вверх по трубе) с тяжелым грохотом обрушились на крышу. Странные стоны и душераздирающие вопли, казалось, доносились снаружи (там, где щели между бревнами были достаточно велики). И все же во время этого шума и грохота наш хозяин продолжал невозмутимо сидеть, и на его добродушном, но изможденном лице не было и следа упрека или негодования. Вскоре стало ясно, что это представление затеяно только для него. Его попросили посмотреть, кто это буянит снаружи, и, воспользовавшись его отсутствием, все в хижине перевернули вверх дном.

— Видите, старина, что натворили призраки,— сказал верховод этих безобразников.— Перевернули бочонок с мукой, пока мы на него не смотрели, а потом опрокинули кувшин и разлили всю воду!

Терпеливый хозяин поднял голову и посмотрел на стены, обсыпанные мукой. Потом опустил глаза и взглянул на пол, слегка вздрогнул и отшатнулся.

— Это не вода! — сказал он тихо.

— А что же?

— Кровь! Гляньте-ка!

Стоявший ближе прочих дернулся и отпрянул, бледный, как полотно.

А там, на полу, господа, прямо перед дверью, на том самом месте, где старик видел, как его пес остановился и начал поднимать лапы, там! там! — господа, даю вам честное слово, — медленно расплзалась темно-красная лужа человеческой крови! Эй, держите его! Живо! Да держите же его, говорят вам!

Ослепительная вспышка озарила темный лес, и грянул выстрел! Подбежав к Доктору, мы увидели, что в одной руке он держит дымящийся пистолет, а другой указывает на быстро убегающего Хуана, нашего мексиканца-вакero!

— Ах, черт, промазал! — сказал Доктор. — Но вы его слышали? Видели, как он побледнел при слове «кровь»? Видели по его лицу, что у него совесть нечиста? А? Что ж вы молчите? Что вы на меня уставились?

— Это был призрак убитого, Доктор? — как один, спросили мы, задыхаясь.

— Куда там к черту призрак! Нет! Но в этом мексиканце-вакero — этом проклятом Хуане Рамиресе — я угадал его убийцу! Поэтому и стрелял в него!

## ПИТЕР ШРЕДЕР

Когда мы прослышали, что Питер Шредер, как у нас говорят, «наткнулся на жилу», или, иными словами, взял в то утро на своем участке пятьдесят тысяч долларов из внезапно открывшегося «кармана», вся Испанская Лощина бурно радовалась и в один голос поздравляла его. Только не подумайте, будто источником такого единодушия была внутренняя убежденность, что он заслуживает своей удачи или вообще обладает особыми достоинствами. Испанская Лощина не отличалась тонкостью понятий. Но Питер Шредер всегда пользовался симпатией ее грубоватых обитателей; его чудаковатая серьезность и простодушие, трогательная вера в то, что мы-то и есть настоящие американцы — истинные сыны тех свободных политических институтов, которыми он так восхищался в теории; то, что в простоте своей он невольно усвоил наш жаргон и наши пороки, хотя самая грубая божба и сквернословие в его устах звучали так же невинно и безобидно, как в устах ребенка, — все это привело к тому, что «немец Пит» (ему чрезвычайно нравилось, что мы так его называем) занял в наших сердцах прочное место, и привязанность эту не могла поколебать никакая завидная удача.

Более того, все мы считали себя в какой-то мере орудием провидения, оказавшего ему свою милость, и втихомолку гордились этим. Иные, помню, этого и не скрывали.

«Хорошо, что я всегда твердил: держись, старина, за этот участок, — говорил один тоном человека, уставшего

творить благодеяния,— и всегда подбадривал его, когда он надсаждался; теперь, верно, он и сам смекнул, как ему помог мой четырехлетний опыт в этих краях».

«Да, — подхватил другой, — вчера, гляжу, ручка у его кирки расшаталась, ну и одолжил ему свою, а ведь говорят, старый инструмент приносит счастье в новых руках».

Чуть ли не весь поселок тотчас же побывал у Питера в гостях. И все остались довольны визитом. Богатство и удача ничуть не изменили Питера Шредера: он, как и прежде, держался просто и радушно, приветствовал их на своем ломаном жаргоне, который, к общему восхищению, ему угодно было считать подлинным языком американцев. Он стоял у стола, покрытого ярко-красным одеялом, которое выгодно оттеняло ноздреватый излом большого куска кварца, весь в ярких прожилках драгоценного металла. Над столом висел плакат — дар местного остряка — с надписью: «Привет, малыш!».

— Входите, репята, не стесняйтесь. Садитесь поближе к столу! Слоник пежит по кругу... Оркестр играет туш. Вот она, взгляните, шентльмены! Вы вынимаете теньги и телаете ваши ставки. Ха-ха-ха! Каков банчок, а? Играем по крупной, репята?

Когда утих смех — уж очень неожиданно он употребил жаргонные словечки в последней фразе, — кто-то спросил, что же он собирается делать теперь, когда стал богачом.

— Вот-вот, репята, в самую точку. Прежте-всего ету в Вашингтон. Поогляжусь маленько и, может, найду Дика Антервутса и с ним — прямо в тействующую армию... и буту немножко драться за северян.

Дик Андервуд, которого он упомянул, недавно сменил на меч свою калифорнийскую лопату с длинной ручкой и теперь, к концу гражданской войны, дослужился до полковника.

— Да ведь тебя ж могут убить, Пит. На кой шут тебе тогда твои деньги?

— А я их сперва пошлю отцу с матерью в Германию.

— Но к чему тебе в чужом пиру похмелье, Пит? Ты же ведь чистойшей воды немец.



— Ах, немец! А кто же, по-твоему, Зигель, а? Кто Розенкранц? Кто Генцельман... или Карл Шурц, а?

И тщетно Испанская Лощина пыталась вдолбить ему в голову, что для богатого иностранца чистое безумие ввязываться во внутреннюю свару. И в конце концов, за много лет научившись уважать тупое упрямство Питера в вопросах, которые он считал делом своей совести и которые ничуть не мешали ему выполнять свои обязанности как члена общины, они тактично перестали настаивать и после прощальной попойки дружески благословили его в далеко не благостных выражениях.

Питер Шредер не бросал слов на ветер. Через три недели он присоединился к армии на Потомаке и служил до самого того дня, когда пал Ричмонд. Надо сказать, что, несмотря на верность, преданность делу, честность и мужество, он заслужил всего лишь сержантские нашивки. Возможно, ему не хватало честолюбия, или привычки старого служаки удерживали его вдали от политических интриг вооруженных граждан, а может быть, не было влиятельных друзей в Вашингтоне, и был он к тому же малость туповат. Однако следует отметить, что упорная приверженность к собственным понятиям о великих республиканских принципах, за которые он дрался, ничуть не пошатнулась под огнем явного и откровенного недовольства начальства и общего неодобрения всего гражданского лагеря. Недовольные боялись его, и даже добрые патриоты ложно истолковывали его сентиментальные убеждения — своих товарищей он ставил в тупик не меньше, чем врагов. Повесть о его короткой военной карьере я закончу историей, которую рассказывают и поныне, хотя только сейчас читатель узнает, как это произошло на самом деле. Доблестный офицер армии конфедератов (потомок тех виргинцев, которые были в числе основателей американской республики), чей полк после дерзкой, но неудачной атаки был разбит наголову, лежал раненный, весь искалеченный перед редутом своего противника, а флаг его отцов гордо развевался прямо перед его глазами.

— Я смотрел вверх, джентльмены, — рассказывал он потом, — и сержант с батареи янки заметил меня, с опасностью для жизни прокрался вниз и втащил к себе в укрепление. Он был немец, и я уже благодарил бога,

что не обязан спасением жизни янки. Так что же вы думаете, джентльмены! Проклятый немец — он и язык-то наш коверкает и, по-моему, недели две, как приехал в Америку! — смотрит на меня, указывает на мою раненую ногу и заявляет: «Ага! Так тебе и нато, за то, что дрался против старого флага». Уж лучше бы меня осел лягуна, так мне скверно стало. — Ослом, лягнувшим доблестного джентльмена, и был Питер Шредер. Но это был его прощальный пинок; несколько дней спустя он вышел в почетную отставку, получил свое жалованье и прибавку за добровольную службу и отплыл за океан в Германию.

\*

Прошло пятнадцать лет. Питер Шредер, растолстевший и совсем лысый, сидел в решетчатой беседке — неременной и священной принадлежности сада каждого рейнского домовладельца — и неторопливо потягивал свой мозельвейн. Он уже не замечал, что причудливо изогнутый железный садовый стол куда менее удобен, чем американское кресло или качалка, он давно уже перестал ворчать на эту тему; не замечал он и того, что стол слишком высок и неустойчив, и на него никак не положишь ноги: ведь фрау Шредер в первые же годы после свадьбы наложила грозный интердикт на эту излюбленную американскую позу размышления и питейных радостей. Он не глядел на неременный фонтанчик, каменная чаша которого напоминала тазик, спешно подставленный под струйку воды из невидимой текущей бочки, ни на неременный гротик — убежище детей, — искусно выстроенный из блестящих ракушек и камешков руками какого-то взрослого любителя детских игр. Ничто кругом: ни даже статуя Германии, похожая на Лорелею в шлеме; ни изображение самой Лорелеи, похожей на Германию с арфой; ни даже бюст доброго старого императора, похожего на собственную августейшую особу и отчески поглядывавшего на своих мифологических соседей, — ничто не существовало сейчас для Питера. Отсутствующий взгляд серьезных голубых глаз был устремлен в одну точку, округлые щеки рдели маками, чересчур яркими для «пищеварительного» румянца, который на сочном языке его склонной к философии

скому анализу нации носит название «Essfieber»; грудь тяжело вздымалась, и забытая трубка гасла в его руке. Питер грезил!

Грезил о прошлом. О долгих пятнадцати годах, которые пронеслись с тех пор, как он — почти уже чужестранец — вернулся на родину; он вспоминал встречу с двумя-тремя старыми друзьями — он был для них новым, совсем неизвестным Питером; вспоминал радость стариков родителей, радость, несколько отуманенную трепетом перед его богатством и новыми еретическими воззрениями; вспоминал, как они тут же принялись искать ему невесту и как их хлопоты увенчались наконец помолвкой с фрейлейн фон Химмель, девицей высокородной, но почти без приданого. Свадьба скрасила последние дни родителей, но ложе Питера осталось еще более одиноким, чем раньше. Он вспоминал, как погряз в своей новой жизни, которая теперь была чужда ему, как никогда прежде.

Он вспоминал томительное однообразие этих лет, однообразие внешних событий и символов: оркестры, концерты, картинные галереи, войска, день и ночь марширующие перед его окнами; фестивали, пиры, праздники — по всякому и любому поводу — все совершенно одинаковые театрально-пышные и бессмысленные, однако в то же время чересчур освященные традицией, а нередко и леденящим присутствием какого-нибудь высочества.

Он вспоминал унылое однообразие своего домашнего уклада — неизменная еда четыре раза в день, занятые важное, требующее серьезного обдумывания и ревностного выполнения; он вспоминал о помолвках и ухаживаниях под строгим надзором родителей и всех окружающих; о чувствительных рукопожатиях и о речах в адрес жениха и невесты, о навязчивом раскрытии семейных и личных дел перед всем миром в виде сентиментальных сообщений в газетах, касающихся таких повседневных событий, как рождения, смерти и бракосочетания.

Он вспоминал о великой войне с Францией, которая навсегда зачеркнула его неиссякаемые рассказы о былых заокеанских походах и похоронила его репутацию признанного авторитета по части кровопролитий и огнестрельного оружия, о войне, которая возродила былой жар его любви к фатерланду, закрутила в своем

бешеном вихре и наконец выбросила в родном городишке, где снова потянулись парады с барабанным боем, снова праздновались праздники и прибавилось еще больше устоявшихся невыносимых традиций.

Удар грома нарушил размышления Питера и привел его в себя. Взглянув на небо, он увидел над липами своего сада иссиня-черную бархатную тучу. Это было естественное завершение знойного, летнего дня, но мысли Питера были настолько мрачны, что эта туча показалась ему столь же зловещей, как столб дыма, вырвавшийся из кувшина, когда арабский рыбак сломал грозную печать Соломона. В таком точно настроении пребывал Фауст, когда к нему явился Мефистофель, и в это мгновение Питер увидел рядом с собой служанку, которая протягивала ему визитную карточку.

— Мистер Джон Фолинсби, — прочитал Питер вслух.

— Господин и четыре дамы, — сказала служанка. В мозгу Питера медленно всплыли воспоминания.

— Иностранцы, — продолжала служанка, — кажется, из Америки.

Услышав это магическое слово, добрый Питер поспешил в гостиную, очень довольный, но смущенный и растерянный, как школьник.

Однако гости его не выказывали ни малейшего смущения. Три юных девицы держались весьма свободно: одна уселась за фортепьяно, вторая у стола рассматривала альбом с фотографиями, а третья стояла у жардиньерки и уже сорвала розу, которая больше других была ей к лицу. На диване уютно устроилась последняя из дам — очевидно, самая старшая, если признаком возраста можно считать выражение усталости и скуки. Все четверо были хорошенькие, изящно одетые по последней моде и, к удовольствию Питера, разбавленному некоторой долей растерянности, чувствовали себя совершенно как дома.

Радужную улыбку хозяина они встретили вопросительными взглядами в сторону джентльмена, который в это мгновение изучал висящий у окна барометр. Тот оторвался от метеорологических исследований, сделал шаг вперед и с добродушной развязностью протянул Пи-

теру руку. Это был высокий, статный мужчина одних лет с Питером, но, как и его спутницы, он выглядел в сто раз моложе своего возраста.

— Питер Шредер, я полагаю?

Сияющий Питер от всей души тряс протянутую руку.

— Ja, в самую точку. Питер Шредер.

— Ты меня не помнишь,— продолжал незнакомец с легкой улыбкой.— Я видел тебя всего раз в Испанской Лощине. В тот самый день, когда тебе привалило счастье! Мы тогда с ребятами из Сухого Ручья побывали у тебя. Как поживаешь, старина? Видно, хорошая еда тебе на пользу?

Питер все тряс его руку и, с трудом подбирая полузабытые английские слова, говорил, что «узнал его с первого же фсгляда».

— Когда я месяц назад укатил из Калифорнии, то обещал ребятам, что непременно разыщу тебя хоть под землей,— продолжал незнакомец.— Вчера я приехал в Кельн. Услыхал, что ты здесь. И решил прогуляться с дамами. Познакомься. Рози Тиббетс, Грейс Тиббетс, Минни Тиббетс, миссис Джонсон.

Питер, вообще человек застенчивый, совсем смешался перед этой выставкой блестящих глазок и парижских туалетов и мог только, заикаясь, бормотать слова сожаления о том, что фрау Шредер уехала навестить задушевную подругу и не может их приветствовать.

Миссис Джонсон, та, что сидела на диване, очень сокрушалась, что не может ее повидать. Мисс Рози оторвалась от альбома с фотографиями и тоже очень сокрушалась, что не может повидать ее. Мисс Грейс у фортепьяно и мисс Минни, зарывшаяся розовым носиком в нежные лепестки цветка, обе очень сокрушались, что не могут повидать ее. Лишь один из присутствующих не мог присоединиться к общему хору, и это был сам бедняга Питер, который, хоть и выразил вышеупомянутые светские сожаления, тем не менее думал об отсутствии супруги с некоторым облегчением. И, стыдясь этого чувства, с особым радушием потчевал гостей и «показывал им дом».

Однако немногие американские усовершенствования, которые он, на удивление негодующих соседей, ввел

в своем хозяйстве, не произвели на посетителей никакого впечатления.

— Какое старье! У нас теперь все самодействующее,— томно заметили дамы.

— Отстал от века, старина,— вынес свой приговор еще менее деликатный Фолинсби.

Питер, чуть-чуть обескураженный, тем не менее сохранял неизменное добродушие и наконец с победоносным видом остановился перед дверью небольшой каморки.

— Сейчас я покажу фам нечто такое... Это не требует никаких усовершенствований, а? То, что хорошо знакомо вам и нам, старым соратникам. Это мои личные апартаменты. А то, что в них, может понять только американец!

С такими словами он распахнул дверь, и взорам гостей представилась комнатуха, где над окном был укреплен американский флаг. По одну сторону висел портрет Авраама Линкольна, по другую — синее кепи и блуза сержанта американской армии.

Питер молчал, чтобы не мешать взрыву патриотических чувств гостей.

Но, к его изумлению, эта выставка национальных реликвий встречена была мертвым молчанием. Не веря своим глазам, Питер отдернул оконные занавески и смахнул несуществующую пыль с портрета президента-мученика.

— Это Линкольн!

— Хромофотография? — спросил Фолинсби.

— Не знаю,— слегка опешив, ответил Питер.

— На портрете он не так безобразен,— заметила миссис Джонсон,— хотя всегда был очень уродлив.

— Кошмарно! — подхватила мисс Роза.

Питер выдавил из себя улыбку.

— Он не был хорошенький, как шенщина,— сказал он, и собственная неуклюжая попытка быть галантным вызвала на его щеках густой апоплексический румянец.

— А это что? — спросил Фолинсби, указывая тростью на кепи и блузу.— Обноски из Испанской Лощины?

— Опноски?! — задохнулся Питер.— Это же мои мундир!

Фолинсби засмеялся.

— А я было подумал, что это гнилая одежда, от-  
вергнутая военным министерством и пущенная в распро-  
дажу. Ребята охотно брали ее по дешевке, чтобы ковы-  
ряться в ямах. Да-да, теперь я припоминаю. Наши здо-  
рово смеялись, когда ты пошел на эту войну, до которой  
тебе и дела-то не было.

— А на чьей стороне вы сражались, мистер Шре-  
дер? — спросила миссис Джонсон с вежливым интересом.

— На чьей стороне? — Питер был слегка удивлен. —  
Я трался за северян.

— У меня дядя служил в федеральной армии, а  
два кузена — в войсках конфедератов, — томно замети-  
ла мисс Минни.

— На тругой стороне тоже были хорошие репята, —  
поспешил ответить добросердечный Питер.

— Когда они вернулись домой, им всем ужасно на-  
доела война, всем без исключения, — спокойно добавила  
мисс Минни.

— Я уверена, что война — это отвратительно.

— Кошмарно! — отозвалась Роза.

Тем временем они, скучая, уже выходили из комнаты,  
давая понять Питеру, что с них довольно и пора идти  
дальше.

Он закрыл дверь, растерянно, почти как вздох,  
проронил: «Вот!» — и повел их обратно в гостиную. По  
дороге мисс Роза остановилась полюбоваться портретом  
дородного, добродушного господина в великолепном гу-  
сарском мундире.

— Кто это?

— Это я, я сам, — ответил Питер. — Когда воевал с  
Францией, — добавил он, словно извиняясь.

К его удивлению, дамы с явным интересом столпи-  
лись перед фотографией, и миссис Джонсон лукаво за-  
метила, что мундир очень ему к лицу.

— Почему ты сразу не показал девицам этот порт-  
рет? — понизив голос, спросил Фолинсби, отводя Питера  
в сторону. — Чего ты вылез со своими старыми армейски-  
ми лохмотьями? Разве ты не знаешь, что они без ума от  
иностраных мундиров? Им все чудится, что мундиры  
носят одни графы да бароны. Кстати, — спросил он  
вдруг, — ты-то случаем еще не граф, а?

Питер решительно покачал головой, вспыхнув при мысли о затянутых в мундиры родственниках своей супруги.

— Не выслужил ничего такого, — продолжал Фолинсби, — ни ленточки, ни медальки, а?

— Я получил Железный крест, — просто ответил Питер.

— Гм! Железный? Что ж, им золотой не по карману? А? Видно, золотишко-то здесь не валяется?

Слишком скромный для того, чтобы разъяснить почетность своей награды, и боясь подчеркнуть естественную, по его мнению, неосведомленность иностранца, Питер, который даже не понял, что этот иностранец над ним смеется, решил переменить тему разговора и пригласил его вместе с дамами к обеду на следующий день.

— Полагаю, не выйдет, старина, — ответил Фолинсби. — Я-то сам утром уже буду на пути в Берлин, а девицы, надо полагать, отправятся вверх по Рейну, чтобы посмотреть эти самые развалины замков. Но чем черт не шутит, попробуй пригласить их!

— А разве вы не все вместе? — рискнул спросить удивленный Питер.

Фолинсби улыбнулся.

— Да, не совсем. Мы встретились только в Брюсселе и ехали в одном купе до Кельна. Убивали время, чесали языки и веселились. В Кельне я сказал им, что думаю съездить сюда повидаться с тобой, и пригласил их. Просто так. Они вполне приличные, старина, — добавил он, видя смущение, написанное на лице Питера, — вполне; одна даже, кажется, дочка сенатора, ну, а если они... не того, то беру вину на себя.

Питер покраснел и засмеялся. Не то, чтобы он увидел в этой эскападе что-то большее, нежели проявление столь милой ему в теории республиканской простоты и свободы поведения, просто он подумал, что его новая жизнь заставляет уважать иные обычаи. Кроме того, он вновь порадовался в душе, что жена его не слышит объяснений Фолинсби и что дамы вежливо отклонили его приглашение.

И все же он расстался с ними с сожалением. Когда к дверям подъехало элегантное ландо и они уселись спокойные, уверенные в себе под перекрестным огнем соглядатаев-соседей — олицетворение разряженной, самодо-



вольной, беззаботной юности, — он, воротясь в дом, почувствовал себя дряхлым стариком, и даже привычная обстановка принадлежала, казалось, к другому веку на другой планете. Питер медленно поднялся в маленькую комнатку, где хранились его сокровища. Он еще раз поглядел на них, прочитал глубокую грусть в лице Линкольна и благоговейно снял с гвоздя синюю блузу. Неужели это лицо безобразно, а блуза — обноска?

Долго сидел он, глубоко задумавшись, расстроенный и ошеломленный. И наконец нашел разгадку. Он приложил палец к носу, и в глазах сверкнула хитринка.

— Вот оно что! — торжествуя сказал он себе. — В самую точку! Граждане республики не дорожат воспоминаниями. А нам только это и остается.

Однако он не сообщил супруге всех подробностей этого визита. Но однажды, вернувшись от дальней родственницы в Киссингене, она спросила, почему он не сказал ей, что у них побывала миссис Джонсон. Вся кровь хлынула в лицо виноватому Питеру, и он с трудом пробормотал какие-то невнятные оправдания. Однако, к его несказанному удивлению и радости, фрау Шредер, вовсе не заметившая его смущения, принялась пространно рассказывать, как она познакомилась с миссис Джонсон в Киссингене, и особенно долго восторгалась изящными манерами мистера Джонсона.

— Он тут не был вместе с ней? — спросила фрау Шредер.

Питер, заикаясь, плел какие-то небылицы: он, право, не может точно сказать.

— Их было много, и они очень скоро уехали.

— Не помню, говорила ли она, что ее муж знаком с тобой, — продолжала фрау Шредер, — но ты его, конечно, не забыл бы. Он не очень похож на американца и держится, как э... э... джентльмен и офицер.

Питер промолчал, не осмеливаясь упомянуть, что спутник миссис Джонсон, по-видимому, не был ей ни мужем, ни родственником.

— Они придут к нам на следующей неделе, — добавила фрау Шредер. — Я их пригласила.

Так как Питеру редко предоставлялось право голоса в выборе гостей, то он только кротко кивнул.

«Поразительно,— думал он про себя,— как это хорошенькая миссис Джонсон, с такой плохой картой без единого козыря на руках сумела выиграть расположение моей супруги».

На следующей неделе приехала миссис Джонсон; она с томным видом соблаговолила вспомнить Питера, а с его женой вела себя так же непринужденно, как в тот раз с ним самим. Приехал и мистер Джонсон, низенький, тихий, ничем не примечательный человек.

— Вы вряд ли припомните меня по Калифорнии, мистер Шредер,— сказал он, протягивая руку.

Питер вообще вряд ли принял бы его за американца. Трудно представить себе человека более непохожего на тех, с кем он привык иметь дело. Джонсон не походил ни на Фолинсби, ни на старых армейских товарищей, ни на кого из американцев, которых знал Питер, и в то же время безусловно отличался и от любого знакомого ему европейца. Он был так же уверен в себе, как Фолинсби, но его непринужденность ничем не напоминала добродушную бесцеремонность первого гостя; мистер Джонсон казался скромным и ненавязчивым, и тем не менее Питер чувствовал, что американец сразу же завладел им, как и Фолинсби. Он хотел было воспротивиться этому и все глядел на рот мистера Джонсона — удивительный рот, в углах которого таилась скрытая, чуть виноватая усмешка, словно человечество всегда было повернуто к нему (мистеру Джонсону) своей комической стороной и только его (мистера Джонсона) снисходительная жалость к оному человечеству не позволяет ему откровенно высказывать это.

— А между тем,— продолжал мистер Джонсон, оглядывая Питера с таким видом, словно тот был забавным проказником,— между тем я много лет прожил в Калифорнии. И, помнится, слышал о вас, о выпавшей вам удаче, о вашей службе в армии и о возвращении сюда. Я знаю многих из ваших друзей. У меня даже такое чувство, что мы с вами давно знакомы.

Таковы были его слова. А в улыбке Питер прочитал еще кое-что: «И в вашей судьбе и характере есть столько смешного... Кто-кто, а уж я-то знаю, но не будем говорить об этом, Питер, ни словечка...»

Сбитый с толку, Питер задал ему несколько вопросов. И был поражен глубокой и разносторонней осведомленностью мистера Джонсона о его делах. Не было человека среди знакомых Питера, не было эпизода из его жизни, о котором снисходительно не упомянул бы мистер Джонсон. Первые компаньоны Питера на золотых приисках, трубач в его полку, пассажир, с которым он делил каюту на пароходе, его банкир и друг в Кельне, даже родственники его супруги — да, да, даже всегда внушавший ему трепет генерал из Кобленца — седьмая вода на киселе — все они были известны Джонсону. И каждый, судя по его характерной усмешке, был по-своему смешон, только он, Джонсон, не считал нужным говорить об этом.

Вероятно, именно впечатление сдержанной силы в сочетании с большой мягкостью манер делало Джонсона таким неотразимым для женщин, и в частности для фрау Шредер. До сих пор ни одному американцу не удалось затронуть точно отрегулированный сердечный механизм этой дамы. Питер только удивлялся, какое влияние сумел этот незнакомец приобрести на семейство фон Химмель. Ведь его усмешка прямо говорила, что генерал фон Химмель слишком много пьет, а его пристрастие к прекрасному полу не раз шокировало семейство и что все это ему, Джонсону, доподлинно известно.

Точно так же он давал понять, что последняя книга господина профессора по этнографии просто нелепа — как уже утверждали и некоторые критики — и что, судя по всему, от него можно ждать еще больших глупостей.

Бедняга Питер ничего не понимал. Откровенная фамильярность и легкомыслие Фолинсби, безусловно, встретили бы самый ледяной прием у миссис Шредер; Питер и сейчас содрогался, вспоминая изумление и негодование жены, когда она слушала чисто американские остроты одного туриста, с которым муж опрометчиво познакомил ее на заре супружеской жизни.

Кто ж такой этот мистер Баркер Джонсон? Ее покинула даже свойственная местным жителям осторожность, — ведь она не знает общественного и финансового положения незнакомца. Фрау Шредер называла его калифорнийским капиталистом. И его, Питера, банкир также считал Джонсона человеком со средствами.

Прошло всего лишь две недели, а новый знакомец уже целиком завладел домом Шредеров. В его честь давались обеды и ужины. Генерал фон Химмель засиживался с ним допоздна; господин профессор подарил ему последний том своих сочинений и делился планами будущих опусов. Даже Питер чувствовал, как вырос он сам в глазах всего семейства из-за того только, что раньше жил на родине этого всеобщего любимца и хорошо знал американцев. Как ни мало был он знаком с людьми типа Джонсона, он из самозащиты делал вид, что отлично знал и таких; боюсь, что однажды бедняга зашел настолько далеко — ему ведь все уши прожужжали хвалами Джонсону, — что придумал живые воспоминания о других Джонсонах, куда более замечательных, чем этот.

— Wunderschön! — задыхался апоплексический генерал.

— По человеку сразу видно, если он из этой замечательной страны, — нравоучительно сказал Шредер, покачивая головой.

Однако фрау Шредер не могла с ним согласиться.

— Американцы тоже бывают разные, — многозначительно заявляла она, и Питер вынужден был спастись бегством в свою каморку и здесь, наедине с трубкой, созерцать портрет Линкольна и выцветшие регалии бывших военных лет.

Однажды вечером он сидел так и вдруг услышал стук в дверь. Это был Джонсон; он вошел спокойный, полный любезного, чуть насмешливого доброжелательства. Питер слегка растерялся: с тех пор, как он демонстрировал свои сокровища компании Фолинсби, он уже не был уверен в том, какое впечатление они произведут на чужих людей, и не сказал ни слова о них Джонсону. Но этот джентльмен улыбнулся Линкольну, как родному брату, и взглянул на блузу и кепи с таким видом, точно наперед знал все, над чем можно посмеяться в истории этих вещей.

— Вы знаете Линкольна? — спросил Питер робко, указывая трубкой на картину.

Джонсон улыбнулся. И тут же выяснилось, что он знает о погибшем президенте не только все, известное современникам, но и многое другое, известное ему одному. Питер рассказал о мистере Линкольне несколько затаскан-

ных анекдотов, и мистер Джонсон задумчивой улыбкой подтвердил, что знает и их; и военные реликвии вызвали ту же улыбку. Окрыленный его сочувствием, Питер рассказал всю историю своей жизни, раскрыл свои сокровенные политические идеалы и мечты и даже поведал, как глубоко его огорчило поведение Фолинсби и компании.

— Та, — сказал Питер, — он назвал мой мундир «обносками», это не очень-то приятно слышать, мистер Тжонсон, и я сказал для сепя: «Граждане республики не торожат воспоминаниями». Верно?

Мистер Джонсон улыбался понимающе, терпеливо, выжидательно, словно для него было не ново все, что рассказывал ему Питер, но вежливость не давала ему прервать хозяина. Затем он тихо сказал, положив руку Питеру на плечо:

— Вы чересчур хороший республиканец, Питер, чтобы предаваться сентиментальным воспоминаниям. Послушайте-ка, вы мне нравитесь, будем друзьями. Я знаю вас и знаю, что вас недостаточно ценят здесь — даже в вашей собственной семье, Питер. Настало время показать, на что вы способны. Вас должен узнать весь мир. Такие, как вы, становятся освободителями и героями. Я понял это, едва увидел вас, задолго до того, как мы познакомились.

Даже самые скромные и непритязательные люди где-то в глубине души таят зерно самолюбия, которому не хватает лишь солнечного тепла, похвал и восхищения, чтобы созреть и расцвести. Бедняга Питер никогда до сих пор не знал, что такое похвала, а может, никогда и не нуждался в ней; но однажды вкусив от этого плода, он познал всю его сладость, сладость запретного плода, и это открытие сделало его богом, как и многих до него; сияя от восторга, он схватил руку Джонсона и пылко ее пожал. Питер все еще был слишком неискушен, чтобы скрывать свои чувства. А может быть, он столько в жизни страдал от своей скромности, что не хотел в тот миг притворяться смущенным.

— Теперь, Питер, только от вас зависит стать тем, чем вы можете и должны стать, — продолжал Джонсон. — Что, если я расскажу вам о другой стране, еще более молодой, чем та, которую вы считаете своей второй роди-

ной... Там девственная земля и неиспорченные люди; земля эта ждет, чтобы такие, как вы, вдохнули в нее жизнь и создали из нее государство. Страна без политических страстей, без традиций, без истории. Республика, которая нуждается только в идеях и средствах. Страна, где вы можете стать президентом, как уже стал я.

Питер все шире и шире раскрывал глаза, а при последних словах зажмурился, не в силах вынести потрясающее открытие. Воцарилась мертвая тишина. Снизу из гостиной доносилось мелодичное пение миссис Джонсон, аккомпанирующей себе на фортепьяно; а в передней слышался голос миссис Шредер, которая осведомлялась, куда девался ее супруг и повелитель; но Питер ничего этого не слышал; Джонсон улыбнулся, закрыл дверь и, придвинув поближе стул, еще долгих два часа доверительным шепотом вливал сладкий яд в уши замороженного Питера.

\*

Я прибыл из Брюсселя в Кале около полуночи, за час до отплытия парохода и задолго до прихода парижского поезда. Ехать в гостиницу на короткий срок не имело смысла, а ждать на станции—слишком скучно, но хозяин буфета заявил, что его «заведение» не откроется до самого прибытия парижского поезда. Заметив, однако, свет в соседней уютной гостиной, я набрался смелости, вошел туда, несмотря на протесты хозяина, и, к нашему взаимному удивлению, увидел перед собой Джека Фолинсби.

Он сердечно поздоровался со мной.

— Входи, входи, не обращай внимания на этого крикуна. До прихода поезда я здесь хозяин. Вначале он и меня пытался выставить. Но я спросил, во сколько обойдется двухчасовая аренда этой лавочки. Он рвал и метал и решил, что я спятил, но потом, полагаю, понял, что я не шучу, и назначил цену. Я заплатил и вступил во владение. Чего желаешь, старина? Что будешь пить? Угощаю. Бог мой, вот уж не думал, уезжая из Калифорнии, что стану владельцем железнодорожного ресторана во Франции.

Фолинсби не солгал. По калифорнийской привычке он ничего не пожалел, чтобы удовлетворить свою при-

хоть (хозяин, видно, считал, что имеет дело с разбогатевающим дикарем), и теперь обрадовался, решив, что мое появление в значительной мере оправдывает его поступок. Я же, сидя в уютном кресле перед пылающим камином, вовсе не собирался осуждать его.

Разговор, естественно, коснулся былых времен и старых друзей.

— Ты помнишь «немца Пита»? — вдруг спросил Фолинсби.

Еще бы я не помнил Питера Шредера!

— Помнишь, как он забрал деньги, когда ему повезло, и вместо того, чтобы уехать, очертя голову помчался на войну?

— Да.

— Ну, дуракам — счастье! Не получил ни единой царапины, вернулся в Германию богачом, женился, осел и мог бы жить себе да поживать. Но тут ему в голову пришла новая блажь, и снова его понесло черт те куда, ей-богу!

Я попросил Фолинсби рассказать подробнее.

— Ладно, полагаю, тут есть и моя вина. Помнишь Джонсона, Баркера Джонсона, этого старого пирата?

— Да.

— Может, слышал, как они с Вокером провалились в Никарагуа, но он чуть было не добился своего в Коста-Рике? Да, сэр, — Джек вдруг пришел в возбуждение, — он там натворил великих дел. И притом совсем один. Достал пирогу — черт его поberi! — добрался до какой-то корабельной шлюпки и вроде бы уговорил всю команду устроить революцию; потом повел эту команду на корабль и поднял там бунт, захватил корабль и объявил себя адмиралом ометепекского флота и предложил форту сдаться! И они сдались — черт поberi! — весь гарнизон и весь ометепекский флот! А ведь какой был тихоня... такой уж тихоня! Ты его помнишь, майор — такой тихоня... только в уголках рта змеится эдакая легкая усмешечка; но уж сам-то тихий, точно ягненок.

Тут я рискнул напомнить Джеку, что мы говорили о Питере Шредере.

— Верно. Так вот, Джонсон заставил их объявить себя президентом или диктатором Ометепекской федерации — или какой-то там ее части, — а затем явился в

Европу инкогнито, чтобы договориться о займах и получить деньги. А мне как раз в это время посчастливилось познакомиться с миссис Джонсон и целой компанией миленьких путешествующих девиц; вот я и приехал с ними к Питеру для променаду. Питер остался таким же дураком, как и был, показывал нам свои армейские обноски и держал патриотические речи, и я полагаю, миссис Джонсон сразу поняла, что он за птица. Но ничего не сказала, только потом каким-то образом познакомилась с миссис Питер Шредер — а эта, полагаю, вертела Питером как хотела и держала его в ежовых рукавицах; так миссис Джонсон ее совсем полонила, а сам Джонсон полонил Питера; в общем, дельце они обделали. Меньше чем через два месяца — черт их подери! — эти Джонсоны заставили Питера передать все имущество, весь свой капитал Ометепекской федерации. И будь я проклят, если им этого не показалось мало! Они еще втянули в это дело всю шредеровскую родню, старых теток, дядьев и кузенов фрау Шредер — всех до одного! Черт возьми! В этот Ометепе направилась целая немецкая колония, а Питер был назначен министром финансов.

— И что ж потом?

Фолинсби смотрел на меня с презрительным недоумением.

— Потом! Конечно, вся эта штука лопнула. Около месяца — нет, полагаю, не более трех недель — у них там в Ометепе продержалось у власти одно правительство. А к концу этого времени провалилось. Провалилось с треском.

— А как же Питер?

— В том-то и дело! Понимаешь, немцы все дали стрелкача, кроме Питера. Даже Джонсон, я полагаю, успел вовремя смыться. А Питер — опять же по своей проклятой дурости — остался и торчал там до тех пор, пока его не схватили! Во всяком случае, больше о нем ничего не слышно.

Фолинсби ошибся. Мы еще слышали о Питере Шредере. Когда его схватили и повели на расстрел как инсургента, один из товарищей попытался спасти его, заявив, что он всего лишь ни в чем не повинный немецкий



иммигрант. Генерал был непреклонен, солдаты ждали, но друг Питера не переставал молить их о пощаде.

— Ну, пусть выйдет вперед! — рявкнул офицер.

Питер спокойно стал под дула заряженных винтовок. И тут его друг с ужасом увидел, что он сменил платье и был теперь одет в выцветшую блузу и кепи сержанта американской армии.

— Пленный, подданным какой страны вы себя считаете?

Голубые глаза Питера сверкнули.

— Вот оно! Я америка...

Офицер взмахнул шпагой, грянул залп, и поплыл голубоватый дымок. И на его крыльях душа Питера Шредера унеслась ввысь на поиски своей идеальной Республики.

## ФЛИП

### ГЛАВА I

Чуть пониже вершины, опушенной карликовыми елями, там, где красная лента дороги на Лос Гатос, словно причудливо изломанный след шутихи, круто уходит вверх по склону, чтобы растаять потом в синей дымке Береговых Хребтов, лежит окруженная скалами терраса. Взгляд с тоскливой надеждой устремляется к ней при каждом повороте раскаленной дороги; на всем протяжении пышущего жаром, трепещущего в знойном мареве склона, сквозь завесу пыли, медленный скрип неторопливых колес, монотонный плач усталых рессор и приглушенный стук копыт, утопающих в глубокой пыли, она манит путника, обещая зеленую прохладу и благодатную тишину. К обетованному уголку нетерпеливо обращаются измученные загорелые лица и тех, кто трясется на империале почтовой кареты, и тех, кто правит медлительными упряжками; тех, кто укрылся под ослепительно белой парусиновой крышей фургонов, прозванных «горными шхунами», и тех, кто покачивается в жарких седлах на обессилевших, потных лошадях. Но надежда оказывается тщетной, а обещание обманом.

Достигнув террасы, путник вдруг обнаруживает, что она вобрала в себя, по-видимому, не только весь зной соседних долин, но к тому же еще пышет жаром из какого-то своего, невидимого глазу огнедышащего кратера. И все же люди и животные испытывают тут не изнеможение и слабость, а внезапный прилив сил. Горячий воздух густо напоен смолистыми испарениями. Терпкие арома-

ты пчелиного листа, лавра, хвои, можжевельника, микромерии, душистого чубучника и разных неизвестных и не изученных пока что ароматических трав, сгущаясь и дистиллируясь в реторте зноя, пьянят и околдовывают каждого, кто их вдыхает. Они обжигают его, подхлестывают, будоражат, дурманят. Говорят, что под их влиянием даже самые заезженные клячи становились буйными и неукротимыми, а усталые возчики и погонщики мулов, истощившие во время подъема в гору все свои запасы богохульств, вдохнув пламенной смеси, вновь обретали вдохновение и обогащали свой словарь дотоле неслыханными и поистине поразительными образчиками брани. Существует предание, что некий кучер почтовой кареты, большой любитель спиртного, излил свои восторги в краткой фразе: «Джин с имбирем». Это удачное определение, подсказанное кучеру нежной привязанностью к вышеупомянутому напитку, стало с тех пор названием чаши.

Вот и все, что рассказывали люди об этом приюте ароматов. И суждение это, как большинство человеческих суждений, не отличалось основательностью и глубиной. К тому же терраса была расположена не так уж близко от вершины и от придорожной гостиницы, и, если верить слухам, никто еще покуда не проникал в ее дебри. Там не ступала нога охотника и старателя, и даже землемеры обошли ее по краю. Завершить ее исследование выпало на долю мистера Ланса Гарриота. Причины, побудившие его к этому, были просты. Он прибыл туда под почтовой каретой, крепко вцепившись в колесную ось. Он решил избрать этот рискованный способ передвижения в глухую ночь, когда карета медленно проезжала через заросли, где он прятался от монтерейского шерифа и его помощников. Он не стал представляться остальным пассажирам: те уже знали его как игрока, головореза и авантюриста; предстать же перед ними в новом своем качестве — человека, только что убившего во время ссоры собрата-игрока и за это разыскиваемого властями, — он считал неразумным. Перед одним из поворотов, где за карету цеплялись ветки елей, Ланс соскользнул с оси и несколько мгновений лежал неподвижно: еле заметный холмик пыли на изборожденной колеями дороге. Потом на четвереньках, скорей похожий на зверя, чем на человека, он уполз в сырой, туманный подлесок. Там он притаился,

пока побрякивание упряжи и звуки голосов не замерли вдали. Сторонний наблюдатель вряд ли сумел бы догадаться, что представляет собой эта бесформенная груда тряпья. Вымазанное глиной, засыпанное пылью лицо превратилось в уродливую красную маску; руки в длинных обтрепанных рукавах казались обрубками. Когда он встал, пошатываясь, как пьяный, и сломя голову бросился в чашу, за ним потянулось облако пыли и на сучьях деревьев оставались клочки его изодранной, обветшалой одежды. Дважды он падал, но, взвинченный и подхлестнутый возбуждающими ароматами, вставал и продолжал свой путь.

Постепенно жара спадала, и хотя воздух был по-прежнему неподвижен, Лансу, который в изнеможении прислонился к небольшому деревцу, вдруг показалось, что немного поодаль листья трепещут и поблескивают, будто ими играет легкий ветерок. Потом глухую тишину нарушил слабый, похожий на вздох шорох, и он понял, что скоро выйдет из чащи. Новый звук, нарушивший безмолвие, был нежнее и более мелодичен — звонкое журчание воды! Еще один шаг, и его нога замерла на краю небольшого бочажка, укрытого под пологом ветвей. Крохотный ручеек, который можно было бы перегородить рукой, каким-то чудом сохранившись, струился по сухому красному руслу, тоненькой струйкой стекал в яму и, наполнив ее до краев, сочился дальше. Здесь в свое время нежилась пятнистая форель, и здесь решил искупаться Ланс Гарриот. Ни секунды не раздумывая и не снимая одежды, он погрузился в воду, но так осторожно, что казалось, он боится расплескать хоть каплю. Вот голова его скрылась за краем ямы, и вокруг вновь воцарилось безлюдье. Лишь два предмета — револьвер и кисет — остались на краю бочажка.

Прошло несколько минут. Отважная голубая сойка села на берег и клюнула кисет. Но ее тут же прогнала земляная белка, которая попыталась утащить кисет к себе в нору, но, в свою очередь, отступила перед рыжей белкой, чье внимание, однако, разделилось между кисетом и револьвером, который она разглядывала с шаловливым любопытством. Потом послышался плеск, невнятное мычание. Непрошенные гости кинулись врассыпную, и над краем ямы возникла голова мистера Ланса

Гарриота. Он был неузнаваем. Казалось, процесс омовения не только очистил от грязи и его тело и необременительные тиковые одежды, но к тому же еще способствовал моральному его очищению, смыл все темные пятна и зловещие следы его былых преступлений и дурной славы. Его лицо, хотя и поцарапанное в некоторых местах, стало круглым, розовым и сияло неудержимым добродушием и юношеской беспечностью. Большие голубые глаза смотрели на мир с детским удивлением и бездумностью. Весь мокрый и еще не отдышавшись, он лениво облокотился о край канавы и с увлеченностью мальчишки принялся наблюдать за маневрами земляной белки, которая вновь, набравшись мужества, опасливо подкрадывалась к кisetу. И если раньше знакомые не признали бы Ланса Гарриота в уродливом и грязном оборванце, то еще меньше можно было заподозрить в этом белокуром фавне убийцу, стоящего вне закона. А когда, тряхнув рукавом, он осыпал дождем мелких брызг перепуганную белку и выпрыгнул на берег, можно было подумать, что он явился сюда отдохнуть на лоне природы, а не скрывается от преследования.

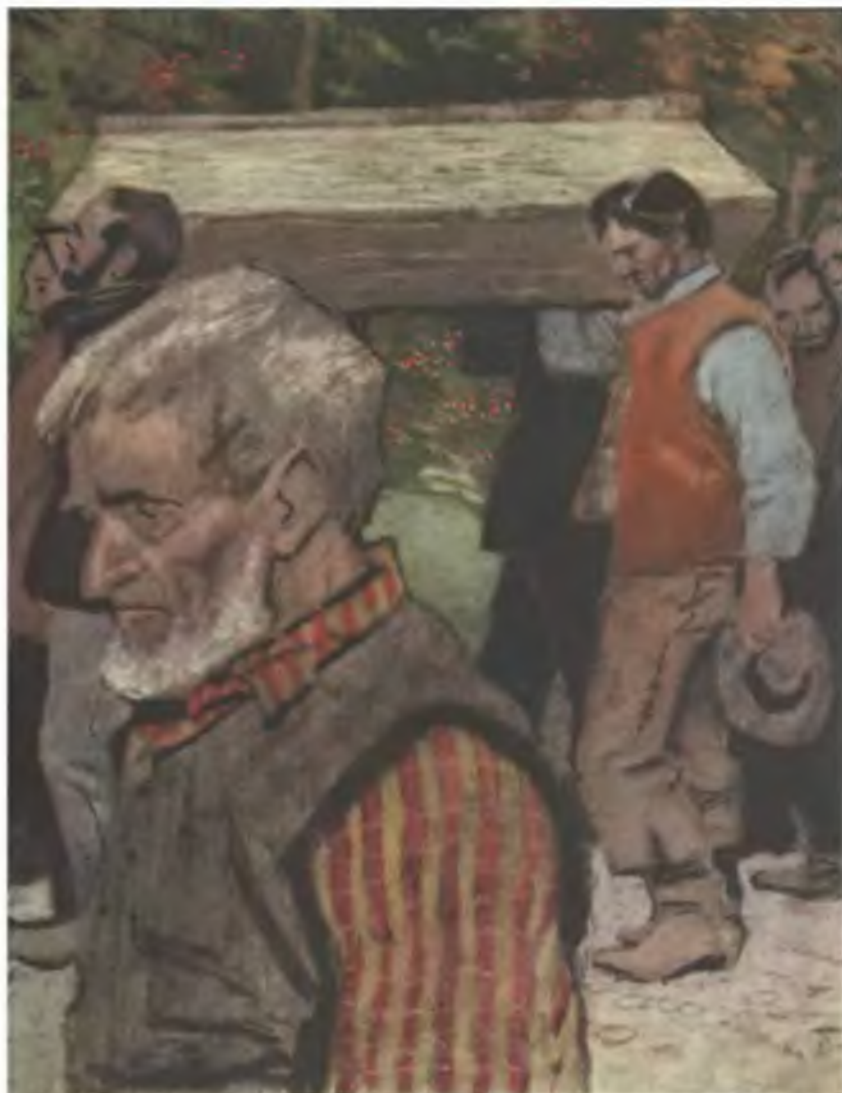
Теперь уже не было сомнений, что с запада дует легкий ветерок. Ланс поглядел туда, ему почудилось, что чаще там становится светлее, и он, не раздумывая, отправился в ту сторону, хотя подлесок там разросся особенно густо. Лес и в самом деле редел с каждым шагом; между ветвями, а потом и между листьями замелькали ярко-голубые просветы. Зная, что он сейчас где-то неподалеку от вершины, Ланс остановился, нащупал револьвер и осторожно раздвинул ветки.

Яркий свет полуденного солнца сперва ослепил его. Но, немного привыкнув, он обнаружил, что стоит на открытом западном склоне — западные склоны Береговых Хребтов обычно почти безлесны. За его спиной тянулась душистая чаща, загораживая от него и вершину и проезжую дорогу, которая сбегала с террасы в долину, вонзаясь в нее, словно молния с раздвоенным концом. Отсюда можно было, оставаясь незамеченным, следить за всеми подступами к его убежищу. Но Ланса это, кажется, и не заботило. Он первым делом сбросил лохмотья, в которые превратилась его куртка, потом набил и закурил

трубку и растянулся на припеке, как будто вознамерившись отбелить рубаху, а заодно и кожу под немилосердными лучами солнца. Покуривая трубку, он небрежно просматривал вытасченный из кисета обрывок газеты, и когда какое-то место показалось ему забавным, он вполголоса перечел его для воображаемого слушателя, с размаху хлопая себя по колену, дабы подчеркнуть самые смешные места.

Потом он задремал, должно быть, разомлев от усталости и купания, — Ланс почувствовал себя совсем как после паровой бани, когда начал кататься по сухой траве и обсыхать на припеке. Разбудил его звук голосов. Они доносились издали, были невнятные и не приближались. Ланс подкатился к краю поросшего травой крутого склона. Внизу оказалась еще одна терраса, или плато, за ней темнела буро-зеленая чаща, над которой торчали там и сям остроконечные шлемы сосен. Нигде не видно было никаких признаков человеческого жилья. А между тем, судя по голосам, люди занимались каким-то незамысловатым делом, и Ланс отчетливо слышал звон посуды и звяканье кухонной утвари. По-видимому, разговаривали старик и девушка — отрывисто и вяло, как обычно разговаривают люди, живущие под одной кровлей. Их голоса, подчеркивая пустынность здешних мест, все же не навевали грусти, они казались таинственными, но не внушали страха, а окружающее необозримое безлюдье придавало им выразительность, пусть даже тема разговора была самой прозаической и обыденной. Впервые за все время Ланс вздохнул: он догадался, что там собираются обедать.

При всей своей беспечности Ланс все же не рискнул разгуливать открыто при свете дня. Пока он ограничился тем, что попробовал определить, откуда именно доносятся голоса. Но добраться до этого места можно было, по-видимому, только с проезжей дороги. «Зажгут же они к вечеру свечку или разведут огонь», — рассудил Ланс и, утешившись этим соображением, вновь растянулся на траве. Немного погодя он начал забавляться, подбрасывая вверх серебряные монетки. Но тут его внимание привлекла к себе одна из вершин, резко выделявшаяся на фоне безоблачного неба. Что-то белое и маленькое, не больше серебряной монетки в его руке,



«СВЯТЫЕ С ПРЕДГОРИЙ»



«НАСЛЕДНИЦА»



появилось в небольшой седловине. На его глазах пятнышко начало расти и заполнило всю седловину. Еще немного, и оно закрыло зубчатый гребень горы. Густая, ослепительно белая масса переливала через край, затапливая одно за другим перевалы и ущелья. Ланс догадался, что это морской туман и, стало быть, не более двадцати миль отделяют его от океана... от свободы! Солнце, уже склонявшееся к западу, спряталось в мягких объятиях тумана. Внезапно потянуло холодком. Ланс вздрогнул, встал и, чтобы согреться, снова поспешил в напоенную ароматами чашу. Теплый, душистый воздух подействовал на него как снотворное: Ланс так разморило, что ему уже не хотелось есть; он уснул. Когда он проснулся, было уже темно. Ланс стал ощупью пробираться сквозь чашу. Над его головой сверкало несколько звездочек, но чуть поодаль и внизу все было скрыто мягкой, белой, волнистой пеленой тумана. За нею прятался и тот огонек, который мог бы указать ему жилье человека. Идти вслепую было безумием; оставалось только ждать до утра. И так как это соответствовало его извечному стремлению к праздности, он вновь забрался в ямку, которая служила ему ложем, и уснул. Какие мрачные порождения нечистой совести и страха тревожили его, лежащего в глубокой мгле и тишине и отгороженного от ближних призрачной пеленой тумана? Чей дух промелькнул перед ним, чьи очертания медленно возникли из непроглядной черноты леса? Да ничьи. Тихо погружаясь в эту мглу, он не без сожаления вспомнил о нескольких галетах, которые обронил, закусывая в дороге, небрежный пассажир. Но это воспоминание томило его недолго, и вскоре он уснул глубоким, сладким, безмятежным сном младенца.

## ГЛАВА II

Он проснулся, все еще одурманенный лесными запахами. Самым первым его побуждением было сделать то, что делают все молодые животные, — он сорвал несколько свежих листиков микромерии, стебель которой вился по его мшистой подушке, съел их, ощутил во рту кислотный вкус, и ему показалось, что мучивший его голод

utih. Еще не проснувшись как следует, он лениво разглядывал солнечный зайчик, дрожавший в густых ветвях над его головой. Потом опять задремал. Сквозь дремоту он уловил какое-то слабое движение среди сухих листьев неподалеку от его ложбинки. Казалось, кто-то подкрадывается к его револьверу, который, поблескивая, лежал на земле. Настоячивость его вчерашнего вороватого знакомца позабыла Ланса, и он затаил дыхание. Шорох не умолкал, но теперь уже было ясно, что подкрадывается к нему нечто длинное и извивающееся. Внезапно взгляд его застыл, сон как рукой сняло. Нет, не змея — рука человека шарила в густом мху, стараясь нащупать револьвер. И он отчетливо рассмотрел эту руку — маленькую и веснушчатую. В тот же миг он крепко схватил ее, вскочил на ноги и заставил подняться упирающуюся молодую девушку.

— Пустите, — сказала она, не столько напуганная, сколько смущенная.

Ланс посмотрел на нее. Гибкая и худенькая, как мальчишка, она казалась не старше пятнадцати лет. Ее покрасневшее лицо и обнаженную шею усеивало множество мелких коричневых веснушек, похожих на сгоревшие порошинки. Веснушчатыми казались даже большие серые глаза, во всяком случае, и радужная оболочка и зрачки были усыпаны крохотными, как молотый ямайский перец, точечками. Еще удивительнее были ее волосы, цветом напоминавшие рыжеватую шкуру олененка, но с множеством более светлых прядей разных оттенков, а на макушке совершенно белокурые, словно выгоревшие на солнце. Она явно выросла из своего платья, сшитого еще во времена ее детства, — из-под короткой юбки виднелись смугловатые, усыпанные веснушками стройные ноги, в штопанных чулках, которые тоже уже стали ей малы. Пальцы Ланса, крепко державшие ее за тонкое запястье, скользнули к ладони, и он с добродушной шутовской легонько отбросил ее руку.

Девушка не тронулась с места, но продолжала смотреть на него все так же смущенно и сердито.

— Ни капельки я не испугалась, — сказала она. — Не убегу, не бойтесь.

— Рад это слышать, — с нескрываемым удовольстви-

ем ответил Ланс,— а зачем тебе понадобился мой револьвер?

Она снова вспыхнула и промолчала. Потом началаковырять ногой землю под деревом и наконец произнесла, доверительно обращаясь к этой ноге:

— Хотела схватить его раньше вас.

— Вот как? А почему?

— Сами знаете.

Каждый зуб, обнаженный Лансом в широкой ухмылке, свидетельствовал, что он отлично знает. Но он скромно промолчал.

— Я ж не знала, зачем вы тут прячетесь,— добавила она, все еще адресуясь к дереву,— и потом...— девушка украдкой покосилась на него из-под белесых ресниц,— я тогда еще не видела вашего лица.

В этом тонком комплименте впервые дало себя почувствовать лукавство, свойственное ее полу. Беспечное лицо авантюриста даже залила краска, и на какое-то мгновение он смешался. Он кашлянул.

— Так, значит, ты хотела зацапать мой револьвер и вдруг увидела мою руку?

Она кивнула. Потом подобрала сломанную ветку орешника, заложила ее за спину, ухватилась загорелыми обнаженными руками за концы, прижала к пояснице и выгнулась, расправив грудь и напрягая мускулы рук. Очевидно, предполагалось, что таким образом она продемонстрирует и полную непринужденность и силу своих бицепсов.

— Возьми, если хочешь,— сказал Ланс, протягивая ей револьвер.

— Не видела я их, что ли,— сказала девушка, благоразумно уклоняясь как от оружия, так и от связанных с ним соблазнов.— У отца есть такой, а брат был в два раза меньше меня, когда разгуливал с двумя пистолетами.

Она сделала паузу, чтобы посмотреть, какое впечатление произвела на собеседника воинственность ее близких. Но Ланс, посмеиваясь, разглядывал ее и молчал. Тогда она отрывисто спросила:

— Вы зачем траву ели?

— Траву? — переспросил он.

— Ну, вот эту.— Она указала на микромерию.

Ланс засмеялся.

— Я хотел есть. Послушай,— добавил он весело, подбрасывая вверх несколько серебряных монет,— как ты думаешь, хватит тебе этого, чтобы принести мне завтрак и что-нибудь купить для себя на остальные?

С полузастенчивым любопытством девушка уставилась на деньги и на говорившего.

— Отец, пожалуй, мог бы вам чего-нибудь дать, если бы захотел, хотя вообще-то он бродяг не любит с тех пор, как они угащили у него кур. Но вы все же попытайтесь.

— Нет, ты уж лучше принеси мне сюда.

Девушка отступила на шаг, потупила глаза и с улыбкой, в которой застенчивость чарующе сочеталась с дерзостью, произнесла:

— Вы, значит, скрываетесь, так, что ли?

— Именно так. Ты, я вижу, догадливая,— беспечно рассмеялся Ланс.

— Но вы ведь не из шайки Маккарти... верно?

Мистер Ланс Гарриот с добродетельной гордостью чистосердечно заверил ее, что не принадлежит к банде, снискавшей себе под этим названием печальную известность в горах.

— И не из тех охотников за курами, которые очистили курятник Гендерсона? Мы таких тут не жалуем.

— Нет, не из тех,— бодро ответил Ланс.

— И это не вы забили до смерти свою жену в Санта-Кларе?

Ланс с негодованием отверг этот поклеп. Ему случилось обижать только чужих жен, да и то не прибегая к побоям.

Девушка еще немного поколебалась, потом решительно выпалила:

— Ну ладно, тогда пошли, что ли.

— Куда? — спросил Ланс.

— На ферму,— просто ответила она.

— Так, значит, ты не хочешь принести мне сюда еду?

— А зачем? Вы и там поедите.

Ланс замялся.

— Говорю вам, не беспокойтесь,— добавила девушка.— С отцом я все улажу.

— Ну, а если я все же предпочту остаться здесь?—

не уступал Ланс, отлично понимая, что теперь просто дразнит ее.

— Так оставайтесь,— холодно ответила она,— только у папаше-то преимущественно права на этот лес.

— Преимущественные,— подсказал Ланс.

— Преимущие или там премогущественные, это уж как хотите,— высокомерно продолжала девушка,— только раз он в этом лесу хозяин, то вы его что там, что тут можете встретить. Как пить дать, в любой момент нагрянет.

Должно быть, она уловила насмешливый огонек в глазах Ланса, так как снова потупила свои и нахмурилась смущенно и сердито.

— Ну, будь по-твоему, пошли,— весело сказал Ланс, протягивая ей руку.

Но она не взяла его руки, хотя и покосилась на нее исподлобья, как лошадка, готовая отпрянуть.

— Сперва отдайте револьвер,— сказала она.

С напускной шутивостью он протянул ей револьвер. Она взяла его без тени улыбки и вскинула на плечо, как ружье. Нужно ли говорить, что этот жест, достойный героини или ребенка, привел Ланса в невиданный восторг.

— Вы идите впереди,— распорядилась она.

Широко усмехнувшись, он поспешно повиновался.

— Я у тебя вроде как под конвоем, а?— заметил он.

— Ступайте и не дурачьтесь,— ответила девушка.

Они двинулись в путь. На какую-то секунду у него мелькнула мысль заавы ради броситься наутек, «чтобы взглянуть, что она станет делать», но он тут же передумал. «Чего доброго, еще прихлопнет первым же выстрелом»,— с восхищением подумал он.

Когда они вышли на открытую часть склона, Ланс в нерешимости остановился.

— Вот сюда,— сказала девушка, указывая в сторону вершины, то есть в направлении, прямо противоположном долине, откуда накануне доносились голоса, в одном из которых Ланс признал теперь голос своей новой знакомой. Они зашагали по опушке, потом внезапно свернули на тропинку, которая спускалась к оврагу, ведущему в долину.

— А для чего вы ходите кружным путем? — полюбопытствовал Ланс.

— Мы-то ходим не так, — значительно ответила девушка. — Здесь есть дорога покороче.

— Где же?

— Где-то уж есть, — уклончиво ответила она.

— Как тебя зовут? — спросил Ланс, когда, спустившись с крутого склона, они оказались на дне оврага.

— Флип.

— Как?

— Флип.

— Да я спрашиваю, как зовут — имя, а не фамилию.

— Флип.

— Флип! Ах да, уменьшительное от Фелипа.

— Никакая не Фелипа, а Флип, — отрезала она и замолчала.

— А мое имя ты не спрашиваешь, — заметил Ланс. Девушка не удостоила его ответом.

— Разве ты не хочешь знать, как меня зовут?

— Может, отец захочет. Ему и соврете.

Этот откровенный ответ на время удовлетворил покладистого убийцу. Он продолжал свой путь в безмолвном восхищении.

— Только смотрите, говорите то же, что и я! — решила вдруг предостеречь Флип.

Неожиданно тропинка круто повернула, и они снова вошли в каньон. Ланс глянул вверх и обнаружил, что они находятся сейчас почти под самой лавровой чашей. Судя по сваленным деревьям и сосновым пням, они шли теперь через вырубку.

— А чем же занимается здесь твой отец? — в конце концов не выдержал он.

Флип продолжала шагать, молча помахивая револьвером. Ланс повторил вопрос.

— Древесный уголь выжигает и делает алмазы, — ответила она, искоса на него поглядывая.

— Алмазы? — повторил за ней Ланс.

Флип кивнула.

— И много он их делает? — небрежно бросил он.

— Да порядком. Только они не крупные, — ответила она и опять покосилась в его сторону.

— Ах, не крупные? — серьезно переспросил он.

Тем временем они подошли к невысокой ограде, за которой немедленно послышалось хлопанье крыльев и кудахтанье кур, явно обрадованных появлением хозяйки этого уединенного лесного уголка. Владения Флип не производили внушительного впечатления. Чуть поодаль под деревом стояла печь; седло, уздечка и кое-какая домашняя утварь свидетельствовали о том, что это и есть «ферма».

Как большинство участков, расчищенных пионерами, она являла собой примитивный и беспорядочный налет на природу, после которого на поле битвы воцаряется мерзость запустения. Поваленные деревья, вытоптанные кусты, изломанные ветки, развороченная земля казались еще ужаснее из-за нелепого соседства с обломками цивилизации: пустыми жестянками, битыми бутылками, старыми шляпами, башмаками без подметок, изодранными чулками и, наконец, проволочным кринолином, который, свисая с дерева, достойно увенчивал эту гротескную картину. Самое дикое ущелье, непроходимая чаща, дремучая глушь не производят такого мрачного и унылого впечатления, как первый след, оставленный человеком. На всем этом бивуаке, разбитом на долгие времена, глаз радовала лишь сама хижина. Сложенная из полуцилиндрических полос сосновой коры и крытая тем же материалом, она была довольно живописна в своей безыскусственности. Однако, судя по смущенному объяснению Флип, сославшейся на то, что сосновая кора в их деле «без пользы», такую хижину построили из соображений скорее экономического, чем эстетического свойства.

— Отец, наверное, еще в лесу, — добавила она, оставившись перед открытой дверью. «Э-эй, отец!» Ее голос, чистый и звонкий, казалось, заполнил весь длинный каньон и эхом отразился от лесистого верхнего плато. Монотонные удары топора внезапно прекратились, и откуда-то из глубины густого сосняка чей-то голос откликнулся: «Флип!» В течение некоторого времени было слышно только невнятное бормотание да треск валежника под спотыкающимися шагами, после чего из-за деревьев вынырнул «отец».

Если бы Ланс случайно встретился с ним в чаще леса, то ни за что не смог бы угадать, кто он — монгол, индеец или эфиоп. Сугубо выборочное и к тому же

поверхностное омовение рук и лица, которое он совершал, окончив жечь древесный уголь, постепенно придало его коже бледно-серый грифельный оттенок, а в тех местах, куда вода не достигала, виднелась темная кайма. Он был похож на усталого негра-певца. Темные ободки вокруг глаз напоминали оправу очков, лишенных стекол, и еще больше усиливали его сходство с обезьяной, возникшее благодаря нелепому виду его седой шевелюры, которую он, казалось, судорожно и многократно пытался перекрасить. Не обращая ни малейшего внимания на Ланса, он обрушил все свое ворчливое возмущение только на дочь.

— Ну, что еще стряслось? Отрываешь меня от работы за час до полудня. Лопни мои глаза, не успеешь толком взяться за работу, как начинается: «Отец! Э-эй, отец!»

К несказанному удовольствию Ланса, девушка встретила эту бурю с предельным равнодушием, а когда отповедь отца перешла в нечленораздельное и, как показалось Лансу, довольно робкое бормотание, она холодно сказала:

— Лучше брось топор да собери вот для него завтрак и харчей на дорогу. Он из Сан-Франциско и приехал к нам удить форель. Отстал от своих, потерял удочку и все прочее снаряжение, а ночевать ему пришлось в чаще «Джин с имбирем».

— Вот-вот, всегда что-нибудь этакое!— взвизгнул старик, хлопая себя по ноге в порыве бессильной ярости и по-прежнему не глядя на Ланса.— Какого, спрашивается, рожна он не пошел в эту треклятую гостиницу на вершине? За каким дьяволом...

Однако тут старик перехватил взгляд больших веснушчатых глаз, в упор глядевших на него, испуганно мигнул и умоляюще захныкал:

— Ну послушай, Флип, ведь обидно же мне, старику, что ты тащишь к нам на ферму всяких бродяг, да беглых, да моряков, потерпевших крушение, бесприютных вдов и буйных сумасшедших. Вот хоть вы скажите, мистер,— вдруг впервые за все время обратился он к Лансу, однако с таким видом, словно тот уже принимал активное участие в разговоре.— Вот скажите



вы по совести, как джентльмен и как человек беспристрастный, справедливое ли это дело?

Ланс не успел ответить, как его опередила Флип.

— Вот то-то и оно! Не думаешь ли ты, что этакая важная персона и джентльмен к тому же заявится в гостиницу в таких лохмотьях? Думаешь, охота ему, чтобы над ним смеялись его товарищи? Да он и носу-то никуда не высунет с нашей фермы, пока не приведет себя в приличный вид. Как бы не так! Не городи вздора, отец!

Старик сдался. Он поплелся к пеньку, ослабевшей рукой волоча за собою топор, и уселся там, рукавом утирая лоб, отчего последний приобрел сходство с грифельной доской, с которой частично стерта сложная задача. Потом тоскливо посмотрел на Ланса.

— Само собой,— заговорил он с тяжким вздохом,— что у вас нет ни гроша денег. Само собой, вы спрятали где-то под камнем бумажник и в нем пятьдесят долларов, а теперь не можете его сыскать. Само собой,— подхватил он, заметив, что Ланс сунул руку в карман,— у вас есть только чек на сто долларов на банк Уэлса, Фарго и К<sup>о</sup> и вы хотели бы получить у меня сдачу.

Как ни забавляла Ланса эта сцена, но безграничное восхищение, которое вызывала в нем Флип, поглотило все остальные чувства. Не сводя глаз с девушки, он коротко заверил старика, что заплатит за все, что ему потребуется. Наблюдательная девушка заметила, что он сказал это отнюдь не тем непринужденным и беспечным тоном, каким разговаривал с ней, и подумала, не рассердился ли он. Действительно, как только Ланс оказался в обществе мужчины, взгляд его стал менее открытым и беззаботным. Кое-какие предвестники раздражения, которое, вспыхнув, могло толкнуть и на убийство, уже давали себя знать. Но одного-единственного слова или жеста Флип было достаточно, чтобы его успокоить, и когда с помощью не перестававшего ворчать отца девушка приготовила довольно скудный и незамысловатый завтрак, Ланс спросил старика об алмазах. Глаза отца зажглись.

— А вы откуда узнали, что я их делаю, алмазы-то? — осведомился он с каким-то робким вызовом, чем несколько напомнил свою дочь.

— Слышал во Фриско, — непринужденно солгал Ланс, бросая взгляд на девушку.

— Я думаю, они там малость струхнули, золотых дел мастера-то, — хмыкнул старик, — но камешки их нынче уж подешевеют. Древесный уголь — вот и все затраты. А они вам говорили, как я это открыл-то?

Ланс был не прочь ответить утвердительно и тем избавить себя от рассказа старика, но ему захотелось узнать, до какой степени Флип разделяет отцовские заблуждения.

— Так вот, года два тому назад жег я в яме уголь. И хотя бревна тлели там, и дымились, и горели чуть не месяц, угля получилось на ломаный грош. И все же, лопни мои глаза, а жарилка в этой яме была самая что ни на есть страшнейшая и непомерная; в сотне ярдов от нее, бывало, и остановиться-то нельзя, за три мили, на дороге по ту сторону горы, и то чувствовалось. Случалось, по ночам мы с Флип хватали одеяла да выбирались из каньона ночевать куда-нибудь подальше, а задняя стена нашей лачуги съежилась вся, вот как эта грудинка. Сущее пекло, да и все тут. Вы, может, думаете, это я развел такой огонь? Вы, может, скажете, просто горели себе бревна, и из-за этого и получился такой жар?

— Разумеется, — ответил Ланс, стараясь заглянуть в глаза Флип, которая упорно избегала его взгляда.

— Вот и соврали! Эта жара шла из самого нутра земли, ее тянуло, как из камина или печки, и из-за нее и получился этаким огонь. А когда через месяц там все остыло и я принялся чистить яму, в земле оказалась дырка, и из нее бил ключ высотой вам по пояс, горячей, словно кипятки, воды. А в самой середине я нашел вот это.

Тут с интуицией умелого рассказчика он встал, вытащил из-под постели замшевый мешочек и высыпал на стол его содержимое. Там оказался небольшой осколок горного хрусталя, наполовину сплавившийся, с обуглившимся кусочком сосновой древесины. Это было так ясно и очевидно, что самый темный лесоруб или поселенец с первого взгляда догадался бы, что представляет собой этот камешек. Ланс поднял на Флип смеющийся взгляд.

— Вода помешала... из-за нее они и остудились раньше времени,— горячо заговорила девушка. Но тут же осеклась и, вспыхнув, отвернулась.

— Вот-вот, в самую точку,— подхватил старик.— Уж Флип-то знает, она у меня умница.

Не отвечая ни слова, Ланс только смерил его холодным, жестким взглядом и без церемоний поднялся с места. Старик ухватил его за куртку.

— Вот так оно и получилось, поняли? Уголь превратился в алмаз. Только не до конца. А почему? Да потому, что мало прокалился. Вы, может, думаете, на том и дело кончилось? Как бы не так. У меня есть теперь другая яма в лесу, и вот уже полгода я жгу там бревна. Ей, конечно далеко до той старой, огонь-то в ней самый что ни на есть простой, обычный. Но я его поддерживаю. Прodelал там дырку и заглядываю каждые четыре часа. Как время подойдет, я тут как тут. Поняли вы, какой я человек? Да-а, Дэвид Фэрли — старик, не промах.

— Именно так,— сухо ответил Ланс.— Ну, а сейчас, мистер Фэрли, если бы вы дали мне какой-нибудь сюртук или куртку, чтобы я смог пробраться сквозь туман на монтерейской дороге, то я не стал бы отвлекать вас от вашей ямы с алмазами.— И он бросил на стол пригоршню серебра.

— Есть у меня куртка из оленьей шкуры,— сказал старик,— один вакеро отдал мне ее за бутылку виски.

— Я думаю, она ему не подойдет,— с сомнением проговорила Флип, вытаскивая изношенную и рваную вышитую мексиканскую куртку. Но Лансу она подошла, так как оказалась теплой, и к тому же ему неожиданно захотелось поступить наперекор Флип. Он надел ее, холодно кивнул старику, небрежно — Флип и направился к выходу.

— Если вам нужно к монтерейской дороге, то я могу вам показать короткий путь,— с застенчивой учтивостью вдруг сказала девушка.

Чадолубивый Фэрли застонал.

— Вот полюбуйтесь-ка, пропади пропадом и ферма и куры, лишь бы ей только пошляться с чужим человеком. Как бы не так!

Ланс вскипел, но не успел произнести ни слова, как заговорила Флип:

— Ты же сам знаешь, отец, что тропинка наша совсем неприметная; помнишь, как полицейский выслеживал в наших краях француза Пита, а тропинки найти не смог и обошел вокруг всего каньона. Не вышло бы того вот и с ним. Что, как он заблудится да сюда же и вернется?

Эта устрашающая перспектива заставила умолкнуть старика, и Флип вышла с Лансом из хижины. Некоторое время они шли молча. Неожиданно Ланс обратился к девушке.

— Ты ведь не веришь в эту чушь об алмазах? — резко спросил он.

Флип ускорила шаги, словно желая уклониться от ответа.

— Да неужто старикан успел начинить твой черепок всем этим мусором? — продолжал Ланс, в раздражении переходя на жаргон.

— Ну, а вам что за забота, верю я или не верю? — ответила девушка, перепрыгивая с камня на камень (они переходили в это время через русло высохшего ручья).

— И, конечно, с тех пор, как вы тут поселились, ты провожаешь всех бродяг и отщепенцев и нянчишься с ними, — не скрывая злости, продолжал Ланс. — Сколько человек ты провела этой дорогой?

— Год назад ирландцы из Брода гнались за одним китайцем, а он спрятался в чаще и боялся выйти, так что чуть не помер там с голоду. Пришлось мне силком его отсюда вытащить да проводить в горы, — на дорогу он нипочем не хотел возвращаться. А с тех пор, кроме вас, никого не было.

— И ты думаешь, это прилично девушке вроде тебя ходить с таким отребьем и якшаться с разной швалью? — сказал Ланс.

Флип вдруг остановилась.

— Послушайте! Если вы будете пилить меня, как папаша, я лучше вернусь.

Нелепость этого сравнения подействовала на Ланса сильнее, чем сознание собственной неблагодарности. Он поспешил уверить Флип, что просто пошутил.

Помирившись, они опять разговорились, и Ланс на-

столько забыл про собственную особу, что даже расспросил девушку кой о каких событиях ее жизни, которые не имели к нему прямого отношения. Мать девушки умерла в прериях, когда Флип была грудным ребенком, а брат убежал из дому в возрасте двенадцати лет. Флип не сомневалась, что они когда-нибудь встретятся, ждала, что он случайно забредет в каньон.

— Так вот почему ты так хлопочешь о бродягах,— сказал Ланс.— Думаешь наткнуться на него?

— Что ж,— серьезно ответила Флип,— и поэтому и не только поэтому; кто-то из них может потом встретить брата и отплатить ему добром.

— Я, например? — полюбопытствовал Ланс.

— Да, и вы. Вы ведь помогли бы ему, правда?

— Разумеется!— воскликнул Ланс с такой горячностью, что сам испугался своего порыва.— Ты только не связывайся с разным сбродом.

И уже с досадой понимая, что ревнует, он спросил девушку, возвращались ли когда-нибудь ее подопечные.

— Никогда,— ответила Флип.— Стало быть,— простодушно добавила она,— моя помощь пошла им на пользу и я им больше не понадобилась. Верно?

— Да,— угрюмо согласился Ланс.— А есть у тебя такие друзья, что тебя навещают?

— Только почтмейстер из Брода.

— Почтмейстер?

— Ага, он надумал на мне жениться, если я стану взрослой к тому году.

— А сама ты что надумала? — без улыбки спросил Ланс.

В ответ на это Флип несколько раз кокетливо пожала плечами, потом забежала вперед, схватила горсть мелких камешков и швырнула их в сторону леса, после чего, обернувшись, наградила Ланса самым пленительным и дразнящим взглядом веснушчатых влажных глаз, какой только можно себе представить.

— Что-нибудь да надумала.

Тем временем они дошли до того места, где им надо было расставаться.

— Вот смотрите-ка,— сказала Флип, указывая на чуть заметную тропку, которая, отвлекаясь от дорожки, казалось, без следа исчезала в кустарнике всего через

какую-нибудь дюжину ярдов от своего начала,— по ней вы и пойдете. Там, дальше, она станет позаметней и пошире, но на первых порах вам надо смотреть в оба и приглядеться к ней как следует, пока не спустится туман. Прощайте.

— Прощай.

Ланс взял ее за руку и притянул к себе. От нее все еще веяло запахами чащи, и разгоряченному воображению молодого человека в тот миг представилось, что она воплощает собой пьянящий аромат ее родных лесов. Полушутя-полусерьезно он попытался поцеловать ее. Сперва она отчаянно сопротивлялась, но в самый последний момент уступила и даже чуть заметно ответила ему. Ланс весь затрепетал, почувствовав еле ощутимый жар ее поцелуя. Не помня себя, он провожал глазами ее гибкую фигурку, исчезающую в пестрой мгле леса, потом решительно повернулся и зашагал по тропинке к видневшемуся вдалеке хребту. Острым взглядом схватывая на ходу ее еле заметные вежи, он двигался без промедлений и вскоре был уже далеко.

Что до Флип, то она не спешила. Скрывшись в лесу, она пробралась к нависавшему над каньоном краю террасы и оттуда следила за Лансом, который то исчезал, то снова появлялся из темных впадин неровного склона. Вот он достиг гребня, и в ту же минуту туман перевалил через вершину, окутал его и скрыл от ее взгляда. Флип вздохнула, встала и старательно подтянула чулки, поставив на пенек сперва одну, потом другую ногу. Потом одернула юбку, попытавшись восстановить близость, существовавшую прежде между подолом юбки и верхним краем чулок, снова вздохнула и пошла домой.

### ГЛАВА III

Полгода морские туманы изю дня в день навывались на монтерейское побережье, полгода белые полчища их шли каждодневно на приступ, всякий раз переваливая через гребень горы, но поутру с такой же неизменностью отступали под ударами нацеленных на них, словно копья, лучей восходящего солнца. Полгода белая пелена, укрывшая в своих складках Ланса Гаррио-

та, возвращалась без него, ибо нашему симпатичному изгнаннику больше не нужно было прятаться и скрываться. Стремительная волна преследования откатилась, забросив его на вершину, и уже на следующий день опала и расплескалась. Не прошло и недели, как следственный суд установил, что имело место не умышленное убийство, а всего лишь что-то вроде дуэли между двумя вооруженными и в равной степени беспутными людьми.

Найдя надежное пристанище в одном из небольших прибрежных городков, Ланс опротестовал решение первого суда присяжных, вынесенное без всякого следствия. и добился, чтобы разбор его дела был перенесен в другой округ. Судья, заседавший в непосредственном соседстве с безмятежными водами Тихого океана, счел решение самочинного и удаленного от побережья суда поспешным и опрометчивым. Ланса выпустили на поруки.

Почтмейстер Рыбачьего Брода, только что получивший почту из Сан-Франциско, теперь внимательно ее разглядывал. Она состояла из пяти писем и двух посылок, из которых три письма и две посылки были адресованы Флип. Это поразительное обстоятельство, имевшее место уже не в первый раз за последние полгода, в должной мере возбуждало любопытство обитателей Брода. Но так как за письмами и за посылками Флип никогда не заходила лично, а присылала кого-нибудь из тех нецивилизованных существ, которые служили ей в качестве лазутчиков и пажей, и так как сама она редко показывалась в Броде и на дороге, их любопытство так и не было удовлетворено. А к разочарованию, овладевшему почтмейстером, человеком весьма пожилым, примешивались и сердечные муки. Он посмотрел на письма и посылки, потом на часы; было еще рано — к полудню он вернется. Он снова поглядел на адреса. Да, они написаны той же рукой, что и предыдущие. Решено: эту почту доставит он. Чувствительная, поэтическая сторона его миссии была деликатно обозначена посредством бледного-голубого галстука, чистой рубашки, мешочка с имбирными пряниками, которые Флип обожала сверх меры.

На ферму Фэрли добирались по большой дороге, но там, где она проходила под чащей «Джин с имбирем», благоразумный всадник предпочитал спешиться и, оста-

вив там лошадь, отправлялся пешком по тропинке. Именно там почтмейстер вдруг заметил на опушке какую-то изящно одетую женщину; она шла медленно, спокойно и непринужденно, чуть придерживая юбки затянутой в перчатку рукой и лениво помахивая хлыстиком для верховой езды, который держала в другой. «Уж не приехала ли сюда на пикник какая-нибудь компания из Монтерея или Санта-Крус?» — подумал почтмейстер. Во всяком случае, зрелище было столь необычным, что он не удержался от соблазна и направился к незнакомке. Внезапно она углубилась в лес и исчезла из вида. Однако, памятуя, что ему надо повидаться с Флип, да к тому еще начиная выбиваться из сил на крутом склоне, почтмейстер счел за благо пойти своей дорогой. Солнце стояло уже почти в зените, когда он свернул в каньон и завидел вдали кровлю из сосновой коры. И почти в ту же секунду навстречу ему вынырнула Флип, вся раскрасневшаяся и запыхавшаяся.

— Это вы принесли мне, — сказала она, указывая на мешок с письмами и посылками.

Ошеломленный почтмейстер машинально отдал ей свою ношу, но точас спохватился и пожалел о своем промахе.

— Они оплачены, — заметив его колебания, добавила Флип.

— Так-то оно так, — пролепетал чиновник, сообразив, что лишился последней возможности познакомиться с содержимым посылок. — Но я подумал, раз это ценные посылки, то вы, может, захотите проверить, все ли на месте, пока не дали мне расписку.

— Обойдется, — холодно ответила Флип. — А если там чего не хватит, я дам вам знать.

Девушка явно собиралась удалиться вместе с вещами, и почтмейстер поспешил переменить тему.

— Мы уж бог знает сколько времени лишены удовольствия видеть вас у себя в Броде, — начал он с шуточной галантностью. — Кое-кто бслтает, что вы водите компанию с таким малым, как Биджа Браун, и мните себя слишком важной персоной для Брода.

Биджа Браун был местный мясник, который раз в неделю, проезжая по дороге, неизменно делал порядочный и совершенно бесполезный крюк, дабы заглянуть



в каньон и справиться, не будет ли «заказов», что истолковывалось как проявление неразделенной страсти к молодой хозяйке фермы.

Флип высокомерно прсмолчала.

— Потом я подумал, не обзавелись ли вы новыми друзьями,— продолжал он.— Сдается мне, что на вершине разбили сейчас лагерь какие-то горожане. Я просто встречал здесь девушку, такую модницу и щеголиху, что чудо. Бездна элегантности, оборочки там всякие и бантики. Право же, совсем в моем вкусе. Я просто таю, когда вижу таких девушек,— добавил почтмейстер, после чего, не сомневаясь, что возбудил ревность Флип, окинул взглядом ее изношенное холщовое платье и вдруг встретил устремленный на него пристальный взгляд.

— Странно, что я ее еще не видела,— невозмутимо заметила она и взвалила на плечи мешок, не проявляя ни малейшего желания поблагодарить почтмейстера за его не предусмотренную службой любезность.

— Но вы еще можете встретить ее на опушке леса «Джин с имбирем»,— жалобно произнес он, хватаясь за последнюю надежду задержать Флип,— если прогуляетесь туда вместе со мной.

На это Флип, не говоря ни слова, направилась к хижине, а почтмейстер смиренно последовал за ней, что-то бормоча о своем горячем желании «заглянуть на минутку, чтобы перекинуться словечком со стариком».

Убедившись, что новый спутник дочери не нуждается в какой-либо денежной или материальной помощи, чадолюбивый Фэрли настолько смягчился, что вступил с почтмейстером в доверительную и ворчливую беседу, а Флип, воспользовавшись этим обстоятельством, тихонько улизнула. Как большинство бесхарактерных людей, Фэрли обладал скверной привычкой незаметно для себя преувеличивать во время разговора всякие мелкие обстоятельства, благодаря чему почтмейстер вскоре уверился, что мясник рьяно и неотступно домогается благосклонности Флип. Причем чиновнику даже не пришло в голову, что нелепо отправлять по почте письма и посылки, если их можно просто привезти с собой. Наоборот, это показалось ему самым изощренным проявлением коварства. Терзаемый ревностью и равнодушием Флип, он «счел

своим долгом» (трусливая мстительность любит прикрываться столь благовидными предложениями) выдать девушку.

Но Флип ни о чем подобном не подозревала. Выскочив из хижины, она кинулась в лес; мешок по-прежнему болтался у нее за спиной, как ранец. Вскоре она сошла с тропинки и с безошибочным чутьем животного двинулась напрямик сквозь кусты; она то ловко карабкалась на недоступные кручи, то, перепархивая подобно птице с ветки на ветку, спускалась с головокружительной высоты. Вот она выбралась на тропинку, там, где впечатлительный почтмейстер увидел очаровательную незнакомку. Убедившись, что за ней никто не следит, девушка принялась пробираться сквозь чащу к бочажку, который послужил в свое время ванной Лансу.

Судя по некоторым признакам, уголок этот бывал нередко посещаем и впоследствии, а когда Флип, осторожно сдвинув в сторону куски коры и хворост, принялась вытаскивать из трещины в скале аккуратно сложенные наряды, то всякий без труда догадался бы, что она превратила берег бочажка в свой лесной будуар. Флип открыла посылку; там оказалась небольшая изящная накладка из желтого китайского крепа. В мгновение ока Флип набросила ее на плечи и поспешила к зарослям. Там она принялась разгуливать перед одним из деревьев. На первый взгляд дерево не отличалось от других, но, всмотревшись повнимательней, можно было заметить, что в развилку между ветвями вставлен большой кусок самого обыкновенного оконного стекла. Стекло было поставлено под таким хитроумным углом по отношению к темной чаще, что превращалось в смутное, призрачное зеркало, и в нем отражалась не только фигура разгуливающей перед ним девушки, но и сверкающий великолепием золотисто-зеленый склон и дальние очертания Береговых Хребтов.

Прогулка перед деревом, несомненно, была лишь прелюдией к более серьезному смотру. Вернувшись к бочажку, девушка извлекла из тайника большой кусок желтого мыла и несколько ярдов грубой бумажной материи. Положив то и другое на краю овражка, она еще раз потихонечку пробралась на опушку, чтобы убедиться, что она здесь одна. Уверившись, что никто не нарушил уеди-

ненности ее приюта, девушка вернулась к бочажку и стала раздеваться. За ней последовал легкий ветерок и стал что-то нашептывать окружающим деревьям. Казалось, ее сестры, нимфы и наяды, разбуженные ветерком, сплели шелестящие пальцы и повели вокруг нее неспешный тихий хоровод трепещущих солнечных бликов и теней, искрящихся брызг, затейливого переплетения веток, который целомудренно прикрыл ее, спасая от дерзких взглядов какого-нибудь лесного божества или забредшего в чащу пастуха. А в святилище слышался серебристый смех и плеск воды да временами мелькала гибкая рука или нога, и солнечный луч на миг озарял ослепительно белое плечо или строгую юную грудь.

Когда девушка вновь раздвинула листву и вышла на поляну, она была неузнаваема. Флип превратилась в ту самую незнакомку, которая повстречалась почтмейстеру, — стройную, гибкую, грациозную молодую женщину в элегантном наряде. Это была все та же Флип, но длинная юбка и облегающее модное платье сделали ее выше. Она осталась такой же веснушчатой, но желтый цвет ее туалета так удачно подчеркивал пикантность усыпанного коричневыми точечками лица и глаз, сообщал им такую яркость и глубину, что она казалась зримым воплощением пряного лесного аромата. Не берусь утверждать, что суждения неведомой нам портнихи были безупречны и что ее заказчик, мистер Ланс Гарриот, обладал утонченным вкусом, достаточно и того, что результат их трудов был живописен и едва ли более сумбурен и ярк, чем тот убор, в который сама Весна нарядила в свое время увядший ныне склон, где сидела Флип. Призрачное зеркало на верхушке дерева поймало и удержало ее облик, а с ним небо, зеленую листву, солнечный свет и всю прелесть горного склона; ветер ласково играл ее волосами и яркими лентами цыганской шляпки. Вдруг она вздрогнула и затаила дыхание. С тропинки, пролежавшей далеко внизу, донесся какой-то неясный звук, который ни за что не различил бы менее чуткий слух. Девушка быстро вскочила и скрылась в лесу.

Прошло десять минут. Солнце клонилось к западу; белый туман уже переползал через гребень горы. На лесной опушке появилась Золушка в своем старом холщовом

платье. Часы пробили — чары развеялись. Когда девушка скрылась за поворотом тропинки, ветер сбросил с дерева даже волшебное зеркало, и оно стало простым куском стекла.

#### ГЛАВА IV

События дня наложили удивительный отпечаток на физиономию угольщика Фэрли. Усиленное напряжение мысли побуждало его то и дело потирать лоб, в результате чего над бровями у него появилось светлое и совершенно круглое пятно, а окружающая темная кайма соответственно еще сильнее сгустилась. И это чело встретило Флип укоризной обманутого товарища, грозным гневом возмущенного родителя, и все это в присутствии постороннего — почтмейстера!

— Нечего сказать, хорошенькое дело — получать тайком всякие посылки да письма, — начал старик.

Флип метнула испепеляющий взгляд на почтмейстера, отчего тот сразу обмяк, и съежился, и, промямлив, что ему, «пожалуй, пора», поднялся с места. Но тут старик, который рассчитывал на его моральную поддержку да к тому же начинал злиться на подстрекателя за то, что тот втянул его в ссору с дочерью, которой он боялся, решительно запротестовал.

— А ну-ка сядьте! Вы что, не понимаете, что вы свидетель? — истерически взвизгнул он.

Эта фраза его погубила.

— Свидетель? — высокомерно повторила Флип.

— Да, свидетель. Он отдавал тебе письма и свертки.

— А кому они были присланы? — спросила Флип.

— Вам, — неохотно выдал из себя почтмейстер, — вам, кому же еще?

— Может, ты считаешь, что они твои? — произнесла она, поворачиваясь к отцу.

— Нет, — откликнулся тот.

— Или ваши? — резко бросила она почтмейстеру.

— Нет, — ответил почтмейстер.

— Ну, что ж, — холодно сказала Флип, — коли они не ваши, а отец вон тоже говорит, что они не его, стало быть, и разговаривать больше не о чем.

— Да, пожалуй, что и так, — согласился старик, беззастенчиво предавая своего союзника.

— Почему же, если все так просто, она не скажет нам, кто присылает их и что в них есть? — спросил почтмейстер.

— Верно, верно, — подхватил отец, — почему ты не скажешь нам, Флип?

Не отвечая на вопрос прямо, Флип неожиданно накинулась на старика:

— Ты, видно, забыл уже, какой ты поднимал шум да крик, когда на ферму приходили всякие бездомные бродяги и я им помогала, чем могла. Так, может, хватит уж плясать вот под его дудку и разыгрывать из себя дурака только потому, что кто-то взял да и прислал нам в благодарность подарки.

— Да разве это я, Флип? — жалобно сказал старик, бросая в то же время яростный взгляд на изумленного почтмейстера. — Я ни при чем. Я всегда говорил: мол, как аукнется, так и откликнется. Беда только, что наши власти больно много себе позволяют. Некоторым чиновникам надо бы стать поскромней перед выборами.

— А не лучше ли, — продолжала Флип, обращаясь к отцу и даже не глядя в сторону поверженного посетителя, — а не лучше ли тебе разузнать, зачем повадился один такой чиновник на нашу ферму? Уж не зарится ли он на какую девушку вроде меня, или не хочет ли разнюхать насчет алмазов? Навряд ли он разъезжает по всей округе да узнает, кто пишет все те письма, что приходят в почтовую контору.

Почтмейстер, очевидно, не принял в расчет ни неустойчивый характер старика, ни ту ловкость, с которой дочь умела пользоваться отцовской слабостью. Он никак не ожидал, что Флип так смело и дерзко перейдет в наступление, и сейчас, увидев, что оба ее выстрела достигли цели и старый угольщик поднимается, трясаясь от гнева, почтмейстер, не раздумывая, кинулся бежать. Старик с бранью последовал было за ним, но его удержала Флип.

Как ни жестока была судьба к изгнанному поклоннику, напоследок она ему все же улыбнулась. Возле леса «Джин с имбирем» почтмейстер подобрал письмо, которое выпало из кармана Флип. Он узнал почерк и без

малейших угрызений совести погрузился в чтение. Письмо не было похоже на любовное послание — во всяком случае, сам он такого не написал бы; ни адреса, ни имени отправителя там тоже не оказалось. И все-таки он с жадностью читал:

«Пожалуй, тебе и в самом деле не стоит наряжаться ради бездельников в Броде и бродяг, которые шатаются около вашей фермы. Вот подожди, я скоро приеду, и ты покажешься мне во всей красе. Я пока не называю срока, перед началом дождей трудно сказать наверняка. Знаю только, что теперь уже недолго. Не забывай, что ты мне обещала, и держись подальше от разного сброда. И не будь такой щедрой. Я и в самом деле послал тебе две шляпы. Просто начисто забыл о первой, но это вовсе не резон, чтобы дарить десятидолларовую шляпку негритянке, у которой заболел грудной младенец. Он и без шляпы обошелся бы. Забыл спросить, носят ли юбку отдельно, нужно будет поскорей узнать у портнихи, но мне кажется, что, кроме юбки и жакета, надо надевать что-то еще; во всяком случае, тут так носят. Не представляю, как бы ты ухитрилась утаить от старика фортепьяно, он, конечно, узнает и поднимет бучу. Я уже обещал тебе, что буду с ним помягче. Не забывай и ты своих обещаний. Рад, что ты делаешь успехи в стрельбе. Жестянки — отличная мишень для расстояния в пятнадцать футов, но ты должна тренироваться и по движущейся цели. Да, забыл тебе сказать, что я напал на след твоего старшего брата. След трехлетней давности, твой братец жил тогда в Аризоне. Приятель, который рассказывал мне о нем, не очень-то распространяется о том, что он в ту пору делал, но мне кажется, они не скучали. Если он только жив, я разыщу его, можешь быть спокойна. Микромерия и полынь прибыли в полной сохранности — они пахнут тобой. Послушай, Флип, помнишь ли ты, что было в самом-самом конце, когда мы попрощались на тропинке? Но если я когда-нибудь узнаю, что ты позволила еще кому-то поцеловать...»

Тут праведное негодование почтмейстера прорвалось, наконец, наружу, и он отшвырнул письмо с яростным ругательством. Из всего прочитанного он понял лишь

две вещи: что у Флип был когда-то брат, который куда-то исчез, и что у нее есть возлюбленный, который вот-вот явится сюда.

Трудно сказать, насколько подробно Флип познакомил отца с содержанием этого и всех предыдущих писем. Если она о чем и умолчала, то, вероятно, только о таких вещах, которые имели отношение к тайне самого Ланса, а о них она едва ли много знала. Во всем, что касалось ее собственных дел, девушка была сдержанна, но откровенна, хотя и неизменно сохраняла свойственное ей застенчивое упорство. Несмотря на свою безраздельную власть над стариком, она верховодила им с весьма смущенным видом, добивалась своего, не поднимая ни глаз, ни голоса, и, одерживая самые блестящие победы, казалось, была подавлена стыдом. Она могла прекратить любой спор, стоило только ей забормотать что-то себе под нос или попросту застенчиво махнуть рукой.

Когда Фэрли узнал о странных отношениях между его дочерью и каким-то неизвестным человеком, о том, что они обмениваются подарками, посвящают друг друга в свои тайны, его стало тревожить смутное подозрение, что он плохо исполнял свой родительский долг. И, как всякое безвольное существо, он начал с того, что проникся неприязнью к причине своих мучений. Он произносил длинные сварливые монологи о том, что алмазы не изготовить, если разные нахалы суют нос в это деликатное дело; клеймил неискренность и скрытность, подрывающие основы изготовления угля; поминал согладатаев и «змиев», пригретых в семейном кругу, и обличал бунтарскую сущность тайных совещаний, на которых обходятся без седовласого отца. И хотя слова или взгляда Флип обычно бывало достаточно, чтобы тут же оборвать его филиппики, они звучали все же достаточно грозно. Со временем они сменились притворным самоуничижением и покаянными речами. «Что это тебе вдруг вздумалось спрашивать старика?—говаривал он, когда они обсуждали, сколько заказать грудинки.—У молодой девицы должны, конечно, быть свои советчики». Убыль муки в бочонке тоже служила поводом, чтобы надеть личину смирения: «Если ты еще ни с кем не списалась насчет муки, так, может, хоть узнаешь у какого-нибудь бродяги, что он

думает о муке из Санта-Круса, только, ради бога, не спрашивай старика». Стоило Флип вступить в разговор с мясником, как старый Фэрли демонстративно удалялся, выражая надежду, что он не посягнул на их секреты.

Все это случалось не так уж часто, чтобы встревожить Флип, но она замечала и другое: подобные вспышки сопровождались у отца несвойственной ему серьезностью. Он с настороженным вниманием следил за дочерью: то возвращался раньше времени с работы, то медлил уходить по утрам. То вдруг, охваченный каким-то лихорадочным волнением, которое он неумело пытался замаскировать небрежным тоном добряка папаши, дарил ей бесполезные, нелепые подарки — меховую шапку в сентябре или ботинки на два размера больше, чем нужно. «Гляди-ка, что я нынче подцепил для тебя в Броде», — шутиливо бросал он и отступал в сторону, чтобы полюбоваться произведенным эффектом. Он чуть было не взял для нее напрокат дешевую фисгармонию, когда вдруг с удивлением обнаружил, что Флип не умеет играть.

Весть о том, что отыскался след его давным-давно исчезнувшего сына, оставила его равнодушным, но спустя некоторое время старик, казалось, стал относиться к этой новости, как к чему-то само собой разумеющемуся и давно желанному — вот тогда уже ему не придется заботиться о выборе компании для Флип. «Коли будет рядом с тобой твоя плоть и кровь, так ты уж само собой не станешь болтаться с чужаками». Боюсь, что этот расцвет родительских чувств наступил слишком поздно для того, чтобы произвести впечатление на Флип, которая всю жизнь росла заброшенной и повзрослела раньше времени, так как отец не желал о ней заботиться. Но девушка была незлобива, и теперь, видя его искренность, стала больше бывать с ним, и даже навещала его в священном уединении «алмазной ямы», где с отсутствующим видом слушала, как он неистово поносит все находящееся за пределами его закопченной лаборатории. Это несвойственное прежде девушке терпеливое равнодушие было не единственной переменной в ее характере; Флип не развлекалась больше переодеваниями, она спрятала самые драгоценные из своих наря-



дов, и лесной будуар пустовал. Иногда она прогуливалась по склону, чаще всего по той тропинке, по которой она привела Ланса на ферму. Раза два девушка навещала то место, где они расстались, и каждый раз возвращалась притихшая, потупив взгляд, с горящими щеками. Должно быть, эти прогулки и пробуждающаяся женственность оставили какой-то след в ее глазах, след, заставивший еще сильнее запылать сердца двух ее поклонников, почтмейстера и мясника. Так, сама того не зная, Флип стала знаменитой.

Наслушавшись необыкновенных рассказов о ее чарах, в каньон стали забредать посторонние. Нетрудно догадаться, как отнесся к этому старый Фэрли. Ланс и мечтать не мог о лучшем страже. И те, кто прослышал о спрятанной в горах жемчужине, с изумлением обнаружили, что она ревностно охраняется.

## ГЛАВА V

Долгое жаркое лето было на исходе. Ветер подхватывал его пыльные останки и рассыпал их по тропам и по дороге. Они ломались сухими травами на склонах и лугах. Уносились — днем в клубах дыма, ночью в пламени лесных пожаров. С каждым днем редели полчища туманов, осаждающих Береговые Хребты, и в конце концов растаяли без следа. Северо-западный ветер сменился юго-западным. Соленое дыхание моря долетало до самой вершины. И вот однажды безмятежное, неизменное небо тронула легкая тень облачков, и оно стало тревожным. Следующее утро узрело измененный лик небес, иные леса, совсем другие очертания — гребни гор исчезли, сместились расстояния. Шел дождь!

Так продолжалось четыре недели, и лишь изредка прорывался на землю солнечный луч или проглядывал в небе ярко-голубой островок. А потом разразилась буря. Сосны и секвойи на вершине горы весь день качались под свирепыми порывами ветра. По временам неистовые наскоки бури, казалось, отметали в сторону завесу ливня, который потоками обрушивался на склон. Безвестные, невидимые глазу ручейки внезапно затопили тропинки, пруды стали озерами, ручьи — реками. Вода с ревом ринулась и в те укромные лесистые лож-

бины, куда не проникал шум бури; даже жалкая струйка, пересекавшая знакомый нам уголок в чаще «Джин с имбирем», превратилась в настоящий водопад.

Буря рано прогнала Фэрли с его поста. Когда же он увидел, как поперек тропинки рухнуло большое дерево, а протекавший рядом скудный ручеек внезапно вышел из берегов, он еще больше ускорил шаги. И все же старый Фэрли не избежал еще одной и даже горшей неприятности — он встретил человека. По грязной накидке, которая развевалась и трепыхалась на ветру, по длинным нечесаным волосам, закрывавшим лицо и глаза, по дико нахлобученному капору он догадался, что перед ним одна из постоянных нарушительниц его границ — какая-то индианка.

— Пошла прочь! Чтоб твоего духу здесь не было, слышишь? — заверещал старик, но тут внезапный порыв ветра заткнул ему рот и отшвырнул старого Фэрли на ореховый куст.

— Моя много-много хворый, — объяснила скво, дрожа и кутаясь в грязную шаль.

— Ты у меня не так еще захвораешь, коли будешь вертеться возле фермы, — продолжал Фэрли, наступая на нее.

— Моя надо к бледнолицый девушка. Бледнолицый девушка даст моя много-много харчей, — ответила скво, не двигаясь с места.

— Это уж верно, — со вздохом подумал старик. И тут же у него мелькнула новая мысль. — А ты не несешь ли ей каких подарков? — вкрадчиво спросил он. — Каких-нибудь хороших вещей для бедной бледнолицей девушки? — выпытывал он.

— Моя нашел в лесу много-много запас орехов и ягод, — ответила скво.

— Само собой, само собой, а как же! — взвизгнул Фэрли. — Нашла запас всего в двух милях отсюда, а за то, чтобы принести, сдерешь полдоллара наличными.

— Моя покажет, где лежит запас бледнолицый девушка, — ответила индианка, указывая рукой в сторону леса. — Честный слово.

Тут мистеру Фэрли пришла в голову еще одна блестящая мысль. Но прежде надо было кое-что обдумать. Под проливным дождем Фэрли и скво поспешно зашага-

ли к ферме и вскоре добрались до скотного двора. Тщетно дрожащая аборигенка, прижимая к своей плоской квадратной груди туго спеленатого младенца, бросала тоскливые взгляды на хижину; старик оттеснил ее к забору. Осторожно подбирая слова, он сообщил ей о своем коварном плане — нанять ее, дабы она присматривала за фермой и в особенности за молодой хозяйкой, «чтоб ни один бродяга, кроме тебя самой, сюда и носу не показывал, и тогда будут тебе и харчи и ром». Многократно и веско повторяя на разные лады свое предложение, он под конец, по-видимому, добился успеха — скво возбужденно закивала и повторила последнее слово: «ром». «Сейчас», — добавила она. Старик замялся, но индианка уже была посвящена в его тайну. С тяжким вздохом он пообещал ей выдать часть горячительного вперед и повел ее к хижине.

Спасаясь от натиска бури, Флип так старательно заперла дверь, что ей не сразу удалось отодвинуть засов, и старик вышел из себя и начал браниться. Не успела девушка приоткрыть дверь, как он поспешно проскользнул в дом, таща за собой скво и окидывая подозрительным взглядом убогую комнату, служившую им гостиной. Флип, очевидно, только что писала; на дощатом столе все еще стояла маленькая чернильница, хотя бумагу девушка успела спрятать. Скво сразу же села на корточки возле очага, сложенного из необожженного кирпича, протянула к огню своего младенца и предоставила своему спутнику самому отрекомендовать ее молодой хозяйке. Флип с рассеянным, холодным безразличием разглядывала индианку. Единственное, что привлекло ее внимание, была замызганная юбка и мятый шейный платок старой скво. Когда-то обе эти вещи принадлежали ей самой, но Флип давно уже перестала их носить и бросила в чаше.

— Снова секреты, — захныкал старый Фэрли, который украдкой продолжал наблюдать за дочкой. — Снова секреты, само собой, само собой, а как же! От старика отца секреты завелись. Родная плоть и кровь, а замышляет темные дела. Ну, что ж, валяй, валяй. Я тебе не помеха.

Флип промолчала. Она даже утратила интерес и к своему старому платью. Возможно, что оно заинтересова-

ло ее только потому, что пробудило какое-то воспоминание.

— Жаль тебе, что ли, для бедняжки каплю виски? — раздраженно осведомился отец. — Прежде ты была порасторопней.

Покуда Флип доставала из угла большую плетеную бутыл, Фэрли воспользовался случаем и, лягнув скво ногой, нелепыми гримасами и жестами принялся втолковывать ей, что при Флип не следует упоминать о сделке. Флип налила виски в жестяную кружку и протянула ее скво.

— Не худо было бы, — снова заговорил Фэрли, обращаясь к дочери, но глядя на скво, — если бы эта скво обходила как дозором весь наш лесной участок да приглядывала за моей новой ямой, что подле земляничных деревьев, а ты будешь давать ей вдоволь харчей и спиртного. Да ты слушаешь ли, Флип? Или у тебя опять секреты на уме? Что с тобой творится?

Если его дочь о чем-то замечталась, то это были светлые мечты. В ее чарующих глазах зажегся странный огонек, казалось, они вспыхнули, как вспыхивают внезапным румянцем щеки. О возбуждении, охватившем девушку, можно было догадаться скорее по округлившемуся очертанию щек, чем по цвету лица, — он не стал ярче, и только веснушки засверкали, как крохотные блески. Флип потупила глаза и немного ссутулилась, зато голос ее остался прежним — тихим, ясным, задумчивым голосом.

— Большая сосна возле алмазной ямы свалилась поперек ручья и загородила его наглухо. Вода так быстро поднимается, что, верно, уже залила твой огонь.

Старик охнул и вскочил.

— Так какого же дьявола ты молчала до сих пор? — пронзительно взвизгнул он, хватая топор и устремляясь к выходу.

— Ты же не давал мне рта открыть, — сказала Флип и впервые за все время подняла глаза.

Яростно выругавшись, Фэрли прошмыгнул мимо дочери и бросился в лес. Не успел он выйти, как Флип притворила дверь и заперла ее на засов. В то же мгновение скво вскочила на ноги, сбросила свою длинную гриву не только с глаз, но и вообще с головы, отшвырну-

ла в сторону шаль и одеяло, и Флип увидела прямые плечи Ланса Гарриота! Девушка стояла, прислонившись к дверям, и не двигалась; но, поднимаясь на ноги, молодой человек уронил запеленатого младенца, который скатился с его колен прямо в огонь. Флип вскрикнула и бросилась к очагу, но Ланс перехватил ее, одной рукой обняв за талию, а другой выхватил из пламени узел.

— Не тревожься,— сказал он беспечно,— это всего лишь...

— Что? — спросила Флип, стараясь вырваться.

— Мой сюртук и брюки.

Флип засмеялась, и Ланс настолько осмелел, что попытался поцеловать ее. Девушка уклонилась, зарывшись лицом ему в жилет, и напонила:

— А отец?

— Он ведь пошел оттаскивать какое-то дерево,— возразил Ланс.

Флип ответила ему красноречивым молчанием.

— А-а, понятно,— рассмеялся он.— Ты все придумала, чтобы от него отделаться. О, что это ты? — воскликнул он, когда девушка высвободилась из его объятий.

— Почему ты пришел в таком виде? — спросила сна, указывая на парик и одеяло.

— Чтоб посмотреть, узнаешь ли ты меня,— ответил он.

— Нет.—Флип потупила глаза.—Чтобы тебя не узнали все остальные. Ты снова прячешься.

— Да, прячусь,— сказал Ланс. И, не давая ей заговорить, добавил:— Но это все та же старая история.

— Ты ведь писал мне из Монтерея, что с этим все кончено? — допытывалась Флип.

— Так бы оно и было,— ответил он угрюмо,— да вот какой-то пес из ваших мест никак не уймется и принохивается к старому следу. Но я узнаю, кто это, и тогда...—Он вдруг остановился, и в его застывшем взгляде сверкнула такая самозабвенная ненависть, что девушка почувствовала страх. Безотчетно она положила руку ему на плечо. Он схватил ее в свои, и выражение его лица переменилось.

— Я так соскучился, что не мог больше ждать, и приехал, несмотря ни на что,— продолжал он.— Спер-

ва я думал, что буду шататься здесь, пока не улучу слу-  
чая поговорить с тобой, но вдруг наткнулся на старика.  
Он меня не узнал и сам же сыграл мне на руку. Пред-  
ставь себе, хочет нанять меня за выпивку и харчи, что-  
бы я караулил тебя и ферму.— И он со смаком пере-  
сказал ей содержание их беседы.— Раз уж на него на-  
пала такая подозрительность,— добавил он,— так мне,  
пожалуй, стоит и впредь разыгрывать комедию. Обидно  
только, что вместо того, чтобы сидеть у огонька и любо-  
ваться на свою Флип в модном платье, мне придется  
шнырять в мокрых кустах, облачившись вот в эти твои  
обноски, которые я подобрал в лесу на нашем месте.

— Так, значит, ты приехал, только чтобы увидеть  
меня? — спросила Флип.

— Да.

— Только за этим?

— Да.

Флип потупилась. Ланс хотел обнять ее обеими ру-  
ками, но маленькая ручка девушки упорно отстраняла  
его.

— Слушай же,— сказала она наконец, так и не под-  
нимая глаз, а обращаясь, по всей видимости, к этой дерз-  
кой руке,— когда придет отец, я устрою так, что он  
пошлет тебя к алмазной яме. Это совсем близко; там  
тепло и...

— Что?

— Я вскоре к тебе забегу. А пока довольно. Ах, ну  
зачем ты не пришел в своем виде... как... словом, как  
белый?

— Но ведь тогда,— перебил ее Ланс,— старик без  
разговоров отправил бы меня на вершину. В эту пору уж  
не разыграешь заблудившегося рыболова.

— Ты же мог застрять в Броде из-за разлива, глуп-  
ный,— сказала девушка.— Как она.— При всей туман-  
ности последней фразы Ланс догадался, что речь шла  
о почтовой карете.

— Да, но тогда меня смогли бы выследить. И вот  
что, Флип.— Он вдруг выпрямился и приподнял голову  
девушки так, что ее лицо было прямо перед его глаза-  
ми.— Я больше не хочу, чтобы ты лгала из-за меня. Это  
нехорошо.

— Ну что ж. Не ходи к яме, и я к тебе не приду.

— Флип!

— А вот и отец вернулся. Ну, скорее!

Последнюю просьбу Ланс предпочел истолковать по-своему. Маленькая ручка девушки, уже не сопротивляясь, покорно лежала на его плече. Он приблизил к себе сияющее смуглое лицо Флип, ощутил ее душистое дыхание на своих губах, щеках, горячих веках и повлажневших глазах, поцеловал ее, торопливо набросил на себя парик и одеяло и быстро сел у очага, рассмеявшись звонящим смехом юности и первой, чистой страсти. Флип отошла к окну и глядела, как ветер раскачивает сосны.

— Что-то его не слышно,— с робким смешком заметил Ланс.

— Да,— смиренно подтвердила Флип, прижимаясь к влажному стеклу пылающей щекой.— Я, наверное, ошиблась.— Она глядела не на Ланса, а в другую сторону, но стоило ему пошевелиться, как она вздрогнула и вся устремилась к нему, как игла компаса к северу.— А ты и в самом деле,— добавила она,— ты в самом деле хочешь, чтобы я к тебе пришла?

— В самом ли деле, Флип?

— Постой!— остановила его девушка, видя, что Ланс, не ограничиваясь этим укоризненным и изумленным восклицанием, уже готов для большей убедительности броситься к ней и снова заключить ее в объятия.— Постой! Сейчас он, кажется, и вправду идет.

И в самом деле в комнату ввалился Фэрли, на редкость мокрый, на редкость грязный, с на редкость чистым лицом и ругаясь, как никогда раньше. Оказалось, что дерево действительно свалилось поперек ручья, но вода не только не залила яму, а, наоборот, отхлынула прочь, так что возле алмазной ямы даже образовался новый сток. И это мог бы заметить любой человек, чей разум не помрачен перепиской с незнакомыми людьми и не ослаблен постоянно выказываемым пренебрежением к умственным способностям собственного родителя. И, разумеется, подобный безрассудный эгоизм мог привести только к тому, что родителю «вступило в руки и в ноги», средствами от какого недуга являются оподельдок для наружного употребления и виски для внутреннего. Закончив эту речь, мистер Фэрли с детским простодушием и редкостным проворством тут же оголил

обе свои ноги, которые оказались совершенно различного цвета, и стал безмолвно ждать, чтобы дочь их растерла. Флип машинально принялась за дело, и ее руки сами собой выполняли знакомую работу. Свиристых взглядов и яростной жестикуляции закутанного в одеяло Ланса Флип попросту не поняла, к тому же теперь ей проще было сказать отцу то, что она собиралась.

— Сегодня ночью ты ни за что не сможешь караулить возле алмазной ямы, папаша,— заметила она.— Пошли-ка туда лучше скво. А я покажу ей, что надо делать.

Но, к огорчению Флип, ее отец вдруг воспротивился.

— А если у меня есть для нее другое дело?— возразил он.— А если и у меня завелись секреты... э?— многозначительно добавил он и с видом заговорщика подтолкнул Ланса локтем, что отнюдь не уменьшило злости молодого человека. — Нет уж, пусть она покамест отдохнет. А придет время, ей найдется, что караулить.

Флип промолчала. Ланс, усмиренный одним-единственным взглядом, который украдкой бросила на него девушка, не сводил с нее восхищенных глаз. По окнам барабанил дождь, его брызги время от времени с шипением падали в огонь сквозь широкую трубу очага; и мистер Дэвид Фэрли, несколько успокоенный принятым вовнутрь виски, почувствовал новый прилив красноречия. Под ласковым воздействием спиртного дух непопосредственности и сумасбродства, обычно руководивший всеми поступками старика, взыграл в нем с новой силой.

— В такой вечер, как нынче,— заговорил он, устраиваясь поуютней на полу у очага,— ты бы могла нацепить те новые тряпки и побрякушки, что присылает тебе этот сморчок из Сакраменто, и показаться старику отцу. А если ты считаешь, что твоя собственная плоть и кровь не заслужила такого внимания, так поступи похристиански и сделай это для бедной скво.

Быть может, в тайниках его души шевельнулось тщеславное отцовское желание показать жалкой аборигенке, сколь драгоценное сокровище ей предстоит охранять. Флип бросила вопросительный взгляд на Ланса, тот незаметно кивнул, и она тут же выскользнула из комнаты. Девушка не стала уделять внимание всяким мелочам





«ФЛИП»



«В МИССИИ САН-КАРМЕЛ»

туалета, и не прошло и минуты, как она появилась на пороге уже переодетая; входя в комнату, она застегивала пуговицы у ворота, потом остановилась у окна и с целомудренной простотой подтянула чулок. Необычность ситуации усилила ее всегдашнюю застенчивость — девушка играла черными и золотыми бусинками красивого ожерелья, недавно присланного Лансом, как самый настоящий ребенок. Заметив, что на одной из туфель растегнута пряжка, скво воспользовалась случаем, чтобы выразить свою преданность и восторг, и бросилась ее застегивать, а Ланс воспользовался тем же случаем, чтобы в тени очага поцеловать украдкой маленькую ножку. После чего Флип не то всхлипнула, не то засмеялась и тут же села, невзирая на родительские увещания.

— Если ты не перестанешь хихикать и вертеться, словно ты индейский младенец, так лучше уж скинь эти тряпки,— брюзгливо распорядился отец.

Однако напускная суровость не могла скрыть его тщеславного удовольствия, а искреннее восхищение индианки было ему тем приятнее, что к этому жалкому, по его мнению, и слабоумному существу он не испытывал ни малейшей ревности. Уж она-то не могла отнять у него Флип! Разболтавшись под влиянием винных паров, он высказал свое глубокое презрение к тем, кому вздумалось бы затеять нечто подобное. Как только дочка вышла, чтобы переодеться в домашнее платье, он доверительно зашептал Лансу:

— Ты, небось, думаешь, что ей все это подарили? Флип ничего такого не болтала? Чего доброго, и сама так думает. Как бы не так! Это все образцы от разных портных и ювелиров, а присылает их один хвостун из Сакраменто, чтобы завербовать в наших краях покупателей. Само собой, мне придется за них заплатить. И тот хвостун, конечно, на это и рассчитывает. А я, само собой, не откажусь. Так нечего делать вид, что он их дарит. Теперь еще и сам сюда собрался, чтобы совсем вскружить голову девочке! Но уж старик такого не допустит.

Поглощенный вымышленными обидами, старый Фэрли, к счастью, не замечал, как сверкают под тусклыми прядями волос глаза Ланса. Но старик видел перед

собой только созданный его воображением образ и продолжал свое:

— Вот потому я и хочу, чтоб ты ее покараулила. Не спускай с нее глаз, покуда мой сынок — он собирается к нам в гости — не придет сюда, а уж он-то отводит этого галантерейщика из Сакраменто. Мне бы только перехватить его, пока Флип с ним не увиделась. Ты чего это? Ну и ну! Лопни мои глаза, если индейская карга не наклюкалась.

К счастью, тут в комнату вернулась Флип и, бросившись к очагу, между отцом и разъяренным Лансом, украдкой нашла и предостерегающе пожала его руку. Легкое прикосновение ее руки тут же отрезвило молодого человека, но умной девушке было достаточно мгновения, чтобы с внезапным ужасом осознать всю необузданность нрава ее возлюбленного. В ее душе шевельнулась жалость, а с ней пришло чувство ответственности и смутное ожидание беды. Робкий цвeток ее сердца не успел раскрыться, как на него повеяло холодом надвигающейся тени. Охваченная страхом перед какой-то неизвестной ей опасностью, девушка была в нерешимости. В любую минуту с крепко стиснутых, бледных губ Ланса могло сорваться неосторожное слово; и в то же время его внезапный уход грозил не только тем, что пробудил бы подозрение в душе отца, — гораздо больше девушку мучило предчувствие чего-то таинственного и ужасного, что подстерегало Ланса за пределами их дома. Оно чудилось ей в яростном вое ветра, налетавшего на сикоморы у их хижины; ей казалось, что она улавливает его в грохоте дождя, барабанищего по крыше и окнам, в бурном реве стремительных горных потоков, раздававшемся у самых их ног. Вдруг она кинулась к окну, прижалась лицом к стеклу и сквозь сумятицу ветвей и сучьев, которые раскачивались и метались на ветру, разглядела, что по верхней тропе, мерцая, движутся огоньки факелов. И сразу поняла: оно!

В ту же секунду она обрела хладнокровие.

— Папаша, — заговорила она своим обычным тоном, — какие-то люди с факелами идут к алмазной яме. Наверно, бродяги. Я возьму скво и схожу посмотрю.

И не успел старик подняться на ноги, как она вытащила Ланса на дорогу.

Ветер яростно обрушился на них, отшвырнул ярдов на десять от хижины, захлопнул у них за спиной дверь, и широкая полоса света, вырвавшаяся было вслед за ними, тут же исчезла, оставив их в темноте. Укрывшись за земляничным деревом, Ланс притянул к себе девушку, укутал ее одеялом и почувствовал, как она на миг прильнула к нему, дрожа, будто испуганный зверек.

— Ну,— спросил он весело,— а что теперь?

Флип взяла себя в руки.

— Раз мы вышли из дому, ты в безопасности. Но скажи, ты ждал их сегодня?

— В любое время,— пожал плечами Ланс.

— Тише! — предупредила его девушка.— Они идут сюда.

Четыре мерцающих огонька вскоре вытянулись цепочкой. Те, кто их нес, нашли тропу и теперь приближались. Флип тяжело вздохнула. Ланс крепче прижал ее к себе и снова ощутил исходивший от нее нежный и пряный аромат. Он не вспоминал ни о буре, которая бесновалась вокруг, ни о таинственном недруге, вот-вот готовом его настигнуть, пока Флип не потянула его за рукав и не сказала со смешком:

— Да ведь это Кеннеди и Биджа!

— А кто такие Кеннеди и Биджа? — угрюмо спросил Ланс.

— Кеннеди — почтмейстер, а Биджа — мясник.

— Что им понадобилось?

— Я,— застенчиво ответила Флип.

— Ты?

— Ну, конечно, давай. убежим!

Флип чуть не силой потащила его в какой-то овраг, смело и безошибочно выбирая дорогу. Не только голоса, но и завывание бури вдруг стало тише; от едкого дыма горящего сырого дерева у Ланса запершило во рту и зашипало глаза. Вот внизу что-то слабо замерцало, казалось, какой-то зловещий исполинский глаз то загорался, то гас, то тускнел, то подмигивал, когда и туда долетали порывы ветра.

— Яма,— шепнула Флип.— Идем на ту сторону, там безопасно,— добавила она и потянула его за собой. Осто-

можно обойдя вокруг гигантского глаза, они устроились в маленькой пещерке внизу оврага, усыпанной опилками и кусками коры. Здесь было тепло, приятно пахло древесиной. Однако влюбленные сочли необходимым вернуться в свое единственное одеяло. Глаз, помаргивая, смотрел на них, а иногда вдруг судорожно вспыхивал, и, словно напуганные этим злобещим взглядом, они все теснее прижимались друг к другу.

— Флип!

— Да?

— Зачем с ними пришли еще двое? Тоже из-за тебя?

— Наверное,— ответила она без тени кокетства.— К нам часто заглядывают незнакомые люди.

— Тебе, может быть, хочется пойти домой, к ним?

— А ты хочешь, чтобы я ушла?

Он не ответил и поцеловал ее. Но ему по-прежнему было не по себе.

— Похоже, что я сбежал от них, верно? — допытывался он.

— Нет,— возразила Флип.— Они ведь думают, что ты скво, и все тут. Им нужна я.

Ланса что-то кольнуло. В нем нарастало совершенно незнакомое ему и неприятное чувство: впервые в жизни его мучили раскаяние и стыд.

— Вернись-ка я да погляжу, что там делается,— проговорил он и встал.

Флип не ответила. Она думала. Уверенная, что пришельцы разыскивают только ее, она не сомневалась, что они не обратят внимания на Ланса, если он явится к ним в одиночку. К тому же, зная его вспыльчивость, Флип предпочитала не встречаться при нем с гостями.

— Ну хорошо,— согласилась она.— Отцу скажи, что с алмазной ямой что-то неладно и я покамест караулю здесь.

— А где ты будешь?

— Подойду к хижине и подожду его. Если он не сможет от них отвязаться и они пойдут за ним к яме, то мы с тобой встретимся на этом месте. И вообще я устрою так, что отец сперва задержится у ямы.

Она взяла его за руку и повела к хижине на этот раз совсем другой дорогой. Ланс с удивлением увидел

светящееся окошко у сарая всего в какой-нибудь сотне ярдов от себя.

— В дом войди через черный ход у сарая. В комнату постарайся не заходить и держись в тени. В доме не разговаривай, просто окликини отца или помани его. И не забудь,— она засмеялась,— что он приставил тебя следить за мной. А волосы опусти на глаза; вот так.

И она поцеловала его, как почти всегда делают женщины, когда что-нибудь поправляют в туалете мужчины; потом она отступила назад и скрылась во тьме бурной ночи.

Поведение Ланса после ухода Флип никак не вязалось с его женским обликом. Задрав грязную юбку, он вытащил из-за голенища длинный охотничий нож. Затем достал из-за пазухи револьвер и, бесшумно поворачивая барабан, проверил, заряжен ли он. Потом неслышными шагами подкрался к хижине и встал. Густую темноту прорезал только тонкий луч света, пробивавшийся из-под плохо пригнанной двери. Говорил один из гостей. Лансу показалось, что ему знаком этот голос, в котором звучало злобное упоение и торжество.

Вот он услышал имя — свое имя! — и в гневе схватился за щеколду. Еще миг, и он распахнул бы дверь, но говоривший произнес другое имя, и рука Ланса безвольно повисла, а кровь отхлынула от щек. Он отпрянул от двери, чувствуя, как ослабели его ноги, и быстро провел рукой по лбу, потом с отчаянием и злостью заставил себя опомниться и, опустившись на колени у порога, прильнул к щели разгряченным лбом.

— Знаю ли я Ланса Гарриота? — спрашивал голос. — Знаю ли я этого мерзавца? А разве не я шел за ним по пятам год назад, пока он не скрылся в кустарнике в трех милях от Брода? И разве не потеряли мы его след в тот самый день, когда он зашел на эту ферму и его переправили отсюда в Монтерей? Кто, как не он, убил Арканзаса Боба, или Боба Ридли, как его называли в Соноре? А кто такой Боб Ридли, а? Кто? Эх, ты, безмозглый старый дурень, да ведь это был Боб Фэрли — твой сын! — Старик заворчал что-то, сердито и невнятно.

— Э, да что ты там мелешь! — перебил его тот, кто говорил первым. — Кому-кому, а мне-то лучше знать. Вот посмотри на карточки. Я их нашел на убитом. Гляди, гляди. Вот ты, а вот твоя дочка. Может, скажешь — нет? Может, не веришь, что он мне сам и рассказал, что он твой сын? Он мне рассказывал про то, как он от тебя удрал, и про то, что ты живешь в горах и делаешь из древесного угля золото или уж не знаю что. Он не велел никому рассказывать об этом, и я понял так, что я один только о нем и знаю. А когда я вдруг узнал, что человек, который убил его — Ланс Гарриот, — прятался на вашей ферме, а теперь рассылает повсюду шпионов, чтобы разведать всю подноготную о твоём сыне, водит тебя за нос и пытается погубить твою дочь, как перед этим убил твоего сына, я сразу понял, что и он все знал.

— Ложь!

Дверь с грохотом распахнулась, и все увидели искаженное гневом лицо, наполовину скрытое под длинными, черными прядями, которые свивались, словно змеи вокруг головы Медузы. Раздался крик ужаса. Трое людей опрометью кинулись к двери и выскочили вон. А тот, кто разговаривал со стариком, бросился к своему ружью, стоявшему у очага. Но он не успел до него добраться, как сверкнула ослепительная вспышка, грянул выстрел.

Его швырнуло на очаг, и он упал лицом в огонь, который зашипел от брызнувшей на него крови, а Ланс Гарриот с дымящимся револьвером в руке быстро прошел мимо него к двери. Испуганные голоса раздавались уже в отдалении, все слабее становился треск сучьев. Ланс повернулся к единственному из всей компании, кто остался в комнате и был жив, к старому Фэрли.

Однако и его можно было принять за мертвеца: он сидел застывший, окаменевший, безучастно уставившись неподвижным взглядом на лежащее у очага тело. Перед ним на столе валялось несколько скверных фотографий, на одной, несомненно, был запечатлен он сам в какую-то отдаленную эпоху, на другой можно было разглядеть маленькую девочку, в которой Ланс узнал Флип.

— Скажите, — хрипло заговорил Ланс, кладя на стол дрожащую руку, — это правда, что Боб Ридли ваш сын?



— Мой сын,— повторил старик каким-то странным, тусклым голосом, по-прежнему не отводя глаз от покойника,— мой сын... вот... здесь! — И он указал на мертвеца. — Тссс! Разве он вам не сказал? Разве вы не слышали? Убит... убит... застрелен!

— Замолчите! Вы что, с ума сошли?— перебил Ланс, вадрожав.— Это же вовсе не Боб Ридли, это негодяй, трус и лгун, который получил по заслугам. Послушайте! Если ваш сын и в самом деле был Боб Ридли, то, клянусь богом, я этого не знал ни сейчас, ни... тогда. Вы слышите? Ну, отвечайте же! Вы верите мне? Говорите. Говорите же!

Он почти с угрозой взял старика за плечо. Фэрли медленно поднял голову. Ланс в ужасе попятился. Безвольные губы старика кривила слабая, жалкая улыбка, глаза же, те глаза, где в прежние времена гнезился брюзгливый и подсызнительный дух, зияли пустотой; освещавшие их слабые проблески разума погасли навсегда.

Ланс подошел к двери и постоял немного у порога, глядя в ночную темноту. Когда он снова повернулся к огню, лицо его было так же бледно, как лицо покойника, лежавшего на очаге; потухшие глаза говорили, что он побежден, и даже его походка стала медленной и неуверенной. Он подошел к столу.

— Послушай, старик,— заговорил он со странной усмешкой, и в глосе его вдруг зазвучала безмерная усталость человека, у которого нет сил жить,— ты мне позволишь забрать это, ладно?— И он взял фотографию Флип.

Старик закивал головой.

— Спасибо,— сказал Ланс.

Он направился к двери, потом остановился и вернулся.

— Прощай, старик,— сказал он, протягивая руку.

Фэрли взял ее, улыбаясь, как ребенок.

— Умер,— тихо проговорил старик, держа Ланса за руку и указывая на очаг.

— Да,— ответил Ланс, и на его побелевшем лице промелькнуло слабое подобие улыбки.— Ты жалеешь всех, кто умер, верно?

Фэрли снова кивнул. Ланс посмотрел на него почти таким же отрешенным взглядом, каким глядел и сам Фэрли, тряхнул головой и пошел вон из хижины. Возле дверей он задержался и аккуратно, с несколько даже нарочитой тщательностью положил револьвер на стул. Но, оказавшись за порогом, Ланс воспользовался светом, падавшим из открытых дверей, чтоб осмотреть замок маленького пистолета, который вынул из кармана. Потом он старательно затворил дверь и той же медленной, нерешительной походкой побрел в темноту.

Он мечтал об одном: найти какое-нибудь уединенное место, где не раздадутся шаги человека и где он сможет найти покой, уснуть, уйти в небытие, в забвение, а главное, где он сам будет забыт. Он видел такие уголки — наверно, их было немало, — где находили кости людей, которые покинули землю, не оставив по себе никакой другой памяти. Он и сам сможет найти такое место, надо только держать себя в руках да еще быть поосторожней, ведь ее маленькие ножки доберутся куда угодно, а она ни за что не должна больше видеть его, ни живого, ни мертвого. Так он раздумывал, бредя в кромешном мраке бурной ночи, и вдруг услышал у самого уха:

— Ланс, как долго тебя не было!

Оставшись один, старик снова безучастно уставился на труп, как вдруг могучий порыв ветра, точно лавина, обрушился на хижину, ворвался в комнату сквозь щель плохо пригнанной двери и через трубу, разметал по полу тлеющие угольки и золу, и комната тотчас наполнилась огнем и едким дымом. Фэрли жалобно вскрикнул, вскочил, движимый внезапно пробудившимся воспоминанием, бросился к постели, стал торопливо шарить под ней и, нащупав наконец кожаный мешочек с бесценным осколком хрусталя, опрометью ринулся вон. Новое потрясение вывело его из состояния апатии, и им снова безраздельно завладела его давнишняя маңя — алмазы, а все остальное было забыто. Исчезли даже те смутные обрывки воспоминаний о событиях этой ночи, которые еще хранило его помраченное сознание: история его сы-

на, Ланс, переодетый индианкой, убийство; единственное, что для него существовало, — было ночное дежурство у алмазной ямы. Давнюю привычку не смогли побороть ни ночной мрак, ни ярость бури; через поваленные деревья и потоки воды старик упорно ковылял к своей цели и наконец добрался до нее. Приветливо мерцающий огонь вдруг тревожно затрепетал. Фэрли показалось, что он слышит голоса; да ведь здесь кто-то был — вот следы на опилках! Охваченный подозрением, Фэрли с яростным криком подбежал к яме и подскочил к ближайшей отдушине. Его больному воображению тут же представилось, что кто-то хозяйничал здесь, что его тайна раскрыта, плод неустанных трудов украден. С нечеловеческой силой он принялся расшвыривать во все стороны наполовину сгоревшие поленья, и от раскаленных углей стали подниматься смертоносные газы. Свирепые порывы ветра, время от времени врываясь в овраг, отгоняли их прочь от ямы, а иногда безумец, повинувшись безотчетному инстинкту, ничком падал на землю, зарываясь ртом и носом в сырую кору и опилки. Но вот вспышка ярости миновала, и он опять застыл в той безучастной созерцательной позе, в какой нередко сживал у своего лесного тигля. Так он и встретил зарю.

Заря пришла, когда утихла буря, когда в смятенном, развороченном небе стали появляться глубые промонны и звезды, едва заблестев, стали блекнуть и наконец потонули в этих лазурных озерах; а озера расплылись в моря; а моря слились в безбрежный океан, но он уже не был лазурным, он весь переливался алым и опаловым. Заря пришла и медленно приподняла туманную завесу утра, вершины сосен и утесов вырывали из нее клочья, но она все поднималась, поднималась. Заря пришла, и изумрудной зеленью засверкала трава, брильянтами вспыхнули росинки, зашумели пробудившиеся леса, на дорогах и тропках послышались голоса людей.

Звук их замер у ямы, и старику показалось, что его о чем-то спрашивают. Он подошел, приложив палец к губам, и сделал предостерегающий жест. Когда несколько человек спустились к нему, он поманил их за собой, бормоча несвязно, но настойчиво:

— Мой мальчик, мой сын Роберт... вернулся... наконец-то вернулся... и Флип тут... оба... вот здесь, глядите...

Он подвел их к крохотной пещерке, выдолбленной в крутом склоне, остановился и вдруг сдернул одеяло. Флип и Ланс лежали рядом, держась за руки, мертвые, уже окоченевшие.

— Задохнулись!

Люди со страхом посмотрели на развороченную и еще дымящуюся яму.

— Нет, уснули,— ответил старик.— Спят! Вот так же они лежали рядышком, когда были еще малышами. Что вы мне толкуете? Разве я не узнаю свою плоть и кровь? Вот так, вот так! Вот так, мои хорошие!

Он наклонился и поцеловал их. Потом бережно накрыл одеялом, распрямился и тихо сказал:

— Спите спокойно!

## ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ ЛАПОРТА

Он был первый поселенец. Партия старателей, которая проложила себе дорогу через снеговые заносы зимой 1851 года и нашла треугольную маленькую долину, названную впоследствии Лапортом, встретила там одного-единственного жителя. В течение трех месяцев он поддерживал свои силы, съедая в день по два сухаря и по кусочку бекона пальца в три шириной, а жил в шалаше из коры и прутьев. Тем не менее старатели нашли его бодрым, жизнерадостным и изысканно вежливым. Но тут я с удовольствием уступаю место капитану Генри Саймсу, начальнику партии старателей, и его более красочному повествованию:

«Мы на него набрали невзначай, джентльмены, смотрим, сидит себе под скалой (он отмерил расстояние), примерно вот так, как вы стоите. Только он нас завидел, сейчас ныряет к себе в шалаш, вылезает оттуда в цилиндре — сущая печная труба, джентльмены, и в перчатках, убей меня бог! Длинный, худой, щеки втянуты дальше некуда; рожа постная, да оно и понятно, если принять во внимание голодный паек. Однако припсднимает вот этак цилиндр и говорит:

— Счастлив с вами познакомиться, джентльмены, боюсь, дорога сюда показалась вам довольно неудобной. Не угодно ли сигару? И вытаскивает щегольской портсигар с двумя настоящими гаванами. — Жаль, что так мало осталось.

— А сами вы не курите? — говорю.

— Редко, — говорит. И ведь все врал: в этот же

день я видел, как он дымил коротенькой трубкой, изо рта ее не выпускал, как младенец соску.— Сигары я держу для гостей.

— У вас тут, надо полагать, частенько собирается высшее общество? — говорит Билл Паркер, разглядывая в упор цилиндр и перчатки, а сам подмигивает ребятам.

— Заходят кое-когда индейцы, — говорит он.

— Индейцы! — говорим мы.

— Да. Народ по-своему очень хороший. Раза два приносили мне дичь, да я отказался, не взял, беднягам и самим туго приходится.

Ну, джентльмены, всем известно, что мы люди мирные, тихие, можно сказать, люди, но эти самые «хорошие» индейцы в нас стреляли раза три, а у Билла сняли вершка три кожи с черепа, вместе с волосами, оттого сн и ходит в венке, вроде римского сенатора, — так вот всем показалось, что этот чужак бессовестно над нами издевается. Билл Паркер встал, смерил его взглядом и говорит спокойным голосом:

— Так вы говорите, эти самые индейцы, хорошие индейцы, приносили вам дичь?

— Приносили, — говорит.

— А вы отказались?

— Отказался.

— Вот, должно быть, расстроились! Каково это им при их чувствительной натуре? — говорит Билл.

— Да, кажется, были очень огорчены.

— Ну еще бы, — говорит Билл. — А позвольте спросить: кто вы такой будете?

— Извините, пожалуйста, — говорит незнакомец и — провалиться мне на этом месте — вытаскивает бумажник и протягивает Биллу: — Вот моя карточка.

Билл берет и читает вслух:

— Дж. Тротт, из Кентукки.

— Ничего себе карточка, — говорит Билл.

— Очень рад, что она вам понравилась, — говорит незнакомец.

— Думаю, и остальные пятьдесят одна карта в колоде не хуже — одни картинки да козыри.

Незнакомец молчит и пятится от Билла, а тот на него наседает.

— Ну, так какая же ваша игра, мистер Дж. Тротт из Кентукки?

— Я вас не совсем понимаю,— говорит незнакомец и весь вспыхивает, словно табак в трубке.

— Куда это вы так нарядились? Цилиндр, перчатки? Что за цирк? К чему вы это затеяли? Кто вы такой, собственно говоря?

Незнакомец поднимается с места и говорит:

— Я не ссорюсь с гостями у себя дома, и из этого вы можете заключить, что я джентльмен.

Тут он снимает свой цилиндр, низко кланяется— вот так — и поворачивает к нам спину — таким вот манером,— а Билл вдруг задрал правую ногу да как саданет сапогом по этому самому цилиндру — продавил нацисто, как обруч в цирке.

Больше я ничего не могу припомнить, джентльмены. Да и никто из нас даже под присягой не мог бы показать, что после этого случилось, а незнакомец держал язык за зубами. Что-то вроде урагана пронеслось по долине. Ничего не помню, кроме пыли и суматохи. Криков не было, не было и стрельбы. Бывают такие неожиданности, что и выстрелить не успеешь. Очнулся я в зарослях чапарала, на мне осталась только половина рубашки, в карманах я нашел фунта с три песку и камней, да и в волосы всего этого порядком набилось. Гляжу вверх и вижу, что Билл застрял в развилине орешника футах в двадцати надо мной.

— Капитан, — говорит он, будто не в себе, — кончилось торнадо?

— Чего? — говорю я.

— Вот это самое стихийное бедствие, кончилось оно?

— Как будто,— говорю я.

— Дело в том,— говорит он,— что перед началом этого явления природы у меня вышло маленькое недоразумение с незнакомцем, и я хотел бы извиниться.

С этими словами он спокойно слезает с дерева, идет в шалаш и выходит под руку с незнакомцем, улыбаясь, как младенец. Вот тогда-то мы и узнали как следует «Джентльмена из Лапорта».

Вполне возможно, что изложенные в этом рассказе события слегка преувеличены, и осторожный читатель хорошо сделает, если отнесется без особенного дове-

рия к явлению природы, на которое ссылается капитан. Достоверно то, что Джентльмену из Лапорта прощалась некоторая эксцентричность, а личная доблесть оберегала его от критики. Так это и было объявлено во всеуслышание.

— Сдается мне, — заметил один кроткий новичок, который, получив из Штатов известие о кснчине дальнего родственника, украсил свою белую войлочную шляпу полосой траурного крепа необычайной ширины, в силу чего должен был «угостить» публику в гостинице Паркера, — сдается мне, джентльмены, что этот налог на естественное проявление горя плохо вяжется с таким праздничным нарядом, как желтые лайковые перчатки на джентльмене справа от меня. Я не прочь угостить публику, только, по-моему, резолюция у нас не вполне соответствует программе. — Такое воззвание к демократии заставило промолчать Джентльмена из Лапорта; ответить должен был, очевидно, владелец бара, мистер Уильям Паркер, так сказать, председатель собрания.

— Молодой человек, — возразил он сурово, — когда вы наденете такие перчатки, как на нем, и они у вас будут мелькать в воздухе, как молния, ударяя в четыре места разом, вот тогда и разговаривайте. Тогда можете надевать все, что вам угодно, хоть наизнанку!

Публика была того же мнения, и покладистый новичок, заплатив за выпивку, готов был даже снять траурную полосу крепа, если бы его не остановил весьма учтиво Джентльмен из Лапорта.

И все же, смею вас уверить, по внешности его грозная доблесть была мало заметна. Фигура у него была нескладная, длинноногая, связанная в движениях и совершенно лишенная живости и ловкости. Необыкновенно длинные руки висели вдоль тела, вывернутые ладонями наружу. При ходьбе он загребал носками, и это наводило на мысль, что среди его предков были индейцы. Лицо, насколько помню, тоже было нескладное. Худое и унылое, оно редко освещалось улыбкой, которая только из учтивости отдавала должное комическим дарованиям собеседника, сам же он был не в состоянии их оценить. Прямые черные волосы и широкие скулы должны были бы подчеркивать близость к индейскому типу, но странные глаза, не подходившие ни к од-



ной из черт лица, ослабляли это впечатление. Они были изжелта-голубые, навывкате, с неподвижным взглядом. По ним нельзя было угадать ни одной мысли Джентльмена из Лапорта, нельзя было предвидеть ни одного его поступка. Они не вязались ни с его речью, ни с его манерой держаться, ни даже с его поразительным костюмом. Некоторые непочтительные критики высказывали мнение, что он потерял глаза в какой-нибудь пограничной стычке и наспех заменил их глазами своего противника.

Если бы эта остроумная догадка дошла до ушей Джентльмена, он, верно, ограничился бы простым отрицанием и не заметил бы ничего нелепого в этом юмористическом утверждении. Ибо, как уже сообщалось раньше, одной из его особенностей была полная невосприимчивость к комической стороне вещей. Отсутствие чувства юмора и невозмутимая серьезность, редкие в такой среде, где самые драматические эпизоды не лишены юмористических черточек и где обычным развлечением служит «разыгрывание», сочетались в нем с прямотой, приводившей в отчаяние.

— Мне кажется,— заметил он одному уважаемому гражданину Лапорта,— что, намекая на пристрастие мистера Уильяма Пегхеммера к спорам, вы сказали, будто бы слышали однажды ночью, как он не спал и пререкался с кузнечиками. Он же сам уверял меня, что это выдумка, и я могу прибавить, что провел с ним эту ночь в лесу и ничего подобного не заметил. По-видимому, вы сказали неправду.

Суровость этой отповеди отбила у всех охоту шутить в его присутствии. Не могу сказать наверное, но, кажется, именно после этого вокруг него создалась атмосфера известной аристократической отчужденности.

Неразрывно связанный с поселком со времени его основания, мистер Тротт разделял его судьбу и содействовал его процветанию. Как один из открывших «Орлиный прииск», он пользовался некоторым доходом, позволявшим ему жить, не работая, и на свободе следовать своим немногочисленным и недорого стоящим причудам. Он заботился о собственной внешности, что сводилось, в общем, к чистой рубашке, а кроме того, любил давать подарки. Они были ценны не столько сами по себе,

сколько по связанным с ними воспоминаниям. Одному из близких друзей он подарил тросточку, вырезанную из дикой лозы, которая росла над тем местом, где была открыта знаменитая «Орлиная жила»; набалдашник украшал прежде палку, которую когда-то подарили отцу мистера Тротта, а наконечник был сделан из последнего серебряного полудоллара, привезенного им в Калифорнию.

— Можете себе представить,— говорил возмущенный обладатель этого трогательного дара,— я хотел бы поставить ее на кон у Робинсона вместо пяти долларов, так ребята и смотреть не захотели, сказали, чтоб я вышел из игры. Не умеют ценить ничего святого в нашем поселке.

Как раз в это время буйного роста и процветания поселка граждане Лапорта единогласно избрали Джентльмена в мировые судьи. Что он выполнял свои функции с достоинством, было вполне естественно; но то, что он проявил странную снисходительность при взыскании штрафов и наложении наказаний, было неожиданным и довольно неприятным открытием для поселка.

— Закон требует, сэр,— говаривал он какому-нибудь явному преступнику,— чтобы я предложил вам выбрать между заключением под стражу на десять дней и штрафом в десять долларов. Если у вас нет при себе денег, мой секретарь, без сомнения, ссудит их вам.

Нечего и говорить, что секретарь неизменно одалживал преступнику эти деньги и что в перерыве заседания судья немедленно возвращал их секретарю. И только в одном случае упрямый преступник из чистого злопыхательства, а может быть, не желая, чтобы судья платил за него, отказался взять у секретаря деньги на уплату штрафа. Его тут же отправили в окружную тюрьму. Из довольно достоверных источников стало известно, что после заседания судью видели в ослепительном белье и желтых перчатках направляющимся к окружной тюрьме — маленькому глинобитному строению, которое служило также архивом; что судья, просмотрев для вида несколько дел, вошел в тюрьму, будто бы для официальной ревизии, что позже вечером шериф, стороживший заключенного, был послан за бутылкой виски и колодой карт. Утверждают, будто бы в этот вечер во

время дружеской партии в юкр, составленной для развлечения заключенного, страж проиграл ему все свое месячное жалованье, а судья — свое жалованье за целый год. Вся эта история была встречена недоверчиво, как несовместимая с достоинством судьи Тротта, хотя она вполне отвечала добродушию его характера. Достоверно, однако, что этой снисходительностью он чуть не погубил свою репутацию как судья, но тут же спас ее, проявив силу характера как частное лицо. Талантливый молодой адвокат из Сакраменто выступал в качестве защитника перед судьей Троттом, но, будучи уверен в успехе своего выступления перед простаком-судьей, в своем заключительном слове он не счел нужным скрывать презрения к нему. Когда он кончил, судья Тротт не двинулся с места, только его широкие скулы слегка покраснели. Но здесь мне снова придется воспользоваться выразительным языком очевидца.

«Тут судья вывесил красный флаг в знак опасности и говорит вполне хладнокровно этому шаркуну из Сакраменто.

— Молодой человек, — говорит, — знаете ли вы, что я могу вас оштрафовать на пятьдесят долларов за неуважение к суду?

— Ну так что же? — говорит шаркун, дерзкий и нахальный, как слепень. — Штрафуйте, я заплачу.

— Должен, однако, предупредить вас, — говорит Джентльмен мрачным голосом, — что я этого делать не намерен, я признаю свободу слова и действия! — Тут он поднимается, расправляет, так сказать, плечи, протягивает руку Правосудия, хватая этого шаркуна и вышвыривает его за окно в канаву, футов примерно за двадцать.

— Вызовите истца и ответчика по следующему делу, — говорит он, усаживаясь на место, и преспокойно смотрит на всех своими белыми глазами, как будто ничего особенного не случилось».

Для Джентльмена было бы удачей, если б такие чудачества всегда сходили ему с рук столь же благополучно. Но роковая и до сих пор никому не известная слабость была проявлена Троттом в том самом суде, где он одержал столько побед, и временно поколебала его репутацию. Одна особа с сомнительным прошлым и весьма свободными манерами, богиня, правившая «Колес-

сом Фортуны» в первом из игорных домов Лапорта, подала в суд на некоторых граждан за то, что они «силой» вломилась в ее салун и разнесли вдребезги рулетку. Ей помогал ловкий адвокат и горячо сочувствовал один джентльмен, который не был ее мужем. Однако, несмотря на такую влиятельную поддержку со стороны, ей не повезло. Преступление было доказано, но присяжные, даже не удаляясь на совещание, вынесли вердикт в пользу ответчиков. Судья Тротт обратился к ним свой кроткий взгляд.

— Так ли я вас понял? Это ваш окончательный вердикт?

— Можете прозакладывать последние сапоги, ваша честь, что дело обстоит именно так, — отвечал старшина присяжных с веселой, но безобидной непочтительностью.

— Господин секретарь, — сказал судья Тротт, — составьте приговор и занесите в протокол, что я слагаю с себя звание судьи.

Он встал и вышел из зала суда. Напрасно влиятельные граждане Лапорта бежали за ним вдогонку, намереваясь объяснить, напрасно докладывали ему, что истца не заслуживает внимания, да и дело ее тоже — дело, ради которого он пожертвовал собой. Напрасно присяжные давали ему понять, что его отставка явится для них оскорблением. Судья Тротт повернулся к старшине присяжных, и его широкие скулы зловеще вспыхнули.

— Что вы сказали? Я вас не понял, — переспросил он.

— Я говорил, что бесполезно будет спорить на этот счет, — поспешно ответил старшина и отступил, несколько опередив остальных присяжных, как того требовало его официальное положение. Судья Тротт так и не вернулся на свое место.

Прошел добрый месяц после его отставки, и Джентльмен сидел в сумерках «под сенью своей лозы и смоковницы» — выражение фигуральное, в данном случае обозначающее секвойю и плющ, — перед дверью той самой хижины, где он имел честь познакомиться, с читателем, как вдруг перед ним возникли неясные очертания женской фигуры и послышался женский голос.

Джентльмен растерялся и вставил в правый глаз

большой монокль в золотой оправе, который считался в поселке последней из его модных причуд. Фигура была незнакомая, но голос Джентльмен узнал сразу: он принадлежал истице, памятной ему по последнему судебному заседанию, столь чреватому последствиями. Следует тут же сказать, что это был голос мадемуазель Клотильды Монморанси: справедливо будет прибавить, что, поскольку она не говорила по-французски и бесспорно принадлежала к англосаксонской расе, этим именем она назвалась, по-видимому, в связи с игрой, которой заправляла и которая, по мнению жителей поселка, была иностранного происхождения.

— Мне хотелось бы знать,— сказала мисс Клотильда, садясь на скамью рядом с Джентльменом,— то есть нам с Джейком Вудсом хотелось бы знать, сколько, вы думаете, вылетело у вас из кармана из-за этой вашей отставки?

Почти не слушая ее слов и больше занятый самым ее появлением, судья Тротт пробормотал невнятно:

— Кажется, я имею удовольствие видеть мисс...

— Если вы хотите этим сказать, что вы меня не знаете, никогда в жизни не видели и больше видеть не желаете, то, на мой взгляд, это довольно вежливо сказано,—заметила мисс Монморанси неестественно спокойно, сгребая сухие листья кончиком зонта, чтобы скрыть свое волнение. — Я мисс Монморанси. Я говорю: мы с Джейком подумали — раз вы стояли за нас, когда эти собаки-присяжные наврали с три короба в свсем решении,—мы с Джейком подумали, что несправедливо будет, если вы потеряете место из-за меня. «Узнай у судьи,—говорит Джейк,— сколько он потерял из-за этой самой отставки, пускай сам подсчитает». Вот что сказал Джейк. Он честный малый, это уж во всяком случае.

— Мне кажется, я вас не совсем понимаю,—правдиво ответил судья Тротт.

— Ну вот, так я и знала! — продолжала мисс Клотильда, едва скрывая огорчение. — Так я и говорила Джейку. «Судья нас с тобой не поймет,—вст что я говорила. — Он такой гордый, что и смотреть на нас не захочет. Во вторник я встретила с ним на улице нос к носу, и он сделал вид, будто меня не замечает — даже на поклон не ответил».

— Сударыня, уверяю вас, вы ошиблись,— поторопился сказать судья Тротт.— Я вас не видел, поверьте мне. Дело в том — я и себе боюсь в этом сознаться,— что мое зрение с каждым днем слабеет.

Он замолчал и вздохнул. Мисс Монморанси, глядя снизу вверх на его лицо, заметила, что он бледен и взволнован. Со свойственной женщинам быстротой соображения она сразу поверила, что этой физической слабостью объясняется непонятное иначе, дерзкое выражение его странных глаз, и это было для нее достаточным извинением. Женщина не прощает мужчине безобразия только в том случае, когда оно необъяснимо.

— Так, значит, вы меня в самом деле не узнали? — сказала мисс Клотильда, слегка смягчившись, но все же чувствуя себя неловко.

— Боюсь... что нет,— сказал Тротт с извиняющейся улыбкой.

Мисс Клотильда помолчала.

— Вы хотите сказать, что не могли разглядеть меня, когда я была в суде?

Судья Тротт покраснел.

— Боюсь, я видел только смутные очертания...

— На мне была,— подхватила мисс Клотильда,— соломенная шляпка, подбитая красным шелком, с загнутым вот так полем и с красными лентами, завязанными бантом вот здесь (указывая на полную шею), настоящая шляпка из Фриско — разве вы не помните?

— Я... то есть... боюсь, что...

— И еще пестрая шелковая мантилька,— тревожно продолжала мисс Клотильда.

Судья Тротт улыбнулся вежливо, но неопределенно.

Мисс Клотильда поняла, что он совсем не заметил ее изысканного и со вкусом сшитого наряда. Раскидав листья, она воткнула зонтик в землю.

— Так, значит, вы меня совсем не видели?

— Очень смутно.

— Так отчего же, если можно вас спросить, отчего же вы подали в отставку? — сказала она вдруг.

— Я не мог оставаться судьей после того, как суд утвердил такой несправедливый вердикт присяжных, как в вашем деле,— горячо возразил судья Тротт.

— А ну-ка, повтори, старина,— сказала мисс Кло-

гильда с восторгом, который наполовину оправдывал фамильярность обращения.

Судья Тротт учтиво изложил свою мысль в иной форме.

Мисс Монморанси молчала с минуту.

— Так это не из-за меня? — сказала она наконец.

— Мне кажется, я вас не совсем понимаю, — с некоторой заминкой ответил судья.

— Ну вот! Вы это сделали не из-за меня?

— Нет, — мягко сказал судья.

Опять наступило молчание. Мисс Монморанси раскладывала зонтик на носке туфли.

— Ну, не много же я смогу рассказать Джейку, — заметила она.

— Кому?

— Джейку.

— Ах да, вашему супругу?

Мисс Монморанси щелкнула застежкой браслета и резко спросила:

— А кто говорит, что он мой супруг?

— Ах, простите, пожалуйста.

— Я сказала: «Джейку Вудсу». Он честный малый, это уж во всяком случае. Он велел вам передать: «Скажи судье, что, если он от нас что-нибудь возьмет, это будет не взятка и не подкуп, — совсем напротив. Тут дело чистое. Приговор вынесен, он больше не судья, для нас он ничего не может сделать, да мы ничего и не ждем, разве только одного. И это вот чего: нам будет приятно знать, что он ничего из-за нас не потерял, ничего не потерял из-за того, что он честный человек и поступил честно». Вот это самое он и сказал. Поняли? Конечно, я знаю, что вы ответите. Знаю, что вы рассердитесь. Из себя выйдете. Я знаю, вы человек гордый и от таких, как мы, не возьмете и доллара, даже если будете умирать с голоду. Я знаю, что вы пошлете Джейка ко всем чертям, да и меня заодно с ним! Ну и наплевать!

Она вышла из себя так неожиданно, так непоследовательно и так бурно, что не было ничего странного, когда все это кончилось столь же неожиданно истерикой и слезами. Она снова опустилась на скамью, с которой только что встала, и вытерла глаза руками в желтых перчатках, не выпуская из них зонтика. К ее бесконечному удивле-

пию, судья Тротт тихо положил одну руку ей на плечо, а другою отнял мешавший ей зонтик и деликатно положил его на скамью рядом с ней.

— Вы ошибаетесь, дорогая леди,— сказал он почти-тельно и серьезно,— глубоко ошибаетесь, если думаете, что я чувствую к вам что-нибудь, кроме благодарности, за ваше предложение, настолько необычайное, что, вы и сами понимаете, я не могу его принять. Нет! Позвольте мне верить, что, выполняя свой долг судьи, как я его принимаю, я заслужил ваше расположение и что теперь, выполняя свой долг человека, я сохраню это расположение за собой.

Мисс Клотильда подняла к нему лицо, словно вслушиваясь в его серьезную речь вдумчиво и с удивлением. Но она сказала только:

— Можете вы меня разглядеть в этом освещении? На этом расстоянии? Наденьте ваше стеклышко и попробуйте.

Ее лицо приблизилось к лицу судьи. Не помню, говорил ли я, что она была красивая женщина. Прежде она была еще красивей. От ее былых прелестей осталось еще довольно, чтобы придать «Колесу Фортуны», которым она правила, известную притягательность, благодаря чему игроки шли на риск с большей охотой. Именно это нечестивое соединение Красоты и Риска вызвало ярость жителей Лапорта, которые сочли его неделовым и даже «жульническим».

Глаза у нее были красивые. Возможно, судье Тротту никогда не приходилось видеть близко таких красивых и таких выразительных глаз.

Смутившись, он поднял голову, и его широкие скулы покраснели. Потом отчасти из свойственной ему вежливости, отчасти желая ввести в разговор третье лицо, чтоб оправиться от смущения, он сказал:

— Надеюсь, вы передадите вашему другу... мистеру... что я ценю его любезность, хоть и не могу воспользоваться ею.

— Ах, это вы про Джейка! — сказала дама. — Он уехал на родину, в Штаты. О нем беспокоиться нечего!

Опять наступило неловкое молчание, быть может, вызванное этим сообщением. Наконец его нарушила мисс Монморанси:



— Вам следует позаботиться о ваших глазах, я хочу, чтоб в следующий раз вы меня узнали.

И они расстались. Судья узнавал ее при следующих встречах. А затем странные слухи взволновали Лапорт до основания, в рудниках и на горных склонах.

Судья Тротт женился в Сан-Франциско на мисс Джен Томпсон, alias<sup>1</sup> мисс Клотильде Монморанси. В течение нескольких часов буря негодования и возмущения бушевала над городом; все считали установленным существование преднамеренного тайного заговора. Всем стало ясно как нельзя более, что судья Тротт подал в отставку ради того, чтобы получить ее руку и небольшое состояние, которым она обладала. Повредить его репутации было уже невозможно. Зато был проявлен нездоровый интерес к судьбе и репутации ее бывшего любовника Джейка Вудса, жертвы двойного предательства — со стороны судьи Тротта и мисс Клотильды. Составили комиссию, чтобы написать сочувственное послание этому человеку, которого не так давно собирались линчевать. Бурные дебаты были прерваны голосом первого рассказчика, выступавшего в нашем правдивом повествовании, капитана Генри Саймса:

«В этом деле есть одна подробность, которой вы, кажется, не знаете, а следовало бы знать. В тот самый день, когда она вышла за Тротта в Сан-Франциско, она побывала у доктора, и он ей сказал, что Тротт безнадежно слеп! Джентльмены, когда такая девушка губит всю свою жизнь и бросает свою профессию и порядочного малого вроде Джейка Вудса, чтобы выйти замуж за слепого без гроша в кармане, выйти из принципа, только потому, что он за нее вступился,— убей меня бог на этом самом месте, если найдется человек, который ее осудит! Когда сам Тротт согласен забыть кое-что неладное в ее прошлом ради того, что она будет его любить и заботиться о нем, то это уж его дело! Прошу меня извинить, а только я по опыту знаю, как опасно вмешиваться в личные дела Джентльмена из Лапорта».

---

<sup>1</sup> Иначе (лат.).

## НАХОДКА В СВЕРКАЮЩЕЙ ЗВЕЗДЕ

Дождь кончился только под утро, когда рассеялась серая предрассветная мгла, и поселок Сверкающая Звезда проснулся с ощущением необычной чистоты; к тому же ливень размыл кучи мусора, громоздившиеся перед дверями хижин, и обнажил множество утерянных ножей, жестяных кружек и прочей мелкой лагерьной утвари. В Сверкающей Звезде еще бытовала легенда, как некий старатель, имевший привычку вставать спозаранку, подобрал прямо на проезжей дороге увесистый самородок, с которого дождь смыл грязь и глину, так что он засиял первозданным блеском. Быть может, именно этим объясняется, что все любители рано вставать в этой местности приобретают особую сосредоточенность и в период дождей почти никогда не поднимают глаз к небу, то покрытому тучами, то промытому до цвета бледного индиго.

В это утро Кэсс Бэрд вскочил с постели чуть свет, хотя ни о каких находках он даже не помышлял. Просто — на просто крыша в его лачуге дала течь — а как же не протекать крыше у такого неграмотного и легкомысленного хозяина? И он проснулся в четыре утра на затопленной койке и под мокрым одеялом. Он попробовал развести огонь, чтобы просушить белье, но отсыревшие дрова только шипели, и оставалось одно — обратиться за помощью к какому-нибудь хозяйственному соседу. Такой сосед жил напротив. Мистер Кэссиус уже переходил дорогу, но вдруг остановился. Что-то блеснуло в бурой луже у его ног. Не иначе как золото! И как ни странно,

это был не бесформенный кусок руды, только что извлеченный из тигля природы, а настоящее ювелирное изделие — обыкновенное, гладкое золотое кольцо. Присмотревшись, Кэсс увидел надпись: «Кэссу от Мэй».

Большинство золотоискателей суеверно, и Кэсс был таким же, как все. «Кэссу»! Это же его собственное имя! Он примерил кольцо. Оно влезло только на мизинец. Несомненно, это было кольцо с женской руки. Он поглядел на дорогу — нигде ни души. Лужицы на рыжей дороге уже начинали поблескивать и розоветь в лучах восходящего солнца, но он не обнаружил никаких следов владелицы драгоценной находки. Женщин в лагере не было, а из мужчин — Кэсс это отлично знал — такого кольца не носил никто. Совпадение же имен, если вспомнить, что имя-то у него довольно редкое, несомненно, должно было послужить поводом для бесконечных шуточек; его товарищи не терпели сентиментальных сувениров. Кэсс опустил блестящую безделку в карман и задумчиво побрел домой.

Часа через два, когда по дороге двинулась длинная и беспорядочная процессия золотоискателей, которые каждый день шли этим путем к ущелью Сверкающей Звезды, где мыли золото, Кэсс попробовал расспросить товарищей.

— Ты случаем не обронил чего-нибудь вчера на дороге? — осторожно выпытывал он.

— Я выронил бумажник с ценными бумагами всего тысяч на пятьдесят или шестьдесят, — небрежно отозвался Питер Драмонд. — Пустяки, конечно, но там были еще собственноручные письма иностранных монархов — ценности никакой, но дороги, как память. Если кто мне вернет письма, деньги пусть забирает себе... Я ведь не жадный, — со скучающим видом пояснил он.

Такую явную ложь золотоискатели пропустили мимо ушей и невозмутимо продолжали свой путь.

— Ну, а ты? — спросил Кэсс еще одного.

— А как же! Спустил Джеку Гемлину всю наличность — мы вчера в Уингдэме резались в покер, — задумчиво ответил тот. — Только уж эти денежки теперь с земли не подберешь!

Кэсс ничего так и не добился, кроме грубоватых шуток, и ему пришлось объясниться начистоту — он расска-

зал приятелям про свою находку и показал кольцо. Было высказано немало догадок, но только одна из них пришлось по вкусу честной компании в ее унылом утреннем настроении. (Это уныние объяснялось тяжестью в желудке, остающейся после жареной свинины и оладий, к тому же плохо прожеванных.) Итак, все согласились с тем, что кольцо обронил какой-нибудь грабитель с большой дороги, возвращавшийся с добычей в свое логово.

— На твоём месте,— сказал Драмонд мрачно,— я бы не стал похваться этим кольцом перед таким сборищем. Мне случалось видеть, как качаются на деревьях люди получше тебя, хотя члены комитета бдительных не нашли у них в кармане даже такой малости.

— Да и о том, что ты шляешься ни свет, ни заря по дорогам, тоже лучше помалкивать,—прибавил еще более мрачный пессимист.— Присяжным это может не понравиться.

Тут они все уныло разошлись, а простодушный Кэсс так и застыл с кольцом в руке, чувствуя, что уже навлек на себя самые черные подозрения своих товарищей — вряд ли нужно объяснять, что именно этого они и добились.

Когда Кэсс нашел в луже кольцо, он счел это счастливым предзнаменованием, но оно тем не менее не принесло удачи ни ему, ни его товарищам. Золотоискатели ежедневно промывали песок, но получали в награду за труд лишь скудные крохи, и это усугубляло ироническую мрачность жителей Сверкающей Звезды. Впрочем, если Кэсс и не извлек материальной выгоды из своей находки, кольцо все же расшевелило его вялое воображение; конечно, это — сомнительное и ненадежное лекарство от вялости и тоски, однако благодаря ему Кэсс как-то поднимался над однообразной рутинной неряшливой и беспечной жизни, которую он не без удовольствия влачил в старательском поселке. Он помнил мудрое предостережение товарищей и только ночью, юркнув под одеяло, доставал золотой ободок, осторожно надевал его на мизинец, и спалось ему тогда, по его словам, «куда как хорошо». Не могу сказать, вызывало ли оно какие-нибудь приятные сны или видения в те тихие и девственно-холодные весенние ночи, когда даже луна и большие плане-

ты теряются в льдисто-синей, как сталь, небесной тверди. Достаточно и того, что суеверная привязанность к кольцу пробудила в душе Кэсса мечты и надежды, смягчавшие прежний мрачный фатализм. Но эти мечты не сделали его прилежней, и доля Кэсса в совместных трудах лагеря оставалась ничтожной. К тому же они заставили его замкнуться в себе, что вначале даже принесло свои плоды, но из-за этого он лишился возможности черпать из кладезя той суровой практической мудрости, которая лежала в основе всех ворчливых суждений его товарищей.

— Провалиться мне на этом месте, если Кэсс не свихнулся из-за своего колечка,—заявил один резонер.— Носит его под рубашкой на веревочке.

А время шло, не дожидаясь, чтобы люди раскрыли тайну кольца. Горячее июньское солнце и буйные ночные ветры нагорий высушили бурые лужи на проезжей дороге в Сверкающей Звезде. Недолговечные травы, быстро выросшие на том месте, где были лужи, столь же быстро поблекли, а шоколадного цвета земля растрескалась от жары. Следы весны становились все более смутными и неопределенными, а потом и совсем исчезли, засыпанные тончайшей летней пылью.

В одну из своих долгих и бесцельных прогулок Кэсс углубился в густые заросли каштана и орешника и, сам того не ожидая, вышел на большую дорогу, которая вела к Броду Краснокожего Вождя. Он увидел зловещую тучу пыли, скрывшую даль, и сообразил, что здесь только что промчалась почтовая карета. Он уже стал до такой степени суеверным, что в любом, самом незначительном и обычном происшествии искал какой-то связи с тайной кольца и все ждал, что вдруг на нее прольется свет. Он машинально шарил взглядом по земле, словно надеялся, что какая-нибудь новая находка докажет, насколько он был прав в своих ожиданиях. И вот тут-то, прямо против того места, где он вышел из чащи на дорогу, перед его рассеянным взглядом возникла совсем молоденькая всадница, так неожиданно, будто она появилась из-под земли.

— Подите сюда! Пожалуйста, поскорее!

Кэсс было замер от удивления, а потом неуверенно направился к девушке.

— Я услышала, что кто-то идет через кусты, и подожидала,— объяснила девушка.— Быстрей! Это просто ужасно!

Однако вопреки ее словам Кэсс заметил, что в ее возбужденной скороговорке совершенно не чувствуется ни испуга, ни даже тревоги, а во взгляде, устремленном на него, он не прочел ничего, кроме интереса и любопытства.

— Вот тут, на этом самом месте,—продолжала она,— я въехала в кусты, чтобы срезать хлыст для лошади, и смотрите сами,—она быстро двинулась вперед, указывая дорогу.— Да глядите же! Видите, что я нашла!

Место, куда она его привела, находилось всего футов в тридцати от дороги. Кэсс не увидел ничего, кроме сиротливо валявшейся в траве мужской шляпы с высокой тульей. Это был цилиндр, новенький, блестящий, самой последней моды. Вызывающе элегантный и вместе с тем нелепый и беспомощный, он казался даже не просто смешным, хотя бы потому, что никак не вязался с пейзажем, не мог войти в него. И это так поразило Кэсса, что он застыл на месте, тревожно глядя на странный предмет.

— Да вы не туда смотрите,— нетерпеливо вскричала девушка.— Вот тут...

Кэсс посмотрел в ту сторону, куда она указывала хлыстом. Ему показалось, что там на земле валяется скомканная куртка, но тут же он заметил, что из распластанного рукава высовывается бледная, застывшая, бессильно сжатая в кулак рука; а дальше нелепо изогнутое и почти скрытое травой лежало нечто, что можно было бы принять за скинутые брюки, если бы не пара грубых башмаков, носки которых торчали вверх. Мертвец! Он был так явно, так ощутимо мертв, что жизнь, казалось, покинула даже его одежду; так уныло бессилен, ничтожен и осквернен одеждой, что и обнаженный труп на столе в анатомическом театре показался бы в сравнении не столь оскорбительным для человеческого достоинства. Запрокинутая голова провалилась в нору суслика, но бледное лицо и закрытые глаза были не так безнадежно мертвы, как эта гнусная одежда. К тому же вторая рука, лежавшая на вздутом животе, вызвала неуместную и

чудовищную мысль, что этот человек свалился и отсыпается после дружеской попойки.

— До чего он мерзок,— сказала девушка.— Но отчего он умер?

Хладнокровие и любопытство девушки подействовали на Кэсса, и, преодолевая отвращение, он осторожно приподнял голову мертвеца. Синеватая дырочка на правом виске и несколько коричневых, похожих на разбрызганную краску, пятен на лбу, на спутанных волосах и на воротнике — вот все, что они увидели.

— Поверните-ка его,— потребовала девушка, когда Кэсс хотел уже опустить голову мертвеца.— Может, есть еще одна рана?..

Кэсс смутно припомнил, что в странах с более старой цивилизацией существуют определенные правила, которые принято соблюдать, когда находят мертвое тело, и не стал производить дальнейшего следствия.

— Вам бы лучше уехать, мисс, не то вас, того гляди, вызовут свидетельницей в суд. А я отправлюсь в Брод Краснокожего Вождя — надо сообщить об этом следственному судье.

— Я поеду с вами,— заявила она.— Это ведь так интересно! Отчего ж мне и не быть свидетельницей? А хотите,— добавила она, не обращая внимания на удивленный взгляд Кэсса,— я подожду вас здесь...

— Но, видите ли... Не принято, чтобы молодые девушки...— начал было Кэсс, но она капризно перебила его:

— Это же я его нашла!

Право первооткрывателя священно для всех, кто ищет золото, и Кэсс не устоял перед ее доводом.

— Кто здесь следственный судья?

— Джо Хорнсби.

— Высокий, хромой? Тот, которого чуть не задрал гризли?

— Он самый...

— Ну, если так, то я сама поеду и привезу его через полчаса. Ждите!

— Но, мисс...

— Нечего спорить... Я еще такого, как здесь, никогда не видела и хочу досмотреть все до конца.

— А вы знакомы с Хорнсби? — спросил Кэсс, чувствуя невольное раздражение.

— Нет, но не беспокойтесь, я его привезу. — И она повернула лошадь к дороге.

Перед лицом этого олицетворения энергии Кэсс позабыл о мертвеце.

— А вы давно в наших краях, мисс? — спросил он.

— Около двух недель, — лаконично ответила она. — Ну, до скорого свидания! Кстати, поищите вокруг, можете, найдете пистолет или еще что-нибудь, хотя надежды мало: я здесь дважды все обшарила.

Взвилось облачко пыли — это лошадь выбралась на дорогу и загарцевала. Но всадница легко справилась с ней, раздался мерный топот копыт, и девушка умчалась.

Не прошло и пяти минут, как Кэсс уже раскаивался, что не отправился с ней: ему вовсе не улыбалось ждать в таком жутком месте. Впрочем, вокруг не было ничего зловещего; яркое и надежное солнце Калифорнии рассеивало любую крадущуюся тень, рожденную воображением или колыханием ветвей. Один раз, когда поднялся ветер, пустой цилиндр вдруг покатился по земле, но это было скорее смешно, потому что казалось, будто он просто свалился с головы пьяного. Кэсс попробовал поискать, нет ли чего на земле, но безуспешно и начал терять терпение. Как он проклинал себя за то, что согласился остаться! Он с удовольствием и сейчас удрал бы отсюда, и его удержал только стыд. Хорошее настроение не вернулось к нему даже к концу нудного полудня, когда на пыльном горизонте появились фигуры двух всадников, в которых он узнал Хорнсби и девушку.

Тут раздражение усилилось, так как ему показалось, что на него не обращают никакого внимания, — во всяком случае, Хорнсби только небрежно кивнул ему. С помощью девушки, чья живость и энергия явно приводили его в восторг, следственный судья перевернул труп и приступил к подробному осмотру. Он вывернул и тщательно обыскал карманы покойника. Несколько золотых монет, серебряный карандашик, нож, табакерка, вот и все. Ни малейшей возможности установить личность убитого. Девушка, стоя на коленях, с напряженным ин-



тересом следила за тем, что делает представитель власти, и вдруг радостно воскликнула:

— Здесь что-то есть! Выпало из-под его рубашки. Взгляните!

Большим и указательным пальцами она держала сложенный обрывок пожелтевшей газеты. Ее глаза сияли.

— Развернуть? Можно?

— Да.

— Это колечко,— сказала она.— Похоже на обручальное. На нем надпись. Вот: «Кэсс от Мэй».

Кэсс подался вперед.

— Это мое кольцо,— запинаясь, сказал он. Я его обронил. Оно тут ни при чем,— прибавил он, краснея под взглядами девушки и следователя.— Оно мое. Отдайте!

Но Хорнсби отстранил протянутую руку.

— Ну, нет! — многозначительно произнес он.

— Но ведь оно мое,— настаивал Кэсс; уже не сконфуженный тем, что его тайна разоблачена, но возмущенный и сердитый. — Я нашел это кольцо с полгода назад на дороге. Я... я его подобрал.

— Ловко,— мрачно заметил Хорнсби.— А на нем, значит, заранее была сделана надпись с вашим именем... Так, что ли?

— Это старая история,— сказал Кэсс, краснея под насмешливым и в то же время испытующим взглядом девушки.— Вся Сверкающая Звезда знает, что я нашел его.

— Значит, вам нетрудно будет это доказать,— хладнокровно ответил следственный судья.— Но в данный момент нашли его мы, и оно будет приобщено к делу до разбирательства.

Кэсс пожал плечами. Продолжать спор не стоило: это поставило бы его в еще более смешное положение в глазах девушки. Он повернулся и ушел, оставив свое сокровище в руках Хорнсби.

Разбирательство состоялось дня через два и было кратким и исчерпывающим. Личность покойного установить не удалось; за недостатком данных нельзя было решить, убийство это или самоубийство; никаких улик против возможного убийцы или убийц обнаружено не было. Но разбирательство вызвало большой интерес и наделало много шума благодаря главной свидетельнице —

молоденькой и очень красивой девушке. «Тело было обнаружено только благодаря смелости, настойчивости и уму мисс Портер»,— писал «Вестник Краснокожего Вождя».

Все присутствующие на суде невольно поддались очарованию этой прелестной молодой девушки.

«Мисс Портер лишь недавно приехала в наши края, но мы надеемся, что она станет постоянным жителем и почетным членом нашего общества, чтобы всегда служить примером для всех слабовольных и сентиментальных представителей так называемого сильного пола». Отпустив этот весьма прозрачный намек в адрес Кэсса Бэрда, «Вестник» продолжал: «Некоторый интерес вызвало маленькое обручальное кольцо, найденное на теле убитого, в котором сначала усмотрели возможный ключ к тайне. Однако из свидетельских показаний явствует, что кольцо это является собственностью некоего мистера Кэсса Бэрда, жителя Сверкающей Звезды, который появился на месте происшествия уже после того, как мисс Портер обнаружила труп. Мистер Кэсс Бэрд утверждает, что выронил кольцо, когда переворачивал тело несчастного. Чувствительность и смущение джентльмена, предъявившего претензии на кольцо, всех позабавили и удивили, так же как всеобщий дух солидарности жителей Сверкающей Звезды. Из показаний нашего воздыхателя, этого Стрефона<sup>1</sup> предгорий, выяснилось, однако, что этот знак любви был попросту найден им в луже на большой дороге за полгода до интересующих нас событий, а потому следственный судья благоразумно передал его на хранение судебным властям до обнаружения законного владельца».

Вот каким образом 13 сентября 186... года сокро-вище, найденное в Сверкающей Звезде, ускользнуло из рук того, кто его нашел.

Осенью тайна внезапно раскрылась. Канак Джо был схвачен за конокрадство, но с благородным чистосердечием признался и в более славном преступлении, а

---

<sup>1</sup> Влюбленный пастух из поэмы Ф. Сиднея «Аркадия».

именно в убийстве. Скорый и правый суд, который вершили над конокрадом, по обычаям тех краев, был внезапно приостановлен: ведь жертвой убийства был не кто иной, как таинственный незнакомец. Импровизированный судья и присяжные не совладали со своим любопытством.

— Это был честный бой,—гордо заявил обвиняемый, польщенный всеобщим вниманием,— а победил тот, кто быстрее схватился за оружие. Накануне вечером мы малость повздорили за картами в Лагранже: у меня четыре туза, и у него четыре туза, понимаете? Мы, конечно, тут же сцепились, но нас растащили, и что же нам оставалось, как не стрелять без предупреждения? Он ушел из Лагранжа на заре, а я двинулся напрямик через каштановую рощу и на дороге возле Краснокожего Вождя так прямо на него и напоролся. Я прицелился, как только увидел его, и сразу окликнул. Он с лошади — прыг и спрятался за нее, а сам за кобуру хватается, но кобыла встала на дыбы и стала пятиться, а он с ней — тут в кустах, тогда я его и достал пулей.

— И кобылу его забрал? — поинтересовался судья.

— Надо же было убраться оттуда,— скромно ответил игрок.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что Джо ничего не знает о покойнике — даже его имени. В Лагранже он был чужаком.

Погода в тот день стояла ветреная, но в поселке кипели еще более бурные споры из-за непривычной поддержки правосудия. Особенно жаркую перепалку вызвало предложение сначала повесить Джо за конокрадство, а потом предать суду за убийство, но другие настаивали на компромиссе: рассматривать убийство лишь как одно из доказательств конокрадства. Из Краснокожего Вождя на помощь явилась целая толпа, среди которой был сам следственный судья.

Кэсс Бэрд не участвовал в этой истории — она напоминала ему о его собственных недавних неприятностях — и отправился бродить с киркой, лотком и котомкой подалее от лагеря. Это снаряжение, как я уже предупреждал читателя, служит оправданием всякой бессмысленной трате времени и прикрывается не менее бессмысленным названием «старательство». После трех-

часовой прогулки он добрался до проезжей дороги на Краснокожего Вождя, почти скрытой непроглядными тучами пыли, поднимавшимися над ней при каждом порыве ветра, дувшего с гор. Место показалось Кэссу знакомым, но свежие ямки недалеко от дороги с кучами земли возле каждой свидетельствовали, что тут с тех пор побывал какой-то старатель. Пока Кэсс рылся в памяти, пыль внезапно улеглась, и он сообразил, что находится на том самом месте, где произошло убийство. Он вздрогнул: после суда он не был здесь ни разу. Чтобы восстановить всю картину, не хватало только бездыханного тела и живой, энергичной девушки, составлявшей такой разительный контраст к нему. Мертвеца действительно не было, но, оглянувшись, Кэсс увидел в нескольких шагах от себя мисс Портер верхом на той же лошади и такую же деловитую и наблюдательную, как в то утро, когда они познакомились. Его охватило суеверное волнение, и в нем проснулась прежняя враждебность.

Она небрежно кивнула ему:

— Я приехала сюда, чтобы освежить все это в памяти,— сказала она.— Мистер Хорнсби считает, что меня могут вызвать в Сверкающую Звезду и потребовать, чтобы я повторила свои показания.

Кэсс почему-то ударил киркой по дерну и ничего не ответил.

— А вы зачем здесь? — спросила она.

— Я пошел на разведку и случайно забрел сюда...

— Значит, это вы рыли здесь ямы?

— Нет,— сказал Кэсс, еле скрывая раздражение.— Только дурак или новичок станет рыть в таком месте.— Он умолк, почувствовав, что сказал грубость, и добавил урюмо: — Понимаете, никто здесь копать не станет.

Девушка рассмеялась, и над волевым подбородком сверкнули ослепительно белые зубы. Кэсс отвернулся.

— А, по-вашему, старатели не знают, что надо копать там, где пролита человеческая кровь?

Кэсс насторожился, услышав про новую примету, но глаз не поднял.

— Никогда такого не слышал,— насупившись, отрезал он.

— И вы называете себя калифорнийским старателем?

— Да.

Мисс Портер не могла не заметить, как грубо и неохотно он ей отвечает. Она взглянула на него, слегка покраснела и, взяв поводья, сказала:

— Вы совсем не похожи на других старателей, которых я встречала.

— И вы не похожи ни на одну из девушек с востока, которых я встречал.

— Что вы хотите этим сказать? — спросила она, сдерживая лошадь.

— То, что сказал, — упрямо отозвался он. Хотя этот ответ и был вполне разумным, Кэсс, однако, почувствовал, что его никак нельзя назвать галантным и достойным мужчины. Он хотел было объяснить, но мисс Портер усакала прежде, чем он раскрыл рот.

Он снова встретился с ней в тот же вечер. Судебный процесс был внезапно прерван, потому что явился шериф из Калавераса с отрядом, вырвал Джо из лап самозванного судилища Сверкающей Звезды и увез на юг, чтобы он предстал перед лицом правосудия, которое вершат более законные, хотя и не столь решительные судьи. Но к тому времени уже успели огласить протоколы следственного суда, так что история с кольцом снова всплыла на свет. Говорят, что подсудимый недоверчиво усмехнулся и пожелал взглянуть на таинственную находку. Ему показали кольцо. Он, возможно, стоял в тени своей будущей виселицы — скорее всего для этого воспользовались бы одной из сосен, осенявших бильярдную, где шел суд, — и все же подсудимый разразился таким искренним и чистосердечным смехом, что заразил и судью и присяжных. Когда тишина была восстановлена, судья потребовал объяснений. Вместо ответа послышалось только сдержанное хихиканье подсудимого.

— Может, кольцо это раньше принадлежало вам? — строго спросил судья, а присяжные и публика навестили уши и заранее заулыбались в предвкушении ответа. Но подсудимый же только посмотрел по сторонам, и глаза его сверкали злобным блеском.

— Говори, Джо, не стесняйся, — громким шепотом сказал один из присяжных, человек добродушный и смешливый, — покайся, мы окажем тебе снисхождение.

— Подсудимый, учтите, что ваша жизнь в опасно-

сти,—заявил судья с прежним достоинством.— Вы отказываетесь отвечать?

Джо небрежно закинул руку на спинку стула с таким видом (далее я цитирую вдохновенного очевидца), «будто душа его преисполнена христианской надежды, а на руках комбинация из четырех тузов», и сказал:

— Меня же обвиняют не в краже кольца, которое и нашел-то не я, а другой, если, конечно, верить его словам, и, значит, это кольцо никакого отношения к делу не имеет.

Но тут в бильярдную ворвался шериф из Калавераса, и тайна осталась нераскрытой.

В Сверкающей Звезде могли бы заранее предсказать, какое действие окажет эта новая насмешка на чувствительную душу Кэсса, если бы только они считались с такими свойствами души, как чувствительность. Он утратил былое добродушие и доверчивость, которая некогда толкнула его на откровенность, и постепенно ожесточился. Сначала он притворялся, будто сам посмеивается над своей рухнувшей мечтой, а горькое юношеское разочарование затаил глубоко в сердце; но, ополчившись на собственные чувства, он одновременно ополчился и на своих товарищей. На какое-то время он даже впал у них в немилость. Люди не терпят, когда человек, служивший мишенью для их шуток, вдруг уклоняется от этой роли. Тот, над которым смеются, всегда пользуется известным благожелательством, но горе ему, если он потребует, чтобы с ним обращались серьезно и с уважением,— пощады пусть не ждет.

Так обстояли дела в тот вечер, когда Кэсс Бэрд, признанный виновным в неприкрытой сентиментальности да еще в непоследовательности, занял место в почтовой карете и отправился в Брод Краснокожего Вождя. Обычно он садился рядом с кучером, но на этот раз изменил своей привычке, потому что на козлах сидели мисс Портер и Хорнби. Ни девушка, ни следственный судья не заметили Кэсса, и юноше это доставило какое-то мрачное удовлетворение; воспользовавшись тем, что больше пассажиров не было, он развалился на заднем сиденье и погрузился в горестные размышления. Он твердо решил покинуть Сверкающую Звезду, всерьез посвятить себя наживанию денег и вернуться к сво-

им товарищам в новом обличье — циничного, насмешливого богача и повергнуть их в полное смятение. Бедняга Кэсс еще не понимал, что преуспеть он может, только преодолев свое прошлое. Большая часть его детства прошла среди золотоискателей, и он еще недостаточно повзрослел, чтобы знать, что успех и удача не измеряются мерками этих людей. Луна освещала темную внутренность кареты слабым, поэтическим сиянием. Плавное колышание экипажа, который, пусть на одни сутки, но все же увозил его прочь, одиночество и тишина, бесконечные просторы за окнами, полные скрытых возможностей, — все это надеяло кольцо, хоть и осмеянное, не менее могучей силой, чем кольца Гигеса<sup>1</sup>. Кэсс грезил с открытыми глазами. Но внезапный толчок заставил его очнуться от грез. Карета остановилась. С козел доносилось два мужских голоса, один умоляющий, другой урезонивающий. Кэсс машинально потянулся к карману, где носил пистолет.

— Благодарю вас, но я требую, чтобы мне дали сойти.

Кэсс узнал голос мисс Портер. Затем последовал обмен торопливыми и приглушенными репликами между Хорнсби и кучером. Наконец послышался хриплый голос кучера:

— Если барышня желает ехать внутри, пусть едет.

Мисс Портер спрыгнула с козел. Хорнсби бросился за ней.

— Одну минуточку, мисс.— Он говорил сконфуженно, но не без грубоватой развязности.— Вы меня не поняли... Это недоразумение, ведь я только хотел...

Мисс Портер уже вскочила в карету.

Хорнсби ухватился за ручку дверцы. Мисс Портер крепко держала ее изнутри. Произошла некоторая борьба.

Для мальчишеского воображения Кэсса все это было лишь продолжением его грез. Но он очнулся от них мужчиной.

— Вы не хотите, чтобы он ехал тут? — спросил он и сам не узнал своего голоса.

— Нет!

---

<sup>1</sup> Кольцо Гигеса делало того, кто его надевал, невидимым.

Кэсс вцепился в руку Хорнсби, как молодой тигр. Увы, чего стоит рыцарственность, если ей противостоит грубая сила! Кэсс только и сделал, что распахнул дверь, вопреки мудрой тактике мисс Портер, обладавшей, боюсь, и более развитой мускулатурой, чем он; затем он с дикой яростью вцепился в горло мистеру Хорнсби и не отпускал его, спокойно дожидаясь конца. Зато с самого первого приступа ему удалось оттеснить Хорнсби на дорогу, залитую лунным светом.

— Эй, кто-нибудь, поддержите вожжи! — Это был голос «Горца Чарли», кучера. Этот необыкновенно прямолинейный человек соскочил с козел и разнял дерущихся.

— Вы едете внутри? — спросил Чарли у Кэсса. Кэсс не успел ответить, как из окна раздался голос мисс Портер:

— Да, внутри.

Чарли немедленно втокнул Кэсса в карету.

— А вы, — обратился он к Хорнсби, — купили место наверху. Ну-ка, полезайте, не то плохо будет.

Вероятно, Чарли так же быстро водворил мистера Хорнсби на его место, потому что через секунду карета уже катила по дороге.

Между тем Кэсс, водворенный внутрь насильственно, сначала уселся на колени мисс Портер, затем попробовал добраться до среднего сиденья, но как раз тут карета дернулась, и он навалился ей на плечо и сбил шляпку; все это отнюдь не напоминало исполненную достоинства сдержанность, которую Кэсс заранее решил напустить на себя. А мисс Портер уже пришла в хорошее настроение.

— Ну и грубиян же он! — сказала она, завязывая ленты шляпки под своим волевым подбородком и разглаживая полотняную накидку.

Кэсс хотел притвориться, будто уже все позабыл.

— Кто грубиян?.. Ах, да, конечно... — рассеянно сказал он.

— Мне, в сущности, следовало бы поблагодарить вас, — улыбаясь, сказала она, — но, право же, я не пустила бы его, если бы вы не втянули его руку в окошко. Посмотрите, я вам сейчас покажу. Держите ручку дверцы. А я крепко держу запор. Видите, вы не можете повернуть ручку.



Она действительно крепко держала замок. Рука у нее была сильная и все же нежная; их пальцы соприкоснулись — совсем белые в лунном свете. Кэсс ничего не ответил, но тихо опустился на сиденье со странным ощущением в пальцах, которые дотронулись до ее руки. Он сидел в темном углу и, поскольку она не могла его видеть, решил временно отказаться от благородной сдержанности и рассмотреть лицо своей спутницы. Ему пришлось в голову, что он ни разу еще не видел ее как следует. Оказывается, она вовсе не такая высокая. Глаза не очень большие, но с поволокой, бархатные и чуть выпуклые. Нос самый обыкновенный, кожа тусклая, чуть побледнее около углов рта, на носу из-за веснушек, мелких, как перец. Рот очерчен твердо, но алые губы кажутся влажными, как и ее глаза. Она отодвинулась в угол, а руку продела в свисающую сверху ременную петлю, и ее фигура, изящная, несмотря на свою пышность, плавно покачивалась в такт движению кареты. А потом она и вовсе позабыла, что в темный угол напротив забился другой пассажир, и, закинув слегка голову, соскользнула чуть пониже, а ножки в красивых туфлях непринужденно положила на среднее сиденье. В этой позе она была удивительно мила.

Прошло минут пять. Она глядела на луну. Кэсс Бэрд уже чувствовал, что его исполненная достоинства сдержанность смахивает на неуклюжую застенчивость, и решил сменить ее на холодную вежливость.

— Надеюсь, мисс, вы не слишком испугались этого... этого... — начал он.

— Я? — Она выпрямилась, бросила удивленный взгляд в темный угол и снова устроилась в прежней позе. — Господи, конечно, нет...

Прошло еще пять минут. Она, очевидно, совсем забыла о его присутствии. Это уже было похоже на грубость. Он снова решил укрыться за щитом сдержанности. Но теперь к ней примешивалась легкая обида.

И все же, до чего лунный свет смягчает ее черты! Даже квадратный подбородок как будто утратил выражение волевой и деловой практичности, которое было так неприятно Кэссу и словно служило жестоким укором его собственной слабости. А эти влажные с поволокой глаза, как они блестят! Но влажный блеск, кажется, сосредото-

чился в уголках глаз и вдруг соскользнул—кап! — и стекает по щеке... Не может быть!... Неужели она плачет?..

Сердце Кэсса растаяло. Он шевельнулся. Но мисс Портер высунулась в окно, и, когда через секунду заняла прежнее положение, глаза у нее были сухие.

— Когда много ездешь, с кем только не сталкиваешься,— заявил Кэсс с философской жизнерадостностью (так ему по крайней мере казалось).

— Может, и так. Но я-то этого не замечала. До сих пор никто со мной груб не был. А я еще вот такая маленькая была, а уже ездила по всей стране и с самыми разными людьми. И всегда, всегда поступала, как находила нужным, и никаких неприятностей. Я всегда делаю, что хочу. А почему бы и нет? Другим это, может, не нравится. А мне нравится. Я люблю, чтобы было интересно. Я хочу увидеть все, на что стоит посмотреть. Не понимаю, почему я должна таскать за собой провожатого только потому, что я девушка, и я не понимаю, почему я не могу делать того, что делает каждый мужчина, если в этом нет ничего дурного. Согласны вы со мной? Может, да, а может, нет. Может, вам нравятся барышни, которые вечно сидят дома и бездельничают, бренчат на фортепьяно и читают романы... Может, вы считаете, что раз я всего этого не люблю и не притворяюсь, будто люблю, то я бог знает кто!

Она говорила резко и вызывающе, так явно отвечая Кэссу на все его невысказанные упреки, что он несколько не удивился, когда она заговорила напрямик.

— Я знаю, вам очень не понравилось, что я поехала за следственным судьей, за этим Хорнсби, после того как мы нашли труп.

— Зато это понравилось Хорнсби,— язвительно вставил Кэсс.

— На что вы намекаете? — резко спросила она.

— Вы, как будто, были с ним в дружбе, пока...

— Пока он не оскорбил меня, вот только что, при вас... Вы об этом?

— Пока он не решил,— запинаясь, произнес Кэсс,— что раз вы... не так... вы понимаете... если вы не так осмотрительны, как другие девушки, то ему можно позволить себе кое-какие вольности.

— И только потому, что я осмелилась проехать с ним

вдвоем целую милю, чтобы узнать, какие вещи случаются в жизни, и попробовала быть полезной вместо того, чтобы гулять по Главной улице и глазеть на витрины.

— ...сияя красотой,— перебил Кэсс.— Но эта беспомощная, совсем несвойственная Кэссу попытка сказать комплимент встретила внезапный отпор.

Мисс Портер выпрямилась и посмотрела в окно.

— Вам хочется, чтобы остаток пути я прошла пешком?

— Что вы! — вскричал Кэсс, покраснев до ушей и чувствуя себя последним наглецом.

— В таком случае больше не говорите ничего подобного.

Наступило неловкое молчание.

— Как жаль, что я не мужчина,— сказала она вдруг вполне искренне и даже с горечью.

Кэсс Бэрд был слишком молод и не умудрен опытом и еще не успел заметить, что подобные жалобы вырываются из уст тех женщин, у которых меньше всего оснований сетовать на свою принадлежность к слабому полу; если бы не выговор, который ему только что сделали, он, несомненно, горячо запротестовал бы — как всегда протестуют мужчины, если подобное желание выражают нежные, розовые губки, хотя, как ни странно, они предпочитают помалкивать, когда в их присутствии мужеподобная старая дева начинает восхвалять женщин. Я уверен, впрочем, что мисс Портер была вполне искренна, потому что через секунду она продолжала, слегка надув губки:

— А ведь я бегала смотреть на все пожары в Сакраменто. Когда мне не было еще десяти. Я видела, как сгорел театр. И никто меня тогда за это не осуждал.

Кэсс не удержался и спросил, а как смотрят родители на ее мальчишеские вкусы. Ответ последовал характерный для нее, хоть и не совсем удовлетворительный:

— Как смотреть? Пусть только попробуют что-нибудь сказать!

Карета миновала крутой поворот, и лунный свет со свойственным ему непостоянством покинул мисс Портер и разыскал на переднем сиденье Кэсса. Он заиграл на шелковистых усах юноши и на его длинных ресницах, а попутно смягчил загар на его щеках.

— Что у вас с шеей?— внезапно спросила девушка.

Кэсс скосил глаза на грудь и густо покраснел, заметив, что ворот его шикарной матросской рубашки разорван. Однако в прорехе виднелась не только белая и нежная, почти девическая кожа; вся рубашка спереди была выпачкана в крови, сочившейся из небольшой ранки на плече. Кэсс вспомнил, что во время драки с Хорнсби он почувствовал боль в этом месте.

У девушки заблестели глаза.

— Я перевяжу вас,— живо сказала она.— Не возражайте. Я умею делать перевязки. Идите сюда... Нет, сидите. Я сама подойду к вам.

И она подошла, перешагнув через среднюю скамейку, и опустилась рядом с ним. Снова он ощутил прикосновение ее волшебных пальцев и почувствовал ее дыхание на своей груди, когда она нагнулась к нему.

— Это пустяки,— сказал он поспешно, выведенный из равновесия не столько раной, сколько лечением.

— Дайте мне свою фляжку,—приказала она, не обращая внимания на его слова. Он почувствовал щиплющую боль, когда она промывала ранку спиртом, и пришел в себя.

— Ну вот,—продолжала она, накладывая на его плечо импровизированную повязку из своего платка и компресс из его галстука.— А теперь застегните куртку, не то простудитесь.

Она настояла, чтобы он дал ей самой застегнуть на нем куртку; женщины, конечно, ценят мужскую силу, но еще больше они любят прийти на помощь мужчине в его слабости. И все же после этого она смущенно отодвинулась от Кэсса и сама удивилась своему смущению: откуда оно могло взяться — ведь кожа у него тоньше, прикосновения нежнее, одежда чище и — хотя этого не следовало бы говорить — его дыхание пахнет куда приятнее, чем у большинства мужчин, в обществе которых она оказывалась благодаря своим мальчишеским привычкам, чем даже у ее собственного отца. Подумав, она решила, что даже ее мать не источает такого явного благоухания. Помолчав, мисс Портер спросила:

— Что вы намерены делать с Хорнсби?

Кэсс еще не успел об этом подумать. Вспышка недолговечного гнева ушла в прошлое вместе с причиной, ее

породившей. Кэсс ничуть не боялся своего противника, но был бы рад никогда с ним больше не встречаться. Он сказал только:

— Это будет зависеть от него.

— О, вы больше о нем никогда не услышите,— уверенно заявила она.— А все же вам не мешало бы поразвить мускулы. Они у вас, как у девочки...— Но тут она смутилась и прикусила язык.

— Как мне поступить с вашим платком?— спросил бедный Кэсс, которому не терпелось переменить тему.

— Если хотите, оставьте его себе. Только не показывайте его каждому встречному, как то кольцо.— Заметив, как он огорчился, она поспешила добавить: — Конечно, это пустяки. Будь кольцо вам дорого, вы не стали бы показывать его и болтать. Разве нет?

От этих слов ему стало легче: должно быть, так оно и есть, только раньше это как-то не приходило ему в голову.

— А вы действительно его нашли? — спросила мисс Портер серьезно.— Скажите честно, нашли?

— Да.

— И у вас нет никакой знакомой Мэй?

— Насколько мне известно, нет,— засмеялся Кэсс, втайне обрадованный этим вопросом.

Но мисс Портер недоверчиво посмотрела на него, потом вскочила и забралась обратно на свое старое место.

— Знаете что, лучше все-таки верните мне мой платок.

Кэсс начал расстегивать куртку.

— Нет, нет, не смейте! Вы простудитесь насмерть!— вскричала девушка.

И Кэсс, чтобы избежать смертельной простуды, снова застегнул куртку, сохранив платок и затаив в душе радость.

Они примолкли, и вскоре карета, подпрыгивая и дребезжа, начала спускаться по склону к Броду Краснокожего Вождя. Они проехали — от огонька к огоньку — мимо беспорядочно разбросанных домов Главной улицы. Мисс Портер не стала дожидаться, чтобы Кэсс помог ей выйти, и при свете, падавшем из окон соседних домов, под гул оживленных голосов соскочила с подножки, опередив Чарли, который еще только слезал с высоких козел. Они обменялись несколькими невнятными фразами.

— Можете на меня положиться, мисс, — сказал Чарли, а мисс Портер обернулась с дружеской улыбкой к Кэссу, весело протянула ему руку, мягко ответила на его пожатие и тут же исчезла.

Через несколько дней Чарли заметил Кэсса на повороте у поселка Сверкающая Звезда и, остановив карету, вручил ему маленький сверток.

— Мисс Портер велела передать это вам... Молчите и слушайте. Это то самое чертовое кольцо, о котором трубили во всех газетах. Она выманила его у олуха Бумпойнтера, нашего судьи. А мой совет — выкиньте это кольцо на дорогу, пусть его кто угодно поднимет и тоже на нем свихнется. Вот и все!

— А она ничего больше не сказала? — нетерпеливо спросил Кэсс и небрежно сунул в карман вновь обретенное сокровище.

— Ах, да... Вспомнил. Она просила, чтобы я не допустил драки между вами с Хорнсби. Так вот, не задевайте его, а я уж присмотрю, чтобы он не задел вас.

И, многозначительно подмигнув, Чарли стегнул лошадей и уехал.

Кэсс развернул сверток. Кроме кольца, там ничего не оказалось. Другое дело, если б туда была вложена записка с приветом или хоть с шуткой, но так Кэсс воспринял это как обиду. Значит, она считает его сумасшедшим? Или думает, что он все еще оплакивает потерю кольца, и решила вознаградить его таким способом за ту небольшую услугу, что он ей оказал? В первую минуту он едва не последовал совету Чарли швырнуть этот символ безумия и общего презрения прямо в пыль горной дороги. И в довершение всего она еще упростила Чарли защитить его от Хорнсби! Он сейчас же пойдет домой и немедленно отправит ей обратно платок, который она ему подарила. Но его мстительный порыв был охлажден далеко не романтическими соображениями: хотя в это самое утро в тишине своей одинокой лачуги он и выстирал этот платок, но выгладить его было нечем, а посылать пересушенную и неглаженую тряпку нельзя.

Два или три дня, а может, неделю, а может, даже две. Кэсс терзался воспоминанием об этой обиде. Потом весть о том, что суд штата оправдал Канака Джо, напомнил

лагерю о кольце, и вновь острьяки принялись отпускать шуточки. Однако интерес к этой истории быстро угас; дела поселка Сверкающая Звезда шли все хуже и хуже; в горах выпал ранний снег, промывка на берегу реки не принесла ничего, кроме расходов,— при таких обстоятельствах не было уже места грубоватому и своеобразному юмору, который расцвечивал ушедшую молодость этих людей и былые дни процветания. Прииск Сверкающая Звезда, пользуясь их собственным мрачным жаргоном, «вышел в тираж». Не истощился, не был выработан, не опустел, а вылетел в трубу за один год рискованных спекуляций.

Кэсс мужественно сражался с неудачами и даже удостоился скупой похвалы товарищей. Более того, он сам в душе хвалил себя, потому что окреп, стал сильнее, обрел здоровье, волю и веру в себя. Он сумел использовать свое живое воображение ради практических целей и даже кое-что открыл, к большому удивлению своих более опытных, но чересчур консервативных товарищей. Но ни открытия, сделанные Кэссом, ни его труды не могли быть немедленно обращены в наличные; между тем Сверкающая Звезда, которая ежедневно поглощала столько фунтов свинины и муки, к сожалению, не производила их ежедневного эквивалента в золоте. Сверкающая Звезда лишилась кредита. Сверкающая Звезда голодала, опускалась, ходила в лохмотьях. Сверкающая Звезда угасала.

Кэсс разделял общие неудачи, но, кроме того, у него были и собственные беды. Он твердо решил забыть и мисс Портер и все, что было связано со злосчастным кольцом, но, на беду, именно мисс Портер никак не поддавалась забвению; ее гибкая фигура, озаренная неверным лунным светом, предстала перед ним в его убогой лачуге, ее голос вливался в журчание реки, когда он промывал на берегу песок, а во сне он видел ее глаза и снова чувствовал прикосновение ее пальцев. Отчасти по этой причине, отчасти потому, что его одежда совсем истрепалась, Кэсс избегал бывать в Броде Краснокожего Вождя и других местах, где мог ее встретить. Но, несмотря на все предосторожности, он однажды увидел ее в коляске, одетой в такое нарядное и модное платье, что спрятался за придорожной ивой, лишь бы она проехала мимо, не за-

метив его. Он поглядел на свою одежду, выпачканную красной глиной, на свои руки, загрубевшие и покрытые черными трещинами, и на минуту почти возненавидел ее. Его товарищи почти никогда не упоминали о ней в своих разговорах, очевидно, бессознательно оберегая его от искушения, которое могло положить конец его спартанским зарокам! Но время от времени ему все же приходилось слышать, что ее видели то на званом вечере, то на балу, и, видимо, ей нравились эти легкомысленные развлечения, хотя на словах она и осуждала их. Однажды в субботу утром — дело было ранней весной — он возвращался из соседнего города после безуспешной попытки уговорить местного богача вложить капитал в разработки Сверкающей Звезды. Он размышлял о тупости этого богача — разве можно по одежде и внешнему виду одного человека судить о будущем поселка, переживающего тяжкое время? — и у него так разболелись ноги, что он воспользовался приглашением владельца догнавшей его повозки и забрался в нее. Медлительная повозка, громыхая, проезжала мимо новой церкви на окраине города в ту самую минуту, когда служба кончилась и прихожане начали расходиться. Спрыгнуть и удрать Кэсс все равно бы не успел, а попросить своего нового друга подхлестнуть лошадь он не решился. Мучаясь сознанием, что он небрит и оборван, Кэсс упорно смотрел вниз на дорогу. И вдруг кто-то окликнул его по имени, и от этого голоса он обомлел. Это была мисс Портер, чарующее видение в шелку и кружевах, с пасхальным букетом в белой ручке, — и все же она почти бежала рядом с повозкой с прежней своей смелостью и независимостью. Возчик, пораженный при виде этой элегантности, остановил лошадь, а она, задыхаясь, крикнула:

— Зачем вы заставили меня бежать так долго, и почему вы даже не оглянулись?

Кэсс пробормотал, что он ее не видел, и схватил газету, чтобы прикрыть заплаты на коленях.

— И вы не нарочно смотрели в сторону?

— Вовсе нет, — ответил Кэсс.

— Почему вы ни разу не появлялись в Краснокожем Вожде? Почему ничего не ответили, когда я послала вам кольцо? — быстро спросила она.



— Но вы послали только кольцо и ничего больше,— сказал, краснея, Кэсс и покосился на возчика.

— Так на это же и надо было ответить, дурень!

Кэсс недоумевающе смотрел на нее. Возчик улыбнулся. Мисс Портер глядела на повозку.

— Какая милая повозочка! Мне хотелось бы прокатиться в ней.— И она лукаво оглянулась на прихожан, которые, сгорая от любопытства, мешкали на дороге.— Можно?

Кэсс решительно воспротивился этому. В повозке грязно, да это, должно быть, и для здоровья вредно, ей будет неудобно, а к тому же ему ехать недалеко, и она только испортит платье...

— Ну конечно,— не без горечи сказала она.— Мое платье следует поберечь! И... что еще вам не нравится?

— Людям это может показаться странным, и они решат, что это я пригласил вас.

— А на самом деле я сама напрашиваюсь. Ну, спасибо. До свидания...

Она помахала рукой и отошла от повозки. Кэсс пожертвовал бы всем на свете, лишь бы вернуть ее, но не сделал для этого ни одного движения, и повозка покатила дальше в хмуром молчании. На первом перекрестке Кэсс сошел.

— Спасибо,— сказал он вознице.

— Не стоит благодарности,— ответил этот джентльмен и, с любопытством поглядев на Кэсса, прибавил:— Только следующий раз, когда такая девушка будет проситься, чтобы я ее покатаю, я не стану считаться со всякими слюнтяями. Прощайте, молодой человек. И не выходите на улицу в поздний час. А то вас того и гляди похитит какая-нибудь девица, и что тогда скажет ваша мамаша!

После этого нашему герою оставалось только принять гордый вид и удалиться. Но его терзала мысль, что эффект несколько портила большая заплатка на брюках, которая начала свою жизнь мучным мешком и по иронии судьбы еще хранила надпись «высший сорт, экстра».

Лето принесло Сверкающей Звезде тепло, радостные ожидания и цветы, если не процветание. Дни стали длиннее, и природа вошла в более тесное соприкосновение с людьми, воскресив в них надежду и вытеснив уны-

ние, порожденное зимним одиночеством. К тому же привлечь в эти пустынные горы нужный капитал было гораздо легче теперь, чем в дни, когда разлившиеся речки нельзя перейти вброд, а все тропы засыпаны снегом. И вот однажды в тихий, безмятежный вечер, когда Кэсс курил на пороге своей мрачной лачуги, он вдруг с изумлением увидел перед собой десяток старателей. Шествие возглавлял Питер Драмонд, размахивая на ходу газетой, как победным стягом.

— Эй, Кэсс, старина, ну и повезло же! — задыхаясь, крикнул он, остановившись перед Кэссом и отталкивая нетерпеливых товарищей.

— Кому повезло? — спросил Кэсс, и в голосе его прозвучало сомнение.

— Тебе! Теперь ты на коне! Будешь грести деньги лопатой! Бывает же, чтобы так пофартило человеку! Да слушай же!

Он развернул газету и раздражающе медленно прочел:

«Нашедшего простое золотое кольцо с надписью «Кэссу от Мэй», подобранный, по слухам, на дороге недалеко от поселка Сверкающая Звезда 4 марта 186... года, просят обратиться в банкирскую контору «Букхем и сыновья», Сакраменто, Уай-стрит, 1007, где он получит приличное вознаграждение за возвращение кольца, либо за сообщение фактов, относящихся к этой находке, либо же за точное описание местности, где оно было найдено».

Кэсс в ярости вскочил и в упор посмотрел на своих товарищей.

— Нет, нет! — запротестовали они наперебой. — Это истинная правда... Ей-богу! Мы не шутим, Кэсс!..

— На, сам прочти в газете... Вот «Юнион», Сакраменто, вчерашний номер. Можешь убедиться. — И Драмонд сунул ему истрепанную газету. — Подумай только, — прибавил он, — как тебе дьявольски повезло. Даже самого кольца с тебя не требуют. Если эта старая сова Бумпойнтер откажется вернуть его, ты все равно получишь награду.

— И никто не должен являться, кроме нашедшего кольца, — перебил его другой. — Так сказано в газете...

Если Канак Джо, например, вздумает явиться, или Бумпойнтер, они останутся с носом.

— Это тебя требуют, Кэсс,— прибавил третий,— сказано все так ясно, будто твое имя пропечатали...

Кэсс, соблюдая интересы мисс Портер и свои собственные, ни разу не обмолвился о том, что кольцо вернулось к нему; несомненно, помалкивал и Чарли. И сейчас нельзя было открыть этот секрет, и поэтому он был рад, что кольцо утратило первенствующее значение во всем этом таинственном деле. Но в чем заключалась тайна, и почему кольцо оказалось на втором плане, а он сам на первом? Почему так настойчиво разыскивали того, кто нашел кольцо?

— Дело ясно,— сказал Драмонд, как бы отвечая на мысли Кэсса.— Девушка — это, конечно, девушка — прочла всю историю про кольцо в газетах и вроде как влюбилась в тебя. И не важно, кто был тот Кэсс, даже если он и сейчас есть, потому что она уже от него отделилась, можешь не сомневаться.

— Так ему и надо, чтоб не терял кольцо своей девушки! А ведь он еще и скрыть это хотел,— заявил кто-то.

— А у нее сердце растаяло, когда она услышала, как ты держишься за это кольцо, чего возвышеннее! — сказал Драмонд, совершенно позабыв, какие шуточки он отпускал раньше, издеваясь над такой возвышенностью чувств.

Теперь каждый человек в поселке считал, что Сверкающая Звезда выпестовала истинного рыцаря и такое благородство будет теперь вознаграждено звонкой монетой. Никто не сомневался, что «она» дочь того самого банкира, в чью контору вызывают Кэсса, и, разумеется, счастливый отец не сможет не выручить Сверкающую Звезду. А даже если банкир ей не родственник, разве он упустит счастливую возможность вложить капитал в прииск, где земля родит обручальные кольца и, как выразился Джим Фокьер, «людей, которые умеют их хранить». Именно Джим, уроженец Виргинии, отвел Кэсса в сторону и сделал ему следующее великодушное предложение: «Если ты с этой девушкой каши не сваришь — на что тебе хромоножка да еще рыжая! — Тут следует упомянуть, что Сверкающая

Звезда без всяких оснований приписывала именно такие малособлазнительные свойства таинственной незнакомке, которая дала объявление.— Так вот, если так получится, познакомь с ней меня. Ты можешь ей шепнуть, что я вместе с тобой молился на это кольцо и по воскресеньям просил, чтобы ты дал мне его поносить... Если у меня с ней получится, ты не сомневайся, я тебя возьму в долю».

Теперь предстояло разрешить серьезную трудность и приодеть Кэсса для поездки — ведь теперь он был как бы полномочным представителем Сверкающей Звезды. Нечего и говорить, что в одежде Кэсса можно было бы ухаживать разве что за босоногой пастушкой, тогда как незнакомка, несомненно, принадлежала к более почтенному кругу.

— А может, даже хорошо, если он явится в таком виде,— предположил Фокьер.— Пусть думают, что он все на свете позабыл от любви.

Кэсс горячо против этого возражал, и его подержала вся молодежь. В конце концов в Краснокожем Вожде были куплены, разумеется, в кредит, после предъявления газеты, белые брюки, красная рубашка, широкий черный шелковый шарф и панама. Холостяк Драмонд ради такого случая одолжил Кэссу массивное обручальное кольцо, чтобы оно послужило тонким намеком, а в последний момент Фокьер заколол шарф огромной булавкой из золотоносного кварца.

— Она вроде как свидетельствует о богатстве наших мест, и старику (старшему компаньону банкирской конторы «Букхем и сыновья») незачем знать, что я выиграл ее в покер во Фриско,— объяснил Фокьер.— Если у тебя не выйдет с девицей, ты мне верни булавку, и я сам надену ее, когда стану пытаться счастье.

На расходы Кэссу вручили сорок долларов, и весь поселок пошел провожать его до перекрестка, где он должен был дожидаться почтовой кареты, которая и увезла его в Сакраменто под напутственные вопли и револьверную стрельбу.

Нечего и говорить, что Кэсс не разделял нелепых надежд своих товарищей и безоговорочно отвергал все их матримониальные планы. Он держался спокойно, не спорил, но действовать собирался по собственному

разумению. Однако эта ситуация была чревата заманчивыми неожиданностями, и хотя он давно отказался от своих романтических грез, ему было приятно, что они могли стать действительностью. Кроме того, ему доставляла удовольствие и мысль о том, как мисс Портер, узнав про все это, пожалеет, что не сумела вовремя оценить его чувства. А вдруг он действительно оказался предметом страсти какой-то богачки? Тут-то он и докажет мисс Портер, что ради нее способен на любые жертвы. Он сидел в полном одиночестве на имперiale и обдумывал каждое слово воображаемого разговора с ней, как это часто и с таким удовольствием делают мечтательные люди, причем сам разговор никогда не бывает похож на то, чем он был в замысле. «Дражайшая мисс Портер,— мысленно говорил Кэсс, обращаясь к спине кучера,— если я оставался верным мечте моей юности, хотя не было никакой надежды, что она сбудется, неужели вы думаете, что ради богатства я способен изменить моей единственной настоящей любви, которая пришла ей на смену?» Незаметно промелькнул целый час, истраченный на сочинение и заучивание этой красноречивой тирады, но от непрерывного и быстрого ее повторения в нее незаметно вкрадывались кое-какие на первый взгляд не слишком существенные изменения, и вскоре Кэсс с немалым пылом повторял: «Если я способен изменить мечте... и прочее и прочее, то неужели вы думаете, что я останусь верным любви?» К тому же мисс Портер слыла богатой, а незнакомка могла оказаться бедной, и тогда заготовленная речь утратила бы всякий смысл.

Банкирская контора «Букхем и сыновья» выглядела отнюдь не таинственно. В ней царил дух практицизма и деловитости; она была как-то вся распахнута и прозрачна, как стекло; никто не решился бы оставить здесь свою тайну, потому что она неизбежно пошла бы гулять по всем конторам. У Кэсса появилось неприятное ощущение, что он сам, и вся эта история, и его сокровище совершенно неуместны в этом храме денег и наживы, где увядают все мечты. В смущении он неуклюже держал в вытянутой руке конверт с кольцом и газетной вырезкой, словно протягивая пропуск в это святилище; ближайший клерк взял у него конверт, заглянул

внутрь, вынул кольцо, вернул все Кэссу, и отрывисто сказал: «Не сюда, молодой человек. Обратитесь по соседству»,— и тотчас обратился к следующему посетителю.

Кэсс вышел за дверь, обнаружил по соседству лавку закладчика и вернулся обратно, слегка покраснев и с опасным огоньком в глазах.

— Я пришел по объявлению,— начал он снова.

Клерк бросил беглый взгляд на шарф и булавку Кэсса.

— Поздно,— отрезал он.— Место занято еще вчера.

Кэсс побледнел, как полотно. Однако ему на помощь пришло нажитое в Сверкающей Звезде умение не лазить за ответом в карман.

— Если вы о своем месте,— сказал он невозмутимо,— так оно вам широковато! Еще с десяток тут уместится. А я пришел вот по этому объявлению. Если самого Букхема здесь сейчас нет, извольте вызвать кого-нибудь из его сыновей, только взрослого, не младенца.

Объявление и смешки стоявших вокруг посетителей оказали свое действие. Нагловатый клерк пошел в соседнюю комнату и, вернувшись, проводил Кэсса в приемную банкира. Сердце Кэсса вновь упало, едва он очутился лицом к лицу со смуглым седым господином; всем своим существом, голосом, манерами, чертами лица и костюмом этот человек представлял полную противоположность Кэссу с его кольцом и романтическими фантазиями. Юноша сообщил о своем деле и показал кольцо. Банкир еле взглянул на кольцо и нетерпеливо сказал:

— Ну, а где ваши документы?..

— Мои документы?

— Да... Что-нибудь, что могло бы послужить удостоверением вашей личности... Вы сказали, что вас зовут Кэсс Бэрд. Так! А чем вы можете это доказать? Откуда мне знать, кто вы...

Чувствительному человеку нельзя нанести большей обиды, чем потребовав у него удостоверение личности, заподозрив, что он выдает себя за кого-то другого. Кэссу показалось унижительным, что ему не поверили на слово, и он растерялся, потому что не мог сейчас ничего

привести в подтверждение истины. Банкир смотрел на него внимательно, но не без доброжелательства.

— Ну что ж,— сказал он наконец,— это, в сущности, не мое дело. Если моя клиентка удовлетворится тем, что вы ей сообщите, прекрасно. Думаю, что она удовлетворится. Мое дело — вас предупредить. Я вас спросил об удостоверении личности, чтобы оградить ее от всякого рода самозванцев. Но вы на такого не похожи. Вот ее визитная карточка. До свидания.

«Мисс Мортимер».

Значит, она не дочь банкира! Первая из иллюзий Сверкающей Звезды рухнула. Однако заботливость, с какой банкир оберегал ее от мошенников, указывала на то, что эта женщина состоятельная. Кэсс уже думать позабыл об ее молодости и красоте.

Идти ему пришлось недалеко. С бьющимся сердцем он позвонил у дверей солидно выглядевшего дома и был приглашен в гостиную. Инстинктивно он почувствовал, что эта комната служит лишь временным обиталищем,— в ней было неуловимое нечто, присущее дорогим гостиницам и пансионатам, а когда дверь открылась и в комнату вошла высокая женщина в трауре, он окончательно убедился в том, что гостиница и ее хозяйка мало соответствуют друг другу. Она пригласила его сесть с улыбкой одновременно и привычно фамильярной и натянутой чопорной.

Мисс Мортимер была все еще молода, красива, все еще хорошо одета и все еще привлекательна. С первой до последней минуты Кэсса не покидало чувство, что она отлично о нем осведомлена. Это избавило его от необходимости «удостоверять свою личность», но вместе с тем ставило его в несколько невыгодное положение. И он еще острее почувствовал, как он молод и как ему не хватает опыта.

— Надеюсь, вы не усомнитесь,— сказала она,— что я хочу расспросить вас только, чтобы успокоить свое сердце, других целей у меня нет.— Тут она печально улыбнулась.— Иначе я потребовала бы законного следствия и вас расспрашивали бы люди более хладнокровные, чем я, и меньше меня заинтересованные в этом деле. Но мне кажется — нет, я чувствую, что вам можно довериться. Быть может, мы, женщины, неразумны, что

так слепо доверяем своей интуиции, а когда вы узнаете мою историю, у вас могут появиться веские доводы против этой нашей слабости, но я не ошиблась, когда подумала, что вы тоже, — опять грустная улыбка —...что вы тоже разделяете мою веру в интуицию? — Она умолкла, плотно сжала губы, стиснула руки на коленях и снова заговорила: — Итак, вы нашли это кольцо на дороге месяца за три до... до.... ведь вы понимаете, о чем я говорю?.. До того, как был обнаружен убитый...

— Да.

— Вы полагали, что кольцо обронил случайный прохожий?

— Да, я так думаю... во всяком случае, оно не принадлежало никому из жителей нашего поселка.

— Вы нашли его около самого своего дома или подальше на дороге?

— Около дома.

— А вы уверены в этом? — И она так печально и нежно улыбнулась, что Кэсс почему-то покраснел.

— Я живу почти у самой дороги, — пояснил он.

— А! И вы уверены, что там больше ничего не было — письма или конверта?

— Ничего.

— И вы сберегли это кольцо из-за странного совпадения имен?

— Да.

— И это единственная причина?

— Да, единственная... — Но Кэсс почувствовал, что его щеки запылали.

— Простите, я еще раз задам вопрос, на который вы уже ответили, но это так для меня важно! На суде пробовали доказать, что кольцо было найдено... на теле этого несчастного. Но вы утверждаете, что это не так.

— Могу поклясться.

— О боже... какой негодяй! — Она поспешно встала, подошла к окну, затем вернулась к Кэссу, и, когда она заговорила, ее голос дрожал от волнения: — Я знаю, что могу вам довериться. Кольцо это было когда-то моим.

Помолчав, она продолжала:

— Много лет назад я подарила это кольцо одному человеку, но он бессердечно обманул меня; с тех пор



жизнь этого человека стала бесчестьем и позором для всех, кто его знал; человек, который был когда-то джентльменом, стал товарищем воров и разбойников и пал так низко, что его сообщники, когда он погиб насильственной смертью — предав и этих своих друзей, — отреклись от него, и он был похоронен в безымянной могиле. Вот чей труп вы нашли.

Кэсс вскочил:

— Как его звали?

— Кэсс, как вас, но это фамилия. Он был Генри Кэсс...— Провидение, видно, не случайно отдало кольцо в ваши руки,— продолжала она после минутного молчания.— Но вас, наверное, интересует, почему мне важно знать, где вы нашли кольцо: на нем или на дороге. Ну что ж, я объясню. Я слышала, и это одна из моих горчайших обид, что этот человек хвастался этим кольцом, а потом проиграл его в карты одному из своих собутыльников.

— Канаку Джо! — воскликнул Кэсс, живо припомнив, как Джо хохотал на суде.

— Да, ему. Вы понимаете: если бы кольцо нашли на нем, я могла бы поверить, что в душе он еще хранил уважение к женщине, которую обездолил. Я женщина, пусть глупая, но поймите, что вы навсегда разбили эту мою надежду.

— Зачем же вы меня разыскивали? — спросил Кэсс, тронутый ее горем.

— Чтоб узнать всю правду,— резко сказала она.— Разве вы не понимаете, что такая женщина, как я, должна сама и раз навсегда во всем разобраться. И вы можете мне помочь. Я ведь искала вас не для того, чтобы жаловаться вам на свою судьбу. Я хочу сама там побывать. Вы покажете мне место, где нашли кольцо, и то, где нашли труп, и то, где он похоронен. Но это надо сделать втайне, чтобы ни одна душа об этом не знала.

Кэсс колебался. Он подумал о своих товарищах и о том, что все их надежды лопнули, как мыльный пузырь. Как скрыть от них ее тайну?

— Если вам нужны деньги, не стесняйтесь. Вы потратите на меня время, и я должна вас за это вознаградить. Поймите меня правильно. Я передала тысячу

долларов в контору Букхема в награду за кольцо. Сумма будет удвоена, если вы мне поможете и в моем предприятии.

Это меняло дело. Он проводит ее до этого места, а товарищам скажет, например, что она прежде, чем выплатить вознаграждение, потребовала, чтобы он в доказательство своих слов показал ей, где все это произошло. А деньгами он с ними честно поделится. И Кэсс решительно сказал:

— Хорошо, я отведу вас туда.

Она схватила его руки, поднесла их к своим губам и улыбнулась. Горестное выражение сразу исчезло с ее лица, а в темных глазах сверкнул такой кокетливый и насмешливый огонек, что впечатлительный Кэсс вышел на улицу в полном смятении. Он пробовал представить себе, что подумала бы по этому поводу мисс Портер. Но ведь он возвращается к ней богатым человеком — с тысячей долларов в кармане. Так стоит ли помнить, что его несколько связывает обещание, данное красивой женщине, чья история так печальна? В тот же вечер он не без удовольствия помог мисс Мортимер сесть в почтовую карету, и воспоминания о другой поездке с другой женщиной не помешали ему время от времени утешать свою спутницу, потому что он считал это своим долгом. Они договорились, что она остановится в гостинице Брода Краснокожего Вождя, а он переночует у себя, в Сверкающей Звезде, и зайдет за ней около полудня, когда можно будет побывать там, где ей хотелось, не привлекая к себе внимания. Ночная тьма рано сменилась серой мглой, но когда карета остановилась в Броде Краснокожего Вождя, лампы буфета и обеденного зала гостиницы еще соперничали с занимавшей зарей. Кэсс соскочил первым, передал мисс Мортимер заботам хозяйки гостиницы и вернулся в карету. Воздух внутри, где дремали пассажиры, был затхлый и спертый. На имперiale оставалось еще одно место, и Кэсс, поднявшись туда, уселся рядом с каким-то существом, с ног до головы укутанным в шали и пледы. Бесформенная фигура слегка вздрогнула и, повернувшись к Кэссу, сухо произнесла:

— Доброе утро.

Это была мисс Портер.

— Вы давно здесь? — запинаясь, пробормотал Кэсс.

— Всю ночь.

В эту минуту он отдал бы все на свете, лишь бы ускользнуть от мисс Портер. Он готов был соскочить на ходу, лишь бы не объяснять ей, почему он так смущен, его угнетало, что он не может скрыть своего смущения, хотя смущаться, по его мнению, не было никаких оснований. И тут же он поступил, как все неопытные и нервные люди, попавшие в такое положение: он сломя голову пустился в объяснения, разболтал ей все секреты и тут же в замешательстве умолк, чувствуя, что его оправдания не достигли цели.

— Так это и есть ваша Мэй? — подвела итог юная девица и слегка пожала красивыми плечами.

Кэсс уже готов был повторить свой рассказ с начала до конца.

— Не надо, — перебила она. — Это совсем не интересно и не оригинально. И вы ей поверили?

— Конечно, — возмущенно ответил Кэсс.

— И прекрасно. А теперь не мешайте, я хочу спать.

Кэсс еще кипел от гнева, но чувствовал себя так неловко, что больше даже не пробовал с ней заговорить. Когда карета остановилась в Сверкающей Звезде, мисс Портер небрежно его спросила:

— А на когда назначено ваше сентиментальное паломничество?

— Я должен зайти за ней ровно в час, — холодно ответил Кэсс.

Он сдержал слово. Своих нетерпеливых товарищей он успокоил, обещав богатство в будущем и показав вполне реальное вознаграждение, которое уже получил.

Окольной дорогой, которую никто, кроме него, не знал, он привел мисс Мортимер к своему дому. На ее увядающем лице сейчас от волнения горел яркий румянец.

— Это произошло именно здесь? — спросила она.

— Да, вот здесь я поднял кольцо.

— А где найден убитый?

— Это случилось позже. Вон в той стороне. За каштановой рощей, у поворота на дороге ближе к Краснокожему Вождю.

— Значит, чтобы попасть с дороги, по которой мы шли, к тому... к тому месту, надо обязательно повернуть здесь? И все так ходят? — спросила она. И, рассмеявшись каким-то странным смехом, дотронулась до его руки своими длинными, холодными пальцами. — Другого пути нет?

— Да.

— Пойдемте туда.

Кэсс ускорил шаги, чтобы поскорее добраться до леса и не попасться кому-нибудь на глаза.

— Вы уже здесь ходили, — сказала она. — Вот здесь как будто тропинка.

— Может, я сам ее протоптал. Это самый короткий путь к каштановой роще.

— А на тропинке вы больше ничего не находили?

— Ведь я же вам говорил, что, кроме кольца, я ничего не подбирал.

— Ах, в самом деле. — И она обворожительно улыбнулась. — Ведь вы поэтому и удивились находке. Я позабыла.

Через полчаса они добрались до каштановой рощи. По пути мисс Мортимер искала приметы, чтобы легче запомнить, как они шли. Когда перешли через дорогу и Кэсс указал место, где лежал труп, она тревожно оглянулась.

— Вы уверены, что нас никто не видит?

— Вполне.

— Вы не сочтете меня безумной, если я попрошу вас подождать меня здесь, пока я схожу туда, — и она показала на зловещую чащу перед ним, — схожу одна. — Она была бледна, как полотно.

После разговора с мисс Портер Кэсс довольно холодно поглядывал на свою спутницу, но тут сердце его смягчилось:

— Идите. Я вас подожду здесь.

Прошло пять минут. Она не возвращалась. А вдруг эта бедняжка решила покончить с собой на том месте, где погиб предавший ее возлюбленный? Но тревога Кэсса быстро рассеялась, потому что он услышал в зарослях шуршание юбок.

— Я уже начал беспокоиться, — громко произнес он.

— И с полным основанием,— отозвался чей-то голос. Он вздрогнул. Это была мисс Портер; она выбежала из чащи.

— Посмотрите,— сказала она,— вон там человек на дороге. Он выслеживает вас с тех пор, как вы ушли из дому. Знаете, кто это?

— Нет, не знаю.

— Тогда слушайте. Это трехпалый Дик, один из сбежавших грабителей. Я знаю его.

— Пойдем скорее, предупредим ее,— поспешно сказал Кэсс.

Мисс Портер положила ему руку на плечо.

— Не думаю, чтобы ваша дама вас за это поблагодарила,— сухо сказала она.— Не лучше ли будет сначала посмотреть, что она там делает.

Совершенно ошарашенный Кэсс покорно пошел за мисс Портер, подчинившись ее властной твердости. Она пробиралась сквозь заросли, как кошка. Внезапно она остановилась.

— Глядите,— злорадно шепнула она.— Вот ваша скорбная Мэй, вот как она оплакивает своего возлюбленного.

Кэсс увидел, что женщина, которая только что покинула его, стоит на коленях прямо в траве и длинными, тонкими пальцами, словно ведьма, роет землю. Он успел заметить хищное выражение ее лица и тревожные взгляды, которые она то и дело бросала в ту сторону, где оставила его, но тут раздался треск веток и к ней подскочил человек — тот самый, что стоял на дороге.

— Беги,— сказал он.— Беги что есть духу. За тобой следят.

— Да это дурачок Бэрд,— презрительно ответила она.

— Не Бэрд, другой, он в повозке. Скорей. Дура, ты ведь теперь знаешь место, придешь в другой раз. А сейчас уноси ноги! — И он силой увлек ее в заросли. Едва кусты успели сомкнуться за ними, как мисс Портер подбежала к месту, где только что рыла землю эта женщина.

— Глядите! — торжествующе крикнула она.— Глядите же!

Кэсс поглядел и опустился на колени рядом с ней.

— Ради этого стоило пожертвовать тысячу долларов,— язвительно сказала мисс Портер.— Но вам следует вернуть их. Непременно...

Кэсс онемел.

— Но вы как догадались? — наконец выдавил он из себя.

— Я сразу заподозрила, что дело нечисто; вдруг вас стала разыскивать женщина, а ведь вы же такой простак!

Кэсс нахмурился и встал.

— Ну, хоть сейчас обойдитесь без глупостей, а лучше сбегайте и приведите мою лошадь и повозку — они возле холма. Но кучеру ни слова.

— Значит, вы не одна?

— Что вы! Прийти одной было бы просто неприлично...

— Прошу вас, не надо...

— И подумать только, что все началось с кольца, ведь оно привело нас сюда,— сказала она.

— Кольцо, которое вы мне вернули.

— Что вы сказали?

— Ничего.

— Пожалуйста, не надо! Вот повозка!

На следующий день в утреннем выпуске газеты «Вестник Краснокожего Вождя» появилось сенсационное сообщение:

## НЕОБЫЧАЙНАЯ НАХОДКА

### НАЙДЕНЫ

*похищенные ценности Уэлса, Фарго и К°  
на сумму около трехсот тысяч долларов.*

Наши читатели помнят дерзкое ограбление почты на пути из Сакраменто в поселок Краснокожий Вождь в ночь на первое сентября, когда были похищены огромные ценности Уэлса, Фарго и К°. Хотя большинство грабителей было арестовано, двоим удалось ускользнуть, и полиция пришла к выводу, что они, очевидно, спрятали похищенные ценности на сумму в 500 000 долларов в золоте, драгоценностях и ценных бумагах, по-

сколько никаких следов похищенного имущества обнаружить не удавалось. Вчера наш уважаемый гражданин, мистер Кэсс Бэрд, который давно уже пользуется в нашей округе заслуженной любовью, обнаружил эти ценности в каштановой роще, неподалеку от дороги, ведущей к поселку Краснокожий Вождь, по соседству с тем местом, где недавно нашли труп неизвестного человека. Предполагается, что это был некий Генри Кэсс, человек с весьма дурной репутацией, который, как удалось установить, был одним из скрывшихся бандитов. По этому делу начато следствие. Всеми открытиями мы обязаны упорным поискам талантливого мистера Бэрда, который посвятил этому больше года. Первым толчком послужила находка кольца, которое сейчас опознано как часть похищенных ценностей и выпало, вероятно, из ящиков Уэлса, Фарго и К°, когда бандиты перетаскивали их ночью через Сверкающую Звезду».

В той же самой газете появилось еще одно важное сообщение, объясняющее и завершающее эту правдивую хронику:

«По слухам, в скором времени состоится свадьба между героем нашумевшей истории с найденным сокровищем и некой молодой девушкой из поселка Краснокожего Вождя, чья верная помощь и участие в этой важной работе хорошо известны всему нашему обществу».

## В МИССИИ САН-КАРМЕЛ

### ПРОЛОГ

Был полдень 10 августа 1838 года. Однообразная береговая линия между Монтереем и Сан-Диего резко разделяла ослепительное сияние калифорнийского неба и металлический блеск Тихого океана. Унылая череда округлых куполообразных холмов скрадывала расстояние; изредка проходившему вдоль берега китобойцу или еще более редкому торговому судну представляли лишь бесконечные ржавые волны холмов, не прерываемые ни горой, ни мысом и лишенные древесной поросли как на гребнях, так и в седловинах. Пожухлые стебли овсяга придавали этой веренице холмов единый блеклый цвет, и на их гладких округлых склонах не лежало ни единой тени. И дальше, насколько хватал глаз, ничто не оживляло унылой монотонности побережья — ни пробегающее по небу облачко, ни какой-либо признак жизни. Ни один звук не нарушал безмолвия; звон колокола со скрытой за холмами миссии Сан-Кармел относился в глубь страны северо-восточным пассатом, который в течение шести месяцев обдувал побережье, стирая с него все краски и тени.

Но вскоре картина переменялась, не став при этом менее однообразной и гнетущей. С запада к берегу стала подступать стена тумана; и к четырем часам осталась видимой лишь узкая полоска воды стального цвета; на



севере же кромка берега постепенно растаяла и исчезла. Туман не спеша сползал к югу, стирая последние признаки глубины, расстояния и своеобразия местности; холмы, еще залитые светом солнца, ничем не отличались от тех, которые только что поглотила мгла. Напоследок, перед тем, как исчезнуть, багровое солнце на секунду осветило парус близко подошедшего к берегу торгового судна. Затем его заволокли влажные пары, резкие очертания смазались, словно по грифельной доске прошлись тряпкой, и на месте паруса возникло бесформенное серое облако.

В тумане замер ветер и умолк плеск волн: незримые и притихшие валы иногда набегали на берег с легким шорохом, за которым следовали промежутки грозной тишины, но беспрестанного рокота прибоя уже не было слышно. Вдруг со стороны бухты послышался явственный скрип весел в уключинах, но лодка, хотя она как будто была всего в нескольких шагах от берега, оставалась невидимой.

— Суши весла! — донеслась с моря негромкая команда, словно тоже приглушенная туманом. — Тише!

Раздался скрежет киля о песок, а затем последовал приказ все того же невидимого командира:

— Все на корму!

— Будем вытаскивать? — раздался другой приглушенный голос.

— Подождем. А ну-ка, — крикнули еще раз, — все вместе!

— Эй-эй-эээй!

Кричало четыре голоса, но их призыв прозвучал совсем слабо, словно он только почудился и, не успев достичь берега, был задушен наползающим облаком. Вновь наступила тишина, которую так и не нарушил ответный крик.

— Пока мы не найдем ялик, нет смысла вытаскивать шлюпку и выходить на берег, — угрюмо проговорил первый голос. — Если его отнесло течением, он должен быть где-то здесь. Ты уверен, что правильно определил место?

— Более или менее. Насколько вообще можно определить место с моря, когда на берегу не за что зацепиться глазом.

Опять наступило долгое молчание, прерываемое лишь редкими всплесками весел: невидимую шляпку держали носом к открытому морю.

— Помяните мое слово, ребята,— не видать нам больше ни ялика, ни Джека Крэнча, ни капитанского отродья.

— Да вообще-то чудно, с чего бы это фалиню вдруг развязаться? Кто-кто, а Джек Крэнч узлы вязать умеет.

— Тихо! — сказал невидимый командир. — Слушайте!

Со стороны моря донесся оклик — такой слабый и невнятный, что его можно было принять за запоздалое далекое эхо их собственного.

— Это капитан. Он ничего не нашел, а то бы он не ушел так далеко на север. Тише!

Издали опять донесся едва слышный бесплотный призыв. Однако натренированные уши моряков уловили в нем какой-то смысл, потому что первый голос сосредоточенно откликнулся:

— Есть! — И затем тихо приказал: — Берись за весла!

Раздался всплеск. Весла резко и дружно заскрипели в уключинах, затем скрип стал удаляться и, наконец, замер в темноте.

С наступившей тишиной пришла ночь; мрак на много часов окутал море и берег. Однако временами в воздухе происходило словно бы какое-то движение, темнота немного светлела, будто начинался туманный рассвет, но затем сгущалась снова, из тишины вырастали слабые далекие крики и какие-то странные невнятные звуки, но, едва успев привлечь настороженный слух, тут же замирали, как в неуловимом сне, и оказывались лишь призраками. Местами туман сгущался, и казалось, что там находятся какие-то неподвижные предметы, но стоило в них всмотреться, как они расплывались; тихий плеск волн и шорох гальки временами напоминал человеческий смех или говор. Но ближе к утру равномерный скрежет о песок, который уже довольно долгое время дразнил слух, стал более отчетлив, и колыхавшаяся в полумраке тень превратилась в темный, вполне материальный предмет на берегу.

С первыми лучами зари туман рассеялся. Один за другим холмы сбрасывали свой покров и подставляли солнцу холодную грудь, и уходящая вдаль береговая линия вновь обрела свои очертания. За ночь ничто не изменилось, только на песке лежала выброшенная морем лодка, а на ее корме спал маленький ребенок.

# I

Прошло четырнадцать лет, но и к 10 августа 1852 года унылое однообразие голых холмов, ветра и тумана осталось прежним. Только на море стали чаще мелькать паруса стремительных яхт, обгоняющих старые торговые тихоходы, а иногда горизонт затягивала полоса дыма, вырывавшегося из трубы парохода. На девственных песках появились следы человеческих ног, и новая тропа вела от взморья через гряду прибрежных холмов в поросшую кустарником долину.

Там, из окон трапезной старинной миссии Сан-Кармел, открывался вид, совсем не похожий на однообразный пейзаж, обращенный к морю. В этом месте пассаты, утратив свою ярость и силу в столкновении со стеной поднимавшегося из долины раскаленного, как в печи, воздуха, в изнеможении замирали на лесистом склоне и выпускали дух у подножия стоявшего перед миссией каменного креста; на гребне этих холмов останавливался надвигающийся с моря туман, не смея спуститься в залитую солнцем равнину; бескрайние пшеничные поля простирались на тучном красноземе этой равнины; через увитую виноградными лозами ограду сквозь листву фиговых и грушевых деревьев улыбался сад миссии, где уже пятьдесят лет жил отец Педро. В этот день он с удовольствием посмотрел вокруг и тоже улыбнулся.

Отец Педро улыбался не так уж часто. Не будучи ни Лас Касасом, ни Хуниперо Серра<sup>1</sup>, он, однако, отличался глубокой серьезностью, как все апостолы, посвятившие жизнь проповедованию учения, созданного кем-то

---

<sup>1</sup> Испанские миссионеры, чья деятельность в основном протекала в Центральной Америке.

другим. На этот раз в улыбке отца Педро светилась не только обыкновенная человеческая радость, но и религиозное умиление: его взгляд с особым удовольствием остановился на видневшейся среди виноградных лоз белокурой голове его служки Франсиско, певшего, кроме того, в хоре, и он с наслаждением слушал мелодичный псалом, который мальчик, прилежно работая, напевал необычайно нежным и высоким сопрано.

И вдруг псалом оборвался криком испуга. Мальчик бросился к отцу Педро, вцепился в его сутану и даже попытался спрятать в ней свою кудрявую голову.

— Ну-ну,—проговорил отец Педро, с некоторым раздражением отстраняя его от себя.— Кто там? Нечистый прячется в наших каталанских лозах или один из этих язычников-американос из Монтерера? Ну?

— Ни то, ни другое, святой отец,— ответил мальчик; краска постепенно возвращалась на его побледневшие щеки, а его чистые глаза засветились робкой, извиняющейся улыбкой.— Ни то, ни другое. Только там — ой! — такая страшная, безобразная жаба! Она чуть на меня не прыгнула!

— Жаба на тебя чуть не прыгнула! — с явной досадой повторил отец Педро.— Что еще ты выдумаешь? Послушай меня, дитя, сколько раз я должен повторять, что тебе не подобает поддаваться этим глупым страхам и ты должен стараться их превозмочь — если нужно, то с помощью епитимьи и молитвы. Испугаться жабы! Святые угодники! Ну точно какая-нибудь глупая девочка!

Тут отец Педро вдруг умолк и кашлянул.

— Я хочу сказать, что ни один христианин не должен чураться безобидных божьих тварей. А ты всего лишь на прошлой неделе с брезгливостью отвернулся от свиньи бедной Муриеты, забыв, что сам святой Антоний даже в славе небесной взял свинью себе в верные товарищи.

— Да, святой отец. Но эта свинья была такая жирная и грязная, и от нее так скверно пахло! — ответил мальчик.

— Пахло? — с сомнением переспросил отец Педро.— Смотри, не слишком ли ты стремишься услаждать свои чувства. В последнее время я заметил, что ты

набираешь слишком большие букеты роз и душистого чубучника; кто говорит, они по-своему прекрасны, но в умеренном количестве. И уж, конечно, их нельзя сравнить с цветком святой церкви — лилией.

— Но лилии не так красиво выглядят на столе трапезной и возле глинобитных стен! — возразил Франсиско капризным тоном избалованного ребенка. — А потом цветы же не виноваты, что они хорошо пахнут, как мирра и ладан. И язычников-американос я больше не боюсь. Вчера один из них зашел в сад — мальчик, вроде меня, — и он говорил со мной ласковым голосом, и лицо у него было доброе.

— А что он тебе сказал, дитя? — встревоженным голосом спросил отец Педро.

— Я не понял, что он говорил! — со смехом отозвался мальчик. — Но у него был такой же ласковый голос, как у тебя, святой отец.

— Ну что ты говоришь! — досадливо оборвал его отец Педро. — Твои сравнения так же неразумны, как твои страхи. Кроме того, разве я тебе не говорил, что христианскому ребенку не следует вступать в разговоры с этими сынами Велиала? Слушай, а ты не запомнил слова, которые он говорил?

— У американос очень грубый язык, — ответил мальчик. — Он сказал что-то вроде «черт поберри» и «смазлив, как девчонка», — и при этом посмотрел на меня.

Отец Педро с серьезным видом заставил мальчика повторить слова и сам с тем же серьезным видом простодушно повторил их за ним.

— Это еретические слова, — пояснил он в ответ на вопросительный взгляд мальчика. — И хорошо, что ты не понимаешь по-английски. Но довольно. Теперь беги, но помни, что скоро прозвонят к молитве. А я немного посижу под грушами.

Радуюсь, что все так хорошо обошлось, юный служка побежал по аллее фиговых деревьев, не без опаски поглядывая на густо росшую под ними куриную слепоту, в которой могли скрываться ползающие и скачущие гады. Отец Педро вздохнул и окинул взглядом окрестности, уже одетые сумраком. Солнце зашло за отделявший долину от моря горный кряж, по гребню которого лежал белый ободок тумана. Прохладный ветерок

обдувал лицо отца Педро; это было предсмертное дыхание пассата, дующего по ту сторону горной гряды. Подняв глаза на эту стену, отгораживавшую долину от шумного внешнего мира, он впервые заметил в ней как бы небольшой пролом, через который просачивались клубы тумана. Уж не предзнаменование ли это? Однако тут мысли отца Педро прервал прозвучавший рядом с ним голос.

Резко повернувшись, отец Педро увидел одного из «язычников», против которых он только что предостерегал своего юного служку; одного из искателей счастья, которых привлекло на этот берег недавно найденное здесь золото. К счастью, в плодородных аллювиальных почвах долин, лежавших параллельно морю, не обнаружилось признаков драгоценного металла, и потому старатели оставили их в покое. Тем не менее отцу Педро были неприятны даже редкие встречи с американос, слишком назойливыми и непочтительными. Они задавали каверзные вопросы и выслушивали его серьезные ответы с холодным равнодушием суетных сердец. Они были достаточно сильны, чтобы стать тиранами и угнетателями, но вместо этого проявляли поразительную терпимость и не шли дальше насмешливой добродушной непочтительности, которая оскорбляла отца Педро больше, чем открытая враждебность. Они казались ему опасными и полными коварства.

Однако в стоявшем перед ним американо эти раздражающие национальные черты не слишком бросались в глаза. Это был человек среднего роста и крепкого телосложения, с загорелым обветренным лицом и легкой сединой в волосах — след, оставленный годами и невзгодами. Отцу Педро понравилась его деловитая серьезность, которую он истолковал на свой лад, решив, что незнакомец несколько смущен в его присутствии; тот же просто пришел к святому отцу, как он выражался, «по делу».

— Я рад, что застал вас одного, — начал незнакомец, — это сбережет время. Мне не нужно будет дожидаться своей очереди там, — он ткнул большим пальцем в сторону церкви, — а вам не надо будет назначать мне час. До того, как прозвонят к молитве, у вас есть еще целых сорок минут, — добавил он, вынув из кармана

серебряный хронометр,— а мне на мое дело хватит двадцати, и у вас будет десять минут на вопросы и замечания. Я хочу исповедаться.

Отец Педро отступил с негодующим жестом. Однако незнакомец взял его за рукав с видом человека, который ожидал возражений, но не собирается мириться с отказом, и продолжал:

— Да-да, я знаю. Вы скажете, чтобы я пришел как-нибудь в другой раз и вон туда. Вы хотите, чтобы все было по правилам. У вас так полагается. Но меня это не устраивает. Я считаю, что смысл исповеди в том, чтобы изложить факты. Я готов вам их сообщить, если вы согласны выслушать меня здесь. Если вы согласитесь обойтись без церкви, исповедальни и всего прочего, то я так и быть обойдусь без отпущения грехов и всего прочего. Вы, конечно, можете,— добавил он с трогательной наивностью,— выслушав меня, подать мне совет; например, сказать, как бы вы поступили на моем месте. Большого не требуется. Но это воля ваша. Дела это не касается.

Хотя его речь звучала весьма непочтительно, незнакомец, судя по его манере, вовсе не хотел быть дерзким, и его очевидное твердое убеждение, что его предложение вполне практично и никак не задевает достоинства священнослужителя, само по себе могло бы склонить отца Педро к согласию, если бы даже он и не чувствовал себя беспомощным перед подобной энергией. Заметив, что отец Педро колеблется, незнакомец взял его под локоть и с покровительственной уверенностью повел к скамье, стоявшей под окнами трапезной. Снова вынув часы, он вложил их в несопротивляющуюся руку ошломленного священника и со словами «Засеките время!» начал свою исповедь:

— Четырнадцать лет тому назад в Тихом океане, вдоль этих берегов, плавало судно — ни дать ни взять уголок ада с мачтами. Если капитан не огреет тебя шкворнем, то уж наверняка помощник заедет тебе сапогом в ребра. Одного парня в Калифорнийском заливе столкнули в люк, и он сломал ногу; другой, когда мы проходили мыс Корриентес, прыгнул за борт: свихнулся, после того как капитан стукнул его по голове рупором. Вот как оно было. Наша бригантина

занималась торговлей вдоль мексиканского побережья. С нами плавала и жена капитана, робкая такая мексиканочка, которую он подобрал в Масатлане. Наверно, ей доставалось от него не меньше, чем матросам, а то с чего бы ей в один прекрасный день вдруг умереть, оставив капитану годовалую дочку? Один из матросов очень привязался к девочке. Посадит, бывало, негриту-няньку с девочкой в ялик, привяжет его за кормой и раскачивает, как люльку. Но это не мешало ему ненавидеть капитана лютой ненавистью. Как-то раз няньке понадобилось куда-то на минуту отойти, и она вылезла из ялика, оставив спящую девочку с матросом. И тут ему пришла в голову мысль— и не потому, что был он такой уж отпетый, а просто чтобы и капитану отомстить и самому с корабля сбежать. Бригантина шла близко вдоль берега, и как раз начинался прилив. Он развязал канат, и ялик поплыл по воле волн. Само собой, это было чистейшее сумасшествие. Весел-то в ялике не было. Только ему, как всем сумасшедшим, повезло. Он вырвал скамейку и, подгребая ею, изловчился не допустить ялик в буруны. Пока он искал подходящую бухточку, где можно было бы высадиться, на корабле подняли тревогу, но тут как раз опустился туман. Однако ему было слышно, что за ним гонятся на шлюпках. Он слышал, что капитан уже совсем рядом и вот-вот найдет его в тумане. Тогда он осторожно, без плеска, выскользнул из ялика в воду и поплыл к берегу через прибой. Четыре раза его сшибало волной и оттаскивало назад в море, и он благодарил бога, что не взял с собой девочку. Можете мне поверить, это чистейшая правда. Выбравшись наконец на берег, он пошел через холмы в Монтерей.

— А ребенок? — спросил священник неожиданно суровым тоном, который не предвещал исповедующемуся ничего доброго.— Что стало с ребенком, покинутым так безжалостно?

— В этом-то все и дело,— угрюмо подтвердил незнакомец.— Этот человек и на смертном ложе поклялся бы, что через несколько секунд после того, как он прыгнул за борт, капитан нашел девочку. Чистая правда. Только потом он, то есть я, встретил как-то в Фриско одного матроса с того судна. «Здорово, Крэнч,—



говорит тот, — ловко ты тогда от нас смылся! А как дочка капитана — небось, уже выросла?» «О чем это ты, — говорю, — болтаешь? Откуда мне знать, выросла она или нет?» Он от меня попятился, выругался и говорит: «Так, значит, ты...» Тут я схватил его за горло и заставил все мне рассказать. Оказывается, они так и не нашли ни ялика, ни девочки, и все матросы и сам капитан думали, что я ее украл.

Он на мгновение замолчал. Отец Педро непреклонно глядел вдаль.

— Выходит, что я поступил не очень-то хорошо, правда? — продолжал незнакомец задумчивым тоном.

— Откуда мне знать, что вы не расправились с девочкой? — спросил священник, не поворачивая головы.

— То есть как?

— Что вы не довели свою месть до конца... и не убили ее, как заподозрил ваш товарищ? О Святая Троица! — воскликнул отец Педро, резко вскидывая руки, словно не в силах выразить в словах какую-то мысль.

— Откуда вам знать? — ледяным тоном повторил незнакомец.

— Да.

Незнакомец сцепил руки, обхватил ими колено и мягко подтянул его к груди, спокойно при этом проговорив:

— Вы-то знаете.

Священник поднялся со скамьи.

— Что вы этим хотите сказать? — спросил он, сурово воззрившись на незнакомца. Их взгляды встретились. Серые глаза незнакомца с чуть опущенными веками смотрели с испытующим упорством. Ввалившиеся глаза священника были широко раскрыты, и их белки отливали желтизной, словно запачканные табачным соком. Но первыми опустились они.

— Я хочу сказать, — продолжал незнакомец все тем же рассудительным тоном, — вы сами понимаете, что мне не было бы никакого смысла приходить сюда, если бы я убил девочку; разве что я захотел бы уладить это дело там, — он показал на небо, — и получить отпущение, но я ведь вам сказал, что этого мне не нужно.

— Зачем же в таком случае вы явились ко мне? — подозрительным тоном спросил отец Педро.

— Да потому, что, на мой взгляд, человек может исповедаться в любом проступке, если это только не убийство. А коли вы с этим не согласны...

— Перестаньте богохульствовать, — оборвал его священник и повернулся, словно собираясь уйти. Однако незнакомец никак не попытался его задержать.

— Прежде чем прийти сюда, вы испросили прощения у отца, у человека, которому вы причинили такое зло? — помедлив, спросил священник.

— Не испросил. И будь он жив, ничего хорошего из этого не получилось бы, да только он четыре года назад умер.

— Вы в этом уверены?

— Да.

— Но, может быть, есть какие-нибудь другие родственники?

— Нет!

Отец Педро помолчал.

— Чего же вы хотите? — спросил он, и в его голосе впервые прозвучало доброжелательство, которого ожидают от священника. — Вы не можете попросить прощения у земного отца, которому вы причинили зло, и вы отказываетесь от ходатайства святой церкви перед отцом небесным, заповеди которого вы нарушили. Так что же вы хотите, несчастный?

— Я хочу найти ребенка.

— Но если бы это и было возможно, если она еще жива, достойны ли вы того, чтобы ее искать, чтобы открыться ей, даже просто предстать перед ней?

— Отчего же? Если ей это пойдет на пользу.

— Отчего же! — с презрением повторил священник. — Пусть так. Но зачем вы пришли именно сюда?

— Посоветоваться с вами. Спросить, как мне приниматься за поиски. Вы знаете здешние места. Вы жили здесь, когда лодку выбросило на берег за той горой.

— При чем тут я? Это — дело алькальда — мирских властей, вашей... вашей полиции.

— Разве?

Их глаза опять встретились, и табакерка, которую

священник с показным безразличием вынул из кармана, застыла в воздухе.

— А разве нет, сеньор? — спросил он.

— Если она жива, то она уже взрослая девушка и, возможно, не захочет, чтобы о ней знали всякие такие подробности.

— А как вы узнаете в девушке покинутого вами ребенка? — спросил отец Педро, показывая рукой сравнительный рост младенца и взрослой девушки.

— Мне кажется, что я ее узнаю и узнаю одежду, которая на ней была. Уж, наверное, у того, кто ее нашел, хватило ума сохранить одежду.

— Через четырнадцать лет? Прекрасно. Вы умеете верить, сеньор...

— Крэнч, — сообщил незнакомец и взглянул на часы. — Однако у нас больше нет времени. Дело есть дело. До свидания. Не смею вас больше задерживать.

Он протянул священнику руку.

Тот неохотно протянул свою — такую же сухую и желтую, как окрестные холмы. Выпустив руку незнакомца, священник еще секунду помедлил, глядя на Крэнча. Если он ожидал услышать от него еще какие-нибудь доводы или просьбы, то ошибся в своих предположениях — американец, не оборачиваясь, деловито зашагал по аллее фиговых деревьев и исчез за оградой. Горы уже скрылись в тумане. Отец Педро пошел в трапезную.

— Антонио!

Сильный запах кожи, лука и конюшни предшествовал появлению из патио низкорослого кражистого вакero.

— Завтра на рассвете оседлай Пинто и своего собственного мула: Франсиско повезет мои письма к отцу-настоятелю миссии Сан-Хосе, а ты поедешь с ним.

— На рассвете, святой отец?

— На рассвете. И поезжайте не по большой дороге, а горными тропами. На постоянных дворах и в харчевнях не останавливайтесь. Если мальчик устанет, отдохните у дона Хуана Брионеса или на Ранчо Блаженного Рыбаря. Не вступайте в разговоры с прохожими, особенно с этими безбожниками американос. Вот так...

С башни донесся первый удар колокола, призывающего к молитве. Отец Педро жестом отстранил с дороги Антонио и открыл дверь в ризницу.

— *Ad majorem Dei Gloriam*<sup>1</sup>.

## II

Усадьба дона Хуана Брионеса, приютившаяся в лесистой расщелине у подножия гор — поэтому-то и вспомнил про нее благоразумный отец Педро, — была скрыта от взоров путников, направляющихся по пыльной дороге в Сан-Хосе. Выехав из рощи и завидев выбеленные стены усадьбы, Франсиско прищипорил мула.

— Эх ты, маленький святоша, — пробурчал Антонио, — только что жаловался, что до того устал, еле в седле держишься, а до Блаженного Рыбаря и осталось-то меньше трех лиг. Пресвятая дева! И все для того, чтоб повидать эту полукровку Хуаниту.

— Но послушай, Антонио, мы же с Хуанитой вместе выросли, а когда я сюда снова попаду, бог ведает. И никакая Хуанита не полукровка, или, может, скажешь, я тоже полукровка?

— Она метиска, а ты воспитанник церкви, хотя, глядя, как ты бегаешь за цыганками, об этом и не догадаешься.

— Но ведь отец Педро не запрещает мне видаться с ней!

— Святой отец, видно, забыл, когда он сам был молодым, — назидательно произнес Антонио, — а то бы он держал огонь подальше от пакли.

— Что это ты говоришь, Антонио, — спросил Франсиско, и его голубые глаза широко раскрылись в неподдельном удивлении, — кто из нас огонь, а кто пакля?

Достойный вакеро, озадаченный и смущенный наивностью юноши, ограничился тем, что пожал плечами и пробормотал: «*Quien sabe?*»<sup>2</sup>.

— Нет уж, — весело продолжал Франсиско, — принайся лучше, что в Блаженном Рыбаре ты надеялся утолить жажду агвардиенте. Ну, ничего, не огорчай-

<sup>1</sup> К вящей славе господней (лат.).

<sup>2</sup> Кто знает? (исп.).

ся, у Хуаниты тоже, наверно, немного найдется. А вот и она!

В темном коридоре мелькнули белые оборки, блеснули атласные туфельки, взметнулись длинные черные косы, и молоденькая девушка с радостным восклицанием бросилась к Франсиско и чуть не стащила его с мула.

— Осторожнее, сестричка! — засмеялся юноша, поглядывая на Антонио. — Как бы не вспыхнул пожар. Так это я огонь? — спросил он, с удовольствием принимаемая по звонкому поцелую в каждую щеку, но все еще не сводя лукавого взгляда с вاکеро.

— *Quien sabe?* — сердитым тоном повторил тот, устремляя на девушку значительный взгляд, от которого она вся вспыхнула. — Меня это не касается, — бурчал он про себя, уводя мулов. — Может, отец Педро и прав, и этот молоденький сучок на дереве церкви так же сух, как и он сам. Пусть себе метиска пылает, если ей нравится.

— Быстрой, Панчо, — взволнованно говорила между тем девушка, идя впереди Франсиско по коридору. — Сюда. Мне нужно с тобой поговорить до того, как ты встретишься с дон Хуаном: поэтому я и выбежала тебе навстречу, а вовсе не по той причине, на которую намекает этот глупый Антонио. Он просто хочет вогнать тебя в краску. Тебе стало стыдно, мой Панчо?

Юноша дружески обнял ее гибкую тонкую талию, не знавшую корсета и отмеченную лишь поясом пышной белой юбки, и сказал:

— Но отчего такая спешка, Нита? И потом теперь я вижу, что ты плакала.

Они вышли из коридора в залитый солнцем сад. Девушка опустила глаза, потом метнула вокруг быстрый взгляд и сказала:

— Не здесь! Пойдем к ручью. — И потащила его дальше через рощу земляничных деревьев и ольхи, где вскоре до их слуха донеслось тихое журчание воды.

— Помнишь, как я тебя здесь крестила, — спросила она, указывая на маленькую заводь, — когда отец Педро в первый раз привез тебя к нам и мы с тобой играли в монахов? Славное было время! Ведь отец Педро только мне разрешал играть с тобой и всегда держал нас возле себя.

— Помню, он еще говорил, что прикосновение других меня осквернит, и поэтому всегда сам меня мыл и одевал и клал спать в одной с собой комнате.

— А потом увез тебя, и мы так долго не виделись — до прошлого года, когда ты приехал сюда с Антонио на клеймение скота. А теперь, мой Панчо, я тебя, может быть, никогда не увижу.

Она закрыла лицо руками и громко разрыдалась.

Франсиско стал было ее утешать, но так рассеянно и холодно, что она поспешно сняла у себя с плеча руку, которой он тихонько ее поглаживал.

— Но почему? Что случилось? — с любопытством спросил он.

Девушка вдруг преобразилась. Ее глаза засверкали, она уперлась в бок смуглым кулачком и принялась раскачиваться из стороны в сторону.

— Я все равно не поеду, — злобно проговорила она.

— Куда не поедешь?

— А, куда, — досадливо повторила она. — Послушай, Франсиско, ты знаешь, что я, как и ты, сирота, только тебя усыновила святая церковь, а меня нет. Потому что — увь, — с горечью добавила она, — я не мальчик и ангельским голосом меня бог не наделил. Как и ты, я найденный, и меня тоже приютили святые отцы, а потом меня удочерил дон Хуан, бездетный вдовец. Я не знала и не хотела знать, кто мои родители, покинувшие меня на произвол судьбы, с меня было довольно любви моего названного отца. А теперь... — Она запнулась.

— Что теперь? — с любопытством спросил Франсиско.

— А теперь они говорят, что узнали, кто мои родители.

— И они живы?

— Слава богу, нет, — отозвалась девушка с чувством, которое никак нельзя было назвать дочерним. — Объявился какой-то человек, который знает мою историю и будет моим опекуном.

— Но откуда? Расскажи мне все подробно, милая Хуанита! — воскликнул юноша с жгучим интересом, который так разительно отличался от его прежнего безразличия, что Хуанита от обиды закусила губу.

— Откуда! Святая Варвара! Сказка для детей! Ожерелье из небылиц! Будто бы меня украли с судна на котором мой отец — упокой господи его душу! — был капитаном, и подобрали среди морской травы на берегу, словно Моисея в камышах. И кто этому поверит!

— Как романтично! — с восторгом воскликнул Франсиско. — Ах, Хуанита, как бы мне хотелось, чтобы это случилось со мной!

— С тобой! — горько воскликнула девушка. — Нет, им нужна девочка. Да и о чем говорить? Это была я.

— А когда придет твой опекун? — с блестящими глазами продолжал расспросы юноша.

— Он уже здесь, и с ним этот надутый дурак американский алькальд из Монтеррея. Этот осел не знает ни здешнего края, ни здешних людей, а все-таки помог другому американцу отнять меня у дон Хуана. Говорю тебе, Франсиско, скорей всего это просто глупость, какая-нибудь нелепая ошибка этих американос, которые пользуются добротой дон Хуана и его доверием к ним.

— А как он выглядит, этот американо, который хочет тебя забрать? — спросил Франсиско.

— Какое мне дело, как он выглядит, — ответила Хуанита, — или какой он человек? Пусть хоть будет писанным красавцем, — мне это безразлично. Но вообще-то, — не без кокетства добавила она, — он не так уж плох собой.

— А может быть, у него длинные усы, грустная ласковая улыбка и голос одновременно мягкий и повелительный, так что хочется его слушаться, хотя он ничего и не приказывает? И тебе не показалось, что он прочитал все твои мысли? Эту самую мысль, что ему надо повиноваться?

— Святые угодники, Панчо? О ком это ты говоришь?

— Слушай, Хуанита. Год тому назад в сочельник он был в церкви, когда я пел в хоре. Куда бы я ни смотрел, я все время встречал его взгляд. А когда мы кончили и я хотел пройти в ризницу, он оказался рядом и заговорил со мной ласковым голосом, но я не знаю его языка. Он дал мне золотую монету, но я притворился, что не понял его, и опустил ее в кружку для бедных. Он

улыбнулся и ушел. С тех пор я видел его много раз, а вчера вечером он разговаривал с отцом Педро.

— А отец Педро? Что он о нем говорит?— спросила Хуанита.

— Ничего.— Мальчик секунду помялся.— Может быть, потому, что я ему ничего не говорил об этом незнакомце.

Хуанита рассмеялась.

— Так, значит, когда ты захочешь, ты умеешь хранить тайны от святого отца. Но почему ты думаешь, что этот человек и есть мой новый опекун?

— Разве ты сама не видишь, сестричка? Он и тогда искал тебя!— с радостным возбуждением воскликнул Франсиско.— Он, наверное, узнал, что мы с тобой дружим. А может быть, отец Педро раскрыл ему тайну твоего происхождения. И это вовсе не выдумка алькальда, поверь мне. Мне все ясно. Это чистейшая правда!

— Значит, ты позволишь ему увести меня отсюда,— с горечью проговорила девушка, отнимая руку, которую он бессознательно сжимал, охваченный возбуждением.

— Увы, Хуанита, я все равно ничего не могу сделать. Меня отослали в Сан-Хосе с письмом к отцу-настоятелю, от которого я узнаю, что со мной будет дальше. Что он мне скажет и сколько я там пробуду, мне неизвестно. Одно я знаю: когда отец Педро благословлял меня в путь, у него в глазах была тревога, и он долго держал меня в объятиях. Видит бог, я перед ним ничем не провинился. Может быть, отец-настоятель услышал о моем голосе и хочет взять меня в большой храм.— При этой мысли в глазах Франсиско загорелся тщеславный огонек.

Хуанита же восприняла его слова иначе. Ее черные глаза засверкали гневом и подозрением, она набрала в легкие воздуха, и ее губы плотно сжались. Через секунду она разразилась гневной речью, все повышая и повышая голос.

Пресвятая дева! Как он соглашается терпеть такое обращение? Что он, ребенок, что святые отцы отсылают его на неопределенное время и с неизвестной целью, а ему даже ничего не говорят? Если уж господь послал ему талант, неужели не спросят хотя бы его согласия,



решая, как им распорядиться? Она бы этого не потеряла!

Юноша с восхищением смотрел на пылающее задором личико и завидовал ее смелости. «Это все смешанная кровь», — пробормотал он про себя и затем добавил вслух:

— Тебе нужно было родиться мужчиной, Нита.

— А тебе женщиной.

— Или священником. Поймай, что это?

Они оба вскочили на ноги. Хуанита, круто повернувшись, так что взлетели ее черные косы, устремила вызывающий взгляд в кусты; Франсиско же вцепился в нее дрожащими руками и побледнел. Со склона холма к их ногам скатился камень; выше по склону слышался треск ольшаника.

— Что это: медведь или разбойник? — с ужасом прошептал Франсиско.

— Просто кто-то нас подслушивал, — пренебрежительно отозвалась Хуанита. — А кто и зачем, я сейчас узнаю! — И она направилась к кустам.

— Не бросай меня одного, Хуанита, милая! — взмолился Франсиско, хватая девушку за юбку.

— Беги тогда в дом, а я останусь тут и обыщу кусты. Живей!

Юноша не стал дожидаться второго приказа и кинулся бежать со всех ног, не замечая колючек, цеплявшихся за его длинные одежды, а Хуанита кошащим движением бросилась в кусты. Но она никого не обнаружила и, вернувшись обратно с раздосадованным видом, вдруг увидела на сухой траве, где минуту назад они сидели с Франсиско, письмо. Очевидно, он выронил его из кармана, вскочив на ноги, и в страхе этого не заметил. Это было письмо отца Педро настоятелю миссии Сан-Хосе.

Хуанита схватила его с такой яростью, словно это и был тайный соглядатай, который их подслушивал. Она знала, что у нее в руках оказался секрет внезапной ссылки Франсиско, и инстинктивно почувствовала, что в этом желтоватом конверте, запечатанном красным сургучом и перевязанном красным шнурком, содержится также и решение ее судьбы. Хуанита не была воспитана в чрезмерном почтении к замкам или печатам, потому

что и ни то и ни другое не было известно в патриархальном укладе усадьбы. Однако с инстинктивной женской осторожностью она огляделась по сторонам и даже умудрилась сорвать восковую печать, не повредив выдавленного на ней изображения двух скрещивающихся ключей. Затем она вынула письмо и принялась его читать.

На половине она вдруг остановилась и отбросила со смуглого виска прядь волос. Затем волны яркой краски стали заливать ее шею и лицо, и на глазах у нее выступили слезы. Чуть не плача, она выронила из рук письмо и стала раскачиваться из стороны в сторону. Потом резко остановилась, в глазах ее засветилась улыбка, она рассмеялась, сначала тихонько, потом все громче и, наконец, истерически захохотала. Затем так же внезапно перестала хохотать, нахмурила брови, еще раз перечитала письмо и собралась было бежать домой. Но в это мгновение чья-то рука мягко, но решительно отняла у нее письмо, и она увидела перед собой мистера Джека Крэнча.

Хуанита густо покраснела, но отказалась признать себя побежденной. Она машинально протянула руку за письмом; американец взял ее руку в свою, поцеловал тонкие пальчики и сказал:

— Еще раз здравствуй.

— Письмо! — потребовала Хуанита.

Казалось, она вот-вот топнет ножкой.

— Но ты уже прочитала достаточно, чтобы понять, что оно предназначается не тебе, — с деловитой прямо-той сказал Крэнч.

— Но и не вам, — возразила Хуанита.

— Верно. Оно предназначается отцу-настоятелю миссии Сан-Хосе. Я его ему и передам.

Хуанита испугалась — сначала этой мысли, а затем почувствовав, что незнакомец незаметно приобрел над ней какую-то власть. С суеверным трепетом она вспомнила, как описывал его Франсиско.

— Но оно касается Франсиско. В нем раскрывается тайна, которую он должен узнать.

— Тогда и скажи ему. Может быть, ему будет легче это узнать от тебя.

Хуанита снова покраснела.

— Почему? — спросила она, почти со страхом ожидая ответа.

— Потому, — невозмутимо ответил американец, — что вы друзья с детства.

Хуанита закусила губу.

— Почему вы сами его не прочитаете? — спросила она резко.

— Потому что я не имею привычки читать чужие письма, а если там что-нибудь касается меня, ты сама мне скажешь.

— А если нет?

— Тогда скажет отец-настоятель.

— По-моему, вы уже и так знаете тайну Франсиско, — вызывая бросила девушка.

— Возможно.

— Пресвятая дева! Чего же вы тогда хотите, сеньор Крэнч?

— Я не хочу разлучать таких нежных друзей, как вы с Франсиско.

— Быть может, вы хотели бы забрать себе нас обоих? — спросила девушка с усмешкой, не лишенной кокетства.

— Я был бы счастлив.

— В таком случае не мешкайте, сеньор! Вон идет мой приемный отец дон Хуан и ваш приятель сеньор Бр-р-раун, американский алькальд.

На дорожке сада действительно появились двое мужчин. Жесткая черная блестящая шляпа с широкими полями затеняла смуглое лицо дона Хуана Брионеса, напоминавшее своим выражением серьезности и романтической честности Дон-Кихота. Его спутник, краснолицый благообразный мужчина с ленивыми движениями, был сеньор Браун, американский алькальд.

— Ну что ж, пожалуй, мы обо всем договорились, — сказал сеньор Браун с широким жестом, словно считая все мелочи. — Как я только что сказал дону, когда благородные джентльмены, вроде вас двоих, решают между собой дело такого деликатного свойства, тут уж обходится без какого-нибудь надувательства. Дон до того уж высок помыслами, что согласен для блага девушки принести в жертву свою привязанность к ней. Вы же, со своей стороны, постараетесь о ней заботиться

не хуже него, а даже и лучше. Теперь дело за формальностями. Если индианка присягнет, что нашла ребенка на берегу, я считаю, все будет в порядке. А если вам нужно будет какое-нибудь свидетельство, так прямо обращайтесь ко мне, я вам это мигом обделаю.

— Мы с Хуанитой к вашим услугам, кабальеро,— торжественно произнес дон Хуан.— Надеюсь, никто не сможет сказать, что мексиканская нация уступает в благородстве великой американской нации. Будем считать, что богиня американской свободы вверила мне Хуаниту на попечение, а она выросла в гнезде мексиканского орла.— Упоенный собственным красноречием, он мгновение помолчал, а затем добавил менее напыщенным тоном, обращаясь к девушке:— Разве не так, моя радость? Мы любим тебя, малютка, но мы верны долгу чести.

— Вот уж чего в старике нет, так это мелочности,— восхищенно сказал Браун, слегка приспустив левое веко.— Голова у него ясная и сердце верное.

— Ты забираешь у меня дочь, сеньор Крэнч,— продолжал охваченный волнением старик,— но американская нация дарит мне сына.

— Ты сам не знаешь, что ты говоришь, отец,— сердито сказала девушка, уловив в глазах американца легкую улыбку.

— Нет, нет,— сказал Крэнч,— быть может, какой-нибудь американец еще поймает его на слове.

— В таком случае, кабальеро, прошу вас воспользоваться скромным гостеприимством моего дома,— с традиционной мексиканской учтивостью произнес дон Хуан, вынимая из кармана большой ключ от ворот патио.— Он к вашим услугам,— повторил он.

И гости последовали за ним в дом.

Прошло два часа. Восточные склоны холмов стали темнеть; длинные черные тени немногочисленных тополей вдоль пыльной дороги, словно канавы, прорезали плоскую рыжую равнину; тени пасущегося скота, сливаясь с силуэтами самих животных, принимали все более причудливые очертания. Поднявшийся в горах резкий ветер, вырываясь из лесистого ущелья, как из воронки, разливался по долине. Антонио вдоволь поболтал со слугами, пощипал девушек за щеки, выпил

не один стаканчик агвардиенте, оседлал мулов и уже начал досадовать на задержку.

И вдруг неторопливое течение жизни патриархальной усадьбы дона Хуана Брионеса было нарушено. Дремавший в тишине двор вдруг наполнился пеонами и слугами. На аллеях сада поднялась страшная беготня. Отовсюду раздавались вопросы, распоряжения и восклицания; стук копыт десятка всадников прогремел по равнине. Дело в том, что служба миссии Сан-Кармел Франсиско исчез, как в воду канул, и с того дня его никогда больше не видели в асиенде дона Хуана Брионеса.

### III

Когда отец Педро проводил взглядом пегих мулов, скрывшихся за дубами возле маленького кладбища, увидел, как лучи утреннего солнца в последний раз блеснули на металлической уздечке Пинто, услышал, как в последний раз звякнули шпоры Антонио, с его уст сорвалось что-то очень похожее на мирской вздох. Повергнув в наивное изумление пришедших к утренней мессе молящихся, в большинстве своем недавно обращенных в христианство метисов, которые с большим усердием вкушали как духовную, так и телесную пищу, предлагаемую им святыми отцами, он препоручил свои обязанности в церкви помощнику, а сам с требником в руках удалился в сад под сень старых груш. Не знаю, способствовало ли его размышлениям созерцание этих корявых узловатых ветвей, все еще приносивших обильные и ароматные плоды, но как бы то ни было, он любил сюда приходить, и под самым кривым и уродливым стволом для него была врыта грубая скамья. На нее-то он и опустился, обратив лицо к горам, которые отгораживали от него невидимое море. Палящие лучи калифорнийского солнца освещали его лицо, беспощадно выискивая в нем признаки бессонной ночи, полной мучительных раздумий. Желтоватые белки его глаз покраснели; кожа на висках была изборождена жилками, словно табачный лист; его одежда, всегда издававшая запах мертвенной сухости, дышала лихорадочным жаром, словно среди пепла вдруг возродился огонь.

О чем думал отец Педро?

Он думал о своей молодости — молодости, проведенной под сенью этих самых груш, которые уже и тогда были старыми. Он вспоминал свои юношеские мечты об обращении язычников, о подвигах и жертвах, превосходящих подвиги самого Хуниперо Серра; он вспоминал, как рухнули эти мечты, когда архиепископ послал его товарища, брата Диего, на север вести миссионерскую работу в чужих землях, а его обрек на прозябание в Сан-Кармеле. Он вспоминал, какую тяжелую борьбу ему пришлось вести с самим собой, чтобы побороть греховное чувство зависти, и как через молитву и покаяние он наконец обрел терпение и смирение и отдался своему скромному делу, как выращивал верных сыновей истинной веры, иногда для этого даже отрывая их от груди матерей-еретичек.

Он вспомнил, как, обуреваемый религиозным усердием и бессознательным стремлением к отцовству, он стал мечтать о духовном отцовстве, о девственной душе, над которой он имел бы неограниченную власть, не ослабленную родительской привязанностью, и из которой смог бы вырастить продолжателя своего дела. Но как это сделать? Среди мальчиков, которых родители с большой готовностью предлагали на службу святой церкви, не было ни одного достаточно чистого душой и не испорченного родительским влиянием. И вот однажды ночью Святая Дева, как он твердо верил, вняла его мольбам, и его мечта осуществилась. Старуха индианка принесла ему ребенка — девочку, которую она подобрала на морском берегу. У нее не было родителей, и никто не мог заявить на нее права; у нее не было прошлого, которое могло бы напомнить о себе; ее история была известна лишь невежественной индианке, которая, передав малютку священнику, сочла свой долг выполненным и утратила к ней всякий интерес. Строгость монашеского уклада его жизни была такова, что он должен был скрыть пол ребенка. Это было вовсе не трудно, так как он запретил кому бы то ни было до него дотрагиваться и ухаживал за ним сам, смело окрестив его вместе с другими детьми и дав ему имя Франсиско. Никто не знал происхождения ребенка и не интересовался им. Было известно, что отец Педро усыновил найде-

ныша; а если он так ревниво его оберегает, прячет ото всех, то это, наверное, какая-нибудь священная тайна, не доступная пониманию простых смертных.

У отца Педро тоскливо потемнели глаза и участилось дыхание, когда он стал вспоминать, как повседневные заботы о беспомощном младенце открыли ему радости отцовства, которых он был лишен; как он считал своим долгом бороться с восторгом, охватывавшим его при прикосновении к его пергаментным щекам маленьких пальчиков, при звуке младенческого лепета, при взгляде в изумленные и полные немого вопроса детские глаза; он вспоминал, как трудно давалась ему эта борьба и как наконец он вовсе перестал бороться, решив, что все это лишь символ детской чистоты, воплощенной в младенце Иисусе. И все же, даже предаваясь этим мыслям, он вынул из кармана маленький башмачок и положил его рядом с требником. Это был башмачок, который в детстве носил Франсиско, совсем такой же, как башмачки на миниатюрной восковой фигуре божьей матери, стоявшей в нише в трансепте.

Мучили ли его все эти годы угрызения совести из-за того, что он скрыл пол ребенка? Отнюдь. Ибо для него дитя не имело пола, как и подобало тому, кому предстояло жить и умереть у подножия алтаря. Бога он не обманывал, а все остальное не имело значения. И отдать ее на попечение святых сестер он не мог, потому что в округе не было женского монастыря, а с каждым годом возвращение девочки к ее естественному положению и обязанностям становилось все более затруднительным. А затем судьбу ребенка окончательно определило обстоятельство, в котором отец Педро вновь увидел прямое вмешательство провидения. У него обнаружился голос такой прелестной чистоты и нежности, что, казалось, сам ангел поет на хорах, и простертые на полу молящиеся в восторге поднимали глаза вверх, как бы ожидая, что темные балки потолка сейчас озарятся небесным сиянием. Слава маленького певца достигла самых отдаленных уголков долины Сан-Кармел, и все считали, что миссия удостоилась своего чуда. Дон Хосе Перальта припомнил, что в Испании ему — да-да! — доводилось слышать в церквах голоса такой неземной красоты!

И эту душу, самым господом вверенную его попечению, хотят у него отобрать! Да разве он отдаст эту душу, которую отторг от неведомого греховного мира и сохранил в непорочной чистоте, разве отдаст эту предназначенную богу душу, как раз когда она обещает умножить славу матери-церкви? И только по слову заведомого грешника, человека, раскаявшегося с таким запозданием и все еще не получившего от церкви отпущения грехов? Нет! Ни в коем случае! С неподобающей священнослужителю радостью отец Педро думал об отказе незнакомца от заступничества церкви: если бы он его принял, то священный долг обязал бы отца Педро возлюбить его и помочь ему.

Отец Педро поднялся со скамьи и побрел в дом. Проходя по коридору миссии, он заглянул в маленькую келью, расположенную рядом с его собственной. На окне, на столе и даже на умывальнике стояли собранные вчера Франсиско букеты цветов; некоторые из них уже завяли; белое облачение, в котором он пел в церкви, одиноко висело на стене. При виде его отец Педро вздрогнул: ему почудилось, что вместе с этим одеянием его воспитанник оставил здесь свое духовное начало.

Поежившись от прохлады, которую в Калифорнии даже в самый зной хранит любая тень, отец Педро вернулся в сад. Мысленно последовав за Франсиско, он увидел, как тот приехал на ранчо донна Хуана, но с роковой слепотой всех мечтателей нарисовал себе картину, не имевшую ничего общего с действительностью. Дальше он последовал за пилигримами до Сан-Хосе и представил себе, как Франсиско вручает настоятелю письмо, раскрывающее его тайну. Отец Педро был весь во власти одной мысли, и ему даже в голову не пришло, что настоятель Сан-Хосе может не согласиться со скромным священником из Сан-Кармела и отказаться выполнять его планы. Подобно всем одиноким людям, оторванным от жизни общества, он не умел предвидеть события, выходящие за рамки повседневной жизни. Однако в это мгновение у него вдруг мелькнула мысль, от которой его пергаментные щеки побелели. Что если отец-настоятель сочтет необходимым посвятить Франсиско в его тайну? Что если тот возмутится обманом и перестанет любить своего приемного



отца? Впервые за все это время отец Педро позабыл о себе и подумал о чувствах Франсиско. До сих пор тот был для священника лишь существом, обязанным беспрекословно ему подчиняться как духовному наставнику и опекуну.

— Святой отец!

Он с досадой обернулся. Это был его вакеро Хосе. Глаза отца Педро оживились.

— А, Хосе! Ну так как, ты нашел Санчичу?

— Да, ваше преподобие. И я ее привез: только уж не знаю, что с ней можно сделать, кроме как закопать в землю и прочитать молитву. Если вам удастся добиться от нее какого-нибудь толку, я отдам мула, на котором ее привез, на прокорм койотам. Она ничего не слышит и не говорит — не знаю только, от слабости или от упрямства.

— Тогда помолчи! И пусть она будет тебе в этом примером. Приведи ее в ризницу, а сам займись своими делами. Иди!

Глядя вслед удаляющемуся погонщику, отец Педро торопливо провел по лбу своей иссохшей рукой, изборуженной морщинами и венами, словно ноябрьский лист, и кожа под ней отвечала сухим шелестом. Затем он вдруг стиснул пальцами требник, опустил прямо перед собой руки и скованной походкой прошел в коридор, а оттуда в ризницу.

В комнате царил полумрак, и сначала она показалась ему пустой. В углу валялась куча одеял, а поверх них виднелись жесткие черные волосы, напоминавшие расплетенную риату. Когда отец Педро приблизился к этой куче, она заколыхалась. Наклонившись, он увидел среди одеял горящие, как угли, черные глаза Санчичи, столетней индианки миссии Сан-Кармел. В ее дряхлом теле жили одни глаза. Старость сделала ее беспомощной, размягчила ее кости и угасила разум.

— Послушай, Санчича,—торжественно произнес отец Педро.—Постарайся на минуту ожить в своей памяти события, происшедшие четырнадцать лет назад. Для тебя это все равно, что вчера. Помнишь ребенка, которого ты принесла мне четырнадцать лет тому назад?

В глазах старухи загорелся осмысленный огонек. Они обратились на открытую дверь ризницы и оттуда внутрь церкви на хоры.

Священник раздраженно махнул рукой.

— Нет, нет, ты меня не поняла, ты не слушаешь, что я тебе говорю. Ты не знаешь, целы ли его вещи: одежда с меткой, может быть, амулет или какая-нибудь безделка?

Огонек в глазах старухи потух. Она казалась мертвой. Отец Педро немного подождал, а потом нетерпеливо положил руку ей на плечо.

— Ты хочешь сказать, что ничего не сохранилось?

В ее глазах опять что-то засветилось.

— Нет.

— Ты хочешь сказать, что ты не сохранила и не спрятала ничего, по чему родители ребенка могли бы его узнать? Поклянись на этом распятии.

Она взглянула на распятие, и ее глаза стали так же пусты, как глаза без зрачков на резном лице Спасителя.

Отец Педро терпеливо ждал. Прошла минута; со двора доносился звон шнор Хосе.

— Тем лучше, — наконец сказал отец Педро со вздохом облегчения. — Пепита тебя покормит, а Хосе отвезет домой. Я ему скажу.

Он вышел из ризницы, не закрыв за собой дверь. Луч солнца вбежал внутрь и упал на кучу тряпья в углу. Глаза Санчичи опять ожили; более того, ее лицо пришло в какое-то странное движение. На месте ее беззубого рта открылся черный провал — она смеялась. В коридоре послышались шаги Хосе, и старуха вновь замерла без движения.

Третий день после отъезда Франсиско, день, когда Антонио должен был вернуться домой, подходил к концу. Отец Педро испытывал нетерпение, но не тревогу. Святые отцы в Сан-Хосе могли ведь задержать Антонио, пока обдумывали ответ. Если бы с Франсиско что-нибудь случилось, Антонио вернулся бы сам или прислал бы человека с известием. На закате отец Педро сидел на своей скамье в саду, опустив руки с требником на колени и устремив взор на горы, отделявшие его от полного тайн моря, которое так много изменило в его жизни. У него появилось странное желание — увидеть

море. Его охватило любопытство, которому доселе не было места в его занятой жизни: ему захотелось взглянуть на берег, может быть, даже на то самое место, где был найден Франсиско; ему казалось, что его пытливый взор обнаружит какой-нибудь незаметный след; его настойчивость и помощь Святой Девы заставят море раскрыть свою тайну. Глядя на туман, ползущий по гребню, он вспомнил разговоры, которые слышал за последнее время в миссии,—будто бы с приходом американос туман все ближе подступает к миссии. При мысли о ненавистных пришельцах отцу Педро представился незнакомец так, как он стоял перед ним в этом самом саду три дня назад, представился с такой явственностью, что он с испуганным восклицанием вскочил на ноги. И тут увидел, что ему вовсе не почудилось и что сеньор Крэнч собственной персоной выходит к нему из тени груши.

— Я предполагал найти вас здесь,—начал мистер Крэнч таким спокойным и деловым тоном, словно продолжал прерванный разговор,—и я надеюсь задержать вас не дольше, чем в прошлый раз.—Он молча поглядел на часы, которые уже держал в руке, и затем положил их в карман.—Так вот, мы ее нашли!

— Франсиско! — воскликнул священник, шагнул к Крэнчу и, схватив его за руку, посмотрел ему прямо в глаза.

Мистер Крэнч осторожно снял руку отца Педро со своей.

— По-моему, ее зовут не так,—сухо отозвался он.— Может быть, вы лучше присядете?

— Простите... простите меня, сеньор,—проговорил священник, поспешно опускаясь на свою скамью.—Я думал о другом. Вы... вы... так внезапно появились. Я принял вас за служку. Продолжайте, сеньор, я вас слушаю с большим интересом.

— Я так и думал, что вы заинтересуетесь,—спокойно ответил Крэнч.—Повторю я и пришел. К тому же вы можете нам помочь.

— Да-да,—поспешно отозвался священник.—И кто же эта девушка, сеньор?

— Метиска Хуанита, приемная дочь дона Хуана Брионеса, владельца ранчо в долине Санта-Клара,—от-

ветил Крэнч, ткнув большим пальцем себе через плечо, и сел на скамью возле отца Педро.

Священник несколько секунд пристально впивался в его лицо воспаленным взглядом, а затем упрямо уставился в землю. Крэнч вынул из кармана плитку табаку, отрезал кусок, положил его себе за щеку и затем стал спокойно точить нож о подошву. Отец Педро краем глаза следил за ним и, хотя был поглощен совсем иными мыслями, почувствовал брезгливое презрение.

— И вы уверены, что она и есть тот ребенок, которого вы ищете? — спросил священник, не поднимая глаз.

— Более или менее. Ее возраст подходит, она была единственным найденным-девочкой, которую вы крестили, — он с вопросительным видом повернулся к священнику, — в том году. Индианка говорит, что она нашла на берегу ребенка. Как будто все сходится.

— А одежда ее сохранилась, мой друг? — спросил священник, все еще глядя в землю, но равнодушным тоном.

— Я полагаю, она со временем найдется, — ответил Крэнч. — Главное было найти девушку. Моя забота была ее найти, а уж законники пусть проверяют доказательства и говорят, чего еще не хватает.

— Но при чем тут законники? — спросил отец Педро с насмешкой, которую не сумел скрыть. — Вы же нашли ребенка и не сомневаетесь в том, что это она?

— Это из-за наследства. Дело надо вести по-деловому.

— Наследства?

Мистер Крэнч нажал тупой стороной лезвия на сапог, со щелчком закрыл нож и, кладя его в карман, спокойно пояснил:

— После смерти ее отца остался капитал в миллион долларов, который по праву принадлежит ей, но надо ведь доказать, что она его дочь.

Засунув обе руки в карманы, он повернулся и в упор посмотрел на отца Педро. Священник торопливо поднялся.

— Но прежде вы об этом ничего не говорили, сеньор Крэнч! — с жестом негодования воскликнул он, поворачи-

чиваясь к Крэнчу спиной и делая шаг в направлении трапезной.

— А зачем мне было об этом говорить? Я искал девушку, а тут наследство ни при чем,— ответил Крэнч, внимательно наблюдая за священником, но продолжая говорить беспечным тоном.

— Ах вот как? И вы думаете, другие с вами согласятся? Вуено! Что подумают люди о вашей священной миссии? — продолжал отец Педро возбужденно, но по-прежнему отвернувшись от собеседника.

— Людей интересуют доказательства и, будь они в порядке, на остальное внимание не обратят. Девушка только скажет мне спасибо за то, что я помог ей получить большое состояние. Смотрите! Вы что-то уронили! — воскликнул Крэнч и, вскочив на ноги, подобрал выпавший из рук отца Педро требник и вернул его владельцу с мягкой вежливостью, которая, казалось бы, была ему несвойственной.

Священник взял требник дрожащей рукой и даже не поблагодарил.

— Но какие у вас есть доказательства,— продолжал он,— какие именно?

— Ну, во-первых, вы подтвердите, что вы ее крестили.

— А если я откажусь? Если я не захочу принимать в этом участие? Если я не могу поручиться, что не произошла какая-нибудь ошибка? — Священник разжигал в себе все более пылкое негодование. — Что кого-то не подвела память? Я крестил столько детей — разве я могу их помнить? И если эта Хуанита вовсе не та девушка, а?

— Тогда вы поможете мне отыскать ту,— невозмутимо ответил Крэнч.

Вне себя от гнева отец Педро обрушился на своего учителя. Истерзанный бессонницей и тревогой, он забыл обо всем и только хотел избавиться от присутствия человека, который, казалось, взял на себя роль его совести.

— Кто вы такой, чтобы так со мной разговаривать? — хриплым голосом проговорил он, наступая на Крэнча с вытянутой, как для проклятия, рукой. — Кто вы такой, сеньор Язычник, что вы осмеливаетесь приказывать мне, служителю святой церкви? Я вам говорю,

что не потерплю этого. Нет! Ни за что! Запомните! Ни за...

Он вдруг умолк. С башни прозвучал первый удар колокола. Первый удар колокола, магические звуки которого изгоняли все человеческие страсти, мирного колокола, который вот уже пятьдесят лет призывал паству Сан-Кармела к молитве и отдыху, достиг взволнованного слуха отца Педро. Его дрожащая рука нащупала распятие и поднесла его к левой стороне груди; его губы зашевелились в молитве. Он поднял глаза к холодному, бесстрастному небу, где уже виднелось несколько светлых редких звезд, тихонько прокравшихся на свои места. Колокол продолжал звонить; постепенно отец Педро перестал дрожать и застыл в скованной неподвижности.

Американец терпеливо ждал, сняв шапку — больше из уважения к чувствам священника, чем к самому обряду. Глаза отца Педро вновь обратились на землю, увлажненные, словно небесной росой. Он посмотрел на американца отрешенным взглядом.

— Прости меня, сын мой, — заговорил он совершенно другим тоном. — Я всего лишь старый, усталый человек. Мне надо будет с тобой обо всем этом поговорить еще раз... но не сегодня... не сегодня... завтра... завтра... завтра...

Он медленно повернулся и каким-то бесплотным духом заскользил по саду, пока его не поглотила черная тень колокольни. Крэнч тревожно смотрел ему вслед. Затем он вынул из-за щеки табачную жвачку.

— Так я и думал, — вслух проговорил он. — Скала твердая, но внутри чистое золото.

#### IV

В ту ночь отцу Педро приснился странный сон. Что в нем было явью, сколько времени он продолжался и когда окончился, он не мог бы сказать. Тяжкое волнение, испытанное накануне, привело его в состояние лихорадочного возбуждения, в котором он как бы жил другой жизнью и действовал помимо своей воли.

Вот что он запомнил. Будто бы ночью его охватило раскаяние и ужас перед содеянным и, войдя в темную церковь, он упал на колени перед алтарем. Вдруг с хоров понесся голос Франсиско, но он звучал до того странно и неблагозвучно, что казался неуместным в церкви, и священника охватил суеверный трепет. У отца Педро осталось также воспоминание, что он открыл Крэнчу тайну своего воспитанника, но когда он это сделал — на следующее утро или через неделю, — он не мог сказать. У него было впечатление, что Крэнч, в свою очередь, признался в каком-то пустячном обмане, но в чем заключался этот обман, он не мог вспомнить: слишком уж чудовищной казалась его собственная вина. Он смутно припоминал, что Крэнч отдал ему письмо, которое он написал настоятелю Сан-Хосе, сказав, что никто не узнал его тайну и что он избавлен от публичного признания и возможного скандала. Но все это подчиняла себе и заслоняла одна-единственная мысль: он должен поехать с Санчицей на берег моря и там, на том месте, где она нашла Франсиско, увидеться с девушкой, в которую тот превратился, и проститься с ней навеки. Он смутно припоминал объяснения Крэнча, что это необходимо для формального установления ее личности, но каким образом и зачем, ему было неясно: достаточно было того, что это входило в его епитимью.

И вот пришел день, когда он на заре выехал из миссии Сан-Кармел в сопровождении верного Антонио, Санчицы и Хосе. На лицах всех участников маленькой кавалькады, кроме ничего не выражавшего лица старухи, было написано беспокойство и уныние. Отец Педро не отдавал себе отчета, до какой степени его рассеянность и галлюцинации удручали его честных спутников. Они ехали по извилистой тропе, поднимающейся в гору, и священник заметил, что Антонио и Хосе переговариваются вполголоса, ежеминутно благочестиво крестясь и бросая на него встревоженные взгляды. Он задумался, не следует ли ему объявить им о своем грехе и униженно просить их прощения, но его остановила мысль, что его преданные слуги захотят разделить наложенную на него кару; кроме того, он вспомнил, что обещал Крэнчу никому ничего не говорить. Ради нее. Раз два он оглянулся на миссию. Какой маленькой она казалась

с вершины горы и как мирно дремала в долине, за которой открывались дикие просторы, вплоть до едва видневшейся на востоке призрачной стены Сьерры! Вот уже почувствовалось могучее дыхание моря; еще немного, и кавалькада достигла гребня и остановилась; надвинув на лоб сомбреро, с развевающимися серапе, они смотрели на бескрайний сверкающий Тихий океан.

Оглушенный и ослепленный сияющей волнующейся гладью, отец Педро ехал к морю, как во сне. Вдруг он натянул поводья и подозвал к себе Антонио:

— Сын мой, не говорил ли ты мне, что этот берег дик и пустынен и что здесь нет ни зверья, ни человеческих жилищ?

— Говорил, святой отец.

— Так что же это? — спросил священник, показывая вниз.

Там виднелась группа зданий, примостившихся возле впадающего в море ручья. Из высокой фабричной трубы валил дым, кругом лежали груды какой-то породы, неведомые им машины были разбросаны по песчаному берегу, а между ними сновали человеческие фигурки. В бухте стояла на якоре шхуна.

Вакеро ошеломленно перекрестился.

— Не знаю, ваше преподобие. Я здесь был всего два года назад, когда разыскивал жеребят, отбившихся от табуна, и, клянусь священными мощами святого Антонио, все было, как я говорил.

— У этих американос всегда так, — отозвался Хосе. — Мой брат Диего рассказывал, как он два месяца назад поехал из Сан-Хосе в Пескадеро и на всем пути через прерию не встретил ни одной харчевни или постоялого двора, где бы остановиться. А когда возвращался неделю спустя, посреди прерии стояли три дома и фабрика и было полно народу. И все почему, Пресвятая Дева! Кто-то остановился у ручья напиться и увидел там золото. Вот столько. — И Хосе показал пальцем на одну из серебряных монет, пришитых к рукавам его куртки вместо пуговиц.

— Они и здесь промывают песок, чтобы найти золото, — сказал Антонио, показывая на кучку людей, столпившихся около одной из машин, напоминавшей огромную люльку. — Поехали быстрее.



На минуту пробудившийся в отце Педро интерес погас. Слова его спутников казались ему скучными и бессмысленными. Он опять был поглощен своими мыслями и сознавал только, что эта кипучая, напряженная жизнь еще больше отделяет от него Франсиско, когда-то, как он верил тогда, принесенного ему морем. В его утомленном, затуманенном мозгу возникла мысль, что если такая чуждая жизнь могла идти в десятке миль от миссии и он ничего о ней не знал, то, может быть, то же самое происходило и вокруг него, в монастырском уединении миссии, а он оставался ко всему слеп? Может быть, сам того не сознавая, он все это время жил в суетном мире? Может быть, суета была и у него в крови? Может быть, это она побудила его... Он содрогнулся при этой мысли.

Когда петлявшая по склонам дорога уже почти вывела их к берегу, он увидел, что неподалеку через заросли овсюга медленно идут мужчина и женщина. Ему показалось, что он узнал в мужчине Крэнча. Кто же тогда женщина? Сердце на секунду замерло у него в груди. Неужели это она? Он никогда не видел ее в женском платье — неужели оно так ее изменило? Разве она такая высокая? Как в полусне, он приказал Антонио и Хосе не спеша ехать вперед с Санчичей, а сам слез с мула и начал пробираться между гигантскими метелками злаков, стараясь остаться незамеченным. Крэнч и его спутница, видимо, не слышали, как он приблизился, и продолжали о чем-то горячо спорить. Отцу Педро чудилось, что они держались за руки и что потом Крэнч обнял ее за талию. Он чуть было не бросился к ним, возмущенный этим, как ему показалось, чудовищным кощунством, но тут до него донесся голос девушки. Он остановился, затаив дыхание. Это был голос не Франсиско, а Хуаниты, маленькой метиски.

— А может быть, вы и сейчас притворяетесь, что меня любите, как притворялись, что верите, будто я и есть та девочка, с которой вы убежали и которую потеряли? Вы уверены, что в вас говорит не раскаяние за то, что вы всех нас обманули — меня, доня Хуана и бедного отца Педро?

Отцу Педро показалось, что вместо ответа Крэнч попытался ее поцеловать, ибо девушка, кокетливо

взмахнув косами, вдруг отпрянула от него и спрятала смуглые руки за спину.

— Послушай,— сказал Крэнч с той же добродушной непринужденной прямоотой, которая запомнилась священнику и которую в более склонном к раздумьям человеке могли бы принять за признак философского склада ума,— ты несправедлива. Во-первых, это дон Хуан и алькальд высказали предположение, что ты и есть тот самый ребенок.

— Но, по вашим словам, вы с самого начала знали, что это Франсиско,— прервала его Хуанита.

— Это верно, но, когда я увидел, что священник не хочет мне помочь и не признается, что служка на самом деле девочка, я предпочел сделать вид, что ему поверил и собираюсь отдать наследство кому-нибудь другому и пусть уж его совесть решает, допустить это или помешать этому. И все вышло, как я предполагал. Надо думать, старику досталось нелегко — в его годы расстаться с ребенком, к которому так привязан, не просто, но он оказался мужественным человеком.

— И чтобы спасти его, вы решили обмануть меня? Спасибо, сеньор,— сказала девушка, делая насмешливый реверанс.

— Да, конечно. Тебя я прочил себе в жены, а не в дочки, если ты об этом. Когда ты лучше меня узнаешь, Хуанита,— продолжал Крэнч серьезно,— ты согласишься, что я никогда не стал бы тебя обманывать, притворяясь, что хочу тебя удочерить, если бы не надеялся на тебе жениться.

— Bueno! И когда же у вас появилась эта милая надежда?

— Когда я в первый раз тебя увидел.

— То есть две недели назад?

— Год назад, Хуанита. Когда Франсиско приехал повидать тебя на вашем ранчо. Я отправился следом и увидел тебя.

Хуанита мгновение глядела на него молча, потом вдруг бросилась к нему, схватила за отвороты скюртука и стала трясти, как терьер трясет добычу.

— А вы уверены, что не были влюблены в Франсиско? Отвечайте! — Она опять его встряхнула. — Поклянитесь, что вы не ходили за ней следом!

— Но... я же ходил,— смеясь, ответил Крэч, не препятствуя маленьким ручкам трясти его.

— Иуда Искарот! Поклянитесь, что вы все это время не были в нее влюблены!

— Но, послушай, Хуанита!

— Поклянитесь!

Крэч поклялся. Тогда, к несказанному изумлению отца Педро, Хуанита, взяв американца за уши, нагнула к себе его лицо и поцеловала его.

— А ведь вы могли бы влюбиться в нее и взять в приданое целое состояние,— заметила она, помолчав.

— Тогда как бы я искупил свою вину и выполнил свой долг? — усмехнувшись, спросил Крэч.

— Ей было бы достаточно получить вас в мужья! — ответила Хуанита, мгновенно проникаясь враждебностью любящей женщины к возможной сопернице. В ответ на это Крэч еще раз ее поцеловал, а затем Хуанита сказала:

— Мы очень далеко ушли от дороги. Пойдемте назад, а то пропустим отца Педро. Вы уверены, что он приедет?

— Неделю назад он обещал мне приехать, чтобы собственными глазами посмотреть на доказательства.

Они пошли к дороге, и их голоса постепенно стихли вдали.

Отец Педро стоял как вкопанный. Неделю назад! Неужели прошла неделя... Но после чего? А что он делал тут сейчас? Подслушивал! Он! Отец Педро, как бездельник-пеон, подслушивал признания влюбленных. Но они говорили о нем, о его преступлении, и американец его пожалел. Почему он не заговорил с ними? Почему он их не окликнул? Он попытался крикнуть, но его горло сжалось, и ему показалось, что он сейчас задохнется. Метелки овсюга вокруг закивали ему, он почувствовал, что качается. Потом он стал падать — долго-долго — с вершины горы на пол часовни в миссии. И там остался лежать в темноте.

. . . . .

— Он пошевелился!

— Спаси его, святой Антоний!

Он услышал голос Антонио, почувствовал на себе руку Хосе, увидел колышущиеся злаки и небо над головой — ничто не изменилось.

— Что произошло? — слабым голосом спросил священник.

— У вас закружилась голова, ваше преподобие, и вы обмерли. А мы как раз пошли вас искать.

— Вы никого не встретили?

— Никого, ваше преподобие.

Отец Педро провел рукой по лицу.

— А это кто? — спросил он, показывая на две фигуры, появившиеся на тропе.

Антонио обернулся.

— Это американо сеньор Крэнч и его приемная дочь Хуанита. По-моему, они ищут вас, ваше преподобие.

— А,— сказал отец Педро.

Крэнч подошел и почтительно поздоровался со священником.

— Я весьма тронут, отец Педро,— сказал он, бросая выразительный взгляд в сторону Хосе и Антонио,— тем, что вы приехали проводить меня и мою приемную дочь. Мы отплываем с приливом, а пока приглашаем вас вон в тот дом.

Отец Педро долго смотрел на Крэнча, потом перевел взгляд на Хуаниту.

— Вот как,— проговорил он наконец, запинаясь.— Но она ведь едет не одна? Ей будет сначала очень тяжело одной в незнакомом мире. Может быть, с ней едет подруга, какая-нибудь спутница?

— Да, с ней едет ее старая и любимая подруга, отец Педро, и она нас сейчас ждет.

Он привел отца Педро к маленькому белому домику — такому маленькому и белому и явно так недавно построенному, что он казался просто каплей морской пены на берегу. Оставив Антонио и Хосе в соседней мастерской, Крэнч помог престарелой Санчиче слезть с мула и вместе с отцом Педро и Хуанитой вошел в обнесенный частоколом участок возле дома и остановился возле песчаного холмика с двустворчатой дверью, как у погребка. Дверь была заперта на висячий замок. Рядом стояли американский алькальд и дон Хуан Брионес.

Отец Педро оглянулся, ища глазами еще одну фигуру, но ее не было.

— Господа,— начал Крэнч, как всегда, без промедления приступая к делу,— вы все знаете, что мы пришли сюда, чтобы установить личность девицы, которая,— он на секунду запнулся,— до последнего времени находилась на попечении отца Педро, установить, что она является тем самым ребенком, которого пятнадцать лет тому назад нашла на этом берегу индианка Санчича. Вы все знаете, как этот ребенок здесь очутился и какое я имел к этому отношение. Я вам рассказал, как я выбрался на берег, оставив ребенка в ялике, предполагая, что его заберут люди, преследовавшие меня на шлюпке. Некоторым из вас,— он взглянул на отца Педро,— я рассказал, как три года тому назад я узнал от одного из матросов, служившего на том же судне, что отец так и не нашел своего ребенка. Но я никому не говорил, откуда я точно знал, что ребенка подобрали на этом самом месте. Я не помнил, где именно вышел на берег, потому что стоял густой туман. Но два года назад я пришел в эти места с компанией золотоискателей. И вот в один прекрасный день, копая яму неподалеку от ручья, я наткнулся под толстым слоем песка на что-то твердое. Это не было золото, господа, но нечто, имевшее для меня бóльшую ценность, чем золото или серебро. Вот оно.

Он сделал знак алькальду, и тот отпер замок и распахнул дверцу. За ней оказалась яма, в которой лежал наполовину откопанный ялик.

— Это ялик «Тринидада», джентльмены, на нем и сейчас можно разобрать название судна. На его корме под шкотом я нашел полуистлевшие детские вещи, которые тогда были на девочке. Тогда я понял, что кто-то забрал ребенка, оставив одежду, чтобы нельзя было установить его происхождение. Похоже было, что в деле замешан индеец или индианка. Я начал потихоньку расспрашивать местных жителей и вскоре нашел Санчичу. Она призналась, что нашла ребенка, но сначала не хотела говорить, куда его дела. Но позднее она в присутствии алькальда заявила, что отдала его отцу Педро в миссию Сан-Кармел — и вот она стоит перед нами, бывший Франсиско, нынешняя Франсиска.

Он отошел в сторону, уступая дорогу высокой девушке, которая вышла из дома.

Отец Педро не слышал последних слов и не видел движения Крэнча. Его глаза были прикованы к слабой Санчиче — Санчиче, над которой небеса, словно в укор ему, сотворили чудо, вернув ей разум и речь. Он провел дрожащей рукой по лицу и отвернулся от индианки, и тут его взгляд упал на только что подошедшую девушку.

Эта была она. Пришла та минута, которой он так ждал и так боялся. Она стояла перед ним, хорошенькая, оживленная, оскорбительно сознающая свое новое очарование, свой непривычный наряд и жалкие побрякушки, которые заменили ей монашеское одеяние и которые она хвастливо перебирала тщеславными пальцами. Она была поглощена своим новым положением, и для прошлого в ее сознании не оставалось места; ее ясные глаза оживленно блеснули в предвкушении будущего богатства и удовольствий. Это было само воплощение суетного мира, даже протягивая ему в полукокетливом смущении руку, она другой поправила складки на юбке. Прикоснувшись к ее пальцам, отец Педро вдруг почувствовал себя бесконечно старым, и его душу охватил холод. Ему было отказано даже в том, чтобы искупить свою вину болью расставания — он больше не чувствовал горести при мысли о разлуке. Он подумал о белом одеянии, висевшем в маленькой келье, но эта мысль не вызвала сожаления. Ему только было страшно при мысли, что когда-то оно одевало эту плоть.

— Вот и все, господа, — раздался деловитый голос Крэнча. — Дело законников решить, достаточны ли эти доказательства, чтобы объявить Франсиску наследницей состояния ее отца. Для меня же они достаточны, они дали мне возможность искупить содеянное зло, заняв место ее отца. В конце концов это была случайность.

— Это была воля божья, — торжественно произнес отец Педро.

Это были последние слова, которые он к ним обратил. Когда туман начал подбираться к берегу, ускоряя их отъезд, он отвечал на их прощальные слова лишь молчаливым пожатием руки, не разжимая губ и глядя на них отсутствующими глазами.

Когда звук весел затих вдали, он велел Антонио отвести его и Санчичу назад к погребенной в песке лодке. Там он приказал ей встать на колени рядом с ним.

— Мы будем отбывать здесь свою епитимью, дочь моя, ты и я,—сурово проговорил он.

Когда туман мягко сомкнулся вокруг этой странной пары, закрыв море и берег, отец Педро прошептал:

— Скажи, дочь моя, все было вот так же в ту ночь, когда ты ее нашла?

Когда с невидимого в тумане судна донесся скрип блоков и канатов, он опять прошептал:

— И это ты тоже слышала тогда?

И так всю ночь он тихим голосом напоминал едва соображавшей, что происходит, старухе, как плескались волны, как шумели вдалеке буруны, как то светлел, то сгущался туман, как в нем возникали фантастические тени и как медленно пришел рассвет. А когда утреннее солнце рассеяло пелену, покрывавшую море и землю, за ними пришли Антонио и Хосе. Осунувшийся, но не согбенный, он стоял возле дрожащей старухи и, протянув руку к горизонту, где еще виднелся белый парус, посылал ему вслед свое благословение:

— Vaya Usted con Dios<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Идите с богом! (исп.).

## ПОКИНУТЫЙ НА ЗВЕЗДНОЙ ГОРЕ

### I

Сомнений не оставалось: прииск на Звездной вышел в тираж. Не иссяк, не истощился, не был выработан, а именно вышел в тираж. Два года пятерка его жизнерадостных владельцев переживала различные стадии старательского вдохновения: рылась в земле и витала в облаках, разведывала и разочаровывалась. Компаньоны занимали деньги с обманчивым чистосердечием вечных должников, брали в кредит с самоотверженным пренебрежением ко всякой и всяческой ответственности и бодро переносили разочарование своих кредиторов с тем светлым смирением, какое способна дать лишь глубокая вера в Прекрасное Будущее. Поскольку, однако, дать что-либо более осязаемое она была бессильна, досада местных лавочников сменилась резким недовольством, каковое вкупе с нежеланием продлить кредит в конце концов поколебало благодушный стоицизм владельцев заявки. Юношеский пыл, который на первых порах придавал видимость реального свершения всякой тщетной попытке, всякому бесплодному усилию, улетучился, оставив их один на один с унылой и прозаической действительностью: недорытыми шурфами, заброшенными выработками, бесполезными лотками, бесцельно изуродованной землей за стенами хижины на Звездной, а также пустыми мешками из-под муки и бочонками из-под солонины внутри этих стен.



Впрочем, они без труда мирились со своей бедностью, если под этим словом понимать отказ от всевозможных излишеств в еде и одежде, скрашенный к тому же упомянутыми уже деликатными покусениями на чужую собственность. Более того: отделившись от собратьев — старателей Красной Ложины, они стали единоличными владельцами маленькой долины в пяти милях оттуда, поросшей земляничными деревьями, и собственная неудача начала представляться им лишь неким свидетельством заката и падения всего их сообщества в целом, что в известной мере снимало с них ощущение личной ответственности. Им легче было объяснить все тем, что Звездная заявка вышла в тираж, чем признаться в собственной несостоятельности. А кроме того, им еще оставалось священное право бранить правительство, и каждый в душе ставил собственный разум не в пример выше слитой воедино мудрости своих компаньонов, испытывая отрадную уверенность в том, что не он, а четверо других целиком отвечают за судьбу их общей затеи.

В день 24 декабря 1863 года по всей Звездной заявке по-прежнему сеялся мелкий дождь. Он моросил уже не первые сутки и успел по-весеннему оживить хмурый ландшафт, бережно стирая следы разрушений, учиненных владельцами участка, и милосердно прикрывая от взора его зияющие раны. Рваные края ям на склонах каньонов постепенно сглаживались, исцарапанные, истерзанные склоны тут и там подернулись тонким зеленым покровом. Еще неделя-другая, и следы бесславных трудов на Звездной скроет пелена забвения. Сами же милые отщепенцы, решив, что подобная перспектива дает им моральное право считать себя свободными от своих обязанностей, с философским видом глядели в открытую дверь и слушали, как дождевые капли выбивают дробь по крыше их тесной хижин. Из пятерых компаньонов налицо были четыре: Первый Валет, Второй Валет, Грубый Помол и Судья.

Едва ли есть надобность говорить, что ни один из перечисленных титулов не имел ничего общего с подлинным именем его обладателя. Первый и Второй Валеты были братья, а прозвища их в веселую минуту заимствованы были из юкра, излюбленной здесь карточной

игры, показывая соответственно, который из двоих слывет на заявке более ценной фигурой.

Что касается третьего партнера, то как же было удержаться и не окрестить его Грубый Помол, если он однажды взял да залатал себе штаны старым мешком из-под муки с четким фирменным клеймом! Ну, а четвертый, уроженец штата Миссури, человек нерассудительный и совершенный невежда в вопросах юриспруденции, был в знак насмешки, с полным основанием наречен Судьей.

Но вот Грубый Помол, который до сих пор восседал на пороге, невозмутимо выставив одну ногу наружу, не в силах побороть лень и шелохнуться, наконец убрал с джодж свою пострадавшую от ярости стихий конечность и встал. Этот поступок, заставивший остальных компаньонов слегка потесниться, был воспринят с холодным неодобрением. Примечательно, что, несмотря на свой явно цветущий вид, молодость и завидное здоровье, все до единого держались как немощные и дряхлые калеки. С трудом совершив несколько телодвижений, они поспешили опуститься на койку или табурет и застыть в прежней позе. Второй Валет вяло поправил повязку, которую без всякой видимой причины носил на лодыжке вот уже несколько недель; Судья с нежной заботой углубился в созерцание давно поджившей царапины на руке. Жизнь в затворничестве превратила их в апатичных ипохондриков — последний довершающий штрих и без того нелепого и жалкого положения.

Непосредственный виновник переполоха почувствовал, что необходимо дать объяснения.

— Нечего было так грубо вторгаться со своей ногой в чужую личную жизнь, — заявил Первый Валет. — С таким же успехом мог бы посидеть и снаружи. Тем более что от твоих титанических усилий солонины в бочонке не прибудет. Вон долтонский бакалейщик говорит... Что это он там говорил? — лениво обратился он к Судье.

— Видимо, — говорит, — заявка на Звездной вышла в тираж, а... мне и так хватает, благодарю покорно! — безучастно воспроизвел Судья, как если бы речь шла о чем-то постороннем и для него лично не представляющем ни малейшего интереса.

— Я к этому типу сразу потерял доверие, как только

Гримшо с ним занимал делишки,— сказал Второй Валет.— У этих двоих вполне хватит совести сговориться нам насолить.— На Звездной прочно утвердилось мнение, будто им со всех сторон строят козни.

— Скорей всего эти новички из Форка рассчитываются с ним наличными, вот он и зазнался,— вставил Грубый Помол; пытаясь обсушить ногу, он то брыкал стену хижины, то терся об нее лодыжкой.— С этой публикой стоит раз оступиться — и всех утянешь за собой.

Ответом на это невразумительное умозаключение была гробовая тишина. Все были настолько захвачены своеобразным методом оратора сушить ногу, что совершенно отвлеклись от первоначального предмета беседы. Объявились советчики; охотников помочь не нашлось.

— А кому бакалейщик это сказал? — спросил Первый Валет, возвращаясь наконец к основной теме разговора.

— Да Старiku,— отозвался Судья.

— Ну, само собой! — саркастически фыркнул Первый Валет.

— Само собой! — в один голос подхватили и остальные компаньоны.— Это на него похоже. Чего еще и ждать от Старика!

Что именно было похоже на Старика и почему, никто не уточнял, просто вообще было ясно, что он один повинен в вероломстве бакалейщика. Несколько более внятно высказался по этому поводу Грубый Помол:

— Видите, что получается, когда его туда отпускаешь! Посылать Старика — это же самим себе яму рыть. С ним кто хочешь даст себе волю. Ему ничего не стоит подорвать репутацию самих Ротшильдов!

— Это уж точно,— вставил Судья.— А вы гляньте, как он работает. Ведь вот на той неделе две ночи напролет зазря долбил породу при луне, и все по чистой дурости.

— С меня лично,— вмешался Второй Валет,— уже того довольно, как он на днях — ну, вы помните — предложил заняться обыкновенной промывкой, чтобы заработать «хоть на жратву», точно мы китайцы какие-нибудь. Сразу видно, много ли стоит в его глазах заявка на Звездной.

— А знаете что,— снова подал голос Грубый Помол,— я вот до сих пор все молчал, но только в тот раз, когда к нам сюда приходил поглядеть участок парень с Мэттисона, так это Старик его отвратил, никто другой. Чуть ли прямо не признался, что здесь еще труда непочатый край, покуда заявка начнет себя оправдывать. Не пригласил даже зайти в дом и по-приятельски перекинуться в картишки; заграбастал его, если можно так выразиться, целиком себе, да и все тут. Ну, на Мэттисоне, естественно, и раздумали покупать.

Наступила тишина, лишь дождь барабанил по кровле, изредка просачиваясь в широкий глинобитный дымоход и капая на тлеющие в очаге уголья, которые в ответ сердито шипели и брызгали искрами. Первый Валет с внезапным приливом энергии придвинул к себе пустой бочонок и, вытащив из кармана засаленную колоду карт, принялся раскладывать на нем пасьянс; остальные довольно безучастно следили за ним глазами.

— Загадал на что-нибудь? — поинтересовался Грубый Помол.

Первый Валет кивнул. Судья и Второй Валет, которые до сих пор полулежали каждый на своей койке, приняли сидячее положение, чтобы лучше было видно. Грубый Помол медленно отделился от стены и склонился над пасьянсом. В томительно-напряженном молчании Первый Валет открыл последнюю карту и драматически-выразительным жестом с размаху шлепнул о днище бочки.

— Сошлось! — благоговейно выдохнул Судья и, понизив голос почти до шепота, спросил: — На что раскладывал?

— Хотелось узнать, стоит ли, как мы уговорились, сматывать удочки. Пятый раз за сегодняшний день сходится,— продолжал Первый Валет тоном мрачным и многозначительным.— Причем и легло-то все сначала — хуже некуда.

— Я, конечно, не верю в приметы,— объявил Судья, излучая наивный и суеверный страх каждой черточкой своей простецкой физиономии,— но только идти наперекор таким знамениям — это искушать судьбу.

— Разложи-ка еще разок, посмотрим, Старику тоже уходить или нет,— предложил Второй Валет.

Предложение было принято благосклонно, и трое зрителей, затаив дыхание, сгрудились возле бочки. Снова были тщательно перетасованы и разложены в таинственных сочетаниях вещи карты — и снова с тем же роковым исходом. Тем не менее все, казалось, вздохнули свободнее, будто стряхнув с себя бремя ответственности, и Судья благочестиво склонил голову пред столь недвусмысленным изъяснением воли провидения.

— Итак, джентльмены, — невозмутимо резюмировал Второй Валет, словно ему только что огласили бесстрастное решение некой законодательной инстанции, — мы должны полностью отвести от себя всякий сентиментальный вздор и подойти к этому вопросу как деловые люди. Единственный разумный шаг — немедленно собраться и уходить с заявки.

— А Старик? — осведомился Судья.

— Старик... Тихо! Он идет.

В дверном проеме, заслоняя свет, возникла легкая, быстрая фигура. Это и был пятый компаньон, известный под прозвищем Старик. Стоит ли добавлять, что это был зеленый юнец лет девятнадцати, с едва пробивающимся пушком над верхней губой!

— Ручей так вздулся, что пришлось взобраться на иву и перемахнуть на эту сторону по воздуху, — проговорил он с заразительным смехом. — Но все равно, ребята, будьте уверены: от силы час — и погода прояснится. Над Лысой горой тучи редеют, а на пике Одиноким уже блестит солнце на снегу. Глядите-ка! И отсюда видно. Точь-в-точь будто Ноев голубь только что сел на горе Арарат. Это доброе предзнаменование.

С приходом Старика все — просто так, по привычке — на мгновение повеселели. Однако при последней фразе, этом беззастенчивом проявлении постыдного суеверия, они вновь исполнились справедливой суровости и обменялись красноречивыми взглядами.

— Таких предзнаменований у нечистого пруд пруди, — с безнадёжным видом буркнул себе под нос Грубый Помол.

Однако Старiku не терпелось договорить, и он не обратил внимания на этот недобрый прием.

— Думается, я открыл золотую жилу: нового бакалейщика из Брода. Обещал отпустить Судье в долг

пару сапог, правда, доставить их сюда он не может, но так как Судье их все равно надо примерить, по-моему, будет не такое уж одолжение со стороны Судьи сходить за ними самолично. И еще посулил отвалить нам боченок солонины и мешок муки, при условии, что мы дадим ему пользоваться нашей отводной канавой и расчистим ее нижний конец.

— Для китайца работенка — не для белого человека, да и ухлопаешь дня четыре,— вставил Первый Валет.

— Ну, один белый человек расчистил добрую треть всего за пару часов,— с торжеством возразил Старик.— Это я о себе. Взял у него в кредит кирку, приналег, не откладывая, и все это успел за одно утро, а ему сказал, что остальное вы, братцы, доделаете сегодня к вечеру.

Едва заметным жестом Первый Валет остановил сердитый возглас, готовый сорваться с уст Второго.

Ничего этого Старик не заметил и, с отеческой заботой нахмутив свое гладкое молодое чело, продолжал:

— Тебе, Грубый Помол, нужны новые брюки, но он одежды не держит, так что надо будет раздобыть холстины и сшить самим. На бобы, что он мне ссудил, я в другой лавке выменял табачку для Первого Валета, да еще уломал хозяина дать в придачу новую колоду карт. А то ваша совсем истрепалась. Нам понадобится хворост для растопки, так в лошине его целая куча. Кто сходит принесет? Судье вроде очередь, а? Постоите-ка, что это с вами?

Только сейчас он заметил ледяную сдержанность своих компаньонов. Он обратил на них свой юношески-прямой взор; они беспомощно переглянулись. А у него первое же чувство было тревога за них, первое побуждение — оградить и помочь. Он быстро окинул их взглядом: все налицо и, кажется, в своем обычном виде.

— Что-нибудь стряслось с заявкой,— предположил он.

Не глядя на него, Первый Валет встал, заложил руки за спину, прислонился к косяку открытой двери и, обратив свое лицо — а также, по-видимому, и свою речь — к дальнему ландшафту, сказал:

— Заявка вышла в тираж, и фирма вышла в тираж, и чем скорей мы из этой истории выпутаемся, тем лучше. Хотя,— добавил он, поворачиваясь к Старику,— если тебе так уж приспичило остаться, если ты хочешь работать, как паршивый китаец, и зарабатывать, как китаец, и перебиваться подачками лавочников из Брода,— пожалуйста: можешь жить и наслаждаться пейзажем и Ноевыми голубками в одиночестве. Что до нас, мы решили с этим покончить.

— Но я же не говорил, что хочу остаться,— с озадаченным жестом запротестовал Старик.

— Может, у тебя вообще такие взгляды насчет того, как вести совместно дело,— продолжал Первый Валет, цепляясь для верности за гипотезу, принятую остальными компаньонами,— ну а у нас не такие, и нет другого способа это доказать, кроме как разом положить конец этой глупости. Мы порешили упразднить фирму и попытаться счастья в одиночку где-нибудь на стороне. Мы больше не твоя забота, а ты — не наша. А заявку и хижину со всей обстановкой будет, как мы рассудили, справедливо оставить тебе. Чтобы не было неприятностей с лавочниками, мы тут набросали документ...

— По которому я получаю от каждого пятьдесят тысяч долларов тут же на месте, а остальное завещается моим детям,— прервал его Старик с несколько принужденным смехом.— Ясно. Только...— он внезапно запнулся, кровь схлынула с его свежих щек, и он вновь быстро обвел взглядом собравшихся,— знаете, я... до меня как-то не очень доходит, братцы.— У него чуть дрогнули голос и губы.— Может, это у вас игра, так загадайте что-нибудь полегче.

Если у него еще и оставались какие-то сомнения, их рассеял Судья.

— Тебе же, Старик, привалило, можно сказать, небывалое счастье,— доверительно сказал Судья.— Да если б я не обещал ребятам, что пойду вместе с ними, и если бы из-за своих легких не нуждался в помощи лучших медиков Сакраменто, я бы и сам был рад-радехонек остаться с тобой.

— Ведь какое раздолье для молодого парня, а, Старик? Вроде как вступить в жизнь с собственным

капиталом. Не каждому парнишке в Калифорнии выпадает такая удача,— покровительственно добавил Грубый Помол.

— Нам-то оно, конечно, тяжеленько придется, сам понимаешь: отдать, как говорится, все, что есть за душой,— присовокупил Второй Валет,— но раз так надо для твоего блага, мы от своего слова не отступимся, правда, ребята?

Лицо Старика вновь залила краска, чуточку более жаркая и густая, чем всегда. Он поднял свою шляпу, аккуратно надел ее на свои каштановые кудри, опустив поля с той стороны, что была обращена к его компаньонам, и засунул руки в карманы.

— Что ж, ладно,— проговорил он слегка изменившимся голосом.— Когда вы уходите?

— Сегодня,— ответил Второй Валет.— Прогуляемся при лунном свете до развилки и как раз часам к двенадцати ночи поспеем на обратную почтовую карету. Времени еще уйма,— с легкой усмешкой добавил он,— сейчас всего три.

Наступила мертвая тишина. Неуемный дождь и тот смолк; угли в догорающем очаге подернулись глухой пленкой серого пепла. В первый раз за все время Первый Валет как будто немного смутился.

— Вроде бы унялось на время,— объявил он, с нарочитым вниманием исследуя погоду.— Пожалуй, не мешало бы обезжать участок, посмотреть, может, забыли чего. Мы, конечно, еще зайдем перед уходом,— поспешно добавил он, все так же не глядя на Старика.— Напоследок, знаешь ли...

Остальные неловко принялись искать свои шляпы, слишком явно озабоченные совсем другим: даже то обстоятельство, что Судья приступил к поискам уже со шляпой на голове, было обнаружено не сразу. Оно вызвало взрыв смеха, повторившийся после того, как Грубый Помол, сделав неуклюжее движение, налетел на бочок из-под солонины; впрочем, сей джентльмен воспользовался этим случаем, чтобы скрыть свое смущение, и, старательно припадая на ушибленную ногу, с достоинством ретировался вслед за Первым Валетом. Судья удалился, старательно что-то насвистывая. Второй Валет, в честолюбивом стремлении придать своему уходу



оттенок веселости уже в дверях бодро крикнул вслед своим товарищам:

— А ведь Старик словно подрост дюйма на два, как стал хозяином заявки,— снисходительно хохотнул и скрылся.

Неизвестно, стал ли новоиспеченный хозяин выше ростом, но никаких изменений в его облике не произошло. Он продолжал стоять в той же позе, пока последняя фигура не исчезла в зарослях конского каштана, за которыми вдали пролегалла дорога. Лишь тогда он медленно подошел к очагу и, прислонясь к нему, стал сгребать ногой догорающие угольки. Что-то капнуло и разлетелось брызгами на горячей золе. Видимо, дождь еще все-таки не перестал!

Густая краска уже сошла с его лица, и только на скулах, сообщая особый блеск его глазам, рдели два пятна. Он обвел взглядом хижину. Все было привычное и вместе с тем чужое. Вернее, все оттого и казалось чужим, что, оставаясь привычным, не вязалось с новой атмосферой, воцарившейся здесь, противоречило отголоскам последней встречи и мучительно напоминало о наступившей перемене. Каждая из четырех коек, вернее сказать, нар его товарищей, по-прежнему хранила отпечаток тех или иных особенностей своего недавнего хозяина с безгласной преданностью, на фоне которой их беспечное дезертирство выглядело чудовищным. В остывшем трубочном пепле, рассыпанном на нарах Судьи, жил еще его прежний огонь; оструганные, изрезанные ножом края ложа, принадлежавшего Второму Валету, еще таили воспоминания о минувших днях упорной праздности; пулевые отверстия, изрешетившие со всех сторон сучок одной из потолочных балок, как и раньше, свидетельствовали об искусстве и давних упражнениях Первого Валета; немногие же картинки с неземными красавицами, приколотые у каждого изголовья, являли собою наглядное доказательство их былых сумасбродных увлечений — во всем звучал немой протест против их измены.

Он вспомнил, как его, мальчишку-сироту, привлекла их бродячая, полная приключений жизнь — именно такая, о какой он мечтал в часы ненавистных школьных занятий,— и как он стал членом их кочевого табора. Как

они заменили ему родных и близких, пленив его юное воображение той детской игрой, которой они подменяли жизнь взрослых,— это он знал великолепно. Но как случилось, что из подопечного, всеобщего баловня он мало-помалу, незаметно для себя утвердился как сложившаяся личность и, все так же поэтически любя эту жизнь, принял на свои юные плечи бремя и нештучных обязанностей и полудетских забот,— об этом он даже и не догадывался. Он льстил себя мыслью, что принят неофитом в их храм, что взял на себя обет послушания во имя их славной веры и культа привольной лени, а они всячески поддерживали это убеждение; так что теперь их отречение от этой веры могло быть только предлогом отречься от него! Но он не мог так просто рассеять чары, которые в течение двух лет наделяли поэтической прелестью будничные и порой не слишком благоуханные частности их существования,— потому что эта поэзия жила в нем самом. Урок, преподанный ему в назидание этими доморощенными моралистами, как частенько происходит в подобных случаях, пропал даром; покаяние, наложенное на него, не смирило, но пробудило протест; его глаза и щеки загорелись от возмущения, рожденного обидой. Оно нахлынуло не сразу, но бурно, растопив оцепенение первых минут стыда и оскорбленной гордости.

Надеюсь, я не лишу своего героя расположения читателей, исполнив то, что велит мне долг смиренного летописца, и сообщив, что первым трезвым побуждением нашего нежного поэта было спалить хижину дотла со всем ее содержимым. На смену этому явился более умеренный замысел: дожидаться возвращения всей компании и бросить вызов Первому Валету; затем — смертельный поединок, жертвой которого, вероятно, станет он сам, и душераздирающее объяснение «in extremis»<sup>1</sup>: «Как видно, один из нас лишний. Впрочем, пустое; теперь все разрешилось. Прощайте!» Смутно припомнив, однако, что нечто в этом роде встретилось в последнем истрепанном романе, который они читали сообща, и его противник может узнать эту тираду или — и того хуже — воспользоваться ею сам, он быстро отбросил эту мысль. К тому же и момент, подходящий для апофеоза самопожертво-

---

<sup>1</sup> На смертном одре (лат.).

вания, уже прошел. Теперь не оставалось ничего другого, как отказаться в письме от заявки и хижины, предложенных в виде взятки, ибо ждать возвращения своих компаньонов он не должен. Он вырвал лист из замусоленного дневника, давным-давно начатого и заброшенного, и принялся сочинять письмо. Не один покрытый каракулями листок был изорван в клочья, прежде чем его негодование сменилось ледяною сдержанностью. Однако написанная от третьего лица фраза: «Мистер Джон Форд с прискорбием уведомляет своих бывших компаньонов, что предложенные ему дом, мебель и...» — показалась не слишком уместной применительно к бочонку из-под солонины, служившему ему письменным столом; другой, более красноречиво изложенный отказ стал выглядеть дурацким фарсом после того, как на обратной стороне листа внезапно обнаружилась карикатура на Грубого Помола (фирменное клеймо на штанах, и все как полагается); наконец, достаточно убедительная и трогательная форма для выражения его чувств была найдена, но начертанная внизу листка первая строчка некогда популярной песенки: «Не рад ли ты покинуть эту глушь!» — не стиралась никакими силами и слишком смахивала на иронический постскриптум, чтобы ее можно было оставить. Он отшвырнул перо, и бессвязный след досужих развлечений минувших дней полетел в остывшую золу очага.

Как тихо было кругом! Когда дождь перестал, улегся и ветер, и теперь сквозь открытую дверь лишь едва-едва тянуло свежестью. Он вышел на порог и окинул грустным взглядом притихшую окрестность. Внезапно он смутно различил далекий гул, не звук, а всего лишь отзвук — быть может, от взрыва где-то в горах, и после — безмолвие, еще более ошутимое и томительное. Вернувшись в хижину, он вдруг заметил, что она словно бы изменилась. Он увидел ее уже старой, обветшалой. Казалось, что годы запустения наложили на нее свой след, что стропила и балки грозят рассыпаться сухой трухой. Его взбудораженному воображению представилось, будто разбросанные в беспорядке одеяла и одежда давно истлели, а в свернутой постели на одной из коек он усмотрел леденящее кровь сходство с иссохшим, точно мумия, трупом. Так, быть может, все будет выглядеть здесь

годы спустя, когда какой-нибудь случайный путник... Он не продолжал. Ему становилось жутко; жутко при мысли о будущем, когда равнодушное солнце будет изо дня в день освещать запустение этих стен; о долгих, бесконечно долгих днях безоблачной синевы и гнетущего безлюдья; о летних днях, когда вокруг этой покинутой скорлупки завоюют, заведут свою песнь одиночества докучные, неутихающие пассаты. Он поспешно собрал кое-какие пожитки, принадлежавшие лично ему — вернее, то ли случайно, то ли за ненадобностью предоставленные всецело в его пользование их свободным сообществом. Помедлил в нерешительности возле своего ружья, однако шепетильность, свойственная уязвленной гордости, заставила его отвернуться, не тронув привычного оружия, которое так часто в ненастную минуту снабжало их маленькое содружество завтраком или обедом. Чистосердечие вынуждает меня признать, что снаряжение его не было ни излишне обременительным, ни чрезмерно практичным. Его тощий узелок был легкой ношей даже для таких юных плеч, но боюсь, что его первая забота была бежать от Прошлого, а не обеспечить себя на Будущее.

Движимый этой неясной, но единственной целью, он вышел из хижины и почти что машинально направил свои стопы к ручью, через который переправлялся утром. Он знал, что, выбрав этот окольный и трудный путь, избежит встречи с товарищами, даст выход сжигающей его лихорадочной энергии и выгадает время для размышлений. Ибо, решившись уйти с заявки, он еще не задумывался, куда пойдет. Он достиг берега ручья, где стоял два часа назад; ему казалось, что прошло два года. С любопытством всмотрелся он в свое отображение в одной из широких луж, оставленных разливом, и заключил, что с тех пор успел постареть. Он наблюдал, как бешено мчится бурлящий поток, торопясь к Саут-Форку, чтобы в конце концов затеряться в желтых водах Сакраменто. Как ни занят он был другим, его поразило сходство между ним самим и его товарищами и этим ручьем, размывшим свои мирные берега. Уносимые волнами обломки одного из их заброшенных желобов, смытого с берега, представились ему символом упадка и гибели Звездной заявки.

Странное безмолвие, разлитое в воздухе и уже подмеченное им прежде,— тишина, настолько необъяснимая в это время дня и года, что в ней чудилось нечто злое, стали еще заметнее на фоне неистового кипения взбаламученного потока. Редкие облачка, которые лениво тянулись к западу, видимо, последовали за солнцем на усыпанное маками ложе сна. По всему горизонту, затмевая холодное мерцание снеговых вершин, затопив собою даже восходящую луну, разлилось сияние жидкого золота. Ручей заволоотился тут и там, пока по злой иронии не показалось, что разбитые желоба и лотки уносит тот самый Пактолийский поток<sup>1</sup>, чьи воды им, как надеялись те, кто их сооружал, предстояло направлять и отводить. Но самые богатые россыпи золотого закатного блеска прихотливая игра света опрокинула на обрывистые склоны и косматую вершину Звездной горы. Этот одинокий пик, этот опознавательный знак их заявки, этот хмурый памятник их безрассудной затеи, преобразенный великолепием вечерней зари, сохранял ее немеркнувший отсвет еще долго после того, как потемнел небесный свод, а когда наконец восходящая луна малопомалу погасила вереницу огней на плоскогорье и в извилистой долине и вскарабкалась наверх по лесистым склонам каньона, угасающий закат, исчезнув, вновь золотой короной возродился над Звездной горой.

Глаза молодого человека были устремлены к ней с интересом, вызванным отнюдь не только красотой вечернего пейзажа. Здесь находилось излюбленное место его старательских изысканий; подножие было в минувшие вдохновенные дни изглодано гидравлическими машинами и изрыто шахтами, зато с вершины благодаря значительной высоте горы и расположению ее в центре заявки, как на ладони, открывалась вся их долина и подступы к ней; не что иное, как это практическое преимущество, и привлекало его в ту минуту. Он знал, что, поднявшись наверх, сможет разглядеть фигуры своих товарищей, когда в разгорающемся лунном свете они будут пересекать долину неподалеку от хижины. Таким образом, не рискуя столкнуться с ними по пути к большой дороге, он все-таки сумеет увидеть их, быть может,

---

<sup>1</sup> Река в Греции, считавшаяся в древности золотоносной.

в последний раз. Даже несмотря на обиду, он находил в этой мысли странное удовлетворение.

Подъем был нелегок, но он хорошо знал этот путь. По всей едва различимой тропе его сопровождали милые воспоминания прошлого, которые, подобно неувловимому аромату душистых трав и пряных листьев, омытых дождем и подмятых его шагами, благоухали, казалось, тем слаще, чем сильнее он пытался подавить их или оторваться от них. Вот рощица земляничных деревьев, где он, бывало, полдничал с друзьями; вот скала возле их первых шурфов, где в мальчишеском упоении успехом они устроили бурное возлияние; а вот и выступ, с которого, на восхищение тем, кто внизу, был поднят их первый флаг — красная рубаха, героически принесенная в жертву и привязанная к длинному черенку лопаты. Когда наконец он добрался до вершины, в воздухе по-прежнему царило таинственное безмолвие, будто природа затаила дыхание, сочувственно следя за ним. С запада равнина была слабо освещена, но никаких движущихся фигур он не различил. Он повернулся лицом к выходящей луне и неторопливо двинулся к восточному склону. Внезапно он остановился. Следующий шаг стал бы его последним шагом. Он стоял на осыпающемся краю пропасти. Оползень обнажил восточный склон, и лунный свет лился на оголенный, ободранный костяк Звездной горы. Теперь он понял, что это был за необычный грохот вдалеке, понял, отчего так странно притихли лесные птицы и зверье.

Хотя даже беглый взгляд убедил его, что оползень произошел в пустынной части горы, над неприступным каньоном, а здравый смысл подсказывал, что его товарищи никак не могли оказаться здесь в момент катастрофы, он все же, повинаясь безотчетному порыву, спустился на несколько десятков футов по следу оползня. Благодаря обилию уступов спуститься оказалось сравнительно нетрудно. Он громко крикнул; еле слышное эхо неуместным диссонансом потревожило торжественную тишину. Он повернулся, чтобы подняться обратно; развороченный склон горы перед ним был залит лунным светом. Разгоряченной фантазии молодого человека представилось, будто у него на глазах в скалистых расщелинах загорелись десятки искрящихся звездочек. Закинув руку на выступ у себя над головой, он уцепился за камень —

по-видимому, край скалы — и на мгновение повис в воздухе. Камень чуть дрогнул. Он влез на уступ, и у него оборвалось сердце. Это оказался всего-навсего осколок породы, который валялся на самом краю и удерживал его лишь своей собственной тяжестью! Юноша ощупал его дрожащими пальцами; налипшая со всех сторон земля осыпалась, и гладкие, обкатанные выпуклости заиграли в лунном свете. Это был золотой самородок!

Впоследствии, мысленно оглядываясь назад, он вспоминал, что не был ошеломлен, поражен или озадачен. Он воспринял то, что произошло, не как находку или счастливую случайность, неожиданную удачу или каприз судьбы. В тот незабываемый миг ему открылось все: Природа внесла свои поправки в их неумелые расчеты. То, что тшились достигнуть их орудия, беспомощно и судорожно тычась в слой почвы, укрывающей сокровище, она свершила, призвав на помощь более могущественные, хоть и не столь быстродействующие силы. Неторопливо подтачивали почву зимние дожди, освободив золотоносную скалу в то самое мгновение, когда вздувшийся поток уносил к морю бессильные и разбитые орудия старателей. Что за беда, если ему не под силу поднять найденное сокровище одною рукой, что за беда, если для того, чтобы извлечь эти сверкающие звезды, потребуется еще немало терпения и мастерства! Труд завершен, цель достигнута! Его юношескому нетерпению было и этого довольно. Он медленно поднялся на ноги, отвязал от своего запячного мешка длинную лопату, укрепил ее в расселине и не спеша взобрался назад на вершину.

И все это принадлежит ему! Все — его личная собственность по праву первооткрывателя и по законам штата и без всяких одолжений с их стороны. Да и кто, как не он, начав свои поиски на горе, впервые подал мысль о том, что в выходах породы может оказаться золото и нужно установить дробилку! Что бы там ни думали другие, он-то сам ни на секунду не разуверился в этом. Не без запальчивости перебирая в уме все эти обстоятельства, он машинально с вызовом повернулся к раскинувшейся внизу равнине. Там все спало мирным сном под лучами полной луны, ни звука, ни движения. Он взглянул на звезды. До полуночи было еще далеко.

Его друзья, безусловно, давным-давно возвратились в хижину, чтобы подготовиться к ночному путешествию. Сейчас, вероятно, они говорят о нем: быть может, высмеивают или, чего доброго, жалеют за столь невыгодную сделку. Невыгодную! Короткий смехок, который вырвался у него в этот миг, заставил его слегка вздрогнуть: он прозвучал так резко, так невесело, так — внезапно подумалось ему — непохоже на его истинные побуждения.

Но каковы же все-таки его побуждения?

В них нет ничего низменного, мстительного — чего-то, а уж этого им никогда о нем не сказать. Когда он выберет все золото с поверхности и наладит работу на руднике, он вышлет каждому чек на тысячу долларов. Разумеется, случись кому-нибудь из них заболеть или столкнуться с нуждой, он сделает и больше. И первым делом, самым первым делом пошлет каждому щегольское ружье, а взамен попросит себе его старенькое ружьецо. Воскрешая эти минуты многие годы спустя, он дивился, отчего он тогда не строил для себя никаких других планов на будущее, не мечтал, как ему дальше распорядиться только что обретенным богатством. Это было тем более поразительно, что у пятерых компаньонов уже давно повелось обсуждать вслух перед сном, как поступит каждый в случае, если им посчастливится напасть на жилу. Ему припомнилось, как однажды их фирма едва не распалась оттого, что, строя воздушные замки, они никак не могли сговориться, на что потратить сто тысяч долларов, которых в глаза никогда не выдывали да и не рассчитывали увидеть. Он вспомнил, что Грубый Помол неизменно начинал свою карьеру миллионера с роскошного обеда в ресторане Дельмонико; Первый Валет всегда сразу же отправлялся в родные места «повидаться с матушкой»; Второй Валет, не откладывая, мчался к родителям своей возлюбленной, дабы задобрить их бесценными дарами (здесь нелишне будет отметить вскользь, что как родители, так и возлюбленная являли собою плод воображения в той же мере, что и само богатство), а что касается Судьи, тот в качестве новоиспеченного богача первым долгом спешил в Сакраменто, чтобы сорвать банк, сражаясь в фараон. Он и сам в те дни, без гроша за душой, не уступал другим в красноречии, предаваясь самым невероятным мечтам,—



он, который сейчас так холоден и бесстрастен перед лицом куда более невероятной действительности.

А ведь все могло быть иначе! Если бы только они подождали еще день! Если бы сообщили ему о своем решении помягче, расстались с ним по-хорошему! Как он кинулся бы уже давным-давно им навстречу с радостной вестью! И как они пустились бы в пляс вокруг нарядки и принялись бы до хрипоты распевать песни, потешаясь над своими недругами, с каким торжеством подняли бы флаг на вершине Звездной горы! С какими церемониями они объявили бы своего Старика героем заявки! А он рассказал бы им все по порядку: как смутный инстинкт заставил его подняться на вершину горы, как, сделай он один лишний шаг по этой вершине, он оказался бы на дне каньона! И как... Ну а что если первооткрывателем оказался бы кто-нибудь другой—скажем, Грубый Помол или Судья? Разве не могло случиться, что они из алчности утаили бы от него свою тайну и, нимало не заботясь о других, прибрали бы золото к рукам, поступили, как...

— В точности как сейчас поступаешь ты!

Жаркая краска бросилась ему в лицо, словно чей-то чужой голос произнес у его уха эти слова. В первые мгновения ему не верилось, что эта фраза сорвалась с его собственных побелевших губ, пока он не поймал себя на том, что думает вслух. Сгорая от стыда, он повернулся и начал торопливо спускаться с горы.

Он придет к ним, расскажет о своей находке, получит от них свою долю и уйдет навсегда. Это — единственно правильное решение, удивительно, как оно сразу не пришло ему в голову. А все-таки до чего тяжело, тяжело и несправедливо, что он вынужден встретиться с ними еще раз! За что ему выпало такое унижение? Какие-то минуты он просто ненавидел это пошлое сокровище, которое навеки погребло под своей тяжеловесной массой беспечное и веселое прошлое, стерев без остатка всю поэзию их прежнего счастливого и праздного житья.

Он был уверен, что застанет друзей на развилке, где они будут поджидать почтовую карету. До развилки отсюда три мили, но он еще может поспеть вовремя, если поторопится. Какое мудрое, благоразумное завершение всего, что он проделал за этот вечер, какое никудышное,

беспомощное завершение всего, что он за этот вечер почувствовал! Впрочем, неважно... Чего доброго, они вообразят сперва, что он из малодушия потащился вслед за ними, чего доброго, сперва еще и не поверят ему. Неважно. Он кусал губы, стараясь сдержать дурацкие слезы, которые навернулись ему на глаза, но упрямо шагал все вперед и вперед.

Он не замечал, как прекрасна была эта ночь, убаюканная в колыбели темных холмов, ночь, окутанная светлой дымкой туманов и притихшая перед величием собственной красоты! Там и тут луна склонила свой тихий лик к озерам и разлившимся ручьям, задремала в их объятиях, и на равнину сошел беспредельный покой. А он шагал, как во сне, и непроглядная темень зарослей осталась позади, а перед ним открылись неясные и, казалось, недостижимые дали, туманные, уходящие в бесконечность горизонты. Мало-помалу он и сам точно слился воедино с таинственной ночью, становясь таким же неслышным, спокойным, бесстрастным, как она.

Но что это? Звук выстрела где-то в стороне хижины! Звук столь глухой, бесплотный, тусклый на фоне всеобъемлющей тишины, что, если бы не мгновенная необъяснимая тревога, которой отозвались на него напряженные нервы, молодой человек решил бы, что ему просто почудилось. Случайность? Или кто-то подает ему сигнал? Он постоял, но звук не повторился, и вновь воцарилась тишина, только на этот раз в ней затаилось нечто злое, роковое. Внезапная и страшная мысль мелькнула в его сознании. Он отшвырнул в сторону свой узелок и прочую поклажу, вобрал побольше воздуха в легкие, наклонил голову и, как стрела, полетел на зов.

## II

Нельзя сказать, чтобы исход со Звездной заявки отколовшихся компаньонов представлял собою очень внушительное зрелище. По выходе из хижины процессия растянулась и разбелась. У одних непривычно бурная деятельность усугубила их увечья, в других же неустойчивость благих побуждений вызвала склонность к назойливым музыкальным упражнениям. Грубый Помол, прихрамывая, насвистывал с нарочитой рассеянностью;

Судья, насвистывая, прихрамывал с нарочитым усердием; Первый Валет возглавлял шествие с деловым и сосредоточенным видом; Второй Валет следовал за ним, заложив руки в карманы. Две менее могучие натуры, объединенные общим неосознанным желанием, вопросительно поглядели друг на друга в поисках поддержки.

— Ты понимаешь,— произнес вдруг Судья, словно с торжеством завершая долгий спор,— для молодого человека нет ничего лучше независимости. Закон природы, если можно так выразиться. Взять, к примеру, хотя бы зверей.

— А здесь где-то бродит вонючка,— отозвался Грубый Помол, наделенный, по общему признанию, аристократически тонким нюхом,— не дальше как в десяти милях отсюда. Скорей всего перебирается через кряж. Эх, и везет же мне! Как выйдешь из дому, так на тебе! Да и вообще не вижу надобности таскаться сейчас по участку, раз мы сегодня все равно собрались уходить.

Оба помолчали, выжидая, как отнесутся к его словам Первый и Второй, хмуро бредущие впереди. Однако отклика не последовало, и Судья беззастенчиво изменил приятелю.

— Неужели ты так и торчал бы там, мозолил глаза, не дал бы Старикуну переварить новость наедине с собой? Ну нет! Я, например, с самого начала видел, что до него все доходит — медленно, правда, но уж как надо, и я рассудил, что нам самое лучшее будет выкатиться не мешкая и дать ему время оглядеться. — Судья предусмотрительно повысил голос, чтобы слышала и пара впереди.

— Он, сдается, говорил,— заметил Первый Валет, внезапно останавливаясь и поворачиваясь к ним лицом,— будто этот новый лавочник обещал отпустить ему провизии?

Грубый Помол просительно взглянул на Судью, и сей джентльмен вынужден был отвечать.

— Да, говорил, я точно помню. Это у меня самая главная была забота,— сказал он с таким видом, будто сам договорился обо всем с новым лавочником. — Помню, мне как-то сразу стало легче на душе.

— Да, но разве он не прибавил к этому еще кое-что? — осведомился; в свою очередь, Второй Валет, то-

же резко останавливаясь на месте.— Насчет того, что это только в том случае, если мы поработаем на отводной канаве?

Теперь уже Судья с надеждой повернулся к Помолу, однако этот последний, делая вид, что готовится к длительному совещанию, уютно расположился на пне. Судья тоже сел и нехотя подтвердил:

— Ну, правильно! Мы или он.

— «Мы или он»,— с мрачной иронией передразнил Первый Валет.— Тебе что кажется, что ты уже все там расчистил? Просто губишь ты себя этой непосильной работой, вот что я тебе скажу; так и хватаешься, какая ни подвернется, так и рвешься, что бы такое еще сделать...

— Я будто бы слышал, как кто-то высказывался в том смысле, что, мол, и работенка больше подходит для китайца да и потеряешь дня три,— не менее ядовито ввернул Второй Валет.— Возможно, я ослышался?

— Для Старика же это будет вроде развлечения,— неуверенно сказал Грубый Помол.— Чтобы, значит, не так замечал свое одиночество.

На эту реплику никто никак не отозвался, и Грубый Помол, вытянув поудобнее ноги, извлек свою трубку. Не успел он это сделать, как Первый Валет круто повернулся и зашагал по направлению к ручью. За ним, чуть помедлив, молча последовал Второй Валет. Судья, мудро рассудив, что самое лучшее — прикнудить к стану сильнейших, рысцой затрусил за ними, предоставив Грубому Помолу уныло замыкать шествие, что тот и сделал, понуро и неохотно.

Их путь повел в сторону от Звездной горы, к излучине ручья, где были некогда сосредоточены их первые тщетные изыскания. Отсюда и брала свое начало пресловутая отводная канава, которая шла по границе заявки нового лавочника, а затем терялась в болотистой ложине. Канава была забита всяким мусором. Желтый ручеек, некогда струившийся по ней, видимо, иссяк вместе с их энтузиазмом, теперь от него осталась лишь зеленеватая лужица.

За весь свой недолгий путь они едва ли обменялись хоть словом и не получили от Первого Валета никаких иных разъяснений, кроме наглядного примера, поданного им, когда они вышли на берег. Ничего не говоря, Пер-

вый Валет прыгнул прямо в канаву и с ходу принялся расчищать ее от сучьев и веток. Раззадоренные этим зрелищем, похожим на новую и бесконечно озорную игру, остальные весело соскочили вслед за ним и вскоре были целиком поглощены увлекательным единоборством с заглохшей канавой. Судья, перестав хромать, перемахнул через сломанный лоток, Грубый Помол, перестав свистеть, затянул песню — довольно удачное подражание песне китайского кули. Однако прошло минут десять, и невинные радости подобного времяпрепровождения слегка приелись. Грубый Помол уже принялся тереть свою ногу, как вдруг земля содрогнулась и глухо загудела. Все посмотрели друг на друга; работа замерла. Они принялись лениво обсуждать, был ли это взрыв или землетрясение, но в разгар дискуссии Первый Валет, стоявший в некотором отдалении от других, издал предостерегающий крик и выпрыгнул на берег. Едва его товарищи успели сделать то же самое, как уровень воды в ручье внезапно и необъяснимо поднялся и в канаву стремительно хлынули потоки воды. В мгновение ока забитое и засоренное русло очистилось, канава была свободна, и вольное течение подхватило весь мусор. Не замедлив использовать это облегчающее труд явление в своих интересах, компаньоны со Звездной попрыгали в воду и, высвобождая и направляя крутящиеся в водоворотах обломки, завершили свою работу.

— Жаль, Старика здесь нету,— сказал Второй Валет.— Вот бы посмотрел! Самый что ни на есть пример высшей справедливости, с которой он вечно носитя. А что случилось, это ясно. Кто-нибудь из этих паршивых пижонов с заявки Эксельсиор заложил взрывчатку чересчур близко от ручья, обрушил часть берега и запрудил ручей, а водичка-то как раз и подоспела сюда, чтобы промыть нашу канаву. Вот это, я понимаю, действительно справедливое воздаяние!

— А кто нам советовал запрудить ручей ниже канавы и заставить его проделать всю работу? — угрюмо спросил Первый Валет.

— Это, сдается, у Старика была такая идея, среди прочих,— неуверенно сказал Второй.

— А помните,— оживленно вмешался Судья,— я всегда говорил: «Потихоньку; тише едешь — дальше бу-

дешь. Вы только обождите, и что-нибудь да случится». И видите, — с торжеством продолжал он, — так и вышло. Я не хочу ставить это себе в заслугу, но я так и знал, что эти ребята с Эксельсиора сваляют дурака, и смело шел на риск.

— Ну а что если мне известно, что ребята с Эксельсиора сегодня не взрывают? — саркастически произнес Первый Валет.

Но так как версия Судьи, по-видимому, основывалась на том, что факт взрыва не вызывает сомнений, он искусно обошел существо вопроса.

— Я ничего не хочу сказать; у Старика котелок варит неплохо; ему просто малость недостает знания жизни. В юкре, например, он за последнее время сделал замётные успехи, а уж о покере и говорить нечего! Сидит с этаким мечтательным лицом, будто совсем не от мира сего, — ни за что не определишь, блефует или действительно хорошие карты на руках. Верно я говорю? — Последний вопрос был адресован Грубому Помолу.

Этот джентльмен, однако, все время поглядывал на хмурую физиономию Первого Валета и ответил так, как, по его мнению, должно было понравиться тому.

— Это тут ни при чем, — проникновенно начал он. — Не для того мы решились на такой шаг, чтобы сделать из парня шулера. Не для того мы сегодня, как китайцы, какие-нибудь, надрывались здесь на канале. Нет, приятель! Мы хотим его научить во всем полагаться на себя. — Не прочитав в лице Первого Валета ожидаемого одобрения, он повернулся ко Второму.

— По-моему, мы научили его не полагаться на нас, — последовал непредвиденный ответ. — Так-то будет вернее.

Первый Валет исподлобья метнул быстрый взгляд на брата. Тот, держа руки в карманах, рассеянно глядел на стремительный поток, затем побрел прочь. Первый Валет догнал его.

— Ты что это, на попятный вздумал? — спросил он.

— А ты нет? — отозвался тот.

— Нет!

— Ну так и я нет, — спокойно закончил Второй Валет.

Старший брат помолчал, полузадаченно-полусердито.

— Тогда к чему это было сказано: «Научили не полагаться на нас»? — спросил он наконец.

— А разве не так? — равнодушно уронил Второй Валет.

Сраженный столь конкретным изложением его невысказанных благих побуждений, Первый Валет не нашелся что ответить.

— Уж раз мы заговорили про Старика, — как всегда невпопад заявил Судья, — я так считаю: недоставать ему нас будет в такие часы, как сейчас. Как мы его, бывало, дергали и изводили после работы — просто так, чтобы раззадорить, позабавить! Заскучает он теперь без такого развлечения. Да и нам будет скучновато. Помните, братцы, как мы его здорово купили в тот вечер, когда он поверил, будто мы открыли месторождение на берегу ручья, — до того поверил, что уж хотел идти платить все наши долги единым духом?

— А помните, как я влетел в хижину с решетом, полным пирита и черного песку? — хихикнул Грубый Помол, тоже ударившись в воспоминания. — Он свои серые глазищи так и вытаращил, чуть на лоб не вылезли. Что ж, отрадно хотя бы знать, что свой долг по отношению к мальчику мы выполнили даже в таких мелочах. — Он взглянул на Первого Валета в надежде услышать слова, подтверждающие их всеобъемлющее бескорыстие, но тот уже шагал прочь, с неловким чувством прислушиваясь к неторопливым шагам Второго Валета, который, как запоздалая совесть, следовал за ним по пятам. Грубый Помол и Судья таким образом волей-неволей очутились снова рядом в хвосте процессии, которая медленно потянулась от ручья по направлению к дому.

Спустилась ночь. Они вошли в тень от Звездной горы, местами еще более глубокую из-за невысоких лесистых отрогов, отходивших от подножия, как могучие корни от гигантского ствола. По мере того как луна все больше вступала в свои права в других уголках долины, тени сгущались, и тут на одном из отрогов Первый Валет вдруг остановился. Подошел Второй Валет и тоже встал рядом, а там подоспели и двое других; компания собралась в полном составе.

— В доме темно, — негромко сказал Первый Валет, то ли про себя, то ли в ответ на немой вопрос остальных.

Все взглянули в ту сторону, куда указывал его палец. Вдалеке, четко выделяясь на освещенном пространстве, виднелся силуэт их хижины. Лунные блики играли на двух черных слепых окошках, за которыми сквозила зыбкая пустота, лишенная света, тепла, движения.

— Удивительное дело, — боязливым шепотом произнес Судья.

Второй Валет, чуть повернув руки в карманах, ухитрился показать, что он прекрасно знает, как все это следует понимать, и с самого начала знал, что так будет, но, поскольку теперь все уже находится, так сказать, в руках судьбы, его это больше не трогает. Так по крайней мере истолковал его позу старший брат. Однако тревога Первого Валета была слишком велика, а двух остальных мучили угрызения совести не без примеси суеверного страха, и, не обращая внимания на скептика, все трое быстрым шагом устремились к хижине.

Они шли молча; луна, плывущая уже высоко в небесах, мягко озаряла хижину, придавая ей скорбное благородство и меланхолический покой могильного склепа. И Первый Валет, потихоньку отворяя дверь, ощутил что-то вроде благоговейного ужаса, как и оба его спутника, ждавшие на пороге, пока Первый Валет после безуспешных попыток вызвать хоть какие-нибудь признаки жизни в остывших угольях очага, подгребая их ногой, наконец не чиркнул спичкой и не зажег единственную в хозяйстве свечу. Ее мигающий огонек осветил знакомую обстановку, не изменившуюся ни в чем, за исключением одной лишь подробности. С нар, которые занимал Старик, были убраны одеяла; исчезли немногие дешевые безделушки и фотографии — и теперь они вдруг осознали всю скудость и убожество этих голых досок, этого тощего соломенного тюфяка, которые прежде, скрашенные обаянием чистого и молодого существа, казались вполне сносным ложем. Печальная ирония этой рассеявшейся иллюзии заставила их вдвое сильнее ощутить и собственную нищету. Маленького заплочного мешка, кружки и кофейника, висевших у его койки, тоже не было видно. Самые горькие упреки, самые патетические письма, которые он сочинил и отверг и обрывками которых был по-прежнему



усеял пол,— ничто не могло сравниться в красноречии с этой зияющей пустотой! Никто из них не проронил ни слова; запустение, воцарившееся в хижине, вместо того чтобы теснее сблизить, казалось, лишь разъединило их, заронив в душу каждого эгонистическое недоверие к другим. Даже бездумная словоохотливость Грубого Помола и Судьи на время иссякла. И когда минуту спустя в хижину вошел Второй Валет, его появление осталось почти не замеченным.

Молчание нарушил радостный возглас Судьи, который нашел в углу ружье Старика, не обнаруженное в первые минуты.

— Он ушел не насовсем, ребята! Вот же его ружье! — взвизгнул он возбужденным фальцетом в лихорадочном приступе обычной своей говорливости. — Старик бы его так не оставил. Нипочем! Я так и знал с самого начала. Просто отлучился ненадолго за дровишками, за водой. Да-с! Я еще по дороге сюда сказал Грубому Помолу — верно ведь, сказал? — «На что хочешь спорю. Старик где-нибудь неподалеку, даже если его нет в хижине». Я еще порог не переступил...

— А я,— перебил его Грубый Помол со столь же животворным уклонением от истины,— я по дороге так сказал: «Очень возможно, что он притаился где-нибудь поблизости и ждет удобного момента, чтобы захватить нас врасплох». Хо-хо!

— Он ушел совсем, а ружье оставил нарочно,— негромко произнес Второй Валет, бережно, почти нежно беря его в руки.

— Ну и не тронь его, раз так! — бросил Первый Валет голосом, мгновенно изменившимся от волнения и все-таки похожим на голос брата. Два других компаньона встревоженно попятились.

— И не подумай оставлять его здесь, чтобы первый встречный подобрал,— спокойно возразил Второй Валет,— из-за того только, что мы вели себя, как идиоты, и он тоже. Таким оружием не бросаются.

— Не тронь, говорю! — крикнул Первый Валет, угрожающе шагнув вперед.

Младший брат с побелевшим лицом, но с твердым взглядом вскинул ружье.

— Стой где стоишь,— хладнокровно предостерег

он.—Нечего тут мною командовать, раз у самого не хватает духу твердо держать свою линию или признать, что ошибся. Слушались мы тебя — и вот что получилось! Фирма распалась, Старик ушел, мы тоже уходим. А что касается этого чертова ружья...

— Положи на место, слышишь? — рявкнул Первый Валет с тупым упрямством человека, ослепленного яростью и отстаивающего проигранное дело.— Ну?!

Второй Валет подался назад, но его брат уже обеими руками ухватился за ствол. Последовала недолгая борьба, полутемная хижина озарилась яркой вспышкой, раздался оглушительный выстрел. Братья отпрянули друг от друга; ружье покатилося на пол между ними.

Все кончилось так быстро, что два других компаньона не успели даже, повинуясь общему побуждению, разнять противников, а следовательно, и хорошенько осознать, что произошло. Все разрешилось так мгновенно, что даже оба виновника происшествия вернулись на свои места, едва отдавая себе отчет в том, как это вышло.

Наступила мертвая тишина. Судья и Грубый Помол остолбенело переглянулись и нервно поспешили заняться тем, чем обычно занимались на досуге, по-видимому, веря, в простоте души, что можно сгладить неловкую ситуацию, сделав вид, будто не замечаешь ее. Судья придвинул к себе бочонок, взял карты и начал машинально раскладывать пасьянс, а Грубый Помол с преувеличенным интересом следил за ним, то и дело косясь на неподвижную фигуру Первого Валета у очага и рассеянное лицо Второго возле порога. За этим занятием прошло минут десять (Судья и Грубый Помол в это время переговаривались таинственным шепотом, точно дети, которым и страшновато и интересно быть невольными свидетелями семейной сцены), как вдруг валежник возле дома захрустел под легкими шагами и в дверях появилось милое и пылающее лицо Старика. Раздался вопль радости, и в следующее мгновение Старик едва не задохнулся в складках рубахи на груди Первого Валета, был оттянут от него и едва не шлепнулся на колени к Судье, опрокинув по дороге бочонок, а затем окончательно потонул в объятиях Второго Валета и Грубого Помола. С первым же восторженным возгласом «Старик!» напряжение разрядилось.

В счастливом неведении предыдущих тревог, которыми объяснялись искренность и единодушие этой встречи, Старик с не меньшим облегчением тут же стал возбужденно рассказывать о своем открытии. Боюсь, что он обрисовал подробности, слегка сгустив краски, частично по причине собственного волнения, частично же, чтобы оправдать волнение друзей. С удивлением он заметил, что каждый из этих неудачников как будто радуется не столько личной выгоде, сколько тому, что вся честь открытия принадлежит ему, Старiku.

— Говорил я вам, что он этого добьется, — твердил Судья, бессовестно передергивая факты, что, впрочем, было принято с единодушным одобрением. — Вы только поглядите на него! Щенок еще, а ведь поди ж ты!

— Ах, что вы! Он ведь совсем не той породы, верно? — шуточно вторил ему Грубый Помол, а братья схватили и пожали, один — его правую, другой — левую руку, с молчаливым, но гордым одобрением, которое было для Старика внове и тем более приятно. Ему стоило большого труда убедить их пойти вместе с ним к месту находки и не меньшего труда — воспрепятствовать их попытке отнести его туда на плечах под тем предлогом, что ему и без того уже немало досталось за сегодня. Один лишь раз наступило небольшое замешательство.

— Так, значит, вы стреляли, чтобы я вернулся? — благодарно спросил Старик.

В неловкой тишине, наступившей вслед за этим вопросом, руки двух братьев встретились в покаянном пожатии.

— А как же! — поспешил вмешаться тактичный Судья. — Первый и Второй чуть, понимаешь, не разругались из-за того, кому первому стрелять. Уж и не припомню, кто из них...

— Я до собачки даже не дотронулся, — быстро перебил его Второй Валет, и Судья поспешно дал ему пинка и завершил:

— Оно у них вроде как само собой выстрелило.

Совсем иное настроение владело процессней, которая снова вышла из хижины, и эта разница не замедлила сказаться на каждом из компаньонов, сообразно с особенностями его характера. Правда, вначале всем стало как-то не по себе, когда Грубый Помол со свойственной

ему природной деликатностью выразил пробудившееся в нем уважение к своему удачливому компаньону, назвав его как бы невзначай «мистер Форд», но и это было забыто, когда, едва дыша от волнения, они приблизились к подножию горы. Когда они перебрались через ручей, Первый Валет в раздумье остановился.

— Так ты говоришь, что услышал обвал до того, как вышел из хижины? — сказал он, обращаясь к Старiku.

— Да, только я тогда не знал, что это такое. Это случилось часа через полтора после того, как вы ушли, — ответил тот.

— Так слушайте, друзья, — с суеверным торжеством продолжал Первый Валет, — стало быть, это оползень заградил ручей и помог нам расчистить канаву!

Все это с такой очевидностью говорило о самом непосредственном участии провидения в судьбе компаньонов со Звездной, что утомительное восхождение на гору они совершили уверенной поступью победителей. Лишь на вершине они замедлили шаг, пропуская вперед Старика, чтобы он повел их к склону, где лежало их сокровище. Старик осторожно приблизился к ненадежному краю обрыва, остановился с растерянным видом, подошел еще ближе да так и замер, бледный и недвижимый. В мгновение ока Первый Валет очутился рядом с ним. — Что такое? Не надо так — ради бога, Старик, не надо!

Старик указал на матовый, гладкий, черный, без единого выступа, неровности или трещины склон горы и говорил побелевшими губами:

— Исчез!

Так оно и было. Второй оползень ободрал склон горы и похоронил глубоко под нагромождением камней и осколков породы у подножия и сокровище и вместе с ним примитивный инструмент, которому надлежало указывать его местонахождение.

— Ну и слава богу! — Изумленные лица компаньонов быстро повернулись к Первому Валету. — И слава богу! — повторил он, обняв Старика рукой за шею. — Да ведь задержись он здесь, он тоже лежал бы там внизу. — Он помолчал и, с важным видом указывая в далекую

глубину, закончил: — И еще поблагодарим бога за то, что он показал нам, где мы можем найти золото, если будем трудиться с надеждой и терпением, как честные люди.

Все молча склонили головы и медленно спустились с горы. Но, достигнув равнины, один из них крикнул товарищам, чтобы те поглядели на звезду, которая словно поднималась все выше и направлялась к ним по притихшей и сонной долине.

— Это всего-навсего почтовая карета, ребята, — с улыбкой сказал Второй Валет. — Та самая, на которой мы собирались уехать отсюда.

Не страшась ничего в своем вновь обретенном братстве, они решили подождать и поглядеть, как она пройдет. Когда, мелькая фонарями, под перестук копыт и позвякивание сбруи карета — такая настоящая на фоне зыбкого ландшафта — пронеслась мимо, возница, заметив призрачные фигуры компаньонов, хрипло выкрикнул какое-то приветствие, разобрать которое смог один Судья, стоявший всех ближе к дороге.

— Слышали? Вы слышали, ребята, что он сказал? — вскинулся Судья, оборачиваясь к своим спутникам. — Нет? Так пожмем же друг другу руки, братцы! Вот так история, а? Подумать только, а мы-то даже и не сообразили.

— Чего не сообразили?

— Счастливого вам всем рождества!

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

**«ТЭНКФУЛ БЛОССОМ»** («Thankful Blossom»). Напечатано в одноименном сборнике 1877 г. («Thankful Blossom and other stories»). Предки Гарта с материнской стороны были участниками Американской войны за независимость. Отвечая на вопрос неизвестной читательницы, Брет Гарт писал (в 1890 г.), что причудливое имя героини (Тэнкфул по-английски — Благодарный; Блоссом — Расцветший бутон) не вымышлено: так звали его прабабку, библия которой с надписью «книга принадлежит Тэнкфул Блоссом» хранилась у них в семье. Брет Гарт описывает в своем рассказе особо тяжкий для армии Вашингтона период войны за независимость. В обрисовке исторических персонажей и военной обстановки он не проявляет большой самостоятельности и следует идеализирующим тенденциям американской исторической беллетристики.

**«ЧЕЛОВЕК ИЗ СОЛАНО»** («The Man from Solano»). Напечатано в том же сборнике.

**«МОЙ ПРИЯТЕЛЬ-БРОДЯГА»** («My Friend, the Tramp»). Напечатано в том же сборнике.

**«РАЗГОВОР В СПАЛЬНОМ ВАГОНЕ»** («A Sleeping Car Experience»). Напечатано в том же сборнике. Н. С. Лесков упоминает этот рассказ Гарта в «Тупейном художнике».

**«ИСТОРИЯ ОДНОГО РУДНИКА»** («The Story of a Mine»). Повесть вышла отдельной книгой в 1878 г. Биограф Гарта Дж. Р. Стюарт указывает, что повесть написана по докумен-

тальным материалам; фамилия де Гаро фигурирует в одной из калифорнийских земельных тяжб 1850-х гг. Подробнее об этой по- вести см. во вступительной статье.

«ЧЕЛОВЕК СО ВЗМОРЬЯ» («The Man on the Beach»). Напечатано в сборнике 1878 г. «От двух берегов» («Drift from two Shores»).

«ДРУГ РОДЖЕРА КАТРОНА» («Roger Catron's Friend»). Напечатано в том же сборнике.

«ДЖИННИ» («Jinny»). Напечатано в том же сборнике.

«СВЯТЫЕ С ПРЕДГОРИЙ» («Two Saints of the Foothills»). Напечатано в том же сборнике.

«КТО БЫЛ МОЙ СПОКОЙНЫЙ ДРУГ» («Who was my quiet Friend?»). Напечатано в том же сборнике.

«ИСКАТЕЛЬ ДОЛЖНОСТИ» («The Office-seeker»). Напечатано в том же сборнике. Рассказчик (как и в «Разговоре в спальном вагоне») — это сам писатель в годы своих разъездов по США с «публичными чтениями».

«ТУРИСТ ИЗ ИНДИАНЫ» («A Tourist from Injiannu»). Напечатано в том же сборнике. Этим рассказом Брет Гарт начин- ает свои сатирические зарисовки американцев в Европе. См. «Питер Шредер» в этом томе.

«НАСЛЕДНИЦА» («An Heiress of Red Dog»). Напечатано в одноименном сборнике 1879 г. («An Heiress of Red Dog and other stories»).

«ВЕЛИКАЯ ДЕДВУДСКАЯ ТАЙНА» («The Great Dead- wood Mystery»). Напечатано в том же сборнике.

«ПРИЗРАК СЬЕРРЫ» («A Ghost of the Sierras»). Напеча- тано в сборнике 1879 г. «Близнецы Столовой горы» («The Twins of Table-Mountain»).

«ПИТЕР ШРЕДЕР» («Peter Schroeder»). Напечатано в том же сборнике.

**«ФЛИП» («Flip»).** Напечатано в одноименном сборнике 1882 г. («Flip and other stories»).

**«ДЖЕНТАЛЬМЕН ИЗ ЛАПОРТА» («A Gentleman of La Porte»).** Напечатано в том же сборнике.

**«НАХОДКА В СВЕРКАЮЩЕЙ ЗВЕЗДЕ» («Found at Blazing Star»).** Напечатано в том же сборнике.

**«В МИССИИ САН-КАРМЕЛ» («At the Mission of San Carmel»).** Напечатано в сборнике 1884 г. «На границе» («On the Frontier»).

**«ПОКИНУТЫЙ НА ЗВЕЗДНОЙ ГОРЕ» («Left out on Lone Star Mountain»).** Напечатано в том же сборнике.



## СОДЕРЖАНИЕ

Тэнкфул Блоссом. Перевод Б. Томашевского . . . . .	5
Человек из Солано. Перевод Н. Дарузес . . . . .	64
Мой приятель-бродяга. Перевод Т. Озерской . . . . .	72
Разговор в спальном вагоне. Перевод Н. Дарузес . . . . .	85
История одного рудника. Перевод Н. Волжиной и Н. Дарузес . . . . .	92
Человек со взморья. Перевод А. Ильф . . . . .	202
Друг Роджера Катрона. Перевод Е. Грин . . . . .	235
Джинни. Перевод Н. Галь . . . . .	250
Святые с предгорий. Перевод Е. Осеневой . . . . .	260
Кто был мой спокойный друг. Перевод А. Мурик . . . . .	274
Искатель должности. Перевод Е. Куниной . . . . .	283
Турист из Индианы. Перевод Л. Поляковой . . . . .	297
Наследница. Перевод Н. Волжиной . . . . .	308
Великая дедвудская тайна. Перевод Н. Бать . . . . .	325
Призрак Сьерры. Перевод В. Рогова . . . . .	353
Питер Шредер. Перевод С. Майзельс . . . . .	361
Флип. Перевод Е. Коротковой . . . . .	380
Джентльмен из Лапорта. Перевод Н. Дарузес . . . . .	427
Находка в Сверкающей Звезде. Перевод Е. Грин . . . . .	440
В миссии Сан-Кармел. Перевод Р. Бобровой . . . . .	478
Покинутый на Звездной горе. Перевод М. Кан . . . . .	518
Библиографическая справка . . . . .	548

**Брет Гарт**  
Собрание сочинений в 6 томах.  
Том II.

Редактор тома  
И. Гурова

Оформление художника  
Д. Бисти

Технический редактор  
А. Шагарина

---

Подп. к печ. 9/VI 1966 г. Тираж 230 000 экз.  
Изд. № 1127. Зак. 494. Форм. бум. 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Физ. печ. л. 17,25 + 4 вкл. иллюстраций.  
Условных печ. л. 29,4. Уч.-изд. л. 30,17.  
Цена 90 коп.

---

Ордена Ленина типография газеты «Правда»  
имени В. И. Ленина. Москва, А-47, улица  
«Правды», 24.

**Индекс 70666**



